

Джейк  
ЛОНДОН

РАССКАЗЫ

В томе представлены наиболее известные произведения классика американской литературы Джека Лондона. ruen Борис Михайлович Федоров Brandon.fedorov-main@yandex.ru FB Tools, FB Editor v2.0 2004-11-16 861C9944-5BE9-4B6C-AECE-A8645BCC8A76 1.0

перерелиз файла из б-ки Fictionbook Chernov Sergey март 2008 г.

## ДЖЕК ЛОНДОН

Сборник рассказов и повестей

### «АЛОХА ОЭ»

Нигде уходящим в море судам не устраивают таких проводов, как в гавани Гонолулу. Большой пароход стоял под парами, готовый к отплытию. Не менее тысячи человек толпилось на его палубах, пять тысяч стояло на пристани. По высоким сходням вверх и вниз проходили туземные принцы и принцессы, сахарные короли, видные чиновники Гавайев. А за толпой, собравшейся на берегу, длинными рядами выстроились под охраной туземной полиции экипажи и автомобили местной аристократии.

На набережной гавайский королевский оркестр играл «Алоха Оэ», а когда он смолк ту же рыдающую мелодию подхватил струнный оркестр туземцев на пароходе, и высокий голос певицы птицей взлетел над звуками инструментов, над многоголосым гамом вокруг. Словно звонкие переливы серебряной свирели, своеобразные и неповторимые, влились вдруг в многозвучную симфонию прощания.

На нижней палубе вдоль поручней стояли в шесть рядов молодые люди в хаки; их бронзовые лица говорили о трех годах военной службы, проведенных под знойным солнцем тропиков. Однако это не их провожали сегодня так торжественно, и не капитана в белом кителе, стоявшего на мостике и безучастно, как далекие звезды, взиравшего с высоты на суматоху внизу, и не молодых офицеров на корме, возвращавшихся на родину с Филиппинских островов вместе со своими измученными тропической жарой, бледными женами. На верхней палубе, у самого трапа, стояла группа сенаторов Соединенных Штатов – человек двадцать – с женами и дочерьми. Они приезжали сюда развлечься. И целый месяц их угощали обедами и поили вином, пичкали статистикой, таскали по горам и долам, на вершины вулканов и в залитые лавой долины, чтобы показать все красоты и природные богатства Гавайев.

За этой-то веселящейся компанией и прибыл в гавань большой пароход, и с нею прощался сегодня Гонолулу.

Сенаторы были увешаны гирляндами, они просто утопали в цветах. На бычьей шее и мощной груди сенатора Джереми Сэмбрука красовалась добрая дюжина венков и гирлянд. Из этой массы цветов выглядывало его потное лицо, покрытое свежим загаром. Цветы раздражали сенатора невыносимо, а на толпу, кишевшую на пристани, он смотрел оком человека, для которого существуют только цифры, человека, слепого к красоте. Он видел в этих людях лишь рабочую силу, а за ней – фабрики, железные дороги, плантации, все то, что она создавала и что олицетворяла собой для него. Он видел богатства этой страны, думал о том,

как их использовать, и, занятый этими размышлениями о материальных благах и могуществе, не обращал никакого внимания на дочь, которая стояла подле него, разговаривая с молодым человеком в изящном летнем костюме и соломенной шляпе. Юноша не отрывал жадных глаз от ее лица и, казалось, видел только ее одну. Если бы сенатор Джереми внимательно присмотрелся к дочери, он понял бы, что пятнадцатилетняя девочка, которую он привез с собой на Гавайские острова, за этот месяц превратилась в женщину.

В климате Гавайев все зреет быстро, а созреванию Дороти Сэмбрук к тому же особенно благоприятствовали окружающие условия. Тоненькой бледной девочкой с голубыми глазами, немного утомленной вечным сидением за книгами и попытками хоть что-нибудь понять в загадках жизни, – такой приехала сюда Дороти месяц назад. А сейчас в газах ее был жаркий свет, щеки позолочены солнцем, в линиях тела уже чувствовалась легкая, едва намечавшаяся округлость. За этот месяц Дороти совсем забросила книги, ибо читать книгу жизни было куда интереснее. Она ездила верхом, взбиралась на вулканы, училась плавать на волнах прибоя. Тропики проникли ей в кровь, она упивалась ярким солнцем, теплом, пышными красками. И весь этот месяц она провела в обществе Стивена Найта, настоящего мужчины, спортсмена, отважного пловца, бронзового морского бога, который укрощал бешеные волны и на их хребтах мчался к берегу.

Дороти Сэмбрук не замечала перемены, которая произошла в ней. Она оставалась наивной молоденькой девушкой, и ее удивляло и смущало поведение Стива в этот час расставания.

До сих пор она видела в нем просто доброго товарища, и весь месяц он и был ей только товарищем, но сейчас прощаясь с ней, вел себя как-то странно. Говорил взволнованно, бессвязно, вдруг умолкал, начинал снова. По временам он словно не слышал, что говорит она, или отвечал не так, как обычно. А взгляд его приводил Дороти в смятение. Она раньше и не замечала, что у него такие горящие глаза; она не смела смотреть в них и то и дело опускала ресницы. Но выражение их и пугало и в то же время притягивало ее, и она снова и снова заглядывала в эти глаза, чтобы увидеть то пламенное, властное, тоскующее, чего она еще не видела никогда ни в чьих глазах. Она и сама испытывала какое-то странное волнение и тревогу.

На пароходе оглушительно завыл гудок, и увенчанная цветами толпа хлынула ближе. Дороти Сэмбрук сделала недовольную гримасу и заткнула пальцами уши, чтобы не слышать пронзительного воя, – и в этот миг она снова перехватила жадный и требовательный взгляд Стива. Он смотрел на ее уши, нежно розовеющие и прозрачные в косых лучах закатного солнца.

Удивленная и словно замороженная странным выражением его глаз, Дороти смотрела на него не отрываясь. И Стив понял, что выдал себя; он густо покраснел и что-то невнятно пробормотал. Он был явно смущен, и Дороти была смущена не меньше его. Вокруг них суежилась пароложная прислуга, торопя провожающих сойти на берег. Стив протянул руку. И в тот миг, когда Дороти ощутила пожатие его пальцев, тысячу раз сжимавших ее руку, когда они вдвоем карабкались по крутым склонам или неслись на доске по волнам, – она услышала и по-новому поняла слова песни, которая, подобно рыданию, рвалась из серебряного горла гавайской певицы:

Ka halia ko aloha Kai hiki mai,

Ke hone ae nei i Ku'u manawa,

O oe no Ka'u aloha

A loko e hana nei.

Этой песне учил ее Стив, она знала и мелодию и слова и до сих пор думала, что понимает их. Но только сейчас, когда в последний раз пальцы Стива крепко сжали ее руку и она ощутила теплоту его ладони, ей открылся истинный смысл этих слов. Она едва заметила, как ушел Стив, и не могла отыскать его в толпе на сходнях, потому что в эти минуты она уже блуждала в лабиринтах памяти, вновь переживая минувшие четыре недели – все события этих дней, представшие перед ней сейчас в новом свете.

Когда месяц назад компания сенаторов прибыла в Гонолулу, их встретили члены комиссии, которой было поручено развлекать гостей, и среди них был и Стив. Он первый показал им в Ваикики-Бич, как плавают по бурным волнам во время прибоя. Выплыв в море верхом на узкой доске, с веслом в руках, он помчался так быстро, что скоро только пятнышком замелькал и исчез вдаль. Потом неожиданно возник снова, встав из бурлящей белой пены, как морской бог, – сначала показались плечи и грудь, а потом бедра, руки; и вот он уже стоял во весь рост на пенистом гребне могучего вала длиной с милю, и только ноги его были зарыты в летящую пену. Он мчался со скоростью экспресса и спокойно вышел на берег на глазах у пораженных зрителей. Таким Дороти впервые увидела Стива. Он был самый молодой член комиссии – двадцатилетний юноша. Он не выступал с речами, не блистал на торжественных приемах. В увеселительную программу для гостей он вносил свою долю, плавая на бурных волнах в Ваикики, гоня диких быков по склонам Мауна Кеа, объезжая лошадей на ранчо Халеакала.

Дороти не интересовали бесконечные статистические обзоры и ораторские выступления остальных членов комиссии, на Стива они тоже нагоняли тоску, – и оба потихоньку удирали вдвоем. Так они сбежали и с пикника в Хамакуа и от Эба Луиссона, кофейного плантатора который в течение двух убийственно скучных часов занимал гостей разговором о кофе, о кофе и только о кофе. И как раз в тот день, когда они ехали верхом среди древовидных папоротников, Стив перевел ей слова песни «Алоха Оэ», которой провожали гостей-сенаторов в каждой деревне, на каждом ранчо, на каждой плантации.

Они со Стивом с первого же дня очень много времени проводили вместе. Он был ее неизменным спутником на всех прогулках. Она совсем завладела им, пока ее отец собирал нужные ему сведения о Гавайских островах. Дороти была кротка и не тиранила своего нового приятеля, но он был у нее в полном подчинении, и лишь во время катания на лодке, или поездок верхом, или плавания в прибой власть переходила к нему, а ей оставалось слушаться.

И вот теперь, когда уже был поднят якорь и громадный пароход стал медленно отваливать от пристани, Дороти, слушая прощальную мелодию «Алоха Оэ», поняла, что Стив для нее был не только веселым товарищем.

Пять тысяч голосов пели сейчас «Алоха Оэ»:

В разлуке любовь моя будет с тобою

Всегда, до новой встречи.

И в тоже мгновение, вслед за открытием, что она любит и любима, пришла мысль, что их со Стивом разлучают, отрывают друг от друга. Когда еще они встретятся снова? И встретятся ли? Слова песни о новой встрече она услышала впервые от него, Стива, – она вспомнила, как он пел их ей, повторяя много раз подряд, под деревом хау в Ваикики. Не было ли это

предсказанием? А она восторгалась его пением, твердила ему, что он поет так выразительно... Вспомнив это, Дороти рассмеялась громко, истерически. «Выразительно!» Еще бы, когда человек душу свою изливал в песне! Теперь она знала это, но слишком поздно. Почему он ей ничего не сказал?

Вдруг она вспомнила, что в ее возрасте девушки еще не выходят замуж. Но тотчас сказала себе: «А на Гавайях выходят». На Гавайях, где кожа у всех золотиста и женщины под поцелуями солнца созревают рано, созрела и она – за один месяц.

Тщетно вглядывалась Дороти в толпу на берегу. Куда девался Стив? Она готова была отдать все на свете, чтобы увидеть его еще хоть на миг, она почти желала, чтобы какая-нибудь смертельная болезнь поразила капитана, одиноко стоявшего на мостике, – ведь тогда пароход не уйдет! В первый раз в жизни она посмотрела на отца внимательно, пылливо – и с внезапно проснувшимся страхом прочла в этом лице упрямство и жесткую волю. Противиться этой воле очень страшно! И разве она может победить в такой борьбе?..

Но почему, почему Стив молчал до сих пор? А сейчас уже поздно... Почему он не сказал ей ничего тогда, под деревом хау в Ваикики?

Тут ее осенила догадка – и сердце у нее упало. Да, да, теперь понятно, почему молчал Стив! Что-то такое она слышала недавно... А, это было у миссис Стентон, в тот день, когда дамы миссионерского кружка пригласили на чашку чая жен и дочерей сенаторов... Та высокая блондинка, миссис Ходжкинс, задала вопрос... Дороти отчетливо вспомнила все: обширную веранду, тропические цветы, бесшумно сновавших вокруг слуг-азиатов, жужжание женских голосов и вопрос миссис Ходжкинс, сидевшей неподалеку в группе других дам. Миссис Ходжкинс недавно вернулась на остров с континента, где она провела много лет, и, видимо, расспрашивала о старых знакомых, подругах ее юности.

– А как поживает Сюзи Мэйдуэлл? – осведомилась она.

– О, мы с ней больше не встречаемся! Она вышла за Вилли Кьюпеля, – ответила одна из местных жительниц.

А жена сенатора Беренда со смехом спросила, почему же замужество Сюзи Мэйдуэлл оттолкнуло от нее приятельниц.

– Ее муж – хапа-хаоле, человек смешанной крови, – был ответ. – А мы, американцы на островах, должны думать о наших детях.

Дороти повернулась к отцу, решив проверить свою догадку.

– Папа! Если Стив приедет когда-нибудь в Штаты, ему можно будет побывать у нас?

– Стив? Какой Стив?

– Ну, Стивен Найт. Ты же его знаешь, ты прощался с ним только что, пять минут назад! Если ему случится когда-нибудь попасть в Штаты, можно будет пригласить его к нам?

– Конечно, нет! – коротко отрезал Джереми Сэмбрук. – Этот Стивен Найт – хапа-хаоле. Ты знаешь, что это значит?

– О-ох! – чуть слышно вздохнула Дороти, чувствуя, как немое отчаяние закрадывается ей в душу.

Стив – не хапа-хаоле, в этом Дороти была уверена. Она не знала, что к его крови примешалась капелька крови, полной жара тропического солнца, а значит, о браке с ним нечего было и думать. Станный мир! Ведь преподобный Клегхорн женился же на

темнокожей принцессе из рода Камехамена, – и все-таки люди считали за честь знакомство с ним, и в его доме бывали женщины высшего света из ультрафешенебельного миссионерского кружка! А вот Стив... То, что он учил ее плавать или вел ее за руку в опасных местах, когда они поднимались на кратер Килауэа, никому не казалось предосудительным. Он мог обедать с нею и ее отцом, танцевать с нею, быть членом увеселительной комиссии, но жениться на Дороти он не мог, потому что в жилах его струилось тропическое солнце.

А ведь это совсем не было заметно! Кто не знал, тому это и в голову не могло прийти! Стив был так красив... Образ его запечатлелся в ее памяти, и она с бессознательным удовольствием вспоминала великолепное гибкое тело, могучие плечи, надежную силу этих рук, что так легко подсаживали ее в седло, несли по гремящим волнам или поднимали ее, уцепившуюся за конец альпенштока, на крутую вершину горы, которую называют «Храмом солнца»! И еще что-то другое, таинственное и неуловимое, вспоминалось Дороти, что-то такое, в чем она и сейчас еще очень смутно отдавала себе отчет: ощущение близости мужчины, настоящего мужчины, какое она испытывала, когда Стив бывал с нею.

Она вдруг очнулась с чувством острого стыда за эти мысли. Кровь прилила к ее щекам, окрасила их ярким румянцем, но тотчас отхлынула: Дороти побледнела, вспомнив, что больше никогда не увидит любимого.

Пароход уже отвалил, и палубы его поравнялись с концом набережной.

– Вон там стоит Стив, – сказал сенатор дочери. – Помоги ему на прощание, Дороти!

Стив не сводил с нее глаз и увидел в ее лице то новое, чего не видел раньше. Он просиял, и Дороти поняла, что он теперь знает. А в воздухе трепетала песня:

Люблю – и любовь моя будет с тобой,

Всегда, до новой встречи.

Слова были не нужны, они и без слов все сказали друг другу. Вокруг Дороти пассажиры снимали с себя венки и бросали их друзьям, стоявшим на пристани. Стив протянул руки, глаза его молили. Она стала снимать через голову свою гирлянду, но цветы зацепились за нитку восточного жемчуга, которую надел ей сегодня на шею старик Мервин, сахарный король, когда вез ее и отца на пристань.

Она дергала жемчуг, цеплявшийся за цветы. А пароход двигался и двигался вперед. Стив был теперь как раз под палубой, где она стояла, медлить было нельзя – еще минута, и он останется позади!

Дороти всхлипнула, и Джереми Сэмбрук испытующе посмотрел на нее.

– Дороти! – крикнул он резко.

Она решительно рванула ожерелье – и вместе с цветами дождь жемчужин посыпался на голову ожидавшего возлюбленного.

Она смотрела на него, пока слезы не застлали перед ней все, потом спрятала лицо на плече отца. А сенатор, забыв о статистике, с удивлением спрашивал себя: почему это маленькие девочки так спешат стать взрослыми?

Толпа на пристани все пела, мелодия, отдаваясь, таяла в воздухе, но по-прежнему была в

ней любовная нега и слова сжигали сердце, как кислота, ибо в них была ложь.

Aloha oe, Aloha oe, e ke onaona no ho ika lipo...

В последний раз приди в мои объятия!

Любовь моя с тобой всегда, до новой встречи.

\* \* \*

АТУ ИХ, АТУ!

Это был пьянчуга шотландец, он глотал неразбавленное виски, как воду, и, зарядившись ровно в шесть утра, потом регулярно подкреплялся часов до двенадцати ночи, когда надо было укладываться спать. Для сна он урывал каких-нибудь пять часов в сутки, остальные же девятнадцать тихо и благородно выпивал. За два месяца моего пребывания на атолле Оолонг я ни разу не видел его трезвым. Он так мало спал, что и не успевал протрезвиться. Такого образцового пьяницу, который пил бы так прилежно и методично, мне еще не приходилось встречать.

Звали его Мак-Аллистер. Посмотреть – хлипкий старикашка, еле на ногах держится, руки трясутся, как у парализованного, особенно когда он наливает себе стаканчик, но я ни разу не видел, чтобы он пролил хоть каплю. Двадцать восемь лет носило его по Меланезии, между германской Новой Гвинеей и германскими Соломоновыми островами, и он так акклиматизировался в этих краях, что и разговаривал уже на тамошнем тарабарском наречии, которое зовется «beche de mer». Даже говоря со мной, не обходился он без таких выражений, как «солнце, он встал» – вместо «на рассвете», «каи-каи, он здесь» – вместо «обед подан» или «моя пуза гуляет» – вместо «живот болит».

Маленький человек, сухой, как щепка, прокаленный снаружи жгучим солнцем и винными парами изнутри, живой обломок шлака, еще не остывшего шлака, он двигался толчками, как заведенный манекен. Казалось, его могло унести порывом ветра. Он и весил каких-нибудь девяносто фунтов, не больше.

Но, как ни странно, это был царек, облеченный всей полнотою власти. Атолл Оолонг насчитывает сто сорок миль в окружности. Только по компасу можно войти в его лагуну. В то время население Оолонга составляли пять тысяч полинезийцев; все – мужчины и женщины – статные, как на подбор, многие ростом не ниже шести футов и весом в двести футов с лишним. От Оолонга до ближайшей земли двести пятьдесят миль. Дважды в год навевалась маленькая шхуна за копррой.

Мелкий торговец и отпетый пьяница, Мак-Аллистер был на Оолонге единственным представителем белой расы и правил его пятитысячным населением поистине железной рукой. Воля его была здесь законом. Любая его фантазия, любая прихоть исполнялись беспрекословно. Сварливый ворчун, какие нередко встречаются среди стариков шотландцев, он постоянно вмешивался в домашние дела дикарей. Так, когда Нугу, королевская дочь, избрала себе в мужья молодого Гаунау, жившего на другом конце атоллы, отец дал согласие; но Мак-Аллистер сказал: «Нет!» – и свадьба расстроилась. Или когда король пожелал купить у своего верховного жреца принадлежавший тому островок в лагуне, Мак-Аллистер опять сказал: «Нет!» Король задолжал Компании сто восемьдесят тысяч кокосовых орехов, и ни

один кокос не должен был уйти на сторону, пока не будет выплачен весь долг.

Однако заботы Мак-Аллистера не снискали ему любви короля и народа. Вернее, его ненавидели лютой ненавистью. Как я узнал, жители атолла во главе со своими жрецами на протяжении трех месяцев творили заклинания, стараясь сжить тирана со света. Они насылали на него самых страшных своих духов, но Мак-Аллистер ни во что не верил, и никакой дьявол не был ему страшен. Такого пьяницу шотландца никакими заклятиями не проймешь. Напрасно дикари подбирали остатки пищи, которой касались его губы, бутылки из-под виски и кокосовые орехи, сок которых он пил, даже его плевок и колдовали над ними, – Мак Аллистер жил не тужил. На здоровье он не жаловался, не знал, что такое лихорадка, кашель или простуда; дизентерия обходила его стороной, как и обычные в этих широтах злокачественные опухоли и кожные болезни, которым подвержены равно белые и черные. Он, верно, так проспиртовался, что никакой микроб не мог в нем уцелеть. Мне представлялось, что, едва угодив в окружающую Мак-Аллистера проспиртованную атмосферу, они так и падают к его ногам мельчайшими частицами пепла. Все живое бежало от Мак-Аллистера, даже микробы, а ему бы только виски. Так он и жил!

Это казалось мне загадкой: как могут пять тысяч туземцев мириться с самовластием какого-то старого сморчка? Каким чудом он держится, а не скончался скоропостижно уже много лет назад? В противоположность трусливым меланезийцам, местное племя отличается отвагой и воинственным духом. На большом кладбище, в головах и ногах погребенных, хранится немало кровавых трофеев – гарпуны, скребки для ворвани, ржавые штыки и сабли, медные болты, железные части руля, бомбарды, кирпичи – по-видимому, остатки печей на китобойных судах, старые бронзовые пушки шестнадцатого века – свидетельство того, что сюда заходили еще корабли первых испанских мореплавателей. Не один корабль нашел в этих водах безвременную могилу. И тридцати лет не прошло с тех пор, как китобойное судно «Бленнердейл», ставшее в лагуне на ремонт, попало в руки туземцев вместе со всем экипажем. Та же участь постигла команду «Гаскетта», шхуны, перевозившей сандаловое дерево. Большой французский парусник «Тулон» был застигнут штилем у берегов атолла и после отчаянной схватки взят на абордаж и потоплен у входа в Липау. Только капитану с горсточкой матросов удалось бежать на баркасе. И, наконец, испанские пушки – о гибели какого из первых отважных мореплавателей они возвещали? Но все это давно стало достоянием истории, – почитайте «Южно-Тихоокеанский справочник»! О существовании другой истории – неписанной – мне еще только предстояло узнать. Пока я безуспешно ломал голову над тем, как пять тысяч дикарей до сих пор не расправились с каким-то вырожденком шотландцем, почему они даровали ему жизнь?

Однажды в знойный полдень мы с Мак-Аллистером сидели на веранде и смотрели на лагуну, которая чудесно отливала всеми оттенками драгоценных камней. За нами на сотни ярдов тянулись усеянные пальмами отмели, а дальше, разбиваясь о прибрежные скалы, ревел прибой. Было жарко, как в пекле. Мы находились на четвертом градусе южной широты, и солнце, всего лишь несколько дней назад пересекшее экватор, стояло в зените. Ни малейшего движения в воздухе и на воде. В этом году юго-восточный пассат перестал дуть раньше обычного, а северо-западный муссон еще не вступил в свои права.

– Сапожники они, а не плясуны, – упрямо твердил Мак-Аллистер.

Я отозвался о полинезийских плясках с похвалой, сказав, что папуасские и в сравнение с ними не идут; Мак-Аллистер же, единственно по причине дурного характера, отрицал это. Я промолчал, чтобы не спорить в такую жару. К тому же мне еще ни разу не случалось видеть, как пляшут жители Оолонга.

– Сейчас я вам докажу, – не унимался мой собеседник и, подозревая туземца с Нового Ганновера, исполнявшего при нем обязанности повара и слуги, послал его за королем: – Эй ты, бой, скажи королю, пусть идет сюда.



Бой повиновался, и вскоре перед Мак-Аллистером предстал растерянный премьер-министр. Он бормотал какие-то извинения: король-де отдыхает и его нельзя тревожить.

– Король здорово крепко отдыхай, – сказал он в заключение.

Это привело Мак-Аллистера в такую ярость, что министр трусливо бежал и вскоре возвратился с самим королем. Я невольно залюбовался этой чудесной парой. Особенно поразил меня король, богатырь не менее шести футов трех дюймов росту. В его чертах было что-то орлиное – такие лица не редкость среди североамериканских индейцев. Он был не только рожден, но и создан для власти. Глаза его метали молнии, однако он покорно выслушал приказание созвать со всей деревни двести человек, мужчин и женщин, лучших танцоров. И они действительно плясали перед нами битых два часа под палящими лучами солнца. Пусть они за это еще больше возненавидели Мак-Аллистера – плевать ему было на чувства туземцев, и домой он проводил их бранью и насмешками.

Рабская покорность этих великолепных дикарей все сильнее и сильнее меня поражала. Я спрашивал себя: как это возможно? В чем тут секрет? И я все больше терялся в догадках, по мере того как новые доказательства этой непререкаемой власти вставали передо мной, но так и не находил ей объяснения.

Однажды я рассказал Мак-Аллистеру о своей неудаче: старик туземец, обладатель двух великолепных золотистых раковин «каури», отказался променять их мне на табак. В Сиднее я заплатил бы за них не менее пяти фунтов. Я предлагал ему двести плиток табаку, а он просил триста. Когда я упомянул об этом невзначай, Мак-Аллистер вызвал к себе туземца, отобрал у него раковины и отдал мне. Красная цена им, рассудил он, пятьдесят плиток, и чтобы я и думать не смел предлагать больше. Туземец с радостью взял табак. Очевидно, он и на это не рассчитывал. Что касается меня, то я решил в будущем придержать язык. Я еще раз подивился могуществу Мак-Аллистера и, набравшись храбрости, даже спросил его об этом; Мак-Аллистер только хитро прищурился и с глубокомысленным видом отхлебнул из стакана.

Как-то ночью мы с Отти – так звали обиженного туземца – вышли в лагуну ловить рыбу. Я втихомолку вручил старику недоданные сто пятьдесят плиток, чем заслужил величайшее его уважение, граничившее с каким-то детским обожанием, тем более удивительным, что человек этот годился мне в отцы.

– Что это вы, канаки, точно малые дети, – приступил я к нему, – купец один, а вас, канаков, много. Вы лижете ему пятки, как трусливые собачонки. Бойтесь, что он съест вас? Так ведь у него и зубов нет. Откуда у вас этот страх?

– А если много канаки убивай купец? – спросил он.

– Он умрет, только и всего, – ответил я. – Ведь вам, канакам, не впервой убивать белых. Что же вы так испугались этого белого человека?

– Да, канаки много убивал белый человек, – согласился он. – Я правда говорю. Но только давно, давно. Один шхуна – я тогда совсем молодой – стал там, за атолл: ветер, он не дул. Нас много канаки, много-много челнов, надо нам поймай этот шхуна. И нас поймай эта шхуна – я правда говорю, – но после большой драки. Два-три белый стрелял, как дьявол. Канак, он не знал страх. Везде, внизу, вверху, много канак, может, десять раз пятьдесят. А еще на шхуна белый Мери. Моя никогда не видел белый Мери. Канаки убивал много-много белый. Только не капитан. Капитан, он живой, и еще пять-шесть белый не умирал. Капитан, он давал команда. Белый, он стрелял. Другой белый спускал лодка. А потом все марш-марш за борт. Капитан, он белый Мери тоже спускал за борт. Все греби, как дьявол. Мой отец, он тогда сильный был, бросал копье. Копье пробил бок белой Мери, пробил другой бок, выскочил наружу. Конец белой Мери. Нас, канаки, ничего не боялся.

Очевидно, гордость Отти была задета – он сдвинул набедренную повязку и показал мне шрам, в котором нетрудно было признать след пулевой раны. Но прежде чем я успел ему ответить, его поплавок сильно задергался. Отти подсек, но леска не поддалась, рыба успела уйти за ветвь коралла.

Старик посмотрел на меня с упреком, так как я разговорами отвлек его внимание, скользнул по борту вниз, потом, уже в воде, перевернулся и плавно ушел на дно следом за леской. Здесь было не меньше десяти саженей.

Перегнувшись, я с лодки следил за его мелькающими пятками. Постепенно теряясь в глубине, они тянули за собой в темную пучину призрачный, фосфорический след. Десять морских саженей – шестьдесят футов – что это значило для такого старика по сравнению с драгоценной снастью! Через минуту, показавшуюся мне вечностью, он, облитый белым сиянием, снова вынырнул из глубины. Выплыв на поверхность, он бросил в лодку десятифунтовую треску – крючок, торчавший в ее губе, благополучно вернулся к своему хозяину.

– Что ж, может, это и правда, – не отставал я. – Когда-то вы боялись. Зато теперь купец нагнал на вас страху.

– Да, много страх, – согласился он, явно не желая продолжать разговор.

Мы еще с полчаса удили в полном молчании. Но вот под ними зашныряли мелкие акулы, они откусывали с наживкой и крючок, и мы, потеряв по крючку, решили подождать – пусть разбойники уберутся восвояси.

– Да, твоя верно говори, – вдруг словно спохватился Отти. – Канаки узнал страх.

Я зажег трубку и приготовился слушать. Хотя старик изъяснялся на ужасающем «beche de mer», я передаю его рассказ на правильном английском языке. Но самый дух и строй его повествования я постараюсь сохранить.

– Вот тогда-то мы и возгордились. Столько раз дрались мы с чужими белыми людьми, что являются к нам с моря, и всегда побеждали. Немало полегло и наших, но что это в сравнении с сокровищами, что ждали нас на кораблях! И вот, может, двадцать, а может, двадцать пять лет назад у входа в лагуну показался корабль и прямехонько вошел в нее. Это была большая трехмачтовая шхуна. На ее борту находилось пять белых и человек сорок экипажа – все черные с Новой Гвинеи и Новой Британии. Они прибыли сюда для ловли трепангов. Шхуна стала на якорь у Паулоо – это на другом берегу, – ее лодки шныряли по всей лагуне. Повсюду они разбили свои лагеря и стали сушить трепангов. Когда белые разделались, они уже были нам не страшны: ловцы находились милях в пятидесяти от шхуны, а то и больше.

Король держал совет со старейшинами, и мне вместе с другими пришлось весь остаток дня и всю ночь плыть в челне на ту сторону лагуны, чтобы передать жителям Паулоо: мы собираемся напасть на все становища сразу, а вы захватите шхуну. Сами гонцы, хоть и выбились из сил, тоже приняли участие в драке. На шхуне было двое белых, капитан и помощник, а с ними шесть черных. Капитана и трех матросов схватили на берегу и убили, но сначала капитан из двух револьверов уложил восьмерых наших. Видишь, как близко, лицом к лицу, сошлись мы с врагами!

Помощник услышал выстрелы и не стал ждать; он погрузил запас воды, съестное и парус в маленькую шлюпку, футов двенадцать длиной. Мы, тысяча человек, в челнах, усеявших всю лагуну, двинулись на судно. Наши воины дули в раковины, оглашали воздух песнями войны и громко били веслами о борт. Что мог сделать один белый и трое черных против всех нас? Ничего – и помощник знал это.

Но белый человек подобен дьяволу. Стар я и немало белых перевидал на своем веку, но теперь, наконец, понял, как случилось, что белые захватили все острова в океане. Это потому, что они дьяволы. Взять хоть тебя, что сидишь со мной в одной лодке. Ты еще молод годами. Что ты знаешь? Мне каждый день приходится учить тебя то одному, то другому. Да я еще мальчишкой знал о рыбе и ее привычках больше, чем знаешь ты сейчас. Я, старый человек, ныряю на дно лагуны, а ты... где тебе за мной угнаться! Так на что же, спрашивается, ты годишься? Разве только на то, чтобы драться. Я никогда не видел тебя в бою, но знаю, ты во всем подобен своим братьям, и дерешься ты, верно, как дьявол. И ты такой же глупец, как твои братья, – ни за что не признаешь себя побежденным. Будешь драться насмерть и так и не узнаешь, что ты разбит.

А теперь послушай, что сделал помощник. Когда мы, дуя в раковины, окружили шхуну и от наших челнов почернела вся вода кругом, он спустил шлюпку и вместе с матросами направился к выходу в открытое море. И опять по этому видно, какой он глупец. Ни один умный человек не отважится выйти в море на такой шлюпке. Борта ее и на четыре дюйма не выдавались над водой. Двадцать челнов устремились за ним в погоню, в них было двести человек – вся наша молодежь. Пока матросы проходили на своей шлюпке одну сажень, мы успевали пройти пять. Дела его были совсем плохи, но, говорю тебе, это был глупец. Он стоял в шлюпке и выпускал заряд за зарядом. Он был никудышный стрелок, но мы его догоняли, и у нас все прибывало убитых и раненых. Но все равно дела его были совсем, совсем плохи.

Помню, он не выпускал изо рта сигары. Когда же мы, изо всех сил налегая на весла, приблизились к нему шагов на сорок, он бросил винтовку, поднес сигару к динамитной шашке и кинул ее в нашу сторону. Он зажигал все новые и новые шашки и бросал их одну за другой, без счета. Теперь я понимаю, что он расщеплял шнур и вставлял в него спичечные головки, чтобы шнур скорее сгорал, и у него были очень короткие шнуры. Иногда шашка взрывалась в воздухе, но чаще в каком-нибудь челне, и всякий раз, как она взрывалась в челне, от людей ничего не оставалось. Из двадцати наших лодок половина была разбита в щепки. Та, где сидел я, тоже взлетела на воздух, а с нею двое моих товарищей – динамит взорвался как раз между ними. Остальные повернули назад. Тогда помощник с криком «Ату их, ату!» опять схватился за ружье и стал стрелять нам в спину. И все это время его черные матросы гребли изо всех сил. Видишь, я не обманул тебя, человек этот и вправду был дьявол.

Но этим дело не кончилось. Оставляя шхуну, он поджег ее и устроил так, чтобы весь порох и динамит на борту взорвались одновременно. Сотни наших тушили пожар и качали воду, когда шхуна взлетела на воздух. И вот добыча, за которой мы гнались, ушла от нас, а сколько наших было убито! Даже и сейчас, когда я стар и меня навещают дурные сны, я слышу, как помощник кричит: «Ату их, ату!» Громовым голосом кричит он: «Ату их, ату!» Зато из тех белых, кто был застигнут на берегу, ни один не остался в живых.

Помощник в своей маленькой лодке вышел в океан – на верную гибель, как мы думали, разве может такое суденышко с четырьмя гребцами уцелеть в открытом море? Но прошел месяц, и в часы затишья между двумя ливнями в лагуну вошел корабль и стал на якорь против нашей деревни. Король собрал старейшин, было решено дня через два-три напасть на корабль. Тем временем, соблюдая обычай, мы поплыли в наших челнах приветствовать гостей и захватили с собой связки кокосов, птицу и свиней для обмена. Но едва наши головные поравнялись со шхуной, как люди на борту начали расстреливать нас из винтовок. Остальные обратились в бегство. Изо всех сил налегая на весла, я увидел помощника – того, что в маленькой лодке бежал в открытое море: он взобрался на борт, и приплясывал, и орал во все горло: «Ату их, ату!»

В тот же полдень к берегу подошли три шлюпки; в них было полным-полно белых людей, и они высадились в нашей деревне. Они прошли ее из конца в конец и убивали каждого на своем пути. Они перебили всю птицу и всех свиней. Те из нас, что спаслись от пуль, сели в

челны и укрылись в лагуне. Отъезжая от берега, мы увидели, что вся деревня в огне. К вечеру нам повстречалось много челнов из селения Нихи у прохода Нихи, что на северо-востоке. Это были те, кому, как и нам, удалось спастись: их деревня была сожжена дотла вторым кораблем, вошедшим в лагуну через северо-восточный проход Нихи.

Темнота застала нас западнее Паулоо. Здесь в глухую полночь до нас донесся женский плач, и мы врезались в целую стаю челнов с беглецами из Паулоо. Это было все, что осталось от людной деревни; теперь там курилось огромное пожарище, так как в Паулоо тем временем пришла третья шхуна. Как оказалось, помощник вместе с тремя черными матросами добрался до Соломоновых островов и рассказал своим братьям, что произошло на Оолонге. И тогда его братья сказали, что пойдут и накажут нас. Вот они и явились на трех шхунах, и три наши деревни были стерты с лица земли.

Что же нам было делать? Наутро два корабля, воспользовавшись попутным ветром, настигли нас посреди лагуны. Дул сильный ветер, и они мчались прямо на нас, топя на своем пути десятки челнов. Мы бежали от них врассыпную, как летучая рыба бежит от меч-рыбы, и нас было так много, что тысячам канаков удалось все же укрыться на окраинных островах.

Но и после этого три корабля продолжали охотиться за ними по всей лагуне. Ночью мы благополучно прокрались мимо них. И на второй, и на третий, и на четвертый день шхуны возвращались и гнали нас на другой конец лагуны. И так день за днем. Мы потеряли счет убитым и уже не вспоминали о них. Правда, нас было много, а белых мало. Но что могли мы сделать? Я находился среди тех храбрецов, что собрались в двадцати челнах и были готовы сложить голову. Мы напали на шхуну, что поменьше. Они убивали нас без пощады. Они забросали нас динамитными шашками, а когда динамит кончился, стали поливать кипящей водой. Их ружья ни на минуту не смолкали. Тех, кто спасся с затонувших лодок и пустился вплавь, они приканчивали в воде. А помощник опять плясал на палубе рубки и кричал во все горло: «Ату их, ату!»

Каждый дом на самом крошечном островке был сожжен дотла. Они не оставили нам ни одной курицы, ни одной свиньи. Все колодцы были забиты трупами или доверху засыпаны обломками коралла. До прихода трех шхун нас было на Оолонге двадцать пять тысяч. Сейчас нас пять тысяч, тогда как после их ухода, как ты увидишь, нас осталось всего три тысячи.

Наконец трем шхунам надоело перегонять нас из конца в конец по всей лагуне. Они собрались в Нихи, что у северо-восточного прохода, и оттуда стали теснить нас на запад. Белые спустили девять шлюпок и обшаривали каждый островок. Они преследовали нас неустанно, день за днем. А едва наступала ночь, три шхуны и девять шлюпок выстраивались в сторожевую цепь, которая тянулась через всю лагуну, из края в край, и не давала проскользнуть ни одному челну.

Это не могло длиться вечно. Ведь лагуна не так уж велика. Все, кто остался в живых, были вытеснены на западное побережье. Дальше простирался океан. Десять тысяч канаков усеяло песчаную отмель от входа в лагуну до прибрежных скал, где пенился прибой. Никто не мог ни прилечь, ни размять ноги, для этого просто не было места. Мы стояли бедро к бедру, плечо к плечу. Два дня они продержали нас так, помощник то и дело взбирался на мачту и, глумясь над нами, оглашал воздух криками: «Ату их, ату!» Мы уже сожалели, что месяц назад осмелились поднять руку на него и его шхуну. Мы были голодны и двое суток простояли на ногах. Умикали дети, умирали старые и слабые и те, кто истекал кровью от ран. Но самое ужасное – не было воды, чтобы утолить жажду. Два дня сжигало нас солнце и не было тени, чтобы укрыться. Много мужчин и женщин искали спасения в прохладном океане, и кипящие буруны выбрасывали на скалы их тела. Новая казнь – нас роями осаждали мухи. Кое-кто из мужчин пытался вплавь добраться до шхун, но всех их до одного пристрелили в воде. Те из нас, кто остался жив, горько сожалели, что напали на трехмачтовое судно, вошедшее в лагуну для ловли трепангов.

Наутро третьего дня к нам подъехала лодка, в ней сидели три капитана вместе с помощником. Вооруженные до зубов, они вступили с нами в переговоры. Они только потому прекратили избиение, объявили капитаны, что устали нас убивать. А мы уверяли их, что раскаиваемся, никогда мы больше не поднимем руку на белого человека и в доказательство своей покорности посыпали голову песком.

Тут наши женщины и дети стали громко вопить, моля дать им воду, и долгое время ничего нельзя было разобрать. Наконец мы услышали свой приговор. Нам было приказано нагрузить все три корабля копррой и трепангами. Мы согласились. Нас мучила жажда, и мужество оставило нас: теперь мы знали, что в бою канаки сущие дети по сравнению с белыми, которые сражаются, как дьяволы. А когда переговоры кончились, помощник встал и, насмехаясь, закричал нам вслед: «Ату их, ату!» После этого мы сели в лодки и отправились на поиски воды. Проходили недели, а мы все ловили и сушили трепангов, собирали кокосы и готовили из них копру. День и ночь дым густой пеленой стлался над всеми островами Оолонга – так искупали мы свою вину. Ибо в те дни смерти нам каленым железом выжгли в мозгу, что нельзя поднимать руку на белого человека.

Но вот трюмы шхун наполнились трепангами и копррой, а наши пальмы были начисто обобраны. И тогда три капитана и помощник снова созвали нас для важного разговора. Они сказали, что сердце у них радуется, так хорошо канаки затвердили свой урок, а мы в тысячный раз уверяли их в своем раскаянии и клялись, что больше это не повторится, и опять посыпали голову песком. И капитаны сказали, что все это очень хорошо. Но в знак своей милости они приставят к нам дьявола, дьявола из дьяволов, чтобы было кому нас остеречь, если мы задумаем зло против белого человека. И тогда помощник, чтобы поглумиться над нами, еще раз крикнул: «Ату их, ату!» Шестеро наших, которых мы уже оплакивали, как мертвых, были спущены на берег, после чего корабли, подняв паруса, ушли к Соломоновым островам.

Шесть высаженных на берег канаков первыми пали жертвой страшного дьявола, которого приставили к нам капитаны.

– Вас посетила тяжкая болезнь? – перебил я, сразу раскусив, в чем заключалась хитрость белых.

На борту одной из шхун свирепствовала корь, и пленников умышленно заразили этой болезнью.

– Да, тяжкая болезнь. Это был могущественный дьявол. Самые древние старики не слыхали о таком. Мы убили последних жрецов, остававшихся в живых за то, что они не могли справиться с этим дьяволом. Болезнь что ни день становилась злее. Я уже говорил, что тогда, на песчаной отмели, бедро к бедру и плечо к плечу стояли десять тысяч человек. Когда же болезнь ушла прочь, нас осталось только три тысячи. И так как все кокосы ушли на копру, в стране начался голод.

– Этот купец, – сказал Отти в заключение, – он кучка навоза, что валяется на дороге. Он гнилой мясо, черви его кай-кай, он смердит. Он пес, шелудивый пес, его заедат блохи. Канак, он не бойся купец. Он бойся белый человек. Он слишком хорошо знает, что значит – убей белый человек. Шелудивый пес купец, он имей много братья, братья не давай его в обиду, они сражайся, как дьявол. Канак, он не бойся окаянный купец. Канак злой-злой, он рад убей купец, но он помни страшный дьявол. Помощник кричит: «Ату их, ату!», и канак, он не убивай.

Отти зубами вырвал кусок мякоти из брюшка огромной, судорожно бившейся макрели, насадил на крючок, и крючок с наживкой, озаренный призрачным светом, стал быстро погружаться на дно.

– Акула марш-марш, – сказал Отти. – Теперь нас поймай много-много рыбы.

Поплавок отчаянно дернуло. Старик потащил леску, осторожно выбирая ее руками, и большая треска, сердито раззевая пасть, шлепнулась на дно лодки.

– Солнце, он вставай, – сказал Отти, – моя неси окаянный купец большой-большой рыба задаром.

\* \* \*

## БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ

– Кармен и двух дней не протянет.

Мэйсон выплюнул кусок льда и уныло посмотрел на несчастное животное, потом, поднеся лапу собаки ко рту, стал опять скусывать лед, намерзший большими шишками у нее между пальцев.

– Сколько я ни встречал собак с затейливыми кличками, все они никуда не годились, – сказал он, покончив со своим делом, и оттолкнул собаку. – Они слабеют и в конце концов издыхают. Ты видел, чтобы с собакой, которую зовут попросту Касьяр, Сиваш или Хаски, приключилось что-нибудь неладное? Никогда! Посмотри на Шукума: он...

Раз! Отощавший пес взметнулся вверх, едва не вцепившись клыками Мэйсону в горло.

– Ты что это придумал?

Сильный удар по голове рукояткой бича опрокинул собаку в снег; она судорожно вздрагивала, с клыков у нее капала желтая слюна.

– Я и говорю, посмотри на Шукума: Шукум маху не даст. Бьюсь об заклад, не пройдет и недели, как он задерет Кармен.

– А я, – сказал Мэйлмют Кид, переворачивая хлеб, оттаивающий у костра, – бьюсь об заклад, что мы сами съедим Шукума, прежде чем доберемся до места. Что ты на это скажешь, Руфь?

Индианка бросила в кофе кусочек льда, чтобы осела гуща, перевела взгляд с Мэйлмюта Кида на мужа, затем на собак, но ничего не ответила. Столь очевидная истина не требовала подтверждения. Другого выхода им не оставалось. Впереди двести миль по непроложенному пути, еды хватит всего дней на шесть, а для собак и совсем ничего нет.

Оба охотника и женщина придвинулись к костру и принялись за скудный завтрак. Собаки лежали в упряжке, так как это была короткая дневная стоянка, и завистливо следили за каждым их куском.

– С завтрашнего дня никаких завтраков, – сказал Мэйлмют Кид, – и не спускать глаз с собак; они совсем от рук отбились, того и гляди, набросятся на нас, если подвернется удобный случай.

– А ведь когда-то я был главой методистской общины и преподавал в воскресной школе!

И, неизвестно к чему объявив об этом, Мэйсон погрузился в созерцание своих мокасин, от которых шел пар. Руфь вывела его из задумчивости, налив ему чашку кофе.

– Слава богу, что у нас вдоволь чая. Я видел, как чай растет, дома, в Теннесси. Чего бы я

теперь не дал за горячую кукурузную лепешку!.. Не горюй, Руфь, еще немного, и тебе не придется больше голодать, да и мокасины не надо будет носить.

При этих словах женщина перестала хмуриться, и глаза ее засветились любовью к ее белому господину – первому белому человеку, которого она встретила, первому мужчине, который показал ей, что в женщине можно видеть не только животное или вьючную скотину.

– Да, Руфь, – продолжал ее муж на том условном языке, единственно на котором они и могли объясняться друг с другом, – вот скоро мы выберемся отсюда, сядем в лодку белого человека и поедем к Соленой Воде. Да, плохая вода, бурная вода – словно водяные горы скачут вверх и вниз. А как ее много, как долго по ней ехать! Едешь десять снов, двадцать снов – для большей наглядности Мэйсон отсчитывал дни на пальцах, – и все время вода, плохая вода. Потом приедем в большое селение, народу много, все равно как мошкары летом. Вигвамы вот какие высокие – в десять, двадцать сосен!.. Эх!

Он замолчал, не находя слов, и бросил умоляющий взгляд на Мэйлмюта Кида, потом старательно стал показывать руками, как это будет высоко, если поставить одну на другую двадцать сосен. Мэйлмют Кид насмешливо улыбнулся, но глаза Руфи расширились от удивления и счастья; она думала, что муж шутит, и такая милость радовала ее бедное женское сердце.

– А потом сядем в... в ящик, и – пифф! – поехали. – В виде пояснения Мэйсон подбросил в воздух пустую кружку и, ловко поймав ее, закричал: – И вот – пафф! – уже приехали! О великие шаманы! Ты едешь в Форт Юкон, а я еду в Арктик-сити – двадцать пять снов. Длинная веревка оттуда сюда, я хватаюсь за эту веревку и говорю: «Алло, Руфь! Как живешь?» А ты говоришь: «Это ты, муженек?» Я говорю: «Да». А ты говоришь: «Нельзя печь хлеб: больше соды нет». Тогда я говорю: «Посмотри в чулане, под мукой. Прощай!» Ты идешь в чулан и берешь соды сколько нужно. И все время ты в Форте Юкон, а я – в Арктик-сити. Вот они какие, шаманы!

Руфь так простодушно улыбнулась этой волшебной сказке, что мужчины покатались со смеху. Шум, поднятый дерущимися собаками, оборвал рассказы о чудесах далекой страны, и к тому времени, когда драчунов разняли, женщина уже успела увязать нарты, и все было готово, чтобы двинуться в путь.

– Вперед, Лысый! Эй, вперед!

Мэйсон ловко щелкнул бичом и, когда собаки начали, потихоньку повизгивая, натягивать постромки, уперся в поворотный шест и сдвинул с места примерзшие нарты. Руфь следовала за ним со второй упряжкой, а Мэйлмют Кид, помогавший ей тронуться, замыкал шествие. Сильный и суровый человек, способный свалить быка одним ударом, он не мог бить несчастных собак и по возможности щадил их, что погонщики делают редко. Иной раз Мэйлмют Кид чуть не плакал от жалости, глядя на них.

– Ну вперед, хромоногие! – пробормотал он после нескольких тщетных попыток сдвинуть тяжелые нарты.

Наконец его терпение было вознаграждено, и, повизгивая от боли, собаки бросились догонять своих собратьев.

Разговоры смолкли. Трудный путь не допускает такой роскоши. А езда на севере – тяжкий, убийственный труд. Счастлив тот, кто ценою молчания выдержит день такого пути, и то еще по проложенной тропе.

Но нет труда изнурительнее, чем прокладывать дорогу. На каждом шагу широкие плетеные лыжи проваливаются, и ноги уходят в снег по самое колено. Потом надо осторожно

вытаскивать ногу – отклонение от вертикали на ничтожную долю дюйма грозит бедой, – пока поверхность лыжи не очистится от снега. Тогда шаг вперед – и начинаешь поднимать другую ногу, тоже по меньшей мере на пол-ярда. Кто проделывает это впервые, валится от изнеможения через сто ярдов, даже если до того он не зацепит одной лыжей за другую и не растянется во весь рост, доверившись предательскому снегу. Кто сумеет за весь день ни разу не попасть под ноги собакам, тот может с чистой совестью и с величайшей гордостью забираться в спальный мешок; а тому, кто пройдет двадцать снов по великой Северной Тропе, могут позавидовать и боги.

День клонился к вечеру, и подавленные величием Белого Безмолвия путники молча прокладывали себе путь. У природы много способов убедить человека в его смертности: непрерывное чередование приливов и отливов, ярость бури, ужасы землетрясения, громовые раскаты небесной артиллерии. Но всего сильнее, всего сокрушительнее – Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством, и человек пугается собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающаяся по призрачной пустыне мертвого мира, он страшится своей дерзости, остро сознавая, что он всего лишь червь. Сами собой возникают странные мысли, тайна вселенной ищет своего выражения. И на человека находит страх перед смертью, перед богом, перед всем миром, а вместе со страхом – надежда на воскресение и жизнь и тоска по бессмертию – тщетное стремление плененной материи; вот тогда-то человек остается наедине с богом.

День клонился к вечеру. Русло реки делало тут крутой поворот, и Мэйсон, чтобы срезать угол, направил свою упряжку через узкий мыс. Но собаки никак не могли взять подъем. Нарты сползали вниз, несмотря на то, что Руфь и Мэйлмют Кид подталкивали их сзади. Еще одна отчаянная попытка; несчастные, ослабевшие от голода животные напрягли последние силы.

Выше, еще выше – нарты выбрались на берег. Но тут вожак потянул упряжку вправо, и нарты наехали на лыжи Мэйсона. Последствия были печальные: Мэйсона сбilo с ног, одна из собак упала, запутавшись в постромках, и нарты покатались вниз по откосу, увлекая за собой упряжку.

Хлоп! Хлоп! Бич так и свистел в воздухе, и больше всех досталось упавшей собаке.

– Перестань, Мэйсон! – вступился Мэйлмют Кид. – Несчастливая и так при последнем издыхании. Постой, мы сейчас припряжем моих.

Мэйсон выждал, когда тот кончит говорить, – и длинный бич обвился вокруг провинившейся собаки. Кармен – это была она – жалобно взвизгнула, зарылась в снег, потом перевернулась на бок.

То была трудная, тягостная минута для путников: издыхает собака, ссорятся двое друзей. Руфь умоляюще переводила взгляд с одного на другого. Но Мэйлмют Кид сдержал себя, хотя глаза его и выражали горький укор, и, наклонившись над собакой, обрезал постромки. Никто не проронил ни слова. Упряжки спарили, подъем был взят; нарты снова двинулись в путь. Кармен из последних сил тащилась позади. Пока собака может идти, ее не пристреливают, у нее остается последний шанс на жизнь: дотащиться до стоянки, а там, может быть, люди убьют лося.

Раскаиваясь в своем поступке, но из упрямства не желая сознаться в этом, Мэйсон шел впереди и не подозревал о надвигающейся опасности. Они пробирались сквозь густой кустарник в низине. Футах в пятидесяти в стороне высилась старая сосна. Века стояла она здесь, и судьба веками готовила ей такой конец – ей, а, может быть, заодно и Мэйсону.

Он остановился завязать ослабнувший ремень на мокасине. Нарты стали, и собаки молча легли на снег. Вокруг стояла зловещая тишина, ни единого движения не было в осыпанном



снегом лесу; холод и безмолвие заморозили сердце и сковали дрожащие уста природы. Вдруг в воздухе пронесся вздох; они даже не услышали, а скорее ощутили его как предвестника движения в этой неподвижной пустыне. И вот огромное дерево, склонившееся под бременем лет и тяжестью снега, сыграло свою последнюю роль в трагедии жизни. Мэйсон услышал треск, хотел было отскочить в сторону, но не успел он выпрямиться, как дерево придавило его, ударив по плечу.

Внезапная опасность, мгновенная смерть – как часто Мэйлмют Кид сталкивался с тем и другим! Еще дрожали иглы на ветвях, а он уже успел отдать приказание женщине и кинуться на помощь. Индианка тоже не упала без чувств и не стала проливать ненужные слезы, как это сделали бы многие из ее белых сестер. По первому слову Мэйлмюта Кида она всем телом налегла на приспособленную в виде рычага палку, ослабляя тяжесть и прислушиваясь к стонам мужа, а Мэйлмют Кид принялся рубить дерево топором. Сталь весело звенела, вгрызаясь в промерзший ствол, и каждый удар сопровождался натужным, громким выдохом Мэйлмюта Кида.

Наконец, Кид положил на снег жалкие останки того, что так недавно было человеком. Но страшнее мучений его товарища была немая скорбь в лице женщины и ее взгляд, исполненный и надежды и отчаяния. Сказано было мало: жители Севера рано познают тщету слов и неоценимое благо действий. При температуре в шестьдесят пять градусов ниже нуля [1] человеку нельзя долго лежать на снегу. С нарт срезали ремни, и несчастного Мэйсона закутали в звериные шкуры и положили на подстилку из веток. Запылал костер; на топливо пошло то самое дерево, что было причиной несчастья. Над костром устроили примитивный полог: натянули кусок парусины, чтобы он задерживал тепло и отбрасывал его вниз, – способ, хорошо известный людям, которые учатся физике у природы.

Те, кто не раз делил ложе со смертью, узнают ее зов. Мэйсон был страшным образом искалечен. Это стало ясно даже при беглом осмотре: перелом правой руки, бедра и позвоночника; ноги парализованы; вероятно, повреждены и внутренние органы. Только редкие стоны несчастного свидетельствовали о том, что он еще жив.

Никакой надежды, сделать ничего нельзя. Медленно тянулась безжалостная ночь. Руфь встретила ее со стоическим отчаянием, свойственным ее народу; на бронзовом лице Мэйлмюта Кида прибавилось несколько морщин. В сущности, меньше всего страдал Мэйсон, – он перенесся в Восточный Теннесси, к Великим Туманным Горам, и вновь переживал свое детство. Трогательно звучала мелодия давно забытого южного города: он бредил о купании в озерах, об охоте на енота и набегах за арбузами. Для Руфи это были только невнятные звуки, но Кид понимал все, и каждое слово отдавалось в его душе – так может сочувствовать только тот, кто долгие годы был лишен всего, что зовется цивилизацией.

Утром умирающий пришел в себя, и Мэйлмют Кид наклонился к нему, стараясь уловить его шепот:

– Помнишь, как мы встретились на Танане?.. Четыре года минет в ближайший ледоход... Тогда я не так уж любил ее, просто она была хорошенькая... вот и увлекся. А потом привязался к ней. Она была хорошей женой, в трудную минуту всегда рядом. А уж что касается нашего промысла, сам знаешь – равной ей не сыскать... Помнишь, как она переплыла пороги Оленьи Рога и сняла нас с тобой со скалы, да еще под градом пуль, хлеставших по воде? А голод в Нуклукайто? А как она бежала по льдам, торопилась скорее передать нам вести? Да, Руфь была мне хорошей женой – лучшей, чем та, другая... Ты не знал, что я был женат? Я не говорил тебе? Да, попробовал раз стать женатым человеком... дома, в Штатах. Оттого-то и попал сюда. А ведь вместе росли. Уехал, чтобы дать ей повод к разводу. Она его получила.

Руфь – дело другое. Я думал покончить здесь со всем и уехать в будущем году вместе с ней.

Но теперь поздно об этом говорить. Не отправляй Руфь назад к ее племени, Кид. Слишком трудно ей будет там. Подумай только: почти четыре года есть с нами бобы, бекон, хлеб, сушеные фрукты – и после этого опять рыба да оленина! Узнать более легкую жизнь, привыкнуть к ней, а потом вернуться к старому. Ей будет трудно. Позаботься о ней, Кид... Почему бы тебе... да нет, ты всегда сторонился женщин... Я ведь так и не узнаю, что тебя привело сюда. Будь добр к ней и отправь ее в Штаты как можно скорее. Но если она будет тосковать по родине, помоги ей вернуться.

Ребенок... он еще больше сблизил нас, Кид. Хочу надеяться, что будет мальчик. Ты только подумай, Кид! Плоть от плоти моей. Нельзя, чтобы он оставался здесь. А если девочка... нет, этого не может быть... Продай мои шкуры: за них можно выручить тысяч пять, и еще столько же у меня за Компанией. Устраивай мои дела вместе со своими. Думаю, что наша заявка себя оправдывает... Дай ему хорошее образование... а главное, Кид, чтобы он не возвращался сюда. Здесь не место белому человеку.

Моя песенка спета, Кид. В лучшем случае – три или четыре дня. Вам надо идти дальше. Вы должны идти дальше! Помни, это моя жена, мой сын... Господи! Только бы мальчик! Не оставайтесь со мной. Я приказываю вам уходить. Послушайся умирающего!

– Дай мне три дня! – взмолился Мэйлмют Кид. – Может быть, тебе станет легче; еще неизвестно, как все обернется.

– Нет.

– Только три дня.

– Уходите!

– Два дня.

– Это моя жена и мой сын, Кид. Не проси меня.

– Один день!

– Нет! Я приказываю!

– Только один день! Мы как-нибудь протянем с едой; я, может быть, подстрелю лося.

– Нет!.. Ну ладно: один день, и ни минуты больше. И еще, Кид: не оставляй меня умирать одного. Только один выстрел, только раз нажать курок. Ты понял? Помни это. Помни!.. Плоть от плоти моей, а я его не увижу... Позови ко мне Руфь. Я хочу проститься с ней... скажу, чтобы помнила о сыне и не дожидалась, пока я умру. А не то она, пожалуй, откажется идти с тобой. Прощай, друг, прощай! Кид, постой... надо копать выше. Я намывал там каждый раз центов на сорок. И вот еще что, Кид...

Тот наклонился ниже, ловя последние, едва слышные слова – признание умирающего, смирившего свою гордость.

– Прости меня... ты знаешь за что... за Кармен.

Оставив плачущую женщину подле мужа, Мэйлмют Кид натянул на себя парку[2], надел лыжи и, прихватив ружье, скрылся в лесу. Он не был новичком в схватке с суровым Севером, но никогда еще перед ним не стояла столь трудная задача. Если рассуждать отвлеченно, это была простая арифметика – три жизни против одной, обреченной. Но Мэйлмют Кид колебался. Пять лет дружбы связывали его с Мэйсоном – в совместной жизни на стоянках и приисках, в странствиях по рекам и тропам, в смертельной опасности, которую они встречали плечом к плечу на охоте, в голод, в наводнение. Так прочна была их связь, что он часто

чувствовал смутную ревность к Руфи, с первого дня, как она стала между ними. А теперь эту связь надо разорвать собственной рукой.

Он молил небо, чтобы оно послало ему лося, только одного лося, но, казалось, зверь покинул страну, и под вечер, выбившись из сил, он возвращался с пустыми руками и с тяжелым сердцем. Оглушительный лай собак и пронзительные крики Руфи заставили его ускорить шаг.

Подбежав к стоянке, Мэйлмют Кид увидел, что индианка отбивается топором от окружившей ее рычащей своры. Собаки, нарушив железный закон своих хозяев, набросились на съестные припасы. Кид поспешил на подмогу, действуя прикладом ружья, и древняя трагедия естественного отбора разыгралась во всей своей первобытной жестокости. Ружье и топор размеренно поднимались и опускались, то попадая в цель, то мимо; собаки, извиваясь, метались из стороны в сторону, яростно сверкали глаза, слюна капала с оскаленных морд. Человек и зверь исступленно боролись за господство. Потом избитые собаки уползли подальше от костра, зализывая раны и обращая к звездам жалобный вой.

Весь запас вяленой рыбы был уничтожен, и на дальнейший путь в двести с лишком миль оставалось не более пяти фунтов муки. Руфь снова подошла к мужу, а Мэйлмют Кид освеживал одну из собак, череп которой был проломлен топором, и нарубил кусками еще теплое мясо. Все куски он спрятал в надежное место, а шкуру и требуху бросил недавним товарищам убитого пса.

Утро принесло новые заботы. Собаки грызлись между собой. Свора набросилась на Кармен, которая все еще цеплялась за жизнь. Посыпавшиеся на них удары бича не помогли делу. Собаки взвизгивали и припадали к земле, но только тогда разбежались, когда от Кармен не осталось ни костей, ни клочка шерсти.

Мэйлмют Кид принялся за работу, прислушиваясь к бреду Мэйсона, который снова перенесся в Теннесси, снова произносил несвязные проповеди, убеждая в чем-то своих собратьев.

Сосны стояли близко, и Мэйлмют Кид быстро делал свое дело: Руфь наблюдала, как он сооружает хранилище, какие устраивают охотники, желая уберечь припасы от росомех и собак. Он нагнул верхушки двух сосенок почти до земли и связал их ремнями из оленьей кожи. Затем, ударами бича смилив собак, запряг их в нарты и погрузил туда все, кроме шкур, в которые был закутан Мэйсон. Товарища он обвязал ремнями, прикрепив концы их к верхушкам сосен. Один взмах ножа – и сосны выпрямятся и поднимут тело высоко над землей.

Руфь безропотно выслушала последнюю волю мужа. Бедняжку не надо было учить послушанию. Еще девочкой она вместе со всеми женщинами своего племени преклонялась перед властелином всего живущего, перед мужчиной, которому не подобает прекословить. Кид не стал утешать Руфь, когда та напоследок поцеловала мужа, – ее народ не знает такого обычая, – а потом отвел ее к передним нартам и помог надеть лыжи. Как слепая, она машинально взялась за шест, взмахнула бичом и, погоняя собак, двинулась в путь. Тогда он вернулся к Мэйсону, впадшему в беспамятство; Руфь уже давно скрылась из виду, а он все сидел у костра, ожидая смерти друга и моля, чтобы она пришла скорее.

Нелегко оставаться наедине с горестными мыслями среди Белого Безмолвия. Безмолвие мрака милосердно, оно как бы защищает человека, согревая его неуловимым сочувствием, а прозрачно-чистое и холодное Белое Безмолвие, раскинувшееся под стальным небом, безжалостно.

Прошел час, два – Мэйсон не умирал. В полдень солнце не показываясь над горизонтом, озарило небо красноватым светом, но он вскоре померк. Мэйлмют Кид встал, заставил себя подойти к Мэйсону и огляделся по сторонам. Белое Безмолвие словно издевалось над ним.

Его охватил страх. Раздался короткий выстрел. Мэйсон взлетел ввысь, в свою воздушную гробницу, а Мэйлмут Кид, нахлестывая собак, во весь опор помчался прочь по снежной пустыне.

\* \* \*

## БЕЛЫЕ И ЖЕЛТЫЕ

Залив Сан-Франциско так огромен, что штормы, которые свирепствуют, для океанского судна подчас страшнее, чем самая яростная погода на океане. Какой только рыбы нет в этом заливе, и какие только рыбацьи суденышки с командой из лихих удальцев на борту не бороздят его воды! Существует много разумных законов, призванных оберегать рыбу от этого пестрого сброда, и специальный рабочий патруль следит, чтобы эти законы неукоснительно соблюдались. Бурная и переменчивая судьба выпала на долю патрульных: часто терпят они поражение и отступают, не досчитавшись кого-нибудь из своих, но еще чаще возвращаются с победой, уложив браконьера на месте преступления – там, где он незаконно закинул свои сети.

Самыми отчаянными среди рыбаков были, пожалуй, китайские ловцы креветок. Креветки обычно ползают по дну моря несметными полчищами, но, добравшись до пресной воды, сразу поворачивают назад. Китайцы, пользуясь промежутками между приливом и отливом, забрасывают на дно стальной кошельковый невод, креветки заползают в него, а оттуда попадают прямехонько в котел с кипящей водой. Собственно говоря, ничего плохого в этом нет, да вот беда: ячейки у сетей до того мелкие, что даже крошечные, едва вылупившиеся мальки, длиной меньше четверти дюйма, и те не могут сквозь них пролезть. К чудесным берегам мыса Педро и мыса Пабло, где стоят поселки китайских рыбаков, просто невозможно было подступиться: там грудями валялась гниющая рыба, и воздух был отравлен ее зловонием. Против такого бессмысленного истребления рыбы и призван был бороться рыбацкий патруль.

Мне было шестнадцать лет, я отлично умел управлять парусным судном и знал залив, как свои пять пальцев, когда мой шлюп «Северный олень» зафрахтовала рыболовная компания и я должен был временно стать одним из помощников патрульных. Немало повозившись в Верхней бухте и впадающих в нее реках с греческими рыбаками, которые чуть что пускают в ход ножи и дают себя арестовать только под дулом револьвера, мы были рады отправиться в Нижнюю бухту на усмирение бесчинствующих ловцов креветок.

Нас было шестеро на двух судах, и, чтобы не вызвать подозрений, мы вышли с вечера и бросили якорь под прикрытием крутого берега мыса Пиноль. Едва на востоке забрезжил рассвет, мы снялись с якоря и, взяв круто к береговому бризу, пересекли залив, держа на мыс Педро. Вокруг не было видно ни зги, над самой водой стлался холодный утренний туман, и мы, чтобы не продрогнуть вконец, пили горячий кофе. Кроме того, нам приходилось заниматься пренеприятным делом – вычерпывать воду, так как «Северный олень» по непонятной причине дал порядочную течь. Мы провозились чуть ли не всю ночь, перетаскивая балласт и осматривая пазы, но, сколько ни бились, ничего не нашли. А вода все прибывала, и мы волей-неволей принялись ее вычерпывать, согнувшись в три погибели в тесном кокпите.

Напившись кофе, трое из нас перешли на другой парусник с реки Колумбия – на нем раньше ловили лососей, – а трое остались на «Северном олене». Оба судна шли борт о борт, пока из-за горизонта не показалось солнце. Его горячие лучи разогнали непроглядный туман, и перед нашими глазами, словно на картине, предстала целая флотилия китайских джонок,

растянувшаяся широким полукругом, между концами которого насчитывалось добрых три мили, причем каждая джонка была пришвартована к буйку ставного невода. Но на джонках – ни души, ни малейших признаков жизни.

Мы сразу смекнули, в чем дело. Дожидаясь отлива, когда легче будет поднять со дна тяжелые сети, китайцы улеглись спать в своих джонках. Это было нам на руку, и мы живо разработали план нападения.

– Пусть каждый из твоих ребят прыгнет в джонку, – шепнул мне Ле Грант с речного парусника. – А к третьей джонке пришвартуйся ты сам. Мы поступим точно так же, и провалиться мне на этом месте, если мы не захватим по крайней мере шесть джонок.

Мы разделились. Я положил «Северного оленя» на другой галс, обогнул одну из джонок с подветренного борта, взял грот к ветру и, теряя скорость, прошел мимо кормы джонки, почти вплотную к ней и притом так медленно, что один из патрульных без труда спрыгнул в нее. Тогда я отвел «Северного оленя» в сторону, забрал ветер и направил шлюп к соседней джонке.

До сих пор все было тихо, но вот на первой джонке, захваченной парусником с реки Колумбия, грянул пушечный выстрел, потом снова послышался крик.

– Все пропало! Это они предупреждают своих, – сказал Джордж, стоявший рядом со мной в кокпите.

Мы были уже в самой гуще джонок, где тревога распространялась с непостижимой быстротой. На палубы выскакивали сонные полуголые китайцы. Над тихой водой пронеслись предостерегающие крики и проклятия, кто-то громко затрубил в раковину. Я видел, как справа от нас главный на джонке обрубил топором швартовы и бросился помогать команде ставить огромный, диковинный парус. Но слева, на другой джонке, китайцы еще только высовывали головы наружу, и я, повернув шлюп, подошел к ней так, чтобы Джорджи мог спрыгнуть на палубу.

Теперь уже все джонки обратились в бегство. Кроме парусов, они пустили в ход длинные весла и рассыпались по всему заливу. Я остался один на «Северном олене» и лихорадочно высматривал добычу. Первая моя попытка оказалась очень неудачной, потому что китайцы выбрали шкоты, и джонка быстро оставила меня за кормой. При этом она встала к ветру на целых полрумба круче, чем «Северный олень», так что я невольно почувствовал уважение к суденышку, которое казалось мне таким неуклюжим. Махнув на нее рукой, я переменял галс, вытравил грота-шкот и пошел фордевинд прямо на джонки, которые были у меня с подветренного борта, чтобы использовать таким образом свое преимущество.

Джонка, на которую я нацелился, беспорядочно заметалась, но когда я описал плавную дугу, чтобы взять ее на абордаж, избежав резкого столкновения, она вдруг переменяла галс и, забрав ветер, ринулась прочь, а хитрые азиаты, налегая на весла, подбодряли себя дружными криками. Однако я был готов к этому маневру: не теряя ни секунды, я привел шлюп к ветру, положил руль на наветренный борт и навалился на румпель всем телом, на ходу выбирая обеими руками грота-шкот, чтобы по возможности ослабить удар. Два весла с правого борта джонки переломились, и наши суда столкнулись с громким треском. Бушприт «Северного оленя», словно гигантская рука, протянувшись вперед, сорвал с джонки неуклюжую мачту вместе с пузатым парусом.

На джонке раздался яростный вопль, от которого кровь застыла у меня в жилах. Здоровенный китаец, чья голова была повязана желтым шелковым платком, а злобное лицо усеяно оспинами, уперся багром в нос моего шлюпа, чтобы оттолкнуться от него. Я отдал кливер-фал и, выждав, пока «Северного оленя» отнесло немного назад, спрыгнул на джонку с концом в руках и пришвартовался к ней. Щербатый китаец с желтым платком на голове

угрожающе шагнул ко мне, но я сунул руку в карман брюк, и он остановился в нерешительности. Оружия у меня не было, но китайцы, наученные горьким опытом, опасаются этого кармана, и я надеялся таким образом удержать самого главаря и его отчаянных людей на почтительном расстоянии.

Я приказал ему отдать носовой якорь, на что он ответил: «Моя не понимаю». То же самое твердили все остальные, и хотя я объяснял им знаками, что нужно сделать, они упорно отказывались меня понимать. Видя, что пререкаться бесполезно, я сам пошел на нос, размотал канат и отдал якорь.

– Вот вы, четверо, марш на шлюп! – крикнул я и объяснил на пальцах, что четверо должны последовать за мной, а пятый останется на джонке. Желтый Платок колебался, но я повторил приказ свирепым тоном (хотя на самом деле я не так уж сильно рассвирепел) и снова сунул руку в карман. Желтый Платок струхнул и, бросая на меня злобные взгляды, повел трех своих людей на «Северного оленя». Я тотчас отдал швартовы и, не поднимая кливера, направил шлюп к джонке, на которую спрыгнул Джордж. Подойдя к ней, я вздохнул свободнее, потому что теперь нас стало двое, да к тому же у Джорджа на крайний случай был револьвер. С этой джонкой мы поступили точно так же, как и с первой, – четверых китайцев взяли на шлюп, а одного оставили стеречь судно.

Затем мы взяли еще четверых китайцев с третьей джонки. К этому времени речной парусник тоже захватил двенадцать пленников и, перегруженный подошел к нам. Как на грех, суденышко было такое маленькое, что патрульные, зажатые в толпе китайцев, едва могли шевельнуться и в случае бунта оказались бы бессильными против своих пленников.

– Выручайте, друзья, – сказал Ле Грант.

Я оглядел своих пленников, которые сгрудились в каюте или залезли на крышу рубки.

– Троих мы, пожалуй, можем взять, – сказал я.

– Бери уж четверых для ровного счета, – попросил Ле Грант. – А мне отдай Билла (Билл – это третий патрульный с «Северного оленя»). Нам тут повернуться негде, так что ежели случится попасть в переделку, один патрульный против двух китайцев будет в самый раз.

Так мы и сделали, после чего Ле Грант поднял парус, и его судно пошло по заливу к устью заболоченной реки Сан-Рафаэль. Я поставил кливер и двинулся следом. Город Сан-Рафаэль, где мы должны были сдать пленников властям, был связан с заливом длинной и извилистой рекой, судоходной только во время прилива. Теперь прилив кончался, близился отлив, и нужно было спешить, чтобы не дожидаться целых полдня следующего прилива.

Но чем выше поднималось солнце, тем слабее дул береговой бриз – теперь он налетал лишь слабыми, замирающими порывами. Судно Ле Гранта шло на веслах и вскоре оставило нас далеко позади. Несколько китайцев стояли в кокпите, у люка каюты, и один раз, перегнувшись через поручни кокпита, чтобы выбрать кливершкот, я почувствовал, как кто-то быстро ощупал мой карман. Я и вида не подал, что обратил на это внимание, но уголком глаза заметил, как на лице у Желтого Платка промелькнуло злорадство: он убедился, что пугавший его карман пуст.

А тут еще на беду, гоняясь за джонками, мы позабыли вычерпать из шлюпа воду, и теперь она начала заливать кокпит. Китайцы указывали на воду пальцами и вопросительно поглядывали на меня.

– Да, – сказал я. – Наша скоро пойдет ко дну, если твоя не черпай воду. Понимай?

Нет, они «не понимаю», во всяком случае, они энергично трясли головами, хотя при этом

весьма красноречиво переговаривались на своем тарабарском языке. Я поднял три или четыре доски, достал из рундука пару ведер и с помощью самых недвусмысленных жестов велел китайцам приниматься за дело. Но они, рассмеявшись мне в лицо, преспокойно вернулись в каюту или снова полезли на крышу рубки.

Смех китайцев не предвещал ничего хорошего. В нем звучала угроза, подкрепляемая злобными взглядами. Желтый Платок, убедившись, что я безоружен, совсем обнаглел и расхаживал среди пленников, настойчиво подбивая их на что-то.

Скрывая свою досаду, я спустился в кокпит и сам стал вычерпывать воду. Но едва я взялся за ведро, как у меня над головой просвистел гик, судно резко легло на другой галс, грот наполнился ветром, и шлюп дал крен. Это задул морской бриз. Джордж был самой настоящей сухопутной крысой, так что мне пришлось бросить ведро и снова взяться за румпель. Ветер дул прямо со стороны замкнутого высокими горами мыса Педро и поэтому был шквалистый и коварный: паруса то наполнялись, то без толку полоскались на реях.

От Джорджа не было никакого толку – в жизни я еще не встречал более беспомощного человека. Кроме всего прочего, у него была еще чахотка, и я знал, что, если заставить его вычерпывать воду, у него может пойти горлом кровь. А вода все прибывала, медлить было нельзя. Я снова приказал китайцам взяться за ведра. Они дерзко расхохотались, и те, что стояли в каюте по щиколотку в воде, начали громко переговариваться со своими соплеменниками, сидевшими на крыше.

– Вынь-ка свою пушку да заставь их поработать, – сказал я Джорджу.

Но он только покачал головой, и мне стало ясно, что он струсил. Китайцы не хуже меня поняли это, и наглость их стала просто невыносимой. Они взломали в каюте ящик с провизией, а те, что сидели на крыше рубки, спрыгнули вниз, и все вместе стали лакомиться нашими галетами и консервами.

– Наплевать нам на это, – сказал Джордж дрожащим голосом.

Меня душил бессильный гнев.

– Если они выйдут из повиновения, будет поздно. Лучше сразу поставить их на место.

А вода все поднималась, и порывы ветра – первые вестники устойчивого бриза – становились все сильнее и сильнее. Наши пленники, покончив с недельным запасом провизии, едва затихал ветер, дружно перебежали от одного борта к другому, шлюп раскачивался и прыгал по воде, как яичная скорлупка. Желтый Платок подошел ко мне и, указывая на берег мыса Педро, где находилась его деревня, объяснил, что, если я поверну туда и высажу их на берег, они готовы вычерпывать воду. В каюте вода уже поднялась до уровня коек, простыни намокли. В кокпите глубина ее достигла целого фута. И все же я наотрез отказался. На лице Джорджа отразилось разочарование.

– Будь же мужчиной, не то они выбросят нас за борт, – сказал я ему. – Дай-ка сюда револьвер, так оно вернее.

– Вернее всего было бы посадить их на берег, – малодушно отозвался он. – Право, у меня нет никакой охоты утонуть из-за горстки паршивых китайцев.

– А у меня, право, нет никакой охоты сдаваться на милость горстки паршивых китайцев, только бы не утонуть! – с жаром воскликнул я.

– Но ведь тыпустишь «Северного оленя» ко дну, а вместе с ним и нас, – заскулил он. – Не понимаю, что тут хорошего...

– На вкус, на цвет товарища нет! – отрезал я.

Он промолчал, но я видел, что его бьет дрожь. Угрозы китайцев и неуклонно прибывавшая вода лишили его последних остатков мужества, и я знал, что под влиянием страха он не остановится ни перед чем, лишь бы спасти свою шкуру. Я перехватил тоскливый взгляд, брошенный им на маленький ялик, который шел на буксире за кормой шлюпа, и как только утих очередной порыв ветра, подтянул ялик к борту. В глазах Джорджа блеснула надежда; но прежде, чем он угадал мое намерение, я проломил тонкое дно топором, и ялик осел глубоко в воду.

– Уж если тонуть, так вместе, – сказал я. – Давай сюда револьвер, и я живо заставлю их вычерпать воду.

– Но ведь их так много! – захныкал он. – Нам с ними не справиться.

Я с негодованием повернулся к нему спиной. Парусник Ле Гранта давно уже скрылся за маленьким архипелагом, известным под названием архипелага Марин, и ждать от него помощи было нечего. Желтый Платок развязно подошел ко мне, вода в кокпите лизала ему ноги. Мне не нравился его вид. Под приятной улыбкой, которую он старался изобразить на лице, я угадывал недобрый умысел. Я так грозно приказал ему остановиться, что он повиновался.

– Ни шагу дальше! – крикнул я. – Не смей подходить ко мне.

– Почему так говоришь? – недовольно спросил он. – Моя знает английский много-много.

– Знает по-английски! – воскликнул я с горечью. Ясное дело, он прекрасно понял все, что произошло между Джорджем и мной. – Врешь, ничего ты не знаешь!

Он осклабился во весь рот.

– Нет, моя знает много-много. Моя – честный китаец.

– Ладно, – сказал я. – Знаешь, так знай. Давай вычерпывай воду, а потом будешь разговаривать.

Он покачал головой и кивнул на своих товарищей.

– Никак нельзя. Плохой люди, очень плохой, да, да...

– Ни с места! – крикнул я, заметив, что он сунул руку за пазуху и изготовился к прыжку.

Обескураженный, он вернулся в каюту и стал там что-то лопотать: видно, держал совет со своими. «Северный олень» глубоко осел в воду, отяжелел и почти не слушался руля. При малейшем волнении он неизбежно пошел бы ко дну; но ветер был слабый, он едва морщил водную гладь.

– Послушай, нам лучше бы повернуть к берегу, – заявил вдруг Джордж, и по его тону я понял, что страх придал ему решимости.

– Ни за что! – отозвался я.

– Я тебе приказываю! – сказал он с угрозой в голосе.

– Мне приказано доставить пленников в Сан-Рафаэль, – отозвался я.

Мы почти кричали, и китайцы, услышав перебранку вылезли на палубу.



– Повернешь ты к берегу или нет?

С этими словами Джордж направил на меня револьвер, – этот трус побоялся пустить его в ход против китайцев, а теперь грозил им товарищу!

Словно молния вспыхнула в густом мраке – так ясно увидел я все, что ожидает меня из-за постыдной трусости Джорджа; позорное возвращение без пленников, встреча с Ле Грантом и другими товарищами, жалкие оправдания... Преследуя браконьеров, мы рисковали жизнью, и вот теперь добытая с таким трудом победа ускользает прямо из рук. Краешком глаза я видел, что китайцы столпились у люка и бросают на нас торжествующие взгляды. Врете, не бывать по-вашему!

Я быстро присел и рукой резко отвел дуло револьвера, так, что пуля просвистела у меня высоко над головой. Стиснув одной рукой запястье Джорджа, я другой вцепился в револьвер. Желтый Платок со своими людьми бросился на меня. Наступил решительный момент. Собрав все силы, я резко толкнул Джорджа и, вырвав револьвер, отшвырнул Джорджа от себя. Он упал под ноги Желтому Платку, тот споткнулся, и они оба провалились в дыру там, где я поднял доски. В то же мгновение я направил на китайцев револьвер, и обезумевшие пленники сразу съежились и отступили.

Но вскоре я понял, что одно дело – стрелять в нападающих и совсем другое – в людей, которые просто-напросто отказываются повиноваться. А повиноваться они и не думали. Я грозил им револьвером, а они молча сидели в затопленной каюте и на крыше рубки, не двигаясь с места.

Так прошло минут пятнадцать. «Северный олень» оседал все глубже и глубже, ветра не было, и грот беспомощно полоскал. А потом я увидел, как со стороны мыса Педро на нас двинулась какая-то темная полоса. Это подул устойчивый бриз, которого я так ждал. Я окликнул китайцев и указал им на темную полосу. Они ответили мне радостными воплями. Тогда я указал им на парус и на воду, затопившую шлюп, и знаками объяснил, что, когда ветер наполнит парус, мы опрокинемся. Но они нагло скалили зубы, прекрасно зная, что я могу привести шлюп к ветру и вытравить грота-шкот, чтобы обезветрить паруса и избежать катастрофы.

Но я уже принял решение. Выбрав фут или два грота-шкота, я навалился на румпель спиной. Теперь я мог одной рукой управлять парусом, а другой держать револьвер. Темная полоса все надвигалась, и я видел, как китайцы с плохо скрытой тревогой поглядывают то на нее, то на меня. Сейчас должно решиться, у кого достанет разума, воли и упорства не дрогнуть перед лицом смерти.

Вот ветер налетел на шлюп. Грота-шкот натянулся, блоки затрещали, гик изогнулся, парус наполнился ветром, и «Северный олень» стал крениться все круче и круче. Вот уже в воду погрузились поручни подветренного борта, затем иллюминаторы каюты, и вода хлынула в кокпит. Шлюп накренился так сильно, что людей в каюте швыряло вповалку на подветренную койку, они корчились там в воде, и те, кто оказался внизу, едва не захлебнулись.

А ветер все свежел, и «Северный олень» почти лег на бок. Я уже думал было, что спасения нет: еще один такой порыв – и шлюп опрокинется. Пока я, не отпуская грота-шкот, колебался, не прекратить ли борьбу, китайцы сами запросили пощады. Их крики прозвучали для меня сладостной музыкой. Только теперь, но ни секундой раньше я привел шлюп к ветру и вытравил грота-шкот. «Северный олень» медленно выпрямился, однако сидел он так глубоко, что я слабо верил в возможность его спасти.

Китайцы ринулись в кокпит и рьяно принялись вычерпывать воду ведрами, горшками, кастрюлями – всем, что подвернулось под руку. Какое это было чудесное зрелище – вода, стекающая за борт! Наконец «Северный олень», подгоняемый ветром, вновь гордо и

величественно заскользил по воде, и в самый последний миг, проскочив илистую отмель, вошел в устье реки.

Дух китайцев был сломлен, они стали такими шелковыми, что, завидев Сан-Рафаэль, сами высыпали на палубу, держа наготове швартовы, и впереди всех – Желтый Платок. Ну, а что касается Джорджа, то это была последняя облава. Такая работа ему не по нутру, объяснил он нам, куда лучше служить в какой-нибудь конторе на берегу. И мы вполне с ним согласились.

\* \* \*

## БОЛЕЗНЬ ОДИНОКОГО ВОЖДЯ

Эту историю рассказали мне два старика. Когда спала жара – было это в полночь, – мы сидели в дыму костра, защищавшего нас от комаров, и то и дело яростно давили тех крылатых мучителей, которые, не страшась дыма, хотели полакомиться нашей кровью. Справа от нас, футах в двадцати, у подножия рыхлого откоса, лениво журчал Юкон. Слева, над розоватым гребнем невысоких холмов, тлело дремотное солнце, которое не знало сна в эту ночь и обречено было не спать еще много ночей.

Старики, которые вместе со мною сидели у костра и доблестно сражались с комарами, были Одинокий Вождь и Мутсак – некогда товарищи по оружию, а ныне дряхлые хранители преданий старины. Они остались последними из своего поколения и не пользовались почетом в кругу молодых, выросших на задворках приисковой цивилизации. Кому дороги предания и легенды в наши дни, когда веселье можно добыть из черной бутылки, а черную бутылку можно добыть у добрых белых людей за несколько часов работы или завалиющую шкуру! Чего стоят все страшные обряды и таинства шаманов, если каждый день можно видеть, как живое огнедышащее чудовище – пароход, наперекор всем законам, кашляя и отплеываясь, ходит вверх по Юкону! И что проку в родовом достоинстве, если всех выше ценится у людей тот, кто больше срубит деревьев или ловчее управится с рулевым колесом, ведя судно в лабиринте протоков между островами!

В самом деле, прожив слишком долго, эти два старика – Одинокий Вождь и Мутсак – дожили до черных дней, и в новом мире не было им ни места, ни почета. Они тоскливо ждали смерти, а сейчас рады были раскрыть душу чужому белому человеку, который разделял их мучения у осаждаемого мошкаркой костра и внимательно слушал рассказы о той давно минувшей поре, когда еще не было пароходов.

– И вот выбрали мне девушку в жены, – говорил Одинокий Вождь. Его голос, визгливый и пронзительный, то и дело срывался на сиплый, дребезжащий басок; только успеешь к нему привыкнуть, как он снова взлетает вверх тонким дискантом, – кажется, то верещит сверчок, то квакает лягушка.

– И вот выбрали мне девушку в жены, – говорил он. – Потому что отец мой, Каск-Та-Ка, Выдра, гневался на меня за то, что я не обращал свой взгляд на женщин. Он был вождем племени и был уже стар, а из всех его сыновей я один оставался в живых, и только через меня он мог надеяться, что род его продлится в тех, кому еще суждено явиться на свет. Но знай, о белый человек, что я был очень болен; и если меня не радовали ни охота, ни рыбная ловля и мясо не согревало моего желудка, – мог ли я заглядываться на женщин, или готовиться к свадебному пиру, или мечтать о лепете и возне маленьких детей?

– Да, – вставил Мутсак. – Громадный медведь обхватил Одинокого Вождя лапами, и он



И моя мать, Окиакута, положила возле меня мою парку из беличьих шкурок. Потом она положила парку из шкуры оленя-карибу, и дождевое покрывало из тюленьих кишок, и муклуки для сырой погоды, чтобы душе моей было тепло и она не промокла во время своего долгого пути. А когда упомянули о крутой горе, густо поросшей колючками, она принесла толстые мокасины, чтобы легче было ступать моим ногам.

Потом старики заговорили о страшных зверях, которых мне придется убивать, и тогда молодые положили возле меня мой самый крепкий лук и самые прямые стрелы, мою боевую дубинку, мое копье и нож. А потом они заговорили о мраке и безмолвии великих пространств, в которых будет блуждать моя душа, и тогда моя мать завывала еще громче и посыпала себе еще пепла на голову.

Тут в вигвам потихоньку, робея, вошла девушка Кэсан и уронила маленький мешочек на вещи, приготовленные мне в путь. И я знал, что в маленьком мешочке лежали кремь, и огниво, и хорошо высушенный трут для костров, которые душе моей придется разжигать. И были выбраны одеяла, чтобы меня завернуть. А также отобрали рабов, которых надо было убить, чтобы душа моя имела спутников. Рабов было семеро, потому что отец мой был богат и могуществен, и мне, его сыну, подобало быть погребенным со всеми почестями. Этих рабов захватили мы в войне с мукумуками, которые живут ниже по Юкону. Сколка, шаман, должен был убить их на рассвете, одного за другим, чтобы их души отправились вместе с моей странствовать в Неведомое. Они должны были нести мои вещи и лодку, пока мы не дойдем до большой быстрой реки с дурной водой. В лодке им не хватило бы места, и, сделав свое дело, они не пошли бы дальше, а остались бы, чтобы вечно выть в темном дремучем лесу.

Я смотрел на прекрасные теплые одежды, на одеяла, на боевые доспехи, думал о том, что для меня убьют семерых рабов, – и в конце концов я стал гордиться своим погребением, зная, что многие должны мне завидовать. А тем временем отец мой, Выдра, сидел угрюмый и молчаливый. И весь день и всю ночь люди пели песню смерти и били в барабаны, и казалось, что я уже тысячу раз умер.

Но утром отец мой поднялся и заговорил. Всем известно, сказал он, что всю жизнь он был храбрым воином. Все знают также, что почетнее умереть в бою, чем лежать на мягких шкурах у костра. И раз я, его сын, все равно должен умереть, так лучше мне пойти на мукумуков, и пусть меня убьют. Так я завоюю себе почет и сделаюсь вождем в обители мертвых, и не лишится почета отец мой, Выдра. Поэтому он приказал подготовить вооруженный отряд, который я поведу вниз по реке. А когда мы встретимся с мукумуками, я должен, отделившись от отряда, пойти вперед, словно готовясь вступить в бой и тогда меня убьют.

– Нет, ты только послушай, о белый человек! – вскричал Мутсак, не в силах больше сдерживаться. – В ту ночь шаман Смолка долго шептал что-то на ухо Выдре, и это он сделал так, что Одинокого Вождя послали на смерть. Выдра был очень стар, а Одинокий Вождь – его единственный сын, и Смолка задумал сам стать вождем племени. Одинокий Вождь все еще был жив, хотя весь день и всю ночь у его вигвама пели песню смерти, и потому Сколка боялся, что он не умрет. Это Сколка, своими красивыми словами о почете и добрых делах, говорил языком Выдры.

– Да, – подхватил Одинокий Вождь. – Я знал, что Сколка во всем виноват, но это меня не трогало, потому что я был очень болен. У меня не было сил гневаться и не хватало духу произносить резкие слова; и мне было все равно, какой смертью умереть, – я хотел только, чтобы с этим было скорей покончено. И вот, о белый человек, собрали боевой отряд. Но в нем не было ни испытанных воинов, ни людей, умудренных годами и знаниями, а всего лишь сотня юношей, которым еще мало приходилось сражаться. И все селение собралось на берегу реки, чтобы проводить нас. И мы пустились в путь под ликующие возгласы и восхваления моих доблестей. Даже ты, о белый человек, возликовал бы при виде юноши, отправляющегося в бой, хотя бы и на верную смерть.

И мы отправились – сотня юношей, в том числе и Мутсак, потому что тоже был молод и неискушен. По приказанию моего отца, Выдры, мое каноэ привязали с одной стороны к каноэ Мутсака, а с другой стороны – к каноэ Канакута. Так было сделано для того, чтобы мне не грести и чтобы я сохранил силу и, несмотря на болезнь, мог достойно умереть. И вот мы двинулись вниз по реке.

Я не стану утомлять тебя рассказом о нашем пути, который не был долгим. Неподалеку от селения мукумуков мы встретили двух их воинов в каноэ, которые, завидев нас, пустились наутек. Тогда, как приказал мой отец, мое каноэ отвязали, и я совсем один поплыл вниз по течению. А юноши, как приказал мой отец, остались, чтобы увидеть, как я умру, и по возвращении рассказать, какой я смертью умер. На этом особенно настаивали отец мой Выдра и шаман Сколка, и они пригрозили жестоко наказать тех, кто ослушается.

Я погрузил весло в воду и стал громко насмехаться над удиравшими воинами. Услышав мои обидные слова, они в гневе повернули головы и увидели, что отряд не тронулся с места, а я плыву за ними один. Тогда они отошли на безопасное расстояние и, разъехавшись в стороны, остановились так, что мое каноэ должно было пройти между ними. И я с копьем в руке, распевая воинственную песню своего племени, стал приближаться к ним. Каждый из двух воинов бросил в меня копье, но я наклонился, и копья просвистели надо мной, и я остался невредим. Теперь все три каноэ шли наравне, и я метнул копье в воина справа: оно вонзилось ему в горло, и он упал навзничь в воду.

Велико было мое изумление – я убил человека. Я повернулся к воину слева и стал грести изо всех сил, чтобы встретить смерть лицом к лицу; и его второе копье задело мое плечо. Тут я напал на него, но не бросил копье, а приставил острое к его груди и нажал обеими руками. А пока я напрягал все свои силы, стараясь вонзить копье глубже, он ударил меня по голове раз и еще раз лопастью весла.

И даже когда копье пронзило его насквозь, он снова ударил меня по голове. Ослепительный свет сверкнул у меня перед глазами, и я почувствовал, как в голове у меня что-то треснуло, – да, треснуло. И тяжести, что так долго давила мне на глаза, не стало, а обруч, так туго стягивавший мне голову, лопнул. И восторг охватил меня, и сердце мое запело от радости.

«Это смерть», – подумал я. И еще я подумал, что умереть хорошо. Потом я увидел два пустых каноэ и понял, что я не умер, а опять здоров. Удары по голове, нанесенные мне воином, исцелили меня. Я знал, что убил человека; запах крови привел меня в ярость, – и я погрузил весло в грудь Юкона и направил свое каноэ к селению мукумуков. Юноши, оставшиеся позади, громко закричали. Я оглянулся через плечо и увидел, как пенится вода под их веслами...

– Да, вода пенилась под нашими веслами, – сказал Мутсак, – потому что мы не забыли приказания Выдры и Сколки, что должны собственными глазами увидеть, какой смертью умрет Одиноким Вождь. В это время какой-то молодой мукумук, плывший туда, где были расставлены ловушки для лососей, увидел приближающегося к их селению Одиноким Вождя и сотню воинов, следовавших за ним. И он сразу же кинулся к селению, чтобы поднять тревогу. Но Одиноким Вождь погнался за ним, а мы погнались за Одиноким Вождем, потому что должны были увидеть, какой смертью он умрет. Только у самого селения, когда молодой мукумук прыгнул на берег, Одиноким Вождь поднялся в своем каноэ и со всего размаху метнул копье. И копье вонзилось в тело мукумука выше пояса, и он упал лицом вниз.

Тогда Одиноким Вождь выскочил на берег, держа в руке боевую дубинку, и, испустив боевой клич, ворвался в деревню. Первым встретился ему Итвили, вождь племени мукумуков. Одиноким Вождь ударил его дубинкой, и он свалился мертвым на землю. И, боясь, что мы не увидим, какой смертью умрет Одиноким Вождь, мы, сотня юношей, тоже выскочили на берег и поспешили за ним в селение. Но мукумуки не поняли наших намерений и подумали, что мы

пришли сражаться, – и тетивы их луков зазвенели, и засвистели стрелы. И тогда мы забыли, для чего нас послали, и набросились на них с нашими копьями и дубинками, но так как мы застали их врасплох, то тут началось великое избиение...

– Своими руками я убил их шамана! – воскликнул Одиноким Вождь, и его изборожденное морщинами лицо оживилось при воспоминании о том далеком дне. – Своими руками я убил его – того, кто был более могучим шаманом, чем Сколка, наш шаман. Каждый раз, когда я схватывался с новым врагом, я думал: «Вот пришла моя смерть»; но каждый раз я убивал врага, а смерть не приходила. Казалось, так сильно было во мне дыхание жизни, что я не мог умереть...

– И мы следовали за Одиноким Вождем по всему селению, – продолжал рассказ Мутсак. – Как стая волков, мы следовали за ним – вперед, назад, из конца в конец, до тех пор, пока не осталось ни одного мукумука, способного сражаться. Тогда мы согнали вместе всех уцелевших – сотню рабов-мужчин, сотни две женщин и множество детей, потом развели огонь, подожгли все хижины и вигвамы и удалились. И это был конец племени мукумуков.

– Да, это был конец племени мукумуков, с торжеством повторил Одиноким Вождь. – А когда мы пришли в свое селение, люди дивились огромному количеству добра и рабов, а еще больше дивились тому, что я все еще жив. И пришел отец мой, Выдра, весь дрожа от радости при мысли о том, что я совершил. Ибо он был стар, а я был последним из его сыновей, оставшимся в живых. И пришли все испытанные в боях воины и люди, умудренные годами и знаниями, и собралось все наше племя. И тогда я встал и голосом, подобным грому, приказал шаману Сколке подойти ближе...

– Да, о белый человек! – воскликнул Мутсак, – голосом, подобным грому, от которого подгибались колени и людей охватывал страх.

– А когда Сколка подошел ближе, рассказывал дальше Одиноким Вождь, – я сказал, что я умирать не собираюсь. И еще я сказал, что нехорошо обманывать злых духов, которые поджидают по ту сторону могилы. И потому считаю справедливым, чтобы душа Сколки отправилась в Неведомое, где она будет вечно выть в темном, дремучем лесу. И я убил его тут же, на месте, перед лицом всего племени. Да, я, Одиноким Вождь, собственными руками убил шамана Сколку перед лицом всего племени. А когда услышался ропот, я громко крикнул...

– Голосом, подобным грому, – подсказал Мутсак.

– Да, голосом, подобным грому, я крикнул: «Слушай, мой народ! Я, Одиноким Вождь, умертвил вероломного шамана. Я единственный из людей прошел через ворота смерти и вернулся обратно. Мои глаза видели то, чего никому не дано увидеть. Мои уши слышали то, что никому не дано услышать. Я могущественнее шамана Сколки. Я могущественнее всех шаманов. Я более великий вождь, чем мой отец, Выдра. Всю жизнь он воевал с мукумуками, а я уничтожил их всех в один день. Как бы одним дуновением ветра я уничтожил их всех. Отец мой, Выдра, стар, шаман, Сколка, умер, а потому я буду и вождем и шаманом. Если кто-нибудь не согласен с моими словами, пусть выйдет вперед!»

Я ждал, но никто вперед не вышел. Тогда я крикнул: «Хо! Я отведал крови! Теперь несите мясо, потому что я голоден. Разройте все ямы со съестными припасами, принесите рыбу из всех вершей, и пусть будет великое пиршество. Пусть люди веселятся и поют песни, но не погребальные, а свадебные. И пусть приведут ко мне девушку Кэсан. Девушку Кэсан, которая станет матерью детей Одиноким Вождя!»

Услышав мои слова, отец мой, Выдра, который был очень стар, заплакал, как женщина, и обнял мои колени. И с этого дня я стал вождем и шаманом. И был мне большой почет, и все люди нашего племени повиновались мне.

– До того дня, пока не появился пароход, – вставил Мутсак.

– Да, – сказал Одинокый Вождь. – До того дня, пока не появился пароход.

\* \* \*

## БУЙНЫЙ ХАРАКТЕР АЛОЗИЯ ПЕНКБЕРНА

1

У Дэвида Грифа был зоркий глаз, он сразу подмечал все необычное, обещавшее новое приключение, и всегда был готов к тому, что за ближайшей кокосовой пальмой его подстерегает какая-нибудь неожиданность, а между тем он не испытал никакого предчувствия, когда ему попался на глаза Алоизий Пенкберн. Это было на пароходике «Берта». Гриф со своей шхуны, которая должна была отойти позднее, пересел на этот пароход, желая совершить небольшую поездку от Райатеи до Папезте. Он впервые увидел Алоизия Пенкберна, когда этот уже немного захмелевший джентльмен в одиночестве пил коктейль у буфета, помещавшегося в нижней палубе около парикмахерской. А когда через полчаса Гриф вышел от парикмахера, Алоизий Пенкберн все еще стоял у буфета и пил в одиночестве.

Когда человек пьет один – это дурной признак. И Гриф, проходя мимо, бросил на Пенкберна беглый, но испытующий взгляд. Он видел молодого человека лет тридцати, хорошо сложенного, красивого, хорошо одетого и явно одного из тех, кого в свете называют джентльменами. Но по едва уловимой неряшливости, по нервным движениям дрожащей руки, расплескивавшей напиток, по беспокойно бегающим глазам Гриф безошибочно определил, что перед ним хронический алкоголик.

После обеда он снова встретился с Пенкберном. На этот раз встреча произошла на верхней палубе. Молодой человек, цепляясь за поручни и глядя на неясно видные фигуры мужчины и женщины, сидевших поодаль в шезлонгах, заливался пьяными слезами. Гриф заметил, что рука мужчины обнимала талию женщины. А Пенкберн смотрел на них и рыдал.

– Не из-за чего плакать, – мягко сказал ему Гриф.

Пенкберн посмотрел на него, не переставая заливаться слезами от глубокой жалости к себе.

– Это тяжело, – всхлипывал он. – Да, да, тяжело. Тот человек – мой управляющий. Я его хозяин, я плачу ему хорошее жалованье. И вот как он его зарабатывает!

– Почему бы вам тогда не положить этому конец? – посоветовал Гриф.

– Нельзя. Тогда она не позволит мне пить виски. Она моя сиделка.

– В таком случае прогоните ее и пейте, сколько душе угодно.

– Не могу. У него все мои деньги. Если я ее прогоню, он не даст мне даже шести пенсов на одну рюмку.

Эта горестная перспектива вызвала новый поток слез. Гриф заинтересовался Пенкберном.

Положение было на редкость любопытное, какое и вообразить себе трудно.

– Их наняли, чтобы они обо мне заботились, – бормотал Пенкберн сквозь рыдания, – и чтобы отучили меня от пьянства. А они вот как это выполняют! Все время милуются, а мне предоставляют напиваться до бесчувствия. Это нечестно, говорю вам. Нечестно. Их отправили со мной специально затем, чтобы они не давали мне пить, а они не мешают мне пить, лишь бы я оставлял их в покое, и я допиваюсь до скотского состояния. Если я жалуясь, они угрожают, что не дадут мне больше ни капли. Что же мне, бедному, делать? Смерть моя будет на их совести, вот и все. Пошли вниз, выпьем.

Он отпустил поручни и упал бы, если бы Гриф не схватил его за руку. Алоизий сразу словно преобразился – распрямил плечи, выставил вперед подбородок, а в глазах его появился суровый блеск.

– Я не позволю им меня убить. И они еще будут каяться! Я предлагал им пятьдесят тысяч – разумеется с тем, что уплачу позже. Они смеялись. Они пока ничего не знают. А я знаю! – Он порылся в кармане пиджака и вытащил какой-то предмет, который заблестел в сумраке.

– Они не знают, что это такое. А я знаю. – Он посмотрел на Грифа с внезапно вспыхнувшим недоверием. – Как, по-вашему, что это такое? А?

В уме Грифа промелькнула картина: дегенерат-алкоголик убивает страстно влюбленную парочку медным костылем. Ибо у Пенкберна в руке он увидел именно медный костыль, какие в старину употреблялись на судах для крепления.

– Моя мать думает, что я здесь для того, чтобы лечиться от запоя. Она ничего не знает. Я подкупил доктора, чтобы он предписал мне путешествие по морю. Когда мы будем в Папезте, мой управляющий зафрахтует шхуну, и мы уплывем далеко. Но влюбленная парочка ничего не подозревает. Они думают, что это пьяная фантазия. Только я один знаю. Спокойной ночи, сэр. Я отправлюсь спать... если... гм... если только вы не согласитесь выпить со мной на сон грядущий. Последнюю рюмку, хорошо?

2

На следующей неделе, которую он провел в Папезте, Гриф много раз встречал Алоизия Пенкберна и всегда при очень странных обстоятельствах. Видел его не только он, но и все в столице маленького острова. Давно уже не были так шокированы обитатели побережья и пансиона Лавинии, ибо как-то в полдень Алоизий Пенкберн с непокрытой головой, в одних трусах бежал по главной улице от пансиона Лавинии на пляж. Другой раз он вызвал на состязание по боксу кочегара с «Берты». Предполагалось четыре раунда в «Фоли-Бержер», но на втором Пенкберн был нокаутирован. Потом он в припадке пьяного безумия попытался утопиться в луже глубиной два фута. Рассказывали, что он бросился в воду с пятидесятифутовой высоты – с мачты «Марипозы», стоявшей у пристани. Он зафрахтовал тендер «Торо» за сумму, превышавшую стоимость самого судна, и спасло его только то, что его управляющий отказался финансировать сделку. Он скупил на рынке у слепого старика прокаженного весь его товар и стал продавать плоды хлебного дерева, бананы и бататы так дешево, что пришлось вызывать жандармов, чтобы разогнать набежавшую отовсюду толпу туземцев. В силу этих обстоятельств жандармы трижды арестовывали Алоизия за нарушения общественного спокойствия, и трижды его управляющему пришлось отрываться от любовных утех, чтобы заплатить штрафы, наложенные нуждающимися в средствах колониальными властями.



Затем «Марипоза» отплыла в Сан-Франциско, и в каюте для новобрачных поместились только что обвенчавшиеся управляющий и сиделка. Перед отплытием управляющий с умыслом выдал Алоизию восемь пятифунтовых ассигнаций, заранее предвидя результат: Алоизий очнулся через несколько дней без гроша в кармане и на грани белой горячки. Лавиния, известная своей добротой даже среди самых отпетых мошенников и бродяг на тихоокеанских островах, ухаживала за ним, пока он не выздоровел, и ни единым намеком не вызвала в его пробуждающемся сознании мысли о том, что у него больше нет ни денег, ни управляющего, чтобы оплатить расходы по его содержанию.

Как-то вечером Дэвид Гриф сидел, отдыхая, под тентом на юте «Морской Чайки» и лениво просматривал столбцы местной газетки «Курьер». Вдруг он выпрямился и от удивления чуть не протер глаза. Это было что-то невероятное! Старая романтика южных морей не умерла. Он прочел:

"Ищу компаньона:

Согласен отдать половину клада, стоимостью в пять миллионов франков, за проезд к неизвестному острову в Тихом океане и перевозку найденных сокровищ. Спросить Фолли[3] в пансионе Лавинии".

Гриф взглянул на часы. Было еще рано, только восемь часов.

– Мистер Карлсен! – крикнул он туда, где виднелся огонек трубки. – Вызовите гребцов на вельбот. Я отправляюсь на берег.

На носу судна раздался хриплый голос помощника капитана, норвежца, и человек шесть рослых туземцев с острова Рапа прекратили пение, спустили шлюпку и сели на весла.

– Я пришел повидаться с Фолли. С мистером Фолли, я полагаю? – сказал Дэвид Гриф Лавинии.

Он заметил, с каким живым интересом она взглянула на него, обернувшись, позвала кого-то из кухни, находившейся на отлете, через две комнаты. Через несколько минут вошла, шлепая босыми ногами, девушка-туземка и на вопрос хозяйки отрицательно покачала головой.

Лавиния была явно разочарована.

– Вы ведь с «Морской Чайки»? – сказала она. – Я передам ему, что вы заходили.

– Так это мужчина? – спросил Гриф.

Лавиния кивнула.

– Я надеюсь, что вы сможете ему помочь, капитан Гриф. Я ведь только добрая женщина. Я ничего не знаю. Но он приятный человек и, может быть, говорит правду. Вы в этом разберетесь скорее, чем такая мягкосердечная дура, как я. Разрешите предложить вам коктейль?

3

Вернувшись к себе на шхуну, Дэвид Гриф задремал в шезлонге, прикрыв лицо журналом трехмесячной давности. Его разбудили какие-то хлюпающие звуки за бортом. Он открыл глаза. На чилийском крейсере за четверть мили от «Чайки» пробило восемь склянок. Была

полночь. За бортом слышался плеск воды и все те же хлюпающие звуки. Это было похоже не то на фыркание какого-то земноводного, не то на плач одинокого человека, который ворчливо изливает свои горести перед всей вселенной.

Одним прыжком Гриф очутился у невысокого фальшборта. Внизу в море виднелось фосфоресцирующее и колеблющееся пятно, из центра которого исходили странные звуки. Гриф перегнулся через борт и подхватил под мышки находившегося в воде человека. Постепенно подтягивая его все выше и выше, он втащил на палубу голого Алоизия Пенкберна.

– У меня не было ни гроша, – пожаловался тот. – Пришлось добираться вплавь, и я не мог найти ваш трап. Это было ужасно. Извините меня. Если у вас найдется полотенце, чтобы я мог им обвязаться, и глоток спиртного покрепче, то я быстро приду в себя. Я мистер Фолли, а вы, наверное, капитан Гриф, заходивший ко мне в мое отсутствие. Нет, я не пьян. И мне не холодно. Это не озноб. Лавиния сегодня разрешила мне пропустить всего только два стаканчика. У меня вот-вот начнется приступ белой горячки. Мне уже стала мерещиться всякая чертовщина, когда я не мог найти трап. Если вы пригласите меня к себе в каюту, я буду очень благодарен. Вы единственный откликнулись на мое объявление.

Хотя ночь была теплая, Алоизий Пенкберн так дрожал, что на него жалко было смотреть. Когда они спустились в каюту, Гриф первым делом дал ему полстакана виски.

– Ну, а теперь выкладывайте, – сказал Гриф, когда его гость был в рубашке и парусиновых брюках. – Что означает ваше объявление? Я слушаю.

Пенкберн многозначительно посмотрел на бутылку с виски, но Гриф покачал головой.

– Ладно, капитан... хотя, клянусь остатками своей чести, я не пьян, ничуть не пьян. То, что я вам расскажу, – истинная правда, и я буду краток, так как для меня ясно, что вы человек деловой и энергичный. Кроме того, организм ваш не отравлен. Алкоголь никогда не грыз каждую клеточку вашего тела миллионами червей. Вас никогда не сжигал адский огонь, который сейчас сжигает меня. Теперь слушайте.

Моя мать еще жива. Она англичанка. Я родился в Австралии. Образование получил в Йоркском и в Йейлском университетах. Я магистр искусств, доктор философии, но я никуда не гожусь. Хуже того – я алкоголик. Я был спортсменом. Я нырял «ласточкой» с высоты ста десяти футов. Я установил несколько любительских рекордов. Я плаваю как рыба. Я научился кролю у первого из Кавиллей. Я проплывал тридцать миль по бурному морю. У меня есть и другой рекорд – я поглотил на своем веку больше виски, чем любой другой человек моего возраста. Я способен украсть у вас шесть пенсов, чтобы купить рюмку виски. А теперь я расскажу вам всю правду насчет клада.

Мой отец был американец, родом из Аннаполиса. Во время гражданской войны он был гардемаринном. В тысяча восемьсот шестьдесят шестом году он уже в чине лейтенанта служил на «Сювани» – капитаном ее тогда был Поль Ширли. В том году «Сювани» брала уголь на одном тихоокеанском острове, – название его вам знать пока незачем. Остров сейчас находится под протекторатом одной державы, которую я тоже не назову. Тогда этого протектората не было. На берегу, за стойкой одного трактира, мой отец увидел три медных костыля... судовых костыля.

Дэвид Гриф спокойно улыбнулся.

– Теперь я вам скажу название этой стоянки и державы, установившей затем протекторат над островом, – сказал он.

– А о трех костылях вы тоже можете что-нибудь рассказать? – так же спокойно спросил

Пенкберн. – Что ж, говорите, так как теперь они находятся у меня.

– Могу, разумеется. Они находились за стойкой трактирщика, немца Оскара в Пеено-Пеенее. Джонни Блэк принес их туда со своей шхуны в ночь своей смерти. Он тогда только что вернулся из длительного рейса на запад, где он ловил трепангов и закупал сандаловое дерево. Эта история известна всем обитателям побережья.

Пенкберн покачал головой.

– Продолжайте!

– Это, конечно, было не в мое время, – объяснил Гриф. – Я только пересказываю то, что слышал. Затем в Пеено-Пеенее прибыл эквадорский крейсер. Он шел тоже с запада – на родину. Офицеры крейсера узнали, что это за костыли. Джони Блэк умер, но они захватили его помощника и судовой журнал. Крейсер отправился на запад. Через полгода, возвращаясь на родину, он снова отдал якорь в Пеено-Пеенее. Плавание его оказалось безрезультатным, а история эта стала всем известна.

– Когда восставшие двинулись на Гваякиль, – сказал Пенкберн, перебив Грифа, – федеральные власти, считая, что город отстоять не удастся, захватили весь денежный запас государственного казначейства, что-то около миллиона долларов золотом, но все в английской валюте, и погрузили его на американскую шхуну «Флерт». Они собирались бежать на следующий день. А капитан американской шхуны увел ее в ту же ночь. Теперь продолжайте вы.

– Это старая история, – подхватил Гриф. – В порту больше не было ни одного корабля. Федеральные власти не могли бежать. Зная, что отступление отрезано, они отчаянно защищали город. Рахас Сальсед, шедший из Кито форсированным маршем, прорвал осаду. Восстание было подавлено, и единственный старый пароход, составлявший весь эквадорский военный флот, был послан в погоню за «Флертом». Они настигли шхуну неподалеку от Ново-Гебридских островов. «Флерт» лежал в дрейфе, а на его мачтах был поднят сигнал бедствия. Капитан умер накануне – от черной лихорадки.

– А помощник? – с вызовом спросил Пенкберн.

– Помощник был убит за неделю до этого туземцами на одном из островов Банка, куда они посылали шлюпку за водой. Не осталось никого, кто мог бы вести корабль. Матросов подвергли пытке, в нарушение международного права. Они и рады бы дать показания, но ничего не знали. Они рассказали только о трех костылях, вбитых в деревья на берегу какого-то острова, но где этот остров, они не знали. Он был где-то далеко на западе – вот все, что они могли сказать. Ну, а дальше история имеет два варианта. По одному варианту матросы все умерли под пыткой. По другому – тех, кто не умер, повесили на реях. Во всяком случае, эквадорский крейсер вернулся на родину без сокровищ. А что касается этих трех костылей, то Джони Блэк привез их в Пеено-Пеенее и оставил в трактире немца Оскара, но как и где он их нашел, он так и не рассказал.

Пенкберн жадно посмотрел на бутылку виски.

– Налейте хоть на два пальца, – взмолился он.

Гриф подумал и налил ему чуть-чуть. Глаза Пенкберна засверкали, он снова ожил.

– Вот здесь на сцену появляюсь я и сообщаю вам недостающие подробности, – сказал он. – Джонни Блэк рассказал все! Рассказал моему отцу. Он написал ему из Левуки, еще до того, как приехал в Пеено-Пеенее, и умер. Мой отец однажды в Вальпараисо спас ему жизнь во время пьяной драки в трактире. Один китаец, скупщик жемчуга с острова Четверга,

разыскивавший новые места для ловли к северу от Новой Гвинеи, выменял эти три костыля у какого-то негра. Джонни Блэк купил их на вес, как медный лом. Он, так же как и китаец, понятия не имел об их происхождении. Но на обратном пути он сделал остановку, чтобы половить морских черепах, у того самого берега, где, как вы говорите, был убит помощник капитана с «Флерта». Да только он вовсе не был убит. Туземцы островов Банка держали его в плену, и он умирал от некроза челюсти: во время стычки на берегу его ранили стрелой. Перед смертью он рассказал Джонни Блэку всю историю. Джонни написал из Левуки моему отцу. Дни его уже тогда были сочтены: рак. Через десять лет мой отец, плавая капитаном на «Перри», забрал эти костыли у немца Оскара. А по завещанию отца – это была его последняя воля – я получил костыли и все сведения. Я знаю, где находится остров, знаю широту и долготу того побережья, где были вбиты в деревья костыли. Костыли сейчас у Лавинии. Широта и долгота у меня в голове. Ну, что вы мне теперь скажете?

– Сомнительная история, – сказал Гриф. – Почему ваш отец сам не отправился за этим сокровищем?

– В этом не было надобности. Скончался его дядя и оставил ему состояние. Отец вышел в отставку, путался все время в Бостоне с целой оравой сиделок, и моя мать с ним развелась. Она тоже получила наследство, дававшее ей тысяч тридцать годового дохода, и переехала в Новую Зеландию. Я был поделен между ними: жил то в Новой Зеландии, то в Штатах, до смерти отца. Он умер в прошлом году. Теперь я целиком принадлежу матери. Отец оставил мне все свои деньги – так, миллиона два, – но мать добилась того, что надо мной учредили опеку – из-за пьянства. У меня уйма денег, а я не могу тронуть ни цента, кроме того, что мне выдается. Зато папаша, которому все это было известно, оставил мне три костыля и все относящиеся к ним сведения. Он сделал это через своего поверенного, и мать ничего не знает. Он говорил, что это обеспечит меня на всю жизнь, и если у меня хватит мужества отправиться за этим сокровищем и добыть его, я буду иметь возможность пить, сколько влезет, до самой смерти. У меня миллионы – в руках опекунов, кучу денег я получу от матери, если она раньше меня угодит в крематорий, еще миллион ожидает, чтобы я его выкопал, а тем временем я должен клянчить у Лавинии две рюмки в день. Это черт знает что! Особенно, если учесть мою жажду...

– Где находится остров?

– Далеко отсюда.

– Назовите его.

Ни за что на свете, капитан Гриф! Вы на этом деле легко заработаете полмиллиона. Вы поведете шхуну по моим указаниям, а когда мы будем далеко в море, на пути к острову, я вам его назову. Не раньше!

Гриф пожал плечами и прервал разговор.

– Я дам вам еще рюмку и отправлю на лодке на берег, – сказал он.

Пенкберн опешил. Минут пять, по крайней мере он не знал, на что решиться, затем облизал губы и сдался.

– Если вы даете слово, что поедете, я вам скажу все сейчас.

– Конечно, поеду. Потому-то я вас и спрашиваю. Назовите остров.

Пенкберн посмотрел на бутылку.

– Я сейчас выпью эту последнюю рюмку, капитан.

– Нет, не выйдет. Эта рюмка предназначалась вам, если бы вы отправились на берег. А раз вы намерены назвать мне остров, вы должны сделать это в трезвом состоянии.

– Ну, ладно: это остров Фрэнсиса. Бугенвиль назвал его остров Барбура.

– Знаю. Уединенный остров в Малом Коралловом море, – сказал Гриф. – Он находится между Новой Ирландией и Новой Гвинеей. Сейчас это отвратительная дыра, но это было недурное местечко в те времена, когда капитан «Флерта» вбивал костыли, да и тогда еще, когда их выменял китаец, скупщик жемчуга. Два года назад там был уничтожен со своей командой пароход «Кастор», вербовавший рабочих для плантаций на Уполу. Я хорошо знал его капитана. Немцы послали крейсер, обстреляли из орудий заросли, сожгли полдюжины деревень, убили несколько негров и множество свиней – и все. Тамошние негры всегда были опасны, а особенно опасны они стали сорок лет назад, когда перерезали команду китобойного судна. Как, бишь, оно называлось? Пойдите, сейчас узнаем.

Он подошел к книжной полке, снял толстый «Южно-Тихоокеанский справочник» и перелистал страницы.

– Ага, вот он, «Френсис, или Барбур», – прочел он скороговоркой. – Туземцы воинственны и вероломны... Меланезийцы, каннибалы. Захватили и уничтожили китобойное судно «Уэстерн»... Вот как оно называлось! «Мели... мысы... якорные стоянки... ага, Красный утес, бухта Оуэна, бухта Лиикили...» Вот это вернее! «Далеко вдается в берег. Болота с мангровыми зарослями. На глубине девяти саженей грунт хорошо держит якорь в том месте, от которого на восток-запад находится отвесная белая скала». – Гриф поднял глаза. – Голову даю на отсечение, что это и есть ваш берег, Пенкберн!

– Вы едете? – с живостью спросил тот.

Гриф кивнул.

– Теперь мне эта история кажется правдоподобной. Вот если бы речь шла о ста миллионах или другой столь же невероятной сумме, я ни на минуту бы этим не заинтересовался. Завтра мы отплывем, но при одном условии: если вы обещаете беспрекословно мне повиноваться.

Его гость радостно и выразительно закивал головой.

– А это значит, что не будете пить.

– Это жестокое требование, – жалобно сказал Пенкберн.

– Таковы мои условия. Я достаточно разбираюсь в медицине, и под моим надзором с вами ничего дурного не случится. Вы будете работать – делать тяжелую работу матроса. Вы будете нести вахту наравне с матросами и делать все, что им положено, но есть и спать вместе с нами на корме.

– Идет! – Пенкберн в знак согласия протянул руку Грифу. – Если только это меня не убьет, – добавил он.

Дэвид Гриф великодушно налил в стакан виски на три пальца и протянул стакан Пенкберну.

– Это ваша последняя порция. Пейте.

Пенкберн протянул уже было руку. Но вдруг с судорожной решимостью отдернул ее, расправил плечи и поднял голову.

– Я, пожалуй, не стану, – начал он, затем, малодушно поддавшись мучившему его желанию, поспешно схватил стакан, словно боясь, что его отнимут.

От Папезте на островах Товарищества до Малого Кораллового моря путь неблизкий: идти приходится от 150° западной долготы до 150° восточной долготы. Если плыть по прямой, то это все равно, что пересечь Атлантический океан. А «Морская Чайка» к тому же шла не по прямой. Из-за многочисленных дел Дэвида Грифа она не раз отклонялась от курса. Гриф сделал остановку, чтобы заглянуть на необитаемый остров Роз и узнать, нельзя ли его заселить и устроить там кокосовые плантации. Затем он вздумал засвидетельствовать свое почтение Туи-Мануа, королю Восточного Самоа, и тайными происками добивался там доли в монопольной торговле на трех островах этого умирающего монарха. В Апии он принял на борт для доставки на острова Гилберта нескольких новых агентов, ехавших на смену старым, и партию товаров для меновой торговли. Потом он зашел на атолл Онтонг-Ява, осмотрел свои плантации на острове Изабель и купил землю у вождей приморских племен северо-западной Малаиты. И на всем протяжении этого извилистого пути Дэвид Гриф старался сделать из Алоизия Пенкберна настоящего человека.

Этот вечно жаждущий мученик, хотя и жил на юте, принужден был выполнять обязанности простого матроса. Он не только стоял вахту на руле, крепил паруса и снасти; ему поручалась самая грязная и тяжелая работа. Его поднимали в «беседке» высоко вверх, и он скоблил мачты и промазывал их до самого низа. Он драил песчаником палубу и мыл ее негашеной известью. От этого у него болела спина, но зато развивались и крепили его дряблые мускулы. Когда «Морская Чайка» стояла на якоре и матросы-туземцы скоблили кокосовой скорлупой медную обшивку ее днища, ныряя для этого под воду, Пенкберна тоже посылали на эту работу наравне со всеми.

– Посмотрите на себя, – сказал ему однажды Гриф. – Вы вдвое сильнее, чем были. Вы все это время капли в рот не брали и вот не умерли же, и организм ваш почти избавился от отравы. Вот что значит труд. Он оказался для вас куда полезнее, чем надзор сиделок и управляющих. Если хотите пить – вот, пожалуйста! Нужно только поднести ко рту.

Он вынул из ножен свой тяжелый нож и несколькими ловкими ударами вырезал треугольный кусок в скорлупе кокосового ореха, уже очищенного от верхней волокнистой оболочки. Жидкий, прохладный сок, похожий на молоко, шипя запенился через край. Пенкберн с поклоном принял эту изготовленную природой чашу, запрокинул голову и выпил все до дна. Каждый день он выпивал сок множества орехов. Чернокожий буфетчик, шестидесятилетний туземец с Новых Гебридов, и его помощник, одиннадцатилетний мальчик с острова Ларк, аккуратно снабжали его ими.

Пенкберн не протестовал против тяжелой работы. Он не только никогда не увиливал от нее, но хватался за все с какой-то жадностью и мигом исполнял приказание, всегда опережая матросов-туземцев. И все то время, пока Гриф отучал его от спиртного, он переносил эти муки с истинным героизмом. Даже, когда организм его отвык от отравы, Пенкберн все еще был одержим постоянным маниакальным желанием выпить. Однажды, когда он под честное слово был отпущен на берег в Апии, хозяевам трактиров чуть не пришлось закрыть свои заведения, так как он выпил почти все их наличные запасы. И в два часа ночи Дэвид Гриф нашел его у входа в «Тиволи», откуда его с позором вышвырнул Чарли Робертс. Алоизий, как когда-то, заунывно изливал свою печаль звездам. Одновременно он занимался и другим, более прозаическим делом: в такт своим завываниям он с удивительной меткостью кидал куски коралла в окна Чарли Робертса.

Гриф увел Пенкберна, но принялся за него только в следующее утро. Расправа происходила

на палубе «Морской Чайки», и в сцене этой не было ничего идиллического. Гриф молотил его кулаками, не оставил на нем живого места, задал ему такую трепку, какой Алоизию не задавали никогда в жизни.

– Это ради вашего блага, Пенкберн, – приговаривал он, нанося удары. – А это ради вашей матери. А это для блага мира, вселенной и всего будущего потомства. А теперь, чтобы получше вдолбить вам этот урок, мы повторим все сначала! Это для спасения вашей души; это ради вашей матери; это ради ваших малюток, которых еще нет, о которых вы еще и не думаете, чью мать вы будете любить во имя детей и во имя самой любви, когда благодаря мне станете настоящим человеком. Принимайте же свое лекарство! Я еще не кончил, я только начинаю. Есть еще немало и других причин для трепки, которые я сейчас вам изложу.

Коричневые матросы, чернокожие буфетчики, кок – все смотрели и ухмылялись. Им и в голову не приходило критиковать загадочные, непостижимые поступки белых людей. Помощник капитана Карлсен с угрюмым одобрением наблюдал действия хозяина, а Олбрайт, второй помощник, только крутил усы и улыбался. Оба были старые моряки, прошедшие суровую школу. И собственный и чужой опыт убедил их, что проблему лечения от запоя приходится решать не так как ее решают медики.

– Юнга! Ведро пресной воды и полотенце, – приказал Гриф, кончив свое дело. – Два ведра и два полотенца, – добавил он, посмотрев на свои руки.

– Хорош, нечего сказать! – обратился он к Пенкберну. – Вы все испортили. А теперь от вас разит, как из бочки. Придется все начинать сначала. Мистер Олбрайт! Вы видели груды старых цепей на берегу у лодочной пристани? Разущите владельца, купите все и доставьте на шхуну. Цепей этих там, наверное, саженой полтора... Пенкберн! Завтра утром вы начнете счищать с них ржавчину. Когда кончите, отполируете наждаком. Затем выкрасите. Вы будете заниматься только этим, пока цепи не станут гладкими и блестящими, как новые.

Алоизий Пенкберн покачал головой.

– Ну, нет, хватит! Я бросаю это дело, остров Френсиса может идти ко всем чертям! Потрудитесь немедленно доставить меня на берег. Я вам не раб, я белый человек. Вы не смеете так со мной обращаться!

– Мистер Карлсен, примите меры, чтобы мистер Пенкберн не покидал корабля.

– Я вам покажу! – завизжал Алоизий. – Вы не смеете меня здесь удерживать!

– Я посмею еще раз вас отдубасить, – ответил Гриф. – И зарубите себе на носу, одуревший щенок: я буду бить вас, пока целы мои кулаки или пока у вас не появится сильное желание очищать эту ржавую цепь. Я за вас взялся, и я сделаю из вас человека, хотя бы мне пришлось забить вас до смерти. Теперь ступайте вниз и переоденьтесь. После обеда берите молоток и принимайтесь за дело. Мистер Олбрайт, пошлите за ними лодки. И следите за Пенкберном. Если он будет валиться с ног или его начнет трясти, дайте ему глоток виски, но только один глоток. После такой ночи ему это может понадобиться.

5

Пока «Морская Чайка» стояла в Апии, Алоизий Пенкберн сбивал ржавчину с цепей. По десять часов в день он стучал молотком. И во время долгого плавания до острова Гилберта он продолжал сбивать ржавчину. Затем надо было полировать их наждачной бумагой.

Полтора́ста морских саженей – это девятьсот футов, и каждое звено цепи было очищено и отполировано, как не чистили и не полировали ни одну цепь. А когда последнее звено было второй раз покрыто черной краской, Пенкберн отправился к Грифу.

– Если есть у вас еще какая-нибудь грязная работа, так давайте! – сказал он. Если прикажете, я перечищу и все остальные цепи! А обо мне можете больше не беспокоиться. Я спиртного теперь в рот не возьму. Я буду тренироваться. Вы сломали мой буйный характер, когда избili меня, но запомните: это только временно. Я буду тренироваться до тех пор, пока не стану весь таким же твердым и таким же чистым, как эта цепь. И в один прекрасный день, мистер Дэвид Гриф, я сумею вас вздуть не хуже, чем вы вздули меня. Я так расквашу вам физиономию, что ваши собственные негры не узнают вас.

Гриф пришел в восторг.

– Вот теперь вы заговорили как мужчина! – воскликнул он. – Единственный для вас способ вздуть меня – это стать настоящим человеком, но тогда, может быть...

Он не досказал в надежде, что Алоизий поймет его. Тот с минуту недоумевал, а затем его вдру́г осенило – это видно было по глазам.

– А тогда мне уже не захочется сделать этого, не так ли?

Гриф кивнул.

– Вот это-то и скверно! – пожаловался Алоизий. – Я тоже думаю, что не захочется. Я понимаю, в чем тут штука. Но все равно выдержу характер и возьму себя в руки.

Теплый загар на лице Грифа как будто еще потеплел. Он протянул руку.

– Пенкберн, вот теперь я вас люблю.

Алоизий схватил его за руку и, грустно покачав головой, сказал с искренним сокрушением:

– Гриф, вы сломали мой буйный характер, и боюсь, навсегда!

6

В знойный тропический день, когда уже стихали последние слабые порывы юго-восточного пассата и, как всегда в это время года, на смену ему ожидался северо-западный муссон, с «Морской Чайки» увидели на горизонте покрытый джунглями берег острова Фрэнсиса. Гриф с помощью компаса и бинокля нашел вулкан, носивший название Красного утеса, миновал бухту Оуэна и уже при полном безветрии вошел в бухту Ликикили. Пришлось спустить два вельбота, которые взяли судно на буксир, а Карлсен все время бросал лот, и «Чайка» медленно вошла в глубокий и узкий залив. Здесь не было песчаных отмелей. Мангровые заросли начинались у самой воды, а за ними стеной поднимались джунгли, среди которых кое-где виднелись зубчатые вершины скал. «Чайка» проплыла с милю, и когда белая отвесная скала оказалась на вест-зюйд-вест от нее, лот подтвердил правильность сведений «Справочника», и якорь с грохотом опустился на глубину девяти саженей.

До полудня следующего дня люди оставались на шхуне и ждали. Не было видно ни одной пироги. Не было никаких признаков, что здесь есть люди. Если бы не раздавались порой всплеск, когда проплывала рыба, или крики какаду, можно было бы подумать, что здесь нет ничего живого, – только раз огромная бабочка дюймов в двенадцать пролетела высоко над



мачтами, направляясь к джунглям на другом берегу.

– Нет смысла посылать лодку на верную гибель, – сказал Гриф.

Пенкберн не поверил и вызвался отправиться один, даже вплавь, если ему не дадут шлюпки.

– Они еще не забыли германский крейсер, – объяснил Гриф. – Держу пари, что в кустах полным-полно дикарей. Как вы полагаете, мистер Карлсен?

Старый искатель приключений, выдавший виды, горячо поддержал его.

К вечеру второго дня Гриф приказал спустить вельбот. Сам он сел на носу, с зажженной сигаретой в зубах и динамитной шашкой в руке, – он намеревался глушить рыбу и рассчитывал на богатую добычу. Вдоль скамеек лежало с полдюжины винчестеров, а сидевший за рулем Олбрайт имел под рукой маузер. Они плыли мимо зеленой стены зарослей. Временами переставали грести, и лодка останавливалась среди глубокого безмолвия.

– Ставлю два против одного, что кусты кишат ими... Держу пари на один фунт, – прошептал Олбрайт.

Пенкберн еще мгновение вслушивался и принял пари. Через пять минут они увидели стаю кефали. Темнокожие гребцы перестали грести. Гриф поднес шнур к своей сигарете и бросил в воду динамитную шашку. Шнур был такой короткий, что шашка моментально взорвалась. И в ту же секунду заросли тоже как будто взорвались – с дикими, воинственными криками из-за мангровых деревьев выскочили, как обезьяны, черные обнаженные люди.

На вельботе все схватились за винтовки. Затем наступила выжидательная пауза. На торчавших из воды корнях столпилось около сотни чернокожих. Некоторые были вооружены устаревшими винтовками системы Снайдер, но большинство – томагавками, закаленными на огне копьями и стрелами с костяными наконечниками.

Не было произнесено ни одного слова. Обе стороны наблюдали друг за другом через разделявшие их двадцать футов воды. Одноглазый старик негр, с заросшим щетиной лицом, направил винтовку на Олбрайта, который, в свою очередь, держал его под прицелом своего маузера. Эта сцена продолжалась минуты две. Оглушенная рыба между тем всплывала на поверхность или, полуживая, трепетала в прозрачной глубине.

– Все в порядке, ребята, – сказал Гриф спокойно. – Кладите ружья и прыгайте в воду. Мистер Олбрайт, киньте табак этой одноглазой скотине.

Пока матросы ныряли за рыбой, Олбрайт бросил на берег пачку дешевого табака. Одноглазый кивал головой и гримасничал, пытаясь придать своей физиономии любезное выражение. Копья опустились, луки разогнулись, а стрелы были вложены в колчаны.

– Видите, они знают, что такое табак, – сказал Гриф, когда они плыли обратно к шхуне. – Значит, надо ждать гостей. Вскройте ящик с табаком, мистер Олбрайт, и приготовьте несколько ножей для обмена. Вон уже плывет пирога!

Одноглазый, как подобает вождю, плыл один – навстречу опасности, рискуя жизнью ради своего племени. Карлсен перегнулся через борт, помогая гостю подняться на палубу, и, повернув голову, буркнул:

– Они выкопали деньги, мистер Гриф! Старый хрыч прямо-таки увешан ими.

Одноглазый ковылял по палубе, заискивающе улыбаясь и плохо скрывая страх, который он еще не вполне преодолел. Он хромал на одну ногу, и причина была ясна – ужасный шрам в

несколько дюймов глубиной через все бедро до колена. На нем не было никакой одежды, но зато его нос щетинился, как шура дикобраза – он был продырявлен по крайней мере в десяти местах, и в каждое отверстие была продета костяная игла, покрытая резьбой. С шеи на грязную грудь свисало ожерелье из золотых соверенов, к ушам прицеплены серебряные полукроны, а под носом (хрящ между ноздрей был проткнут) болталась большая медная монета. Она потускнела и позеленела, но сразу можно было узнать в ней английский пенс.

– Подождите, Гриф, – сказал Пенкберн с хорошо разыгранной беззаботностью. – Вы говорите, что они покупают у белых людей только бусы и табак. Прекрасно. Слушайте меня. Они нашли клад, и придется его у них выменивать. Соберите в сторонке всю команду и внушите им, чтобы они притворились, будто их интересуют только пенсы. Понятно? Золотыми монетами они должны пренебрегать, а серебряные брать, но неохотно. Пусть требуют от дикарей одни только медяки.

Пенкберн стал руководить обменом. За пенс из носа Одноглазого он дал десять пачек табаку. Поскольку каждая пачка стоила Дэвиду Грифу один цент, сделка была явно убыточной. Но за серебряные полукроны Пенкберн давал только по одной пачке. От соверенов он вообще отказался. Чем решительнее он отказывался, тем упорнее Одноглазый навязывал ему их. Наконец, с притворным раздражением, как бы делая явную уступку, Пенкберн дал две пачки за ожерелье из десяти соверенов.

– Преклоняюсь перед вами! – сказал Гриф Пенкберну вечером за обедом. – Ничего умнее не придумаешь! Вы произвели переоценку ценностей. Теперь они будут дорожить пенсами и навязывать нам соверены. Пенкберн, пью за ваше здоровье! Юнга! Еще чашку чаю для мистера Пенкберна.

Началась золотая неделя. От зари до сумерек пироги рядами стояли в двухстах футах от шхуны – здесь начиналась запретная зона. Границу охраняли вооруженные винтовками матросы, туземцы с острова Рапа. Пирогам разрешалось подходить к шхуне только по одной, и чернокожие допускались на палубу лишь по одиночке. Здесь, под полотняным навесом, сменяясь через каждый час, четверо белых вели обмен. Он велся по расценкам, установленным Пенкберном и Одноглазым. За пять соверенов давали одну пачку табаку; за сто соверенов – двадцать пачек. Таким образом, людоед с хитрым видом выкладывал на стол тысячу долларов золотом и, невероятно довольный, отправлялся обратно, получив на сорок центов табаку.

– Надеюсь, у нас хватит курева, – с сомнением в голосе пробормотал Карлсен, вскрывая второй ящик.

Олбрайт рассмеялся.

– У нас в трюме пятьдесят ящиков, – сказал он, – а, по моему подсчету, за три ящика мы выручаем сто тысяч долларов. Зарыт был всего один миллион, значит, он нам обойдется в тридцать ящиков. Впрочем, разумеется, надо иметь резерв на серебро и пенсы. Эквадорские федералисты, наверное, погрузили на шхуну всю монету, какую нашли в казначействе.

Пенсов и шиллингов почти не приносили, хотя Пенкберн постоянно и с беспокойством их спрашивал. Казалось, ему были нужны только пенсы, и в глазах его при виде их появлялся жадный блеск. Дикари решили, что золото представляет наименьшую ценность и, значит, его нужно сбить в первую очередь. Пенсы же, за которые дают товару в пятьдесят раз больше, чем за соверены, надо придержать и хранить, как зеницу ока. Несомненно, седобородые мудрецы, посоветовавшись в своих лесных берлогах, решили поднять цену на пенсы, как только спустят белым все золото. Как знать? Авось, эти чужеземцы станут давать даже по двадцать пачек за драгоценные медяки!

К концу недели торговля пошла вяло. Тогда изредка появлялись пенсы, которые неохотно

отдавались дикарями за десять пачек. Серебра же поступило на несколько тысяч долларов.

На восьмой день утром обмен прекратился. Седобородые мудрецы приступили к осуществлению своего плана и потребовали по двадцать пачек за пенс. Одноглазый изложил новые условия. Белые приняли это, по-видимому, весьма серьезно и начали вполголоса совещаться. Если бы Одноглазый понимал по-английски, ему все стало бы ясно.

– Мы получили восемьсот с лишним тысяч, не считая серебра, – сказал Гриф. – Это, пожалуй, все, что у них имелось. Остальные двести тысяч, вероятнее всего, попали к лесным племенам, которые живут в глубине острова. Давайте вернемся сюда через три месяца. За это время прибрежные жители выменяют у лесных эти деньги обратно; да и табак у них к тому времени уже кончится.

– Грех будет покупать у них пенсы! – ухмыльнулся Олбрайт. – Это не по нутру моей бережливой купеческой душе.

– Начинается береговой бриз, – сказал Гриф, глядя на Пенкберна. – Ну, как ваше мнение?

Пенкберн кивнул.

– Прекрасно. – Гриф подставил щеку ветру и почувствовал, что он дует слабо и неравномерно. – Мистер Карлсен, поднимайте якорь и ставьте паруса. И пусть вельботы будут наготове для буксировки. Этот бриз ненадежен.

Он поднял початый ящик табаку, в котором оставалось еще шестьсот – семьсот пачек, сунул его в руки Одноглазому и помог ошеломленному дикарю перебраться через борт. Когда на мачте поставили фок, в пирогах у запретной зоны раздался вопль отчаяния. А когда был поднят якорь и «Морская Чайка» тронулась с места, Одноглазый, под наведенными на него винтовками, подплыл к борту и, неистово жестикулируя, объявил о согласии своего племени отдавать пенсы по десять пачек за штуку.

– Юнга! Кокос! – крикнул Пенкберн.

– Итак, вы отправляетесь в Сидней, – сказал Гриф. – А потом?

– Потом вернусь сюда вместе с вами за остальными двумя сотнями тысяч, – ответил Пенкберн. – А пока займусь постройкой шхуны для дальнего плавания. Кроме того, я буду судиться с моими опекунами – пусть докажут, что мне нельзя доверить отцовские деньги! Пусть попробуют это доказать! А я им докажу обратное!

Он с гордостью напряг мускулы под тонкой рубашкой, схватил двух чернокожих буфетчиков и поднял их над головой, как гимнастические гири.

– Потравить фока-шкот! Живо! – крикнул Карлсен с юта, где ветер уже наполнял грот.

Пенкберн отпустил буфетчиков и бросился выполнять приказание, обогнав на два прыжка матроса-туземца, тоже бежавшего к ходовому концу снасти.

\* \* \*

## В ДЕБРЯХ СЕВЕРА

Далеко за чертой последних, реденьких рощиц и чахлой поросли кустарника, в самом сердце

Бесплодной Земли, куда суровый север, как принято думать, не допускает ничего живого, после долгого и трудного пути вдруг открываются глазу громадные леса и широкие, веселые просторы. Но люди только теперь узнают об этом. Исследователям случалось проникать туда, но до сих пор ни один из них не вернулся, чтобы поведать о них миру.

Бесплодная Земля... Она и в самом деле бесплодна, эта унылая арктическая равнина, заполярная пустыня, хмурая и неласковая родина мускусного быка и тощего тундрового волка. Такой и представилась она Эвери Ван-Бранту: ни единого деревца, ничего радующего взор, только мхи да лишайники – словом, непривлекательная картина. Такой по крайней мере она оставалась до тех пор, пока он не достиг пространства, обозначенного на карте белым пятном, где неожиданно увидел роскошные хвойные леса и встретил селения неизвестных эскимосских племен. Был у него замысел (с расчетом на славу) нарушить однообразие этих белых пятен на карте и испещрить их обозначениями горных цепей, низин, водных бассейнов, извилистыми линиями рек; поэтому он особенно радовался неожиданно открывшейся возможности нанести на карту большой лесной пояс и туземные поселения.

Эвери Ван-Брант, или, именуя его полным титулом, профессор геологического института Э.Ван-Брант, был помощником начальника экспедиции и начальником отдельного ее отряда; этот отряд он повел обходом миль на пятьсот вверх по притоку Телона и теперь во главе его входил в одно из таких неизвестных поселений. За ним брели восемь человек; двое из них были канадские французы-проводники, остальные – рослые индейцы племени кри из Манитоба-Уэй. Он один был чистокровным англосаксом, и кровь, энергично пульсирующая в его жилах, понуждала его следовать традициям предков. Клайв и Гастингс, Дрэйк и Рэлей, Генгист и Горса незримо шли вместе с ним. Первым из своих соотечественников войдет он в это одинокое северное селение; при этой мысли его охватило ликование, и спутники заметили, что усталость его вдруг прошла и он бессознательно ускорил шаг.

Жители селения пестрой толпой высыпали навстречу: мужчины шли впереди, угрожающе сжимая в руках луки и копья, женщины и дети боязливо сбились в кучку сзади. Ван-Брант поднял правую руку в знак мирных намерений – знак, понятный всем народам земли, и эскимосы ответили ему таким же мирным приветствием. Но тут вдруг, к его досаде, из толпы выбежал какой-то одетый в звериные шкуры человек и протянул ему руку с привычным возгласом: «Хелло!». У него была густая борода, бронзовый загар покрывал его щеки и лоб, но Ван-Брант сразу признал в нем человека своей расы.

– Кто вы? – спросил он, пожимая протянутую руку. – Андрэ?

– Кто это – Андрэ? – переспросил тот.

Ван-Брант пристальнее всмотрелся в него.

– Черт возьми! Вы здесь, видно, немало прожили.

– Пять лет, – ответил бородатый, и в глазах его мелькнул огонек гордости. – Но пойдём поговорим, пусть они располагаются по соседству, – добавил он, перехватив взгляд, брошенный Ван-Брантом на его спутников. – Старый Тантлач позаботится о них. Идем же.

Он двинулся вперед быстрым шагом, и Ван-Брант последовал за ним через все селение. В беспорядке, там, где позволяла неровная местность, были разбросаны чумы, крытые лосиными шкурами. Ван-Брант окинул их опытным взглядом и сделал подсчет.

– Двести человек, не считая малолетних, – объявил он.

Бородатый молча кивнул головой.

– Примерно так. А я живу вот здесь, на отлете; тут, понимаете, более уединенно. Садитесь. Я

охотно поем вместе с вами, когда ваши люди что-нибудь приготовят. Я забыл вкус чая... Пять лет не пил, не помню, как он и пахнет. Табак есть у вас? А! Спасибо! И трубка найдется? Вот славно! Теперь бы спичку – и посмотрим, потеряло ли это зелье свою прелесть?

Он чиркнул спичкой, с бережливой осторожностью лесного жителя охраняя ее слабый огонек, точно этот огонек был единственный на всем свете, и сделал первую затяжку. Некоторое время он сосредоточенно задерживал в себе дым, потом медленно, как бы смакуя, выпустил его сквозь вытянутые губы. Выражение его лица смягчилось, взгляд стал мечтательно-туманным. Он откинулся назад, вздохнул всей грудью, блаженно, с глубоким наслаждением и проговорил:

– Здорово! Прекрасная вещь!

Ван-Брант сочувственно усмехнулся.

– Так вы говорите – пять лет?

– Пять лет. – Он вздохнул снова. – Человек – существо любопытное, и потому вам, разумеется, хотелось бы знать, как это получилось, – положение и правда довольно-таки странное. Но рассказывать, в сущности, нечего. Я отправился из Эдмонта поохотиться на мускусного быка, и меня постигли неудачи, так же как Пайка и многих других; спутники мои погибли, я потерял все свои припасы. Голод, лишения – обычная история, я с грехом пополам уцелел и вот чуть не на четвереньках приполз к этому Тантлачу.

– Пять лет, – тихо проговорил Ван-Брант, как бы соображая, что было пять лет назад.

– Пять лет минуло в феврале. Я переправился через Большое Невольничье озеро в начале мая...

– Так вы – Фэрфакс? – перебил его Ван-Брант.

Тот кивнул утвердительно.

– Постойте... Джон, если не ошибаюсь, Джон Фэрфакс?

– Откуда вы знаете? – лениво спросил Фэрфакс, поглощенный тем, что пускал кверху кольца дыма.

– Газеты были тогда полны сообщениями о вас. Преванш...

– Преванш! – Фэрфакс вдруг оживился и сел. – Он пропал где-то в Туманных Горах...

– Да, но он выбрался оттуда и спасся.

Фэрфакс снова откинулся на спину, продолжая пускать колечки.

– Рад слышать, сказал он задумчиво. – Преванш – молодец парень, хоть и с заскоками. Значит, он выбрался? Так, так, я рад...

Пять лет... Мысль Ван-Бранта все возвращалась к этим словам, и откуда-то из глубины памяти вдруг всплыло перед ним лицо Эмили Саутвэйт. Пять лет... Косяк диких гусей с криком пролетел над головой, но, заметив чумы и людей, быстро повернул на север, навстречу тлеющему солнцу. Ван-Брант скоро потерял их из виду. Он вынул часы. Был час ночи. Тянувшиеся к северу облака пламенели кровавыми отблесками, и темно-красные лучи, проникая в лесную чащу, озаряли ее зловещим светом. Воздух был спокоен и недвижим, ни одна иголка на сосне не шевелилась, и малейший шорох разносился кругом отчетливо и ясно, как звук рожка. Индейцы и французы-проводники поддались чарам этой тишины и

переговаривались между собой вполголоса; даже повар и тот невольно старался поменьше греметь сковородой и котелком. Где-то плакал ребенок, а из глубины леса доносился голос женщины и, как тонкая серебряная струна, звенел в погребальном напеве:

– О-о-о-о-о-о-а-а-а-а-а-а-а! О-о-о-о-о-о-ааа-аа...

Ван-Брант вздрогнул и нервно потер руки.

– Итак, меня сочли погибшим? – неторопливо процедил его собеседник.

– Что ж... ведь вы так и не вернулись; и ваши друзья...

– Скоро меня забыли, – засмеялся Фэрфакс неприятным, вызывающим смехом.

– Почему же вы не ушли отсюда?

– Отчасти, пожалуй, потому, что не хотел, а отчасти вследствие не зависящих от меня обстоятельств. Видите ли, Тантлач, вождь этого племени, лежал со сломанным бедром, когда я сюда попал, – у него был сложный перелом. Я вправил ему кость и вылечил его. Я решил пожить здесь немного, пока не наберусь сил. До меня Тантлач не видел ни одного белого, и, конечно, я показался ему великим мудрецом, потому что научил людей его племени множеству полезных вещей. Между прочим, я обучил их началам военной тактики; они покорили четыре соседних племени – чьих поселений вы еще не видели – и в результате стали хозяевами этого края. Естественно, они получили обо мне самое высокое понятие, так что, когда я собрался в путь, они и слышать не захотели о моем уходе. Что и говорить, они были очень гостеприимны! Приставили ко мне двух стражей и стерегли меня день и ночь. Наконец, Тантлач посулил мне кое-какие блага – так сказать, в награду; а мне, в сущности, было все равно – уйти или оставаться, – вот я и остался.

– Я знал вашего брата во Фрейбурге. Я – Ван-Брант.

Фэрфакс порывисто привстал и пожал ему руку.

– Так это вы старый друг Билли! Бедный Билли! Он часто говорил мне о вас... Однако удивительная встреча – в таком месте! – добавил он, окинув взглядом весь первобытный пейзаж, и на мгновение прислушался к заунывному пению женщины. – Все никак не успокоится – мужа у нее задрал медведь.

– Животная жизнь! – с гримасой отвращения заметил Ван-Брант. – Я думаю, что после пяти лет такой жизни цивилизация покажется вам заманчивой? Что вы на это скажете?

Лицо Фэрфакса приняло безразличное выражение.

– Ох, не знаю. Эти люди хотя бы честны и живут по своему разумению. И притом удивительно бесхитростны. Никаких сложностей: каждое простое чувство не приобретает у них тысячу и один тончайший нюанс. Они любят, боятся, ненавидят, сердятся или радуются – и выражают это просто, естественно и ясно, – ошибиться нельзя... Может быть, это и животная жизнь, но по крайней мере так жить – легко. Ни кокетства, ни игры в любовь. Если женщина полюбила вас, она не замедлит вам это сказать. Если она вас ненавидит, она вам это тоже скажет, и вы вольны поколотить ее за это, но, так или иначе, она точно знает, чего вы хотите, а вы точно знаете, чего хочет она. Ни ошибок, ни взаимного непонимания. После лихорадки, какой то и дело заболевает цивилизованный мир, в этом есть своя прелесть. Вы согласны?..

– Нет, это очень хорошая жизнь, – продолжал он, помолчав, – по крайней мере для меня она достаточно хороша, и я не ищу другой.

Ван-Брант в раздумье опустил голову, и на его губах заиграла чуть заметная улыбка. Ни

кокетства, ни игры в любовь, ни взаимного непонимания... Видно, и Фэрфакс никак не успокоится потому только, что Эмили Саутвэйт тоже в некотором роде «задрал медведь». И довольно симпатичный медведь был этот Карлтон Саутвэйт.

– И все-таки вы уйдете со мной, – уверенно сказал Ван-Брант.

– Нет, не уйду.

– Нет, уйдете.

– Повторяю вам, жизнь здесь слишком легка. – Фэрфакс говорил убежденно. – Я понимаю их, они понимают меня. Лето и зима мелькают здесь, как солнечные лучи сквозь кольца ограды, смена времен года подобна неясному чередованию света и тени – и время проходит, и жизнь проходит, а потом... жалобный плач в лесу и мрак. Слушайте!

Он поднял руку, и снова звенящий вопль скорби нарушил тишину и покой, царившие вокруг. Фэрфакс тихо стал вторить ему.

– О-о-о-о-о-о-а-а-а-а-а-а-а! О-о-о-о-о-о-о-а-а-а-а, – пел он. Вот, слушайте! Смотрите! Женщины плачут. Погребальное пение. Седые кудри патриарха венчают мою голову. Я лежу, завернутый в звериные шкуры во всем их первобытном великолепии. Рядом со мной положено мое охотничье копье. Кто скажет, что это плохо?

Ван-Брант холодно посмотрел на него.

– Фэрфакс, не валяйте дурака! Пять лет такой жизни сведут с ума хоть кого – и вы явно находитесь в припадке черной меланхолии. Кроме того, Карлтон Саутвэйт умер.

Ван-Брант набил и закурил трубку, искоса наблюдая за собеседником с почти профессиональным интересом. Глаза Фэрфакса на мгновение вспыхнули, кулаки сжались, он привстал, но потом весь словно обмяк и опустился на место в молчаливом раздумье.

Майкл, повар, подал знак, что ужин готов. Ван-Брант, тоже знаком, велел повременить. Тишина гнетуще действовала на него. Он принялся определять лесные запахи: вот – запах прели и перегноя, вот – смолистый аромат сосновых шишек и хвои и сладковатый дым от множества очагов... Фэрфакс два раза поднимал на него глаза и снова опускал, не сказав ни слова; наконец он проговорил:

– А... Эмили?

– Три года вдовееет. И сейчас вдова.

Снова водворилось длительное молчание; в конце концов Фэрфакс прервал его, сказав с наивной улыбкой:

– Пожалуй, вы правы, Ван-Брант. Я уйду с вами.

– Я так и думал. – Ван-Брант положил руку на плечо Фэрфакса. – Конечно, наперед знать нельзя, но мне кажется... в таких обстоятельствах... ей уже не раз делали предложения...

– Вы когда собираетесь отправляться в путь? – перебил Фэрфакс.

– Пусть люди немного отоспятся. А теперь пойдём поедим, а то Майкл уже, наверно, сердится.

После ужина индейцы и проводники завернулись в одеяла и захрапели, а Ван-Брант с Фэрфаксом остались посидеть у догорающего костра. Им было о чем поговорить – о войнах,

о политике, об экспедициях, о людских делах и событиях в мире, об общих друзьях, о браках и смертях – об истории этих пяти лет, живо интересовавшей Фэрфакса.

– Итак, испанский флот был блокирован в Сантьяго, – говорил Ван-Брант; но тут мимо него вдруг прошла какая-то молодая женщина и остановилась возле Фэрфакса. Она торопливо глянула ему в лицо, затем обратила тревожный взгляд на Ван-Бранта.

– Дочь вождя Тантлача, в некотором роде принцесса, – пояснил Фэрфакс, невольно покраснев. – Короче говоря, одна из причин, заставивших меня здесь остаться. Тум, это Ван-Брант, мой друг.

Ван-Брант протянул руку, но женщина сохранила каменную неподвижность, вполне соответствовавшую всему ее облику. Ни один мускул не дрогнул в ее лице, ни одна черточка не смягчилась. Она смотрела ему прямо в глаза пронизывающим, пытливым, вопрошающим взглядом.

– Она ровно ничего не понимает, – рассмеялся Фэрфакс. – Ведь ей еще никогда не приходилось ни с кем знакомиться. Значит, вы говорите, испанский флот был блокирован в Сантьяго?

Тум села на землю, рядом с мужем, застыв, как бронзовая статуя, только ее блестящие глаза по-прежнему пыливо и тревожно перебежали с лица на лицо. И Ван-Бранту, продолжавшему свой рассказ, стало не по себе под этим немым, внимательным взглядом. Увлечшись красочным описанием боя, он вдруг почувствовал, что эти черные глаза насквозь прожигают его, – он начинал запинаться, путаться, и ему стоило большого труда восстановить ход мыслей и продолжать рассказ. Фэрфакс, отложив трубку и обхватив колени руками, напряженно слушал, нетерпеливо торопил рассказчика, когда тот останавливался, – перед ним оживали картины мира, который, как ему казалось, он давно забыл.

Прошел час, два, наконец Фэрфакс неохотно поднялся.

– И Кронье некуда было податься! Но погодите минутку, я сбегаю к Тантлачу, – он уже, наверно, ждет, и я сговорюсь, что вы придете к нему после завтрака. Вам это удобно?

Он скрылся за соснами, и Ван-Бранту ничего не оставалось делать, как глядеть в жаркие глаза Тум. Пять лет, думал он, а ей сейчас не больше двадцати. Удивительное создание! Обычно у эскимосок маленькая плоская пуговка вместо носа, а вот у этой нос тонкий и даже с горбинкой, а ноздри тонкие и изящного рисунка, как у красавиц более светлой расы, – капля индейской крови, уж будь уверен, Эвери Ван-Брант. И, Эвери Ван-Брант, не нервничай, она тебя не съест; она всего только женщина, к тому же красивая. Скорее восточного, чем местного типа. Глаза большие и довольно широко поставленные, с чуть монгольской раскосостью. Тум, ты же аномалия! Ты здесь чужая, среди этих эскимосов, даже если у тебя отец эскимос. Откуда родом твоя мать? Или бабушка? О Тум, дорогая, ты красotka, холодная, застывшая красotka с лавой аляскинских вулканов в крови, и, прошу тебя, Тум, не гляди на меня так! Он засмеялся и встал. Ее упорный взгляд смущал его.

Какая-то собака бродила среди мешков с провизией. Он хотел прогнать ее и отнести мешки в более надежное место, пока не вернется Фэрфакс. Но Тум удержала его движением руки и встала прямо против него.

– Ты? – сказала она на языке Арктики, почти одинаковым у всех племен от Гренландии до мыса Барроу. – Ты?

Смена выражений на ее лице выразила все вопросы, стоявшие за этим «ты»: и откуда он взялся, и зачем он здесь, и какое отношение он имеет к ее мужу – все.



– Брат, – ответил он на том же языке, широким жестом указывая в сторону юга. – Мы братья, твой муж и я.

Она покачала головой.

– Нехорошо, что ты здесь.

– Пройдет один сон, и я уйду.

– А мой муж? – спросила она, вся затрепетав в тревоге.

Ван-Брант пожал плечами. Ему втайне было стыдно за кого-то и за что-то, и он сердился на Фэрфакса. Он чувствовал, что краснеет, глядя на эту дикарку. Она всего только женщина, но этим сказано все – женщина. Снова и снова повторяется эта скверная история – древняя, как сама Ева, и юная, как луч первой любви.

– Мой муж! Мой муж! Мой муж! – твердила она неистово; лицо ее потемнело, и из глаз глянула на него вечная, беспощадная женская страсть, страсть Женщины-Подруги.

– Тум, – заговорил он серьезно по-английски, – ты родилась в северных лесах, питалась рыбой и мясом, боролась с морозом и голодом и в простоте души прожила все свои годы. Но есть много вещей, вовсе не простых, которых ты не знаешь и понять не можешь, что значит тосковать по прекрасной женщине. А та женщина прекрасна, Тум, она благородно-прекрасна. Ты была женой этого человека и отдала ему все свое существо, но ведь оно маленькое, простенькое, твое существо. Слишком маленькое и слишком простенькое, а он – человек другого мира. Ты его никогда не понимала, и тебе никогда его не понять. Так предопределено свыше. Ты держала его в своих объятиях, но ты никогда не владела его сердцем, сердцем этого чудака с его фантазиями о смене времен года и мечтами о покое в дикой глуши. Мечта, неуловимая мечта – вот чем он был для тебя. Ты цеплялась за человека, а ловила тень, отдавалась мужчине и делила ложе с призраком. Такова была в древности участь всех дочерей смертных, чья красота приглянулась богам. О Тум, Тум, не хотел бы я быть на месте Джона Фэрфакса в бессонные ночи грядущих лет, в те бессонные ночи, когда вместо светлых, как солнце, волос женщины, покоящейся с ним рядом, ему будут мерещиться темные косы подруги, покинутой в лесной глуши Севера!

Тум хоть и не понимала, но слушала с таким пристальным вниманием, как будто ее жизнь зависела от его слов. Однако она уловила имя мужа и по-эскимоски крикнула:

– Да! Да! Фэрфакс! Мой муж!

– Жалкая дурочка, как мог он быть твоим мужем?

Но ей непонятен был английский язык, и она подумала, что ее вышучивают. Ее глаза вспыхнули немой, безудержным гневом, и Ван-Бранту даже почудилось, что она, как пантера, готовится к прыжку.

Он тихо выругал себя, но вдруг увидел, что пламя гнева угасло в ее глазах и взгляд стал лучистым и мягким – молящий взгляд женщины, которая уступает силе и мудро прикрывается броней собственной слабости.

– Он мой муж, – сказала она кротко. – Я никогда другого не знала. Невозможно мне знать другого. И невозможно, чтобы он ушел от меня.

– Кто говорит, что он уйдет от тебя? – резко спросил Ван-Брант, теряя терпение и в то же время чувствуя себя обезоруженным.

– Ты должен сказать, чтобы он не уходил от меня, – ответила она кротко, удерживая

рыдания.

Ван-Брант сердито отбросил угли костра и сел.

– Ты должен сказать. Он мой муж. Перед всеми женщинами он мой. Ты велик, ты силен, а я – посмотри, как я слаба. Видишь, я у твоих ног. Тебе решать мою судьбу. Тебе...

– Вставай!

Резким движением он поднял ее на ноги и встал сам.

– Ты – женщина. И не пристало тебе валяться на земле, а тем более в ногах у мужчины.

– Он мой муж.

– Тогда – да простит господь всем мужьям! – вырвалось у Ван-Бранта.

– Он мой муж, твердила она уныло, умоляюще.

– Он брат мой, – отвечал Ван-Брант.

– Мой отец – вождь Тантлач. Он господин пяти селений. Я прикажу, и из всех девушек этих пяти селений тебе выберут лучшую, чтобы ты остался здесь с твоим братом и жил в довольстве.

– Через один сон я уйду.

– А мой муж?

– Вот он идет, твой муж. Слышишь?

Из-за темных елей донесся голос Фэрфакса, напевавшего веселую песенку.

Как черная туча гасит ясный день, так его песня согнала свет с ее лица.

– Это язык его народа, – промолвила Тум, – язык его народа...

Она повернулась гибким движением грациозного молодого животного и исчезла в лесу.

– Все в порядке! – крикнул Фэрфакс, подходя. – Его королевское величество примет вас после завтрака.

– Вы сказали ему? – спросил Ван-Брант.

– Нет. И не скажу, пока мы не будем готовы двинуться в путь.

Ван-Брант с тяжелым чувством посмотрел на своих спящих спутников.

– Я буду рад, когда мы окажемся за сотню миль отсюда.

Тум подняла шкуру, завешивавшую вход в чум отца. С ним сидели двое мужчин, и все трое с живым интересом взглянули на нее. Но она вошла и тихо, молча села, обратив к ним бесстрастное, ничего не выражающее лицо. Тантлач барабанил костяшками пальцев по древку копья, лежавшего у него на коленях, и лениво следил за солнечным лучом, пробившемся сквозь дырку в шкуре и радужной дорожкой пронизавшим сумрак чума. Справа из-за плеча вождя выглядывал Чугэнгат, шаман. Оба были стары, и усталость долгих лет застилала их взор. Но против них сидел юноша Кин, общий любимец всего племени. Он был быстр и легок в движениях, и его черные блестящие глаза испытующе и с вызовом смотрели

то на того, то на другого.

В чуме царило молчание. Только время от времени в него проникал шум соседних жилищ и издали доносились едва слышные, словно то были не голоса, а их тени, тонкие, визгливые крики дерущихся мальчишек. Собака просунула голову в отверстие, по-волчьи поблескивая глазами. С ее белых, как слоновою костью, клыков стекала пена. Она заискивающе поскулила, но, испугавшись неподвижности человеческих фигур, нагнула голову и, пятась, поплелась назад. Тантлач равнодушно поглядел на дочь.

– Что делает твой муж, и как ты с ним?

– Он поет чужие песни, – отвечала Тум. – И у него стало другое лицо.

– Вот как? Он говорил с тобой?

– Нет, но у него другое лицо и другие мысли в глазах, и он сидит с Пришельцем у костра, и они говорят, и говорят, и разговору этому нет конца.

Чугэнгат зашептал что-то на ухо Тантлачу, и Кин, сидевший на корточках, так и рванулся вперед.

– Что-то зовет его издалека, – рассказывала Тум, – и он сидит, и слушает, и отвечает песней на языке своего народа.

Опять Чугэнгат зашептал, опять Кин рванулся, и Тум умолкла, ожидая, когда отец ее кивком головы разрешит ей продолжать.

– Тебе известно, о Тантлач, что дикие гуси, и лебеди, и маленькие озерные утки рождаются здесь, в низинах. Известно, что с наступлением морозов они улетают в неведомые края. Известно и то, что они всегда возвращаются туда, где родились, чтобы снова могла зародиться новая жизнь. Земля зовет их, и они являются. И вот теперь моего мужа тоже зовет земля – земля, где он родился, – и он решил ответить на ее зов. Но он мой муж. Перед всеми женщинами он мой.

– Хорошо это, Тантлач? Хорошо? – с отдаленной угрозой в голосе спросил Чугэнгат.

– Да, хорошо! – вдруг смело крикнул Кин. – Наша земля зовет к себе своих детей. Как дикие гуси и лебеди и маленькие озерные утки слышат зов, так услышал зов и этот чужестранец, который слишком долго жил среди нас и который теперь должен уйти. И есть еще голос рода. Гусь спаривается с гусыней, и лебедь не станет спариваться с маленькой озерной уткой. Нехорошо, если бы лебедь стал спариваться с маленькой озерной уткой. И нехорошо, когда чужестранцы берут в жены женщин из наших селений. Поэтому я говорю, что этот человек должен уйти к своему роду, в свою страну.

– Он мой муж, – ответила Тум, – и он великий человек.

– Да, он великий человек. – Чугэнгат живо поднял голову, как будто к нему вернулась часть его былой юношеской силы. – Он великий человек, и он сделал мощной твою руку, о Тантлач, и дал тебе власть, и теперь твое имя внушает страх всем кругом, страх и благоговение. Он очень мудр, и нам большая польза от его мудрости. Мы обязаны ему многим – он научил нас хитростям войны и искусству защиты селений и нападения в лесу; он научил нас, как держать совет, и как сокрушать силой слова, и как клятвой подкреплять обещание; научил охоту на дичь и уменью ставить капканы и сохранять пищу; научил лечить болезни и перевязывать раны, полученные в походах и в бою. Ты, Тантлач, был бы теперь хромым стариком, если бы чужестранец не пришел к нам и не вылечил тебя. Если мы сомневались и не знали, на что решиться, мы шли к чужестранцу, чтобы его мудрость указала нам правильный путь, и его

мудрость всегда указывала нам путь, и могут явиться новые сомнения, которые только его мудрость поможет разрешить, – и потому нам нельзя отпустить его. Худо будет, если мы отпустим его.

Тантлач продолжал барабанить по древку копья, и нельзя было понять, слышал он речь Чугэнгата или нет. Тум напрасно всматривалась в его лицо, а Чугэнгат как будто весь съежился под бременем лет, снова придавившим его.

– Никто не выходит за меня на охоту! – Кин с силой ударил себя в грудь. – Я сам охочусь для себя. Я радуюсь жизни, когда выхожу на охоту. Когда я ползу по снегу, выслеживая лося, я радуюсь. И когда натягиваю тетиву, вот так, изо всех сил, и беспощадно, и быстро, и в самое сердце пускаю стрелу – я радуюсь. И мясо зверя, убитого не мной, никогда не бывает мне так сладко, как мясо зверя, которого убил я сам. Я радуюсь жизни, радуюсь своей ловкости и силе, радуюсь, что я сам все могу, сам добываю, что мне нужно. И ради чего жить, как не ради этого? Зачем мне жить, если в самом себе и в том, что я делаю, мне не будет радостно? Я провожу свои дни на охоте и на рыбной ловле оттого, что в этом радость для меня, а проводя дни на охоте и рыбной ловле, я становлюсь ловким и сильным. Человек, сидящий у огня в чуме, теряет ловкость и силу. Он не чувствует себя счастливым, вкушая пищу, добытую не им, и жизнь не радует его. Он не живет. И потому я говорю: хорошо, если чужестранец уйдет. Его мудрость не делает нас мудрыми. Мы не стремимся приобретать сноровку, зная, что она есть у него. Когда нам нужно, мы обращаемся к его сноровке. Мы едим добытую им пищу, но она не сладка нам. Мы сильны его силой, но в этом нет отрады. Мы живем жизнью, которую он создает для нас, а это – не настоящая жизнь. От такой жизни мы жиреем и делаемся, как женщины, и боимся работы, и теряем умение сами добывать все, что нам нужно. Пусть этот человек уйдет, о Тантлач, чтоб мы снова стали мужчинами! Я – Кин, мужчина, и я сам охочусь для себя!

Тантлач обратил на него взгляд, в котором, казалось, была пустота вечности. Кин с нетерпением ждал решения, но губы Тантлача не шевелились, и старый вождь повернулся к своей дочери.

– То, что дано, не может быть отнято, – заговорила она быстро. – Я была всего только девочкой, когда этот чужестранец, ставший моим мужем, впервые пришел к нам. Я не знала мужчин и их обычаев, и мое сердце было как сердце всякой девушки, когда ты, Тантлач, ты, и никто другой, позвал меня и бросил в объятия чужестранца. Ты, и никто другой, Тантлач; и как меня ты дал этому человеку, так этого человека ты дал мне. Он мой муж. Он спал в моих объятиях, и из моих объятий его вырвать нельзя.

– Хорошо бы, о Тантлач, – живо подхватил Кин, бросив многозначительный взгляд на Тум, – хорошо бы, если бы ты помнил: то, что дано, не может быть отнято.

Чугэнгат выпрямился.

– Неразумная юность говорит твоими устами, Кин. Что до нас, о Тантлач, то мы старики, и мы понимаем. Мы тоже глядели в глаза женщин, и наша кровь кипела от непонятных желаний. Но годы нас охладили, и мы поняли, что только опытом дается мудрость и только хладнокровие делает ум пронизательным, а руку твердой, и мы знаем, что горячее сердце бывает слишком горячим и склонным к поспешности. Мы знаем, что Кин был угоден твоим очам. Мы знаем, что Тум была обещана ему в давние дни, когда она была еще дитя. Но пришли новые дни, и с ними пришел чужестранец, тогда мудрость и стремление к пользе велели нам нарушить обещание, – и Тум была потеряна для Кина.

Старый шаман помолчал и посмотрел в лицо молодому человеку.

– И да будет известно, что это я, Чугэнгат, посоветовал нарушить обещание.

– Я не принял другой женщины на свое ложе, – прервал его Кин. – Я сам смастерил себе очаг, и сам варил пищу, и скрежетал зубами в одиночестве.

Чугэнгат движением руки показал, что он еще не кончил.

– Я старый человек, и разум – источник моих слов. Хорошо быть сильным и иметь власть. Еще лучше отказаться от власти, если знаешь, что это принесет пользу. В старые дни я сидел по правую руку от тебя, о Тантлач, мой голос в совете значил больше других, и меня слушались во всех важных делах. Я был силен и обладал властью. Я был первым человеком после Тантлача. Но пришел чужестранец, и я увидел, что он искусен, и мудр, и велик. И было ясно, что раз он искуснее и мудрее меня, то от него будет больше пользы, чем от меня. И ты склонил ко мне ухо, Тантлач, и послушал моего совета, и дал чужестранцу власть, и место по правую руку от себя, и дочь свою Тум. И наше племя стало процветать, живя по новым законам новых дней, и будет процветать дальше, если чужестранец останется среди нас. Мы старики с тобой, о Тантлач, и это дело ума, а не сердца. Слушай мои слова, Тантлач! Слушай мои слова! Пусть чужестранец остается!

Наступило долгое молчание. Старый вождь размышлял с видом человека, убежденного в божественной непогрешимости своих решений, а Чугэнгат, казалось, погрузился мыслью в туманные дали прошлого. Кин жадными глазами смотрел на женщину, но она не замечала этого и не отрывала тревожного взгляда от губ отца. Пес снова сунулся под шкуру и, успокоенный тишиной, на брюхе вполз в чум. Он с любопытством обнюхал опущенную руку Тум, вызываясь насторожив уши, прошел мимо Чугэнгата и лег у ног Тантлача. Копье с грохотом упало на землю, собака испуганно взвыла, отскочила в сторону, лязгнула в воздухе зубами и, сделав еще прыжок, исчезла из чума.

Тантлач переводил взгляд с одного лица на другое, долго и внимательно изучая каждое. Потом он с царственной суровостью поднял голову и холодным и ровным голосом произнес свое решение:

– Чужестранец остается. Собери охотников. Пошли скорохода в соседнее селение с приказом привести воинов. С Пришельцем я говорить не стану. Ты, Чугэнгат, поговоришь с ним. Скажи ему, что он может уйти немедленно, если согласен уйти мирно. Но если придется биться, – убивайте, убивайте, убивайте всех до последнего, но передай всем мой приказ: нашего чужестранца не трогать, чужестранца, который стал мужем моей дочери. Я сказал.

Чугэнгат поднялся и заковылял к выходу. Тум последовала за ним; но когда Кин уже нагнулся, чтобы выйти, голос Тантлача остановил его:

– Кин, ты слышал мои слова, и это хорошо. Чужестранец остается. Смотри, чтоб с ним ничего не случилось.

Следуя наставлениям Фэрфакса в искусстве войны, эскимосские воины не бросались дерзко вперед, оглашая воздух криками. Напротив, они проявляли большую сдержанность и самообладание, двигались молча, переползая от прикрытия к прикрытию. У берега реки, где узкая полоса открытого пространства служила относительной защитой, залегли люди Ван-Бранта – индейцы и французы. Глаза их не различали ничего, и ухо только смутно улавливало неясные звуки, но они чувствовали присутствие живых существ в лесу и угадывали приближение неслышного, невидимого врага.

– Будь они прокляты, – пробормотал Тантлач, – они и понятия не имели о порохе, а я научил их обращению с ним.

Эвери Ван-Брант рассмеялся, выколотив свою трубку, запрятал ее дальше вместе с кисетом и попробовал, легко ли вынимается охотничий нож из висевших у него на боку ножен.

– Увидите, – сказал он, – мы рассеем передний отряд, и это поубавит им прыти.

– Они пойдут цепью, если только помнят мои уроки.

– Пусть себе! Винтовки на то и существуют, чтобы сажать пулю за пулей! А! Вот славно! Первая кровь! Лишнюю порцию табаку тебе, Лун.

Лун, индеец, заметил чье-то выставившееся плечо и меткой пулей дал знать его владельцу о своем открытии.

– Только бы их раззадорить, – бормотал Фэрфакс, – только бы раззадорить, чтобы они рванулись вперед.

Ван-Брант увидел мелькнувшую за дальним деревом голову; тотчас грянул выстрел, и эскимос покатился на землю в смертельной агонии. Майкл уложил третьего. Фэрфакс и прочие тоже взялись за дело, стреляя в каждого неосторожно высывавшегося эскимоса и по каждому шевелящемуся кусту. Пятеро эскимосов нашли свою смерть, перебегая незащищенное болотце, а десяток poleg левее, где деревья были редки. Но остальные шли навстречу судьбе с мрачной стойкостью, продвигаясь вперед осторожно, обдуманно, не торопясь и не мешкая.

Десять минут спустя, идя почти вплотную, они вдруг остановились; всякое движение замерло, наступила зловещая, грозная тишина. Только видно было, как чуть шевелятся, вздрагивая от первых слабых дуновений ветра, трава и листья, позолоченные тусклым утренним солнцем. Длинные тени легли на землю, причудливо перемежаясь с полосами света. Невдалеке показалась голова раненного эскимоса, с трудом выползавшего из болотца. Майкл навел уже на него винтовку, но медлил с выстрелом. Внезапно, по невидимой линии фронта, слева направо, пробежал свист и туча стрел прорезала воздух.

– Готовься! – скомандовал Ван-Брант, и в его голосе зазвучала новая, металлическая нотка. – Пли!

Эскимосы разом выскочили из засады. Лес вдруг дохнул и весь ожил. Раздался громкий клич, и винтовки с гневным вызовом рявкнули в ответ. Настигнутые пулей эскимосы падали на бегу, но их братья неудержимо, волна за волной, катились через них. Впереди, мелькая между деревьями, мчалась с развевающимися волосами Тум, размахивая на бегу руками и перепрыгивая через поваленные стволы. Фэрфакс прицелился и чуть не нажал спуск, как вдруг узнал ее.

– Женщина! Не стрелять! – крикнул он. – Смотрите, она безоружна.

Ни индейцы, ни Майкл и его товарищ, ни Ван-Брант, посылавший пулю за пулей, не слышали его. Но Тум невредимая, неслась прямо вперед, за одетым в шкуры охотником, вдруг откуда-то вынырнувшим со стороны. Фэрфакс разил пулями эскимосов, бежавших справа и слева, навел винтовку и на охотника. Но тот, видимо, узнав его, неожиданно метнулся в сторону и вонзил копьё в Майкла. В ту же секунду Тум обвила рукой шею мужа и, полуобернувшись, окриком и жестом как бы отстранила толпу нападавших. Десятки людей пронесли мимо, на какое-то краткое мгновение Фэрфакс замер перед ее смуглой, волнующей, победной красотой, и рой странных видений, воспоминаний и грез всколыхнул глубины его существа. Обрывки философских догм старого мира и этических представлений нового, какие-то картины, поразительно отчетливые и в то же время мучительно бессвязные, пронесли в его мозгу: сцены охоты, лесные чащи, безмолвные снежные просторы, сияние бальных огней, картинные галереи и лекционные залы, мерцающий блеск реторт, длинные ряды книжных полок, стук машин и уличный шум, мелодии забытой песни, лица дорогих сердцу женщин и старых друзей, одинокий ручей на дне глубокого ущелья, разбитая лодка на каменистом берегу, тихое поле, озаренное луной, плодородные долины, запах сена...

Воин, настигнутый пулей, попавшей ему между глаз, по инерции сделал еще один неверный шаг вперед и, бездыханный, рухнул на землю. Фэрфакс очнулся. Его товарищи, – те, что еще оставались в живых, – были оттеснены далеко назад, за деревья. Он слышал свирепые крики охотников, перешедших врукопашную, колотивших и рубивших своим оружием из моржовой кости. Стоны раненых поражали его, как удары. Он понял, что битва кончена и проиграна, но традиции расы и расовая солидарность побуждали его ринуться в самую гущу схватки, чтобы по крайней мере умереть среди себе подобных.

– Мой муж! Мой муж! – кричала Тум. – Ты спасен!

Он рвался из ее рук, но она тяжким грузом повисла на нем и не давала ему ступить ни шагу.

– Не надо, не надо! Они мертвы, а жизнь хороша!

Она крепко обхватила его за шею и цеплялась ногами за его ноги; он оступился и покачнулся, напряг все силы, чтобы выпрямиться и устоять на ногах, но снова покачнулся и навзничь упал на землю. При этом он ударился затылком о торчавший корень, его оглушило, и он уже почти не сопротивлялся. Падая вместе с ним, Тум услышала свист летящей стрелы и, как щитом, закрыла его своим телом, крепко обняв его и прижавшись лицом и губами к его шее.

Тогда, шагах в десяти от них, из частого кустарника вышел Кин. Он осторожно осмотрелся. Битва затихала вдаль, и замирал крик последней жертвы. Никого не было видно. Он приложил стрелу к тетиве и взглянул на тех двоих. Тело мужчины ярко белело между грудью и рукой женщины. Кин оттянул тетиву, прицеливаясь. Два раза он спокойно проделал это, для верности, и тогда только пустил костяное острие прямо в белое тело, казавшееся особенно белым в объятиях смуглых рук Тум, рядом с ее смуглой грудью.

\* \* \*

## ВЕЛИКИЙ КУДЕСНИК

В поселке было неладно. Женщины без умолку тараторили высокими, пронзительными голосами. Мужчины хмурились и недоверчиво косились по сторонам, и даже собаки в беспокойстве бродили кругом, смутно чуя тревожный дух, овладевший всем поселком, и готовясь умчаться в лес при первом внешнем признаке беды. Недоверие носилось в воздухе. Каждый подозревал своего соседа и при этом знал, что и его подозревают. Дети и те присмирели, а маленький Ди-Иа, виновник всего происшедшего, получив основательную трепку сперва от Гунии, своей матери, а потом и от отца, Боуна, забился под опрокинутую лодку на берегу и мрачно взирал оттуда на мир, время от времени тихонько всхлипывая.

А в довершение несчастья шаман Скунду был в немилости, и нельзя было прибегнуть к его всем известному колдовскому искусству, чтобы обнаружить преступника. С месяц тому назад, когда племя собиралось на потlach в Тонкин, где Чаку-Джим спускал все накопленное за двадцать лет, шаман Скунду предсказал попутный южный ветер. И что же? В назначенный день поднялся вдруг северный ветер, да такой сильный, что из трех лодок, первыми отчаливших от берега, одну захлестнуло волной, а две другие вдребезги разбились о скалы, и при этом утонул ребенок. Скунду потом объявил, что при гадании вышла ошибка – не за ту веревку дернул. Но люди не стали его слушать; щедрые приношения мясом, рыбой и мехами сразу прекратились, и он заперся в своем доме, проводя дни в посте и унынии, как думали все, на самом деле – питаясь обильными запасами его тайника и размышляя о непостоянстве толпы.

У Гунии пропали одеяла. Отличные были одеяла, на редкость толстые и теплые, и она особенно хвалилась ими еще потому, что достались они ей почти задаром. Ти-Куон из соседнего поселка был просто дурень, что так дешево уступил их. Впрочем, она не знала, что эти одеяла принадлежали убитому англичанину – тому самому, из-за которого так долго торчал у берега американский полицейский катер, а шлюпки с него шныряли и рыскали по самым потайным проливам и бухточкам. Вот Ти-Куон и поспешил избавиться от этих одеял, опасаясь, как бы кто из племени не сообщил о происшествии властям, но Гуния не знала этого и продолжала хвалиться покупкой. А оттого, что все женщины завидовали ей, слава о ее одеялах возросла сверх всякой меры и, выйдя за пределы поселка, разнеслась по всему аляскинскому побережью от Датч-Харбор до бухты св. Марии. Всюду прославляли ее тотем, и, где бы ни собрались мужчины на рыбную ловлю или на пиршество, только и было разговоров, что об одеялах Гунии, о том, какие они толстые и теплые. Пропали они самым необъяснимым и таинственным образом.

– Я только что разостлала их на припеке у самого дома, – в тысячный раз жаловалась Гуния своим сестрам по племени тлинкетов. – Только что разостлала и отвернулась, потому что Ди-Йа, этот дрянной воришка, задумав полакомиться сырым тестом, сунул голову в большой железный чан, упал туда и увяз, так что только ноги его раскачивались в воздухе, точно ветви дерева на ветру. И не успела я вытащить его из чана и дважды стукнуть головою о дверь, чтобы образумить, гляжу – одеяла исчезли.

– Одеяла исчезли! – подхватили женщины испуганным шепотом.

– Большая беда, – сказала одна.

– Такие одеяла! – сказала другая.

– Мы все огорчены твоей бедой, Гуния, – прибавила третья.

Но в душе все женщины радовались тому, что этих злосчастных одеял, предмета всеобщей зависти, не стало.

– Я только что разостлала их на припеке, – начала Гуния в тысячу первый раз.

– Да, да, – прервал ее Боун, которому уже надоело слушать. – Но в поселке чужих не было. И потому ясно, что человек, беззаконно присвоивший одеяла, принадлежит к нашему племени.

– Не может этого быть, о Боун! – негодующим хором отозвались женщины. – Нет среди нас такого.

– Значит, тут колдовство, – невозмутимо заключил Боун, не без лукавства глянув на окружавших его женщин.

– Колдовство! – При этом страшном слове женщины притихли, и каждая опасливо покосилась на соседок.

– Да, – подтвердила Гуния, в минутной вспышке злорадства выдавая свой мстительный нрав. – И уже послана лодка с сильным гребцом за Клок-Но-Тоном. С вечерним приливом он будет здесь.

Народ стал расходиться, и по селению пополз страх. Из всех возможных бедствий колдовство было самым страшным. Дьявол мог вселиться в любого – мужчину, женщину или ребенка, и никому не дано было знать об этом. Против сил невидимых и неуловимых умели бороться одни лишь шаманы, а из всех шаманов в округе самым грозным был Клок-Но-Тон, живший в соседнем поселке. Никто чаще его не обнаруживал злых духов, никто не подвергал своих жертв более ужасным пыткам. Как-то раз он даже обнаружил дьявола, который



вселился в трехмесячного младенца, – и очень упорный это был дьявол; чтобы изгнать его, понадобилось целую неделю продержат ребенка на ложе из шипов и колючек. Тело после этого выбросили в море, но волны снова и снова прибивали его к берегу, точно предрекая беду; и только когда двое сильных мужчин утонули поблизости в час отлива, оно уплыло и больше не возвращалось.

И вот за этим Клок-Но-Тоном послала Гуния. Уж лучше бы свой шаман, Скунду, был при деле. Он обычно не прибегал к таким крутым мерам, и однажды ему случилось изгнать двух дьяволов из тела мужчины, который потом прижил семерых здоровых детей. Но Клок-Но-Тон! При одной мысли о нем у людей сжималось сердце от зловещего предчувствия, и каждому чудилось, что на него устремлены подозрительные взгляды, да и сам он уже смотрел подозрительным взглядом на остальных. Так чувствовали себя все, кроме Симэ, но Симэ был безбожник и неминуемо должен был кончить дурно, хотя до сих пор ему все сходило с рук.

– Хо! Хо! – смеялся он. – Дьяволы! Да ведь сам Клок-Но-Тон хуже всякого дьявола, другого такого по всей земле тлинкетов не найти.

– Ах ты глупец! Вот он явится скоро со всеми своими заклинаниями и наговорами. Придержи лучше язык, не то как бы не приключилось с тобой недоброе и счет твоих дней не стал бы короче.

Так сказал Ла-Лакх, прозванный Обманщиком, но Симэ только засмеялся в ответ.

– Я – Симэ, не знающий страха, не боящийся тьмы. Я сильный человек, как и мой покойный отец, и у меня ясная голова. Ведь ни ты, ни я, никто из нас не видел своими глазами духов зла...

– Но Скунду видел их, – возразил Ла-Лакх. – И Клок-Но-Тон тоже. Это мы знаем.

– А ты почему знаешь, сын глупца? – загремел Симэ, и его толстая бычья шея побагровела от прилива крови.

– Я слышал это из их собственных уст – потому и знаю.

Симэ фыркнул:

– Шаман – только человек. Разве не могут его слова быть лживы, точно так же как твои и мои? Тьфу, тьфу! И еще раз тьфу! Вот что мне все твои шаманы с их дьяволами вместе! Вот что! И вот что!

И, прищелкивая пальцами на все стороны, Симэ пошел прочь, а толпа боязливо и почтительно расступилась перед ним.

– Добрый охотник и искусный рыболов, но человек дурной, – сказал один.

– И все же ему во всем удача, – откликнулся другой.

– Что ж, стань и ты дурным, и тебе тоже будет во всем удача, – через плечо бросил ему Симэ. – Если б мы все были дурными, нечего было бы делать шаманам. Пфф! Все вы, как малые дети, боящиеся темноты.

Когда в час вечернего прилива лодка, привезшая Клок-Но-Тона, пристала к берегу, Симэ все так же вызывающе смеялся и даже отпустил какую-то дерзкую шутку, увидев, что шаман споткнулся, выходя на берег. Клок-Но-Тон сердито посмотрел на него и, не сказав ни слова приветствия, с гордым видом направился прямо к дому Скунду, минуя толпу ожидающих.

Что произошло во время этой встречи, осталось неизвестным людям племени, потому что

они почтительно теснились поодаль и даже говорили шепотом, покуда оба великих кудесника совещались между собой.

– Привет тебе, Скунду! – буркнул Клок-Но-Тон не слишком уверенно, видимо, не зная, какой прием будет ему оказан.

Он был исполинского роста и башней высился над тщедушным Скунду, чей тоненький голосок прозвучал в ответ, точно верещание сверчка.

– И тебе привет, Клок-Но-Тон, – сказал тот. – Да озарит нас светом твое прибытие.

– Но верно ли... – Клок-Но-Тон замялся.

– Да, да, – нетерпеливо прервал его маленький шаман. – Верно, что для меня настали плохие дни; иначе я не стал бы благодарить тебя за то, что ты явился делать мое дело.

– Мне очень жаль, друг Скунду...

– А я готов радоваться, Клок-Но-Тон.

– Но я отдам тебе половину того, что получу.

– О нет, добрый Клок-Но-Тон, – воскликнул Скунду, подняв руку в знак протеста. – Напротив, отныне я раб твой и должник и до конца своих дней буду счастлив служить тебе.

– Как и я...

– Как и ты сейчас готов мне служить.

– В этом не сомневайся. Но скажи, ты, значит, считаешь, что эта кража одеял у женщины Гунии трудное дело?

Спеша нащупать почву, приезжий шаман допустил ошибку, и Скунду усмехнулся едва заметной слабой усмешкой, ибо он привык читать в мыслях людей и все люди казались ему ничтожными.

– Ты всегда умел действовать круто, – сказал он. – Не сомневаюсь, что вор станет тебе известен в самое короткое время.

– Да, в самое короткое время, стоит мне только взглянуть. – Клок-Но-Тон снова замялся. – Не было ли тут кого-нибудь чужого? – спросил он.

Скунду покачал головой.

– Взгляни! Не правда ли, превосходная вещь?

Он указал на покрывало, сшитое из тюленьих и моржовых шкур, которое гость стал разглядывать с затаенным любопытством.

– Мне оно досталось при удачной сделке.

Клок-Но-Тон кивнул, внимательно слушая.

– Я получил его от человека по имени Ла-Лак. Это ловкий человек, и мне не раз приходила мысль...

– Ну? – не сдержал своего нетерпения Клок-Но-Тон.

– Мне не раз приходила мысль. – Скунду голосом поставил точку и, помолчав немного, прибавил: – Ты умеешь круто действовать, и твое прибытие озарит нас светом, Клок-Но-Тон.

Лицо Клок-Но-Тона повеселело.

– Ты велик, Скунду, ты шаман из шаманов. Я буду помнить тебя вечно. А теперь я пойду. Так, говоришь ты, Ла-Лах ловкий человек?

Скунду вновь усмехнулся своею слабой, едва заметной усмешкой, затворил за гостем дверь и запер ее на двойной засов.

Когда Клок-Но-Тон вышел из дома Скунду, Симэ чинил лодку на берегу и оторвался от работы только для того, чтобы открыто, на виду у всех зарядить свое ружье и положить его рядом с собою.

Шаман отметил это и крикнул:

– Пусть все люди племени соберутся сюда, на это место! Так велю я, Клок-Но-Тон, умеющий обнаруживать дьявола и изгонять его.

Клок-Но-Тон прежде думал созвать народ в дом Гунии, но нужно было, чтобы собрались все, а он не был уверен, что Симэ повинуется приказанию; ссоры же ему заводить не хотелось. Этот Симэ из тех людей, с которыми лучше не связываться, особенно шаманам, рассудил он.

– Пусть приведут сюда женщину Гунию, – приказал Клок-Но-Тон, озираясь вокруг свирепым взглядом, от которого у каждого холодок пробежал по спине.

Гуния выступила вперед, опустив голову и ни на кого не глядя.

– Где твои одеяла?

– Я только что разостлала их на солнце, и вот – оглянуться не успела, как они исчезли, – плаксиво затянула она.

– Ага!

– Это все вышло из-за Ди-Йа.

– Ага!

– Я больно прибила его за это и еще не так прибью, потому что он навлек на нас беду, а мы бедные люди.

– Одеяла! – хрипло прорычал Клок-Но-Тон, угадывая ее намерение сбить цену, которую предстояло уплатить за ворожбу. – Говори про одеяла, женщина! Твое богатство известно всем.

– Я только что разостлала их на солнце, – захныкала Гуния, – а мы бедные люди, у нас ничего нет.

Клок-Но-Тон вдруг весь напрягся, лицо его исказила чудовищная гримаса, и Гуния попятилась. Но в следующее мгновение он прыгнул вперед с такой стремительностью, что она пошатнулась и рухнула к его ногам. Глаза у него закатились, челюсть отвисла. Он размахивал руками, неистово колотя по воздуху; все его тело извивалось и корчилось, словно от боли. Это было похоже на эпилептический припадок. Белая пена показалась у него на губах, конвульсивные судороги сотрясали тело.

Женщины затаили жалобный напев, в забытьи раскачиваясь взад и вперед, и мужчины тоже один за другим поддались общему исступлению. Только Симэ еще держался. Сидя верхом на опрокинутой лодке, он насмешливо глядел на то, что творилось кругом, но голос предков, чье семя он носил в себе, звучал все более властно, и он бормотал самые страшные проклятия, какие только знал, чтобы укрепить свое мужество. На Клок-Но-Тона страшно было глядеть. Он сбросил с себя одеяло, сорвал всю одежду и остался совершенно нагим, в одной только повязке из орлиных когтей на бедрах. Он скакал и бесновался в кругу, оглашая воздух дикими воплями, и его длинные черные волосы развевались, точно сгусток ночной мглы. Но неистовство Клок-Но-Тона подчинено было какому-то грубому ритму, и когда все кругом подпало под власть этого ритма, когда все тела раскачивались в такт движения шамана и все голоса вторили ему, – он вдруг остановился и сел на землю, прямой и неподвижный, вытянув вперед руку с длинным, похожим на коготь, указательным пальцем. Долгий, словно предсмертный стон пронесся в толпе, – съежившись, дрожа всем телом, люди следили за грозным пальцем, медленно обводившим круг. Ибо с ним шла смерть, и те, кого он миновал, оставались жить и, переведя дух, с жадным вниманием следили, что будет дальше.

Наконец с пронзительным криком шаман остановил зловеющий палец на Ла-Лахе. Тот затрясся, словно осиновый лист, уже видя себя мертвым, свое имущество разделенным, свою жену замужем за своим братом. Он хотел заговорить, оправдаться, но язык у него прилип к гортани и от нестерпимой жажды пересохло во рту. Клок-Но-Тон, свершив свое дело, казалось, впал в полузабытье; однако он слушал с закрытыми глазами, ждал: вот сейчас раздастся знакомый крик – великий крик мести, слышанный им десятки и сотни раз, когда после его заклинаний люди племени, точно голодные волки, бросались на трепещущую жертву. Однако все было тихо; потом где-то хихикнули, и в другом месте подхватили – и пошло, и пошло, пока оглушительный хохот не потряс все кругом.

– Что это? – крикнул шаман.

– Хо! Хо! – смеялись в ответ. – Твоя ворожба не удалась, Клок-Но-Тон!

– Все же знают! – запинаясь, выговорил Ла-Лак. – На восемь долгих месяцев я уходил на лов тюленей с охотниками из племени сивашей и только сегодня вернулся домой и узнал о покраже одеял.

– Это правда! – дружно откликнулась толпа. – Когда одеяла Гунии пропали, его не было в поселке.

– И я ничего не заплачу тебе, потому что твоя ворожба не удалась, – заявила Гуния, которая уже успела подняться на ноги и чувствовала себя обиженной комическим оборотом дела.

Но у Клок-Но-Тона перед глазами неотступно стояло лицо Скунду с его слабой, едва заметной усмешкой, и в ушах у него звучал тоненький голос, похожий на отдаленное верещание сверчка: «Я получил его от человека по имени Ла-Лак, и мне не раз приходила мысль... Ты умеешь круто действовать, и твое прибытие озарит нас светом.»

Оттолкнув Гунию, он рванулся вперед, и толпа невольно расступилась перед ним. Симэ со своей лодки выкрикнул ему в след обидную шутку, женщины хохотали ему в лицо, со всех сторон сыпались насмешки, но он, ни на что не обращая внимания, бежал со всех ног к дому Скунду. Добежав, он стал ломиться в дверь, колотил в нее кулаками, выкрикивал страшные проклятия. Но ответа не было, и только в минуты затишья из-за двери слышался голос Скунду, бормочущий заклинания. Клок-Но-Тон бесновался, точно одержимый, и, наконец, схватив огромный камень, хотел высадить дверь, но тут в толпе прошел ужасающий ропот. И Клок-Но-Тон вдруг подумал о том, что он один среди людей чужого племени, уже лишенный своего величия и силы. Он увидел, как один человек нагнулся и подобрал с земли камень, за ним и другой сделал то же, – и животный страх охватил шамана.

– Не тронь Скунду, он настоящий кудесник, не то, что ты! – крикнула какая-то женщина.

– Убирайся лучше отсюда домой, – с угрозой посоветовал какойто мужчина.

Клок-Но-Тон повернулся и стал спускаться к берегу, изнывая в душе от бессильной ярости и с тревогой думая о своей незащищенной спине. Но ни один камень не полетел ему вслед. Дети, кривляясь, вертелись у него под ногами, хохот и насмешки неслись вдогонку – но и только. И все же, лишь когда лодка вышла в открытое море, он, наконец, вздохнул свободно и, встав во весь рост, разразился потоком бесплодных проклятий по адресу поселка и его обитателей, не забыв особо выделить Скунду – виновника его позора.

А на берегу толпа ревела, требуя Скунду. Все жители поселка собрались у его дверей, настойчиво и смиренно взывая к нему, и, наконец, маленький шаман показался на пороге и поднял руку.

– Вы мои дети, и потому я прощаю вам, – сказал он. – Но в последний раз. То, чего вы все хотите, будет дано вам, ибо я уже проник в тайну. Сегодня ночью, когда луна зайдет за грани мира, чтобы созерцать великих умерших, пусть все соберутся в темноте к дому Гунии. Там имя преступника откроется всем, и он понесет заслуженную кару. Я сказал.

– Карой ему будет смерть, – воскликнул Боун, – потому что он навлек на нас не только горести, но и позор!

– Да будет так! – отвечал Скунду и захлопнул дверь.

– И теперь все разъяснится и вновь наступит у нас мир и порядок, – торжественно провозгласил Ла-Ллах.

– И все по воле маленького человечка Скунду? – насмешливо спросил Симэ.

– По воле великого кудесника Скунду, – поправил его Ла-Ллах.

– Племя глупцов – вот кто такие тлинкеты! – Симэ звучно шлепнул себя по ляжке. – Просто удивительно, как это взрослые женщины и сильные мужчины дают себя дурачить разными выдумками и детскими сказками.

– Я человек бывалый, – возразил Ла-Ллах. – Я путешествовал по морям и видел знамения и разные другие чудеса и знаю, что все это правда. Я – Ла-Ллах...

– Обманщик...

– Так зовут меня некоторые, но я справедливо прозван и Землепроходцем.

– Ну, я не такой бывалый человек... – начал Симэ.

– Вот и придержи язык, – обрезал его Боун, и они разошлись в разные стороны, недовольные друг другом.

Когда последний серебристый луч скрылся за гранью мира, Скунду подошел к толпе, сгрудившейся у дома Гунии. Он шел быстрым, уверенным шагом, и те, кому удалось разглядеть его в слабом мерцании светильника, увидели, что он явился с пустыми руками, без масок, трещоток и прочих принадлежностей колдовства. Только под мышкой он держал большого сонного ворона.

– Приготовлен ли хворост для костра, чтобы все увидели вора, когда он отыщется? – спросил Скунду.

– Да, – ответил Боун, – хворосту достаточно.

– Тогда слушайте все, ибо я буду краток. Я принес с собою Джелкса, ворона, которому открыты все тайны и ведомы все дела. Я посажу эту птицу в самый черный угол дома Гунии и накрою большим черным горшком. Светильник мы погасим и останемся в темноте. Все будет очень просто. Каждый из вас по очереди войдет в дом, положит руку на горшок, подержит столько времени, сколько потребуются, чтобы глубоко вздохнуть, снимет и уйдет. Когда Джелкс почувствует руку преступника так близко от себя, он, наверно, закричит. А может быть, и как-нибудь иначе явит свою мудрость. Готовы ли вы?

– Мы готовы, – был многочисленный ответ.

– Тогда начнем. Я буду каждого выкликать по имени, пока переберу всех, мужчин и женщин.

Первым было названо имя Ла-Лаха, и он тотчас вошел в дом. Все напряженно вслушивались, и в тишине было слышно, как скрипят у него под ногами шаткие половицы. Но и только. Джелкс не крикнул, не подал знака. Потом наступила очередь Боуна, ибо ничего нет невероятного в том, что человек припрятал собственные одеяла с целью навлечь позор на соседей. За ним пошла Гуния, потом другие женщины и дети, но ворон оставался безмолвным.

– Симэ! – выкрикнул Скунду. – Симэ! – повторил он.

Но Симэ не двигался с места.

– Что ж ты, боишься темноты? – задорно спросил Ла-Лак, гордый тем, что его невиновность уже доказана.

Симэ фыркнул:

– Да меня смех берет, как погляжу на все эти глупости. Но я все же пойду, не из веры в чудеса, а в знак того, что не боюсь.

И он твердым шагом вошел в дом и вышел, посмеиваясь, как всегда.

– Вот погоди, придет твой час, умрешь, когда и ждать не будешь, – шепнул ему Ла-Лак в порыве благородного негодования.

– Да уж наверно, – легкомысленно отвечал безбожник. – Немногие из нас умирают в своей постели из-за шаманов и бурного моря.

Уже половина жителей поселка благополучно прошла через испытание, и в толпе нарастало беспокойство, еще усиливавшееся оттого, что приходилось его подавлять. Когда осталось совсем немного людей, одна молодая женщина, беременная первым ребенком, не выдержала и забилась в припадке.

Наконец, наступила очередь последнего, а ворон все молчал. Последним был Ди-Йа. Значит, преступник – он. Гуния заголосила, воздев руки к небу, остальные попятнулись от злополучного мальчугана. Ди-Йа был едва жив от страха, ноги у него подкашивались, и, входя, он запнулся о порог и чуть не упал. Скунду втолкнул его и захлопнул за ним дверь. Прошло немало времени, но ничего не было слышно, кроме всхлипываний мальчика. Потом донесся скрип его удаляющихся шагов, потом наступила полная тишина, потом шаги снова стали приближаться. Дверь отворилась настежь, и он вышел. Ничего не случилось, а испытывать больше было некого.

– Разожгите костер, – приказал Скунду.

Яркое пламя взметнулось вверх и осветило лица, еще искаженные недавним страхом и в то же время недоуменные.

– Опять ничего не вышло, – хриплым шепотом воскликнула Гуния.

– Да, – подтвердил Боун. – Скунду становится стар, и нам нужен новый шаман.

– Где же мудрость всеведущего Джелкса? – хихикнул Симэ на ухо Ла-Лаху.

Ла-Лах растерянно потер рукой лоб и ничего не ответил.

Симэ вызывающе выпятил грудь и подскочил к маленькому шаману:

– Хо! Хо! Говорил я, что все это ни к чему не приведет!

– Может быть, может быть, – смиренно отвечал Скунду. – Так может показаться всякому, кто несведущ в чудесах.

– Тебе, например, – дерзко вставил Симэ.

– Может быть, даже и мне. – Скунду говорил совсем тихо, и веки его медленно, очень медленно опускались, пока совсем не прикрыли глаза. – Но осталось еще одно испытание. Пусть все, мужчины, женщины и дети, поднимут руки над головой – быстро, разом, все!

Таким неожиданным явилось это приказание, и настолько властным тоном было оно отдано, что все повиновались беспрекословно. Все руки взлетели в воздух.

– Теперь пусть каждый посмотрит на руки остальных, скомандовал Скунду. – Всех остальных, так, чтобы...

Но взрыв хохота, в котором прозвучала и угроза, заглушил его слова. Все глаза остановились на Симэ. У всех руки были измазаны сажей, и только у него одного ладони остались чистыми, не замаранные прикосновением к горшку Гунии.

В воздухе пролетел камень и угодил ему в щеку.

– Это неправда! – заревел он. – Неправда! Я не трогал одеял Гунии.

Второй камень рассек ему кожу на лбу, третий просвистел над самой головой. Великий крик мести разнесся далеко кругом, люди шарили по земле, ища, чем бы кинуть в провинившегося. Симэ пошатнулся и упал на колени.

– Я пошутил! Только пошутил! – закричал он. – Я взял их, только чтоб пошутить.

– Куда ты девал их? – Визгливый, пронзительный голос Скунду точно ножом прорезал общий шум.

– Они у меня дома, в большой связке шкур, что висит под самой крышей, – слышался ответ. – Но я только хотел пошутить, я...

Симэ наклонил голову, и на него обрушился град камней. Жена Симэ плакала, уткнув голову в колени; но маленький его сынишка, хохоча и взвизгивая, бросал камни вместе с остальными.

Гуния уже возвращалась, переваливаясь под тяжестью драгоценных одеял. Скунду остановил ее.

– Мы бедные люди, и у нас ничего нет, – захныкала она. – Не обижай нас, о Скунду.

Толпа отступила от вздрагивающего под грудой камней Симэ, и все взгляды обратились на маленького шамана.

– Разве я когда-нибудь обижал своих детей, добрая Гуния? – отвечал ей Скунду, протягивая руку к одеялам. – Не такой я человек, и в доказательство я не возьму с тебя ничего, кроме этих одеял.

– Мудр ли я, дети мои? – спросил он, обращаясь к толпе.

– Поистине ты мудр, о Скунду! – ответили все в один голос.

И он скрылся в темноте с одеялами на плечах и сонным Джелксом под мышкой.

\* \* \*

## ДЕМЕТРИОС КОНТОС

Из того, что я рассказывал о греках-рыбаках, не следует думать, что все они были преступниками. Отнюдь нет. Это были суровые люди, которые жили обособленными колониями и в борьбе со стихиями добывали свой хлеб насущный. Они не признавали закона и, считая его насилием и произволом, не понимали, зачем он нужен. Особенно тираническим казался им закон о рыбной ловле. И в нас, рыбачьих патрульных, они, естественно, видели своих врагов.

Мы угрожали их жизни и мешали добывать пропитание, что, в сущности, одно и то же. Мы конфисковали их браконьерские сети и снасти, изготовление которых стоили денег и требовало несколько недель работы. Много раз в году, а порой и целый сезон мы запрещали им ловить рыбу, лишая заработка, какой они могли бы иметь, если бы нас не существовало. А когда они попадались нам в руки, мы предавали их суду, где с них взимали большой денежный штраф. Вот почему они нас ненавидели и радовались случаю нам отомстить. Патрульный – такой же естественный враг рыбака, как собака – кошки, а змея – человека.

Но пусть читатель не думает, что рыбаки умели только люто ненавидеть; нет, они были способны и на благородные поступки, в доказательство чего я и хочу рассказать историю о Деметриосе Контосе. Деметриос Контос жил в Валлехо. После Большого Алека он был самым сильным, самым отважным и самым влиятельным человеком среди греков. Он ничем не беспокоил нас и вряд ли когда-нибудь столкнулся бы с нами, не обзаведись он новой лодкой для ловли лососей. Она-то и явилась причиной всех бед. Деметриос сделал ее по собственному образцу, слегка изменив очертания обычной лососевой лодки.

К его великому восторгу оказалось, что новая лодка очень быстроходна, быстроходнее всех лодок в заливе и впадающих в него реках. И когда нам с помощью «Мэри-Ребекки» удалось хорошенько припугнуть рыбаков, занимавшихся ловлей лососей в воскресенье, он послал в Бенишию вызов, который передал нам один из местных рыбаков. Смысл вызова был такой: в следующее воскресенье Деметриос Контос выйдет из Валлехо, закинет сеть на самом виду у Бенишии и будет ловить лососей, а патрульный Чарли Ле Грант пусть придет и поймает его, если сможет. Разумеется, мы с Чарли тогда ничего не знали о новой лодке Контоса. Наша же собственная была довольно быстроходной, и мы не боялись помериться силой с любой другой.

Настало воскресенье. Слух о вызове не замедлил распространиться: рыбаки и моряки Бенишии все, как один, пришли на пароходную пристань, так что она стала похожа на



центральную трибуну во время футбольного матча. Мы с Чарли были настроены весьма скептически, но, увидев на пристани такую толпу, поняли, что Деметриос Контос полез на рожон не зря.

После полудня, когда морской бриз набрал силу, на горизонте показался парус судна, идущего на фордевинд. Футах в двадцати от пристани судно сделало поворот, и перед толпой предстал Деметриос Контос. Театральным жестом, словно рыцарь перед состязанием на турнире, он приветствовал восхищенных зрителей, встретивших его возгласами одобрения, и остановился в двухстах ярдах от берега. Потом он опустил парус, лег в дрейф по ветру и стал закидывать сеть. Он закинул ее не всю, а футов пятьдесят, не больше, однако нас с Чарли, как громом, поразила наглость рыбака. Тогда мы еще не знали – это стало нам известно позже, – что сеть была старой и негодной. Она могла задержать рыбу, но сколько-нибудь значительный улов разорвал бы ее на куски.

– Признаться, я ничего не понимаю, – пожал плечами, заметил Чарли. – Пусть он закинул всего пятьдесят футов сети, что из этого? Ему все равно ее не вытащить, если мы двинемся за ним. И зачем он вообще явился сюда и нагло попирает закон у нас на глазах? Да еще у самого города, в котором мы живем.

В голосе Чарли послышались нотки обиды, и он несколько минут продолжал горячо возмущаться бесстыдством Деметриоса Контоса.

Тем временем человек, о котором шла речь, сидел развалившись на корме своей лодки и следил за поплавками. Когда в жаберную сеть попадает большая рыба, поплавки, приходя в движение, тотчас дают об этом знать. По-видимому, так случилось и сейчас, потому что Деметриос вдруг вытянул из воды футов двенадцать сети и, прежде чем бросить в лодку, поднял кверху крупного с блестящей чешуей лосося. Зрители на пристани наградили его троекратным ура. Тут уж Чарли не вытерпел.

– Пошли, сынок! – обратился он ко мне.

Не теряя времени, мы вскочили в свою лодку и поставили парус. Толпа громко закричала, предостерегая Деметриоса, и когда мы стремительно понеслись вперед, то увидели, как он отсек свою сеть длинным ножом. Парус на его лодке был мигом поднят и вскоре зашлохотал на ветру в солнечном свете. Рыбак бросился к корме, выбрал шкоты и лег на длинный галс курсом к холмам Контра Коста.

К этому времени мы были уже не больше чем в тридцати футах от его кормы. Чарли ликовал. Он знал, что наша лодка быстроходна, и не сомневался, что мало найдется людей, способных сравниться с ним в умении вести лодку. Он был уверен, что мы поймаем Деметриоса, и я разделял его уверенность. Однако судьба, видимо, решила иначе.

Дул попутный ветер. Мы мягко скользили по воде, но Деметриос не спеша все больше и больше удалялся от нас. Он не только шел быстрее, но держал к ветру на какую-то долю румба круче, чем мы. Это особенно поразило нас, когда он сделал поворот, минуя холмы Контра Коста, и, пройдя мимо нас на другом галсе, оказался на добрую сотню футов впереди с наветренной стороны.

– Вот это да! – воскликнул Чарли. – Одно из двух: либо его лодка чудо из чудес, либо к нашему килю привязали пятигаллонный бочонок с каменноугольной смолой!

Третьей причины, видимо, быть не могло. А к тому времени, когда Деметриос прошел мимо Саномских холмов, расположенных по другую сторону залива, мы так безнадежно отстали, что Чарли велел мне потравить шкот, и мы двинулись назад, к Бенишии. Когда мы, возвратившись, ставили нашу лодку на прикол, рыбаки с паровой пристани осыпали нас градом насмешек. Мы с Чарли ушли, чувствуя себя в дураках, ибо когда считаешь, что у тебя

отличная лодка и ты умеешь ее вести, а является кто-то другой и обставляет тебя, это не может быть ударом по самолюбию.

Несколько дней Чарли был как во сне; потом, как и в прошлый раз, нам сообщили, что в следующее воскресенье Деметриос Контос повторит свое представление. Чарли миглом пробудился. Вытащив нашу лодку из воды, он очистил и заново выкрасил днище, что-то изменил в конструкции выдвижного киля, переосновал бегучий такелаж и почти всю ночь под воскресенье шил новый, намного больший, чем прежде, парус. Чарли сделал его таким большим, что понадобился добавочный балласт, и мы уложили на дно нашей лодки старый железный рельс весом почти в пятьсот фунтов.

Пришло воскресенье, а вместе с ним явился и Деметриос Контос, чтобы вновь открыто, среди бела дня, нарушить закон. Опять дул слепополуденный бриз, и опять Деметриос Контос забросил футов сорок или пятьдесят своей гнилой сети и, подняв парус, ушел у нас из-под носа. Рыбак предвидел ход Чарли: его парус, к задней шкаторине которого он добавил целое полотнище, был поднят выше прежнего.

До холмов Контра Коста мы прошли почти вровень, не обгоняя и не отставая друг от друга. Но, повернув к Сономским холмам, заметили, что почти при равной скорости движения Деметриос взял чуть-чуть более круто к ветру, чем мы. А ведь Чарли вел нашу лодку с предельной ловкостью и искусством и выжимал из нее больше, чем обычно.

Конечно, ничто не мешало Чарли вытащить револьвер и выстрелить в Деметриоса, но мы давно убедились, что стрелять в убегающего человека, совершившего какой-нибудь незначительный проступок, противно нашей натуре. К тому же между патрульными и рыбаками существовало нечто вроде негласного уговора: мы не стреляем в них, когда они удирают, а они, в свою очередь, не оказывают нам сопротивления, если удастся их задержать. Деметриос Контос уходил от нас, а нам не оставалось ничего другого, как изо всех сил стараться его догнать; с другой стороны, окажись наша лодка более быстроходной или веди мы ее лучше, чем Деметриос свою, он, если бы нам удалось задержать его, наверняка не оказал бы нам никакого сопротивления.

При огромном парусе и резвившемся в Каркинезском проливе сильном ветре наше плавание было, как говорится, рискованным. Нам приходилось быть все время начеку, следить, чтобы нас не опрокинуло, и пока Чарли стоял на руле, я держал в руках грота-шкот, обернув его всего один раз вокруг нагеля, готовый в любую секунду отдать его. У Деметриоса, который вел свой парусник один, руки были все время заняты.

Однако наша попытка его догнать оказалась тщетной. От природы сообразительный, он сумел соорудить лодку, оказавшуюся удачней нашей. И хотя Чарли шел не хуже, а то и чуть лучше Деметриоса, лодка его во многом уступала лодке грека.

– Трави шкот! – скомандовал Чарли, и когда наша лодка легла на фордевинд, до нас донесся уничтожающий смех Деметриоса.

– Бесплезное это дело, – качая головой, заметил Чарли. – У Деметриоса лодка лучше нашей. Если он попытается еще раз повторить свое представление, нам придется в ответ придумать что-нибудь новое.

На этот раз выручила моя смекалка.

– А что если в следующее воскресенье я один пушусь в погоню за Деметриосом, – предложил я в среду. – А ты будешь ждать его возвращения на пристани в Валлехо?

Чарли подумал минутку, потом хлопнул себя по колену.

– Прекрасная мысль! Ты начинаешь шевелить мозгами. Должен сказать, это делает честь твоему учителю. Только не загони его чересчур далеко, – продолжал он, – а то, вместо того чтобы вернуться домой в Валлехо, он двинет в залив Сан-Пабло, а я так и буду дурак дураком стоять на пристани и ждать его.

В четверг у Чарли нашлось возражение против моего плана.

– Все будут знать, что я отправился в Валлехо, и, можешь не сомневаться, узнает и Деметриос. Как ни жаль, но от твоей затеи придется отказаться.

Довод был вполне веским, и остаток дня я ходил как в воду опущенный. Однако ночью мне вдруг показалось, что я нашел выход, и, полный нетерпения, я разбудил крепко спавшего Чарли.

– Ну, – промычал он, – что случилось? Дом горит?

– Нет, – ответил я, – у меня в голове горит. Слушай! В воскресенье мы с тобой будем болтаться на пристани Бенишии, пока на горизонте не покажется парусник Деметриоса. Это усыпит подозрение. Когда же парусник подойдет ближе, ты не спеша побредешь в сторону города. Рыбаки решат, что ты побежден и признал свое поражение.

– Пока подходяще, – вставил Чарли, когда я остановился, чтобы перевести дух.

– И даже очень подходяще, – с гордостью продолжал я. – Так, значит, ты не спеша двинешься в сторону города, но как только скроешься из виду людей, стоящих на пристани, дашь ходу прямо к Дэну Мелони. Возьмешь его кобыленку и что есть духу помчишься по проселочной дороге в Валлехо. Дорога там хорошая, и ты доберешься до Валлехо раньше, чем Деметриос, которому придется все время идти против ветра.

– Утром я первым делом договорюсь насчет кобылы, – отозвался Чарли, безоговорочно приняв мой план.

Однако, только я успел как следует заснуть, он сам разбудил меня.

– Послушай, сынок, – посмеиваясь в темноте, сказал он, – не кажется ли тебе, что гоняться за браконьером верхом – дело не совсем привычное для рыбацкого патруля?

– На то и существует смекалка, – ответил я. – Ты сам постоянно твердишь: «Постарайся напасть на верную мысль раньше, чем твой противник, и победа будет за тобой».

– Ха! Ха! – смеялся Чарли. – Уж если на этот раз верная мысль вместе с кобылой не побьют Деметриоса, значит, я не ваш покорный слуга Чарли Ле Грант.

– Только сумеешь ли ты один управиться с лодкой? – спросил он в пятницу. – Не забудь, что парус у нас огромный.

Я так горячо убеждал его в своем мастерстве, что он больше не заговаривал об этом до субботы, когда предложил мне снять целое полотнище с задней шкаторины. Вероятно, на моем лице было написано столь сильное разочарование, что он не стал настаивать. Я и в правду так гордился своим учением вести парусную лодку, что мне прямо до безумия хотелось выйти в море одному и под большим парусом стрелой мчаться по Каркинезскому проливу в погоне за удирающим греком.

Как всегда, в воскресенье Деметриос Контос был тут как тут. У рыбаков уже вошло в привычку собираться на пароходной пристани, чтобы приветствовать его появление и посмеяться над нашим поражением. Деметриос спустил парус в нескольких сотнях ярдов от пристани и закинул свои обычные пятьдесят футов прогнившей сети.

– Сдается мне, эта забава будет продолжаться до тех пор, пока его ветхая сеть не порвется окончательно, – проворчал Чарли с расчетом быть услышанным кое-кем из греков.

– Тогда я дам ему мою, – быстро и не без коварства отозвался один из них.

– Незачем, – ответил Чарли, – у меня самого найдется заваливающая сеть. Он сможет ее получить, если придет ко мне и попросит.

Греки ответили веселым смехом, ибо могли себе позволить добродушно шутить с человеком, которого так здорово околпачивали.

– Ну, пока, сынок, – минутой позже обратился ко мне Чарли. – Пожалуй, двинусь в город к Мелони.

– Можно мне взять лодку? – спросил я.

– Как хочешь, – ответил он и, круто повернувшись, медленно побрел прочь.

Деметриос вытащил из сети двух крупных лососей, и я вскочил в лодку. Рыбаки столпились вокруг, весело настроенные, и, когда я стал поднимать парус, засыпали меня всевозможными шутливыми советами. Они даже предлагали друг другу заключить пари, что я непременно поймаю Деметриоса, а двое из них, разыгрывая роль судейских чиновников, пресерьезно просили позволения отправиться вместе со мной, чтобы посмотреть, как я это сделаю.

Но я не торопился: я тянул время, чтобы дать Чарли возможность добраться до Валлехо. Делая вид, будто мне не нравится, как стоит парус, я слегка подтянул снасть, с помощью которой удерживается верхний конец гафеля. Только, когда по моим расчетам Чарли уже побывал у Дэна Мелони и сел верхом на его кобылку, я отошел от пристани и поставил парус по ветру. Сильный порыв ветра, наполнив парус, сразу резко накренил судно, и добрых два ведра воды попало в лодку. Такой пустяк, как этот, всегда может случиться с легким судном даже у опытного матроса, тем не менее, хотя я мгновенно потравил шкот и выровнял лодку, по моему адресу поднялась буря насмешливых рукоплесканий, словно я совершил невесть какой грубый промах.

Когда Деметриос увидел, что в рыбацкой патрульной лодке только один человек, да и тот мальчишка, он решил поиздеваться надо мной. Идя коротким галсом – я шел прямо за ним, отставая на неполных тридцать футов, – он несколько ослабил шкот и вернулся к пристани. И тут, делая короткие галсы, он стал кружиться, вертеться, испарывать носом лодки воду, к великому восторгу симпатизирующих ему зрителей. Я все время шел за ним и смело проделывал все, что делал он, даже, когда он, идя на фордевинд, перекинул парус на другой борт – опаснейший маневр при таком большом парусе и таком сильном ветре.

Он рассчитывал, что крепкий бриз и сильное отливное течение, которые подняли на море страшное волнение, доведут меня до беды. Но я был в ударе и никогда в жизни не вел лодку лучше, чем в этот день. Меня можно было сравнить с точно выверенным механизмом, мозг делал свое дело; я, казалось, предугадывал тысячи мелочей, которые опытный моряк обязан принимать во внимание в любую секунду.

Вместо меня беда постигла Деметриоса. Что-то разладилось в выдвижном киле его лодки, заело в корпусе, и он не выдвигался до отказа. В минуту передышки, которой Деметриос добился путем какой-то хитроумной уловки, он стал торопливо возиться с выдвижным килем, стараясь сбить его вниз. Но времени у него было слишком мало, и пришлось снова взяться за руль и парус.

Выдвижной киль, видимо, сильно его обеспокоил. Ему было уже не до игры со мной, и, делая длинные галсы, он двинулся к Валлехо. К моей радости, на первом галсе я увидел, что могу

держат к ветру чуть круче, чем он. Вот когда бы ему пригодился лишний человек в лодке; ведь я шел за ним на расстоянии каких-нибудь нескольких футов, и он не отважился бросить руль, чтобы перебраться на середину лодки и опустить выдвигной киль!

Лишившись возможности приводить к ветру так круто, как прежде, он стал слегка потравливать шкот и идти полнее, стараясь меня обогнать. Я позволил ему это сделать, пока сам пытался выиграть ветер, чтобы настигнуть Деметриоса. Но, когда я подошел к нему совсем близко, он прикинулся, будто ложится на другой галс. Я стремительно рыскнул к ветру, чтобы опередить Деметриоса, но с его стороны было лишь ловко проделанным трюком. Он взял прежний курс, мне же пришлось торопливо наверстывать потерянное расстояние.

Деметриос явно оказался искуснее меня, когда дело дошло до маневрирования. Много раз он был уже почти у меня в руках, но всякий раз ему удавалось провести меня и ускользнуть. К тому же ветер крепчал, и наши руки ни секунды не знали покоя, иначе нас неминуемо опрокинуло бы в море. Что до моей лодки, то она держалась на плаву только благодаря лишнему балласту. Я сидел, скорчившись, одной рукой держа руль, а другой шкот. А поскольку шкот был всего один раз обернут вокруг нагеля, он при каждом порыве ветра вырывался у меня из рук. В такие минуты парус терял ветер, и я, конечно, отставал. Утешением служило лишь то, что с лодкой Деметриоса происходило то же самое.

Сильный отлив, проносясь по Каркинезскому проливу навстречу ветру, вздымал могучие, сердитые волны, которые непрерывно бились о борт судна. Я промок до нитки, и даже мой парус был мокрешенек вплоть до шкаторины. Один раз мне удалось ловким маневром нагнать Деметриоса, и моя лодка ударила носом в среднюю часть его судна. Как мне нужен был в эту минуту помощник! Только было кинулся вперед, чтобы прыгнуть к нему в лодку, как он веслом отпихнул мою лодку и оскорбительно рассмеялся прямо мне в лицо.

Мы уже находились в устье Каркинезского пролива, в очень опасной полосе. Здесь пролив Валлехо и Каркинезский стремительно неслись навстречу друг другу. Через Валлехо текли воды реки Напа и огромного берегового отлива, а через Каркинезский пролив мчались воды Сьюисанской бухты и рек Сакраменто и Сан-Хоакин. И там, где эти чудовищные потоки сталкивались, возникала страшная быстрина. В довершение всех бед, ветер дул в сторону бухты Сан-Пабло со скоростью пятнадцати узлов, обрушивая на быстрину громады волн.

Враждующие течения метались во всех направлениях, сталкиваясь, образуя водовороты, воронки и ключи, а сердитые волны, вздымаясь, захлестывали наши лодки как с наветренной, так и с подветренной стороны. И сквозь всю сумятицу беспорядочно, словно доведенные до безумия в своем движении, с грохотом неслись гигантские, кипучие валы из бухты Сан-Пабло.

Я так же неистовствовал, как бушующее море. Лодка шла великолепно; она стремительно мчалась вперед сквозь этот хаос, подобно скаковой лошади, преодолевая все препятствия. Все мое существо было полно неумемной радости. Огромный парус, вой ветра, бушующие волны, лодка, то и дело ныряющая в воду, и я, пигмей, не больше, чем пятнышко среди этих взбунтовавшихся стихий, подчиняю их своей воле, лечу сквозь них и над ними, торжествующий, победоносный!

И в ту минуту, когда я, словно герой-победитель, мчался вперед, раздался страшный треск, и лодка мгновенно стала. Меня швырнуло вперед, и я упал на дно лодки. Когда я вскочил на ноги, передо мной мелькнуло что-то зеленоватое, замшелое, и я сразу понял, что это затонувшая свая – бич мореплавателей. Никто не огражден от такого несчастья. Разбухшую от воды и плавающую у самой поверхности сваю невозможно увидеть и обойти в бушующем море.

Видимо, раздробило весь нос лодки, так как через несколько секунд она уже наполовину была полна воды. Добавили воды и волны, и она пошла ко дну, увлекаемая тяжелым балластом. Все это случилось так быстро, что я запутался в парусе, и меня втянуло под лодку. Когда я с великим трудом выбрался на поверхность, полузадохнувшийся – мои легкие, казалось, вот-вот лопнут, – весел уже не было. Должно быть, их смыло бесноватой волной. Я видел, что Деметриос Контос оглядывается из своей лодки, и услышал его насмешливый, полный мстительной злобы голос: он что-то ликующе кричал! Он продолжал свой путь, покинув меня на верную гибель.

Мне ничего другого не оставалось, как ради своего спасения плыть вперед – в этой сумятице вопрос жизни и смерти решали какие-то секунды. Набрав побольше воздуха и энергично работая обеими руками, я ухитрился скинуть свои тяжелые морские сапоги и куртку. Но легко сказать – набрать воздуха; я быстро понял, что вся трудность не в том, чтобы плыть, а в том, чтобы дышать.

Меня швырнуло из стороны в сторону, на меня обрушивались высокие, увенчанные белыми гребнями валы Сан-Пабло, душили вздымавшиеся волны, хлеща в глаза, нос, рот. Страшные воронки всасывали мои ноги и тянуло вниз с тем, чтобы в следующий миг высоко подбросить вместе с кипящей ключом водой, и тут же – не успевал я перевести дух – огромная вспененная волна накрывала меня с головой.

Долго все это выдержать было невозможно. Я вдыхал больше воды, чем воздуха, и почти все время находился под водой. Рассудок начинал мне изменять, голова отчаянно кружилась. Я боролся за жизнь судорожно, инстинктивно и был почти уже в беспамятстве, как вдруг почувствовал, что меня схватили за плечи и втащили в лодку.

Некоторое время я лежал на банке лицом вниз, вода лилась у меня изо рта. Потом, все еще едва живой, я повернулся посмотреть, кто был моим спасителем. На корме, придерживая одной рукой парус, а другой руль, ухмыляясь и добродушно кивая мне, сидел Деметриос Контос. Сперва, рассказывая по позже, он решил было бросить меня на произвол судьбы, но добро в его душе вступило в борьбу со злом, одержало победу и приказало вернуться ко мне.

– Тебе лучше? – спросил он.

Мне удалось изобразить на губах нечто вроде «да», однако говорить я еще не мог.

– Ты вел лодку очень хорошо, – сказал он. – Как настоящий мужчина.

Похвала в устах Деметриоса Контоса была для меня, конечно, очень лестной, и я оценил ее по достоинству, хотя в ответ сумел только кивнуть головой.

На этом наш разговор кончился, так как я был занят тем, что приходил в себя, а он возился с лодкой. Добравшись до пристани в Валлехо, Деметриос Контос привязал лодку и помог мне выбраться из нее. И вот, когда мы с ним стояли на пристани, из-за натянутых сетей вышел Чарли и положил руку на плечо Деметриоса.

– Он спас мне жизнь, Чарли, – запротестовал я. – И по-моему его не следует арестовывать.

На лице Чарли отразилась растерянность, но она исчезла, как только он принял решение.

– Ничем не могу помочь, сынок, – мягко ответил он. – Я не в праве нарушить свой долг, а мой прямой долг – арестовать его. Нынче воскресенье, а в лодке у него два лосося, которых он только что поймал. Как иначе мне поступить?

– Но он спас мне жизнь, – твердил я, не находя другого довода.

Лицо Деметриоса Контоса почернело от ярости, когда он услышал решение Чарли. Он чувствовал, что с ним поступили несправедливо. Добро в его душе восторжествовало, он проявил великодушие, спас беспомощного врага, а в благодарность его ведут в тюрьму.

Чарли и я дулись друг на друга, когда возвращались в Бенишию. Я придерживался духа закона, а не буквы; Чарли же отстаивал именно букву. Как он ни раскидывал умом, другого выхода ему не представлялось. Закон ясно гласил, что в воскресенье ловля лосося запрещена. Он служил патрульным, и следить за строгим выполнением закона было его долгом. И толковать тут больше не о чем. Он выполнил свой долг, и совесть его чиста. Тем не менее мне все это казалось несправедливым и было очень жаль Деметриоса Контоса.

Через два дня мы явились в Валлехо на суд. Мне пришлось выступить свидетелем. Самой ненавистной из всех обязанностей, какие мне довелось выполнить в своей жизни, была необходимость, стоя на свидетельском месте, дать присягу, что я видел, как Деметриос Контос поймал двух лососей, тех самых, с которыми Чарли задержал его.

Деметриос нанял себе адвоката, но дело его было безнадежным. Присяжные удалились только на пятнадцать минут и вынесли решение: да, виновен. Судья приговорил Деметриоса к уплате штрафа в сто долларов или к пятидесяти дням тюремного заключения.

Чарли подошел к секретарю суда.

– Я уплачу этот штраф, – заявил он, выкладывая на стол пять золотых монет каждая по двадцать долларов. – Это единственный выход, сынок, – пробормотал он, поворачиваясь ко мне.

Слезы выступили у меня на глазах, когда я крепко стиснул ему руку.

– Я уплачу... – начал я.

– Свою половину? – прервал он меня. – Конечно, а как же иначе?

Тем временем Деметриос узнал от адвоката, что и ему заплатил Чарли.

Деметриос подошел к Чарли пожать ему руку; вся его горячая южная кровь бросилась ему в лицо. Не желая, чтобы его превзошли в великодушии, он настаивал, что сам уплатит штраф и вознаграждение адвокату, и очень рассердился, когда Чарли не согласился на его требование.

Этот поступок Чарли гораздо больше, чем все то, что мы делали до сих пор, убедил рыбаков в более глубоком, чем они полагали, значении закона. Чарли очень выиграл в их глазах; кое-что досталось и на мою долю – меня похвалили как паренька, который умеет вести парусную лодку. Деметриос Контос никогда больше не нарушал закона, он стал добрым другом и не раз заглядывал в Бенишию поболтать с нами.

\* \* \*

## ДОМ МАПУИ

Несмотря на свои тяжеловесные очертания, шхуна «Аораи» двигалась при легком ветре послушно и быстро, и капитан подвел ее близко к острову, прежде чем бросить якорь чуть не доходя до того места, где начинался прибой. Атолл Хикуэру, ярдов сто в диаметре и окружностью в двадцать миль, представлял собою кольцо измельченного кораллового песка,

поднимавшегося всего на четыре-пять футов над высшим уровнем прилива. На дне огромной, гладкой, как зеркало, лагуны было много жемчужных раковин, и с палубы шхуны было видно, как за узкой полоской атолла искатели жемчуга бросаются в воду и снова выходят на берег. Но войти в атолл не могла даже торговая шхуна. Небольшим гребным катерам при попутном ветре удавалось пробраться туда по мелкому извилистому проливу, шхуны же останавливались на рейде и высылали к берегу лодки.

С «Аораи» проворно спустили шлюпку, и в нее прыгнули несколько темнокожих матросов, голых, с алыми повязками вокруг бедер. Они взялись за весла, а на корме у руля стал молодой человек в белом костюме, какие носят в тропиках европейцы. Но он не был чистым европейцем: золотистый отлив его светлой кожи и золотистые блики в мерцающей голубизне глаз выдавали примесь полинезийской крови. Это был Рауль, Александр Рауль, младший сын Мари Рауль, богатой квартиронки, владелицы шести торговых шхун. Шлюпка одолела водоворот у самого входа в пролив и сквозь кипящую стену прибоя прорвалась на зеркальную гладь лагуны. Рауль выпрыгнул на белый песок и поздоровался за руку с высоким туземцем. У туземца были великолепные плечи и грудь, но обрубок правой руки с торчащей на несколько дюймов, побелевшей от времени костью свидетельствовал о встрече с акулой, после которой он уже не мог нырять за жемчугом и стал мелким интриганом и прихлебателем.

– Ты слышал, Алек? – были его первые слова. – Мапуи нашел жемчужину. Да какую жемчужину! Такой еще не находили на Хикуэру, и нигде на всех Паумоту, и нигде во всем мире. Купи ее, она еще у него. Он дурак и много не запросит. И помни: я тебе первый сказал. Табак есть?

Рауль немедленно зашагал вверх по берегу, к лачуге под высоким пандановым деревом. Он служил у своей матери агентом, и в обязанности его входило объезжать все острова Паумоту и скупать копру, раковины и жемчуг.

Он был новичком в этом деле, плавал агентом всего второй раз и втайне тревожился, что не умеет оценивать жемчуг. Но когда Мапуи показал ему свою жемчужину, он сумел подавить изумленное восклицание и сохранить небрежную деловитость тона. Но между тем жемчужина поразила его. Она была величиною с голубиное яйцо, безупречной формы, и белизна ее отражала все краски матовыми огнями. Она была как живая. Рауль никогда не видел ничего подобного ей. Когда Мапуи положил жемчужину ему на ладонь, он удивился ее тяжести. Это подтверждало ценность жемчужины. Он внимательно рассмотрел ее через увеличительное стекло и не нашел ни малейшего порока или изъяна: она была такая чистая, что казалось, вот-вот растворится в воздухе. В тени она мягко светилась переливчатым лунным светом. И так прозрачна была эта белизна, что, бросив жемчужину в стакан с водой, Рауль едва мог различить ее. Так быстро она опустилась на дно, что он сразу оценил ее вес.

– Сколько же ты хочешь за эту жемчужину? – спросил он с ловко разыгранным равнодушием.

– Я хочу... – начал Мапуи, и из-за плеч Мапуи, обрамляя его коричневое лицо, высунулись коричневые лица двух женщин и девочки; они закивали в подтверждение его слов и, еле сдерживая волнение, жадно сверкая глазами, вытянули вперед шеи.

– Мне нужен дом, – продолжал Мапуи. – С крышей из оцинкованного железа и с восьмиугольными часами на стене. Чтобы он был длиной в сорок футов и чтобы вокруг шла веранда. В середине чтобы была большая комната, и в ней круглый стол, а на стене часы с гириями. И чтобы было четыре спальни, по две с каждой стороны от большой комнаты; и в каждой спальне железная кровать, два стула и умывальник. А за домом кухня – хорошая кухня, с кастрюлями и сковородками и с печкой. И чтобы ты построил мне этот дом на моем острове, на Факарава.



– Это все? – недоверчиво спросил Рауль.

– И чтобы была швейная машина, – заговорила Тэфара, жена Мапуи.

– И обязательно настенные часы с гирями, – добавила Наури, мать Мапуи.

– Да, это все, – сказал Мапуи.

Рауль засмеялся. Он смеялся долго и весело. Но, смеясь, он торопливо решал в уме арифметическую задачу: ему никогда не приходилось строить дом, и представления о постройке домов у него были самые туманные. Не переставая смеяться, он подсчитывал, во что обойдется рейс на Таити за материалами, сами материалы, обратный рейс на Факарава, выгрузка материалов и строительные работы. На все это, круглым счетом, потребуется четыре тысячи французских долларов, иными словами – двадцать тысяч франков. Это немислимо. Откуда ему знать, сколько стоит такая жемчужина? Двадцать тысяч франков – огромные деньги, да к тому же это деньги его матери.

– Мапуи, – сказал он, – ты дурак. Назначь цену деньгами.

Но Мапуи покачал головой, и три головы позади него тоже закачались.

– Мне нужен дом, – сказал он, – длиной в сорок футов, чтобы вокруг шла веранда...

– Да, да, – перебил его Рауль. – Про дом я все понял, но из этого ничего не выйдет. Я дам тебе тысячу чилийских долларов...

Четыре головы дружно закачались в знак молчаливого отказа.

– И кредит на сто чилийских долларов.

– Мне нужен дом... – начал Мапуи.

– Какая тебе польза от дома? – спросил Рауль. – Первый же ураган снесет его в море. Ты сам это знаешь.

Капитан Раффи говорит, что вот и сейчас можно ждать урагана.

– Только не на Факарава, – сказал Мапуи, – там берег много выше. Здесь, может быть, и снесет; на Хикуэру всякий ураган опасен. Мне нужен дом на Факарава: длиной в сорок футов и вокруг веранда...

И Рауль еще раз выслушал весь рассказ о доме. В течение нескольких часов он старался выбить эту навязчивую идею из головы туземца, но жена, и мать Мапуи, и его дочь Нгакура поддерживали его. Слушая в двадцатый раз подробное описание вождельного дома, Рауль увидел через открытую дверь лачуги, что к берегу подошла вторая шлюпка с «Аораи». Гребцы не выпускали весел из рук, очевидно спеша отвалить. Помощник капитана шхуны выскочил на песок, спросил что-то у однорукого туземца и быстро зашагал к Раулю. Внезапно стало темно, – грозная туча закрыла солнце. Было видно, как за лагуной по морю быстро приближается зловещая линия ветра.

– Капитан Раффи говорит, надо убираться отсюда, – сразу же начал помощник. – Он велел передать, что, если есть жемчуг, все равно надо уходить, авось, успеем собрать его после. Барометр упал до двадцати девяти и семидесяти.

Порыв ветра потрянул пандановое дерево над головой Рауля и пронесся дальше; несколько спелых кокосовых орехов с глухим стуком упали на землю. Пошел дождь – сначала вдалеке, потом все ближе, надвигаясь вместе с сильным ветром, и вода в лагуне задымилась

бороздками. Дробный стук первых капель по листьям заставил Рауля вскочить на ноги.

– Тысячу чилийских долларов наличными, Мапуи, – сказал он, – и кредит на двести.

– Мне нужен дом... – затянул Мапуи.

– Мапуи! – прокричал Рауль сквозь шум ветра. – Ты дурак!

Он выскочил из лачуги и вместе и помощником капитана кое-как добрался до берега, где их ждала шлюпка. Шлюпки не было видно. Тропический ливень окружал их стеной, так что они видели только кусок берега под ногами и злые маленькие волны лагуны, кусавшие песок. Рядом выросла фигура человека. Это был однорукий Хуру-Хуру.

– Получил жемчужину? – прокричал он в ухо Раулю.

– Мапуи дурак! – крикнул тот в ответ, и в следующую минуту их разделили потоки дождя.

Полчаса спустя Хуру-Хуру, стоя на обращенной к морю стороне атолла, увидел, как обе шлюпки подняли на шхуну и «Аораи» повернула прочь от острова. А в том же месте, словно принесенная на крыльях шквала, появилась и стала на якорь другая шхуна, и с нее тоже спустили шлюпку. Он знал эту шхуну. Это была «Орохена», принадлежавшая метису Торики, торговцу, который сам объезжал острова, скупая жемчуг, и сейчас, разумеется, стоял на корме своей шлюпки. Хуру-Хуру лукаво усмехнулся. Он знал, что Мапуи задолжал Торики за товары, купленные в кредит еще в прошлом году.

Гроза пронеслась. Солнце палило, и лагуна опять стала гладкой, как зеркало. Но воздух был липкий, словно клей, и тяжесть его давила на легкие и затрудняла дыхание.

– Ты слышал новость, Торики? – спросил Хуру-Хуру. – Мапуи нашел жемчужину. Такой никогда не находили на Хикуэру, и нигде на всех Паумоту, и нигде во всем мире. Мапуи дурак. К тому же он у тебя в долгу. Помни: я тебе первый сказал. Табак есть?

И вот к соломенной лачуге Мапуи зашагал Торики. Это был властный человек, но не очень умный. Он небрежно взглянул на чудесную жемчужину – взглянул только мельком – и преспокойно опустил ее себе в карман.

– Тебе повезло, – сказал он. – Жемчужина красивая. Я открою тебе кредит на товары.

– Мне нужен дом... – в ужасе залепетал Мапуи. – Чтобы длиной был сорок футов...

– А, поди ты со своим домом! – оборвал его торговец. – Тебе нужно расплатиться с долгами, вот что тебе нужно. Ты был мне должен тысячу двести чилийских долларов. Прекрасно! Теперь ты мне ничего не должен. Мы в расчете. А кроме того, я открою тебе кредит на двести чилийских долларов. Если я удачно продам эту жемчужину на Таити, увеличу тебе кредит еще на сотню – всего, значит, будет триста. Но помни, – только если я удачно продам ее. Я могу еще потерпеть на ней убыток.

Мапуи скорбно скрестил руки и понурил голову. У него украли его сокровище. Нового дома не будет, – он попросту отдал долг. Он ничего не получил за жемчужину.

– Ты дурак, – сказала Тэфара.

– Ты дурак, – сказала старая Наури. – Зачем ты отдал ему жемчужину?

– Что мне было делать? – оправдывался Мапуи. – Я был ему должен. Он знал, что я нашел жемчужину. Ты сама слышала, как он просил показать ее. Я ему ничего не говорил, он сам знал. Это кто-то другой сказал ему. А я был ему должен.

– Мапуи дурак, – подхватила и Нгакура.

Ей было двенадцать лет, она еще не набралась ума-разума. Чтобы облегчить душу, Мапуи дал ей такого тумака, что она свалилась наземь, а Тэфара и Наури залились слезами, не переставая корить его, как это свойственно женщинам.

Хуру-Хуру, стоя на берегу, увидел, как третья знакомая ему шхуна бросила якорь у входа в атолл и спустила шлюпку. Называлась она «Хира» – и недаром: хозяином ее был Леви, немецкий еврей, самый крупный скупщик жемчуга, а Хира, как известно – таитянский бог, покровитель воров и рыболовов.

– Ты слышал новость? – спросил Хуру-Хуру, как только Леви, толстяк с крупной головой и неправильными чертами лица, ступил на берег. – Мапуи нашел жемчужину. Такой жемчужины не бывало еще на Хикуэру, и на всех Паумоту, и во всем мире. Мапуи дурак: он продал ее Торики за тысячу четыреста чилийских долларов, – я подслушал их разговор. И Торики тоже дурак. Ты можешь купить у него жемчужину, и дешево. Помни: я первый тебе сказал. Табак есть?

– Где Торики?

– У капитана Линча, пьет абсент. Он уже час как сидит там.

И пока Леви и Торики пили абсент и торговались из-за жемчужины, Хуру-Хуру подслушивал – и услышал, как они сошлись на невероятной цене: двадцать пять тысяч франков!

Вот в это время «Орохена» и «Хира» подошли совсем близко к острову и стали стрелять из орудий и отчаянно сигнализировать. Капитан Линч и его гости, выйдя из дому, еще не успели увидеть, как обе шхуны поспешно повернули и стали уходить от берега, на ходу убирая гроты и кливера и под напором шквала низко кренясь над побелевшей водой. Потом они скрылись за стеною дождя.

– Они вернуться, когда утихнет, – сказал Торики. – Надо нам выбираться отсюда.

– Барометр, верно, еще упал, – сказал капитан Линч.

Это был седой бородатый старик, который уже не ходил в море и давно понял, что может жить в ладу со своей астмой только на Хикуэру. Он вошел в дом и взглянул на барометр.

– Боже ты мой! – услышали они и бросились за ним следом: он стоял, с ужасом глядя на стрелку, которая показывала двадцать девять и двадцать.

Снова выйдя на берег, они в тревоге оглядели море и небо. Шквал прошел, но небо не прояснилось. Обе шхуны, а с ними и еще одна, под всеми парусами шли к острову. Но вот ветер переменился, и они поубавили парусов. А через пять минут шквал налетел на них с противоположной стороны, прямо в лоб, – и с берега было видно, как там поспешно ослабили, а потом и совсем убрали передние паруса. Прибой звучал глухо и грозно, началось сильное волнение. Потрясающей силы молния разрезала потемневшее небо, и оглушительными раскатами загремел гром.

Торики и Леви бегом пустились к шлюпкам. Леви бежал вперевалку, словно насмерть перепуганный бегемот. При выходе из атолла навстречу их лодкам неслась шлюпка с «Аораи». На корме, подгоняя гребцов, стоял Рауль. Мысль о жемчужине не давала ему покоя, и он решил вернуться, чтобы принять условия Мапуи.

Он выскочил на песок в таком вихре дождя и ветра, что столкнулся с Хуру-Хуру, прежде чем увидел его.

– Опоздал! – крикнул ему Хуру-Хуру. – Мапуи продал ее Торики за тысячу четыреста чилийских долларов, а Торики продал ее Леви за двадцать пять тысяч франков. А Леви продаст ее во Франции за сто тысяч. Табак есть?

Рауль облегченно вздохнул. Все его терзания кончились. Можно больше не думать о жемчужине, хоть она и не досталась ему. Но он не поверил Хуру-Хуру: вполне возможно, что Мапуи продал жемчужину за тысячу четыреста чилийских долларов, но чтобы Леви, опытный торговец, заплатил за нее двадцать пять тысяч франков – это едва ли. Рауль решил переспросить капитана Линча, но, добравшись до жилища старого моряка, он застал его перед барометром в полном недоумении.

– Сколько по-твоему показывает? – тревожно спросил капитан, протер очки и снова посмотрел на барометр.

– Двадцать девять и десять, – сказал Рауль. – Я никогда не видел, чтобы он стоял так низко.

– Не удивительно, – проворчал капитан. – Я пятьдесят лет ходил по морям и то не видел ничего подобного. Слышишь?

Они прислушались к реву прибоя, сотрясавшего дом, потом вышли. Шквал утих. За милю от берега «Аораи», попавшую в штиль, кренило и швыряло на высоких волнах, которые величественно, одна за другой, катились с северо-востока и с яростью кидались на коралловый берег. Один из гребцов Рауля указал на вход в пролив и покачал головой. Посмотрев в ту сторону, Рауль увидел белое месиво клубящейся пены.

– Я, пожалуй, переночую у вас, капитан, – сказал он и велел матросу вытащить шлюпку на берег и найти пристанище для себя и для остальных гребцов.

– Ровно двадцать девять, – сообщил капитан Линч, уходящий в дом, чтобы еще раз взглянуть на барометр.

Он вынес из дома стул, сел и уставился на море. Солнце вышло из-за облаков, стало душно, по-прежнему не было ни ветерка. Волнение на море усиливалось.

– И откуда такие волны, не могу понять, – нервничал Рауль. – Ветра нет... А вы посмотрите... нет, вы только посмотрите вон на ту!

Волна, протянувшаяся на несколько миль, обрушила десятки тысяч тонн воды на хрупкий атолл, и он задрожал, как от землетрясения. Капитан Линч был ошеломлен.

– О Господи! – воскликнул он, привстав со стула, и снова сел.

– А ветра нет, – твердил Рауль. – Был бы ветер, я бы еще мог это понять.

– Можешь не беспокоиться, будет и ветер, – мрачно ответил капитан.

Они замолчали. Пот выступил у них на теле миллионами мельчайших росинок, которые сливались в капли и ручейками стекали на землю. Не хватало воздуха, старик мучительно задыхался. Большая волна взбежала на берег, облизала стволы кокосовых пальм и спала почти у самых ног капитана Линча.

– Намного выше последней отметки, – сказал он, – а я живу здесь одиннадцать лет. – Он посмотрел на часы. – Ровно три.

На берегу появились мужчина и женщина в сопровождении стайки детей и собак. Пройдя дом, они остановились в нерешительности и после долгих колебаний сели на песок. Несколько минут спустя с противоположной стороны приплелось другое семейство,

нагруженное всяким домашним скарбом. И вскоре вокруг дома капитана Линча собралось несколько сот человек – мужчин и женщин, стариков и детей. Капитана окликнул одну из женщин с грудным младенцем на руках и узнал, что ее дом только что смыло волной.

Дом капитана стоял на высоком месте острова, справа и слева от него огромные волны уже перехлестывали через узкое кольцо атолла в лагуну. Двадцать миль в окружности имело это кольцо, и лишь кое-где оно достигало трехсот футов в ширину. Сезон ловли жемчуга был в разгаре, и туземцы съехались сюда со всех окрестных островов и даже с Таити.

– Здесь сейчас тысяча двести человек, – сказал капитан Линч. – Трудно сказать, сколько из них уцелеет к завтрашнему утру.

– Непонятно, почему нет ветра? – спросил Рауль.

– Не беспокойся, мой милый, не беспокойся, неприятности начнутся очень скоро.

Не успел капитан Линч договорить, как огромная волна низринулась на атолл. Морская вода, покрыв песок трехдюймовым слоем, закипела вокруг их стульев. Раздался протяжный стон испуганных женщин. Дети, стиснув руки, смотрели на гигантские валы и жалобно плакали. Куры и кошки заматались в воде, а потом дружно, как сговорившись, устремились на крышу дома. Один туземец, взяв корзину с новорожденными щенятами, залез на кокосовую пальму и привязал корзину на высоте двадцати футов над землей. Собака-мать, повизгивая и твякая, скакала в воде вокруг дерева.

А солнце светило по-прежнему ярко, и все еще не было ни ветерка. Они сидели, глядя на волны, кидавшие «Аораи» из стороны в сторону. Капитан Линч, не в силах больше смотреть на вздымающиеся водяные горы, закрыл лицо руками, потом ушел в дом.

– Двадцать восемь и шестьдесят, – негромко сказал он, возвращаясь.

В руке у него был моток толстой веревки. Он нарезал из нее концы по десять футов длиной, один дал Раулю, один оставил себе, а остальные роздал женщинам, посоветовав им лезть на деревья.

С северо-востока потянул легкий ветерок, и, почувствовав на лице его дуновение, Рауль оживился. Он увидел, как «Аораи», выбрав шкоты, двинулась прочь от берега, и пожалел, что остался здесь. Шхуна-то уйдет от беды, а вот остров... Волна перехлестнула через атолл, чуть не сбив его с ног, и он присмотрел себе дерево, потом, вспомнив про барометр, побежал в дом и в дверях столкнулся с капитаном Линчем.

– Двадцать восемь и двадцать, – сказал старик. – Ох, и заварится тут чертова каша!.. Это что такое?

Воздух наполнился стремительным движением. Дом дрогнул и закачался, и они услышали мощный гул. В окнах задребезжали стекла. Одно окно разбилось; в комнату ворвался порыв ветра такой силы, что они едва устояли на ногах. Дверь с треском захлопнулась, расщепив щеколду. Осколки белой дверной ручки посыпались на пол. Стены комнаты вздулись, как воздушный шар, в который слишком быстро накачали газ. Потом послышался новый шум, похожий на ружейную стрельбу, – это гребень волны разбился о стену дома. Капитан Линч посмотрел на часы. Было четыре пополудни. Он надел синюю суконную куртку, снял со стены барометр и засунул его в глубокий карман. Новая волна с глухим стуком ударилась в дом, и легкая постройка повернулась на фундаменте и осела, накренившись под углом в десять градусов.

Рауль первый выбрался наружу. Ветер подхватил его и погнал по берегу. Он заметил, что теперь дует с востока. Ему стоило огромного труда лечь и прикинуться к песку. Капитан Линч,

которого ветер нес, как соломинку, упал прямо на него. Два матроса с «Аораи» спрыгнули с кокосовой пальмы и бросились им на помощь, уклоняясь от ветра под самыми невероятными углами, на каждом шагу хватаясь за землю.

Капитана Линч был уже слишком стар, чтобы лазить по деревьям, поэтому матросы, связав несколько коротких веревок, стали постепенно поднимать его по стволу и наконец привязали к верхушке в пятидесяти футах от земли. Рауль закинул свою веревку за ствол другой пальмы и огляделся. Ветер был ужасающий. Ему и не снилось, что такой бывает. Волна, перекатившись через атолл, промочила его до колен и хлынула в лагуну. Солнце исчезло, наступили свинцовые сумерки. Несколько капель дождя ударили его сбоку, словно дробины, лицо окатило соленой пеной, словно ему дали оплеуху; щеки жгло от боли, на глазах выступили слезы. Несколько сот туземцев забрались на деревья, и в другое время Рауль посмеялся бы, глядя на эти гроздьи людей. Но он родился на Таити и знал, что делать: он согнулся, обхватил руками дерево и, крепко ступая, пошел по стволу вверх. На верхушке пальмы он обнаружил двух женщин, двух девочек и мужчину; одна из девочек крепко прижимала к груди кошку.

Со своей вышки он помахал рукой старику капитану, и тот бодро помахал ему в ответ. Рауль был потрясен видом неба: оно словно нависло совсем низко над головой и из свинцового стало черным. Много народу еще сидело кучками на земле под деревьями, держась за стволы. Кое-где молились, перед одной из кучек проповедовал миссионер-мормон. Станный звук долетел до слуха Рауля – ритмичный, слабый, как стрекот далекого сверчка; он длился всего минуту, но за эту минуту успел смутно пробудить в нем мысль о рае и небесной музыке. Оглянувшись, он увидел под другим деревом большую группу людей, державшихся за веревки и друг за друга. По их лицам и по одинаковым у всех движениям губ он понял, что они поют псалом.

А ветер все крепчал. Никакой меркой Рауль не мог его измерить, – этот вихрь оставил далеко позади все его прежние представления о ветре, – но почему-то он все-таки знал, что ветер усилился. Невдалеке от него вырвало с корнем дерево, висевших на нем людей швырнуло на землю. Волна окатила узкую полосу песка – и люди исчезли. Все совершалось быстро. Рауль увидел на фоне белой вспененной воды лагуны черную голову, коричневое плечо. В следующее мгновение они скрылись из глаз. Деревья гнулись, падали и скрещивались, как спички. Рауль не уставал поражаться силе ветра; пальма, на которой он спасался, тоже угрожающе раскачивалась. Одна из женщин причитала, крепко прижав к себе девочку, а та все не выпускала из рук кошку.

Мужчина, державший второго ребенка, тронул Рауля за плечо и указал вниз. Рауль увидел, что в ста шагах от его дерева мормонская часовня, как пьяная, шатается на ходу: ее сорвало с фундамента, и теперь волны и ветер подгоняли ее к лагуне. Ужасающей силы вал подхватил ее, повернул и бросил на кучу кокосовых пальм. Люди посыпались с них, как спелые орехи. Волна схлынула, а они остались лежать на земле: одни неподвижно, другие – извиваясь и корчась. Они чем-то напоминали Раулю муравьев. Он не ужасался, – теперь его уже ничто не могло ужаснуть. Спокойно и деловито он наблюдал, как следующей волной эти человеческие обломки смыло в воду. Третья волна, самая огромная из всех, швырнула часовню в лагуну, и она поплыла во мрак, наполовину затонув, – ни дать ни взять Ноев ковчег.

Рауль поискал глазами дом капитана Линча и с удивлением убедился, что дома больше нет. Да, все совершалось очень быстро. Он заметил, что с уцелевших деревьев многие спустились на землю. Ветер тем временем еще усилился, Рауль видел это по своей пальме: она уже не раскачивалась взад и вперед, – теперь она оставалась почти неподвижной, низко согнувшись под напором ветра, и только дрожала. Но от этой дрожи тошнота подступала к горлу. Это напоминало вибрацию камертона или струн гавайской гитары. Хуже всего было то, что пальма вибрировала необычайно быстро. Даже если ее не вырвет с корнями, она долго

не выдержит такого напряжения и переломится.

Ага! Одно дерево уже не выдержало! Он не заметил, когда оно сломалось, но вот стоит обломок – половина ствола. Пока не увидишь, так и не будешь знать, что творится. Треск деревьев и горестные вопли людей тонули в мощном реве и грохоте... Когда это случилось, Рауль как раз смотрел туда, где был капитан Линч. Он увидел, как пальма бесшумно треснула посередине и верхушка ее, с тремя матросами и старым капитаном, понеслась к лагуне. Она не упала, а поплыла по воздуху, как соломинка. Он следил за полетом: она ударилась о воду шагах в ста от берега. Он напряг зрение и увидел – он мог бы в том поклясться, – что капитана Линч помахал ему на прощание рукой.

Рауль не стал больше ждать, он тронул туземца за плечо и знаком показал ему, что нужно спускаться. Туземец согласился было, но женщины словно окаменели от страха, и он остался с ними. Рауль захлестнул веревку вокруг дерева и сполз по стволу на землю. Его окатило соленой водой. Он задержал дыхание, судорожно вцепившись в веревку. Волна спала, и, прижавшись к стволу, он перевел дух, потом завязал веревку покрепче. И тут его окатила новая волна. Одна из женщин соскользнула с дерева, но мужчина остался со второй женщиной, обоими детьми и кошкой. Рауль еще сверху видел, что кучки людей, жавшихся к подножиям других деревьев, постепенно таяли. Теперь это происходило справа и слева от него, со всех сторон. Сам он напрягал все силы, чтобы удержаться; женщина рядом с ним заметно слабела. После каждой волны он дивился сначала тому, что его еще не смыло, а потом – что не смыло женщину. Наконец, когда схлынула еще одна волна, он остался один. Он поднял голову: верхушка дерева тоже исчезла. Укоротившийся наполовину, дрожал расщепленный ствол. Рауль был спасен: корнями пальма держалась, и теперь ветер был ей не страшен. Он полез вверх по стволу. Он так ослабел, что двигался медленно, и еще несколько волн догнали его, прежде чем ему удалось от них уйти. Тут он привязал себя к стволу и приготовился мужественно встретить ночь и то неизвестное, что еще ожидало его.

Ему было очень тоскливо одному в темноте. Временами казалось, что наступил конец света и только он один еще остался в живых. А ветер все усиливался, усиливался с каждым часом. К одиннадцати часам, по расчетам Рауля, он достиг совсем уже невероятной силы. Это было что-то чудовищное, дикое – визжащий зверь, стена, которая крушила все перед собой и проносилась мимо, но тут же налетала снова, – и так без конца. Ему казалось, что он стал легким, невесомым, что он сам движется куда-то, что его с невероятной быстротой несет сквозь бесконечную плотную массу. Ветер уже не был движущимся воздухом – он стал осязаемым, как вода или ртуть. Раулю чудилось, что в этот ветер можно запустить руку и отрывать его по кускам, как мясо от туши быка, что в него можно вцепиться и прикинуться к нему, как к скале.

Ветер душил его. Он врывался с дыханием через рот и ноздри, раздувая легкие, как пузыри. В такие минуты Раулю казалось, что все тело у него набито землей. Чтобы дышать, он прижимался губами к стволу пальмы. Этот непрекращающийся вихрь лишал его последних сил, он изматывал и тело, и рассудок. Рауль уже не мог ни наблюдать, ни думать, он был в полусознании. Четкой оставалась одна мысль: «Значит, это ураган». Мысль эта упорно мерцала в мозгу, точно слабый огонек, временами дававший вспышки. Очнувшись от забытья, он вспоминал: «Значит, это ураган», – потом снова погружался в забытие.

Яростнее всего ураган бушевал от одиннадцати до трех часов ночи, – и как раз в одиннадцать сломалось то дерево, на котором спасался Мапуи и его семья. Мапуи всплыл на поверхность лагуны, все еще не выпуская из рук свою дочь Нгакуру. Только местный житель мог уцелеть в такой переделке. Верхушка дерева, к которой Мапуи был привязан, бешено крутилась среди пены и волн. То цепляясь за нее, то быстро перехватывая по стволу руками, чтобы высунуть из воды свою голову и голову дочери, он ухитрился не захлебнуться, но вместе с воздухом в легкие проникала вода – летящие брызги и дождь, ливший почти горизонтально.

До противоположного берега лагуны было десять миль. Здесь о бешено крутящиеся завалы из стволов, досок, обломков домов и лодок разбивалось девять из каждых десяти несчастных, не погибших в водах лагуны. Захлебнувшись, полуживых, их швыряло в эту дьявольскую мельницу и размалывало в кашу. Но Мапуи повезло, волею судьбы он оказался в числе уцелевших; его выкинуло на песок. Он истекал кровью; у Нгакуры левая рука была сломана, пальцы правой расплющило, щека и лоб были рассечены до кости. Мапуи обхватил рукою дерево и, держа дочь другой рукой, со стонами переводил дух, а набегавшие волны доставали ему до колен, а то и до пояса.

В три часа утра сила урагана пошла на убыль. В пять часов было очень ветрено, но не более того, а к шести стало совсем тихо и показалось солнце. Море начало успокаиваться. На берегу еще покрытой волнами лагуны Мапуи увидел искалеченные тела тех, кому не удалось живыми добраться до суши. Наверное, среди них и его жена и мать. Он побрел по песку, осматривая трупы, и увидел свою жену Тэфару, лежавшую наполовину в воде. Он сел на землю и заплакал, подвывая по-звериному, – ибо так свойственно дикарю выражать свое горе. И вдруг женщина пошевелилась и застонала. Мапуи взглянул в нее: она была не только жива, но и не ранена. Она просто спала! Тэфара тоже оказалась в числе немногих счастливых.

Из тысячи двухсот человек, населявших остров накануне, уцелело всего триста. Миссионер-мормон и жандарм переписали их. Лагуна была забита трупами. На всем острове не осталось ни одного дома, ни одной хижины – не осталось камня на камне. Почти все кокосовые пальмы вырвало с корнем, а те, что еще стояли, были сломаны, и орехи с них сбиты все до одного. Не было пресной воды. В неглубоких колодцах, куда стекали струи дождя, скопилась соль. Из лагуны выловили несколько промокших мешков с мукой. Спасшиеся вырезали и ели сердцевину упавших кокосовых орехов. Они вырыли ямы в песке, прикрыли их остатками железных крыш и заползли в эти норы. Миссионер соорудил примитивный перегонный куб, но не успевал опреснять воду на триста человек. К концу второго дня Рауль, купаясь в лагуне, почувствовал, что жажда мучит его не так сильно. Он оповестил всех о своем открытии, и скоро триста мужчин, женщин и детей стояли по шею в воде, стараясь хотя бы так утолить свою жажду. Трупы плавали вокруг них, попадались им под ноги. На третий день они похоронили мертвых и стали ждать спасательных судов.

А между тем Наури, разлученная со своей семьей, одна переживала все ужасы урагана. Вместе с доской, за которую она упорно цеплялась, не обращая внимания на бесчисленные занозы и ушибы, ее перекинуло через атолл и унесло в море. Здесь, среди сокрушительных толчков огромных, как горы, волн, она потеряла свою доску. Наури было без малого шестьдесят лет, но она родилась на этих островах и всю жизнь прожила у моря. Плывая в темноте, задыхаясь, захлебываясь, ловя ртом воздух, она почувствовала, как ее с силой ударил в плечо кокосовый орех. Мгновенно составив план действий, она схватила этот орех. В течение часа ей удалось поймать еще семь. Она связала их, и получился спасательный пояс, который и удержал ее на воде, хотя ей все время грозила опасность насмерть расшибиться о него. Наури была толстая, и скоро вся покрылась синяками, но ураганы были ей не внове, и, прося у своего акульего бога защиты от акул, она ждала, чтобы ветер начал стихать. Но к трем часам ее так укачало, что она пропустила этот момент. И о том, что к шести часам ветер совсем стих, она тоже не знала. Она очнулась, только когда ее выкинуло на песок и, хватаясь за него израненными, окровавленными руками, поползла вверх по берегу, чтобы волны не смыли ее обратно в море.

Она знала, где находится: ее выбросило на крошечный островок Такокота. Здесь не было лагуны, здесь никто не жил. Островок отстоял от Хикуэру на пятнадцать миль. Хикуэру не было видно, но Наури знала, что он лежит к югу от нее. Десять дней она жила, питаясь кокосовыми орехами, которые не дали ей утонуть: она пила их сок и ела сердцевину, но понемножку, чтобы хватило надолго. В спасении она не была уверена. На горизонте виднелись дымки спасательных пароходов, но какой пароход догадается заглянуть на



маленький необитаемый остров Такокота?

С самого начала ей не давали покоя трупы. Море упорно выбрасывало их на песок, и она, пока хватало сил, так же упорно сталкивала их обратно в море, где их пожирали акулы. Когда силы у нее иссякли, трупы опоясали остров страшной гирляндой, и она ушла от них как можно дальше, хотя далеко уйти было некуда.

На десятый день последний орех был съеден, и Наури вся высохла от жажды. Она ползала по песку в поисках орехов. «Странно, – думала она, – почему всплывает столько трупов, а орехов нет? Орехов должно бы плавать больше, чем мертвых тел!» Наконец она отчаялась и в изнеможении вытянулась на песке. Больше надеяться было не на что, оставалось только ждать смерти.

Придя в себя, Наури медленно осознала, что перед глазами у нее голова утопленника с прядью светло-рыжих волос. Волна подбросила труп поближе к ней, потом унесла назад и, наконец, перевернула навзничь. Наури увидела, что у него нет лица, но в пряди светло-рыжих волос было что-то знакомое. Прошел час. Она не старалась опознать мертвеца, – она ждала смерти и ее не интересовало, кем было раньше это страшилище.

Но через час она с усилием приподнялась и взгляделась в труп. Сильная волна подхватила его и оставила там, куда не доставали волны поменьше. Да, она не ошиблась: эта прядь рыжих волос могла принадлежать только одному человеку на островах Паумоту: это был Леви, немецкий еврей, – тот что купил жемчужину Мапуи и увез ее на шхуне «Хира». Что ж, ясно одно: «Хира» погибла. Бог рыболовов и воров отвернулся от скупщика жемчуга.

Она подползла к мертвецу. Рубашку с него сорвало, широкий кожаный пояс был на виду. Затаив дыхание, Наури попробовала расстегнуть пряжку. Это оказалось совсем не трудно, и она поспешила отползти прочь, волоча пояс за собой по песку. Она расстегнула один кармашек, другой, третий – пусто. Куда же он ее дел? В последнем кармашке она нашла ее – первую и единственную жемчужину, купленную им за эту поездку. Наури отползла еще на несколько шагов, подальше от вонючего пояса, и рассмотрела жемчужину. Это была та самая, которую Мапуи нашел, а Торики отнял у него. Она взвесила ее на руке, любовно покатала по ладони. Но не красота жемчужины занимала Наури: она видела в ней дом, который они с Мапуи и Тэфарой так старательно построили в своих мечтах. Глядя на жемчужину, она видела этот дом во всех подробностях, включая восьмиугольные часы на стене. Ради этого стоило жить.

Она оторвала полосу от своей аху и, крепко завязав в нее жемчужину, повесила на шею, потом двинулась по берегу, кряхтя и задыхаясь, но зорко высматривая кокосовые орехи. Очень скоро она нашла один, а за ним и второй. Разбив орех, она выпила сок, отдававший плесенью, и съела дочиستا всю сердцевину. Немного позже она набрела на разбитый челнок. Уключин на нем не было, но она не теряла надежды и к вечеру разыскала и уключину. Каждая находка была добрым предзнаменованием. Жемчужина принесла ей счастье. Перед закатом Наури увидела деревянный ящик, качавшийся на воде.

Когда она тащила его на берег, в нем что-то гроыхало. В ящике оказалось десять банок рыбных консервов. Одну из них она открыла, поколотив ее о борт челнока. Соус она выпила через пробитое отверстие, а потом несколько часов по маленьким кусочкам извлекала из жестянки лососину.

Еще восемь дней Наури ждала помощи. За это время она пристроила к челноку найденную уключину, использовав все волокна кокосовых орехов, какие ей удалось собрать, и остатки своей аху. Челнок сильно растрескался, проконопатить его было нечем, но Наури припасла скорлупу от кокосового ореха, чтобы вычерпать воду. Она долго думала, как сделать весло; потом куском жести отрезала свои волосы, сплела из них шнурок и этим шнурком привязала

трехфуттовую палку к доске от ящика с консервами, закрепив ее маленькими клиньями, которые выгрызла зубами.

На восемнадцатые сутки, в полночь, Наури спустила челнок на воду, и миновав полосу прибоя, пустилась в путь домой, на Хикуэру. Наури была старуха. От пережитых лишений весь жир у нее сошел, остались одна кожа да чуть покрытые дряблыми мышцами кости. Челнок был большой, рассчитанный на трех сильных гребцов, но она справлялась с ним одна, работая самодельным веслом; протекал он так сильно, что треть времени уходила на вычерпывание. Уже совсем рассвело, а Хикуэру еще не было видно. Такокота исчез позади, за линией горизонта. Солнце палило, и обильный пот проступил на обнаженном теле Наури. У нее остались две банки лососины, и в течение дня она пробила в них дырки и выпила соус, – доставать рыбу было некогда. Челнок относил к западу, но подвигался ли он на юг, она не знала.

Вскоре после полудня, встав во весь рост на дне челнока, она увидела Хикуэру. пышные купы кокосовых пальм исчезли. Там и сям торчали редкие обломанные стволы. Вид острова придал ей бодрости. Она не думала, что он уже так близко. Течение относил ее к западу. Она продолжала грести, стараясь направлять челнок к югу. Клинышки, державшие шнурок на весле, стали выскакивать, и Наури тратила много времени каждый раз, когда приходилось загонять их на место. И на дне все время набиралась вода: через каждые два часа Наури бросала весло и час работала черпаком. И все время ее относил на запад.

К закату Хикуэру был в трех милях от нее, на юго-востоке. Взошла полная луна, и в восемь часов остров лежал прямо на восток, до него оставалось две мили. Наури промучилась еще час, но земля не приближалась: течение крепко держало ее, челнок был велик, никуда не годилось весло и слишком много времени и сил уходило на вычерпывание. К тому же она очень устала и слабела все больше и больше. Несмотря на все ее усилия, челнок дрейфовал на запад.

Она помолилась акульему богу, выпрыгнула из челнока и поплыла. Вода освежила ее, челнок скоро остался позади. Через час земля заметно приблизилась. И тут случилось самое страшное. Прямо впереди нее, не дальше чем в двадцати футах, воду разрезал огромный плавник. Наури упорно плыла на него, а он медленно удалялся, потом свернул вправо и описал вокруг нее дугу. Не теряя плавника из вида, она плыла дальше. Когда он исчезал, она ложилась ничком на воду и выжидала. Когда он вновь появлялся, она плыла вперед. Акула не торопилась – это было ясно: со времени урагана у нее не было недостатка в пище. Наури знала, что, будь акула очень голодна, она сразу бросилась бы на добычу. В ней было пятнадцать футов в длину, и одним движением челюстей она могла перекусить человека пополам.

Но Наури было некогда заниматься акулой, – течение упорно тянуло ее прочь от земли. Прошло полчаса, и акула обнаглела. Видя, что ей ничего не грозит, она стала сужать круги и, проплывая мимо Наури, жадно скашивала на нее глаза. Женщина не сомневалась, что рано или поздно акула осмелеет и бросится на нее. Она решила действовать, не дожидаясь этого, и пошла на отчаянный риск. Старуха, ослабевшая от голода и лишений, встретившись с этим тигром морей, задумала предвосхитить его бросок и броситься на него первой. Она плыла, выжидая удобную минуту. И вот акула лениво проплыла мимо нее всего в каких-нибудь восьми футах. Наури кинулась вперед, словно нападавая. Яростно ударив хвостом, акула пустилась наутек и, задев женщину своим шершавым боком, содрала ей кожу от локтя до плеча. Она уплыла быстро, по кругу, и наконец исчезла.

В яме, вырытой в песке и прикрытой кусками искореженного железа, лежали Мапуи и Тэфара; они ссорились.

– Послушался бы ты моего совета, – в тысячный раз корила его Тэфара, – припрятал

жемчужину и никому бы не говорил, она и сейчас была бы у тебя.

– Но Хуру-Хуру стоял около меня, когда я открывал раковину, я тебе уже говорил это много-много раз.

– А теперь у нас не будет дома. Рауль мне сегодня сказал, что если бы ты не продал жемчужину Торики...

– Я не продавал ее. Торики меня ограбил.

– ...если бы ты ее не продал, он дал бы тебе пять тысяч французских долларов, а это все равно что десять тысяч чилийских.

– Он посоветовался с матерью, – пояснил Мапуи. – Она-то знает толк в жемчуге.

– А теперь у нас нет жемчужины, – простонала Тэфара.

– Зато я заплатил долг Торики. Значит, тысячу двести я все-таки заработал.

– Торики умер! – крикнула она. – О его шхуне нет никаких известий. Она погибла вместе с «Аораи» и «Хира». Даст тебе Торики на триста долларов кредита, как обещал? Нет, потому что Торики умер. А не найди ты эту жемчужину, был бы ты ему сейчас должен тысячу двести? Нет! Потому что Торики умер, а мертвым долгов не платят.

– А Леви не заплатил Торики, – сказал Мапуи. – Он дал ему бумагу, чтобы по ней получить деньги в Папеее; а теперь Леви мертвый и не может заплатить; и Торики мертвый, и бумага погибла вместе с ним, а жемчужина погибла вместе с Леви. Ты права, Тэфара. Жемчужину я упустил и не получил за нее ничего. А теперь давай спать.

Вдруг он поднял руку и прислушался. Снаружи послышались какие-то странные звуки, словно кто-то дышал тяжело и надсадно. Чья-то рука шарила по циновке, закрывавшей вход.

– Кто здесь? – крикнул Мапуи.

– Наури, – раздалось в ответ. – Скажите мне, где Мапуи, мой сын?

Тэфара взвизгнула и вцепилась мужу в плечо.

– Это дух! – пролепетала она. – Дух!

У Мапуи лицо пожелтело от ужаса. Он трусливо прижался к жене.

– Добрая женщина, – сказал он запинаясь и стараясь изменить голос. – Я хорошо знаю твоего сына. Он живет на восточном берегу лагуны.

За циновкой послышался вздох. Мапуи приободрился: ему удалось провести духа.

– А откуда ты пришла, добрая женщина? – спросил он.

– С моря, – печально раздалось в ответ.

– Я так и знала, так и знала! – завопила Тэфара, раскачиваясь взад и вперед.

– Давно ли Тэфара ночует в чужом доме? – сказал голос Наури.

Мапуи с ужасом и укоризной посмотрел на жену, – ее голос выдал их обоих.

– И давно ли мой сын Мапуи стал отрекаться от своей старой матери? – продолжал голос.

– Нет, нет, я не... Мапуи не отрекается от тебя! – крикнул он. – Я не Мапуи. Говорю тебе, он на восточном берегу.

Нгакура проснулась и громко заплакала. Циновка заколыхалась.

– Что ты делаешь? – спросил Мапуи.

– Вхожу, – ответил голос Наури.

Край циновки приподнялся. Тэфара хотела зарыться в одеяла, но Мапуи не отпускал ее, – ему нужно было за что-то держаться. Дрожа всем телом и стуча зубами, они оба, вытаращив глаза, смотрели на циновку. В яму вползла Наури, вся мокрая и без аху. Они откатились от входа и стали рвать друг у друга одеяло Нгакуры, чтобы закрыться им с головой.

– Мог бы дать старухе матери напиток, – жалобно сказал дух.

– Дай ей напиток! – приказала Тэфара дрожащим голосом.

– Дай ей напиток, – приказал Мапуи дочери.

И вдвоем они вытолкнули Нгакуру из-под одеяла. Через минуту Мапуи краешком глаза увидел, что дух пьет воду. А потом дух протянул трясущуюся руку и коснулся его руки, и, почувствовав ее тяжесть, Мапуи убедился, что перед ним не дух. Тогда он вылез из-под одеяла, таща за собою жену, и скоро все они уже слушали рассказ Наури. А когда она рассказала про Леви и положила жемчужину на ладонь Тэфары, даже та признала, что ее свекровь – человек из плоти и крови.

– Завтра утром, – сказала Тэфара, – ты продашь жемчужину Раулю за пять тысяч французских долларов.

– А дом? – возразила Наури.

– Он построит дом, – сказала Тэфара. – Он говорит, что это обойдется в четыре тысячи. И кредит даст на тысячу французских долларов – это две тысячи чилийских.

– И дом будет сорок футов в длину? – спросила Наури.

– Да, – ответил Мапуи, – сорок футов.

– И в средней комнате будут стенные часы с гирями?

– Да, и круглый стол.

– Тогда дайте мне поесть, потому что я проголодалась, – удовлетворенно сказала Наури. – А потом мы будем спать, потому что я устала. А завтра мы еще поговорим про дом, прежде чем продать жемчужину. Тысячу французских долларов лучше взять наличными. Всегда лучше платить за товары наличными, чем брать в кредит.

\* \* \*

## ДОЧЬ СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ

– Вы... как это говорится... лентяй! Вы, лентяй, хотите стать моим мужем? Напрасный старанья. Никогда, о нет, никогда не станет моим мужем лентяй!

Так Джой Молино заявила без обвиняков Джеку Харрингтону; ту же мысль, и не далее как накануне, она высказала Луи Савой, только в более банальной форме и на своем родном языке.

– Послушайте, Джой...

– Нет, нет! Почему должна я слушать лентяй? Это очень плохо – ходить за мной по пятам, торчать у меня в хижинах и не делать никаких дел. Где вы возьмете еда для famille?[4] Почему у вас нет золотой песок? У других полный карман.

– Но я работаю, как вол, Джой. День изо дня рыскаю по Юкону и по притокам. Вот и сейчас я только что вернулся. Собаки так и валяются с ног. Другим везет – они находят уйму золота. А я... нет мне удачи.

– Ну да! А когда этот человек – Мак-Кормек, ну тот, что имеет жена-индианка, – когда он открыл Кльондайк, почему вы не пошел? Другие пошел. Другие стал богат.

– Вы же знаете, я был далеко, искал золото у истоков Тананы, – защищался Харрингтон. – И ничего не знал ни об Эльдорадо, ни о Бонанзе. А потом было уже поздно.

– Ну, это пусть. Только вы... как это... сбитый с толк.

– Что такое?

– Сбитый с толк. Ну, как это... в потемках. Поздно не бывает. Тут, по этот ручей, по Эльдорадо, есть очень богатый россыпь. Какой-то человек застольбил и ушел. Никто не знает, куда он девался. Никогда больше не появлялся он тут. Шестидесять дней никто не может получить бумага на этот участок. Потом все... целый уйма людей... как это... кинутся застольбить участок. И помчатся, о, быстро, быстро, как ветер, помчатся получать бумага. Один станет очень богат. Один получит много еда для famille.

Харрингтон не подал виду, как сильно заинтересовало его это сообщение.

– А когда истекает срок? – спросил он. – И где этот участок?

– Вчера вечером я говорила об этом с Луи Савой, – продолжала она, словно не слыша его вопроса. – Мне кажется, участок будет его.

– К черту Луи Савоя!

– Вот и Луи Савой сказал вчера у меня в хижине. «Джой, – сказал он, – я сильный. У меня хороший упряжка. У меня хороший дыханье. Я добуду этот участок. Вы тогда будете выходить за меня замуж?» А я сказала ему... я сказала...

– Что же вы сказали?

– Я сказала: «Если Луи Савой победит, я буду стать его женой».

– А если он не победит?

– Тогда Луи Савой... как это по-вашему... тогда ему не стать отцом моих детей.

– А если я выйду победителем?

– Вы – победитель? – Джой расхохоталась. – Никогда!

Смех Джой Молино был приятен для слуха, даже когда в нем звучала издевка. Харрингтон не придал ему значения. Он был приручен уже давно. Да и не он один. Джой Молино терзала

подобным образом всех своих поклонников. К тому же она была так обольстительна сейчас – жгучие поцелуи мороза размяли ей щеки, смеющийся рот был полуоткрыт, а глаза сверкали тем великим соблазном, сильнее которого нет на свете, – соблазном, таящимся только в глазах женщины. Собаки живой косматой грудой копошились у ее ног, а вожак упряжки – Волчий Клык – осторожно положил свою длинную морду к ней на колени.

– Ну а все же, если я выйду победителем? – настойчиво повторил Харрингтон.

Она посмотрела на своего поклонника, потом снова перевела взгляд на собак.

– Что ты скажешь, Вольчий Клык? Если он сильный и польючит бумага на участок, может быть, мы согласимся стать его женой? Ну, что ты скажешь?

Волчий Клык наострил уши и глухо заворчал на Харрингтона.

– Хольдно, – с женской непоследовательностью сказала вдруг Джой Молино, встала и подняла свою упряжку.

Ее поклонник невозмутимо наблюдал за ней. Она задавала ему загадки с первого дня их знакомства, и к прочим его достоинствам с той поры прибавилось еще и терпение.

– Эй, Вольчий Клык! – воскликнула Джой Молино, вскочив на нарты в ту секунду, когда они тронулись с места. – Эй-эй! Давай!

Не поворачивая головы, Харрингтон краем глаза следил, как ее собаки свернули на тропу, проложенную по замерзшей реке, и помчались к Сороковой Миле. У развилки, откуда одна дорога уходила через реку к форту Кьюдахи, Джой Молино придержала собак и обернулась.

– Эй, мистер Лентяй! – крикнула она. – Вольчий Клык говорит – да... если вы побеждать!

Все это, как обычно бывает в подобных случаях, каким-то образом получило огласку, и население Сороковой Мили, долго и безуспешно ломавшее себе голову, на кого из двух последних поклонников Джой Молино падет ее выбор, строило теперь догадки, кто из них окажется победителем в предстоящем состязании, и яростно заключало пари. Лагерь раскололся на две партии, и каждая старалась помочь своему фавориту прийти к финишу первым. Разгорелась ожесточенная борьба за лучших во всем крае собак, ибо в первую голову от собак, от хороших упряжек, зависел успех. А он сулил немало. Победителю доставалась в жены женщина, равной которой еще не родилось на свет, и в придачу золотой прииск стоимостью по меньшей мере в миллион долларов.

Осенью, когда разнеслась весть об открытиях, сделанных Мак-Кормеком у Бонанзы, все – и в том числе и жители Серкла и Сороковой Мили – ринулись вверх по Юкону; все, кроме тех, кто, подобно Джеку Харрингтону и Луи Савою, ушел искать золото на запад. Лосиные пастбища и берега ручьев столбились подряд, без разбору. Так, случайно, застолбили и малообещающий с виду ручей Эльдорадо. Олаф Нелсон воткнул на берегу колышки на расстоянии пятисот футов один от другого, без промедления отправил по почте свою заявку и так же без промедления исчез. Ближайшая приисковая контора, где регистрировались участки, помещалась тогда в полицейских казармах в форте Кьюдахи – как раз через реку напротив Сороковой Мили. Лишь только пронесся слух, что Эльдорадо – настоящее золотое дно, кому-то сейчас же удалось разнюхать, что Олаф Нелсон не дал себе труда спуститься вниз по Юкону, чтобы закрепить за собой свое приобретение. Уже многие жадно поглядывали на бесхозный участок, где, как всем было известно, на тысячи тысяч долларов ждало только лопаты и промывочного лотка. Однако завладеть участком никто не смел. По неписанному закону, старателю, застолбившему участок, давалось шестьдесят дней на то, чтобы оформить заявку, и пока не истечет этот срок, участок считался неприкосновенным. Об исчезновении Олафа Нелсона уже знали все кругом, и десятки золотоискателей готовились

вбить заявочные столбы и помчаться на своих упряжках в форт Кьюдах.

Но Сороковая Миля выставила мало претендентов. После того, как весь лагерь направил свои усилия на то, чтобы обеспечить победу либо Джеку Харрингтону, либо Луи Савою, никому даже не пришло на ум попытаться счастья в одиночку. От участка до приисковой конторы считалось не менее ста миль, и на этом пути решено было расставить по три сменных упряжки для каждого из фаворитов. Последний перегон являлся, понятно, решающим, и для этих двадцати пяти миль ретивые добровольцы старались раздобыть самых сильных собак. Такая лютая борьба разгорелась между двумя партиями и в такой они вошли азарт, что цены на собак взлетели неслыханно высоко, как никогда еще не бывало в истории этого края. И не мудрено, если эта борьба еще крепче приковывала все взоры к Джой Молино. Ведь она была не только причиной этих тревожных волнений, но и обладательницей самой лучшей упряжной собаки от Чилкута до Берингова моря. Как вожак, или головной, Волчий Клык не знал себе равных. Тот, чью упряжку повел бы он на последнем перегоне, мог считать себя победителем. На этот счет ни у кого не было сомнений. Но на Сороковой Миле чутьем понимали, что можно и чего нельзя, и никто не потревожил Джой Молино просьбой одолжить собаку. Каждая сторона утешала себя тем, что не только фавориту, но и противнику не придется воспользоваться таким преимуществом.

Однако мужчины – каждый в отдельности и все вкуче – устроены так, что часто доходят до могилы, оставаясь в блаженном неведении всей глубины коварства, присущего другой половине рода человеческого, и по этой причине мужское население Сороковой Мили оказалось неспособным разгадать дьявольские замыслы Джой Молино. Все признавались впоследствии, что недооценили эту чернооковую дочь северного сияния, чей отец промышлял мехами в здешних краях еще в ту пору, когда им и не снилось, что они тоже нагрянут сюда, и чьи глаза впервые взглянули на мир при холодном мерцании полярных огней. Впрочем, обстоятельства, при которых появилась на свет Джой Молино, не мешали быть ей женщиной до мозга костей и не ограничили ее способности понимать мужскую натуру. Мужчины знали, что она ведет с ними игру, но им и в голову не приходило, как глубоко продумана эта игра, как она искусна и хитроумна. Они принимали в расчет лишь те карты, которые Джой пожелала им открыть, и до последней минуты пребывали в состоянии приятного ослепления, а когда она пошла со своего главного козыря, им оставалось только подсчитать проигрыш.

В начале недели весь лагерь провожал Джека Харрингтона и Луи Савою в путь. Соперники выехали с запасом на несколько дней – им хотелось прибыть на участок Олафа Нелсона загодя, чтобы немного отдохнуть и дать собакам восстановить свои силы перед началом гонок. По дороге они видели золотоискателей из Доусона, уже расставлявших сменные упряжки на пути, и получили возможность убедиться, что никто не поскупился на расходы в погоне за миллионом.

Дня через два после их отъезда Сороковая Миля начала отправлять подставы – сначала на семьдесят пятую милю пути, потом на пятидесятую и, наконец, – на двадцать пятую. Упряжки, предназначавшиеся для последнего перегона, были великолепны – все собаки как на подбор, и лагерь битый час, при пятидесятиградусном морозе, обсуждал и сравнивал их достоинства, пока, наконец, они не получили возможности тронуться в путь. Но тут, в последнюю минуту, к ним подлетела Джой Молино на своих нартах. Она отозвала в сторону Лона Мак-Фейна, правившего харрингтоновской упряжкой, и не успели первые слова слететь с ее губ, как он разинул рот с таким остолбенелым видом, что важность полученного им сообщения стала очевидна для всех. Он выпряг Волчьего Клыка из ее нарт, поставил во главе харрингтоновской упряжки и погнал собак вверх по Юкону.

– Бедняга Луи Савой! – заговорили кругом.

Но Джой Молино вызывающе сверкнула черными глазами и повернула нарты назад к отцовской хижине.

Приближалась полночь. Несколько сот закутанных в меха людей, собравшихся на участке Олафа Нелсона, предпочли шестидесятиградусный мороз и все тревобления этой ночи соблазну натопленных хижин и удобных коек. Некоторые из них держали свои колышки наготове и своих собак под рукой. Отряд конной полиции капитана Констэнтайна получил приказ быть на посту, дабы все шло по правилам. Поступило распоряжение: никому не ставить столбы, пока последняя секунда этого дня не канет в вечность. На Севере такой приказ равносителен повелению Иеговы, – ведь пуля дум-дум карает так же мгновенно и безвозвратно, как десница божья. Ночь была ясная и морозная. Северное сияние заглогло свои праздничные огни, расцветив небосклон гигантскими зеленовато-белыми мерцающими лучами, затмевавшими свет звезд. Волны холодного розового блеска омывали зенит, а на горизонте рука титана воздвигла сверкающие арки. И, потрясенные этим величественным зрелищем, собаки поднимали протяжный вой, как их далекие предки в незапамятные времена.

Полисмен в медвежьей шубе торжественно шагнул вперед с часами в руке. Люди засуетились у своих упряжек, поднимая собак, распутывая и подтягивая постромки. Затем соревнующиеся подошли к меже, сжимая в кулаке колышки и заявки. Они уже столько раз переступали границы участка, что могли бы теперь сделать это с закрытыми глазами. Полисмен поднял руку. Скинув с плеч лишние меха и одеяла, в последний раз подтянув пояса, люди замерли в ожидании.

– Приготовиться!

Шестьдесят пар рукавиц сдернуто с рук; столько же пар обутых в мокасины ног покрепче уперлось в снег.

– Пошли!

Все ринулись с разных сторон на широкое пустое пространство участка, вбивая колышки по углам и посредине, где надлежало поставить две центральные заявки, потом опрометью бросились к своим нартам, поджидавшим их на замерзшей глади ручья. Все смешалось – движения, звуки; все слилось в единый хаос. Нарты сталкивались; оцетинившись, оскалив клыки, упряжка с визгом налетала на упряжку. Образовавшаяся свалка создала затор в узком месте ручья. Удары бичей сыпались на спины животных и людей без разбора. И в довершение неразберихи вокруг каждого гонщика суетилась кучка приятелей, старавшихся выволить их из свалки. Но вот, силой проложив себе путь, одни нарты за другими стали вырываться на простор и исчезать во мраке между угрюмо нависших берегов.

Джек Харрингтон предвидел заранее, что давки не миновать, и ждал у своих нарт, пока не уляжется суматоха. Луи Савой, зная, что его соперник даст ему сто очков вперед по части езды на собаках, ждал тоже, решив следовать его примеру. Крики уже затихли вдали, когда они пустились в путь, и, пройдя миль десять вниз до Бонанзы, нагнали остальные упряжки, которые шли гуськом, но не растягиваясь. Возгласов почти не было слышно, так как на этом участке пути нечего было и думать вырваться вперед: ширина нарт – от полоза до полоза – равнялась шестнадцати дюймам, а ширина проторенной дороги – восемнадцати. Этот санный путь, укатанный вглубь на добрый фут, был подобен желобу. По обеим сторонам его расстилался пушистый, сверкающий снежный покров. Стоило кому-нибудь, пытаясь обогнать другие нарты, сойти с пути, и его собаки неминуемо провалились бы по брюхо в рыхлый снег и поплелись бы со скоростью улитки. И люди замерли в своих подсакивавших на выбоинах нартах и выжидали. На протяжении пятнадцати миль вниз по Бонанзе и Клондайку до Доусона, где они вышли к Юкону, никаких изменений не произошло. Здесь их уже ждали сменные упряжки. Но Харрингтон и Савой расположили свои подставы двумя милями дальше, решив, если потребуется, загнать первую упряжку насмерть. Воспользовавшись сутолокой, воцарившейся при смене упряжек, они оставили позади добрую половину гонщиков. Когда нарты вынесли их на широкую грудь Юкона, впереди шло не более тридцати



упряжек. Здесь можно было помериться силами. Осенью, когда река стала, между двумя мощными пластами льда осталась быстрина шириной в милю. Она совсем недавно оделась льдом, и он был твердым, гладким и скользким, как паркет бального зала. Лишь только полозья нарт коснулись этого сверкающего льда, Харрингтон привстал на колени, придерживаясь одной рукой за нарты, и бич его яростно засвистел над головами собак, а неистовая брань загремела у них в ушах. Упряжки растянулись по ледяной глади, и каждая напрягала силы до предела. Но мало кто на всем Севере умел так высылать собак, как Джек Харрингтон. Его упряжка сразу начала вырываться вперед, но Луи Савой прилагал отчаянные усилия, чтобы не отстать, и его головные собаки бежали, едва не касаясь мордами нарт соперника.

Где-то на середине ледяного пути вторые подставы вынеслись с берега им навстречу. Но Харрингтон не замедлил бега своих собак. Выждав минуту, когда новая упряжка поравнялась с ним, он, гикнув, перескочил на другие нарты, с ходу надав жару собакам. Гонщик подставы кубарем полетел с нарт. Луи Савой и тут во всем последовал примеру своего соперника. Брошенные на произвол судьбы упряжки заметались из стороны в сторону, и на них налетели другие, и на льду поднялась страшная кутерьма. Харрингтон набирал скорость. Луи Савой не отставал. У самого конца ледяного поля их нарты начали обходить головную упряжку. Когда они снова легли на узкий санный путь, проторенный в пушистых снежных сугробах, они уже вели гонку, и Доусон, наблюдавший за ними при свете северного сияния, клялся, что это была чистая работа.

Когда мороз крепчает до шестидесяти градусов, надо или двигаться, или разводить огонь, иначе долго не протянешь. Харрингтон и Савой прибегли теперь к старинному способу – «бегом и на собаках». Соскочив с нарт, они бежали сзади, держась за лямки, пока кровь, сильнее забурлив в жилах, не изгоняла из тела мороз, потом прыгали обратно на нарты и лежали на них, пока опять не промерзали до костей. Так – бегом и на собаках – они покрыли второй и третий перегоны. Снова и снова, вылетев на гладкий лед, Луи Савой принимался нахлестывать собак, и всякий раз его попытки обойти соперника оканчивались неудачей. Растянувшись позади на пять миль, остальные участники состязания силились их нагнать, но безуспешно, ибо одному Луи Савою выпала в этих гонках честь выдержать убийственную скорость, предложенную Джеком Харрингтоном.

Когда они приблизились к подставе на Семьдесят Пятой Миле, Лон Мак-Фэйн пустил своих собак. Их вел Волчий Клык, и как только Харрингтон увидел жоака, ему стало ясно, кому достанется победа. На всем Севере не было такой упряжки, которая могла бы теперь побить его на этом последнем перегоне. А Луи Савой, заметив Волчьего Клыка во главе харрингтоновской упряжки, понял, что проиграл, и послал кому-то сквозь зубы проклятия, какие обычно посылают женщинам. Но все же он решил биться до последнего, и его собаки неотступно бежали в вихре снежной пыли, летящей из-под передних нарт. На Юго-востоке занялась заря; Харрингтон и Савой неслись вперед: Один преисполненный радостного, другой горестного изумления перед поступком Джой Молино.

Вся Сороковая Миля вылезла на рассвете из-под своих меховых одеял и столпилась у края санного пути. Он далеко был виден отсюда – на несколько миль вверх по Юкону, до первой излучины. И путь через реку к финишу у форта Кьюдахи, где ждал охваченный нетерпением приисковый инспектор, тоже был весь как на ладони. Джой Молино устроилась несколько поодаль, но ввиду столь исключительных обстоятельств никто не позволил себе торчать у нее перед глазами и загораживать ей чуть приметно темневшую на снегу полосу тропы. Таким образом, перед нею оставалось свободное пространство. Горели костры, и золотоискатели, собравшись у огня, держали пари, закладывая собак и золотой песок. Шансы Волчьего Клыка стояли необычайно высоко.

– Идут! – раздался с верхушки сосны пронзительный крик мальчишки-индейца.

У излучины Юкона на снегу появилась черная точка, и сейчас же следом за ней – вторая. Точки быстро росли, а за ними начали возникать другие – на некотором расстоянии от первых двух. Мало-помалу все они приняли очертания нарт, собак и людей, плашмя лежавших на нартах.

– Впереди Волчий Клык! – шепнул лейтенант полиции Джой Молино.

Она ответила ему улыбкой, не тая своего интереса.

– Десять против одного за Харрингтона! – воскликнул какой-то король Березового ручья, вытаскивая свой мешочек с золотом.

– Королева... она не очень щедро платит вам? – спросила Джой Молино лейтенанта.

Тот покачал головой.

– Есть у вас зольотой песок? Как много? – не унималась Джой.

Лейтенант развязал свой мешочек. Одним взглядом она оценила его содержимое.

– Пожалуй, тут... да, сотни две тут будет, верно? Хорошо, сейчас я дам вам... как это... подсказка. Принимайте пари. – Она загадочно улыбнулась.

Лейтенант колебался. Он взглянул на реку. Оба передних гонщика, стоя на коленях, яростно нахлестывали собак, Харрингтон шел первым.

– Десять против одного за Харрингтона! – орал король Березового ручья, размахивая своим мешочком перед носом лейтенанта.

– Принимайте пари! – подзадорила лейтенанта Джой.

Он повиновался, пожав плечами в знак того, что уступает не голосу рассудка, а ее чарам. Джой ободряюще кивнула.

Шум стих. Ставки прекратились.

Накреняясь, подскакивая, ныряя, словно утлые парусники в бурю, нарты бешено мчались к ним. Луи Савой все еще не отставал от Харрингтона, но лицо его было мрачно: надежда покинула его. Харрингтон не смотрел ни вправо, ни влево. Рот его был плотно сжат. Его собаки бежали ровно, ни на секунду не сбиваясь с ритма, ни на йоту не отклоняясь от пути, а Волчий Клык был поистине великолепен. Низко опустив голову, ничего не видя вокруг и глухо подвывая, вел он своих товарищей вперед.

Сороковая Миля затаила дыхание. Слышен был только хрип собак да свист бичей.

Внезапно звонкий голос Джой Молино нарушил тишину:

– Эй-эй! Вольчий Клык! Вольчий Клык!

Волчий Клык услышал. Он резко свернул в сторону – прямо к своей хозяйке. Вся упряжка ринулась за ним, нарты накренились и, став на один полоз, выбросили Харрингтона в снег. Луи Савой вихрем пролетел мимо. Харрингтон поднялся на ноги и увидел, что его соперник мчится через реку к приисковой конторе. В эту минуту он невольно услышал разговор у себя за спиной.

– Он? Да, он очень хорошо шел, – говорила Джой Молино лейтенанту. – Он... как это говорится... задал темп. О да, он отлично задал темп.

## ДЬЯВОЛЫ НА ФУАТИНО

1

Из многочисленных своих яхт, шхун и кечей, сновавших между коралловыми островами Океании, Гриф больше всего любил «Стрелу»; это была шхуна в девяносто тонн, очень похожая на яхту и, как ветер, быстрая и неуловимая. Слава о ней гремела еще в ту пору, когда она перевозила контрабандный опиум из Сан-Диего в залив Пюджет или совершала внезапные набеги на лежбища котиков в Беринговом море и тайно доставляла оружие на Дальний Восток. Таможенные чиновники ненавидели ее от всей души и осыпали проклятиями, но в сердцах моряков она неизменно вызывала восторг и была гордостью создавших ее кораблестроителей. Даже теперь, после сорока лет службы, она оставалась все той же старой славной «Стрелой»; нос ее по-прежнему с такой быстротой резал волны, что те моряки, которые ее никогда не видали, отказывались этому верить, и много споров, а порой и драк возникало из-за нее во всех портах от Вальпараисо до Манилы.

В тот вечер она шла в бейдевинд: грот ее почти обвис, передние шкаторины всякий раз, когда шхуна поднималась на гладкую волну, вяло колыхались; дул слабый, едва заметный бриз, и все же «Стрела» легко делала четыре узла. Уже больше часа Гриф стоял на баке у подветренного борта, облокотясь на планширь, и смотрел на ровный светящийся след, оставляемый шхуной. Слабый ветерок от передних парусов обдавал его щеки и грудь бодрящей прохладой. Он наслаждался неоценимыми качествами своей шхуны.

– Какая красавица, а, Таути? Чудо, а не шхуна! – сказал он, обращаясь к вахтенному матросу-канаку, и нежно похлопал рукой по тиковому фальшборту.

– Еще бы, хозяин, – ответил канак низким, грудным голосом, столь характерным для полинезийцев. – Тридцать лет плаваю под парусами, а такого не видал. На Райатее мы зовем ее «Фанауао».

– Ясная зорька, – перевел Гриф ласковое имя. – Кто ее так назвал?

Таути хотел уже ответить, но вдруг насторожился и стал пристально всматриваться вдаль. Гриф последовал его примеру.

– Земля, – сказал Таути.

– Да, Фуатино, – согласился Гриф, все еще глядя туда, где на чистом, усыпанном звездами горизонте появилось темное пятно. – Ладно. Я скажу капитану.

«Стрела» продолжала идти тем же курсом, и скоро мутное пятно на горизонте приняло более определенные очертания; послышался рокот волн, сонно бившихся о берег, и блеяние коз; ветер, дувший со стороны острова, принес аромат цветов.

– Ночь-то какая светлая! Можно бы и в бухту войти, кабы тут не такая щель, – с сожалением заметил капитан Гласс, наблюдая за тем, как рулевой готовился намертво закрепить штурвал.

Отходя на милю от берега, «Стрела» легла в дрейф, чтобы дождаться рассвета и только тогда начать опасный вход в бухту Фуатино. Ночь дышала покоем – настоящая тропическая ночь, без малейшего намека на дождь или возможность шквала. На баке где попало завалились спать матросы, уроженцы острова Райатеи; на юте с той же беспечностью приготовились ко сну капитан, помощник и Гриф. Они лежали на одеялах, курили и сонно переговаривались: речь шла о Матааре, королеве острова Фуатино, и о любви ее дочери Наумоо к своему избраннику Мотуаро.

– Да, романтический народ, – сказал Браун, помощник капитана. – Не меньше, чем мы, белые.

– Не меньше, чем Пилзах, – сказал Гриф. – А этим немало сказано. Сколько лет прошло, капитан, как он удрал от вас?

– Одиннадцать, – с обидой в голосе проворчал капитан Гласс.

– Расскажите-ка, – попросил Браун. – Говорят, он с тех пор никуда не уезжал с Фуатино. Это правда?

– Правда! – буркнул капитан. – До сих пор влюблен в свою жену. Негодяйка этакая! Ограбила она меня. А какой был моряк! Лучшего я не встречал. Недаром он голландец.

– Немец, – поправил Гриф.

– Все одно, – последовал ответ. – В тот вечер, когда он сошел на берег и его увидела Нотуту, море лишилось хорошего моряка. Они, видно, сразу понравились друг другу. Никто и оглянуться не успел, как она уже надела ему на голову веночек из каких-то белых цветов, а минут через пять они бежали к берегу, держась за руки и хохоча, как дети. Надеюсь, он взорвал этот коралловый риф в проходе. Каждый раз я тут порчу лист или два медной обшивки...

– А что было дальше? – не унимался Браун.

– Да вот и все. Кончился наш моряк. В тот же вечер женился и уже на судно больше не приходил. На другой день я отправился его искать. Нашел в соломенной хижине в зарослях – настоящий белый дикарь! Босой, весь в цветах и в каких-то украшениях, сидит и играет на гитаре. Вид самый дурацкий. Просил свезти его вещи на берег. Я послал его к черту. Вот и все. Завтра его увидите. У них уже теперь трое малышей – чудесные ребятишки. Я везу ему граммофон и кучу пластинок.

– А потом вы его сделали своим торговым агентом? – обратился помощник к Грифу.

– Что же мне оставалось? Фуатино – остров любви, а Пилзах – влюбленный. И туземцев он знает. Агент из него вышел отличный. На него можно положиться. Завтра вы его увидите.

– Послушайте, молодой человек, – угрожающе забасил капитан Гласс, обращаясь к своему помощнику. – Вы, может быть, тоже романтик? Тогда лучше оставайтесь на борту. Там все в кого-нибудь влюблены. Они живут любовью. Кокосовое молоко, что ли, на них так действует, или уж воздух тут такой, или море какое-то особенное. История острова за последние десять тысяч лет – это сплошные любовные приключения. Кому и знать, как не мне. Я разговаривал со стариками. И если я поймаю вас на берегу рука об руку с какой-нибудь...

Он вдруг умолк. Гриф и Браун невольно обернулись к нему. Капитан смотрел через их головы в направлении борта. Они взглянули туда же и увидели смуглую руку, мокрую и мускулистую. Потом за борт уцепилась и другая, такая же смуглая рука. Показалась встрепанная, кудрявая шевелюра – и наконец лицо с лукавыми черными глазами и морщинками проказливой улыбки

вокруг рта.

– Бог мой! – прошептал Браун. – Да ведь это же фавн, морской фавн!

– Это Человек-козел, – сказал Гласс.

– Это Маурири, – откликнулся Гриф, – мой названный брат. Мы с ним побратались – дали друг другу священную клятву по здешнему обычаю. Теперь я его зову своим именем, а он меня – своим.

Широкие смуглые плечи и могучая грудь поднялись над бортом, и огромный человек легко и бесшумно спрыгнул на палубу. Браун, гораздо более начитанный, чем полагается помощнику капитана, с восхищением смотрел на пришельца. Все, что он вычитал в книгах, заставляло его без колебаний признать фавна в этом госте из морской пучины. Но этот фавн чем-то опечален, решил молодой человек, когда смугло-золотистый бог лесов приблизился к Дэвиду и тот приподнялся ему навстречу с протянутой рукой.

– Дэвид! – приветствовал его Дэвид Гриф.

– Маурири, Большой брат! – отвечал Маурири.

И в дальнейшем, по обычаю побратимов, каждый звал другого своим именем. Они разговаривали на полинезийском наречии острова Фуатино, и Браун мог только гадать, о чем у них идет беседа.

– Издалека же ты приплыл, чтобы сказать «талофа», – проговорил Гриф, глядя, как с усевшегося на палубе Маурири ручьями стекает вода.

– Много дней и ночей я ждал тебя, Большой брат. Я сидел на Большой Скале, там, где спрятан динамит, который я стерегу. Я видел, как вы подошли к проходу, а потом опять ушли в темноту. Я понял, что вы ждете утра, и поплыл к вам. У нас большое горе. Матаара все время плачет и молится, чтобы ты скорее приехал. Она старая женщина, а Мотуаро умер, и она горюет.

Гриф, согласно обычаю, сокрушенно покачал головой и вздохнул.

– Женился он на Наумоо? – спросил он немного погодя.

– Да. Они уже убежали и жили в горах с козами, пока Матаара их не простила. Тогда они вернулись к ней в Большой дом. Но теперь он умер, и Наумоо скоро умрет. Страшное у нас горе, Большой брат. Тори умер, Тати-Тори, и Петоо, и Нари, и Пилзах, и еще много других.

– И Пилзах тоже! – воскликнул Гриф. – Что, была какая-то болезнь?

– Было много убийств. Слушай, Большой брат. Три недели назад пришла незнакомая шхуна. С Большой скалы я видел над морем ее паруса. Шлюпки тащили ее в бухту. Но они не сумели обогнуть риф, и шхуна много раз задевала его. Теперь ее вывели на отмель и там чинят. На борту восемь белых. С ними женщины с какого-то острова далеко к востоку. Женщины говорят на языке, похожем на наш, только не совсем. Но мы их понимаем. Они сказали, что люди со шхуны их похитили. Может, это и правда, но они танцуют и поют и как будто довольны.

– Ну, а мужчины? – прервал его Гриф.

– Говорят они по-французски, это я знаю, ведь раньше на твоей шхуне плавал помощник, который говорил по-французски. Двое из них главные, и они не похожи на других. У них голубые, как у тебя, глаза, и они дьяволы. Один – самый большой дьявол, другой –

поменьше, остальные шестеро – тоже дьяволы. Они не платят нам ни за ямс, ни за таро и плоды хлебного дерева. Так они убили Тори, И Тати-Тори, и Петоо, и других. Мы не можем драться с ними, потому что у нас нет винтовок, только два или три старых ружья.

Они обижают наших женщин. А когда Мотуаро заступился за Наумоо, они его убили и увели Наумоо к себе на шхуну. За это же убили Пилзаха. Главный дьявол выстрелил в него один раз, когда Пилзах греб на своем вельботе, а потом еще два раза, когда он полз вверх по берегу. Пилзах был храбрый человек, и теперь Нотуту сидит в своем доме и плачет. Многие испугались и убежали в горы к козам. Но в горах на всех не хватает еды. А кто остался внизу, те боятся выходить на рыбную ловлю и больше не работают в своих садах, потому что эти дьяволы все отнимают. Мы хотим драться, Большой брат, нам нужны ружья и много патронов. Я послал сказать нашим, что поплыл к тебе, и они теперь ждут. Белые люди со шхуны не знают, что вы здесь. Дай мне лодку и ружья, и я вернусь, пока темно. Когда вы завтра подойдете к берегу, мы будем готовы. Ты дашь знак, и мы нападём на чужих белых и убьем их. Их нужно убить. Большой брат, ты всегда был нам как родной; все у нас молятся многим богам, чтобы ты пришел. И ты пришел.

– Я поеду вместе с тобой, – сказал Гриф.

– Нет, Большой брат, – ответил Маурири, – ты должен остаться на шхуне. Чужие белые будут бояться шхуны, а не нас. Ты дашь нам ружья, но они этого не будут знать. Они испугаются только тогда, когда увидят твою шхуну. Пошли на лодке этого юношу.

И вот Браун, взволнованный предвкушением романтических приключений, о которых он столько читал в книгах и столько мечтал, но которых еще не испытал в жизни, занял свое место на корме вельбота, нагруженного ружьями и патронами; четверо матросов с Райатеи взяли за весла, смугло-золотистый фавн, добравшийся вплавь, сел за руль, и лодка нырнула в теплую тропическую ночь, направляясь к полуполюгендарному острову любви – Фуатино, который оказался во власти пиратов двадцатого века.

2

Если провести линию между Джалуитом (в группе Маршалльских островов) и Бугенвилем (Соломоновы острова) и если двумя градусами южнее экватора эту линию пересечь другой прямой, проведенной от Укуора (Каролинские острова), то здесь, на этом омытом солнцем участке моря, мы найдем гористый остров Фуатино, населенный племенами, родственными гавайцам, таитянам, маори и самоанцам. Он составляет самое острие обращенного на запад клина, вбитого Полинезией между Меланезией и Микронезией. Вот этот-то остров Фуатино и увидел на следующее утро Гриф в двух милях к востоку от шхуны, на одной линии с подымающимся солнцем. Дул все тот же слабый, едва ощутимый бриз, и «Стрела» скользила по гладкому морю со скоростью, какая сделала бы честь любой шхуне даже при ветре в три раза более сильном.

Фуатино был не что иное, как древний вулкан, поднятый со дна моря каким-то доисторическим катаклизмом. Западную сторону кратера размыло морем, и она обвалилась, образовав вход внутрь кратера, который теперь представлял собой бухту. Фуатино, таким образом, походил на неровную подкову, обращенную пяткой на запад. К проходу в подкове и направлялась «Стрела». Капитан Гласс, стоявший на палубе с биноклем в руке то и дело сверявшийся с самодельной картой, которую он разостлал на палубе рубки, вдруг выпрямился, и на его лице появилось выражение не то тревоги, не то покорности.

– Начинается, – сказал он. – Это малярия. Но я не ждал приступа раньше завтрашнего утра.

Она меня всегда здорово треплет, мистер Гриф. Через пять минут я уже ничего не буду соображать. Придется вам самому вводить шхуну в бухту. Бой, готовь койку! Грелку и побольше одеял! Море сейчас так спокойно, мистер Гриф, что вам, я думаю, удастся благополучно проскочить большой риф. Держите по ветру и хорошенько разгоните судно. Только одна «Стрела» во всем Тихом океане способна на такой маневр, и я уверен, что вы его сделаете. Идите вплотную к Большой скале и следите за грота-гиком.

Он говорил быстро, словно пьяный: затуманенное сознание с трудом боролось со все нарастающим приступом малярии. Когда он, шатаясь, направился к каюте, его лицо стало багровым и все пошло пятнами, как при воспалении или гангрене. Глаза вылезли из орбит и остекленели, руки тряслись, зубы стучали от озноба.

– Через два часа начну потеть, – еле выговорил он с мертвенной улыбкой на губах. – Потом еще два часа, и все будет в порядке. Уж я изучил эти проклятые приступы. С первой минуты до последней... Ввв-ы бб...

Речь его превратилась в невнятное бормотание, и, с трудом держась на ногах, он сполз по трапу в свою каюту; Гриф занял его место. «Стрела» только что подошла к проходу. На концах подковы возвышались две скалистые горы высотой около тысячи футов. Они вырастали из моря и соединялись с островом лишь узкими и низкими перешейками. Между горами оставалось пространство в полмили, почти сплошь перегороженное коралловым рифом, отходившим от южного конца подковы. Проход, который капитан Гласс называл щелью, извивался между рифами, загибаясь к северной горе, и тут тянулся у самого подножия отвесного утеса. В этом месте грота-гик, вынесенный за левый борт шхуны, то и дело касался скалы. Гриф, стоявший у противоположного борта, видел, что дно здесь на глубине всего двух сажен и что прямо из-под шхуны оно круто поднимается вверх. Впереди шел вельбот: он тянул за собой шхуну, которую иначе могло бы снести на риф отражавшимся от утеса ветром. Гриф ввел шхуну в проход, воспользовавшись благоприятным бризом, и обогнул большой риф без повреждений. Шхуна, правда, царапнула по рифу, но так легко, что медная обшивка не пострадала.

Перед Грифом открылась бухта Фуатино. Ее водная гладь представляла собой правильный круг около пяти миль в диаметре, вписанный в белые коралловые берега, от которых поднимались одетые зеленью склоны, выше переходившие в мрачные стены кратера. Зубчатые гребни этих стен распадались на острые вулканические пики, вокруг которых шапками стояли принесенные пассатами облака. Каждая впадинка, каждая расщелина в выветрившейся лаве давали приют деревьям и ползучим, взбирающимся вверх лозам – зеленая пена растительности покрывала скалы. Горные потоки, обозначенные лентами тумана, извивались по крутым склонам высотой в несколько сот футов. Теплый и влажный воздух был напоен ароматом желтой кассии.

Лавируя против слабого ветра, «Стрела» вошла в бухту. Гриф приказал поднять вельбот и стал рассматривать берег в бинокль. Нигде не видно было признаков жизни. Все спало под палящими лучами тропического солнца. Никто не вышел встречать «Стрелу». На северном берегу, там, где за кокосовыми пальмами скрывалась деревня, из-под навесов торчали черные носы пирога. На прибрежной отмели, прямая и неподвижная, одиноко стояла незнакомая шхуна. Ни на ее борту, ни вокруг не было заметно движения. Когда до берега осталось не больше пятидесяти ярдов, Гриф приказал отдать якорь. Тут глубина была сорок сажен. А на середине бухты Гриф однажды, много лет назад, вытравил триста сажен троса, но дна так и не достал, чего и следовало ожидать в таком огромном кратере, как вулкан Фуатино.

Цепь, громыхая, полезла из клюза, и Гриф увидел, что на палубе незнакомой шхуны появилось несколько туземок, рослых и пышных, какими бывают только уроженки Полинезии. Видел он и то, чего на шхуне не заметили: из камбуза, озираясь, выбрался человек, спрыгнул

на песок и мгновенно исчез в прибрежных зарослях.

Пока убирали и крепили паруса, растягивая тент и свертывая шкоты и тали, как это полагается на стоянке, Гриф ходил взад и вперед по палубе и оглядывал берег, надеясь хоть где-нибудь обнаружить признаки жизни. Один раз он ясно услышал, как где-то далеко, в направлении Большой скалы, грохнул выстрел. Но больше выстрелов не последовало, и он решил, что это какой-нибудь охотник подстрелил в горах дикого козла.

К концу второго часа капитан Гласс перестал трястись от озноба под горой одеял и начал обливаться потом.

– Еще полчаса – и буду здоров, – проговорил он слабым голосом.

– Отлично, – сказал Гриф. – Здесь что-то никого не видно. Я съезжу на берег, повидаюсь с Матаара и узнаю, что там у них делается.

– Только будьте поосторожнее, – предупредил его капитан. – Публика тут, видно, собралась отчаянная. Если не сможете через час вернуться, дайте мне знать.

Гриф сел за руль, и четверо матросов канаков навалились на весла. Когда вельбот подошел к берегу, Гриф не без любопытства оглядел женщин, расположившихся под тентом шхуны. Он помахал им рукой, и они, прыснув со смеху, сделали то же самое.

– Талофа! – крикнул он.

Они поняли приветствие, но ответили «иорана», и Грифу стало ясно, что они с какого-то из островов Товарищества.

– С Хуахине, – не колеблясь, уточнил один из матросов. И действительно, когда Гриф спросил женщин, откуда они родом, те, снова прыснув со смеху, ответили «Хуахине».

– Очень похожа на шхуну старика Дюпюи, – тихо сказал Гриф на таитянском наречии. – Не смотрите так пристально. Ну, что? Ведь точь-в-точь «Валетта»!

Пока матросы вылезали из вельбота и втаскивали его на берег, они как бы невзначай поглядывали на судно.

– Да, это «Валетта», – сказал Таути. – Восемь лет назад она потеряла стеньгу. В Папеезе ей поставили новую, на десять футов короче. Вон она, я ее узнал.

– Подите-ка, ребята, поболтайте с женщинами. С вашей Райатеи ведь рукой подать до Хуахине, и вы наверняка найдете среди них знакомых. Разнюхайте все, что можно. Но если явятся белые, не затевайте драки.

Целая армия крабов-отшельников, шурша, разбежалась перед ним, когда он стал подниматься по берегу. Но нигде не видно было свиней, которые в прежнее время всегда хрюкали и рылись под пальмами. Кокосовые орехи валялись где попало. Под навесами было пусто: копру не заготавливали. Труд и порядок исчезли. Гриф обошел одну за другой травяные хижины деревни. Все были пусты. Возле одной он наткнулся на слепого беззубого старика с увядшим, морщинистым лицом. Он сидел в тени и, когда Гриф заговорил с ним, с перепугу залепетал что-то невнятное. «Словно от чумы все вымерли», – думал Дэвид, подходя наконец к Большому дому. И здесь царило безмолвие и запустение. Не было юношей и девушек в венках, в тени авокадо не возились коричневые малыши. На пороге, скорчившись и раскачиваясь взад и вперед, сидела старая королева Матаара. Увидев Грифа, она заплакала и стала рассказывать ему о своем горе, в то же время сокрушаясь, что нет при ней никого, кто бы мог оказать гостю должный прием.



– И они забрали Наумоо, – закончила она. – Мотуаро убит. Люди все убежали в горы и голодают там с козами. И некому даже открыть для тебя кокосовый орех. О брат, твои белые братья – дьяволы.

– Они мне не братья, Матаара, – утешал ее Гриф. – Они грабители и подлецы, и я очищу от них остров...

Недоговорив, он быстро обернулся, рука его метнулась к поясу и обратно, и большой кольт наставился на человека, который, пригибаясь к земле, выбежал из-за кустов и бросился к Грифу. Но Гриф не спустил курка, и человек, подбежав, кинулся ему в ноги и разразился потоком каких-то несурзных, жалобных звуков. Гриф узнал в нем того беглеца, который полчасом раньше вылез из камбуза «Валетты» и скрылся в зарослях. Подняв его, он стал внимательно следить за его судорожными гримасами – у этого человека была заячья губа – и только тогда начал различать слова в этом невнятном бормотании.

– Спасите меня, хозяин, спасите! – кричал человек по-английски, хотя он, несомненно, был уроженцем Океании. – Я знаю вас, спасите меня.

Дальше последовали совсем уже дикие бессвязные вопли, которые прекратились лишь после того, как Гриф взял его за плечи и сильно встряхнул.

– Я тоже узнал тебя, – сказал Гриф. – Два года назад ты служил поваром во французском отеле в Папеэте. Все звали тебя Заячьей Губой.

Человек неистово закивал.

– Теперь я кок на «Валетте». – Губы его дергались, он брызгал слюной и плевался, делая отчаянные усилия говорить внятно. – Я знаю вас. Я видел вас в отеле. И в ресторане «Лавиния». И на «Киттиуэйк». И на пристани, где стояла ваша «Марипоза». Вы капитан Гриф. Вы спасете меня. Эти люди – дьяволы. Они убили капитана Дюпюи. Меня они заставили отравить половину команды. Двоих они застрелили на мачте. Остальных перебили в воде. Я все про них знаю. Они похитили девушек из Хуахине. И взяли на борт беглых каторжников из Нумеа. Они грабили торговцев на Новых Гебридах. Они убили купца в Ваникори и украли там двух женщин. Они...

Но Гриф уже не слышал его. Из-за деревьев, со стороны залива, донеслась сухая дробь выстрелов, и он бросился к берегу. Пираты с Таити в компании с преступниками из Новой Каледонии! Шайка отъявленных головорезов! А теперь они напали на его шхуну! Заячья Губа бежал за ним по пятам, и, не переставая брызгать слюной и плеваться, старался закончить свой рассказ о преступлениях белых дьяволов.

Ружейная пальба прекратилась так же внезапно, как и началась, но Гриф, мучимый предчувствиями, все бежал и бежал, пока на повороте не столкнулся с Маурири, мчавшимся навстречу ему с берега.

– Большой брат, – воскликнул, тяжело дыша, Человек-козел. – Я опоздал. Они захватили твою шхуну. Бежим! Они теперь будут искать тебя.

Он бросился в гору, прочь от берега.

– Где Браун? – спросил Гриф.

– На Большой скале. После расскажу. Бежим!

– А матросы с вельбота?

Маурири пришел в отчаяние от такой медлительности.

– Они на чужой шхуне с женщинами. Их не убьют. Я тебе верно говорю. Дьяволам нужны матросы. А тебя они убьют. Слушай! – Внизу у воды надтреснутый тенор выводил французскую охотничью песню. – Они уже высаживаются на берег. Я видел, как они захватили твою шхуну. Бежим!

3

Гриф никогда не дрожал за свою жизнь, однако он был далек и от ложного геройства. Он знал, когда нужно драться, а когда – бежать, и нисколько не сомневался в том, что сейчас самым правильным будет бегство. Вверх по дорожке, мимо старика, сидевшего в тени пальм, мимо Матаары, скорчившейся на пороге своего дома, промчался он следом за Маурири. По его пятам, как верный пес, бежал, задыхаясь, Заячья Губа. Сзади слышались крики преследователей, однако скорость, взятая Человеком-козлом, оказалась им не под силу. Широкая тропа сузилась, завернула вправо и пошла круто в гору. Последняя травяная хижина была позади. Они проскочили сквозь густые заросли кассии, вспугнув рой огромных золотистых ос. Дорожка становилась все круче и круче и наконец превратилась в козью тропу. Маурири показал на открытый выступ скалы, по которому вилась чуть заметная тропинка.

– Только бы там пройти, Большой брат, а дальше мы уже будем в безопасности. Белые дьяволы туда не сунутся. Наверху много камней, и если кто пробует влезть, мы скатываем их ему на голову. А никакого другого пути нет. Они всегда останавливаются здесь и стреляют, когда мы пробираемся по скале. Бежим!

Через четверть часа они достигли того места, откуда начинался подъем по совершенно открытому склону.

– Погодите немного, а когда пойдете, так уж не зевайте, – предупредил их Маурири. Он выпрыгнул на яркий солнечный свет, и сразу же внизу хлопнуло несколько ружейных выстрелов. Пули защелкали вокруг, выбивая из скалы облачка пыли, но Маурири проскочил благополучно. За ним последовал Гриф. Одна пуля пролетела так близко, что Дэвид почувствовал, как его ударило в щеку осколком камня. Не пострадал и Заячья Губа, хотя он пробирался медленнее всех.

Остаток дня они провели выше в горах, в лощине, где на толще вулканического туфа террасами росли таро и папайя. Здесь Гриф обдумал план действий и выслушал подробный рассказ Маурири о том, что произошло.

– Нам не повезло, – сказал Маурири. – Надо же, чтобы именно в эту ночь белые дьяволы отправились на рыбную ловлю. Мы входили в бухту в темноте. Дьяволы были на шляпках и пирогах. Они шагу не делают без ружья. Одного матроса они застрелили. Браун вел себя очень храбро. Мы хотели проскочить в глубь залива, но они опередили нас и загнали к берегу между Большой скалой и деревней. Ружья и патроны мы спасли, а вот лодка досталась им. По ней-то они и узнали о твоём прибытии. Браун теперь на этой стороне Большой скалы, с ружьями и патронами.

– Почему же он не перебрался через Большую скалу и не предупредил меня, когда мы подошли к берегу?

– Он не знает дороги. Одни только козы да я знаем, как пройти. Я не подумал об этом и пополз сквозь кусты вниз, чтобы плыть к тебе. А белые дьяволы засели в кустах и обстреливали оттуда Брауна и матросов. За мной они тоже охотились до самого рассвета и

даже утром вон там в низине. Потом подошла твоя шхуна, и они стали ждать, чтобы ты сошел на берег. Я наконец выбрался из кустов, но ты был уже на берегу.

– Так это ты стрелял?

– Да, я хотел предупредить тебя, но они поняли и не стали отвечать, а у меня больше не было патронов.

– Рассказывай теперь ты, Заячья Губа, – обратился Гриф к коку с «Валетты».

Кок рассказывал мучительно долго, с бесконечными подробностями. С год он плавал на «Валетте» между Таити и Паумоту. Старый Дюпюи, хозяин шхуны, был также ее капитаном. В свое последнее плавание он нанял на Таити двух незнакомых моряков, одного – помощником, другого – вторым помощником. Кроме них, на шхуне был еще один новый человек – его Дюпюи вез на Фанрики в качестве своего торгового агента. Помощника звали Рауль Ван-Асвельд, второго помощника – Карл Лепсиус.

– Они братья, я знаю, я слышал, как они разговаривали ночью на палубе, когда думали, что все спят, – пояснил Заячья Губа.

«Валетта» крейсировала между островами Лоу, забирая с факторий Дюпюи перламутр и жемчуг. Новый агент, Франс Амундсон, остался на острове Фанрики вместо Пьера Голяра, а Пьер Голяр сел на шхуну, намереваясь вернуться на Таити. Туземцы с Фанрики говорили, что при нем была кварта жемчуга, которую он должен был сдать Дюпюи. В первую же ночь после отплытия в каюте послышались выстрелы, а утром из каюты вытащили два мертвых тела – это были Дюпюи и Голяр – и выбросили их за борт. Матросы-таитяне забились в кубрик и двое суток сидели там без еды, а «Валетта» лежала в дрейфе. Тогда Рауль Ван-Асвельд велел Заячьей Губе приготовить пищу, высыпал в нее яду и заставил кока отнести котел вниз. Половина матросов умерла.

– Он наставил на меня ружье, что мне было делать? – со слезами говорил Заячья Губа. – Из тех, кто остался в живых – их было десять человек, – двое вскарабкались на ванты, там их и застрелили. Остальные попрыгали за борт, думали добраться до берега вплавь. Их всех перестреляли в воде. На шхуне остались только я и двое дьяволов. Меня они не убили, им нужен был кок, чтобы готовить пищу. В тот же день подул бриз, они вернулись на Фанрики и захватили Франса Амундсона, он тоже из их шайки.

Затем Заячья Губа рассказал о всех ужасах, которые пережил, пока шхуна долгими переходами подвигалась к западу. Он был единственным живым свидетелем совершенных преступлений и понимал, что, не будь он коком, его бы давно убили. В Нумеа к ним присоединились пятеро каторжников. Ни на одном из островов Заячьей Губе не разрешали сходить на берег, и Гриф был первым посторонним человеком, с которым ему удалось поговорить.

– Теперь они меня убьют, – говорил, брызгая слюной, Заячья Губа. – Они знают, что я вам все рассказал. Но я не трус. Я останусь с вами, капитан, и умру с вами.

Человек-козел покачал головой и встал.

– Лежи тут и отдыхай, – сказал он Грифу. – Ночью нам придется долго плыть. А кока я отведу повыше, туда, где живут мои братья вместе с козами.

– Хорошо, что ты умеешь плавать, как настоящий мужчина, – прошептал Маурири.

Из туфовой ложины они спустились к берегу и вошли в воду. Плыли тихо, без плеска. Маурири показывал дорогу. Черные стены кратера уходили ввысь, и пловцам казалось, что они находятся на дне огромной чаши. Над головой тускло светилось небо, усыпанное звездной пылью. Впереди мерцал огонек, указывая, где стоит на якоре «Стрела». С палубы, ослабленные расстоянием, доносились звуки гимна. Это завели граммофон, предназначавшийся для Пилзаха.

Пловцы повернули влево, подальше от захваченной шхуны. Вслед за гимном послышался смех и пение, потом опять звуки граммофона. «Веди меня, о благодатный свет», – понеслось над темной водой, и Гриф невольно усмехнулся – так кстати пришлись эти слова.

– Мы должны доплыть до прохода и вылезть на Большой скале, – прошептал Маурири. – Дьяволы засели в низине. Слышишь?

Одиночные выстрелы, следовавшие через неровные промежутки времени, говорили о том, что Браун еще держится на скале и что пираты угрожают ему со стороны перешейка.

Через час они уже плыли вдоль Большой скалы, которая нависала над ними темной громадой. Ощупью отыскивая путь, Маурири привел Грифа в тесную расщелину, и они стали карабкаться вверх, пока не достигли узкого карниза на высоте ста футов над водой.

– Оставайся здесь, – сказал Маурири. – А я пойду к Брауну. Вернусь утром.

– Я пойду с тобой, брат, – сказал Гриф.

Маурири усмехнулся в темноте.

– Даже тебе, Большой брат, не удастся это сделать. Меня зовут Человек-козел, и только один я на всем Фуатино могу ночью перебраться через Большую скалу. Но и я делаю это в первый раз. Дай руку. Чувствуешь? Вот здесь хранится динамит Пилзаха. Ложись поближе к скале и можешь спокойно спать – не упадешь. Я уйду.

Прислушиваясь к шуму прибоя, грохотавшего далеко внизу, Гриф сидел на узком карнизе, рядом с тонной динамита, и обдумывал план дальнейших действий. Затем, подложив руку под голову, он прижался к скале и заснул.

Утром, когда Маурири повел его через перевал, Гриф понял, почему этот проход был бы невозможен для него ночью. Как моряк, он отлично умел взбираться на мачты и не боялся высоты, и все же впоследствии ему казалось чудом, что он вообще ухитрился пройти даже при ярком свете дня. Были места, где ему приходилось, следуя точным наставлениям Маурири, наклоняться над щелью футов в сто глубиной и, падая вперед на руки, цепляясь за какой-нибудь выступ на противоположной стороне, а затем уже осторожно подтягивать ноги. Один раз пришлось сделать прыжок через зияющую пропасть шириной в десять футов и глубиной футов в пятьсот с таким расчетом, чтобы стать ногами на крохотный выступ на другой стороне, футов на двадцать ниже. В другом месте, когда он шел по узкому, всего в несколько дюймов, карнизу и вдруг увидел, что ему не на что опереться руками, он, несмотря на все свое хладнокровие, растерялся. И Маурири, заметив, что он пошатнулся, быстро обошел его с краю, балансируя над самой пропастью, и на ходу больно ударил по спине, чтобы привести в чувство. Вот тогда-то Гриф понял раз и навсегда, почему Маурири прозвали Человеком-козлом.

Позиция на Большой скале давала обороняющимся ряд преимуществ, хотя и имела свои слабые стороны. Она была неприступна, – двое могли бы удержаться здесь против целой армии. Кроме того, она контролировала выход в открытое море; обе шхуны, вместе с Раулем Ван-Асвельдом и его головорезами, оказались запертыми в бухте. Гриф, который перенес сюда свою хранившуюся ниже тонну динамита, был хозяином положения. Это он неопровержимо доказал в то утро, когда шхуны попытались выйти в море. Впереди шла «Валетта», которую вел на буксире вельбот; гребцами на нем были захваченные в плен фуатинцы. Гриф и Маурири следили за ней из своего укрытия за скалой с высоты в триста футов. Рядом лежали ружья, а так же тлеющая головешка и большая связка динамита со вставленными шнурами и детонаторами. Когда вельбот проходил под самым утесом, Маурири покачал головой:

– Они наши братья, мы не можем стрелять!

На носу «Валетты» было несколько матросов со «Стрелы», все уроженцы Райатеи. Еще один их соплеменник стоял на корме у штурвала. Пираты, должно быть, прятались в каюте или были на «Стреле». Лишь один с винтовкой в руках расположился посреди палубы. Он прижал к себе Наумоо, дочь старой королевы Матаары, прикрываясь ею, как щитом.

– Это главный дьявол, – прошептал Маурири. – Глаза у него голубые, как у тебя. Он страшный человек. Посмотри, он прячется за Наумоо, чтобы мы его не убили.

Слабый ветерок и начинающийся прилив загоняли воду внутрь залива, и шхуна подвигалась медленно.

– Вы понимаете по-английски? – крикнул Гриф.

Человек вздрогнул, поднял ружье и взглянул вверх. Все движения у него были быстрыми и гибкими, как у кошки. Лицо, покрытое красноватым загаром, характерным для блондинов, выражало свирепый задор. Это было лицо убийцы.

– Да, – ответил он. – Чего вы хотите?

– Поворачивайте обратно или я взорву вашу шхуну, – предупредил его Гриф. Он раздул головешку и прошептал: – Скажи, чтобы Наумоо вырвалась и бежала на корму.

Со «Стрелы», шедшей следом за «Валеттой», прогремели выстрелы, и пули защелкали по скале. Ван-Асвельд вызывающе захохотал, а Маурири тем временем обратился на туземном наречии к Наумоо. Когда шхуна очутилась под самой скалой, девушка вырвалась из рук бандита. Гриф, ждавший этого момента, поднес головешку к спичке, вставленной в расщепленный конец шнура, вскочил из-за укрытия и бросил динамит. Ван-Асвельду удалось опять схватить Наумоо, и теперь они боролись. Человек-козел прицелился в него, но ждал, опасаясь задеть Наумоо. Динамит плотным свертком стукнулся о палубу, подскочил и скатился в шпигат левого борта. Ван-Асвельд заметил это и в нерешительности остановился, а затем и он и Наумоо бросились на корму. Человек-козел выстрелил, но лишь расщепил угол камбуза.

Огонь со «Стрелы» усилился, и двое на скале вынуждены были притаиться за укрытием. Маурири хотел было высунуться и посмотреть, что делается внизу, но Гриф удержал его.

– Чересчур длинный шнур, – сказал он. – В следующий раз будем знать.

Взрыв грохнул только через полминуты. Того, что за этим последовало, они не видели, ибо на «Стреле» определили наконец дистанцию и оттуда вели непрерывный огонь. Гриф отважился

было выглянуть, но тотчас две пули просвистели у него над головой. Он успел, однако, увидеть, что «Валетта» с проломленным правым бортом и сорванным планширем, кренясь, уходит под воду. Течением ее относило обратно в бухту. Прятавшиеся в каюте пираты и женщины подплыли под прикрытием огня к «Стреле» и теперь карабкались на борт. Гребцы фуатинцы отдали буксир, повернули обратно в бухту и гребли изо всех сил к южному берегу.

Со стороны перешейка хлопнуло четыре выстрела – это Браун со своими людьми пробрался сквозь чащу и вступил в бой. Огонь со «Стрелы» ослабел, и Гриф с Маурири поддержали Брауна, но их выстрелы не могли нанести противнику большого вреда, ибо пираты, отстреливаясь, укрывались за палубными надстройками. К тому же ветром и течением «Стрелу» относило все дальше в глубь бухты. От «Валетты» не оставалось уже и следа. Она исчезла в бездонных водах кратера.

Два маневра Ван-Асвельда, свидетельствовавшие о его хладнокровии и находчивости, вызвали невольное восхищение Грифа. Ружейный огонь, который вели пираты со «Стрелы», вынудил убежавших фуатинцев повернуть обратно и сдаться. Одновременно Ван-Асвельд отрядил половину своих бандитов на берег, с тем чтобы они отрезали Брауна от основной части острова. Все утро с перешейка доносилась пальба, то замолкая, то вспыхивая вновь, и по ней Гриф мог следить, как Брауна теснили к Большой скале. Таким образом, за исключением гибели «Валетты», все оставалось по-прежнему.

6

Но позиция на Большой скале имела и существенные неудобства. Там не было ни воды, ни пищи. По ночам Маурири, в сопровождении одного из матросов, уплывал на другой берег за припасами. Но пришла ночь, когда огни осветили гладь залива и загремели выстрелы. Так были отрезаны и водные подступы к скале.

– Интересное положение, – заметил Браун, некогда мечтавший о приключениях и теперь имевший возможность полностью ими насладиться. – Мы их держим в руках, но они нас тоже. Рауль не может удрать, но зато мы можем умереть с голоду, пока его сторожим.

– Хоть бы дождь пошел, тогда наполнились бы все, какие тут есть впадины, – сказал Маурири. Уже сутки они сидели без воды. – Большой брат, сегодня ночью мы с тобой достанем воду. Это могут сделать только сильные люди.

В ту ночь, захватив с собой несколько калабашей с тщательно пригнанными пробками, каждый вместимостью в кварту, Гриф и Маурири опустились к морю по склону скалы, обращенному к перешейку. Они отплыли от берега футов на сто. Где-то недалеко время от времени позвякивали уключины или глухо ударялось весло о борт пироги. Иногда вспыхивала спичка – это кто-нибудь из караульных закуривал сигарету или трубку.

– Подожди здесь, – прошептал Маурири. – Держи калабаши.

Он нырнул. Гриф, опустив лицо в воду, видел его фосфоресцирующий след, уходивший в глубину. Потом след потускнел и пропал совсем. Прошла долгая минута, прежде чем Маурири бесшумно вынырнул на поверхность рядом с Грифом.

– На, пей!

Калабаш был полон, и Гриф с жадностью стал пить свежую пресную воду, добытую из морской пучины.

– Там бьют ключи, – сказал Маурири.

– На дне?

– Нет, из берега. До дна оттуда так же далеко, как до вершины горы. Это на глубине пятидесяти футов. Опускайся, пока не почувствуешь холода.

Несколько раз вдохнув всей грудью и выдохнув воздух, как обычно делают пловцы перед тем как нырнуть, Гриф ушел под воду. Она была соленая на вкус и теплая. Потом, уже на порядочной глубине, она заметно охладилась и стала менее соленой. Внезапно Гриф почувствовал, что попал в холодную струю. Он вынул пробку, и пресная вода, булькая, стала вливаться в калабаш. Мимо, словно морской призрак, проплыла огромная рыба, оставляя за собой светящийся след.

В дальнейшем Гриф, оставаясь на поверхности, держал постепенно тяжелеющие калабаши, а Маурири нырял и наполнял их один за другим.

– Здесь есть акулы, – сказал Гриф, когда они поплыли обратно к берегу.

– Не страшно, – последовал ответ. – Эти акулы едят только рыбу. Мы, фуатинцы, братья таким акулам.

– А тигровые акулы? Я как-то видел их здесь.

– Если они сюда приплывут, мы останемся без воды, разве только пойдет дождь.

7

Через неделю Маурири и один из матросов, отправившись за пресной водой, вернулись с пустыми калабашами. В залив проникли тигровые акулы. На следующий день на Большой скале все мучились от жажды.

– Надо рискнуть, – сказал Гриф. – Сегодня ночью за водой поплыву я с Маутау. А завтра ты с Техаа.

Гриф успел наполнить всего лишь три калабаша, как вдруг появились акулы и загнали пловцов на берег. На скале было шестеро человек, на каждого, стало быть, пришлось по одной пинте воды на весь день, а этого под тропическим солнцем недостаточно для человеческого организма. На следующую ночь Маурири и Техаа вернулись вовсе без воды. И в тот день, который последовал за этой ночью, Браун узнал, что такое настоящая жажда – когда потрескавшиеся губы кровоточат, небо и десны облеплены густой слизью и распухший язык не умещается во рту.

Стемнело, и Гриф отправился за водой вместе с Маутау. Они по очереди ныряли вглубь, где бил холодный ключ, и, пока наполнялись калабаши, с жадностью глотали пресную воду. С последним калабашем нырнул Маутау. Гриф сверху видел, как промелькнули тускло светящиеся тела чудовищ, и по фосфорическим следам различил все перипетии подводной драмы. Обрато он поплыл один, но не выпустил из рук драгоценный груз – наполненные калабаши.

Осажденные голодали. На скале ничего не росло. Внизу, где об утесы с грохотом разбивался прибой, можно было найти сколько угодно съедобных ракушек, но склон был слишком крут и недоступен. Кое-где по расщелинам удавалось иной раз спуститься к воде и набрать немного

тухлых моллюсков и морских ежей. Бывало, что в западню попадался фрегат или какая-нибудь другая морская птица. Один раз на наживку из мяса фрегата им посчастливилось поймать акулу. Они сэкономили ее мясо для приманки и еще раз или два ловили на него акул.

Но с водой положение по-прежнему было отчаянное. Маурири молил козьего бога послать им дождь, Таути просил о том же бога миссионеров, а двое его земляков с Райатеи, отступив от своей новой веры, взывали к божествам былых языческих дней. Гриф усмехался и о чем-то размышлял, а Браун, у которого язык почернел и вылезал изо рта и взгляд стал совсем диким, проклинал все на свете. Особенно он свирепел по вечерам, когда в прохладных сумерках с палубы «Стрелы» доносились звуки священных гимнов. Один гимн – «Где нет ни слез, ни смеха» – каждый раз приводил его в бешенство. Эта пластинка, видимо, нравилась на шхуне: ее заводили чаще других. Браун, невыносимо страдавший от голода и жажды, временами от слабости почти терял сознание. Он мог лежать на скале и спокойно слушать бренчание гитары или укулеле и пение хуахинских женщин; но лишь только над водой раздавались голоса хора, он выходил из себя. Однажды вечером надтреснутый тенор стал подпевать пластинке:

Где нет ни слез, ни смеха,

Там скоро буду я.

Где нет ни зимы, ни лета,

Где все одето светом,

Там буду я,

Там буду я.

Браун поднялся. Схватил винтовку, не целясь, вслепую, он выпустил всю обойму по направлению шхуны. Снизу донесся смех мужчин и женщин, а с перешейка прогремели ответные выстрелы. Но надтреснутый тенор продолжал петь, и Браун все стрелял и стрелял до тех пор, пока гимн не кончился.

В эту ночь Гриф и Маурири вернулись всего с одним калабашем воды. На плече у Грифа не хватало двух дюймов кожи – эту памятку оставила ему акула, задевшая его своим жестким, как наждак, боком в ту минуту, когда он увернулся от нее.

8

Однажды ранним утром, когда солнце не начало еще палить по-настоящему, от Ван-Асвельда пришло предложение начать переговоры. Браун принес эту весть со сторожевого поста, устроенного в скалах ста ярдами ниже. Сидя на корточках перед маленьким костром, Гриф поджаривал кусок акульего мяса. За последние сутки им повезло. Они набрали водорослей и морских ежей, Техаа выловил акулу, а Маурири, спустившись вниз по расщелине, где хранился динамит, поймал довольно крупного спрута. К тому же они успели ночью дважды сплавить за водой до того, как их выследили тигровые акулы.



– Говорит, что хотел бы прийти и побеседовать с вами, – сообщил Браун. – Но я знаю, чего этому скоту нужно. Хочет посмотреть, скоро ли мы тут подохнем с голоду.

– Ведите его сюда, – сказал Гриф.

– И мы его уьем, – радостно воскликнул Человек-козел.

Гриф отрицательно покачал головой.

– Но ведь он убийца, Большой брат. Он зверь и дьявол! – возмутился Маурири.

– Нельзя его убивать. Мы не можем нарушить свое слово. Такое у нас правило.

– Глупое правило!

– Все равно, это наше правило, – твердо сказал Гриф, переворачивая на углях кусок мяса, и, заметив, какими голодными глазами смотрит на это мясо Техаа и с какой жадностью он вдыхает запах жареного, добавил: – Не показывай вида, что ты голоден, Техаа, когда Большой дьявол будет здесь. Веди себя так, как будто ты никогда и не слышал, что такое голод. Изжарь-ка вот этих морских ежей. А ты, брат, приготовь спрута. Главный дьявол будет с нами завтракать. Ничего не оставляйте, жарьте все.

Когда Ван-Асвельд в сопровождении большого ирландского терьера подошел к лагерю, Гриф, все еще сидевший перед костром, поднялся ему навстречу. Рауль благоразумно не сделал попытки обменяться с ним рукопожатием.

– Здравствуйте, – сказал он. – Я много о вас слышал.

– А я предпочел бы ничего о вас не слышать, – ответил Гриф.

– То же самое и я, – отпарировал Рауль. – Сначала я не знал, что это вы, и думал, так, обыкновенный капитан торговой шхуны. Вот почему вам удалось запереть меня в бухте.

– Должен, к стыду своему, признаться, что и я вас вначале недооценил, – усмехнулся Гриф. – Думал, так, мелкий жулик, и не догадался, что имею дело с прожженным пиратом и убийцей. Вот почему я потерял шхуну. Так что мы, в общем, квиты.

Даже сквозь загар, покрывавший лицо Рауля, видно было, что он весь побагровел, однако он сдержался. Взгляд его недоуменно остановился на съестных припасах и на калабашах с водой, но он ничем не выдал своего удивления. Он был высок ростом, строен и хорошо сложен. Гриф вглядывался в него, стараясь разгадать, что за человек стоит перед ним. Светлые глаза Рауля смотрели властно и пронизательно, но они были посажены чересчур близко, – не настолько, чтобы вызывать впечатление уродства, а просто чуточку ближе, чем того требовал весь склад его лица: широкий лоб, крепкий подбородок, тяжелые челюсти и выдающиеся скулы. Сила! Да, его лицо выражало силу, и все же Гриф смутно угадывал, что в этом человеке чего-то недостает.

– Мы оба сильные люди, – сказал Рауль с легким поклоном. – Сто лет назад мы могли бы спорить за обладание целыми империями.

Гриф, в свою очередь, поклонился.

– А сейчас мы, увы, ссоримся из-за нарушения закона в колониях тех самых империй, судьбы которых мы могли бы вершить сто лет назад.

– Да, все тлен и суета, – философски изрек Рауль, садясь у костра. – Продолжайте, пожалуйста, свой завтрак. Не обращайтесь на меня внимания.

– Не хотите ли к нам присоединиться? – пригласил его Гриф.

Рауль внимательно посмотрел на него и принял приглашение.

– Я весь в поту, – сказал он – Можно умыться?

Гриф утвердительно кивнул и приказал Маурири подать калабаш. Драгоценная влага вылилась на землю. Рауль пылливо заглянул в глаза Маурири, но лицо Человека-козла не выражало ничего, кроме полного безразличия.

– Моя собака хочет пить, – сказал Рауль.

Гриф опять кивнул, и еще один калабаш подали собаке. Снова Рауль пристально вглядывался в лица туземцев и снова ничего не увидел.

– К сожалению, у нас нет кофе, – извинился Гриф. – Придется вам удовольствоваться простой водой. Еще калабаш, Техаа! Попробуйте акульемяса. А на второе у нас спрут и морские ежи с салатом из водорослей. Жалко, что нет фрегатов. Ребята вчера поленились и не ходили на охоту.

Гриф был так голоден, что, кажется, проглотил бы и политые салом гвозди, однако он ел с видимой неохотой и бросал куски собаке.

– Никак не привыкну к этому варварскому меню, – вздохнул он, окончив завтрак. – Вот консервов, которые остались на «Стреле», я бы поел с удовольствием, а эта дрянь... – Он взял большой поджаренный кусок акульемяса и швырнул его собаке. – Но, видно, придется привыкать, раз вы еще не намерены сдаться.

Рауль неприязненно рассмеялся.

– Я пришел предложить условия, – колко сказал он.

Гриф покачал головой.

– Никаких условий. Я держу вас за горло и отпускать не собираюсь.

– Вы что же, воображаете, что навек заперли меня в этой мышеловке? – воскликнул Рауль.

– Да уж живым вы отсюда не выйдете, разве что в кандалах. – Гриф задумчиво оглядел своего гостя. – Я ведь не первый раз имею дело с такими, как вы. Только я думал, что мы давно уже очистили Океанию от подобной публики. Вы представляете собой, так сказать, живой анахронизм, и от вас надо как можно скорее избавиться. Я лично советовал бы вам вернуться на шхуну и пустить себе пулю в лоб. Это для вас единственный шанс избежать тех неприятностей, которые вам предстоят в будущем.

Таким образом, переговоры, по крайней мере для Рауля, окончились ничем, и он отправился восвояси, вполне убежденный, что люди на скале могут продержаться еще целый год. Он быстро переменял бы мнение, если бы видел, как, едва он исчез за склоном, матросы и Техаа бросились подбирать оставшиеся после собаки объедки, как они ползая по скале, выискивали каждую крошку мяса, обсасывали каждую косточку.

голода. Очень хорошо, что Большой дьявол поел с нами и вволю напился воды – зато, ручаюсь, теперь он не станет здесь задерживаться. Он, может быть, уже завтра попытается уйти. Этой ночью, Маурири, мы с тобой будем спать на том склоне Большой скалы. А если Техаа сможет добраться туда, то и его возьмем, – он метко стреляет.

Среди матросов-канаков один Техаа умел лазить по утесам и способен был преодолеть опасный путь. На рассвете следующего дня он уже лежал в защищенной скалами нише, ярдов на сто правее того места, где укрепились Гриф и Маурири.

Первым предупреждением были выстрелы на перешейке; они означали, что бандиты отходят через чащу к заливу и что Браун с двумя матросами их преследует. Но прошел еще час, прежде чем Гриф из своего орлиного гнезда на утесе увидел «Стрелу», направлявшуюся к проходу. Как и в первый раз, она шла за вельботом, и гребли на нем пленные фуатинцы. Пока они медленно проплывали под Большой скалой, Маурири, по указанию Грифа, объяснил им, что они должны делать. На скале рядом с Грифом лежало несколько связок динамитных шашек с очень короткими шнурами.

На палубе «Стрелы» было много народу. Один из бандитов, в котором Маурири узнал брата Рауля, с ружьем в руке стоял на баке среди матросов. Другой поместился на юте, рядом с рулевым. К нему грудь с грудью была привязана веревкой старая королева Матаара. По другую сторону от рулевого стоял капитан Гласс с рукой на перевязи. Рауль, как и в первый раз, стоял на середине палубы, прикрываясь связанной с ним Наумоо.

– Доброе утро, мистер Дэвид Гриф, – крикнул он, глядя вверх.

– А ведь я предупреждал вас, что вы покинете остров только в кандалах, – укоризненно откликнулся Гриф.

– Вы не посмеете убить всех людей на борту, – ответил Рауль. – Ведь это же ваши люди.

Шхуна, подвигавшаяся очень медленно, рывками, в такт со взмахами весел на вельботе, теперь оказалась почти под самой скалой. Фуатинцы продолжали грести, но стали заметно слабее налегать на весла, и тотчас бандит, стоявший на баке, прицелился в них из ружья.

– Бросай, Большой брат! – крикнула Наумоо на фуатинском наречии. – Сердце мое разрывается от горя, и я хочу умереть. Он уже приготовил нож, чтобы перерезать веревку, но я схвачу его и буду крепко держать. Не бойся, Большой брат, бросай. Бросай скорее... И прощай!

Гриф в нерешительности опустил головешку, которую он только что раздувал.

– Бросай! – молил Человек-козел.

Но Гриф все колебался.

– Если они выйдут в море, Большой брат, Наумоо все равно погибнет. А что будет с остальными? Что ее жизнь по сравнению с жизнью многих?

– Попробуйте только выстрелить или бросить динамит, и мы перебьем всех на шхуне, – крикнул Рауль. – Я победил вас, Дэвид Гриф! Вы не можете убить всех этих людей, а я могу. Тихо, ты!

Последнее относилось к Наумоо, продолжавшей взывать к Грифу на своем родном языке. Рауль схватил ее одной рукой за горло и стал душить, чтобы заставить замолчать, а она крепко обхватила его вокруг пояса и умоляюще глядела вверх.

– Бросайте, мистер Гриф! Взорвите их ко всем чертям! – зычным басом прогремел капитан

Гласс. – Это подлые убийцы. Их там полным-полно, в каюте.

Бандит, к которому была привязана старая королева, обернулся и пригрозил капитану Глассу ружьем, но тут Техаа, давно уже целившийся в него со скалы, спустил курок. Ружье выпало из рук пирата, невероятное удивление отразилось на его лице, ноги подогнулись, и он повалился на палубу, увлекая за собой королеву.

– Лево руля! Еще лево руля! – крикнул Гриф. Капитан Гласс вместе с канаком рулевым быстро перехватили ручки штурвала, и «Стрела» пошла прямо на скалу. Рауль все еще боролся с Наумоо. Его брат кинулся с бака ему на помощь. Грянули выстрелы из винтовок Техаа и Маурири, но оба они промахнулись. Брат Рауля приставил ружье к груди Наумоо – и в эту самую секунду Гриф прикоснулся головешкой к спичке, вставленной в конец шнура. Обеими руками он поднял и швырнул вниз тяжелую пачку, и тут же прогремел выстрел. Наумоо пошатнулась, ее тело рухнуло на палубу одновременно с падением динамита. На этот раз шнур был достаточно короткий и взрыв произошел сразу. Та часть палубы, где находился Рауль, его брат и Наумоо, исчезла как по мановению ока.

Борт шхуны был пробит, и она стала быстро тонуть. Матросы канаки попрыгали с бака в воду. Первого выскочившего из каюты бандита капитан Гласс ударил ногой в лицо, но был смят и сшиблен остальными. Следом за бандитами выскочили женщины с Хуахине и тоже попрыгали за борт. А «Стрела» тем временем все погружалась и, наконец, стала килем на дно рядом со скалой. Верхушки ее мачт торчали над водой.

Грифу сверху хорошо было видно, что делалось под водой. Он видел, как Матаара на глубине сажени отвязала себя от мертвого пирата и вынырнула на поверхность. Тут она заметила, что рядом тонет капитан Гласс: он не мог плыть. И королева – старая женщина, но истая дочь островов – нырнула за ним и, поддерживая его голову над водой, помогла ему добраться до мачты.

На поверхности воды среди множества темных голов виднелось пять рыжих и русых. Гриф с винтовкой у плеча ждал, когда удобнее будет выстрелить. Человек-козел тоже прицелился; через минуту он спустил курок – одно тело медленно пошло ко дну. Но мщение совершилось и без их участия, руками матросов канаков. Эти огромные, могучие островитяне, умевшие плавать, как рыбы, быстро рассекая воду, устремились туда, где мелькали русые и рыжие головы. Сверху было видно, как четверых оставшихся пиратов схватили, утащили под воду и утопили там, как щенят.

За десять минут все было кончено. Женщины с Хуахине со смехом и визгом цеплялись за борта вельбота. Матросы канаки, ожидая приказаний, собрались вокруг торчавшей из воды мачты, за которую держались капитан Гласс и Матаара.

– Бедная «Стрела»! – стонал капитан Гласс. – Пропала моя голубушка!

– Ничего подобного, отозвался Гриф со скалы. – Через неделю мы ее поднимем, починим борт и пойдем дальше. – Обращаясь к королеве, он спросил: – Ну как, сестра?

– О брат мой, Наумоо умерла и Мотуаро умер, но Фуатино опять наш. День только начинается. Я пошлю в горы оповестить мой народ, и сегодня вечером мы снова, как никогда раньше, будем пировать и веселиться в Большом доме.

– Давно уже надо было переменить ей шпангоуты в средней части, – сказал капитан Гласс. – А вот хронометрами не придется пользоваться до самого конца плавания.

\* \* \*

## ЖЕЛТЫЙ ПЛАТОК

– Конечно, не мое это дело, дружище, – сказал Чарли, – а только зря ты надумал устроить последнюю облаву. Тебе не раз доводилось попадать в опасные переплеты, иметь дело с опасными людьми, и ты остался целехонек, – вот будет обида, если с тобой под конец что стряется.

– Но как же обойтись без последней облавы? – возразил я с юношеской самонадеянностью. – Сам знаешь, все имеет конец. А раз так, какая-нибудь из моих облав должна быть последней, тут уж ничего не поделаешь.

Чарли заложил ногу за ногу, откинулся на спинку стула и погрузился в раздумье.

– Твоя правда, – сказал он наконец. – Но почему бы тебе не считать последней облаву на Деметриоса Контоса? Ты вернулся с этого дела живым и здоровым, хоть и принял хорошую ванну, ну и... и... – Тут он замолчал, а немного погодя заговорил снова: – Словом, я никогда не прощу себе, если с тобой теперь приключится какая беда.

Я посмеялся над страхами Чарли, но не смог устоять перед уговорами этого человека, который горячо меня любил, и согласился считать, что последняя облава уже позади. Два года мы были с ним неразлучны, а теперь я уходил из рыбачьего патруля, чтобы вернуться в город и закончить образование. Я скопил довольно денег, чтобы не знать нужды три года, пока не окончу среднюю школу, и, хотя до начала учебного года было еще много времени, я решил хорошенько подготовиться к приемным экзаменам.

Я уложил свои пожитки в матросский сундучок и собрался было ехать поездом в Окленд, как вдруг в Бенишии появился Нейл Партингтон. Он собирался срочно вести «Северного оленя» в Нижнюю бухту и по дороге должен был зайти в Окленд. Нейл жил в этом городе, и до окончания школы я собирался поселиться у него, а потому он предложил мне перенести на борт шлюпа мой сундучок, чтобы плыть вместе.

Я перенес сундучок, а на исходе дня мы отдали швартовы и подняли парус. Была осень, погода стояла коварная. Устойчивый морской бриз, который дул летом каждый день, сменился капризными порывистыми ветрами, небо заволкли тучи, так что трудно было предсказать, сколько продлится наше плавание. Мы тронулись в путь с началом отлива, и, когда шли через Каркинезский пролив, я бросил долгий, прощальный взгляд на Бенишию и на пристань у Тернерской верфи, где мы когда-то осадил «Ланкаширскую королеву» и захватили Большого Алека, Короля греков. А у выхода из пролива я с большим интересом осмотрел то место, где всего несколько дней назад непременно утонул бы, если б не благородный порыв Деметриоса Контоса.

Впереди, над заливом Сан-Пабло, стлался непроницаемый туман, и через несколько минут «Северный олень» уже шел вслепую в сырой мгле. Но у Чарли нюх был безошибочный, и он уверенно вел шлюп. Он признался нам, что сам не знает, как это ему удается; каким-то чудом он все точнейшим образом принимал в расчет: ветер, течение, расстояние, время, дрейф, скорость хода.

– Кажется, туман рассеивается, – заметил Нейл Партингтон, после того, как мы несколько часов плыли наугад. – Как, по-твоему, Чарли, где мы теперь?

Чарли взглянул на часы.

– Сейчас шесть. Отлив продлится еще три часа, – сказал он ни с того ни с сего.

– Но где мы все-таки? – настаивал Нейл.

Чарли подумал немного и ответил:

– Отлив малость снес нас в сторону, но если туман рассеется, а на это очень похоже, вы увидите, что мы не дальше, чем в тысяче миль от пристани Мак-Нира.

– Пожалуй, ты мог бы быть малость поточнее, – хмуро буркнул Нейл.

– Извольте, – отозвался Чарли. – До нее не меньше четверти мили и никак не больше полумили, – уверенно заключил он.

Ветер свежел, под его порывами туман стал понемногу рассеиваться.

– Пристань вон там, – сказал Чарли, указывая в ту сторону, откуда дул ветер.

Мы все трое стали напряженно вглядываться в туман, как вдруг «Северный олень» с треском натолкнулся на что-то и остановился. Мы бросились на нос и увидели, что наш бушприт запутался в такелаже какого-то суденышка с короткой и толстой мачтой. Как оказалось, мы врезались в стоявшую на якоре китайскую джонку.

Когда мы прибежали на нос, пятеро китайцев, словно потревоженные пчелы, выползли из тесной каюты, протирая заспанные глаза.

Первым на палубе появился рослый, могучий человек, – мне сразу бросились в глаза его щербатое лицо и желтый шелковый платок на голове. Это был мой старый знакомый Желтый Платок, тот самый китаец, которого мы год назад арестовали за незаконный лов креветок. Тогда он чуть не пустил «Северного оленя» ко дну, да и сейчас мы едва не утонули из-за того, что он грубо нарушил правила навигации.

– Послушай, ты, желторожая обезьяна, какого черта ты торчишь тут на самом фарватере и не подаешь никаких сигналов? – возмущенно крикнул Чарли.

– Какого черта? – преспокойно отозвался Нейл. – А взгляните-ка получше.

Мы поглядели туда, куда показывал Нейл, и увидели, что трюм джонки почти полон только что выловленных креветок. А среди креветок было много множество крохотных рыбешек величиной от четверти дюйма. Желтый Платок поднял свою сеть до начала прилива, снова забросил ее и под покровом тумана нагло стоял на якоре, дожидаясь малой воды, чтобы поживиться еще раз.

– Ну и ну! – Нейл почесал в затылке. – Сколько времени ловлю браконьеров, чего только не перевидал, но чтобы нарушитель сам шел в руки, такого еще не бывало. Послушай, Чарли, что нам теперь с ними делать?

– Отведем их на буксире в Сан-Рафаэль, вот и все, – сказал Чарли и повернулся ко мне. – Оставайся на джонке, приятель, я брошу тебе буксирный конец. Если ветер не переменится, мы успеем проскочить прежде, чем река обмелеет, переночуем в Сан-Рафаэле, а в Окленде будем завтра к полудню.

С этими словами Чарли и Нейл вернулись на «Северный олень», и мы тронулись в путь, ведя джонку на буксире. Я встал и, приняв командование захваченным судном, правил им с помощью допотопного румпеля, приводившего в движение дырявый, как решето, руль, сквозь который так и струилась вода.

Тумана как не бывало, и мы увидели, что Чарли правильно определил наше местонахождение. Пристань Мак-Нира была в какой-то полумиле от нас. Держась западного

берега, мы обогнули мыс Педро и прошли мимо китайских поселков, где поднялся страшный переполох, когда рыбаки увидели, что их джонку ведет на буксире шлюп рыбацкого патруля.

Береговой ветер был порывист и неустойчив, мы бы предпочли, чтобы он посвежел. Река, по которой нам предстояло пройти до Сан-Рафаэля, где мы предполагали сдать пленников властям, протекает через бесконечные болота, идти по ней в пору отлива очень трудно, а по малой воде – и вовсе невозможно.

Теперь вода убыла почти наполовину, и следовало поторапливаться. Но тяжелая джонка мертвым грузом тащилась позади шлюпа.

– Вели этим кулям поставить парус! – наконец крикнул Чарли. – Мне вовсе не улыбается сидеть на мели до самого утра.

Я передал этот приказ Желтому Платку, а тот хриплым голосом что-то скомандовал своим людям. Он был сильно простужен и весь сотрясался от судорожного кашля, глаза его налились кровью. Вид у него поэтому был еще свирепее обычного, и, когда он бросил на меня злобный взгляд, я вздрогнул, вспомнив, как в прошлый раз был из-за него на волосок от гибели.

Его команда неохотно взялась за фалы, и косой диковинный парус коричневого цвета взвился на мачте. Ветер был попутный, и, когда Желтый Платок выбрал шкот, джонка устремилась вперед, а буксирный канат ослабел. Как ни быстроходен был «Северный олень», джонка оказалась еще быстроходнее; чтобы не столкнуться со шлюпом, я взял курс чуть круче к ветру. Но джонка не потеряла скорости и через несколько минут оказалась на наветренном траверзе шлюпа. Буксирный канат теперь натянулся под прямым углом к обоим судам, – просто смешно было смотреть.

– Отдай буксир! – крикнул я.

Чарли колебался.

– Не бойся! – настаивал я. – Все будет в полном порядке. Мы проскочим реку, не меняя галса, а вы идите следом до самого Сан-Рафаэля.

Чарли отдал буксир, и Желтый Платок велел одному из своих людей выбрать канат. Уже смеркалось, и я смутно видел впереди устье реки, а когда мы вошли в нее, едва мог разглядеть берега.

«Северный олень» остался позади, лавируя по узкому, извилистому руслу. Но все-таки Чарли был рядом, и я ничуть не боялся своих пятерых пленников; правда, в темноте следить за ними было трудно, и поэтому я переложил револьвер из брюк в боковой карман куртки, откуда его легче достать.

Один только Желтый Платок внушал мне некоторый страх, и, как вы скоро сами убедитесь, он знал это и не преминул этим воспользоваться. Он сидел в нескольких шагах от меня, у наветренного борта. Я едва различал в темноте его фигуру, но от меня не укрылось, что он медленно, почти незаметно пододвигается ко мне. Я не спускал с него глаз. Держа румпель левой рукой, я правой нащупал в кармане револьвер.

Вот он пододвинулся еще на несколько дюймов, и я уже открыл было рот, чтобы крикнуть: «Назад!» – как вдруг кто-то большой и тяжелый навалился на меня со стороны подветренного борта. Это был один из китайцев. Он зажал мне рот и так стиснул мою правую руку, что я не мог вытащить ее из кармана. Конечно, я вырвался и освободил бы руку или позвал на помощь, но в ту же секунду Желтый Платок набросился на меня.

Упав на дно джонки, я отчаянно сопротивлялся, но – увы – вскоре я был связан по рукам и ногам, а рот мне накрепко заткнули каким-то тряпьем, – как оказалось потом, ситцевой рубашкой. Китайцы так и оставили меня лежать на дне. Шепотом отдавая команды, Желтый Платок взялся за руль. Вспомнив, где мы находимся, и увидев, как переставили парус, который смутно вырисовывался надо мной на фоне звездного неба, я понял, что джонку направили в маленький заболоченный затон.

Через несколько минут мы пристали к берегу, и парус бесшумно соскользнул с мачты. Китайцы притихли, как мыши. Желтый Платок сел на дно джонки рядом со мной, и я почувствовал, что он с трудом сдерживает надсадный, сухой кашель. Прошло минут семь или восемь, и я услышал голос Чарли: это наш шлюп проходил мимо затона.

– Просто слов нет, как я счастлив, что мальчик благополучно отслужил свое в рыбацьем патруле, – говорил он Нейлу, и я отчетливо слышал каждое его слово.

Нейл сказал что-то, чего я не расслышал, и Чарли продолжал:

– Мальчишка стал форменным моряком, и если он, кончив школу, поучится еще морскому делу и начнет ходить в дальние рейсы, клянусь богом, из него со временем выйдет отличный капитан, которому можно будет доверять любое судно.

Все это, разумеется, было для меня очень лестно, но я в эту минуту лежал на дне джонки с кляпом во рту, связанный своими же пленниками, а голоса друзей замирали вдали. «Северный олень» уходил все дальше к Сан-Рафаэлю, и, должен признаться, положение мое не очень-то располагало к мечтам о светлом будущем. Вместе с «Северным оленем» исчезла моя последняя надежда. Я не знал, что меня ждет: эти китайцы – народ особенный, и, насколько мне известен их характер, они едва ли обойдутся со мной по справедливости.

Выждав еще несколько минут, китайцы снова подняли свой косой парус, и Желтый Платок повел джонку к устью реки Сан-Рафаэль. Вода все убывала, и выйти из устья было нелегко. Я надеялся, что он сядет на мель, но ему удалось благополучно вывести джонку в залив.

После этого китайцы затеяли горячий спор, и я чувствовал, что спорят из-за меня. Желтый Платок был в ярости, но остальные четверо не менее яростно ему противились. Было совершенно ясно, что он хотел прикончить меня, а его товарищи боялись ответственности. Я достаточно знал китайцев и был убежден, что только страх удерживает их от расправы со мной. Но я никак не мог понять, в чем заключается их план, который они предлагали взамен кровожадного плана Желтого Платка.

Нетрудно догадаться, что я пережил в эти минуты, когда жизнь моя висела на волоске. Спор вскоре перешел в ссору, после чего Желтый Платок сорвал с руля тяжелый румпель и бросился ко мне. Но четверо китайцев преградили ему дорогу и стали отнимать у него румпель. В конце концов они вчетвером одолели своего главаря, и он, недовольный, вернулся на корму, а вслед ему понеслась отборная ругань.

Вскоре китайцы убрали парус, и джонка медленно пошла на веслах. Потом я почувствовал, как она мягко ткнулась носом в ил. Трое китайцев в высоких резиновых сапогах прыгнули за борт, а двое других перебросили меня через поручни. Желтый Платок подхватил меня за ноги, два его товарища – за плечи, и они зашлепали по вязкому илу. Но вот шаги их стали уверенней и тверже: как видно, они вышли на берег. Вскоре я понял, где мы находимся, – не иначе, как на одном из островков крошечного скалистого архипелага Марин, расположенного неподалеку от устья реки Сан-Рафаэль.

Выйдя с затопляемой во время прилива илистой отмели на берег, китайцы довольно бесцеремонно швырнули меня на землю. Желтый Платок со злобой пнул меня в бок, и все трое пошли назад к джонке. Через несколько секунд я услышал, как взвился на мачте и



затрепетал под напором ветра парус, пока китайцы выбирали шкот. Потом все смолкло, и я остался один. У меня не было другого выхода, как собственными силами выпутываться из беды.

Я вспомнил, как ловко, как-то по-особому извиваясь и корчась, освобождаются от веревок фокусники, но, сколько я ни извивался и ни корчился, тугие узлы ничуть не ослабли. Однако, катаясь по берегу, я наткнулся на кучу пустых раковин, – должно быть, какая-нибудь компания яхтсменов пекла здесь на костре моллюсков. В голове у меня блеснула счастливая мысль. Руки мои были связаны за спиной; зажав в кулаке раковину, я покатился к ближним скалам.

После долгих поисков я нашел наконец узкую трещину и вставил в нее раковину. Края у раковины были острые, и я попытался перерезать ею веревку, которой были связаны мои руки. Но хрупкая раковина сломалась, как только я неосторожно нажал на нее. Пришлось мне снова добираться до кучи раковин. На этот раз я захватил их столько, сколько мог удержать в обеих руках. Я сломал их видимо-невидимо, изрезал себе все руки, ноги мои от напряжения свела судорога.

Я остановился, чтобы передохнуть, и вдруг услышал над заливом знакомый голос. Это Чарли искал меня. Из-за кляпа во рту я не мог отозваться и в бессильной ярости лежал на берегу, а он прошел на веслах мимо острова, и вскоре голос его замер вдали.

Я снова принялся за дело, и через полчаса мне удалось наконец перерезать веревку. Все остальное было проще простого. Освободив руки, я мигом развязал путы на своих ногах и вытащил изо рта кляп. Потом я обежал весь берег и удостоверился, что я действительно на острове, а не где-нибудь на материке. Да, это был один из островов архипелага Марин, окаймленный песчаным пляжем и целым болотом вязкого ила. Мне оставалось одно: ждать рассвета и не поддаваться холоду – для Калифорнии ночь выдалась на редкость студеная, ветер пронизывал до самых костей, и меня била дрожь.

Чтобы согреться, я обежал вокруг острова раз десять кряду и столько же раз вскарабкался на скалистую гряду. Это не только меня согрело, но и сослужило мне в последствии хорошую службу. Бегаю по острову, я вдруг подумал: а не выронил ли я что-нибудь, когда катался в песке? Обшарив карманы, я не нашел ни револьвера, ни складного ножа. Револьвер у меня, конечно, отобрал Желтый Платок, а нож, должно быть, затерялся где-то в песке.

Я принялся его искать, как вдруг снова послышался скрип уключин. Сначала я подумал, что это Чарли, но сразу же спохватился: ведь Чарли не стал бы плыть молча. Мрачные предчувствия вдруг охватили меня. Архипелаг Марин глухой и пустынный; едва ли кому вздумается плыть сюда глубокой ночью. А вдруг это Желтый Платок? Скрип уключин стал слышнее. Лодка, по-видимому, ялик, как я определил по частым ударам весел, ткнулась в ил шагах в пятидесяти от берега. Я услышал сухой, надсадный кашель, и сердце у меня упало. Это был Желтый Платок. Чтобы товарищи не помешали ему свести со мной счеты, он украдкой выбрался из своего поселка и приплыл сюда в одиночку.

Мысли вихрем закружились у меня в голове. Я безоружен и беспомощен на маленьком глухом островке, и желтый дикарь, остерегаться которого у меня есть все основания, явился сюда для расправы со мной. Худшего положения не придумаешь, и я невольно бросился в воду или, вернее, в ил, только бы не оставаться на острове. Когда Желтый Платок зашагал к берегу по илистому болоту, я пошел в обратную сторону, стараясь попасть след в след, по дороге, проторенной китайцами, когда они несли меня на остров, а потом возвращались к своей джонке.

Желтый Платок, уверенный, что я лежу связанный по рукам и ногам на прежнем месте, нисколько не остерегался: ил громко чавкал у него под ногами. Благодаря этому, пока он шел, я успел удалиться от берега шагов на пятьдесят. После этого я лег прямо в болото.

Ил был холодный и липкий, я весь дрожал, но боялся встать на ноги, зная, что глаза у китайца острые. Он направился прямехонько на то место, где оставил меня, и я даже пожалел, что не могу видеть, какую рожу он скорчит, не найдя меня там. Но мне было не до потехи, у меня от холода зуб на зуб не попадал.

Что он сделал дальше, я мог только догадываться, так как почти ничего не видел при бледном свете звезд. Но я был уверен, что первым делом он обошел весь остров и убедился, что никакие другие лодки к берегу не приставали. Всякое судно неизбежно оставило бы след в иле.

Удостоверившись, что я никак не мог уплыть с острова, он пустился на поиски. Наткнувшись на кучу раковин, он стал одну за другой чиркать спички и пошел по моему следу. При каждой вспышке мне было ясно видно его зловещее лицо. От запаха горящей серы у него першило в горле, и от его надсадного кашля я дрожал еще пуще, не смея шелохнуться в холодном иле.

Обилие следов его озадачило. Однако вскоре он, как видно, сообразил, что я где-нибудь у берега, сделал несколько шагов по направлению ко мне, присел на корточки и долго всматривался во мрак. Нас разделяло не более пятнадцати футов, и, догадайся он зажечь спичку, мне бы несдобровать.

Но он вернулся на берег и, чиркая спичками, полез на скалистую гряду. Близкая опасность заставила меня искать спасения. Не рискуя встать во весь рост, так как Желтый Платок наверняка услышал бы мои шаги, я стал передвигаться ползком. По-прежнему держась следа, оставленного китайцами, я полз так до самой воды. Очутившись на глубине трех футов, я пошел вброд вдоль берега.

Вдруг у меня мелькнула мысль: вот бы найти ялик, на котором приплыл Желтый Платок, и удрать. Но он как будто угадал мое намерение, спустился на берег и поспешил к ялику, чтобы проверить, на месте ли он. Пришлось повернуть обратно. То вброд, по горло в воде, то вплавь, без единого всплеска я отдалился на добрую сотню футов от того места, куда раньше причалила джонка. Потом я снова забрался в ил и лег ничком.

Желтый Платок опять вышел на берег, обшарил весь остров и вернулся к куче раковин. Я словно читал его мысли. Наверняка он рассуждал так: ни одна душа не может попасть на остров или покинуть его, не оставив в иле следов. А между тем он нашел только две цепочки следов – одна вела от ялика, а другая – от того места, где стояла джонка. На острове меня нет. Значит, я ушел по какому-нибудь из двух следов. Он только что ходил к своему ялику и убедился, что меня там нет и там, значит, я мог уйти только по следу, который вел от джонки. Он решил проверить это предположение и пошел через ил, зажигая на ходу спички.

Дойдя до того места, где я залег в первый раз, он остановился: должно быть, увидел вмятину от моего тела. Потом по моему следу он вошел в воду, но сразу потерял его – да и мудрено было видеть следы на глубине трех футов. Вместе с тем, так как отлив еще не кончился, он легко нашел ямину, оставленную в иле джонкой. Всякое другое судно, если бы оно причалило к острову, непременно оставило бы такой след. А раз его нет, – ясно, я схоронился где-нибудь в иле.

Но искать темной ночью в огромном болоте человека – все равно, что искать иголку в стоге сена, и китаец понял бесполезность своей затеи. Он вернулся на остров и некоторое время рыскал по берегу. Я весь продрог, и лишь надежда, что он махнет на меня рукой, придавала мне силы. Наконец он сел в свой ялик и отчалил от острова. Но тут меня охватили сомнения. А вдруг это западня? Вдруг он уплыл только для того, чтобы выманить меня на берег?

Чем больше я думал об этом, тем больше мне казалось, что, отчаливая, он слишком громко ударял по воде веслами. И я остался лежать в холодном иле. Меня била дрожь, поясницу невыносимо ломило, и мне понадобилось все мое мужество, чтобы, несмотря ни на что, не

двинуться с места.

По счастью я не вышел из своего убежища, а через час смутно различил на берегу какую-то движущуюся тень. Я стал пристально вглядываться в темноту, но прежде чем мне удалось что-либо увидеть, слух мой уловил знакомый надсадный кашель. Оказывается, Желтый Платок тайком причалил к острову с другой стороны и теперь крался вдоль берега, надеясь захватить меня врасплох.

После этого я еще не один час пролежал в илистом болоте, боясь выйти на берег, хотя Желтый Платок не подавал больше никаких признаков жизни. Порой мне казалось, что я не выдержу и умру от холода. Мне и не снились такие ужасные страдания. Я до того окоченел, что в конце концов даже перестал дрожать. Зато мои мускулы и кости начали нестерпимо ныть – это была настоящая пытка. Прилив давно уже начался, и я, спасаясь от воды, фут за футом двигался к берегу. Полная вода наступила в три часа ночи, и я полуживой выполз на берег; если бы Желтый Платок набросился теперь на меня, я не смог бы и пальцем шевельнуть.

На мое счастье, его здесь не было. Он плюнул на меня и вернулся в свой поселок на мыс Педро. Но я все равно был в плачевном состоянии и в любую минуту мог отдать богу душу. Я не в силах был стоять на ногах, а тем более ходить. Моя одежда, насквозь пропитанная илом, леденила тело. Казалось, мне никогда не удастся ее снять. Пальцы онемели и не гнулись, силы оставили меня, и я провозился целый час, прежде чем стянул с себя башмаки. Я не мог разорвать кожаные шнурки, а развязать их было чертовски трудно. Несколько раз я принимался бить застывшими руками о камни, чтобы хоть немного разогнать кровь. По временам я был уверен, что вот-вот умру.

Наконец – казалось, прошла целая вечность – мне удалось раздеться догола. Вода была в двух шагах, я дополз до нее и смыл с себя ил. Но я не мог встать, не мог ходить, а лежа без движения, наверняка бы замерз. Оставалось только одно: ценой невыносимой боли ползать медленно, как улитка, взад и вперед по берегу. Я ползал так до изнеможения, а когда на востоке забрезжил рассвет, совсем выбился из сил. Небо порозовело, золотой шар солнца поднялся над горизонтом, и его лучи осветили мое недвижимое тело на куче раковин.

Потом, как во сне, я увидел знакомый парус – это «Северный олень», подгоняемый свежим утренним ветерком, выскользнул из устья реки Сан-Рафаэль. Сон мой то и дело обрывался. Многого я совсем не помню. Помню только, как появился парус, как «Северный олень» отдал якорь в нескольких футах от берега, и маленькая шлюпка отвалила от борта, как гудела в каюте печурка, раскаленная докрасна, а я лежал, с головы до ног закутанный в одеяла, только плечи и грудь были обнажены, и Чарли немилосердно растирал их, а Нейл Партингтон поил меня горячим, как огонь, кофе, обжигая мне рот и горло.

Но несмотря ни на что, скажу я вам, это было чертовски приятно. Когда мы пришли в Окленд, я уже снова глядел молодцом, хотя Чарли и Нейл боялись, что я схватил воспаление легких, а миссис Партингтон первые полгода после того, как я начал учиться в школе, все ждала, что вот-вот у меня начнется скоротечная чахотка.

Время летит быстро. Кажется, только вчера мне было шестнадцать лет и я плавал на шлюпе рыбацкого патруля. А ведь сегодня утром я прибыл из Китая на баркентине «Жнец», капитаном которой я теперь стал. Завтра утром я зайду на ней в Окленд, чтобы повидать Нейла Партингтона и его семью, а потом – в Бенишию к Чарли Ле Гранту вспомнить старые добрые времена. Впрочем, нет, пожалуй, в Бенишию мне ходить незачем. Ведь вскоре состоится свадьба, на которой мне суждено сыграть не последнюю роль. Невесту зовут Алиса Партингтон, а поскольку Чарли обещал быть шафером, придется ему самому приехать в Окленд.

## ЖЕМЧУГ ПАРЛЕЯ

1

Канак рулевой повернул штурвал, «Малахини» послушно стала носом к ветру и выпрямилась. Передние паруса вяло повисли; раздалось дробное пощелкивание концов троса о парус и скрип поспешно выбираемых талей; ветер снова наполнил паруса, шхуна накренилась и легла на другой галс. Хотя было еще раннее утро и дул свежий бриз, пятеро белых, расположившихся на юте, были одеты очень легко: Дэвид Гриф и его гость, англичанин Грегори Малхолл, – в пижамах и китайских туфлях на босу ногу, капитан и его помощник – в нижних рубашках и парусиновых штанах, а второй помощник капитана все еще держал рубашку в руках, не имея ни малейшего желания надеть ее. Пот струился у него на лбу, и он жадно подставлял обнаженную грудь ветру, не приносившему прохлады.

– Экая духота, и ветер не помогает, – с досадой сказал он.

– Что там делается на западе, хотел бы я знать, – проворчал Гриф.

– Это ненадолго, – отозвался голландец Герман, помощник капитана. – Ветер и ночью все менялся: то так повернет, то этак.

– Что-то будет! Что-то будет! – мрачно произнес капитан Уорфилд, обеими руками разделяя надвое бороду и подставляя подбородок ветру в напрасной надежде освежиться. – Вот уже две недели погода какая-то шалая. Порядочного пассата три недели не было. Ничего понять нельзя. Вчера на закате барометр стал колебаться – и сейчас еще пляшет. Люди сведущие говорят, что это ровно ничего не значит. А только не нравится мне это! Действует на нервы, знаете. Вот так он плясал и в тот раз, когда пошел ко дну «Ланкастер». Я тогда был мальчишкой, но отлично помню. Новенькое судно, четырехмачтовое, и обшивка стальная, а затонуло в первый же рейс. Капитан не перенес удара. Он сорок лет плавал на судах Компании, а после этого и года не протянул – истаял, как свеча.

Несмотря на ветер и на ранний час, все задыхались от жары. Ветер только дразнил, не принося прохлады. Не будь он насыщен так влагой, можно было бы подумать, что он дует из Сахары. Не было ни пасмурно, ни туманно – ни намек на туман, и, однако, даль казалась расплывчатой и неясной. На небе не видно было облаков, но его заволокла густая мгла, и лучи солнца не могли пробиться сквозь нее.

– Приготовиться к повороту! – спокойно и внушительно распорядился капитан Уорфилд.

Темнокожие матросы канаки в одних коротких штанах стали к шкотам; все их движения были плавны, но быстры.

– Руль на ветер! На борт!

Рулевой мгновенно перебрал ручки штурвала, и «Малахини» изящным и стремительным движением переменила галс.

– Да она просто чудо! – воскликнул Малхолл. – Не знал я, что в Южных морях купцы ходят на яхтах.

– Она была построена в Глостере как рыбацье судно, – пояснил Гриф, – а у глостерских судов и корпус, и оснастка, и ход такой, что никакой яхте не уступят.

– А ведь устье лагуны перед вами, почему же вы не входите? – критически заметил англичанин.

– Попробуйте, капитан Уорфилд, – предложил Гриф. – Покажите гостю, что значит входить в лагуну при сильном отливе.

– Круче к ветру! – отдал команду капитан.

– Есть круче к ветру! – повторил канак, слегка поворачивая штурвал.

«Малахини» направилась к узкому проходу в лагуну длинного и узкого атолла своеобразной овальной формы. Казалось, он возник из трех атоллов, которые некогда сомкнулись и срослись в один. На песчаном кольце атолла местами росли кокосовые пальмы, но там, где песчаный берег был слишком низок, пальмы не росли, и в просветах сверкала лагуна; вода в ней была как зеркало, едва подернутое рябью. Эта неправильной формы лагуна простиралась на много квадратных миль, и в часы отлива воды ее рвали в открытое море через единственный узкий проток. Так узок был проток и так силен напор устремившейся в него воды, что казалось – это не просто вход в лагуну, а стремнина бурной реки. Вода кипела, кружила, бурлила и рвалась вон из пролива крутыми, зубчатыми, увенчанными белой пеной валами. Удар за ударом наносили «Малахини» эти вздымавшиеся ей навстречу валы, и каждый удар, точно стальным клином, сбивал ее с курса, отбрасывая в сторону. Она уже вошла в проход – и тут оказалась так прижатой к коралловому берегу, что пришлось сделать поворот. На новом галсе шхуна стала бортом к течению, и оно стремительно понесло ее в открытое море.

– Ну, теперь пора пустить в ход ваш новый дорогой мотор, – с добродушной усмешкой сказал Гриф.

Все знали, что этот мотор – слабость капитана Уорфилда. Капитан до тех пор преследовал Грифа мольбами и уговорами, пока тот не дал согласия на покупку.

– Он еще оправдывает себя, – возразил капитан. – Вот увидите. Он надежнее всякой страховки, а ведь сами знаете – судно, плавающее на Паумоту, и страховать никто не берется.

Гриф указал назад, на маленький тендер, который тоже пробивался, борясь с течением, ко входу в лагуну.

– Держу пари на пять франков, что «Нухива» нас обгонит.

– Конечно, – согласился Уорфилд. – У нее относительно очень сильный мотор. Мы рядом с ней – прямо океанский пароход, а у нас всего сорок лошадиных сил. У нее же – десять, и она летит, как птица. Она проскочила бы в самый ад, но такого течения и ей не одолеть. Сейчас его скорость верных десять узлов!

И со скоростью десяти узлов, швыряя и кидая «Малахини» то на один борт, то на другой, течение вынесло ее в открытое море.

– Через полчаса отлив кончится, тогда войдем, – сердито сказал капитан Уорфилд и прибавил, словно объясняя, чем недоволен: – Парлей не имел никакого права давать атоллу свое имя. На всех английских картах, да и на французских тоже, этот атолл обозначен как Хикихохо. Его открыл Бугенвиль и оставил ему туземное название.

– Не все ли равно, как он называется? – сказал второй помощник, все еще медля надевать рубашку. – Главное – он перед нами, а на нем старик Парлей со своими жемчугом.

– А кто видел этот жемчуг? – спросил Герман, глядя то на одного, то на другого.

– О нем все знают, – ответил второй помощник и обернулся к рулевому: – Таи-Хотаури, расскажи-ка нам про жемчуг старика Парлея.

Польщенный канак, немного сконфуженный общим вниманием, перехватил ручки штурвала.

– Мой брат нырял для Парлея три, четыре месяца. Он много рассказывал про жемчуг. Хикихохо – место хорошее, тут много жемчуга.

– А перекупщики, как ни добивались, не получили у старика ни единой жемчужины, – вставил капитан.

– Говорят, когда он отправился на Таити встречать Арманду, он вез для нее полную шляпу жемчуга, – продолжал второй помощник. – Это было пятнадцать лет назад, с тех пор у него немало прибавилось. Он и перламутр собирал. Все видели его склады раковин – сотни тонн. Говорят, из лагуны взято все дочиста. Может быть, поэтому он и объявил аукцион.

– Если он действительно задумал продавать, это будет самая большая годовая распродажа жемчуга на Паумоту, – сказал Гриф.

– Ничего не понимаю! – не выдержал Малхолл, как и все, измученный влажным, удушливым зноем. – В чем дело? Кто такой этот старик? И что у него за жемчуг? Почему вы говорите загадками?

– Старик Парлей – хозяин Хикихохо, – ответил второй помощник капитана. – У него огромное состояние в жемчуге, он собирал его долгие годы, а недавно объявил, что хочет распродать весь свой запас; на завтра назначен аукцион. Видите, сколько мачт торчит над лагуной?

– По-моему, восемь, – подсчитал Герман.

– Что делать восьми шхунам в такой богом забытой дыре? – продолжал второй помощник. – Тут и для одной шхуны не наберется за весь год полного груза копры. Это они на аукцион явились, как и мы. Вот и «Нухива» поэтому за нами гонится, хотя какой уж она покупатель! На ней плавает Нарий Эринг, он владелец и шкипер. Он сын английского еврея и туземки, и у него только и есть за душой, что нахальство, долги да неоплаченные счета за виски. По этой части он гений. Он столько должен, что в Папеете все торговцы до единого заинтересованы в его благополучии. Они в лепешку расшибутся, чтобы дать ему заработать. У них другого выхода нет, а ему это на руку. Вот я никому ничего не должен, а что толку? Если я заболею и свалюсь вон тут на берегу, никто и пальцем не шевельнет: пусть и подохну, они не в убытке. Другое дело Нарий Эринг, для него они на все готовы. Если он свалится больной, для него ничего не пожалеют. Слишком много денег в него вложено, чтоб оставить его на произвол судьбы. Его возьмут в дом и будут ходить за ним, как за родным братом. Нет, знаете, честно платить по счетам совсем не так выгодно, как говорят!

– При чем тут Нарий? – нетерпеливо сказал англичанин и, обращаясь к Грифу, попросил: – Объясните мне все по порядку. Что это за басни о жемчуге?

– Если что забуду, подскажите, – предупредил Гриф остальных и начал рассказывать: – Старик Парлей – большой чудак. Я с ним давно знаком и думаю, что он немного не в своем уме. Так вот, слушайте. Парлей чистокровный француз, даже парижанин, это он мне сам сказал, у него выговор настоящий парижский. Приехал он сюда давным-давно, занялся торговлей и всякими делами и таким образом попал на Хикихохо. Приехал торговать, когда

здесь процветала меновая торговля. На Хикихохо было около сотни жителей, нищих туземцев. Он женился на их королеве по туземному обряду. И когда королева умерла, все ее владения перешли к нему. Потом разразилась эпидемия кори, после которой уцелело не больше десятка туземцев.

Парлей, как король, кормил их, а они на него работали. Надо вам сказать, что незадолго до смерти королева родила дочь Арманду. Когда девочке исполнилось три года, Парлей отослал ее в монастырь в Папееэте, а семи или восьми лет отправил во Францию. Можете догадаться, что из этого вышло. Единственной дочери короля и капиталиста с островов Паумоту подобало воспитываться лишь в самом лучшем, самом аристократическом монастыре. Вы ведь знаете, в доброй старой Франции не существует расовых барьеров. Арманду воспитывали как принцессу, да она и чувствовала себя принцессой. Притом она считала себя настоящей белой и даже не подозревала, что с ее происхождением что-то неладно.

И вот разыгралась трагедия. Старик Парлей всегда был со странностями, к тому же он слишком долго жил на Хикихохо неограниченным владыкой – и под конец вообразил, будто он и в самом деле король, а его дочь – принцесса. Когда Арманде исполнилось восемнадцать лет, он выписал ее к себе. Денег у него было хоть пруд пруди, как говорится. Он построил огромный дом на Хикихохо, а в Папееэте – богатый бунгало. Арманда должна была приехать почтовым пароходом, шедшим из Новой Зеландии, и старик на своей шхуне отправился встречать ее в Папееэте. Возможно, все обошлось бы благополучно, назло всем спесивым индюшкам и тупым ослам, задающим тон в Папееэте, но тут вмешался ураган. Это ведь было, кажется, в тот год, когда затопило Ману-Хухи, верно? Там еще утонуло больше тысячи жителей?

Все подтвердили, а капитан Уорфилд прибавил:

– Я плавал тогда на «Сороке». Нас выбросило на сушу – шхуну со всей командой и с коком. Занесло за четверть мили от берега в кокосовую рощу, у входа в Таохайскую бухту. А считается, что это безопасная гавань.

– Так вот, – продолжал Гриф. – Этим самым ураганом подхватило шхуну Парлея, и он явился в Папееэте со всем своим жемчугом ровно на три недели позже, чем следовало. Его шхуну тоже выбросило на берег, и ему пришлось подвести под нее катки и проложить полозья, ее волокли посуху добрых полмили, прежде чем снова спустить на воду.

А тем временем Арманда ждала его в Папееэте. Никто из местных жителей ни разу ее не навестил. Она сама, по французскому обычаю, явилась с визитом к губернатору и к портовому врачу. Они приняли ее, но их жен, конечно, не оказалось дома, и визита они ей не отдали. Ведь она была отверженная, она стояла вне общества, хотя и не подозревала об этом, – и вот столь деликатным образом ей дали это понять. Был тут еще некий молодой лейтенант с французского крейсера. Она покорила его сердце, но головы он не потерял. Можете себе представить, каким ударом было все это для молодой девушки, образованной, красивой, воспитанной, как подлинная аристократка, избалованной всем, что только можно было достать тогда за деньги во Франции. Нетрудно угадать конец. – Гриф пожал плечами. В бунгало Парлея был слуга японец. Он видел это. Он рассказывал потом, что она проделала все, как настоящий самурай. Действовала не сгоряча, не в безумной жажде смерти, – взяла стилет, аккуратно приставила острие к груди и обеими руками неторопливо и уверенно вонзила его себе прямо в сердце.

И после этого приехал старик Парлей со своим жемчугом. Говорят, у него была жемчужина, которая стоила шестьсот тысяч франков. Ее видел Питер Джи, он говорил мне, что сам давал за нее эти деньги. Старик совсем было сошел с ума. Два дня его держали в Колониальном клубе в смиренной рубашке...

– Дядя его жены, старик туземец, разрезал рубашку и освободил его, – прибавил второй помощник.

– И тогда Парлей начал буйствовать, – продолжал Гриф. – Всадил три пули в подлеца лейтенанта...

– Так что тот три месяца провалялся в судовом лазарете, – вставил капитан Уорфилд.

– Запустил бокалом вина в физиономию губернатору; дрался на дуэли с портовым врачом; избил слуг туземцев; устроил разгром в лазарете, сломал санитару два ребра и ключицу и удрал. Кинулся напрямик на свою шхуну, держа в каждой руке по револьверу и крича, что пусть, мол, начальник полиции со всеми своими жандармами попробует его арестовать, – и ушел на Хикихохо. Говорят, с тех пор он ни разу не покидал острова.

Второй помощник кивнул.

– Это было пятнадцать лет назад, и он с тех пор ни разу с места не двинулся.

– И собрал еще немало жемчуга, – сказал капитан. – Сумасшедший, просто сумасшедший. Меня от одной мысли о нем дрожь пробирает. Настоящий колдун.

– Кто-кто? – не понял Малхолл.

– Хозяин погоды. По крайней мере все туземцы в этом уверены. Вот спросите Таи-Хотаури. Эй, Таи-Хотаури! Как по-твоему, что старик Парлей делает с погодой?

– То, что делает дьявол, – был ответ. – Я знаю. Захочет бурю. Захочет – совсем ветра не будет.

– Да, настоящий старый колдун, – сказал Малхолл.

– Этот жемчуг приносит несчастье, – вдруг объявил Таи-Хотаури, зловеще качая головой. – Парлей говорит – продаю. Приходит много шхун. Тогда Парлей сделает большой ураган, и всем будет конец. Увидите. Все здесь так говорят.

– Теперь самая пора ураганов, – невесело усмехнулся капитан Уорфилд. – Туземцы не так уж далеки от истины. Вот и сейчас что-то надвигается. Я бы предпочел, чтоб «Малахини» была за тысячу миль отсюда.

– Конечно, Парлей немного помешан, – закончил Гриф. – Я старался его понять. У него в голове все перепуталось. Восемнадцать лет вся жизнь для него была в одной Арманде. И теперь ему часто кажется, что она жива, но до сих пор не вернулась из Франции. Между прочим, ему еще и поэтому не хотелось расставаться со своим жемчугом. И он ненавидит белых. Он никогда не забывает, что они убили его дочь, хотя почти всегда забывает, что ее уже нет в живых... Вот те и на! Где же ваш ветер?

Паруса бессильно повисли у них над головой, и капитан Уорфилд с досадой выругался сквозь зубы. Жара и прежде была невыносимая, а теперь, когда ветер стих, стало совсем невтерпех. По лицам людей струился пот, и то один, то другой, тяжело переводя дыхание, жадно ловил ртом воздух.

– Вот он, ветер, – и капитан на восемь румбов изменил направление. – Гика-шкоты перенести! Живо!

Канаки бросились выполнять команду капитана, и целых пять минут шхуна, преодолевая течение, шла прямо ко входу в узкий пролив. Ветер снова упал, потом подул в прежнем направлении, и пришлось опять ставить паруса по-старому.



– А вот и «Нухива», – сказал Гриф. – Они пустили в ход мотор. Смотрите, как несется!

– Все готово? – спросил капитан у механика, португальца-метиса, который высунулся из маленького люка перед самой рубкой и утирал потное лицо комком промасленной пакли.

– Готово, – ответил механик.

– Ну, пускайте.

Механик скрылся в своей берлоге, и тотчас послышалось фыркание и шипение глушителя. Но шхуне не удалось удержать первенства. Пока она продвигалась на два фута, маленький тендер успевал пройти три; он быстро настиг ее, а затем и обогнал. На палубе его были одни туземцы. Человек, управлявший тендером, насмешливо помахал рукой тем, кто был на «Малахини».

– Это и есть Нарий Эринг, – сказал Гриф Малхоллу. – Высокий у штурвала – видели? Самый отъявленный негодяй на всех островах Паумоту.

Пять минут спустя канаки – матросы «Малахини» подняли радостный крик, и все взгляды обратились на «Нухиву». Там что-то случилось с мотором, и теперь «Малахини» обходила ее. Канаки карабкались на ванты и осыпали насмешками остающихся позади соперников; тендер круто накренился под ветер, и течение сносило его назад в открытое море.

– Вот у нас мотор так мотор! – одобрительно сказал Гриф, когда перед ними раскрылась лагуна и «Малахини» переменила курс, готовясь стать на якорь.

Капитан Уорфилд, хотя и очень довольный, только буркнул в ответ:

– Будьте покойны, он окупится.

«Малахини» прошла в самую середину небольшой флотилии и наконец выбрала свободное место для стоянки.

– Вот и Айзекс на «Долли», – заметил Гриф и приветственно помахал рукой. – И Питер Джи на «Роберте». Когда объявлена такая распродажа жемчуга, разве он останется в стороне! А вот и Франчини на «Кактусе». Все скупщики собрались. Можете не сомневаться, старик Парлей возьмет хорошую цену.

– А они все еще не исправили мотор, – с торжеством сказал капитан Уорфилд.

Он смотрел туда, где за редкими стволами кокосовых пальм, окаймлявших лагуну, виднелись паруса «Нухивы».

2

Дом у Парлея был большой, двухэтажный, из калифорнийского леса и крыт оцинкованным железом. Он был несоразмерно велик для тонкого кольца атолла и торчал над узкой полоской песка, точно огромный нарост. Едва «Малахини» стала на якорь, прибывшие, как полагается, отправились на берег с визитом. Капитаны и скупщики с остальных судов уже собрались в большой комнате, где можно было бы осмотреть жемчуг, назначенный на завтра к продаже. Темнокожие слуги, они же родня хозяина – последние жители Хикихохо, – разносили виски и абсент. И среди этого разнообразия сборища, покашливая и посмеиваясь, расхаживал сам Парлей – жалкая развалина, в которой нельзя было узнать когда-то рослого

и сильного человека. Глаза его ушли глубоко в орбиты и лихорадочно блестели, щеки ввалились. Он неровно, местами, оплешивел, усы и эспаньолка у него были тоже какие-то клочковатые.

– О господи! – пробормотал Малхолл. – Прямо долговязый Наполеон Третий! Но какой облезлый, высохший! Кожа да кости. До чего же жалок! Не удивительно, что он держит голову набок, иначе ему на ногах не устоять.

– Будет шторм, – сказал старик Грифу вместо приветствия. – Вы, видно, очень уж неравнодушны к жемчугу, если явились сюда сегодня.

– За таким жемчугом не жаль отправиться хоть к чертям в пекло, – со смехом ответил Гриф, оглядывая стол, на котором разложены были жемчужины.

– Кое-кто уже отправился туда, – проскрипел Парлей. – Вот посмотрите! – Он показал на великолепную жемчужину размером в небольшой грецкий орех, лежавшую отдельно на куске замши. – Мне за нее давали на Таити шестьдесят тысяч франков. А завтра, пожалуй, и больше дадут, если всех не унесет ураган. Так вот, эту жемчужину нашел мой родич, вернее, родич моей жены. Туземец. И притом вор. Он ее припрятал. А она была моя. Его двоюродный брат, который приходился и мне родней – мы тут все в родстве, – убил его, стащил жемчужину и удрал на катере в Ноо-Нау. Я снарядил погоню, но вождь племени Ноо-Нау убил его из-за этой жемчужины еще раньше, чем я туда добрался. Да, тут на столе немало мертвецов. Пейте, капитан. Ваше лицо мне незнакомо. Вы новичок на островах?

– Это капитан Робинсон с «Роберты», – сказал Гриф, знакомя их.

Тем временем Малхолл обменялся рукопожатием с Питером Джи.

– Я и не думал, что на свете есть столько жемчуга, – сказал Малхолл.

– Такого количества сразу и я не видывал, – признался Питер Джи.

– Сколько все это может стоить?

– Пятьдесят или шестьдесят тысяч фунтов – для нас скупщиков. А в Париже... – Он пожал плечами и высоко поднял брови, не решаясь даже назвать сумму.

Малхолл вытер пот, стекавший на глаза. Да и все в комнате обливались потом и тяжело дышали. Льда не было, виски и абсент приходилось глотать теплыми.

– Да, да, – хихикая, подтвердил Парлей. – Много мертвецов лежит тут на столе. Я знаю свои жемчужины все наперечет. Посмотрите на эти три! Недурно подобраны, а? Их добыл для меня ловец с острова Пасхи – все три в одну неделю. А на следующей неделе сам стал добычей акулы: она отхватила ему руку, и заражение крови его доконало. Или вот эта, она крупная, но неправильной формы, – много ли в ней толку; хорошо, если мне дадут за нее завтра двадцать франков, а добыли ее на глубине в сто тридцать футов. Я видел, как он вынырнул. У него сделалось не то кровоизлияние в легкие, не то судороги – только через два часа он умер. И кричал же он перед смертью! На несколько миль было слышно. Такого силача туземца я больше не видывал. Человек шесть моих ловцов умерли от судорог. И еще много людей умрет, еще много, много умрет.

– Довольно вам каркать, Парлей, – не стерпел один из капитанов, – Шторма не будет.

– Будь я крепок, как когда-то, живо поднял бы якорь и убрался отсюда, – ответил хозяин старческим фальцетом. – Живо убрался бы, если б был крепок и силен и не потерял еще вкус к вину. Но вы останетесь. Вы все останетесь. Я бы и не советовал, если б думал, что вы послушаетесь. Стервятников от падали не отгонишь. Выпейте еще по стаканчику, мои

храбрые моряки. Ну-ну, чем только не рискуют люди ради нескольких соринки, выделенных устрицей! Вот они, красавицы! Аукцион завтра, точно в десять. Старик Парлей распродает свой жемчуг, и стервятники слетаются... А старик Парлей в свое время был покрепче их всех и еще не одного из них похоронит.

– Экая скотина! – шепнул второй помощник с «Малахини» Питеру Джи.

– Да хоть и будет шторм, что из этого? – сказал капитан «Долли». – Хикихохо никогда еще не заливало.

– Тем вероятнее, что придет и его черед, – возразил капитан Уорфилд. – Не доверяю я этому Хикихохо.

– Кто теперь каркает? – упрекнул его Гриф.

– Черт! Обидно будет потерять новый мотор, пока он не окупился, – пробурчал капитан Уорфилд.

Парлей с неожиданным проворством метнулся сквозь толпу к барометру, висевшему на стене.

– Взгляните-ка, мои храбрые моряки! – воскликнул он торжествующе.

Тот, кто стоял ближе всех, наклонился к барометру. Лицо его вытянулось.

– Упал на десять, – сказал он только, но на всех лицах отразилась тревога, и казалось, каждый готов сейчас же кинуться к выходу.

– Слушайте! – скомандовал Парлей.

Все смолкли, и издали донесся необычайно сильный шум прибоя: С грохотом и ревом он разбивался о коралловый берег.

– Большую волну развело, – сказал кто-то, и все бросились к окнам.

В просветы между пальмами виден был океан. Мерно и неторопливо, одна за другой, наступали на берег огромные ровные волны. Несколько минут все, кто был в комнате, тихо переговариваясь, смотрели на это необычайное зрелище, и с каждой минутой волны росли и поднимались все выше. Таким неестественным и жутким был этот волнующийся при полном безветрии океан, что люди невольно понизили голос. Все вздрогнули, когда раздалось отрывистое карканье старика Парлея:

– Вы еще успеете выйти в открытое море, храбрые джентльмены. У вас есть шлюпки, лагуну можно пройти на буксире.

– Ничего, – сказал Дарлинг, подшкипер с «Кактуса», дюжий молодец лет двадцати пяти. – Шторм идет стороной, к югу. На нас и не дунет.

Все вздохнули с облегчением. Возобновились разговоры, голоса стали громче. Некоторые скупщики даже вернулись к столу и вновь занялись осмотром жемчуга.

– Так, так! – пронзительно выкрикнул Парлей. – Пусть настанет конец света, вы все равно будете торговать.

– Завтра мы непременно купим все это, – подтвердил Айзекс.

– Да, только заключать сделки придется уже в аду.

Взрыв хохота был ответом старику, и это общее недоверие взбесило его. Вне себя он накинулся на Дарлинга:

– С каких это пор таким молокососам стали известны пути шторма? И кем это, интересно знать, составлена карта направления ураганов на Паумоту? В каких книгах вы ее нашли? Я плавал в этих местах, когда самого старшего из вас еще и на свете не было, я знаю, что говорю. Двигаясь к востоку, ураганы описывают такую гигантскую, растянутую дугу, что получается почти прямая линия. А к западу они делают крутой поворот. Вспомните карту. Каким образом в девяносто первом во время урагана затопило Аури и Хиолау? Все дело в дуге, мой мальчик, в дуге! Через час-другой, самое большее через три, поднимется ветер. Вот, слушайте!

Раздался тяжелый, грохочущий удар, мощный толчок потряс коралловое основание атолла. Дом содрогнулся. Темнокожие слуги с бутылками виски и абсента в руках прижались друг к другу, словно искали защиты, и со страхом глядели в окна на громадную волну, которая обрушилась на берег и докатилась до одного из навесов для копры.

Парлей взглянул на барометр, фыркнул и искоса злорадно посмотрел на своих гостей. Капитан тоже подошел к барометру.

– Двадцать девять и семьдесят пять, – сказал он. – Еще на пять упал. О черт! Старик прав, надвигается шторм. Вы как хотите, а я возвращаюсь на «Малахини».

– И все темнеет, – понизив голос чуть не до шепота, произнес Айзекс.

– Черт побери, совсем как на сцене, – сказал Грифу Малхолл, взглянув на часы. – Десять утра, а темно, как в сумерки. Огни гаснут, сейчас начнется трагедия. Где же тихая музыка?

Словно в ответ, раздался грохот. Дом и весь атолл вновь содрогнулись от мощного толчка. В паническом страхе люди бросились к двери. В тусклом свете мертвенно бледные, влажные от пота лица казались призрачными. Айзекс дышал тяжело, с хрипом, вся эта нестерпимая жара давила его.

– К чему такая спешка? Ехидно посмеиваясь, кричал им вдогонку Парлей. – Выпейте напоследок, храбрые джентльмены!

Никто не слушал его. Когда гости дорожкой, выложенной по краям раковинами, направились к берегу, старик высунулся из дверей и окликнул их:

– Не забудьте джентльмены, завтра с десяти утра старый Парлей распродает свой жемчуг.

3

На берегу началась суматоха. Шлюпка за шлюпкой заполнялась спешившими людьми и тотчас отваливала. Тьма сгущалась. Ничто не нарушало тягостного затишья. Всякий раз, как волны извне обрушивались на берег, узкая полоса песка содрогалась под ногами. У самой воды лениво прогуливался Нарий Эринг. Он смотрел, как торопятся отплыть капитаны и скупщики, и ухмылялся. С ним были трое его матросов-канаков и Таи-Хотаури, рулевой с «Малахини». – Лезь в шлюпку и берись за весло, – приказал капитан Уорфилд своему рулевому.

Таи-Хотаури с развязным видом подошел к капитану, а Нарий Эринг и его канаки остановились поодаль и смотрели на них.

– Я на тебя больше не работаю, шкипер! – громко и с вызовом сказал Таи-Хотаури. Но выражение его лица противоречило словам, так как он усиленно подмигивал Уорффилду. – Гони меня, шкипер, – хрипло прошептал он и снова многозначительно подмигнул.

Капитан Уорффилд понял намек и постарался сыграть свою роль как можно лучше. Он поднял кулак и возвысил голос:

– Пошел в шлюпку, или я из тебя дух вышибу! – загремел он.

Канак отступил и угрожающе пригнулся; Гриф стал между ними, стараясь успокоить капитана.

– Я иду служить на «Нухиву», – сказал Таи-Хотаури, отходя к Эрингу и его матросам.

– Вернись сейчас же! – грозно крикнул вслед ему капитан Уорффилд.

– Он ведь свободный человек, шкипер! – громко сказал Нарий Эринг. – Он прежде плавал со мной и ко мне возвращается, только и всего.

– Скорее, нам пора на шхуну, – торопил Гриф. – Смотрите, становится совсем темно.

Капитан Уорффилд сдался; но едва шлюпка отошла от берега, он, стоя на корме, выпрямился во весь рост и кулаком погрозил оставшимся.

– Я вам это припомню, Нарий! – крикнул он. – Никто из шкиперов, кроме вас, не сманивает чужих матросов.

Он сел на свое место.

– Что это у Таи-Хотаури на уме? – негромко, с недоумением сказал он. – Что-то он задумал, только не пойму, что именно.

4

Как только шлюпка подошла вплотную к «Малахини», через борт навстречу прибывшим перегнулся встревоженный Герман.

– Барометр летит вниз, – сообщил он. – Надо ждать урагана. Я распорядился отдать второй якорь с правого борта.

– Приготовьте и большой тоже, – приказал Уорффилд, возвращаясь к своим капитанским обязанностям. – А вы, кто-нибудь, поднимите шлюпку на палубу. Поставить ее вверх дном и принайтовить как следует!

На всех шхунах команда торопливо готовилась к шторму. Судно за судном подбирало грохотавшие якорные цепи, поворачивалось и отдавало второй якорь. Там, где, как на «Малахини», был третий, запасной якорь, готовились отдать и его, когда определится направление ветра.

Мощный рев прибоя все нарастал, хотя лагуна по-прежнему лежала невозмутимо гладкая, как зеркало. На песчаном берегу, где стоял дом Парлея, все было пустынно и безжизненно. У навесов для лодок и для копры, у сараев, где складывали раковины, не видно было ни души.

– Я рад бы сейчас же поднять якоря и убраться отсюда, – сказал Гриф. – В открытом море я

бы так и сделал. Но тут мы заперты: цепи атоллов тянутся и с севера и с востока. Как по-вашему, Уорфилд?

– Я с вами согласен, хотя лагуна в шторм и не так безопасна, как мельничная запруда. Хотел бы я знать, с какой стороны он налетит. Ого! Один склад Парлея уже готов!

Они увидели, как приподнялся и рухнул сарай, снесенный волной, которая, вскипая пеной, перекатилась через песчаный гребень атолла в лагуну.

– Перехлестывает! – воскликнул Малхолл. – И это – только начало. Вот опять!

Новая волна подбросила остов сарая и отхлынула, оставив его на песке. Третья разбила его и вместе с обломками понеслась по склону вниз, в лагуну.

– Уж скорей бы шторм. Может, хоть прохладнее станет, – проворчал Герман. – Совсем дышать нечем, настоящее пекло! Я изжарился, как в печке.

Ударом ножа он вскрыл кокосовый орех и с жадностью выпил сок. Остальные последовали его примеру, а в это время у них на глазах волной снесло и разбило в щепы еще один сарай Парлея, служивший складом раковин. Барометр упал еще ниже и показывал 29,50.

– Видно мы оказались чуть не в самом центре низкого давления, – весело сказал Гриф. – Я еще ни разу не бывал в сердце урагана. Это и вам будет любопытно, Малхолл. Судя по тому, как быстро падает барометр, переделка нам предстоит нешуточная.

Капитан Уорфилд охнул, и все обернулись к нему. Он смотрел в бинокль на юго-восток, в дальний конец лагуны.

– Вот оно! – негромко сказал он.

Видно было и без бинокля. Странная, ровная пелена тумана стремительно надвигалась на них, скользя по лагуне. Приближаясь, она низко пригибала растущие вдоль атолла кокосовые пальмы, несла тучу сорванных листьев. Вместе с ветром скользила по лагуне сплошная полоса потемневшей, взбаламученной воды. Впереди, точно застрельщики, мелькали такие же темные клочки, исхлестанные ветром. За этой полосой двигалась другая, зеркально гладкая и спокойная, шириною в четверть мили. Следом шла новая темная, взвихренная ветром полоса, а дальше вся лагуна белела пеной, кипела и бурлила.

– Что это за гладкая полоса? – спросил Малхолл.

– Штиль, – ответил Уорфилд.

– Но он движется с той же скоростью, что и ветер, – возразил Малхолл.

– А как же иначе? Если ветер нагонит его, так и штиля никакого не будет. Это двойной шквал. Когда-то я попал в такой на Савайи. Вот это был двойной! Бац! Он обрушился на нас, потом вдруг тишина, и потом снова ударило. Внимание! Сейчас нам достанется. Смотрите на «Роберту»!

«Роберту», стоявшую ближе всех бортом к ветру на ослабших якорных цепях, подхватило, как соломинку, и понесло, но якорные цепи тотчас натянулись – и она, резко рванувшись, стала носом к ветру. Шхуна за шхуной, в том числе и «Малахини», срывались с места, подхваченные налетевшим шквалом, и разом останавливались на туго натянутых цепях. Когда якоря остановили «Малахини», толчок был так силен, что Малхолл и несколько канаков не удержались на ногах.

И вдруг ветра как не бывало. Летящая полоса штиля захватила их. Гриф чиркнул спичкой, и

ничем не защищенный огонек спокойно, не мигая, разгорелся в недвижном воздухе. Было темно и хмуро, как в сумерки. Затянутое тучами небо, казалось, с каждым часом нависавшее все ниже, теперь словно прильнуло вплотную к океану.

Но вот на «Роберту» обрушился второй удар урагана, и она, а затем и остальные шхуны, одна за другой, вновь рванулись на якорях. Океан яростно кипел, весь в белой пене, в мелких и острых, сыплющих брызгами волнах. Палуба «Малахини» непрерывно дрожала под ногами. Туго натянутые фалы отбивали на мачтах барабанную дробь, и все снасти сотрясались, точно под неистовыми ударами чьей-то могучей руки. Стоя против ветра, невозможно было дышать. Малхолл, который в поисках убежища вместе с другими скорчился за рубкой, убедился в этом, нечаянно оказавшись лицом к ветру: легкие его мгновенно переполнились воздухом, и он чуть не задохнулся прежде, чем успел отвернуться и перевести дыхание.

– Невероятно! – с трудом произнес он, но его никто не слышал.

Герман и несколько канаков ползком, на четвереньках пробирались на бак, чтобы отдать третий якорь. Гриф тронул капитана Уорфилда за плечо и показал на «Роберту». Она надвигалась на них, волоча якоря. Уорфилд закричал в самое ухо Грифу:

– Мы тоже тащим якоря!

Гриф кинулся к штурвалу и, быстро положив руль на борт, заставил «Малахини» взять влево. Третий якорь удержался, и «Роберту» пронесло мимо, кормой вперед, на расстоянии каких-нибудь двенадцати ярдов. Гриф и его спутники помахали Питеру Джи и капитану Робинсону, которые вместе с матросами хлопотали на носу «Роберты».

– Питер решил расклепать цепи! – закричал Гриф. – Пробует выйти из лагуны! Ничего другого не остается, якоря ползут!

– А мы держимся! – крикнул в ответ Уорфилд. – Смотрите, «Кактус» налетел на «Мизи». Теперь им крышка!

До сих пор «Мизи» держалась, но «Кактус», налетев на нее всей тяжестью, сорвал ее с места, и теперь обе шхуны, сцепившись снастями, скользили по вспененным волнам. Видно было, как их команды рубят снасти, стараясь разъединить суда. «Роберта», освободившись от якорей и поставив кливер, направлялась к выходу в северо-западном конце лагуны. Ей удалось пройти его, и с «Малахини» видели, как она вышла в открытое море. Но «Мизи» и «Кактус» так и не сумели расцепиться, и их выбросило на берег в полумиле от выхода из атолла.

Ветер неуклонно крепчал, и казалось, этому не будет конца. Чтоб выдержать его напор, приходилось напрягать все силы, и тот, кто вынужден был ползти по палубе против ветра, в несколько минут доходил до полнейшего изнеможения. Герман и канаки упрямо делали свое дело – крепили все, что только возможно было закрепить. Ветер рвал с плеч рубашки и раздирал их в клочья. Люди двигались так медленно, словно тела их весили много тонн; при этом они постоянно искали какой-нибудь опоры и не выпускали ее, не ухватившись сначала за что-нибудь другой рукой. Свободные концы тросов торчали горизонтально, и ветер, измочалив их, отрывал по клочку и уносил прочь.

Малхолл тронул за плечо тех, кто был рядом, и указал на берег. Крытые травой навесы исчезли, а дом Парлея шатался, как пьяный. Ветер дул вдоль атолла, и поэтому дом был защищен вереницей кокосовых пальм, тянувшейся на несколько миль. Но громадные валы, перехлестывая через атолл, снова и снова ударяли в стены, подтачивая и дробя фундамент. Дом уже накренился и сползал по песчаному склону; он был обречен. Там и тут люди взбирались на кокосовые пальмы и привязывали себя к дереву. Пальмы не раскачивались на ветру, но, согнувшись под его напором, уже не разгибались, а только дрожали, как натянутая

стрела. Под ними на песке вскипала белая пена.

Вдоль лагуны перекатывались теперь такие же громадные валы, как и в открытом море. Им было где разгуляться на протяжении десяти миль от наветренного края атолла до места стоянки судов, и все шхуны то глубоко ныряли, накрытые волной, то поднимались чуть ли не отвесно на ее гребне. «Малахини» стала зарываться носом до самого полубака, а в иные минуты палубу до поручней заливало водой.

– Пора пустить ваш мотор! – во все горло закричал Гриф, и капитан Уорфилд, ползком добравшись до механика, стал громко и решительно отдавать приказания.

Мотор заработал на полный ход вперед, и «Малахини» начала держаться получше. Правда, она по-прежнему зарывалась носом, но уже не так яростно рвалась с якорей. Однако и теперь цепи были натянуты до отказа. С помощью мотора в сорок лошадиных сил удалось лишь немного ослабить их натяжение.

А ветер все крепчал. Маленькой «Нухиве», стоявшей на якоре рядом с «Малахини», ближе к берегу, приходилось совсем плохо; притом ее мотор до сих пор не исправили, и капитана не было на борту. Она так часто и так глубоко зарывалась носом, что всякий раз, как ее захлестывало волной, на «Малахини» теряли надежду вновь ее увидеть. В три часа дня «Нухиву» накрыло волной; не успела вода схлынуть с палубы, как вдогонку обрушился новый вал, и на этот раз «Нухива» уже не вынырнула.

Малхолл вопросительно взглянул на Грифа.

– Проломило люки! – прокричал тот в ответ.

Капитан Уорфилд показал на «Унифрид» – маленькую шхуну, которая металась и ныряла по другую сторону от «Малахини», – и что-то закричал в самое ухо Грифу. До того доносились только смутные обрывки слов, остальное исчезало в реве урагана.

– Дрянная посуда... Якоря держат... Но как сама не рассыплется!.. Стара, как ноев ковчег.

Часом позже Герман снова показал на «Унифрид». Резкие рывки, сотрясавшие шхуну всякий раз, когда якорные цепи удерживали ее на месте, просто-напросто разнесли ее на куски; вся носовая часть вместе с фок-мачтой и битенгом исчезла. Шхуна повернулась бортом к волне, скатилась в провал между двумя валами, постепенно погружаясь передней частью в воду, – и так, – почти опрокинутую, ее погнало к берегу.

Теперь осталось только пять шхун, из них с мотором одна лишь «Малахини». Две оставшихся, опасаясь, как бы и их не постигла участь «Нухивы» или «Унифрид», последовали примеру «Роберты»: расклепали якорные цепи и понеслись к выходу из лагуны. Первой шла «Долли», но у нее сорвало кливер, и она разбилась на подветренном берегу атолла, неподалеку от «Мизи» и «Кактуса». Это не остановило «Мону», она тоже снялась с якорей и тоже разбилась, не достигнув устья лагуны.

– А хорош у нас мотор! – во все горло крикнул капитан Уорфилд Грифу.

Владелец шхуны крепко пожал ему руку.

– Мотор себя окупит! – закричал он в ответ. – Ветер заходит к югу, теперь нам станет легче!

Ветер по-прежнему дул со все нарастающей силой, но при этом постепенно менял направление, поворачивая к югу и юго-западу, так что наконец три оставшиеся шхуны стали под прямым углом к берегу. Ураган подхватил то, что осталось от дома Парлея, и швырнул в лагуну; обломки понесло на уцелевшие суда. Миновав «Малахини», вся груда рухнула на «Папару», стоявшую в четверти мили позади нее. Команда кинулась на бак и в четверть часа



отчаянными усилиями свалила остатки дома за борт, но при этом «Папара» потеряла фок-мачту и бушприт.

Левее «Малахини» и ближе к берегу стояла «Тахаа», стройная, точно яхта, но с несоразмерно тяжелым рангоутом. Ее якоря еще держались, но капитан, видя, что ветер не ослабевает, приказал рубить мачты.

– С таким мотором нас можно поздравить! – крикнул Гриф своему шкиперу. – Нам, пожалуй, не придется рубить мачты.

Капитан Уорфилд с сомнением покачал головой.

Как только ветер переменился, улеглось и волнение в лагуне, зато теперь шхуну бросали то вверх, то вниз перехлестывающие через атолл валы океана. На берегу уцелели далеко не все пальмы. Одни были сломаны чуть не у самой земли, другие вырваны с корнем. На глазах у тех, кто был на борту «Малахини», под напором ветра ствол одной пальмы переломился посередине и верхушку вместе с тремя людьми, уцепившимися за нее, швырнуло в лагуну. Двое, оставив дерево, поплыли к «Тахаа». Немного позже, перед тем, как совсем стемнело, один из них показался на корме шхуны, прыгнул за борт и поплыл к «Малахини», уверенно и сильно рассекая мелкие и острые, брызжущие пеной волны.

– Это Таи-Хотаури, – взглядевшись, решил Гриф. – Теперь мы узнаем все новости.

Канак, ухватившись за конец каната, вскарабкался на нос и пополз по палубе. Ему дали кое-как укрыться от ветра за рубкой и передохнуть; и потом, отрывочно, больше жестами, чем словами, он стал рассказывать:

– Нарий... разбойник, дьявол!.. хотел украсть жемчуг... убить Парлея... один человек убьет... никто не знает кто... Три канака, Нарий, я... пять бобов в шляпе... Нарий сказал, один боб черный... Нарий проклятый обманщик – все бобы черные... пять черных... в сарае темно... все вытащили черные... Подул большой ветер, надо спасаться... все влезли на деревья... Этот жемчуг приносит несчастье, я вам говорил... он приносит несчастье...

– Где Парлей? – крикнул Гриф.

– На дереве... с ним три канака... А Нарий с одним канаком на другом дереве... Мое дерево сломалось и полетело к чертям, а я поплыл на шхуну...

– Где жемчуг?

– На дереве, у Нария. Может, он еще достанется Нарию...

Одному за другим Гриф прокричал на ухо спутникам то, что рассказал ему Таи-Хотаури. Больше всех возмутился капитан Уорфилд, он даже зубами заскрипел от ярости.

Герман спустился в трюм и вернулся с фонарем, но как только подняли фонарь над рубкой, ветер задул его. Кое-как общими усилиями удалось наконец зажечь нактоузный фонарик.

– Ну и ночка! – закричал Гриф в самое ухо Малхоллу. – И ветер все крепчает!

– А какая скорость?

– Сто миль в час... а то и двести... не знаю... Никогда ничего подобного не видел.

Волнение в лагуне тоже усиливалось, так как огромные валы все время перекатывались через атолл. За многие сотни миль ветер гнал воды океана обратно, навстречу отливу, преодолевая его и переполняя лагуну. А как только начался прилив, наступающие на атолл

валы стали еще выше. Луна и ветер точно сговорились опрокинуть на Хикихохо весь Тихий океан.

В очередной раз заглянув в машинное отделение, капитан Уорфилд вернулся растерянный и сообщил, что механик лежит в обмороке.

– Нам нельзя остановить мотор, – прибавил он беспомощно.

– Ладно, – сказал Гриф. – Тащите механика на палубу. Я его сменю.

Люк, ведущий в машинное отделение, был задраен наглухо, и попасть туда можно было только из каюты, через тесный, узкий проход. В крохотном машинном отделении стояла нестерпимая жара и духота, воняло перегаром бензина. Гриф наскоро, опытным взглядом, оглядел мотор и все снаряжение. Потом задул керосиновую лампу и начал работать в полной темноте; ему светил лишь кончик сигары, – он курил их одну за другой, всякий раз выходя в каюту, чтобы зажечь новую. Каким он ни был спокойным и уравновешенным, а вскоре и его нервы стали сдавать – так тяжело было оставаться здесь взаперти, вдвоем с механическим чудовищем, которое надрывалось, пыхтело и стонало в этой гулкой тьме. Гриф был обнажен до пояса, перепачкан смазкой и машинным маслом, весь в ссадинах и синяках, потому что качкой его то и дело швыряло и бросало во все стороны; от спертости, отравленного воздуха кружилась голова, так он работал час за часом, без конца возился с мотором, осыпая его и каждую его часть в отдельности то благословениями, то проклятиями. Зажигание начало пошаливать. Горючее поступало с перебоями. И что хуже всего, начали перегреваться цилиндры. В каюте наскоро посоветовались, причем метис-механик просил и умолял на полчаса выключить мотор, чтобы дать ему хоть немного остыть и тем временем наладить подачу воды. А капитан Уорфилд твердил, что выключать ни в коем случае нельзя. Метис клялся, что тогда мотор выйдет из строя и все равно остановится, но уже навсегда. Гриф, весь перепачканный, избитый, исцарапанный, сверкая воспаленными глазами и крича во все горло, выругал обоих и распорядился по-своему. Малхоллу, Герману и второму помощнику велено было остаться в каюте и дважды и трижды профильтровать бензин. В настиле машинного отделения прорубили отверстие, и один из канаков стал раз за разом окатывать цилиндры водой из трюма, а Гриф поминутно смазывал все подвижные части.

– Вот не знал, что вы такой специалист по бензину, – с восхищением сказал капитан Уорфилд, когда Гриф вышел в каюту, чтобы глотнуть менее отравленного воздуха.

– Я купаюсь в бензине, – ответил тот, яростно скрипнув зубами. – Я пью его.

Какое еще употребление нашел Гриф для бензина, осталось неизвестным: «Малахини» внезапно и круто зарылась носом в волну – и всех, кто находился в каюте, и бензин, который они процеживали, с размаху отбросило на переднюю переборку. Несколько минут никто не мог подняться на ноги, люди катались по палубе то назад, то вперед, их било и колотило о переборки. На шхуну обрушились один за другим три гигантских вала, она вся закрипела, застонала, затряслась под непосильным грузом переполнившейся палубы воды. Гриф пополз к мотору, а капитан Уорфилд, улучив минуту, выбрался по трапу на палубу.

Прошло добрых полчаса, прежде чем он вернулся.

– Вельбот снесло, – сообщил он. – И ялик! Все смыло, остались только палуба да люки! Если бы не мотор, тут бы нам и крышка. Действуйте дальше!

К полуночи голова и легкие механика настолько очистились от паров бензина, что он сменил Грифа, и тот наконец мог выйти на палубу и отдышаться. Он присоединился к остальным – они скорчились позади рубки, держась за все, за что только можно было ухватиться, и вдобавок для верности накрепко привязав себя веревками. Все смешалось в этой человеческой каше, потому что и для канаков не было другого укрытия. Некоторые из них по

приглашению капитана сунулись было в каюту, но бензиновый угар скоро выгнал их оттуда. «Малахини» то и дело ныряла или ее окатывало волной, и люди вдыхали воздух, полный мельчайших брызг и водяной пыли.

– Тяжеленько приходится, а, Малхолл? – крикнул гостю Гриф в перерыве между двумя валами.

Малхолл, задыхаясь и кашляя, только кивнул в ответ. Вода, скопившаяся на палубе, не успевала уходить за борт через шпигаты – она перекачивалась по шхуне, выплескивалась через фальшборт, и тут же «Малахини» черпала другим бортом или порою совсем оседала на корму, задрав нос в небо, и тогда водяная лавина проносилась по всему судну из конца в конец. Потоки воды хлестали по трапам, по палубе рубки, окатывали, били и сталкивали друг с другом укрывшихся здесь людей и водопадом выливались за корму.

Малхолл первый заметил при тусклом свете фонарика темную фигуру и показал на нее Грифу. Это был Нарий Эринг. Он каким-то чудом держался на палубе, скорчившись в три погибели, совершенно голый; на нем был только пояс, и за поясом – обнаженный нож.

Капитан Уорфилд развязал удерживавшие его веревки и перебрался через чужие плечи и спины. Свет фонарика упал на его искаженное гневом лицо. Губы его шевелились, но слова относил ветром. Он не пожелал нагнуться к Эрингу и кричать ему в самое ухо. Он просто указал на борт. Нарий понял. Зубы его блеснули в дерзкой, глумливой усмешке, и он поднялся – рослый, мускулистый, великолепно сложенный.

– Это убийство! – крикнул Малхолл Грифу.

– Собирался же он убить старика Парлея! – закричал в ответ Гриф. На мгновение вода схлынула с юта, и «Малахини» выпрямилась. Нарий храбро шагнул к борту, но порыв ветра сбил его с ног. Тогда он пополз и скрылся в темноте, но все были уверены, что он прыгнул за борт. «Малахини» снова круто зарылась носом, а когда волна схлынула с кормы, Гриф дотянулся до Малхолла и крикнул тому в ухо:

– Ему это нипочем! Его на Таити зовут Человек-рыба! Он переплывет лагуну и вылезет на том краю атолла, если только от атолла хоть что-нибудь уцелело.

Через пять минут, когда шхуну накрыло волной, на палубу рубки, а с нее – на тех, кто укрывался за нею, свалился клубок человеческих тел. Их схватили и держали, пока не схлынула вода, а потом стащили вниз и тогда только разглядели, кто это. На полу, неподвижный, с закрытыми глазами, лежал навзничь старик Парлей. С ним были его родичи канаки. Все трое – голые и в крови. У одного канака рука была сломана и висела, как плеть. У другого была содрана кожа на голове, и зияющая рана сильно кровоточила.

– Дело рук Нария? – спросил Малхолл.

Гриф покачал головой.

– Нет. Их расшибло о палубу и о рубку.

Вдруг все переглянулись, ошеломленные, недоумевающие. Что случилось? Не сразу они поняли, что ветра больше нет. Он прекратился внезапно, как будто обрубленный взмахом меча. Шхуна раскачивалась, ныряла в волнах, рвалась с якорей, и только теперь стало слышно, как гремят и лязгают цепи. Впервые люди услышали и плеск воды на палубе. Механик отключил винт и приглушил мотор.

– Мы в мертвой точке циклона, – сказал Гриф. – Сейчас ветер изменит направление. Опять начнется, и еще покрепче. – И, поглядев на барометр, прибавил: – Двадцать девять и

тридцать два.

Ему не сразу удалось понизить голос – он столько часов кряду старался перекричать бурю, что теперь, в наступившем затишье, чуть не оглушил окружающих.

– У старика все ребра переломаны, – сказал второй помощник, ощупывая бок Парлея. – Он еще дышит, но дело его плохо.

Парлей застонал, бессильно шевельнул рукой и открыл глаза. Взгляд у него был ясный и осмысленный.

– Мои храбрые джентльмены, – услышали они прерывающийся шепот. – Не забудьте... аукцион... ровно в десять... в аду.

Веки его опустились, нижняя челюсть стала отвисать, но он на мгновение одолел предсмертную судорогу и в последний раз громко, насмешливо хихикнул.

Снова все демоны неба и океана сорвались с цепи. Прежний, уже знакомый рев урагана наполнил уши. «Малахини», подхваченная ветром, совсем легла на борт, с маху описав крутую дугу. Якоря удержали ее; она стала носом к ветру и рывком выпрямилась. Подключили винт, вновь заработал мотор.

– Норд-вест! – крикнул капитан Уорфилд вышедшему на палубу Грифу. – Сразу перескочил на восемь румбов!

– Теперь Эрингу не переплыть лагуну! – заметил Гриф.

– Тем хуже, черт опять принесет его к нам!

5

Как только центр циклона миновал их, барометр начал подниматься. В то же время ветер быстро слабел. И когда он стал всего лишь обыкновенным сильным штормом, мотор последним судорожным напряжением своих сорока лошадиных сил сорвался с фундамента, подскочил в воздух и тут же рухнул набок. Вода из трюма с шипением окатила его, и все окуталось облаком пара. Механик горестно застонал, но Гриф с нежностью поглядел на эти железные останки и вышел в рубку, комьями пакли обтирая руки и грудь, перепачканные машинным маслом.

Солнце уже поднялось высоко, и дул легчайший ветерок, когда Гриф вышел на палубу, зашив рану на голове одного родича Парлея и вправив руку второму. «Малахини» стояла у самого берега. На баке Герман с командой выбирали якоря и приводили в порядок перепутавшиеся цепи. «Папара» и «Тахаа» исчезли, и капитан Уорфилд внимательно осматривал в бинокль дальний берег атолла.

– Ни одной мачты не видать, – сказал он. – Вот что получается, когда плаваешь без мотора. Должно быть, их унесло в открытое море еще до того, как ветер переменялся.

На берегу, в том месте, где стоял прежде дом Парлея, не видно было никаких следов жилья. На протяжении трехсот ярдов, там, где океан ворвался в кольцо атолла, не сохранилось не только деревья, но и ни единого пня. Дальше кое-где одиноко стояли уцелевшие пальмы, но большинство было сломлено у самого корня, торчали лишь короткие обрубки. Таи-Хотаури заметил, что на одной из пальм среди листьев что-то шевелится. Шлюпки с «Малахини»

смыло ураганом, и Таи-Хотаури бросился в воду и поплыл к берегу, а затем вскарабкался на дерево. Оставшиеся на шхуне не спускали с него глаз.

Потом он вернулся, и ему помогли поднять на борт девушку туземку из числа домочадцев Парлея. Но прежде чем подняться самой, она протянула наверх измятую, поломанную корзинку. В корзинке оказался выводок слепых котят – они были уже мертвы, кроме одного, который слабо попискивал и шатался на неловких, расплзающихся лапках.

– Вот те на! – сказал Малхолл. – А это кто?

И все увидели, что берегом идет человек. Его движения были так беспечны и небрежны, словно он просто вышел поутру прогуляться. Капитан Уорфилд скрипнул зубами: это был Нарий Эринг.

– Эй, шкипер! – крикнул Нарий, поравнявшись с «Малахини». – Может, вы пригласите меня к себе и угостите завтраком?

Кровь бросилась в лицо капитану Уорфилду, и даже шея его побагровела. Он хотел что-то сказать, но поперхнулся словами.

– Я вас... в два счета... – только и сумел он выговорить.

\* \* \*

## ЗА ТЕХ, КТО В ПУТИ!

– Лей еще!

– Послушай, Кид, а не слишком ли крепко будет? Виски со спиртом и так уж забористая штука, а тут еще и коньяк, и перцовка, и...

– Лей, говорят тебе! Кто из нас prepares пунш: ты или я? – Сквозь клубы пара видно было, что Мэйлмют Кид добродушно улыбается. – Вот поживешь с мое в этой стране, сынок, да будешь изо дня в день жрать одну вяленую лососину, тогда поймешь, что рождество раз в году бывает. А рождество без пунша все равно что прииск без крупинки золота!

– Уж это что верно, то верно! – подтвердил Джим Белден, приехавший сюда на рождество со своего участка на Мэйзи-Мэй. Все знали, что Большой Джим последние два месяца питался только олениной. – А помнишь, какую выпивку мы устроили раз для племени танана? Не забыл, небось?

– Ну еще бы! Ребята, вы бы лопнули со смеху, если бы видели, как все племя передралось спяну, а поило-то было просто из перебродившего сахара да закваски. Это еще до тебя было, – обратился Мэйлмют Кид к Стэнли Принсу, молодому горному инженеру, жившему здесь только два года. – Понимаешь, ни одной белой женщины во всей стране, а Мэйсон хотел жениться. Отец Руфи был вождем племени танана и не хотел отдавать ее в жены Мэйсону, и племя не хотело. Трудная была задача! Ну, я и пустил в ход свой последний фунт сахара. Ни разу в жизни не готовил ничего крепче! Ох, и гнались же они за нами и по берегу и через реку!

– Ну, а сама скво как? – спросил, заинтересовавшись, Луи Савой, высокий француз из Канады. Он еще в прошлом году на Сороковой Миле слышал об этой лихой выходке.

Мэйлмют Кид, прирожденный рассказчик, стал излагать правдивую историю этого северного Лохинвара. И, слушая его, не один суровый искатель приключений чувствовал, как у него сжимается сердце от смутной тоски по солнечным землям Юга, где жизнь обещала нечто большее, чем бесплодную борьбу с холодом и смертью.

– Мы перешли Юкон, когда лед только тронулся, – заключил Кид, – а индейцы на четверть часа отстали. И это нас спасло: лед шел уже по всей реке, путь был отрезан. Когда они добрались, наконец, до Нуклукайто, весь пост был наготове. А насчет свадьбы расспросите вот отца Рубо, он их венчал.

Священник вынул изо рта трубку и вместо ответа улыбнулся с отеческим благодушием, а все остальные, и протестанты и католики энергично зааплодировали.

– А, ей-богу, это здорово! – воскликнул Луи Савой, которого, видимо, увлекла романтичность этой истории. – *La petite*[5] *skvo! Mon Mason brave!*[6] Здорово!

Когда оловянные кружки с пуншем в первый раз обошли круг, неугомонный Беттлз вскочил и затащил свою любимую застольную:

Генри Бичер совместно

С учителем школы воскресной

Дуют целебный напиток,

Пьют из бутылки простой;

Но можно, друзья, поклясться:

Нас провести не удастся,

Ибо в бутылке этой

Отнюдь не невинный настой!

И хор гуляк с ревом подхватил:

Ибо в бутылке этой

Отнюдь не невинный настой!

Крепчайшая смесь, состряпанная Мэйлмютом Кидом, возымела свое действие: под влиянием ее живительного тепла развязались языки, и за столом пошли шутки, песни, рассказы о пережитых приключениях. Пришельцы из разных стран, они пили за всех и каждого. Англичанин Принс провозгласил тост за «дядю Сэма, скороспелого младенца Нового Света»; янки Беттлз – за королеву Англии «да хранит ее господь!»; а француз Савой и немец-скупщик Майерс чокнулись за Эльзас-Лотарингию.

Потом встал Мэйлмют Кид с кружкой в руке и, бросив взгляд на оконце, в котором стекло заменяла промасленная бумага, покрытая толстым слоем льда, сказал:

– Выпьем за тех, кто сегодня ночью в пути. За то, чтобы им хватило пищи, чтобы собаки их не сдали, чтобы спички у них не отсырели!

И вдруг они услышали знакомые звуки, щелканье бича, визгливый лай ездовых собак и скрип нарт, подъезжавших к хижине. Разговор замер, все ждали проезжего.

– Человек бывалый! Прежде заботится о собаках, а потом уже о себе, – шепнул Мэйлмют Кид Принсу. Щелканье челюстей, рычание и жалобный собачий визг говорили его опытному уху, что незнакомец отгоняет чужих собак и кормит своих.

Наконец в дверь постучали – резко, уверенно. Проезжий вошел. Ослепленный светом, он с минуту стоял на пороге, так что все имели возможность рассмотреть его. В своей полярной меховой одежде он выглядел весьма живописно: шесть футов роста, широкие плечи, могучая грудь. Его гладко выбритое лицо покраснело от мороза, брови и длинные ресницы заиндевели. Расстегнув свой капюшон из волчьего меха, он стоял, похожий на снежного короля, появившегося из мрака ночи. За вышитым бисером поясом, надетым поверх куртки, торчали два больших кольца и охотничий нож, а в руках, кроме неизбежного бича, было крупнокалиберное ружье новейшего образца. Когда он подошел ближе, то, несмотря на его уверенный, упругий шаг, все увидели, как сильно он устал.

Наступившее было неловкое молчание быстро рассеялось от его сердечного: «Эге, да у вас тут весело, ребята!» – и Мэйлмют Кид тотчас пожал ему руку. Им не приходилось встречаться, но они знали друг друга понаслушке. Прежде чем гость успел объяснить, куда и зачем он едет, его познакомили со всеми и заставили выпить кружку пунша.

– Давно ли проехали здесь три человека на нартах, запряженных восемью собаками? – спросил он.

– Два дня тому назад. Вы за ними гонитесь?

– Да, это моя упряжка. Угнали ее у меня прямо из-под носа, подлецы! Два дня я уже выиграл, нагоню их на следующем перегоне.

– Думаете, без драки не обойдется? – спросил Белден, чтобы поддержать разговор, пока Мэйлмют Кид кипятил кофе и поджаривал ломти свиного сала и кусок оленины.

Незнакомец многозначительно похлопал по своим револьверам.

– Когда выехали из Доусона?

– В двенадцать.

– Вчера? – спросил Белден, явно не сомневаясь в ответе.

– Сегодня.

Пронесся шепот изумления: шутка ли, за двенадцать часов проехать семьдесят миль по замерзшей реке.

Разговор скоро стал общим, он вертелся вокруг воспоминаний детства. Пока молодой человек ел свой скромный ужин, Мэйлмют Кид внимательно изучал его лицо. Оно ему сразу понравилось: приятное, честное и открытое. Тяжелый труд и лишения успели оставить на нем свой след. Голубые глаза смотрели весело и добродушно во время дружеской беседы, но чувствовалось, что они способны загораться стальным блеском, когда ему приходится действовать, и особенно в решительную минуту. Массивная челюсть и квадратный подбородок говорили о твердом и неукротимом нраве. Однако наряду с этими признаками сильного человека в нем была какая-то почти женская мягкость, выдававшая

впечатлительную натуру.

– Так-то мы со старухой и поженились, – говорил Белден, заканчивая увлекательный рассказ о своем романе. – «Вот и мы, папа», – говорит она. А отец ей: «Убирайтесь вы к черту!» А потом обернулся ко мне, да и говорит: «Снимай-ка, Джим, свой парадный костюм – до обеда надо вспахать порядочную полосу». Потом как прикрикнет на дочку: «А ты, Сэл, марш мыть посуду!» – и вроде всхлипнул и поцеловал ее. Я и обрадовался. А он заметил да как зарычит: «А ну, поворачивайся, Джим!» Я так и покотился в амбар.

– У вас и ребятишки остались в Штатах? – осведомился проезжий.

– Нет, Сэл умерла, не родив мне ни одного. Вот я и приехал сюда.

Белден рассеянно принялся раскуривать погасшую трубку, но потом опять оживился и спросил:

– А вы женаты, приятель?

Тот вместо ответа снял свои часы с ремешка, заменявшего цепочку, открыл их и передал Белдену. Джим поправил фитиль, плававший в жиру, критически осмотрел внутреннюю сторону крышки и, одобрительно чертыхнувшись про себя, передал часы Луи Савою. Луи, несколько раз повторив «ах, черт!», протянул их наконец Принсу, и все заметили, как у того задрожали руки и в глазах зацветилась нежность. Часы переходили из одних мозолистых рук в другие. На внутренней стороне крышки была наклеена фотография женщины с ребенком на руках – одной из тех кротких, привязчивых женщин, которые нравятся таким мужчинам.

Те, до кого еще не дошла очередь полюбоваться этим чудом, сгорали от любопытства, а те, кто его уже видел, примолкли и задумались о прошлом. Этим людям не страшен был голод, вспышки цинги, смерть, постоянно подстерегавшая на охоте или во время наводнения, но сейчас изображение неизвестной им женщины с ребенком словно сделало их самих женщинами и детьми.

– Еще ни разу не видел малыша. Только из ее письма и узнал, что сын, – ему уже два года, – сказал проезжий, получив обратно свое сокровище. Он минуту-другую смотрел на карточку, потом захлопнул крышку часов и отвернулся, но не настолько быстро, чтобы скрыть набежавшую слезу.

Мэйлмют Кид подвел его к койке и предложил лечь.

– Разбудите меня ровно в четыре, только непременно! – Сказав это, он почти тотчас же уснул тяжелым сном сильно уставшего человека.

– Ей-богу, молодчина! – объявил Принс. – Поспать три часа, проехав семьдесят пять миль на собаках, и снова в путь! Кто он такой, Кид?

– Джек Уэстондэйл. Он уже три года здесь. Работает как вол, а все одни неудачи. Я его до сих пор не встречал, но мне о нем рассказывал Ситка Чарли.

– Тяжело, верно, разлучиться с такой славной молодой женой и торчать в этой богом забытой дыре, где один год стоит двух.

– Уж такой упорный. Два раза здорово заработал на заявке, а потом все потерял.

Разговор этот был прерван шумными возгласами Беттлза. Волнение, вызванное снимком, улеглось. И скоро суровые годы изнуряющего труда и лишений были снова позабыты в бесшабашном веселье. Только Мэйлмют Кид, казалось, не разделял общего веселья и часто с тревогой поглядывал на часы; наконец, надев рукавицы и бобровую шапку, он вышел из



хижины и стал рыться в кладовке.

Он не дождался назначенного времени и разбудил гостя на четверть часа раньше. Ноги у молодого великана совсем одеревенели, и пришлось изо всех сил растирать их, чтобы он мог встать. Пошатываясь, он вышел из хижины. Собаки были уже запряжены, и все готово к отъезду. Уэстондэйлу пожелали счастливого пути и удачи в погоне; отец Рубо торопливо благословил его и бегом вернулся в хижину: стоять при температуре семьдесят четыре градуса ниже нуля с открытыми ушами и руками не очень-то приятно!

Мэйлмют Кид проводил Уэстондэйла до дороги и, сердечно пожав ему руку, сказал:

– Я положил вам в нарты сто фунтов лососевой икры. Собакам этого запаса хватит на столько же, на сколько хватило бы полутораства фунтов рыбы. В Пелли вам еды для собак не достать, а вы, вероятно, на это рассчитывали.

Уэстондэйл вздрогнул, глаза его блеснули, но он слушал Кида, не перебивая.

– Ближе, чем у порогов Файв Фингерз, вы ничего не достанете ни для себя, ни для собак, а туда добрых двести миль. Берегитесь разводьев на Тридцатимильной реке и непременно поезжайте большим каналом повыше озера Ла-Барж – этим здорово сократите себе путь.

– Как вы узнали? Неужели дошли слухи?

– Я ничего не знаю, да и не хочу знать. Но упряжка, за которой вы гонитесь, вовсе не ваша. Ситка Чарли продал ее тем людям прошлой весной. Впрочем, он говорил, что вы честный человек, и я ему верю; лицо мне ваше нравится. И я видел... Черт вас возьми, поберегите слезы для других и для своей жены... – Тут Кид снял рукавицы и вытащил мешочек с золотым песком.

– Нет, в этом я не нуждаюсь. – Слезы замерзли у Уэстондэйла на щеках, он судорожно пожал руку Мэйлмюта Кида.

– Тогда не жалейте собак, режьте постромки, как только какая-нибудь свалится. Покупайте других, сколько бы они ни стоили. Их можно купить у порогов Файв Фингерз, на Литл-Салмон и в Хуталинкава. Да смотрите не промочите ноги, – посоветовал Мэйлмют на прощание. – Не останавливайтесь, если мороз будет не сильнее пятидесяти семи градусов, но когда температура упадет ниже, разведите костер и смените носки.

Не прошло и четверти часа, как звон колокольчиков возвестил прибытие новых гостей. Дверь отворилась, и вошел офицер королевской северо-западной конной полиции в сопровождении двух метисов, погонщиков собак. Как и Уэстондэйл, все трое были вооружены до зубов и утомлены. Метисы, местные уроженцы, легко переносили трудный путь, но молодой полисмен совсем выбился из сил. Только упорство, свойственное людям его расы, заставляло его продолжать погоню; ясно было, что он не отступит, пока не свалится на дороге.

– Когда уехал Уэстондэйл? – спросил он. – Ведь он останавливался здесь?

Вопрос был излишний: следы говорили сами за себя.

Мэйлмют Кид переглянулся с Белденом, и тот, поняв, в чем дело, уклончиво ответил:

– Да уж прошло немало времени.

– Не виляй, приятель, говори начистоту, – предостерегающим тоном сказал полицейский.

– Видно, он вам очень нужен! А что, он натворил что-нибудь в Доусоне?

– Ограбил Гарри Мак-Фарлэнда на сорок тысяч, обменял золото у агента Компании Тихоокеанского побережья на чек и теперь преспокойно получит в Сиэтле денежки, если мы его не перехватим! Когда он уехал?

По примеру Мэйлмюта Кида все старались скрыть свое волнение, и молодой офицер видел вокруг себя безучастные лица.

Он повторил свой вопрос, повернувшись к Принсу. Тот пробурчал что-то невнятное насчет состояния дороги, хотя ему и неприятно было лгать, глядя в открытое и серьезное лицо своего соотечественника.

Тут полицейский заметил отца Рубо. Священник солгать не мог.

– Уехал четверть часа тому назад, – сказал он. – Но он и чобаки отдыхали здесь четыре часа.

– Четверть часа как уехал, да еще отдохнуть успел! О господи!

Полисмен пошатнулся, чуть не теряя сознание от усталости и огорчения, и что-то пробормотал о том, что расстояние от Доусона покрыто за десять часов, и об измученных собаках.

Мэйлмют Кид заставил его выпить кружку пунша. Потом полисмен пошел к дверям и приказал погонщикам следовать за ним. Однако тепло и надежда на отдых были слишком заманчивы, и те решительно воспротивились. Киду был хорошо знаком местный французский диалект, на котором они говорили, и он настороженно прислушивался.

Метисы клялись, что собаки выбились из сил, что Бабетту и Сиваша придется пристрелить на первой же миле, да и остальные не лучше, и не мешало бы отдохнуть.

– Не одолжите ли мне пять собак? – спросил полисмен, обращаясь к Мэйлмюту Киду.

Кид отрицательно покачал головой.

– Я дам вам чек на имя капитана Констэнтайна на пять тысяч. Вот документ: я уполномочен выписывать чеки по своему усмотрению.

Все тот же молчаливый отказ.

– Тогда я реквизирую их именем королевы!

Со скептической усмешкой Кид бросил взгляд на свой богатый арсенал, и англичанин, сознавая, что бессилен, снова повернулся к двери. Погонщики все еще спорили, и он набросился на них с руганью, называя их бабами и трусами. Смуглое лицо старшего метиса покраснело от гнева, он встал и кратко, но выразительно пообещал своему начальнику, что он загонит насмерть головную собаку, а потом с удовольствием бросит его в снег.

Молодой полисмен, собрав все силы, решительно подошел к двери, стараясь выказать бодрость, которой у него уже не было. Все поняли и оценили его стойкость. Но он не мог скрыть мучительной гримасы.

Полузамерзшие собаки скорчились на снегу, и поднять их было невозможно. Бедные животные скулили под сильными ударами бича. Только когда обрезали построжки Бабетты, вожака упряжки, удалось сдвинуть с места нарты и тронуться в путь.

– Ах он мошенник! Лгун!

– Черт его побери!

– Вор!

– Хуже индейца!

Все были явно овозмущены: во-первых, тем, что их одурачили, а во-вторых, тем, что нарушена этика Севера, где главной доблестью человека считается честность.

– А мы-то еще помогли этому сукину сыну! Знать бы раньше, что он наделал!

Все глаза с упреком устремились на Мэйлмюта Киды. Тот вышел из угла, где устроил Бабетту, и молча разлил остатки пунша по кружкам для последней круговой.

– Мороз сегодня, ребята, жестокий мороз! – так странно начал он свою защитительную речь. – Всем вам приходилось бывать в пути в такую ночь, и вы знаете, что это значит. Загнанную собаку не заставишь подняться! Вы выслушали только одну сторону. Никогда еще не ел с нами из одной миски и не укрывался одним одеялом человек честнее Джека Уэстондэйла. Прошлой осенью он отдал осорок тысяч – все, что имел, – Джо Кастреллу, чтобы тот вложил их в какое-нибудь верное дело в Канаде. Теперь Джек мог бы быть миллионером. А знаете, что сделал Кастрелл? Пока Уэстондэйл оставался в Серкле, ухаживая за своим компаньоном, заболевшим цингой, Кастрелл играл в карты у Мак-Фарлэнда и все спустил. На другой день его нашли в снегу мертвым. И все мечты бедняги Джека поехать зимой к жене и сынишке, которого он еще не видал, разлетелись в прах. Заметьте, он взял столько, сколько проиграл Кастрелл, – сорок тысяч. Теперь он ушел. Что вы теперь скажете?

Кид окинул взглядом своих судей, заметил, как смягчилось выражение их лиц, и поднял кружку.

– Так выпьем же за того, кто в пути этой ночью! За то, чтобы ему хватило пищи, чтобы собаки его не сдали, чтобы спички его не отсырели. Да поможет ему господь! Пусть во всем ему будет удача, а...

– А королевской полиции – посрамление! – закончил Беттлз под грохот опустевших кружек.

\* \* \*

## ЗАКОН ЖИЗНИ

Старый Коскуш жадно прислушивался. Его зрение давно угасло, но слух оставался по-прежнему острым, улавливая малейший звук, а мерцающее под высохшим лбом сознание было безучастным к грядущему. А, это пронзительный голос Сит-Кум-То-Ха; она с криком бьет собак, надевая на них упряжь. Сит-Кум-То-Ха – дочь его дочери, но она слишком занята, чтобы попусту тратить время на дряхлого деда, одиноко сидящего на снегу, всеми забытого и беспомощного. Пора сниматься со стоянки. Предстоит далекий путь, а короткий день не хочет помедлить. Жизнь зовет ее, зовут работы, которых требует жизнь, а не смерть. А он так близок теперь к смерти.

Мысль эта на минуту ужаснула старика, и он протянул руку, нащупывая дрожащими пальцами небольшую кучку хвороста возле себя. Убедившись, что хворост здесь, он снова спрятал руку под износившийся мех и опять стал вслушиваться.

Сухое потрескивание полузамерзшей оленьей шкуры сказало ему, что вигвам вождя уже

убран, и теперь его уминают в удобный тюк. Вождь приходился ему сыном, он был рослый и сильный, глава племени и могучий охотник. Вот его голос, понукающий медлительных женщин, которые собирают пожитки. Старый Коскуш напряг слух. В последний раз он слышит этот голос. Сложен вигвам Джиохоу и вигвам Тускена! Семь, восемь, десять... Остался, верно, только вигвам шамана, укладывавшего свой вигвам на нарты. Захныкал ребенок; женщина стала утешать его, напевая что-то тихим гортанным голосом. Это маленький Ку-Ти, подумал старик, капризный ребенок и слабый здоровьем. Может быть, он скоро умрет, и тогда в мерзлой земле тундры выжгут яму и набросают сверху камней для защиты от росамах. А впрочем, не все ли равно? В лучшем случае проживет еще несколько лет и будет ходить чаще с пустым желудком, чем с полным. А в конце концов смерть все равно дождетса его – вечно голодная и самая голодная из всех.

Что там такое? А, это мужчины увязывают нарты и туго затягивают ремни. Он слушал, – он, который скоро ничего не будет слышать. Удары бича со свистом сыпались на собак. Слышишь, завыли! Как им ненавистен трудный путь! Уходят! Нарты за нартами медленно скользят в тишину. Ушли. Они исчезли из его жизни, и он один встретит последний тяжкий час. Нет, вот захрустел снег под мокадинами. Рядом стоял человек; на его голову тихо легла рука. Как добр к нему сын! Он вспомнил других стариков, их сыновья уходили вместе с племенем. Его сын не таков. Старик унесся мыслями в прошлое, но голос молодого человека вернул его к действительности.

– Тебе хорошо? – спросил сын.

И старик ответил:

– Да, мне хорошо.

– Около тебя есть хворост, – продолжал молодой, – костер горит ярко. Утро серое, мороз спадает. Скоро пойдет снег. Вот он уже идет.

– Да, он уже идет.

– Люди спешат. Их тюки тяжелы, а животы подтянуло от голода. Путь далек, и они идут быстро. Я ухожу. Тебе хорошо?

– Мне хорошо. Я словно осенний лист, который еле держится на ветке. Первое дуновение ветра – и я упаду. Мой голос стал как у старухи. Мои глаза больше не показывают дорогу ногам, а ноги отяжелели, и я устал. Все хорошо.

Довольный Коскуш склонил голову и сидел так, пока не замер вдали жалобный скрип снега; теперь он знал, что сын уже не слышит его призыва. И тогда рука его поспешно протянулась за хворостом. Только эта вязанка отделяла его от зияющей перед ним вечности. Охапка сухих сучьев была мерой его жизни. Один за другим сучья будут поддерживать огонь, и так же, шаг за шагом, будет подползать к нему смерть. Когда последняя ветка отдаст свое тепло, мороз приметса за дело. Сперва сдадутся ноги, потом руки, под конец оцепенеет тело. Голова его упадет на колени, и он успокоится. Это легко. Умереть суждено всем.

Коскуш не жаловался. Такова жизнь, и она справедлива. Он родился и жил близко к земле, и ее закон для нее не нов. Это закон всех живых существ. Природа не милостива к отдельным живым существам. Ее внимание направлено на виды, расы. На большие обобщения примитивный ум старого Коскуша был не способен, но это он усвоил твердо. Примеры этому он видел повсюду в жизни. Дерево наливаеца соками, распускаются зеленые почки, падает желтый лист – и круг завершен. Но каждому живому существу природа ставит задачу. Не выполнив ее, оно умрет. Выполнит – все равно умрет. Природа безучастна: покорных ей много, но вечность суждена не покорным, а покорности. Племя Коскуша очень старо. Старики, которых он помнил, еще когда был мальчиком, помнили стариков до себя. Следовательно,

племя живет, оно олицетворяет покорность всех своих предков, самые могилы которых давно забыты. Умершие не в счет; они только единицы. Они ушли, как тучи с неба. И он тоже уйдет. Природа безучастна. Она поставила жизни одну задачу, дала один закон. Задача жизни – продолжение рода, закон ее – смерть. Девушка – существо, на которое приятно посмотреть. Она сильная, у нее высокая грудь, упругая походка, блестящие глаза. Но задача этой девушки еще впереди. Блеск в ее глазах разгорается, походка становится быстрее, она то смела с юношами, то робка и заражает их своим беспокойством. И она хорошеет день ото дня; и, наконец, какой-нибудь охотник берет ее в свое жилище, чтобы она работала и стряпала на него и стала матерью его детей. Но с рождением первенца красота начинает покидать женщину, ее походка становится тяжелой и медленной, глаза тускнеют и меркнут, и одни лишь маленькие дети с радостью прижимаются к морщинистой щеке старухи, сидящей у костра. Ее задача выполнена. И при первой угрозе голода или при первом длинном переходе ее оставят, как оставили его, – на снегу, подле маленькой охапки хвороста. Таков закон жизни.

Коскуш осторожно положил в огонь сухую ветку и вернулся к своим размышлениям. Так бывает повсюду и во всем. Комары исчезают при первых заморозках. Маленькая белка уплзает умирать в чащу. С годами заяц тяжелеет и не может с прежней быстротой ускакать от врага. Даже медведь слепнет к старости, становится неуклюжим и в конце концов свора визгливых собак одолевает его. Коскуш вспомнил, как он сам бросил своего отца в верховьях Клондайка, – это было той зимой, когда к ним пришел миссионер со своими молитвенниками и ящиком лекарств. Не раз облизывал Коскуш губы при воспоминании об этом ящике, но сейчас у него во рту уже не было слюны. В особенности вспоминался ему «болеутолитель». Но миссионер был обузой для племени, он не приносил дичи, а сам ел много, и охотники ворчали на него. В конце концов он простудился на реке около Мэйо, а потом собаки разбросали камни и подрались из-за его костей.

Коскуш снова подложил хворосту в костер и еще глубже погрузился в мысли о прошлом. Во время Великого Голода старики жались к огню и роняли с уст туманные предания старины о том, как Юкон целых три зимы мчался, свободный ото льда, а потом стоял замерзший три лета. В этот голод Коскуш потерял свою мать. Летом не было хода лосося, и племя с нетерпением дожидалось зимы и оленей. Зима наступила, но олени не пришли вместе с ней. Такое никогда не бывало даже на памяти стариков. Олени не пришли, и это был седьмой голодный год. Зайцы не плодились, а от собак остались только кожа да кости. И дети плакали и умирали в долгой зимней тьме, умирали женщины и старики, и из каждых десяти человек только один дожил до весны и возвращения солнца. Да, вот это был голод!

Но он видел и времена изобилия, когда мяса было столько, что оно портилось, и разжиревшие собаки совсем обленились, – времена, когда мужчины смотрели на убегающую дичь и не убивали ее, а женщины были плодовиты, и в вигвамах возились и ползали мальчики и девочки. Мужчины стали тогда заносчивы и чуть что вспоминали прежние ссоры. Они перевалили через горы на юг, чтобы истребить племя пелли, и на запад, чтобы полюбоваться на потухшие огни племени танана. Старик вспомнил, что еще мальчиком он видел в год изобилия, как волки задрали лося. Зинг-Ха лежал тогда вместе с ними на снегу, – Зинг-Ха, который стал потом искусным охотником и кончил тем, что провалился в полынью на Юконе. Ему удалось выбраться из нее только до половины – так его и нашли через месяц примерзшим ко льду.

Так вот – лось. Он и Зинг-Ха пошли в тот день поиграть в охоту, подражая своим отцам. На замерзшей реке они наткнулись на свежий след лося и на следы гнавшихся за ним волков.

– Старый, – сказал Зинг-Ха, умевший лучше разбирать следы. – Старый. Отбился от стада. Волки отрезали его от братьев и теперь не выпустят.

Так оно и было. Таков волчий обычай. Днем и ночью, без отдыха, они будут с рычаньем

преследовать его по пятам, щелкать зубами у самой его морды и не отстанут от него до конца. Кровь закипела у обоих мальчиков. Конец охоты – на это стоит посмотреть.

Сгорая от нетерпения, они шли все дальше и дальше, и даже он, Коскуш, не обладавший острым зрением и навыками следопыта, мог бы идти вперед с закрытыми глазами – так четок был след. Он был совсем свежий, и они на каждом шагу читали только что написанную мрачную трагедию погони. Вот здесь лось остановился. Во все стороны на расстоянии в три человеческих роста снег был истоптан и взрыт. Посредине глубокие отпечатки разлтых копыт лося, а вокруг более легкие следы волков. Некоторые, пока их собратья бросались на жертву, видимо, отдыхали, лежа на снегу. Отпечатки их туловищ были так ясны, словно это происходило всего лишь минуту тому назад. Один волк попался под ноги обезумевшей жертве и был затоптан насмерть. Куча костей, чисто обглоданных, подтверждала это.

Они снова замедлили ход своих лыж. Вот здесь тоже происходила отчаянная борьба. Дважды опрокидывали лося наземь, – как свидетельствовал снег, – и дважды он сбрасывал своих противников и снова поднимался на ноги. Он давно выполнил свою задачу, но жизнь была дорога ему. Зинг-Ха сказал: «Никогда не бывало, чтобы раз опрокинутый лось снова встал на ноги». Но этот встал.

Когда потом они рассказывали об этом шаману, он счел это чудом и каким-то предзнаменованием.

Наконец, они подошли к тому месту, где лось хотел подняться на берег и скрыться в лесу. Но враги насели на него сзади, и он стал на дыбы и опрокинулся навзничь, придавив двух из них. Они так и остались лежать в снегу, не тронутые своими собратьями, ибо погоня близилась к концу. Еще два места битвы мелькнули мимо, одно вслед за другим. Теперь след покраснел от крови и плавный шаг крупного зверя стал неровным и спотыкающимся. И вот они услышали первые звуки битвы – не громогласный хор охоты, а короткий отрывистый лай, говоривший о близости волчьих зубов к бокам лося. Держась против ветра, Зинг-Ха полз на животе по снегу, а за ним полз Коскуш – тот, кому предстояло с годами стать вождем своего племени. Они отвели в сторону ветки молодой ели и выглянули из-за них. И увидели самый конец битвы.

Зрелище это, подобно всем впечатлениям юности, до сих пор было еще свежо в памяти Коскуша, и конец погони стал перед его потускневшим взором так же ярко, как в те далекие времена. Коскуш изумился этому, ибо в последующие дни, будучи вождем мужей и главой совета, он совершил много великих деяний – даже если не говорить о чужом белом человеке, которого он убил ножом в рукопашной схватке, – и имя его стало проклятием в устах людей племени пелли.

Долго еще Коскуш размышлял о днях своей юности, и, наконец, костер стал потухать, и мороз усилился. На этот раз он подбросил в огонь сразу две ветки, и теми, что остались, точно измерил свою власть над смертью. Если бы Сит-Кум-То-Ха подумала о деде и собрала охапку побольше, часы его жизни продлились бы. Разве это так трудно? Но ведь Сит-Кум-То-Ха всегда была беззаботная, а с тех пор как Бобр, сын Зинг-Ха, впервые бросил на нее взгляд, она совсем перестала чтить своих предков. А впрочем, не все ли равно? Разве он в дни своей резвой юности поступал по-иному?

С минуту Коскуш вслушивался в тишину. Может быть, сердце его сына смягчится и он вернется назад с собаками и возьмет своего старика отца вместе со всем племенем туда, где много оленей с тучными от жира боками.

Коскуш напряг слух, его мозг на мгновение приостановил свою напряженную работу. Ни звука – тишина. Посреди полного молчания слышно лишь его дыхание. Какое одиночество! Чу! Что это? Дрожь пошла у него по телу. Знакомый протяжный вой прорезал безмолвие. Он

раздался где-то близко. И перед незрячими глазами Коскуша предстало видение: лось, старый самец, с истерзанными, окровавленными боками и взъерошенной гривой, гнет книзу большие ветвистые рога и отбивается ими из последних сил. Он видел мелькающие серые тела, горящие глаза, клыки, слюну, стекающую с языков. И он видел, как круг неумолимо сжимается все тесней и тесней, мало-помалу сливаясь в черное пятно посреди истоптанного снега.

Холодная морда ткнулась ему в щеку, и от этого прикосновения мысли его перенеслись в настоящее. Он протянул руку к огню и вытащил головешку. Уступая наследственному страху перед человеком, зверь отступил с протяжным воем, обращенным к собратьям. И они тут же ответили ему, и брызжущие слюной волчьих пасти кольцом сомкнулись вокруг костра. Старик прислушался, потом взмахнул головешкой и фырканье сразу перешло в рычанье; звери не хотели отступать. Вот один подался грудью вперед, подтягивая за туловищем и задние лапы, потом второй, третий; но ни один не отступил назад. Зачем цепляться за жизнь? – спросил Коскуш самого себя и уронил пылающую головню на снег. Она зашипела и потухла. Волки тревожно зарычали, но не двигались с места. Снова Коскуш увидел последнюю битву старого лоса и тяжело опустил голову на колени. В конце концов не все ли равно? Разве не таков закон жизни?

\* \* \*

## ЗУБ КАШАЛОТА

Много воды утекло с тех пор, как Джон Стархерст заявил во всеуслышание в миссионерском доме деревни Реувы о своем намерении провозвестить слово божие всему Вити Леву. Надо сказать, что Вити Леву – в переводе «Великая земля» – это самый большой остров архипелага Фиджи, в который входит множество больших островов, не считая сотен мелких. Кое-где на его побережья осели немногочисленные миссионеры, торговцы, ловцы трепангов и беглецы с китобойных судов, жившие без всякой уверенности в завтрашнем дне. Дым из раскаленных печей стлался под окнами их жилищ, и дикари тащили на пиршества тела убитых.

«Лоту» – что значит обращение в христианство – подвигалось медленно и нередко шло вспять. Вожди, объявившие себя христианами и радушно принятые в лоно церкви, имели прискорбное обыкновение временами отпадать от веры, чтобы вкусить мяса какого-нибудь особенно ненавистного врага. «Ешь, не то съедят тебя» – таков был закон этих мест; «Ешь, не то съедят тебя» – таким, по-видимому, и останется закон этих мест на долгие годы. Там были вожди, например Таноа, Туйвейкосо и Туйкилакила, которые поглотили сотни своих ближних. Но всех этих обжор перещеголял Ра Ундреундре. Ра Ундреундре жил в Такираки. Он вел счет своим гастрономическим подвигам. Ряд камней близ его дома обозначал количество съеденных им врагов. Этот ряд достигал двухсот тридцати шагов в длину, а камней в нем насчитывалось восемьсот семьдесят два. Каждое тело отмечалось одним камнем. Ряд камней, вероятно, был бы еще длиннее, если бы на свою беду Ра Ундреундре не получил удара копьем в поясницу во время стычки в чаще на Сомо-Сомо и не был подан на стол вождю Наунга Вули, чей жалкий ряд состоял всего только из сорока восьми камней.

Измученные тяжелой работой и лихорадкой, миссионеры упрямо делали свое дело, временами приходя в отчаяние, и все ждали какого-то необычайного знамения, какой-то вспышки пламени духа святого, который поможет им собрать богатый урожай душ. Но обитатели островов Фиджи закалились в своем язычестве. Курчавым людоедам отнюдь не хотелось поститься, когда урожай человеческих душ был так обилен. Время от времени,

пресытившись, они обманывали миссионеров, распуская слух, что в такой-то день устроят бойню и будут жарить туши. Миссионеры тогда спешили спасти обреченных, покупая их жизнь за связки табака, куски ситца и кварталы бус. Вожди совершали таким способом выгодные торговые операции, отделиваясь от излишков живности. К тому же они всегда могли пойти на охоту и пополнить свои запасы.

Так обстояли дела, когда Джон Стархерст объявил во всеуслышание, что провозвестит слово божие по всей Великой земле, от побережья до побережья, а для начала отправится в горы, к неприступным истокам реки Реувы. Его слова ошеломили всех.

Учителя-туземцы тихо плакали. Двое миссионеров, товарищей Стархерста, пытались отговорить его. Владыка Реувы предостерегал Стархерста, говоря, что гордые жители непременно «кай-кай» его (кай-кай – значит съесть), и ему, владыке Реувы, как обращенному в «лоту», придется тогда объявить войну горным жителям. Что ему их не победить, это он хорошо понимал. Что они спустятся по реке и разорят деревню Реуву, это он хорошо понимал. Но что же ему остается делать? Если Джон Стархерст хочет во что бы то ни стало быть съеденным, значит, не миновать войны, которая обойдется в сотни жизней.

В тот же день под вечер к Джону Стархерсту явилась депутация вождей Реувы. Он слушал их терпеливо и терпеливо спорил с ними, но ни на волос не изменил своего решения. Своим товарищам миссионерам он объяснил, что вовсе не жаждет принять мученический венец; просто он услышал зов, побуждающий его провозвестить слово божие всему Вити Леву, и повинуется господнему велению.

Торговцам, которые пришли к нему и отговаривали его усерднее всех, он сказал:

– Ваши доводы неубедительны. Вы только о том и заботитесь, как бы не пострадала ваша торговля. Вы стремитесь наживать деньги, а я стремлюсь спасти души. Язычники этой темной страны должны быть спасены.

Джон Стархерст не был фанатиком. Он первый опроверг бы такое обвинение. Он был вполне благоразумен и практичен. Он верил, что его миссия увенчается успехом, и уже видел, как вспыхивает искра духа святого в душах горцев и как возрождение, начавшееся в горах, охватит всю Великую землю вдоль и поперек, от моря до моря и до островов в просторах моря. Не пламенем безумства светились его кроткие серые глаза, но спокойной решимостью и непоколебимой верой в высшую силу, которая руководит им.

Лишь один человек одобрял решение миссионера, и это был Ра Вату, который тайком поощрял его и предлагал ему проводников до предгорий. Джон Стархерст, в свою очередь, был очень доволен поведением Ра Вату. Закоренелый язычник, с сердцем таким же черным, как и его деяния, Ра Вату начал обнаруживать признаки просветления. Он даже поговаривал о том, что сделается «лоту». Правда, три года тому назад Ра Вату говорил то же самое и, очевидно, вошел бы в лоно церкви, если бы Джон Стархерст не воспротивился его попытке привести с собой своих четырех жен. Ра Вату был противником моногамии по соображениям этического и экономического порядка. К тому же мелочные придирки миссионера показались ему обидными, и в доказательство того, что он сам себе хозяин и человек чести, он замахнулся своей увесистой боевой палицей на Стархерста. Стархерст спасся; пригнувшись, он бросился на Ра Вату, стиснул его и не отпускал, пока не подоспела помощь. Но теперь все это было прощено и забыто. Ра Вату решил войти в лоно церкви, и не только как обращенный язычник, но и как обращенный многоженец. Ему только хочется подождать, уверял он Стархерста, пока умрет его старшая жена, которая уже давно болеет.

Джон Стархерст плыл вверх по медлительной Реуве в одном из челноков Ра Вату. Челнок должен был доставить его за два дня до непроходимых мест, а затем вернуться обратно. Далеко впереди в небо упирались громадные окутанные дымкой горы – хребет Великой



земли. Весь день Джон Стархерст смотрел на них нетерпеливо и жадно.

Время от времени он безмолвно творил молитву. Иногда вместе с ним молился и Нарау, учитель-туземец, который был «лоту» вот уже семь лет – с тех пор как его спас от жаровни доктор Джеймс Эллери Браун, истративший на выкуп всего только сотню связок табаку, два байковых одеяла и большую бутылку виски. Проведя двадцать часов в уединении и молитве, Нарау в последнюю минуту услышал зов, побуждающий его идти вместе с Джоном Стархерстом в горы.

– Учитель, я пойду с тобой, – сказал он.

Джон Стархерст приветствовал его решение со степенной радостью. Поистине с ним сам господь, если дух разыграл даже в таком малодушном существе, как Нарау.

– Я и вправду робок, ибо я – слабейший из сосудов божьих, – говорил Нарау, сидя в челноке, в первый день их путешествия.

– Ты должен верить, укрепиться в вере, – внушал ему миссионер.

В тот же день по Реуве поднимался другой челнок. Но он плыл сзади, на расстоянии часа пути, и человек, сидевший в нем, старался остаться незамеченным. Этот челнок также принадлежал Ра Вату. В нем был Эрирола, двоюродный брат Ра Вату и его преданный наперсник, а в небольшой корзинке, которую он не выпускал из рук, лежал зуб кашалота. Это был великолепный зуб длиной в добрых шесть дюймов, с годами принявший желтовато-пурпурный оттенок. Этот зуб тоже принадлежал Ра Вату, а когда такой зуб начинает ходить по рукам, на Фиджи неизменно совершаются важные события. Ибо вот что связано с зубами кашалота: тот, кто примет в дар такой зуб, должен исполнить просьбу, которую обычно высказывают, когда его дарят или некоторое время спустя. Просить можно о чем угодно, начиная с человеческой жизни и кончая союзом между племенами, и нет фиджианца, который настолько потерял бы честь, чтобы принять зуб, но отказать в просьбе. Случается, что обещание не удается исполнить или с этим медлят, но тогда дело кончается плохо.

В верховьях Реувы, в деревне одного вождя по имени Монгондро, Джон Стархерст отдыхал на исходе второго дня своего путешествия. Наутро он вместе с Нарау собирался идти пешком в те дымчатые горы, которые теперь, вблизи, казались зелеными и бархатистыми. Монгондро был добродушный подслеповатый старик небольшого роста, страдающий слоновой болезнью и уже утративший вкус к бранным подвигам. Он принял Стархерста радушно, угостил его явствами со своего стола и даже побеседовал с ним о религии. У Монгондро был пытливый ум, и он доставил большое удовольствие Джону Стархерсту, попросив его рассказать, отчего все существует и с чего все началось. Закончив свой краткий очерк сотворения мира по Книге Бытия, миссионер заметил, что Монгондро потрясен его рассказом. Несколько минут старик вождь молча курил. Наконец он вынул трубку изо рта и горестно покачал головой.

– Не может этого быть, – сказал он. – Я, Монгондро, в юности хорошо работал топором. Однако у меня ушло три месяца на то, чтобы сделать один челнок – маленький челнок, очень маленький челнок. А ты говоришь, что вся эта земля и вода сделана одним человеком.

– Нет, они созданы богом, единым истинным богом, – перебил его миссионер.

– Это одно и то же, – продолжал Монгондро. – Значит, вся земля и вся вода, деревья, рыба, лесные чащи, горы, солнце, и луна, и звезды – все это было сделано в шесть дней? Нет, нет! Говорю тебе, в юности я был ловкий, однако у меня ушло три месяца на один небольшой челнок. Твоей сказкой можно пугать маленьких детей, но ей не поверит ни один мужчина.

– Я мужчина, – сказал миссионер.

– Да, ты мужчина. Но моему темному разуму не дано понять, то во что ты веришь.

– Говорю тебе, я верю в то, что все было сотворено в шесть дней.

– Пусть так, пусть так, – пробормотал старый туземец примирительным тоном.

А когда Джон Стархерст и Нарау легли спать, Эрирола прокрался в хижину вождя и после предварительных дипломатических переговоров протянул зуб кашалота Монгондро.

Старый вождь долго вертел зуб в руках. Зуб был красивый, и старику очень хотелось получить его. Но он догадывался, о чем его попросят. «Нет, нет, хороший зуб, хороший, но...», и хотя у него слюнки текли от жадности, он вежливо отказался и вернул зуб Эрироле.

На рассвете Джон Стархерст уже шагал по тропе среди зарослей в высоких кожаных сапогах, и по пятам за ним следовал верный Нарау, а сам Стархерст шел по пятам за голым проводником, которого ему дал Монгондро, чтобы показать дорогу до следующей деревни. Туда путники пришли в полдень, а дальше их повел новый проводник. Сзади, на расстоянии мили, шагал Эрирола, и в корзине, перекинутой у него через плечо, лежал зуб кашалота. Он шел за миссионером четвертые сутки и предлагал зуб вождям всех деревень. Но те один за другим отказывались от зуба. Этот зуб появлялся так скоро после прихода миссионера, что вожди догадывались, о чем их попросят, и не хотели связываться с таким подарком.

Путники углубились в горы, а Эрирола свернул на тайную тропу, опередил миссионера и добрался до твердынь Були из Гатоки. Були не знал о том, что миссионер скоро придет. А зуб был хорош – необыкновенный экземпляр редчайшей расцветки. Эрирола преподнес его публично. Вокруг гатокского Були собрались приближенные, трое слуг усердно отгоняли от него мух, и Були, восседавший на своей лучшей циновке, соблаговолил принять из рук глашатая зуб кашалота, посланный в дар вождем Ра Вату и доставленный в горы его двоюродным братом Эриролой. Дар был принят под гром рукоплесканий и все приближенные, слуги и глашатаи закричали хором:

– А! уой! уой! уой! А! уой! уой! уой! А табуа леву! уой! уой! А мудуа, мудуа, мудуа!

– Скоро придет человек, белый человек, – начал Эрирола, выдержав приличную паузу. – Он миссионер, и он придет сегодня. Ра Вату пожелал иметь его сапоги. Он хочет преподнести их своему доброму другу Монгондро и обязательно вместе с ногами, так как Монгондро старик, и зубы у него плохи. Позаботьтесь, о Були, чтобы в сапогах были отправлены и ноги, а все прочее пусть останется здесь.

Радость, доставленная зубом кашалота, померкла в глазах Були, и он оглянулся кругом, не зная, что делать. Но подарок был уже принят.

– Что значит такая мелочь, как миссионер? – подсказал ему Эрирола.

– Да, что значит такая мелочь, как миссионер! – согласился Були, успокоенный. – Монгондро получит сапоги. Эй, юноши, ступайте, трое или четверо, навстречу миссионеру. И не забудьте принести сапоги.

– Поздно! – сказал Эрирола. – Слушайте! Он идет.

Продравшись сквозь чащу кустарника, Джон Стархерст и не отстававший от него Нарау выступили на сцену. Пресловутые сапоги промокли, когда миссионер переходил ручей вброд, и с каждым его шагом из них тонкими струйками капала вода. Стархерст окинул все вокруг сверкающими глазами. Воодушевленный непоколебимой уверенностью, без тени сомнения и страха, он был в восторге от того, что предстало его взору. Стархерст знал, что от начала

времен он первый из белых людей ступил в горную твердыню Гатоки.

Сплетенные из трав хижины лепились по крутому горному склону или нависали над бушующей Реуевой. Справа и слева вздымались высочайшие кручи. Солнце освещало эту теснину не больше трех часов в день. Здесь не было ни кокосовых пальм, ни банановых деревьев, хотя все поросло густой тропической растительностью и ее легкая бахрама свешивалась с отвесных обрывов и заполняла все трещины в утесах. В дальнем конце ущелья Реува одним прыжком соскакивала с высоты восьмисот футов, и воздух этой скалистой крепости вибрировал в лад с ритмичным грохотом водопада.

Джон Стархерст увидел, как Були вышел из хижины вместе со своими приближенными.

– Я несу вам добрые вести, – приветствовал их миссионер.

– Кто послал тебя? – спросил Були негромко.

– Господь.

– Такого имени на Вити Леву не знают, – усмехнулся Були. – Если он вождь, то каких деревень, островов, горных проходов?

– Он вождь всех деревень, всех островов, всех горных проходов, – ответил Джон Стархерст торжественно. – Он владыка земли и неба, и я пришел провозвестить вам его слова.

– Он прислал нам в дар зуб кашалота? – дерзко спросил Були.

– Нет, но драгоценнее зубов кашалота...

– У вождей в обычае посылать друг другу зубы кашалота, – перебил его Були. – Твой вождь скряга, а сам ты глуп, если идешь в горы с пустыми руками. Смотри, тебя опередил более щедрый посланец.

И он показал Стархерсту зуб кашалота, который получил от Эриролы.

Нарау застонал.

– Это кашалотовый зуб Ра Вату, – шепнул он Стархерсту. – Я его хорошо знаю. Мы погибли.

– Добрый поступок, – сказал миссионер, оглаживая свою длинную бороду и поправляя очки. – Ра Вату позаботился о том, чтобы нас хорошо приняли.

Но Нарау снова застонал и отшатнулся от того, за кем следовал с такой преданностью.

– Ра Вату скоро станет «лоту», – проговорил Стархерст, – и вам тоже я принес «лоту».

– Не надо мне твоего «лоту», – надменно ответил Були, – и я решил убить тебя сегодня же.

Були кивнул одному из своих рослых горцев, и тот выступил вперед и взмахнул палицей. Нарау кинулся в ближайшую хижину, ища убежища среди женщин и циновок, а Джон Стархерст прыгнул вперед и, увернувшись от палицы, обхватил шею своего палача. Заняв столь выгодную позицию, он принялся убеждать дикарей. Он убеждал их, зная, что борется за свою жизнь, но эта мысль не вызывала у него ни страха, ни волнения.

– Плохо ты поступишь, если убьешь меня, – сказал он палачу. – Я не сделал тебе зла, и я не сделал зла Були.

Он так крепко обхватил шею этого человека, что остальные не решались ударить его своими палицами. Стархерст не разжимал рук и отстаивал свою жизнь, убеждая тех, кто жаждал его

смерти.

– Я Джон Стархерст, – продолжал он спокойно, – я три года трудился на Фиджи не ради наживы. Я здесь среди вас ради вашего же блага. Зачем убивать меня? Если меня убьют, это никому не принесет пользы.

Були покосился на зуб кашалота. Ему-то хорошо заплатили за это убийство.

Миссионера окружила толпа голых дикарей, и все они старались добраться до него. Зазвучала песнь смерти – песнь раскаленной печи, и увещевания Стархерста потонули в ней. Но он так ловко обвивал тело палача своим телом, что никто не смел нанести ему смертельный удар. Эрирола ухмыльнулся, а Були пришел в ярость.

– Разойдитесь! – крикнул он. – Хорошая молва о нас дойдет до побережья! Вас много, а миссионер один, безоружный, слабый, как женщина, и он один одолевает всех.

– погоди, о Були, – крикнул Джон Стархерст из самой гущи свалки, – я одолею и тебя самого! Ибо оружие мое – истина и справедливость, а против них не устоит никто.

– Так подойди же ко мне, – отозвался Були, – ибо мое оружие – всего только жалкая, ничтожная дубинка, и, как ты сам говоришь, ей с тобой не сладить.

Толпа расступилась, и Джон Стархерст стоял теперь один лицом к лицу с Були, который опирался на свою громадную сучковатую боевую палицу.

– Подойди ко мне, миссионер, и одолей меня, – подстрекал его Були.

– Хорошо, я подойду к тебе и одолею тебя, – откликнулся Джон Стархерст; затем протер очки и, аккуратно надев их, начал приближаться к Були.

Тот ждал, подняв палицу.

– Прежде всего, моя смерть не принесет тебе никакой пользы, – начал Джон Стархерст.

– На это ответит моя дубинка, – отозвался Були.

Так он отвечал на каждый довод Стархерста, а сам не спускал с миссионера глаз, чтобы вовремя помешать ему броситься вперед и нырнуть под занесенную над его головой палицу. Тогда-то Джон Стархерст впервые понял, что смерть его близка. Он не повторил своей уловки. Обнажив голову, он стоял на солнцепеке и громко молился – таинственный, неотвратимый белый человек, один из тех, кто библейей, пулей или бутылкой рома настигает изумленного дикаря во всех его твердынях. Так стоял Джон Стархерст в скалистой крепости гатокского Були.

– Прости им, ибо они не ведают, что творят, – молился он. – О господи! Будь милосерден к Фиджи! Смилуйся над Фиджи! Отец всевышний, услышь нас ради сына твоего, которого ты дал нам, чтобы через него мы все стали твоими сынами. Ты дал нам жизнь, и мы верим, что в лоно твое вернемся. Темна земля сия, о боже, темна. Но ты всемогущ, и в твоей воле спасти ее. Прости длань твою, о господи, и спаси Фиджи, спаси несчастных людоедов Фиджи.

Були терял терпение.

– Сейчас я тебе отвечу, – пробормотал он и, схватив палицу обеими руками, замахнулся.

Нарау, прятавшийся среди женщин и циновок, услышал удар и вздрогнул. Грянула песнь смерти, и он понял, что тело его возлюбленного учителя тащат к печи.

"Неси меня бережно, носи меня бережно,  
Ведь я – защитник родной страны.  
Благодарите! Благодарите! Благодарите!"

Один голос выделился из хора:

«Где храбрец?»

Сотни голосов загремели в ответ:

«Его несут к печи, его несут к печи».

«Где трус?» – раздался тот же голос.

«Бежит доносить весть!» – прогремел ответ сотни голосов. – Бежит доносить! Бежит доносить!"

Нарау застонал от душевной муки. Правду говорила старая песня. Он был трус, и ему оставалось только убежать и донести весть о случившемся.

\* \* \*

## КИШ, СЫН КИША

– И вот я даю шесть одеял, двойных и теплых; шесть пил, больших и крепких; шесть гудзоновских ножей, острых и длинных; два челнока работы Могума, великого мастера вещей; десять собак, сильных и выносливых в упряжке, и три ружья; курок одного сломан, но это – хорошее ружье, и его еще можно починить.

Киш замолчал и оглядел круг пытливых, сосредоточенных лиц. Наступило время великой рыбной ловли, и он просил у Гноба в жены дочь его, Су-Су. Это было у миссии св. Георгия на Юконе, куда собрались все племена, жившие за сотни миль. Они пришли с севера, юга, востока и запада, даже из Тоцикаката и с далекой Тананы.

– Слушай, о Гноб! Ты вождь племени танана, а я – Киш, сын Киша, вождь тлунгетов. Поэтому, когда чрево твоей дочери выносит мое семя, между нашими племенами наступит дружба, великая дружба, и танана и тлунгеты будут кровными братьями на долгие времена. Я сказал и сделаю то, что сказал. А что скажешь об этом ты, о Гноб?

Гноб важно кивнул головой. Ни одна мысль не отражалась на его обезображенном, изрытом

морщинами лице, но глаза сверкнули, как угли, в узких прорезях век, когда он сказал высоким, надтреснутым голосом:

– Но это еще не все.

– Что же еще? – спросил Киш. – Разве не настоящую цену предлагаю я? Разве в племени танана была когда-нибудь девушка, за которую давали бы так много? Назови мне ее.

Насмешливый шепот пробежал по кругу, и Киш понял, что он опозорен в глазах всех.

– Нет, нет, мой добрый Киш, ты не понял меня. – И Гноб, успокаивая его, поднял руку. – Цена хорошая. Это настоящая цена. Я согласен даже на сломанный курок. Но это еще не все. А человек каков?

– Да, да, каков человек? – злобно подхватил весь круг.

– Говорят, – опять задрезжал пронзительный голос Гноба, – говорят, что Киш не ходит путями отцов. Говорят, что он блуждает во мраке в поисках чужих богов и что он стал трусом.

Лицо Киша потемнело.

– Это ложь! – крикнул он. – Киш никого не боится.

– Говорят, – продолжал старый Гноб, – что он прислушивается к речам белого человека из Большого Дома, что он преклоняет голову перед богом белого человека, что бог белого человека не любит крови.

Киш опустил глаза, и руки его судорожно сжались. В кругу насмешливо захохотали, а знахарь и верховный жрец племени, шаман Мадван, зашипел что-то на ухо Гнобу. Потом он нырнул из освещенного пространства вокруг костра в темноту, вывел оттуда стройного мальчика и поставил его лицом к лицу с Кишем, а Кишу вложил в руку нож.

Гноб наклонился вперед.

– Киш! О Киш! Осмелишься ли ты убить человека? Смотри! Это мой раб Киц-Ну. Подними на него руку, о Киш, подними на него свою сильную руку!

Киц-Ну дрожал, ожидая удара. Киш смотрел на мальчика, и в мыслях у него пронеслись возвышенные поучения мистера Брауна, и он ясно увидел перед собой полыхающее пламя, полыхающее в аду мистера Брауна. Нож упал на землю. Мальчик вздохнул и вышел из освещенного круга, и колени у него дрожали. У ног Гноба лежал огромный пес, который скалил клыки, готовый броситься на мальчика. Но шаман оттолкнул животное ногой, и это навело Гноба на новую мысль.

– Слушай, о Киш! Что бы ты сделал, если б с тобой поступили вот так? – И с этими словами Гноб поднес к морде Белого Клыка кусок вяленой рыбы, но когда собака потянулась за подачкой, он ударил ее по носу палкой. – И после этого, о Киш, поступил бы ты вот так?

Припав к земле, Белый Клык лизал руку Гноба.

– Слушай! – Гноб встал, опираясь на руку Мадвана. – Я очень стар; и потому, что я стар, я скажу тебе вот что: твой отец Киш был великий человек, и он любил слушать, как поет в бою тетива, а мои глаза видели, как он метал копье и как головы его врагов слетали с плеч. Но ты не таков. С тех пор как ты, отрекшись от Ворона, поклоняешься Волку, ты стал бояться крови и хочешь, чтобы и народ твой боялся ее. Это нехорошо. Когда я был молод, как Киц-Ну, ни одного белого человека не было во всей нашей стране. Но они пришли, эти белые люди, один за другим, и теперь их много. Это – неугомонное племя. Насытившись, они не хотят

спокойно отдыхать у костра, не думая о том, откуда возьмется мясо завтра. Над ними тяготеет проклятие, они обречены вечно трудиться.

Киш был поражен. Он смутно вспомнил рассказ мистера Брауна о каком-то Адаме, жившем давным-давно. Значит, мистер Браун говорил правду.

– Белые люди проникают повсюду и протягивают руки ко всему, что видят, а видят они многое. Их становится все больше и больше; и если мы будем бездействовать, они захватят всю нашу страну, и в ней не останется места для племен Ворона. Вот почему мы должны бороться с ними, пока ни одного из них не останется в живых. Тогда нам будут принадлежать все пути и все земли, и, может быть, наши дети и дети наших детей станут жить в довольстве и разжиреют. И когда настанет время Волку и Ворону помериться силами, будет великая битва, но Киш не пойдет сражаться вместе со всеми и не поведет за собой свое племя. Вот почему мне не годится отдавать ему дочь в жены. Так говорю я, Гноб, вождь племени танана.

– Но белые люди великодушны и могущественны, – ответил Киш. – Белые люди научили нас многому. Белые люди дали нам одеяла, ножи и ружья, которых мы не умели делать. Я помню, как мы жили до их прихода. Я еще не родился тогда, но мне рассказывал об этом отец. На охоте нам приходилось близко подползать к лосям, чтобы вонзить в них копье. Теперь у нас есть ружье белого человека, и мы убиваем зверя на таком расстоянии, на каком не слышно даже крика ребенка. Мы ели рыбу, мясо и ягоды, – больше нечего было есть, – и мы ели все без соли. Найдется ли среди вас хоть один, кто захочет теперь есть рыбу и мясо без соли?

Эти слова убедили бы многих, если б Мадван не вскочил с места, прежде чем наступило молчание.

– Ответь мне сначала на один вопрос, Киш. Белый человек из Большого Дома говорит тебе, что убивать нельзя. Но разве мы не знаем, что белые люди убивают? Разве мы забыли великую битву на Коюкуке или великую битву у Нуклукайто, где трое белых убили двадцать человек из племени тоцикакатов? И неужели ты думаешь, что мы забыли тех троих из племени тана-нау, которых убил белый человек Мэкпрот? Скажи мне, о Киш, почему шаман Браун учит тебя, что убивать нельзя, а все его братья убивают?

– Нет, нет, нам не нужно твоего ответа, – пропищал Гноб, пока Киш мучительно думал, как ответить на этот трудный вопрос. – Все очень просто. Твой добрый Браун хочет крепко держать Ворона, пока другие будут ощипывать его. – Голос Гноба зазвучал громче. – Но пока останется хоть один человек из племени танана, готовый нанести удар, или хоть одна девушка, способная родить мальчика, перья Ворона будут целы.

Гноб обернулся к высокому, крепкому юноше, сидящему у костра.

– А что скажешь ты, Макамук, брат Су-Су?

Макамук поднялся. Длинный шрам пересекал его лицо, и верхняя губа у него кривилась в постоянной усмешке, которая так не вязалась со свирепым блеском его глаз.

– Сегодня, – начал он, хитро избегая ответа, – я проходил мимо хижины торговца Мэкпрота. И в дверях я увидел ребенка, который улыбался солнцу. Ребенок посмотрел на меня глазами Мэкпрота и испугался. К нему подбежала мать и стала его успокаивать. Его мать – Зиска, женщина племени тлунгетов.

Слова его заглушил яростный рев, но Макамук заставил всех замолчать, театрально подняв руку и показывая на Киша пальцем.

– Так вот как! Вы, тлунгеты, отдаете своих женщин и приходите к нам, к танана. Но наши

женщины нужны нам самим, Киш, потому что мы должны вырастить мужчин, к тому дню, когда Ворон схватится с Волком.

Среди возгласов одобрения раздался пронзительный голос Гноба:

– А что скажешь ты, Носсабок, любимый брат Су-Су?

Носсабок был высокий и стройный юноша, чистокровный индеец с тонким, орлиным носом и высоким лбом, но одно веко у него подергивалось, словно он многозначительно подмигивал. И сейчас, когда юноша поднялся, веко дернулось и закрыло глаз. Но на этот раз никто не засмеялся, глядя на Носсабока. Лица у всех были серьезные.

– Я тоже проходил мимо хижины торговца Мэклрота, – зажурчал его нежный, почти девичий голос, так похожий на голос сестры, – и я видел индейцев. Они обливались потом, и ноги дрожали от усталости. Говорю вам: я видел индейцев; они стонали под тяжестью бревен, из которых торговец Мэклрот строит себе склад. И собственными глазами я видел, как они кололи дрова, которыми шаман Браун будет топить свой Большой Дом в долгие морозные ночи. Это женская работа, танана никогда не будут ее делать. Мы готовы породниться с мужчинами, но тлунгеты не мужчины, а бабы!

Наступило глубокое молчание. Все устремили глаза на Киша. Он внимательным взглядом обвел людей, сидящих в кругу.

– Так, – сказал он бесстрастно. – Так, – снова повторил он. Потом повернулся и, не сказав больше ни слова, скрылся в темноте.

Пробираясь среди ползающих по земле детей и злобно рычащих собак, Киш прошел все становище из конца в конец и увидел женщину, которая сидела за работой у костра. Она плела лесу из волокон, содранных с корней дикой лозы. Киш долго следил, как ее проворные руки приводили в порядок спутанную массу волокон. Приятно было смотреть, как эта девушка, крепкая, с высокой грудью и крутыми бедрами, созданная для материнства, склоняется над работой. Ее бронзовое лицо отливало золотом в мерцающем свете костра, волосы были цвета крыла, а глаза блестели, словно агаты.

– О Су-Су! – наконец сказал он. – Ты когда-то ласково смотрела на меня, и те дни были совсем недавно...

– Я смотрела на тебя ласково, потому что ты был вождем тлунгетов, – быстро ответила она, – потому что ты был такой большой и сильный.

– А теперь?

– Но это было ведь давно, в первые дни рыбной ловли, – поспешно добавила Су-Су, – до того, как шаман Браун научил тебя дурному и повел тебя по чужому пути.

– Но я же говорил тебе, что...

Она подняла руку, и этот жест сразу напомнил Кишу ее отца.

– Я знаю, какие слова готовы слететь с твоих уст, о Киш! И я отвечаю тебе. Так повелось, что рыба в воде и звери в лесу рожают себе подобных. И это хорошо. Так повелось и у женщин. Они должны рождать себе подобных, и даже девушка, пока она еще девушка, чувствует муки материнства и боль в груди, чувствует, как маленькие ручонки обвиваются вокруг ее шеи. И когда это чувство одолевает ее, тогда она тайно выбирает себе мужчину, который сможет быть отцом ее детей. Так чувствовала и я, когда смотрела на тебя и видела, какой ты большой и сильный. Я знала, что ты охотник и воин, способный добывать для меня пищу, когда я буду есть за двоих, и защищать меня, когда я буду бессильна. Но это было до того,



как шаман Браун пришел в нашу страну и научил тебя...

– Но это неправда, Су-Су! Я слышал от него только добрые слова...

– Что нельзя убивать? Я знала, что ты это скажешь. Тогда рождай таких, как ты сам, таких, кто не убивает, но не приходи с этим к танана, ибо сказано, что скоро наступит время, когда Ворон схватится с Волком. Не мне знать, когда это будет, это – дело мужчин; но я должна родить к этому времени воинов, и это я знаю.

– Су-Су, – снова заговорил Киш, – выслушай меня...

– Мужчина побил бы меня палкой и заставил бы слушать его, – с презрительным смехом сказала Су-Су. – А ты... вот, возьми! – Она сунула ему в руки пучок волокон. – Я не могу отдать Кишу себя, но вот это пусть он возьмет. Это ему подходит. Это – женское дело.

Киш отшвырнул пучок, и кровь бросилась ему в лицо, его бронзовая кожа потемнела.

– И еще я скажу тебе, – продолжала Су-Су. – Есть старый обычай, которого не чуждался ни твой отец, ни мой. С того, кто пал в бою, победитель снимает скальп. Это очень хорошо. Но ты, который отрекся от Ворона, должен сделать больше: ты должен принести мне не скальпы, а головы – две головы, и тогда я дам тебе не пучок волокон, а расшитый бисером пояс, и ножны, и длинный русский нож. Тогда я снова ласково посмотрю на тебя, и все будет хорошо.

– Так, – задумчиво сказал Киш. – Так...

Потом повернулся и исчез в темноте.

– Нет, Киш! – крикнула она ему вслед. – Не две головы, а по крайней мере три!

Но Киш не изменял своей новой вере: жил безупречно и заставлял людей своего племени следовать заповедям, которым учил его священник Джексон Браун. Все время, пока продолжалась рыбная ловля, он не обращал внимания на людей танана, не слушал ни оскорблений, ни насмешек женщин других племен. Когда рыбная ловля кончилась, Гноб со своим племенем, запасшись вяленой и копченой рыбой, отправился на охоту в верховья реки Танана. Киш смотрел, как они собирались в путь, но не пропустил ни одной службы в миссии, где он постоянно молился и пел в хоре густым, могучим басом.

Преподобного Джексона Брауна приводил в восторг этот густой бас, и он считал Киша самым надежным из всех обращенных. Однако Мэклрот сомневался в этом; он не верил в обращение язычников и не считал нужным скрывать свое мнение. Но мистер Браун был человек широких взглядов, и однажды долгой осенней ночью он с таким жаром доказывал свою правоту, что в конце концов торговец в отчаянии воскликнул:

– Провалиться мне на этом месте, Браун, но если Киш продержится еще два года, я тоже стану ревностным христианином!

Не желая упускать такой случай, мистер Браун скрепил договор крепким рукопожатием, и теперь от поведения Киша зависело, куда отправится после смерти душа Мэклрота.

Однажды, когда на землю уже лег первый снег, в миссию св. Георгия пришла весть. Человек из племени танана, приехавший за патронами, рассказал, что Су-Су обратила свой взор на отважного охотника Ни-Ку, который положил большой выкуп за нее у очага старого Гноба. Как раз в это время его преподобие Джексон Браун встретил Киша на лесной тропе, ведущей к реке. В упряжке Киша шли лучшие его собаки, на нартах лежала самая большая и красивая пара лыж...

– Куда ты держишь путь, о Киш? Не на охоту ли? – спросил мистер Браун, подражая речи индейцев.

Киш несколько мгновений пристально смотрел ему в глаза, потом погнался за собаками. Но, пройдя несколько шагов, он обернулся, снова устремил внимательный взгляд на миссионера и ответил:

– Нет, я держу путь прямо в ад!

На небольшой поляне, глубоко зарывшись в снег, словно пытаюсь спастись от безотрадного одиночества, ютились три жалких вигвама. Дремучий лес подступал к ним со всех сторон. Над ними, скрывая ясное голубое небо, нависла тусклая, туманная завеса, отягощенная снегом. Ни ветра, ни звука – ничего, кроме снега и Белого Безмолвия. Даже обычной суеты не было на этой стоянке, ибо охотникам удалось выследить стадо оленей-карибу и охота была удачной. И вот после долгого поста пришло изобилие, и охотники крепко спали среди бела дня в своих вигвамах из оленьих шкур.

У костра перед одним из вигвамов стояли пять пар лыж, и у костра сидела Су-Су. Капюшон беличьей парки был крепко завязан вокруг шеи, но руки проворно работали иглой с продернутой в нее жилой, нанося последние замысловатые узоры на кожаный пояс, отделанный ярко-пунцовой тканью.

Где-то позади вигвамов раздался пронзительный собачий лай и тотчас же стих. В вигваме захрипел и застонал во сне ее отец. «Дурной сон, – подумала она и улыбнулась. – Отец стареет, не следовало ему давать эту последнюю лопатку, он и так много съел».

Она нашла еще одну бусину, закрепила жилу узлом и подбросила хворосту в огонь. Потом долго смотрела в костер и вдруг подняла голову, услышав на жестком снегу скрип мокасин.

Перед ней, слегка сгибаясь под тяжестью ноши, стоял Киш. Ноша была завернута в дубленую оленью кожу. Он небрежно сбросил ее на снег и сел у костра. Долгое время они молча смотрели друг на друга.

– Ты прошел долгий путь, о Киш, – наконец сказала Су-Су, – долгий путь от миссии святого Георгия на Юконе.

– Да, – рассеянно ответил Киш, разглядывая пояс и прикидывая на глаз его размер. – А где же нож? – спросил он.

– Вот. – Она вынула нож из-под парки, и обнаженное лезвие сверкнуло при свете огня. – Хороший нож.

– Дай мне! – повелительным тоном сказал Киш.

– Нет, о Киш, – засмеялась Су-Су. – Может быть, не тебе суждено носить его.

– Дай мне! – повторил он тем же голосом. – Мне суждено носить его.

Су-Су кокетливо повела глазами на оленью шкуру и увидела, что снег под ней медленно краснеет.

– Это кровь, Киш? – спросила она.

– Да, это кровь. Дай же мне пояс и длинный русский нож.

И Су-Су вдруг стало страшно, а вместе с тем радостное волнение охватило ее, когда Киш грубо вырвал у нее из рук пояс. Она нежно посмотрела на него и почувствовала боль в груди

и прикосновение маленьких ручек, обнимающих ее за шею.

– Пояс сделан для худого человека, – мрачно сказал Киш, втягивая живот и застегивая пряжку на первую прорезь.

Су-Су улыбнулась, и глаза ее стали еще ласковее. Опять она почувствовала, как нежные ручки обнимают ее за шею. Киш был красивый, а пояс, конечно, слишком тесен: ведь он сделан для более худого человека. Но не все ли равно? Она может вышить еще много поясов.

– А кровь? – спросила она, загораясь надеждой. – Кровь, Киш? Ведь это... это... головы?

– Да.

Должно быть, они только что сняты, а то кровь замерзла бы.

– Сейчас не холодно, а кровь свежая, совсем свежая...

– О Киш! – Лицо ее дышало радостью. – И ты принес их мне?

– Да, тебе.

Он схватил оленью шкуру за край, тряхнул ее, и головы покатались на снег.

– Три? – в исступлении прошептал он. – Нет, по меньшей мере четыре.

Су-Су застыла от ужаса. Вот они перед ней: тонкое лицо Ни-Ку, старое, морщинистое лицо Гноба, Макамук, вздернувший, словно в усмешке, верхнюю губу, и наконец Носсабок, как всегда многозначительно подмигивающий. Вот они перед ней, освещенные пламенем костра, и вокруг каждой из них расплзлось пятно алого цвета.

Растаявший у костра снежный наст осел под головой Гноба, и, повернувшись, как живая, она покатила к ногам Су-Су. Но девушка сидела, не шелохнувшись, Киш тоже сидел, не двигаясь; его глаза, не мигая, в упор смотрели на нее.

Где-то в лесу сосна уронила на землю тяжелый ком снега, и эхо глухо прокатилось по ущелью. Но они по-прежнему сидели молча. Короткий день быстро угасал, и тьма уже надвигалась на стоянку, когда Белый Клык подбежал к костру. Он выжидательно остановился – не прогонят ли его, потом подошел ближе. Ноздри у Белого Клыка дрогнули, шерсть на спине встала дыбом. Он безошибочно пошел на запах и, остановившись у головы своего хозяина, осторожно обнюхал ее и облизал длинным красным языком. Затем лег на землю, поднял морду к первой тускло загоревшейся на небе звезде и протяжно, по-волчьи завыл.

Тогда Су-Су пришла в себя. Она взглянула на Киша, который обнажил русский нож и пристально смотрел на нее. Лицо Киша было твердо и решительно, и в нем Су-Су прочла свою судьбу. Отбросив капюшон парки, она открыла шею и поднялась. Потом долгим, прощальным взглядом окинула опушку леса, мерцающие звезды в небе, стоянку, лыжи в снегу – последним долгим взглядом окинула все, что было ее жизнью. Легкий ветерок откинул в сторону прядь ее волос, и с глубоким вздохом она повернула голову к ветру и подставила ему свое открытое лицо.

Потом Су-Су подумала о детях, которые уже никогда не родятся у нее, подошла к Кишу и сказала:

– Я готова!

\* \* \*

## «КОРОЛЬ ГРЕКОВ»

Рыбачьему патрулю ни разу не удалось задержать Большого Алека. Он хвастался, что никто не сумеет поймать его живым, а из прошлого этого человека было известно, что все попытки взять его мертвым терпели неудачу. Рассказывали также, что по крайней мере двое из патрульных, пытавшихся взять его мертвым, поплатились жизнью. При этом никто так систематически и умышленно не нарушал закона о рыбной ловле, как Большой Алек.

Его прозвали Большим Алеком за исполинское телосложение. Рост его достигал шести футов и трех дюймов, и соответственно этому он был широкоплеч и широкогруд. У него были могучие, крепкие, как сталь, мускулы, а о его недюжинной силе среди рыбаков ходили многочисленные легенды. Смелость и неукротимость духа не уступали его физической силе, благодаря чему ему дали еще одно прозвище – «Король греков». Рыбаки, большинство которых были греки, относились к нему с почтением и слушались, как вожака. Он и был их вожаком, защищал их интересы, лез за них в драку, вырывал из лап закона, если они попадались, и так их объединил, что в беде они горой стояли за него и друг за друга.

Рабочий патруль не раз попытался поймать Большого Алека, но поскольку ни одна попытка не увенчалась успехом, от этой затеи в конце концов отказались; естественно, что когда разнесся слух о его приходе в Беншинию, мне не терпелось увидеть этого героя. Только он появился, как первым делом, действуя, по обычаю, нагло, сам нашел нас.

В ту пору мы с Чарли Ле Грантом служили под начальством патрульного, которого звали Карминтел, и все трое находились на «Северном олене», готовясь к очередному переходу, когда к нам пожаловал Большой Алек. Карминтел наверняка встречался с ним прежде, ибо они подали друг другу руки, как добрые знакомые. На нас с Чарли Алек даже не взглянул.

– Я пришел сюда месяца на два – ловить осетров, – сказал он Карминтелу.

Взгляд его вызывающе блеснул, и мы заметили, что наш патрульный опустил глаза.

– Хорошо, Алек, – ответил Карминтел тихим голосом. – Не буду тебе докучать. Пойдем в каюту, там поговорим, – добавил он.

Когда они вошли туда и заперли за собой дверь, Чарли выразительно подмигнул мне. Я был еще юнцом, плохо разбирался в людях и в поступках иных из них, поэтому намек не понял. Чарли не стал объяснять, хотя я почувствовал в этом деле что-то неладное.

Оставив их совещаться, мы, по предложению Чарли, пересели в ялик и отправились к Старой паровой пристани, где стоял плавучий дом Большого Алека. Это была барка, маленькая, но вместительная, столь же необходимая рыбакам Верхнего залива, как сети и лодки. Нам обоим любопытно было взглянуть на барку Большого Алека, ибо молва гласила, что она была ареной многих ожесточенных схваток и вся изрешечена пулями.

Мы обнаружили следы дыр, заделанных деревянными пробками и сверху покрашенных, но их оказалось не так много, как я ожидал. Чарли, заметив мое разочарование, засмеялся и, желая меня утешить, рассказал доподлинную историю одного рейда, предпринятого к плавучему дому Короля греков с целью захватить его владельца, предпочтительно живым, а в крайнем случае – мертвым. После шестичасового боя патрульные отступили к поврежденным лодкам, потеряв одного убитым и трое ранеными. Вернувшись на следующее утро с подкреплением, они от барки Большого Алека застали только причальные сваи. Сама барка на многие месяцы была спрятана в Сьюисанские камыши.

– Но почему его не повесили за убийство? – спросил я. – Соединенные Штаты, мне думается, достаточно сильны, чтобы привлечь его к ответственности.

– Он сам отдался в руки властей, и был суд, – ответил Чарли. – Дело это обошлось ему в пятьдесят тысяч долларов, а выиграл он его на всяких процессуальных уловках с помощью лучших адвокатов штата. Все греки, рыбачившие на реке, внесли в это свою лепту. Большой Алек обложил их налогом и собрал его, как заправский король. Соединенные Штаты, может, и всемогущи, мой мальчик, но факт остается фактом: Большой Алек – король, у которого на территории Соединенных Штатов есть и владения и подданные.

– А что ты сделаешь, когда он начнет ловить здесь осетров? Ведь ловить-то он будет «китайской лесой».

– Поживем – увидим, – пожав плечами, загадочно ответил Чарли.

«Китайская лесо» – это хитроумное устройство, изобретенное народом, именем которого оно названо. Над самым дном, на высоте, начиная от шести дюймов и до фута, с помощью простой системы поплавков, грузил и якорей подвешивают тысячи крючков, каждый на отдельной лесе. Крючок и есть самое примечательное в этой снасти. На нем нет обычной зазубрины, ее заменяет длинный конусообразный конец, острый, как игла. Крючки висят лишь в нескольких дюймах один от другого, и когда такая бахрама из тысячи крючков протянута над самым дном почти на тысячу пятьсот футов, она создает грозную преграду идущей по низу рыбе.

Такая рыба, как осетр, всегда идет, взрывая носом дно, словно свинья, поэтому его часто и называют «рыба-свинья». Уколовшись о первый же крючок, которого он коснулся, осетр в испуге бросается в сторону и натывается на десяток других крючков. Тогда он начинает отчаянно метаться, и крючок за крючком вонзаются в его нежное тело; крючки крепко держат злосчастную рыбу со всех сторон, пока она окончательно не выбьется из сил. Так как ни один осетр не может прорваться сквозь такую снасть, в законе о рыбной ловле ее именуют капканом, а поскольку этот способ ловли ведет к истреблению осетров, он признан незаконным. Мы ничуть не сомневались, что Большой Алек поставит именно такую снасть, подло и открыто попирая закон.

После визита Короля греков прошло несколько дней, в течение которых мы с Чарли зорко следили за ним. Свою барку он перетащил на буксире с Соланской пристани в большую бухту у Тернерской верфи. Эта бухта считалась излюбленным местом осетров, и мы были уверены, что как раз здесь Король греков и разовьет свою деятельность. В часы прилива и отлива вода неслась в бухте, как по мельничному лотку, так что поднимать, опускать и ставить «китайскую лесу» можно было только во время малой воды; поэтому в промежутки между приливом и отливом мы с Чарли попеременно наблюдали за бухтой с пристани.

На четвертый день, лежа на солнышке за балкой, я увидел, что от дальнего берега отошел ялик и направился к бухте. В тот же миг бинокль оказался у моих глаз, и я стал следить за каждым движением ялика. В нем находились двое, и, хотя нас разделяла добрая миля, в одном из них я увидел Алека. И не успел еще ялик вернуться обратно к берегу, как я окончательно убедился в том, что грек поставил свою снасть.

– Большой Алек поставил «китайскую лесу» в бухте у Тернерской верфи, – в тот же день доложил Чарли Ле Грант Кармантелу.

На лице патрульного мелькнула досада, он рассеянно сказал «да?», и только.

Сдерживая гнев, Чарли закусил губу, круто повернулся и вышел.

– Ну как, сынок, рискнем? – спросил он меня вечером, когда мы, надрав палубы «Северного

оленья», собрались ложиться спать.

Дыхание у меня захватило, и я лишь кивнул головой.

– Так вот, – глаза Чарли загорелись решимостью, – мы сами, я и ты, поймаем Большого Алека, придется нам это сделать, хочет Карминтел или нет. Согласен? – И после паузы добавил: – Дело нелегкое, но мы, пожалуй, справимся.

– Конечно, справимся, – с горячностью подтвердил я.

– Обязательно справимся, – сказал и Чарли.

Мы обменялись рукопожатием и пошли спать.

Да, мы взяли на себя нелегкую задачу. Чтобы обвинить человека в браконьерстве, нужно было застать его на месте преступления, задержать и захватить все улики: крючки, снасти и рыбу. Это означало, что мы должны поймать Короля греков в открытом море, где он увидит нас еще на подходе и не преминет подготовить одну из тех «теплых» встреч, какими славился.

– Нам его не провести, – сказал как-то утром Чарли. – Но если подойти борт к борту, наши силы сравняются. Ничего другого не остается, как попробовать. Пошли, сынок!

Мы отправились на паруснике с реки Колумбия, которым уже пользовались в облаве на китайцев – ловцов креветок. Стояла малая вода, и, обогнув Соланскую пристань, мы увидели Большого Алека за работой: он обходил свою снасть и выбирал рыбу.

– Поменяемся местами! – скомандовал Чарли. – Веди прямо на его корму, будто мы идем к верфи.

Я взялся за румпель, а Чарли сел на среднюю банку, положив рядом револьвер.

– Если он начнет стрелять, – предостерег Чарли, – ложись прямо на дно и правь оттуда так, чтобы видна была только рука.

Я кивнул, и мы смолкли; лодка мягко скользила по воде и подходила к Королю греков все ближе и ближе. Мы видели его уже совсем отчетливо, видели, как он вылавливает багром осетров и кидает их в лодку, а его помощник двигается вдоль снасти, очищая крючки, прежде чем снова забросить их в воду. Но мы были от них еще в пятистах ярдах, когда великан рыбак нас окликнул.

– Эй вы! Что вам здесь надо? – закричал он.

– Не останавливайся, – прошептал Чарли, – будто не слышишь.

Следующие несколько мгновений были очень тревожными. С каждой секундой мы все ближе подходили к нему, а он смотрел на нас в упор, пронизывая взглядом.

– Убирайтесь, коли вам дорога жизнь! – вдруг крикнул он, словно поняв, кто мы и зачем явились. – Не то вам не уйти отсюда живыми!

Он приложил карабин к плечу и прицелился в меня.

– Ну, уберетесь? – потребовал он.

Чарли разочарованно вздохнул.

– Поворачивай, – шепнул он мне, – на этот раз все.

Я бросил руль, ослабил шкот, и наша лодка повернула на пять-шесть румбов. Большой Алек не спускал с нас глаз и вернулся к работе, лишь когда мы были уже далеко.

– Лучше оставьте Большого Алека в покое, – сердито сказал Карминтел в тот же вечер.

– Так он уже жаловался тебе, – многозначительно спросил Чарли.

Карминтел густо покраснел.

– Лучше оставьте Большого Алека в покое, говорю я вам, – повторил он. – Он опасный человек, и нет никакого расчета с ним связываться.

– Конечно, – сдержанно отозвался Чарли, – я слышал, что большой расчет оставить его в покое.

Это был уже прямой вызов Карминтелу, и по выражению его лица мы видели, что удар попал в цель. Ни для кого не было тайной, что Король греков столь же охотно дает взятки, как и вступает в драку, и за последние годы не один патрульный сталкивался с ним за деньги.

– Ты хочешь сказать... – запальчиво начал Карминтел, но Чарли оборвал его:

– Я ничего не хочу сказать. Ты слышал, что я сказал, а коли на воре шапка горит...

Он пожал плечами, а Карминтел, не в силах произнести ни слова, бросил на него яростный взгляд.

– Чего нам не хватает, так это смекалки, – сказал однажды Чарли, после того, как мы однажды попытались подкрасться к Королю греков в предрассветном сумраке и, на свою беду, были обстреляны.

После этого я много дней ломал себе голову, стараясь придумать способ, с помощью которого двоим удалось бы поймать в открытом море третьего, умеющем обращаться с оружием и никогда с ним не расстающегося. Всякий раз в малую воду Большой Алек нагло, открыто, среди бела дня ловил осетров своей китайской снастью. Особенно обидно было сознавать, что все рыбаки от Бенишии до Валлехо знают, как безнаказанно он оставляет нас в дураках. Не давал нам покоя и Карминтел, то и дело гонявший нас в Сан-Пабло, где бесчинствовали ловцы сельдей, так что на Короля греков почти не оставалось времени. Но жена и дети Чарли жили в Бенишии, там была наша штаб-квартира, и мы постоянно туда возвращались.

– Вот что мы можем сделать, – сказал я спустя несколько недель, в течение которых мы так ничего и не добились. – Подождем малой воды, а когда Алек заберет рыбу и отправится на берег, войдем в бухту и захватим его снасть. Ему понадобятся деньги и время, чтобы сделать новую, а дальше мы сообразим, как захватить и ту. Уж если не удастся его поймать, так хоть собьем с него спесь. Понял?

Чарли понял и сказал, что это неплохая мысль. Мы не упустили возможности, и с наступлением малой воды, когда Король греков собрал рыбу и пошел к берегу, мы в своем паруснике двинулись в путь. По береговым знакам мы знали, где должна находиться снасть, и не сомневались, что легко отыщем ее. Прилив только начался; мы подошли к тому месту, где, по нашим предположениям, была протянута снасть, и отдали якорь. Вытавив столько каната, сколько требовалось, чтобы якорь едва касался грунта, мы медленно тянули его за собой, пока он не зацепился за снасть и лодка не замерла в неподвижности.

– Есть! – крикнул Чарли. – Иди сюда и помоги тащить.

Вдвоем мы тянули веревку, пока не показался якорь с осетровой снастью, зацепившейся за

одну из его лап. Десятки страшных на вид крючков заблестели перед нами, когда мы освобождали якорь, но только мы направились вдоль снасти, к противоположному концу, чтобы вытащить ее, как нас остановил резкий удар по лодке. Мы оглянулись, но, ничего не увидев, вернулись к своей работе. Через минуту раздался еще такой же удар, и планшир между мной и Чарли разлетелся в щепы.

– Уж больно на пулю похоже, сынок, – раздумчиво сказал Чарли. – Это стреляет Большой Алек. У него бездымный порох, – заключил он, внимательно оглядев берег в миле от нас. – Вот почему мы не слышали выстрелов.

Я тоже посмотрел на берег, но не заметил и следа Короля греков; тот, видимо, прятался за скалой, в бухточке, тогда как мы были совсем на виду. Третья пуля ударилась о воду, отскочила рикошетом и, со свистом пролетев над нашими головами, упала в воду позади нас.

– Пожалуй, нам лучше убраться отсюда, – спокойно заметил Чарли. – Ты как думаешь, сынок?

Я тоже был того же мнения и сказал:

– Черт с ней, с этой лесой!

Мы подняли шпринтовый парус и тронулись с места. Стрельба тут же прекратилась, и мы ушли с неприятным сознанием, что Большой Алек смеется над нами.

Мало того, на следующий день, когда мы осматривали на рыбацкой пристани сети, он не постеснялся издеваться и зубоскалить на наш счет в присутствии всех рыбаков. Чарли прямо почернел от гнева, но сдержался и только пообещал Большому Алеку, что рано или поздно упечет его в тюрьму. Король греков стал похваляться, что ни один рыбацкий патруль не поймал его и никогда не поймают, а рыбаки поддакивали ему, утверждая, что это истинная правда. Они так распалились, что казалось, вот-вот начнется потасовка, но Большой Алек своей королевской властью усмирил их.

Смеялся над Чарли и Карминтел, отпуская язвительные замечания и всячески досаждая ему. Однако Чарли не проявил гнева и по секрету сказал мне, что все равно поймают Большого Алека, если даже придется гоняться за ним до конца своих дней.

– Не знаю как, но сделать я это сделаю, – заявил он. – Это так же верно, как то, что меня зовут Чарли Ле Грант. Не бойся, в свой час верная мысль непременно придет.

Действительно, в свой час она пришла, и пришла тогда, когда мы меньше всего ждали. Целый месяц мы неустанно ходили вверх и вниз по реке, бороздили вдоль и поперек залива, и у нас не было свободной минуты, чтобы заняться рыбаком, который китайской лесой ловил осетров в бухте у Тернерской верфи.

Как-то в полдень, неся патрульную службу, мы подошли к Селбийскому плавильному заводу, и тут нам наконец представился наш долгожданный случай. Он явился в облике никем не управляемой яхты, ибо все пассажиры ее страдали от морской болезни. Конечно, едва ли можно было ждать, что мы распознаем в ней нашего спасителя. То была большая яхта-шлюп, совсем беспомощная, так как дул почти штормовой пассат, а на борту не было ни одного умелого матроса.

С Селбийской пристани мы с беспечным любопытством наблюдали за неуклюжими попытками поставить яхту на якорь и столь же неуклюжими попытками спустить лодку и отправиться в ней на берег. Весьма жалкого вида человек в грязных парусиновых штанах, чуть не утопив свою лодчонку в бурном море, передал нам фалинь и с трудом выбрался на



пристань. Он шатался так, как будто земля под ним ходила ходуном, и рассказывал нам о своей беде, то есть, собственно, о том, что произошло с яхтой. Единственного опытного матроса, человека, от которого они все зависели, отозвали телеграммой в Сан-Франциско, и они попытались продолжить путь одни. Справиться с крепким ветром и волнением в бухте Сан-Пабло оказалось им не под силу. Все больны, никто ничего не знает и не умеет делать; вот они и подошли к плавильне, чтобы оставить здесь яхту или найти кого-нибудь, кто отвел бы ее Бенишию. Словом, не знаем ли мы моряков, которые согласились бы отвезти яхту в Бенишию?

Чарли взглянул на меня. «Северный олень» спокойно стоял на якоре. Мы были свободны от патрульной службы до полуночи. Дул попутный ветер, мы могли бы добраться до Бенишии часа за два, побыть несколько часов на берегу и вернуться сюда вечерним поездом.

– Все будет в порядке, капитан, – сказал Чарли неудачливому яхтсмену, вяло улыбнувшемуся, когда его назвали капитаном.

– Я только владелец яхты, – пояснил он.

Мы доставили его на яхту куда лучшим манером, чем это сделал он, переправляясь на берег, и убедились собственными глазами, до чего беспомощны были пассажиры. Их было там человек двенадцать, мужчины и женщины, и все они так страдали от морской болезни, что даже не ожевились при нашем появлении. Яхту отчаянно качало, и едва ее владелец ступил на палубу, как свалился, разделив участь всех остальных. Ни один из пассажиров не был в состоянии оказать помощь, поэтому нам с Чарли пришлось вдвоем разбирать запутанный такелаж, ставить парус и поднимать якорь.

Путешествие было беспокойным, хотя и недолгим. Каркинезский пролив представлял собой мешанину бурлящей пены и густого тумана, но мы стремительно проскочили сквозь них и, опережая ветер, понеслись вперед, в то время, как большой грот попеременно то окунал, то подбрасывал в небо свой гик. Но люди этого не замечали. Они ничего не замечали. Двое или трое, включая владельца яхты, растянулись в кубрике, вздрагивая всякий раз, когда яхта взлетала на гребень волны, а потом падала вниз, в бездну, и время от времени с тоской посматривая на берег. Остальные лежали вповалку среди подушек на полу в каюте. Иногда оттуда доносился стон, но большей частью они были немые и неподвижные, как покойники.

Но вот показалась Тернерская верфь, и Чарли проскользнул в бухту, так как там было тише. Уже виднелась и Бенишия, и мы шли по сравнительно спокойной воде, как вдруг впереди, прямо у нас на пути, заплясало пятнышко – ялик. Стояла малая вода. Мы с Чарли переглянулись. Ни слова не было сказано, но яхта повела себя удивительным образом, то и дело меняя направление и рыская, словно у штурвала стоял совсем зеленый новичок. Моряку нашлось бы над чем посмеяться. Со стороны казалось, будто через весь залив во весь дух несется взбесившаяся яхта и лишь временами ее сдерживает чья-то рука, тщетно пытаясь направить в Бенишию.

Владелец, позабыв о своей морской болезни, с тревогой смотрел на нас. Пятнышко – ялик – на нашем пути все росло, мы могли уже разглядеть склонившихся над накинутой на крьюйс осетровой снастью Большого Алека и его приятеля, которые прервали работу, чтобы над нами посмеяться. Чарли надвинул зюйдвестку на глаза, и я последовал его примеру, хотя не догадывался, что он затеял и как собирается осуществить свою затею.

Вспенивая воду и держась на траверзе ялика, мы подошли к нему так близко, что по ветру до нас донеслись голоса Короля греков и его помощника, ругавших нас со всем презрением, какое истые моряки испытывают к любителям, особенно если те ведут себя, как последние идиоты.

Словно грозовой шквал, мы пронеслись мимо рыбаков, но ничего не случилось. Взглянув на

мое разочарованное лицо, Чарли усмехнулся и крикнул:

– На грота-шкот, к повороту!

Он переложил руль на борт, и яхта послушно сделала поворот. Грота-шкот ослаб и опустился, вслед за гиком пролетел над нашими головами и с треском растянулся на ракс-бугеле. Яхта сильно накренилась, почти легла на бок; страшный вопль донесся из каюты: это больных пассажиров прокатило через всю каюту и швырнуло вповалку на койки правого борта.

Но нам было не до них. Завершив свой маневр, яхта с полоскающимися парусами двинулась против ветра и встала на ровный киль. Мы снова понеслись вперед; ялик был теперь прямо перед нами. Я увидел, как Большой Алек бросился за борт, а его помощник ухватился за наш бушприт. Тут мы наскочили на ялик, раздался треск, потом еще толчки и удары, когда ялик очутился под нашим днищем.

– Теперь его карабину крышка, – пробормотал Чарли, бросившись на палубу, чтобы взглянуть, нет ли Большого Алека где-нибудь за кормой.

Ветер и волны быстро остановили наше движение вперед, и нас стало относить туда, где мы только что видели ялик. Черноволосая голова и смуглое лицо грека высунулось из воды чуть ли не рядом, и мы втащили его на борт. Он ничего не подозревал и был страшно зол на «любителей», которые столь неуклюжим маневром чуть не утопили его, заставив глубоко нырнуть и долго оставаться под водой, чтобы не разбиться о киль.

В следующую минуту, к великому ужасу и изумлению владельца яхты, Чарли уже сидел верхом на Короле греков, а я помогал вязать его сезенью. Владелец яхты возбужденно запрыгал вокруг нас, требуя объяснений, но к этому времени приятель Алека сполз с бушприта на корму и заглядывал через поручни в кубрик, силясь понять, что творится. Чарли тут же обхватил его за шею и уложил на спину рядом с Большим Алеком.

Разбитый ялик лениво покачивался невдалеке; я привел в порядок паруса, а Чарли стал править к ялику.

– По этим людям тюрьма плачет, – пояснил Чарли взбешенному владельцу. – Они злостные браконьеры. Вы видели, что мы накрыли их на месте преступления, и вас, конечно, вызовут в суд штата, как свидетеля.

Тем временем мы поравнялись с яликом, за которым тянулась оборванная снасть. Чарли вытянул на борт футов сорок или пятьдесят ее вместе с молодым осетром, так и застрявшим в путанице острых крючков, потом отхватил этот кусок снасти своим ножом и бросил в кубрик рядом с пленниками.

– А вот и вещественное доказательство, улика номер один, – продолжал Чарли. – Смотрите внимательно, чтобы опознать на суде, и запомните время и место, где преступники были пойманы.

Вскоре, перестав рыскать и кружиться во все стороны, мы торжественно шли к Бенишии. Король греков, связанный по рукам и ногам, лежал в кубрике, наконец-то оказавшись пленником рыбацкого патруля.

\* \* \*

КУЛАУ-ПРОКАЖЕННЫЙ

Оттого что мы больны, у нас отнимают свободу. Мы слушались закона. Мы никого не обижали. А нас хотят запереть в тюрьму. Молокаи – тюрьма. Вы это знаете. Вот Ниули, – его сестру семь лет как усади на Молокаи. С тех пор он ее не видел. И не увидит. Она останется на Молокаи до самой смерти. Она не хотела туда ехать. Ниули тоже этого не хотел. Это была воля белых людей, которые правят нашей страной. А кто они, эти белые люди?

Мы это знаем. Нам рассказывали о них отцы и деды. Они пришли смиренные, как ягнята, с ласковыми словами. Оно и понятно: ведь нас было много, мы были сильны, и все острова принадлежали нам. Да, они пришли с ласковыми словами. Они разговаривали с нами по-разному. Одни просили разрешить им, милостиво разрешить им проповедовать нам слово божие. Другие просили разрешить им, милостиво разрешить им торговать с нами. Но это было только начало. А теперь они все забрали себе – все острова, всю землю, весь скот. Слуги господ бога и слуги господ рома действовали заодно и стали большими начальниками. Они живут, как цари, в домах с многих комнатах, и у них толпы слуг. У них ничего не было, а теперь они завладели всем. И если вы, или я, или другие канаки голодают, они смеются и говорят: «А ты работай. На то и плантации».

Кулау замолчал. Он поднял руку и скрюченными, узловатыми пальцами снял с черноволосой головы сверкающий венчик из цветов мальвы. Лунный свет заливал ущелье серебром. Ночь дышала мирным покоем. Но те, кто слушал Кулау, казались воинами, пострадавшими в жестоком бою. Их лица напоминали львиные морды. У одного на месте носа зияла дыра, у другого с плеча свисала култышка – остаток сгнившей руки. Их было тридцать человек, мужчин и женщин, – тридцать отверженных, ибо на них лежала печать зверя.

Они сидели, увенчанные цветами, в душистой, пронизанной светом мгле, выражая свое одобрение речи Кулау нечленораздельными хриплыми криками. Когда-то они были людьми, но теперь это были чудовища, изувеченные и обезображенные, словно их веками пытали в аду, – страшная карикатура на человека. Пальцы – у кого они еще сохранились – напоминали когти гарпий; лица были как неудавшиеся, забракованные слепки, которые какой-то сумасшедший бог, играя, разбил и расплющил в машине жизни. Кое у кого этот сумасшедший бог попросту стер половину лица, а у одной женщины жгучие слезы текли из черных впадин, в которых когда-то были глаза. Некоторые мучились и громко стонали от боли. Другие кашляли, и кашель их походил на треск рвущейся материи. Двое были идиотами, похожими на огромных обезьян, созданных так неудачно, что по сравнению с ними обезьяна показалась бы ангелом. Они кривлялись и бормотали что-то, освещенные луной, в венках из тяжелых золотистых цветов. Один из них, у которого раздувшееся ухо свисало до плеча, сорвал яркий оранжево-алый цветок и украсил им свое страшное ухо, колыхавшееся при каждом его движении.

И над этими существами Кулау был царем. А это захлебнувшееся цветами ущелье, зажатое между зубчатых скал и утесов, откуда доносилось блеяние диких коз, было его царством. С трех сторон поднимались мрачные стены, увешанные причудливыми занавесями из тропической зелени и чернеющие входами в пещеры – горные берлоги его подданных. С четвертой стороны долина обрывалась в глубочайшую пропасть, и там, вдалеке, виднелись вершины более низких гор и хребтов, у подножия которых гудел и пенился океанский прибой. В тихую погоду к каменистому берегу у входа в долину Калалау можно было подойти на лодке, но только в очень тихую погоду. И смелый горец мог проникнуть с берега в верхнюю часть долины, в зажатое скалами ущелье, где царствовал Кулау; но такой человек должен был обладать большой смелостью и к тому же знать еле видимые глазу козы тропы. Казалось невероятным, что жалкие, беспомощные калеки, составлявшие племя Кулау, сумели пробраться по головокружительным тропинкам в это неприступное место.

– Братья, – начал Кулау.

Но тут один из косноязычных, обезьяноподобных уродов издал безумный, звериный крик, и Кулау замолчал, дожидаясь, когда отзвуки этого пронзительного вопля, перекатившись между скалистыми стенами, замрут вдаль, в неподвижном ночном воздухе.

– Братья, не удивительно ли? Нашей была эта земля, а теперь она не наша. Что дали нам за нашу землю эти слуги господ бога и господ рома? Получил ли кто из вас за нее хоть доллар, хоть один доллар? А они стали хозяевами и теперь говорят нам, что мы можем работать на земле – на их земле, и что плоды наших трудов тоже достанутся им. В прежние дни нам не нужно было трудиться. И ко всему этому теперь, когда нас поразила болезнь, они отнимают у нас свободу.

– А кто принес нам эту болезнь, Кулау? – спросил сухопарый, жилистый Килолиана, который лицом так напоминал смеющегося фавна, что, казалось, вместо ног у него должны быть копыта. Но это были не копыта, а ноги, только все в крупных язвах и лиловых пятнах гниения. А когда-то Килолиана смелее всех карабкался по горам и знал все козы тропинки, он-то и привел Кулау и его несчастный народ в безопасные верховья Калалау.

– Это правильный вопрос, ответил Кулау. – От того что мы не хотели работать на их сахарных плантациях, где раньше паслись наши кони, они привезли из-за моря рабов-китайцев. А с ними пришла китайская болезнь – та самая, которой мы боеем и за которую нас хотят заточить на Молокаи. Мы родились на Кауаи. Мы бывали и на других островах, кто где: на Оаху, Мауи, Гавайи, в Гонолулу. Но всегда мы возвращались на Кауаи. Почему мы возвращались? Как вы думаете? Потому что мы любим Кауаи. Мы здесь родились, здесь жили. И здесь умрем, если... если среди нас нет трусливых душ. Таких нам не нужно. Таким место на Молокаи. И если они есть среди нас, пускай уходят. Завтра на берег высадутся солдаты. Пусть трусливые души спустятся к ним. Их живо отправят на Молокаи. А мы, мы останемся и будем бороться. Но не бойтесь, мы не умрем. У нас есть винтовки. Вы ведь знаете, как узка тропа, двоим на ней не разойтись. Я, Кулау, который ловил когда-то диких быков на Ниихау, один могу защищать эту тропу от тысячи врагов. Вот Капалеи, он раньше был судьей над людьми, почтенным человеком, а теперь он – затравленная крыса, как и мы с вами. Он мудрый, послушайте его.

Капалеи поднялся. Когда-то он был судьей. Он учился в колледже в Пунахоу. Он сидел за одним столом с господами и начальниками и с высокими представителями иностранных держав, охраняющими интересы торговцев и миссионеров. Вот каков был Капалеи в прошлом. А сейчас, как и сказал Кулау, это была затравленная крыса, человек вне закона, превратившийся в нечто столь страшное, что он был теперь и ниже закона и выше его. Вместо носа и щек у него остались только черные ямы, глаза без век горели под голыми надбровными дугами.

– Мы не затеваем раздоров, – начал он. – Мы просим, чтобы нас оставили в покое. Но если они не оставляют нас в покое – значит, они и затевают раздоры и пусть понесут за это наказание. Вы видите, у меня нет пальцев. – Он поднял свои култышки, чтобы все могли их увидеть. – Но вот от этого большого пальца еще сохранился сустав, и я могу нажать им на спуск так же крепко, как и в былые дни – указательным пальцем, которого нет. Мы любим Кауаи. Так давайте жить здесь или умрем здесь, но не пойдем в тюрьму на Молокаи. Болезнь эта не наша. На нас нет греха. Слуги господ бога и слуги господ рома привезли сюда болезнь вместе с китайскими кули, которые работают на украденной у нас земле. Я был судьей. Я знаю закон и порядок. И я говорю вам: не разрешает закон украсть у человека землю, заразить его китайской болезнью, а потом заточить в тюрьму на всю жизнь.

– Жизнь коротка, и дни наши наполнены страданиями, – сказал Кулау. – Давайте петь и танцевать, и будем счастливы, как можем.

Из пещеры в скале принесли калабаши и пустили их вкруговую. Они были наполнены

крепчайшей настойкой из корней растения ти; и когда жидкий огонь ударил этим людям в мозг и разлился по телу, они забыли все и снова стали людьми. В женщине, проливавшей жгучие слезы из пустых глазниц, проснулись прежние чувства, и она, перебирая струны своей гитары, запела любовную песню дикарки – песню, что родилась в темных лесных чащах первобытного мира. Воздух дрожал от ее голоса, властного и зовущего. На циновке, подчиняясь ритму песни, плясал Килолиана. Каждое его движение излучало любовь, и рядом с ним на циновке плясала женщина, чьи пышные бедра и высокая грудь странно не вязались с изъеденным болезнью лицом. То была пляска живых мертвецов, ибо в их разлагающихся телах еще таились и любовь и желанья. Все громче звучала любовная песня женщины, проливавшей жгучие слезы из невидящих глаз, все упоеннее плясали танцоры пляску любви в теплой ночной тишине, все быстрее ходили по рукам калабаши, и упорным огнем тлели у всех в мозгу воспоминания и страсть.

Рядом с женщиной на циновке плясала тоненькая девушка; лицо у нее было красивое и чистое, но на скрюченных руках, поднимавшихся и падавших в пляске, болезнь уже оставила свой разрушительный след. А оба идиота – страшная, отвратительная пародия на человека – плясали поодаль, бормоча и хрипя что-то невнятное, пародируя любовь.

Но вот любовная песня женщины оборвалась на полуслове, опустились на землю калабаши, и кончилась пляска. Взгляды всех устремились в пропасть, к морю, над которым в залитом луною воздухе призрачным огнем сверкнула ракета.

– Это солдаты, – сказал Кулау. – Завтра будет бой. Нужно подкрепиться сном и подготовиться.

Прокаженные повиновались и уползли в свои норы, и скоро Кулау остался один. Он сидел неподвижно в свете луны, положив на колени винтовку и глядя вниз на далекий берег, к которому приставали лодки.

Здесь, наверху, долина Калалау была надежным убежищем. Если не считать Килолианы, знавшего обходные тропы в отвесных стенах ущелья, никто не мог добраться сюда, кроме как по острому горному гребню. Гребень этот тянулся на сотню ярдов в длину; в ширину он был не больше двенадцати дюймов. По обе стороны его зияли пропасти. Стоило поскользнуться – и справа и слева человека ждала верная смерть. Но в конце пути перед ним открывался земной рай. Море зелени омывало ущелье, заливая его от стены до стены зелеными волнами, стекая со скалистых уступов обильными струями лоз и разбрызгивая по всем расщелинам пену папоротников и воздушных корней. Долгие месяцы Кулау и его подданные вели борьбу с этим морем растительности. Им удалось оттеснить буйные цветущие заросли, и теперь бананам, апельсинам и манговым деревьям стало свободнее. На небольших полянках рос дикий аррорут; на каменных террасах, покрытых слоем земли, они развели таро и дыни; и на всех открытых местах, куда проникало солнце, поднимались деревья папайя, отягченные золотыми плодами.

В это убежище Кулау ушел из низовьев долины, от моря. Если бы пришлось уходить и отсюда, у него были на примете другие ущелья, еще выше, среди громоздящихся горных вершин. И теперь он сидел, положив рядом с собою винтовку, и вглядывался сквозь завесу листвы в солдат на далеком берегу. Он разглядел, что они привезли с собой тяжелые пушки, отражавшие солнце, как зеркала. Прямо перед ним тянулся острый гребень. По тропинке, ведущей к нему снизу, ползли крошечные точки – люди. Кулау знал, что это не солдаты, а полиция. У этих ничего не выйдет, и вот тогда за дело возьмутся солдаты.

Он любовно провел искалеченной рукой по стволу винтовки и проверил прицел. Стрелять он научился давно, когда охотился на острове Ниихау, где до сих пор не забыли его меткой стрельбы.

По мере того как движущиеся точки приближались и увеличивались, Кулау определял дистанцию с поправкой на ветер, дувший сбоку, и учитывал возможность перелета по таким низко расположенным целям. Но стрелять он не стал. Он дал им добраться до начала острого гребня и только тогда обнаружил свое присутствие. Он спросил, не выходя из зарослей:

– Что вам нужно?

– Нам нужен Кулау-прокаженный, – ответил начальник отряда туземной полиции, голубоглазый американец.

– Уходите обратно, – сказал Кулау.

Он знал этого человека: это был шериф, – тот, кто не дал ему жить на Ниихау и прогнал его через весь Кауаи в долину Калалау, а оттуда вверх, в ущелье.

– Кто ты? – спросил шериф.

– Я Кулау-прокаженный, – слышалось в ответ.

– Тогда выходи. Ты нам нужен, живой или мертвый. Твоя голова оценена в тысячу долларов. Тебе не уйти.

Кулау громко рассмеялся в своем тайнике.

– Выходи! – скомандовал шериф, но ответом ему было молчание.

Он посоветовался с полицейскими, и Кулау, понял, что они решили взять его штурмом.

– Кулау! – крикнул шериф. – Кулау, я иду к тебе.

– Тогда погляди сначала на солнце, и небо, и море, потому что больше ты их никогда не увидишь.

– Хорошо, хорошо, Кулау, – сказал шериф примирительным тоном. – Я знаю, что ты стреляешь без промаха. Но в меня ты не станешь стрелять. Я ничем тебя не обидел.

Кулау проворчал что-то.

– Право же, – настаивал шериф, – я ведь ничем тебя не обидел, разве не так?

– Ты обижаешь меня тем, что пытаешься засадить в тюрьму, – прозвучал ответ. – И ты обижаешь меня тем, что пытаешься получить за мою голову тысячу долларов. Если тебе дорога жизнь, стой на месте.

– Я должен до тебя добраться. Что поделаешь, это мой долг.

– Ты умрешь раньше, чем доберешься до меня.

Шериф был не трус, но тут он заколебался. Он посмотрел вниз, в пропасть, окинул взглядом острый, как нож, гребень и решился.

– Кулау! – крикнул он.

Заросли молчали.

– Кулау, не стреляй. Я иду.

Шериф повернулся к полицейским, отдал им какое-то приказание и пустился в свой опасный путь. Он шел медленно. Это напоминало ему ходьбу по канату. Кроме воздуха, ему не за что было ухватиться. Камни сыпались у него из-под ног и стремительно летели в пропасть. Солнце палило, и по лицу у него катился пот. Но он все шел и наконец достиг половины пути.

– Стой! – скомандовал Кулау из зарослей. – Еще шаг и я стреляю.

Шериф остановился, покачиваясь над бездной, чтобы удержать равновесие. Он побледнел, но во взгляде его была решимость. Он облизал пересохшие губы и заговорил:

– Кулау, ты не убьешь меня. – Я знаю, что не убьешь.

Он снова двинулся вперед. Пуля заставила его перевернуться волчком. Когда он падал, на лице его промелькнуло сердитое недоумение. Он успел подумать, что если упасть на острый гребень, то еще можно спастись, – но тут смерть настигла его. Секунда – и гребень был пуст. И тогда пятеро полицейских один за другим смело пустились бегом по острому гребню, а остальные тут же открыли огонь по зарослям. Это было безумие. Кулау нажимал курок так быстро, что пять выстрелов прогремели почти непрерывной очередью. Пригнувшись к самой земле от пуль, со свистом прорезавших кусты, он выглянул из зарослей. Четверо полицейских исчезли так же, как их начальник. Пятый, еще живой, лежал поперек гребня. На дальнем конце толпились остальные полицейские, уже переставшие стрелять. Положение их на этой голой скале было безнадежным: Кулау мог снять их всех до последнего, не дав им спуститься. Но он не стрелял. И после короткого совещания один из полицейских снял с себя белую рубашку и помахал ею, как флагом. Потом он, а за ним и другой пошли по гребню к раненому товарищу. Не выдавая себя ни одним движением, Кулау смотрел, как они медленно отступали и, спустившись вниз, в долину, снова превратились в темные точки.

Два часа спустя Кулау заметил из другого укрытия, что группа полицейских пробует подняться по противоположному склону долины. Дикие козы разбегались от них, а они лезли все выше и выше. И наконец, не доверяя самому себе, Кулау послал за Килолианой.

– Нет, здесь им не пройти, – сказал Килолиана.

– А козы? – спросил Кулау.

– Козы пришли из соседней долины, а сюда им не попасть. Дороги нет. Эти люди не умнее коз. Они упадут и разобьются насмерть. Давай посмотрим.

– Они смелые, – сказал Кулау. – Давай посмотрим.

Лежа рядом на ковре из лиан, под свисающими сверху желтыми цветами хау, они смотрели, как крошечные человечки карабкаются вверх – и то, чего они ждали, случилось: трое полицейских оступились, упали и, докатившись до выступа, камнем полетели вниз.

Килолиана усмехнулся.

– Больше нас не будут тревожить, – сказал он.

– У них есть пушки, – возразил Кулау. – Солдаты еще не сказали своего слова.

Разморенные жарой, прокаженные спали в пещерах. Кулау тоже дремал у своего логовища, держа на коленях начищенную, заряженную винтовку. Девушка с искалеченными руками лежала в зарослях, наблюдая за острым гребнем. Вдруг Кулау вскочил, забыв про сон: на берегу раздался взрыв. В следующее мгновение воздух словно разодрало на части. Этот немислимый звук испугал его. Казалось, боги схватили небесный покров и рвут его, как женщины рвут на полосы ткань. Страшный звук быстро приближался. Кулау с опаской поднял глаза. И вот снаряд разорвался высоко в горах, и столб черного дыма вырос над ущельем.

Утес дал трещину, и обломки полетели к его подножию.

Кулау провел рукой по взмокшему лбу. Он был потрясен. Он еще никогда не слышал орудийной стрельбы и даже не мог представить, как это страшно.

– Раз, – сказал Капалеи, решив почему-то вести счет выстрелам.

Второй и третий снаряды с визгом пролетели над ущельем и разорвались за ближним хребтом. Капалеи считал. Прокаженные высыпали на открытое место перед пещерами. Вначале стрельба испугала их, но снаряды перелетали через ущелье, и скоро они успокоились и стали любоваться новым для них зрелищем. Оба идиота визжали от восторга и принимались кривляться и прыгать всякий раз, как воздух раздирало снарядом. Кулау почти успокоился. Пушки не причиняли вреда. Наверно, такими большими снарядами и на таком расстоянии невозможно стрелять метко, как из винтовки.

Но вот что-то изменилось. Теперь снаряды не долетали до них. Один разорвался в зарослях у острого гребня. Кулау вспомнил про девушку, которая лежала на страже, и побежал туда. Кусты еще дымились, когда он заполз в чашу. Изумление охватило его. Ветки были поломаны, расщеплены. Там, где он оставил девушку, в земле была яма. Девушку разорвало в клочья. Снаряд попал прямо в нее.

Выглянув из кустов и убедившись, что на гребне нет солдат, Кулау пустился бегом обратно к пещерам. Снаряды летели над ним с воем, свистом, стоном, и вся долина гудела и сотрясалась от взрывов. Перед пещерами весело скакали оба идиота, вцепившись друг в друга полусгнившими пальцами. И вдруг Кулау увидел, как рядом с ними из земли поднялся столб черного дыма. Взрывом их отшвырнуло в разные стороны. Один лежал неподвижно, другой на руках пополз к пещере. Ноги его волочились по земле, из ран хлестала кровь. Он был весь в крови и скулил, как собачонка. Все остальные, кроме Капалеи, попрятались в пещеры.

– Семнадцать, – сказал Капалеи и тут же добавил: – Восемнадцать.

Восемнадцатый снаряд упал у самого входа в одну из пещер. Прокаженные высыпали на волю, но из этой пещеры никто не показывался. Кулау вполз в нее, задыхаясь от едкого, вонючего дыма. На земле лежали четыре изуродованных трупа. Среди них была женщина с невидящими глазами, у которой только теперь иссякли слезы.

Подданных Кулау охватила паника, и они уже двинулись по тропе, уводившей из ущелья вверх, в хаос вершин и обрывов. Раненый идиот, тихо подвывая, тащился по земле, стараясь поспеть за остальными. Но у самого начала подъема силы изменили ему, и он скорчился и затих.

– Его нужно убить, – сказал Кулау, обращаясь к Капалеи, который сидел там же, где и раньше.

– Двадцать два, – ответил Капалеи. – Да, лучше убить его. Двадцать три... Двадцать четыре.

Увидев направленное на него дуло, идиот громко взвизгнул. Кулау заколебался и опустил винтовку.

– Это не легко, – сказал он.

– Ты дурак. Двадцать шесть, двадцать семь, – сказал Капалеи. – Давай я тебя научу.

Он встал и, подняв с земли тяжелый камень, пошел к раненому. В ту минуту, когда он замахнулся, новый снаряд попал прямо в него, тем самым избавив его от необходимости действовать и подведя итог его счету.



Кулау остался один в ущелье. Он провожал глазами своих подданных, пока последние скрюченные фигуры не исчезли за выступом горы. Потом повернулся и пошел вниз, к зарослям, где убило девушку. Стрельба продолжалась, но он не уходил, так как заметил, что далеко внизу к подъему двинулись солдаты. Один снаряд разорвался в десяти шагах от него. Распластавшись на земле, Кулау слышал, как осколки пролетели над ним. Цветы хау посыпались на него дождем. Он поднял голову, посмотрел на тропинку и вздохнул. Ему было очень страшно. Пули не смутили бы его, но оружейный огонь вселял в него ужас. При каждом выстреле он, дрожа, припадал к земле, но всякий раз опять поднимал голову и следил за тропинкой.

Наконец стрельба прекратилась. Верно, потому, решил он, что солдаты уже близко. Они ползли по тропинке гуськом, и он стал было считать их, но сбился со счета. Их было не меньше сотни, и все они пришли за ним – Кулау-прокаженным. На мгновение в нем вспыхнула гордость. С винтовками и пушками, с полицией и солдатами они идут за ним, а он – один, да еще больной, калека. За него, живого или мертвого, обещана тысяча долларов. Во всю свою жизнь он не имел столько денег. Это была горькая мысль. Капалеи сказал правду. Он, Кулау, никому не сделал зла. Просто белым людям нужны были рабочие руки на краденой земле, и они привезли китайских кули, а с ними пришла болезнь. И теперь, оттого что его заразили этой болезнью, он стоит тысячу долларов, но ему-то их не получить! Его труп, сгнивший от болезни или разорванный снарядом, – вот за что будут выплачены эти огромные деньги.

Когда солдаты добрались до острого гребня, Кулау хотел было предупредить их, но взгляд его упал на убитую девушку, и он смолчал. Когда на тропинке показался шестой солдат, он открыл огонь и стрелял до тех пор, пока тропинка не опустела. Он выпускал пули, снова заряжал винтовку и снова стрелял не переставая. Все старые обиды огнем горели у него в мозгу, им овладела ярость и жажда мщения. Растянувшись по всей тропе, солдаты тоже стреляли и хотя они залегли, стараясь укрыться в неглубоких выемках, целиться по ним было легко. Пули свистели и ударялись вокруг Кулау, со звоном отскакивая от камней. Одна пуля царапнула его по черепу, другая обожгла лопатку, не оцарапав кожи.

Это было настоящее побоище, и учинил его один человек. Солдаты стали отступать, унося раненых. Снимая их выстрелами одного за другим. Кулау вдруг почуял запах горелого мяса. Он огляделся по сторонам, но потом понял, что это его пальцы горят от накалившейся винтовки. Проказа разрушила нервы рук. Мясо горело, и он слышал запах, а боли не чувствовал.

Он лежал в зарослях и улыбался, но вдруг вспомнил о пушках. Они, вероятно, замолчали ненадолго и теперь уже будут стрелять прямо по зарослям, откуда он вел огонь. Не успел он отодвинуться за выступ скалы, куда, по его наблюдениям, снаряды не попадали, как обстрел возобновился. Кулау считал: еще шестьдесят снарядов выпустили пушки по ущелью, а потом замолчали. Небольшая площадь была так изрыта воронками, что, казалось, ничего живого там не могло остаться. Солдаты так и решили и под палящими лучами послеполюденного солнца опять полезли вверх по тропе. И снова им не удалось пройти по гребню, и снова они отступили к морю.

Еще два дня Кулау удерживал тропу, хотя солдаты продолжали обстреливать его укрытие из пушек. На третий день на скалистой гряде, нависавшей над ущельем, появился один из прокаженных, мальчик Пахау, и прокричал ему, что Килолиана, охотясь на коз, чтобы им всем не умереть с голода, упал и разбился и что женщины перепуганы и не знают, что делать. Кулау велел мальчику спуститься и, дав ему запасную винтовку, оставил его сторожить тропу, а сам поднялся к своим подданным. Они совсем пали духом. Большинство из них были слишком слабы, чтобы добывать себе пищу в таких тяжелых условиях, поэтому все они голодали. Кулау выбрал двух женщин и мужчину, у которых болезнь зашла еще не слишком далеко, и послал их в ущелье за едой и циновками. Остальных он постарался утешить и

подбодрить, так что даже самые слабые стали помогать в постройке шалашей.

Но посланные за едой не вернулись, и Кулау пошел назад в ущелье. Когда он появился над обрывом, одновременно щелкнуло пять-шесть затворов. Одна пуля пробила ему мякоть плеча, другая ударилась о скалу, и отлетевшим осколком ему порезало щеку. Он отпрянул назад, но успел заметить, что ущелье кишит солдатами. Его подданные предали его. Они не выдержали ужаса канонады и предпочли ей Молокаи – тюрьму.

Отступив на несколько шагов, Кулау снял с пояса тяжелую патронную сумку. Он залег среди скал и, когда над обрывом поднялась голова и плечи первого солдата, спустил курок. Так повторилось два раза, а потом, после паузы, из-за края обрыва вместо головы и плеч высунулся белый флаг.

– Что вам нужно? – спросил Кулау.

– Мне нужно тебя, если ты – Кулау-прокаженный, – раздался ответ.

Кулау забыл об опасности, забыл обо всем, – он лежал и дивился необычному упорству этих хаоле – белых людей, которые добиваются своего, несмотря ни на что. Да, они добиваются своего, подчиняют себе все и вся, даже если это и стоит им жизни. Он почувствовал восхищение этой их волей, которая сильнее жизни и покоряет все на свете. Он понял, что дело его безнадежно. С волей белого человека спорить нельзя. Убей он их тысячу, они все равно подымутся, как песок морской, и умножатся, и доконают его. Они никогда не признают себя побежденными. В этом их ошибка и их сила. У его народа этого нет. Теперь ему стало понятно, как ничтожная горсть посланцев господ бога и господ рома сумела поработить его землю. Это случилось потому...

– Ну, что же? Пойдешь ты со мной? – Это был голос невидимого человека, держащего белый флаг. Ну да, он настоящий хаоле, идет напролом к своей цели.

– Давай поговорим, – сказал Кулау.

Над обрывом поднялась голова и плечи, а потом и весь человек. Это был молоденький капитан с нежным лицом и голубыми глазами, стройный, подтянутый. Он двинулся вперед, потом, по знаку Кулау, остановился и сел шагах в пяти от него.

– Ты храбрый, – сказал Кулау задумчиво. – Я могу убить тебя, как муху.

– Нет, не можешь, – ответил тот.

– Почему?

– Потому что ты – человек, Кулау, хоть и скверный. Я знаю твою историю. Убивать ты умеешь.

Кулау проворчал что-то, но в душе он был польщен.

– Что ты сделал с моими людьми? – спросил он. – Где мальчик, две женщины и мужчина?

– Они сдались нам. А теперь твоя очередь, – я пришел за тобой.

Кулау недоверчиво рассмеялся.

– Я свободный человек, – заявил он. – Я никого не обижал. Одного я прошу: чтобы меня оставили в покое. Я жил свободным и свободным умру. Я никогда не сдамся.

– Значит, твои люди умнее тебя, – сказал молодой капитан. – Смотри, вот они идут.

Кулау обернулся. Сверху двигалась страшная процессия: остатки его племени со вздохами и стонами тащились мимо него во всем своем жалком уродстве.

Но Кулау суждено было изведать еще большую горечь, ибо, поравнявшись с ним, они осыпали его оскорбительной бранью, а старуха, замыкавшая шествие, остановилась и, вытянув костлявую руку с когтями гарпии, оскалив зубы и трясая головой, прокляла его. Один за другим прокаженные перебирались через скалистую гряду и сдавались притаившимся в засаде солдатам.

– Теперь ты можешь идти, – сказал Кулау капитану. – Я никогда не сдамся. Это мое последнее слово. Прощай.

Капитан соскользнул вниз, к своим солдатам. В следующую минуту он поднял надетый на ножны шлем, и пуля, выпущенная Кулау, пробилась насквозь. До вечера они стреляли по нему с берега, и когда он ушел выше, в неприступные скалы, солдаты двинулись за ним следом.

Шесть недель гонялись они за Кулау среди острых вершин и по козьим тропам. Когда он скрывался в зарослях лантаны, они расставляли цепи загонщиков и гнали его, как кролика, сквозь лантановые джунгли и кусты гуава. Но всякий раз он путал следы и ускользал от них. Настигнуть его не было возможности. Если преследователи наседали вплотную, Кулау пускал в дело винтовку, и они уносили своих раненых по горным тропинкам к морю. Случалось, что солдаты тоже стреляли, заметив, как мелькает в чаще его коричневое тело. Однажды они нагнали его впятером на открытом участке тропы и выпустили в него все заряды. Но он, хромя, ушел от них по краю головокругительной пропасти. Позже они нашли на земле пятна крови и поняли, что он ранен. Через шесть недель на него махнули рукой. Солдаты и полицейские возвратились в Гонолулу, предоставив ему долину Калалау в безраздельное пользование, хотя время от времени охотники-одиночки пытались изловить его... на свою же погибель.

Два года спустя Кулау в последний раз заполз в заросли и растянулся на земле среди листьев ти и цветов дикого имбиря. Свободным он прожил жизнь и свободным умирал. Стал накрапывать дождь, и он закрыл свои изуродованные ноги рваным одеялом. Тело его защищал клеенчатый плащ. Маузер он положил себе на грудь, заботливо стерев со ствола дождевые капли. На руке, вытиравшей винтовку, уже не было пальцев; он не мог бы теперь нажать на спуск.

Он закрыл глаза, слабость заливала тело, в голове стоял туман, и он понял, что конец его близок. Как дикий зверь, он заполз в чащу умирать. В полусознании, в бреде он возвращался мыслью к дням своей юности на Ниихау. Жизнь угасала, все тише стучал по листьям дождь, а ему казалось, что он снова объезжает диких лошадей и строптивый двухлеток пляшет под ним и встает на дыбы; а вот он бешено мчится по корралю, и подручные конюхи разбегаются в стороны и перемахивают через загородку. Минуту спустя, совсем не удивившись этой внезапной перемене, он гнался за дикими быками по горным пастбищам, и, набросив на них лассо, вел их вниз, в долину. А в загоне, где клеймили скот, от пота и пыли ело глаза и щипало в носу.

Вся его здоровая, вольная молодость грезилась ему, пока острая боль наступающего конца не вернула его к действительности. Он поднял свои обезображенные руки и в изумлении посмотрел на них. Почему? Как? Как мог он, молодой, свободный, превратиться вот в это? Потом он вспомнил все и на мгновение снова стал Кулау-прокаженным. Веки его устало опустились, шум дождя затих. Томительная дрожь прошла по телу. Потом и это кончилось. Он приподнял голову, но сейчас же снова уронил ее на траву. Глаза его открылись и уже не закрывались больше. Последняя мысль его была о винтовке, и, обхватив ее беспальными руками, он крепко прижал ее к груди.

## ЛИГА СТАРИКОВ

В Казармах судили человека, речь шла о его жизни и смерти. Это был старик индеец с реки Белая Рыба, впадающей в Юкон пониже озера Ла-Барж. Его дело взволновало весь Доусон, и не только Доусон, но и весь Юконский край на тысячу миль в обе стороны по течению. Пираты на море и грабители на земле, англосаксы издавна несли закон покоренным народам, и закон этот подчас был суров. Но тут, в деле Имбера, закон впервые показался и мягким и снисходительным. Он не предусматривал такой кары, которая с точки зрения простой арифметики соответствовала бы совершенным преступлениям. Что преступник заслуживает высшей меры наказания, в этом не могло быть никаких сомнений; но, хотя такой мерой была смертная казнь, Имбер мог поплатиться лишь одной своей жизнью, в то время как на его совести было множество жизней.

В самом деле, руки Имбера были обгажены кровью столько людей, что точно сосчитать его жертвы оказалось невозможно. Покуривая трубку на привале в пути или бездельничая у печки, жители края прикидывали, сколько же приблизительно людей загубил этот старик. Все, буквально все эти несчастные жертвы были белыми, – они гибли и поодиночке, и по двое, и целыми группами. Убийства были так бессмысленны и беспричинны, что долгое время они оставались загадкой для королевской конной полиции, даже тогда, когда на реках стали добывать золото и правительство доминиона прислало сюда губернатора, чтобы заставить край платить за свое богатство.

Но еще большей загадкой казалось то, что Имбер сам пришел в Доусон, чтобы отдать себя в руки правосудия. Поздней весной, когда Юкон ревел и метался в своих ледяных оковах, старый индеец свернул с тропы проложенной по льду, с трудом поднялся по береговому откосу и, растерянно моргая, остановился на главной улице. Все, кто видел его появление, заметили, что он был очень слаб. Пошатываясь, он добрался до кучи бревен и сел. Он сидел здесь весь день, пристально глядя на бесконечный поток проходивших мимо белых людей. Многие с любопытством оглядывались, чтобы еще раз посмотреть на него, а кой у кого этот старый сиваш со странным выражением лица вызывал даже громкие замечания. Впоследствии десятки людей вспоминали, что необыкновенный облик индейца поразил их, и они до конца дней гордились своей проницательностью и чутьем на все необыкновенное.

Однако настоящим героем дня оказался Маленький Диккенсен. Маленький Диккенсен явился в эти края с радужными надеждами и пачкой долларов в кармане; но вместе с содержимым кармана растаяли и надежды, и, чтобы заработать на обратный путь в Штаты, он занял должность счетовода в маклерской конторе «Холбрук и Мэйсон». Как раз напротив конторы «Холбрук и Мэйсон» и лежала куча бревен, на которой уселся Имбер. Диккенсен заметил его, глянув в окно, перед тем как отправиться завтракать, а позавтракав и вернувшись в контору, он опять глянул в окно: старый сиваш по-прежнему сидел на том же месте.

Диккенсен то и дело поглядывал в окно, – потом он тоже гордился своей проницательностью и чутьем на необыкновенное. Маленький Диккенсен был склонен к романтике, и в неподвижном старом язычнике он увидел некое олицетворение народа сивашей, с непроницаемым спокойствием взирающего на полчища англосаксонских захватчиков.

Часы шли за часами, а Имбер сидел все в той же позе, ни разу не пошевелившись, и Диккенсен вспомнил, как однажды посреди главной улицы остановились нарты, на которых вот так же неподвижно сидел человек; мимо него взад и вперед сновали прохожие, и все думали, что человек просто отдыхает, а потом, когда его тронули, то оказалось что он мертв и

уже успел окоченеть – замерз посреди уличной толчеи. Чтобы труп выпрямить – иначе он не влез бы в гроб, – его пришлось тащить к костру и оттаивать. Диккенсена передернуло при этом воспоминании.

Немного погодя Диккенсен вышел на улицу выкурить сигарету и проветриться, и тут-то через минуту появилась Эмили Трэвис. Эмили Трэвис была особой изысканной, утонченной, хрупкой, и одевалась она – будь это в Лондоне или в Клондайке – так, как подобало дочери горного инженера, обладателя миллионов. Маленький Диккенсен положил свою сигару на выступ окна и приподнял над головой шляпу.

Минут десять они спокойно болтали, но вдруг Эмили Трэвис посмотрела через плечо Диккенсена и испуганно вскрикнула. Диккенсен поспешно оглянулся и сам вздрогнул от испуга. Имбер перешел улицу и, точно мрачная тень, стоял совсем близко, впившись неподвижными глазами в девушку.

– Чего тебе надо? – храбро спросил Маленький Диккенсен нетвердым голосом.

Имбер, проворчал что-то, подошел вплотную к Эмили Трэвис. Он внимательно оглядел ее всю, с головы до ног, как бы стараясь ничего не пропустить. Особый интерес у него вызвали шелковистые каштановые волосы девушки и румяные щеки, покрытые нежным пушком, точно крыло бабочки. Он обошел ее вокруг, не отрывая от нее оценивающего взгляда, словно изучал стати лошади или устройство лодки. Вдруг он увидел, как лучи заходящего солнца просвечивают сквозь розовое ухо девушки, и остановился, будто вкопанный. Потом он снова принялся осматривать ее лицо и долго, пристально вглядывался в ее голубые глаза. Опять проворчав что-то, он положил ладонь на руку девушки чуть ниже плеча, а другой своей рукой согнул ее в локте. Отвращение и удивление отразилось на лице индейца, с презрительным ворчанием он отпустил руку Эмили. Затем издал какие-то гортанные звуки, повернулся к девушке спиной и что-то сказал Диккенсену.

Диккенсен не мог понять, что он говорил, и Эмили Трэвис засмеялась. Имбер, хмуря брови, обращался то к Диккенсену, то к девушке, но они лишь качали головами. Он уже хотел отойти от них, как девушка крикнула:

– Эй, Джимми! Идите сюда!

Джимми приближался с другой стороны улицы. Это был рослый неуклюжий индеец, одетый по обычаю белых людей, в огромной широкополой шляпе, какие носят короли Эльдорадо. Запинаясь и словно давясь каждым звуком, он стал говорить с Имбером. Джимми был родом ситха; на языке племен, живущих в глубине страны, он знал лишь самые простые слова.

– Он от племени Белая Рыба, – сказал он Эмили Трэвис. – Я понимаю его язык не очень хорошо. Он хочет видеть главный белый человек.

– Губернатора, – подсказал Диккенсен.

Джимми обменялся с человеком из племени Белая Рыба еще несколькими словами, и лицо его приняло озабоченное и недоуменное выражение.

– Я думаю, ему надо капитан Александер, – заявил Джимми. – Он говорит, он убил белый человек, белый женщина, белый мальчик, убил много-много белый человек. Он хочет умирать.

– Вероятно, сумасшедший, – сказал Диккенсен.

– Это что есть? – спросил Джимми.

Диккенсен, будто протыкая себе череп, приставил ко лбу палец и с силой покрутил им.

– Может быть, может быть, – сказал Джимми, поворачиваясь к Имберу, все еще требовавшему главного белого человека.

Подошел полисмен из королевской конной полиции (в Клондайке она обходилась без коней) и услышал, как Имбер повторил свою просьбу. Полисмен был здоровенный детина, широкий в плечах, с мощной грудью и стройными, крепкими ногами; как ни высок был Имбер, полисмен на полголовы был выше его. Глаза у него были холодные, серые, взгляд твердый, в осанке чувствовалась та особая уверенность в своей силе, которая идет от предков и освящена веками. Великолепная мужественность полисмена еще более выигрывала от его молодости – он был совсем еще мальчик, и румянец на его гладких щеках вспыхивал с такой же быстротой, как на щеках юной девушки.

Лишь на полисмена и смотрел теперь Имбер. Какой-то огонь сверкнул в глазах индейца, как только он заметил на подбородке юноши рубец от удара саблей. Своей высохшей рукой он прикоснулся к бедру полисмена и ласково провел по его мускулистой ноге. Костяшками пальцев он постучал по его широкой груди, потом ощупал плотные мышцы, покрывавшие плечи юноши, словно кираса. Вокруг них уже толпились любопытные прохожие – золотоискатели, жители гор, пионеры девственных земель – все сыны длинноногой, широкоплечей расы. Имбер переводил взгляд с одного на другого, потом что-то громко сказал на языке племени Белая Рыба.

– Что он говорит? – спросил Диккенсен.

– Он сказал – все эти люди как один, как эта полисмен, – перевел Джимми.

Маленький Диккенсен был мал ростом, и потому он пожалел, что задал такой вопрос в присутствии мисс Трэвис. Полисмен посочувствовал ему и решил прийти на помощь.

– А пожалуй, у него что-то есть на уме. Я отведу его к капитану. Скажи ему, Джимми, чтобы он шел со мной.

Джимми снова стал давиться, а Имбер заворчал, но вид у него был весьма довольный.

– Спросите-ка его, Джимми, что он говорил и что думал, когда взял меня за руку?

Это сказала Эмили Трэвис, и Джимми перевел вопрос и получил ответ:

– Он говорил, вы не трусливый.

При этих словах Эмили Трэвис не могла скрыть своего удовольствия.

– Он говорил, вы не скукум, совсем не сильный, такой нежный, как маленький ребенок. Он может разорвать вас руками на маленькие куски. Он очень смеялся, очень удивлялся, как вы можете родить такой большой, такой сильный мужчина, как эта полисмен.

Эмили Трэвис нашла в себе мужество не опустить глаз, но щеки ее зарделись. Маленький Диккенсен вспыхнул, как маков цвет, и совершенно смутился. Юное лицо полисмена покраснело до корней волос.

– Эй, ты, шагай, – сказал он резко, раздвигая плечом толпу.

Так Имбер попал в Казармы, где он добровольно и полностью признался во всем и откуда больше уже не вышел.

Имбер выглядел очень усталым. Он был стар и ни на что не надеялся, и это было написано на его лице. Он уныло сгорбился, глаза его потускнели; волосы у него должны были быть седыми, но солнце и непогода так выжгли и вытравили их, что они свисали бесцветными,

безжизненными космами. К тому, что происходило вокруг, он не проявлял никакого интереса. Комната была битком набита золотоискателями и охотниками, и зловещие раскаты их низких голосов отдавались у Имбера в ушах, точно рокот моря под сводами береговых пещер.

Он сидел у окна, и его безразличный взгляд то и дело останавливался на расстилавшемся перед ним тоскливом пейзаже. Небо затянуло облаками, сыпалась сизая изморось. На Юконе началось половодье. Лед уже прошел, и река заливала город. По главной улице туда и сюда плыли в лодках никогда не знающие покоя люди. То одна, то другая лодка сворачивала с улицы на залитый водой плац перед Казармами; потом, подплыв ближе, скрывалась из вида, и Имбер слышал, как она с глухим стуком наталкивалась на бревенчатую стену, а люди через окно влезали в дом. Затем было слышно, как эти люди, хлюпая ногами по воде, проходили нижним этажом и поднимались по лестнице. Сняв шляпы, в мокрых морских сапогах, они входили в комнату и смешивались с ожидавшей суда толпой.

И пока все эти люди враждебно разглядывали его, довольные тем, что он понесет свое наказание, Имбер смотрел на них и думал об их обычаях и порядках, об их недремлющем Законе, который был, есть и будет до скончания веков – в хорошие времена и в плохие, в наводнение и в голод, невзирая на беды, и ужас, и смерть. Так казалось Имберу.

Какой-то человек постучал по столу; разговоры прекратились, наступила тишина. Имбер взглянул на того, кто стучал по столу. Казалось, этот человек обладал властью, но Имбер почувствовал, что начальником над всеми и даже над тем, кто постучал по столу, был другой, широколобый человек, сидевший за столом чуть подальше. Из-за стола поднялся еще один человек, взял много тонких бумажных листов и стал их громко читать. Перед тем как начать новый лист, он откашливался, а закончив его, слюнявил пальцы. Имбер не понимал, что говорил этот человек, но все другие понимали, и видно было, что они сердятся. Иногда они очень сердились, а однажды кто-то выругал его, Имбера, коротким гневным словом, но человек за столом, постучав пальцем, приказал ослушнику замолчать.

Человек с бумагами читал бесконечно долго. Под его скучный монотонный голос Имбер задремал, и когда чтение кончилось, он спал глубоким сном. Кто-то окликнул его на языке племени Белая Рыба, он проснулся и без всякого удивления увидел перед собой лицо сына своей сестры – молодого индейца, который уже давно ушел из родных мест и жил среди белых людей.

– Ты, верно, не помнишь меня, – сказал тот вместо приветствия.

– Нет, помню, – ответил Имбер. – Ты – Хаукан, ты давно ушел от нас. Твоя мать умерла.

– Она была старая женщина, – сказал Хаукан.

Имбер уже не слышал его ответа, но Хаукан потряс его за плечо и разбудил снова.

– Я скажу тебе, что читал этот человек, – он читал обо всех преступлениях, которые ты совершил и в которых, о глупец, ты признался капитану Александру. Ты должен подумать и сказать, правда это все или неправда. Так тебе приказано.

Хаукан жил у миссионеров и научился у них читать и писать. Сейчас он держал в руках те самые тонкие листы бумаги, которые прочитал вслух человек за столом, – в них было записано все, что сказал Имбер с помощью Джимми на допросе у капитана Александра. Хаукан начал читать. Имбер послушал немного, на лице его выразилось изумление, и он резко прервал его:

– Это мои слова, Хаукан, но они идут с твоих губ, а твои уши не слышали их.

Хаукан самодовольно улыбнулся и пригладил расчесанные на пробор волосы.

– Нет, о Имбер, они идут с бумаги. Мои уши не слышали их. Слова идут с бумаги и через глаза попадают в мою голову, а потом мои губы передают их тебе. Вот откуда они идут.

– Вот откуда они идут. Значит, они на бумаге? – благоговейным шепотом спросил Имбер и пощупал бумагу, со страхом глядя на покрывавшие ее знаки. – Это великое колдовство, а ты, Хаукан, настоящий кудесник.

– Пустяки, пустяки, – небрежно сказал молодой человек, не скрывая своей гордости.

Он наугад взял один из листов бумаги и стал читать:

– «В тот год, еще до ледохода, появился старик с мальчиком, который хромал на одну ногу. Их я тоже убил, и старик сильно кричал...»

– Это правда, – прервал задыхающимся голосом Имбер. – Он долго, долго кричал и бился, никак не хотел умирать. Но откуда ты это знаешь, Хаукан? Тебе, наверное, сказал начальник белых людей? Никто не видел, как я убил, а рассказывал я только начальнику.

Хаукан с досадой покачал головой.

– Разве я не сказал тебе, о глупец, что все это написано на бумаге?

Имбер внимательно разглядывал испещренный чернильными значками лист.

– Охотник смотрит на снег и говорит: вот тут вчера пробежал заяц, вот здесь, в зарослях ивняка, он присел и прислушался, а потом испугался чего-то и побежал; с этого места он повернул назад, тут побежал быстро-быстро и делал большие скачки, а тут вот еще быстрее бежала рысь; здесь, где ее следы ушли глубоко в снег, рысь сделала большой-большой прыжок, тут она настигла зайца и перевернулась на спину; дальше идут следы одной рыси, а зайца уже нет. Как охотник глядит на следы на снегу и говорит, что тут было то, а тут это, так и ты глядишь на бумагу и говоришь, что здесь то, а там это и что все это сделал старый Имбер?

– Да, это так, – ответил Хаукан. – А теперь слушай хорошенько и попридержи свой бабий язык, пока тебе не прикажут говорить.

И Хаукан долго читал Имберу его показания, а тот молча сидел, уйдя в свои мысли. Когда Хаукан смолк, Имбер сказал ему:

– Все это мои слова, и верные слова, Хаукан, но я стал очень стар, и только теперь мне вспоминаются давно уже забытые дела, о которых надо знать начальнику. Слушай. Раз из-за Ледяных Гор пришел человек, у него были хитрые железные капканы: он охотился за бобрами на реке Белая Рыба. Я убил его. Потом были еще три человека на реке Белая Рыба, которые искали золото. Их я тоже убил и бросил росомахам. И еще у Файв Фингерз я убил человека, – он плыл на плоту, и у него было припасено много мяса.

Когда Имбер умолкал на минуту, припоминая, Хаукан переводил его слова, а клерк записывал. Публика довольно равнодушно внимала этим бесхитростным рассказам, из которых каждый представлял собою маленькую трагедию, до тех пор, пока Имбер не рассказал о человеке с рыжими волосами и косым глазом, которого он сразил стрелой издалека.

– Черт побери, – произнес один из слушателей в передних рядах, горе и гнев звучали в его голосе. У него были рыжие волосы. – Черт побери, – повторил он, – да это же мой брат Билл!

И пока шел суд, в комнате время от времени раздавалось гневное «черт побери», – ни уговоры товарищей, ни замечания человека за столом не могли заставить рыжеволосого



замолчать.

Голова Имбера опять склонилась на грудь, а глаза словно подернулись пеленой и перестали видеть окружающий мир. Он ушел в свои размышления, как может размышлять лишь старость о беспредельной тщете порывов юности.

Хаукан растолкал его снова.

– Встань, о Имбер. Тебе приказано сказать, почему ты совершил такие преступления и убил этих людей, а потом пришел сюда в поисках Закона.

Имбер с трудом поднялся на ноги и, шатаясь от слабости, заговорил низким, чуть дрожащим голосом, но Хаукан остановил его.

– Этот старик совсем помешался, – обратился он по-английски к широколобому человеку. – Он, как ребенок, ведет глупые речи.

– Мы хотим выслушать его глупые речи, – заявил широколобый человек. – Мы хотим выслушать их до конца, слово за словом. Ясно тебе?

Хаукану было ясно. Имбер сверкнул глазами – он догадался, о чем говорил сын его сестры с начальником белых людей. И он начал свою исповедь – необычайную историю темнокожего патриота, которая заслуживала того, чтобы ее начертали на бронзовых скрижалях для будущих поколений. Толпа затихла, как замороженная, а широколобый судья, подперев голову рукой, слушал будто самую душу индейца, душу всей его расы. В тишине звучала лишь гортанная речь Имбера, прерываемая резким голосом переводчика, да время от времени раздавался, подобно господнему колоколу удивленный возглас рыжеволосого: «Черт побери!»

– Я – Имбер, из племени Белая Рыба, – переводил слова старика Хаукан; дикарь проснулся в нем, и налет цивилизации, привитой миссионерским воспитанием, сразу рассеялся, как только ухо его уловило в речи Имбера знакомый ритм и распев. – Мой отец был Отсбаок, могучий воин. Когда я был маленьким мальчиком, теплое солнце грело нашу землю и радость согревала сердца. Люди не гнались за тем, чего не знали, не слушали чужих голосов, обычаи отцов были их обычаями. Юноши с удовольствием глядели на девушек, а девушек тешили из взгляды. Женщины кормили грудью младенцев, и чресла их были отягчены обильным приплодом. Племя росло, и мужчины в те дни были мужчинами. Они были мужчинами в дни мира и изобилия, мужчинами оставались и в дни войны и голода.

В те времена было больше рыбы в воде, чем ныне, и больше дичи в лесу. Наши собаки были волчьей породы, им было тепло под толстой шкурой, и они не боялись ни стужи, ни урагана. И мы сами были такими же, как собаки, – мы тоже не боялись ни стужи, ни урагана. А когда люди племени пелли пришли на нашу землю, мы убивали их, и они убивали нас. Ибо мы были мужчинами, мы, люди племени Белая Рыба; наши отцы и отцы наших отцов сражались с пламенем пелли и установили границы нашей земли.

Я сказал: бесстрашны были наши собаки, бесстрашны были и мы сами. Но однажды пришел к нам первый белый человек. Он полз по снегу на четвереньках – вот так. Кожа его была туго натянута, под кожей торчали кости. Мы никогда не видали такого человека, и мы удивлялись и гадали, из какого он племени и откуда пришел. Он был слаб, очень слаб, как маленький ребенок, и мы дали ему место у очага, подостлали ему теплые шкуры и накормили его, как кормят маленьких детей.

С ним пришла собака величиной с трех наших собак, она была тоже очень слаба. Шерсть у этой собаки была короткая и плохо грела, а хвост обморожен, так что конец у него отвалился. Мы накормили эту странную собаку, обогрели ее у очага и отогнали наших собак, иначе те

разорвали бы ее.

От оленьего мяса и вяленой лососины к человеку и собаке понемногу вернулись силы, а набравшись сил, они растолстели и осмелели. Человек стал говорить громким голосом и смеяться над стариками и юношами и дерзко смотрел на девушек. А его собака дралась с нашими собаками, и, хотя шерсть у нее была мягкая и короткая, однажды она загрызла трех наших собак.

Когда мы спрашивали этого человека, из какого он племени, он говорил: «У меня много братьев» – и смеялся нехорошим смехом. А когда он совсем окреп, он ушел от нас, и с ним ушла Нода, дочь вождя. Вскоре после этого у нас оценилась одна сука. Никогда мы не видали таких щенков – они были большеголовые, с сильными челюстями, с короткой шерстью и совсем беспомощные. Мой отец Отсбаок был могучий воин; и я помню, что, когда он увидел этих беспомощных щенков, лицо его потемнело от гнева, он схватил камень – вот так, и потом так – и щенков не стало. А через два лета после этого вернулась Нода и принесла на руках маленького мальчика.

Так оно и началось. Потом пришел второй белый человек с короткошерстыми собаками, он ушел, а собак оставил. Но он увел шесть самых сильных наших собак, за которых дал Ку-Со-Ти, брату моей матери, удивительный пистолет – шесть раз подряд и очень быстро стрелял этот пистолет. Ку-Со-Ти был горд таким пистолетом и смеялся над нашими луками и стрелами, он называл их женскими игрушками. С пистолетом в руке он пошел на медведя. Теперь все знают, что не годится идти на медведя с пистолетом, но откуда нам было знать это тогда? И откуда мог знать это Ку-Со-Ти? Он очень смело пошел на медведя и быстро выстрелил в него из пистолета шесть раз подряд, а медведь только зарычал и раздавил грудь Ку-Со-Ти, как будто это было яйцо, и как будто мед из пчелиного гнезда, растекся по земле его мозг. Он был умелый охотник, а теперь некому стало убивать дичь для его скво и детей. И мы все горевали, мы сказали так: «Что хорошо для белых людей, то для нас плохо». И это правда. Белых людей много, белые люди толстые, а нас из-за них стало мало, и мы отощали.

И пришел третий белый человек, у него было много-много всякой удивительной пищи и всякого добра. Он сторговал у нас в обмен на эти богатства двадцать самых сильных наших собак. Он увел за собой, сманив подарками и обещаниями, десять наших молодых охотников, и никто не мог сказать, куда они ушли. Говорят, они погибли в снегах Ледяных Гор, где не бывал ни один человек, или на Холмах Безмолвия – за краем земли. Так это или не так, но племя Белой Рыбы никогда не видало больше этих собак и молодых охотников.

Еще и еще приходили белые люди, приносили подарки и уводили с собой наших юношей. Иногда юноши возвращались назад, и мы слушали их удивительные рассказы о тяготах и опасностях, которые им пришлось испытать в далеких землях, что лежат за землей племени пелли, а иногда юноши и не возвращались. И мы сказали тогда: «Если белые люди ничего не боятся, так это потому, что их много, а нас, людей Белой Рыбы, мало, и наши юноши не должны больше уходить от нас». Но юноши все-таки уходили, уходили и девушки, и гнев наш рос.

Правда, мы ели муку и соленую свинину и очень любили пить чай; но если у нас недоставало чая, это было очень плохо, – мы становились скупы на беседу и скоры на гнев. Так мы начали тосковать о вещах, которые белые люди привозили, чтобы торговать с нами. Торговать! Торговать! Мы только и думали, что о торговле. Однажды зимой мы отдали всю убитую дичь за часы, которые не шли, за тупые пилы и пистолеты без патронов. А потом наступил голод, у нас не было мяса, и четыре десятка людей умерло, не дождавшись весны.

«Теперь мы ослабели, – говорили мы, – племя пелли нападет на нас и захватит нашу землю». Но беда пришла не только к нам, пришла она и к племени пелли – там тоже люди

ослабели и не могли воевать с нами.

Мой отец Отсбаок, могучий воин, был тогда очень стар и мудр. И он сказал вождю такие слова: «Посмотри, наши собаки никуда не годятся. У них уже нет густой шерсти, они утратили свою силу, они не могут ходить в упряжке и околевают от мороза. Давай убьем их, оставим одних только сук волчьей породы, а их отвяжем и отпустим на ночь в лес, чтобы они там спарились с дикими волками. И у нас опять будут сильные собаки с теплой шкурой».

И вождь послушался этих слов, и скоро племя Белой Рыбы прославилось своими собаками, лучшими во всем краю. Но только собаками – не людьми. Лучшие наши юноши и девушки уходили от нас с белыми людьми неведомо куда по дальним тропам и рекам. Девушки возвращались, как возвратилась Нода, хворыми и состарившимися, или не возвращались вовсе. А если возвращались юноши, то они не долго сидели у наших очагов. В своих странствиях они научались дурным речам и дерзким замашкам, пили дьявольское питье и день и ночь играли в карты; по первому зову белого человека они вновь уходили в неведомые страны. Они забыли о долге уважения к старшим, никому не оказывали почета, они глумились над нашими старыми обычаями и смеялись в лицо и вождю и шаманам.

Я сказал, что мы, люди племени Белая Рыба, стали слабыми и немощными. Меха и теплые шкуры мы отдавали за табак, виски и одежду из тонкой бумажной ткани, в которой мы дрожали от холода. На нас напал кашель, болели мужчины и женщины, они кашляли и обливались потом всю ночь напролет, а охотники, выйдя в лес, харкали на снег кровью. То у одного, то у другого шла горлом кровь, и от этого люди быстро умирали. Детей женщины рожали редко, и дети рождались хилые и хворые. Белые люди принесли нам и другие непонятные болезни, о которых мы никогда не слыхали. Мне говорили, что эти болезни называются оспой и корью, – мы гибли от них, как гибнут в тихих протоках лососи, когда они осенью кончат метать икру и им больше незачем жить.

И вот самое удивительное: белые люди приносили нам смерть, все их обычаи вели к смерти, смертельно было дыхание их ноздрей, а сами они не знали смерти. У них и виски, и табак, и собаки с короткой шерстью; у них множество болезней, и оспа, и корь, и кашель, и кровохарканье; у них белая кожа, и они боятся стужи и урагана; у них глупые пистолеты, стреляющие шесть раз подряд. И, несмотря на все свои болезни, они жиреют и процветают, они наложили свою тяжелую руку на весь мир и попирают все народы. А их женщины, нежные как маленькие дети, такие хрупкие на вид и такие крепкие на самом деле, – матери больших и сильных мужчин. И выходит, что изнеженность, и болезни, и слабость обертываются силой, могуществом и властью. Белые люди либо боги, либо дьяволы – я не знаю. Да и что я могу знать, я, старый Имбер из племени Белая Рыба? Я знаю одно: их невозможно понять, этих белых людей, землепроходцев и воинов.

Я сказал, что дичи в лесах становилось меньше и меньше. Это правда, что ружье белого человека – очень хорошее ружье и бьет далеко, но какая польза в ружье, если нет дичи? Когда я был мальчиком, на земле племени Белая Рыба лось попадался на каждом холме, а сколько каждый год приходило оленей-карибу – этого не сосчитать. Теперь же охотник может идти по тропе десять дней, и ни один лось не порадует его глаз, а оленей-карибу, которых раньше было не сосчитать, теперь не стало вовсе. Я говорю: хоть ружье и бьет далеко, но мало от него пользы, если нечего бить.

И я, Имбер, думал об этом, видя, как погибает племя Белая Рыба, погибает племя, пелли и все остальные племена края, – они погибали, как погибла в лесах дичь. Я думал долго. Я беседовал с шаманами и мудрыми стариками. Чтобы людской шум не мешал мне думать, я уходил из селения подальше в лес, а чтобы тяжесть желудка не давила на меня и не притупляла мое зрение и слух, я перестал есть мясо. Долго я просиживал в лесу, забывая о сне, мои глаза ожидали знака, а мои чуткие уши старались уловить слово, которое должно было все разрешить. Один я выходил темной ночью на берег реки, где стонал ветер и

плакала вода, – там, среди деревьев, я хотел встретить тени старых мудрецов, умерших шаманов и просить у них совета.

И в конце концов мне явилось видение – отвратительные собаки с короткой шерстью, – и я понял, что мне делать. По мудрости Отсбаока, моего отца и могучего воина, наши собаки сохранили в чистоте свою волчью породу, и у них были теплые шкуры и хватало силы для того, чтобы ходить в упряжке. И вот я вернулся в селение и сказал свое слово воинам. «Белые люди – это племя, очень большое племя, – сказал я. – В их земле не стало больше дичи, и они пришли на нашу землю, чтобы присвоить ее. Они сделали нас слабыми; и мы гибнем. Они очень жадные люди. И вот на нашей земле уже не стало дичи, и, если мы хотим жить, нам надо сделать с ними то же, что мы сделали с их собаками».

И я сказал еще много слов, я предлагал драться. А люди Белой Рыбы слушали меня, и один сказал одно, а другой другое, кое-кто говорил совсем глупые слова, и ни от одного воина не услышал я слов отваги и войны. Юноши были трусливы и слабы, как вода, но я заметил, что в глазах молчаливо сидящих стариков вспыхнул огонь. И вечером, когда селение уснуло, тайком я позвал стариков в лес и там снова беседовал с ними. И мы пришли к согласию, мы вспомнили дни нашей юности, дни изобилия, и радости, и солнца, когда наша земля была свободна. Мы называли друг друга братьями, мы поклялись очистить нашу землю от злого племени, которое пришло к нам. Теперь ясно, что это было глупо, но как мы могли это знать тогда – мы, старики племени Белая Рыба?

И чтобы подать пример другим и воодушевить их, я совершил первое убийство. Я залег на берегу Юкона и дождался там каноэ с белыми людьми. В нем сидели двое, и когда они увидели, что я встал и поднял руку, они изменили направление и стали грести к берегу. Но как только человек, сидевший на носу, поднял голову, чтобы узнать, чего мне нужно от него, моя стрела пронеслась по воздуху и впиалась ему прямо в горло, и он узнал тогда, что мне от него нужно. Другой человек, тот, что сидел на корме и правил, не успел приложить к плечу ружье, как я пронзил его своим копьем, два копья у меня еще оставалось.

– Это первые, – сказал я подошедшим ко мне старикам. – Немного погодя мы объединим всех стариков всех племен, а потом и тех юношей, у которых есть еще в руках сила, и дело пойдет быстрее.

Потом мы бросили убитых белых людей в реку. А их каноэ – это было очень хорошее каноэ – мы сожгли, сожгли и все вещи, а они были в кожаных сумках, и нам пришлось распаривать их ножами. В сумках было очень много бумаг – вроде тех, которые ты читал, о Хаукан, – и все они покрыты знаками; мы дивились на эти знаки и не могли понять их. Теперь я стал мудрее и понимаю их: это, как ты сказал мне, – слова человека...

Едва Хаукан перевел рассказ об убийстве двух человек в каноэ, как наполнявшая комнату толпа заволновалась и зажужжала.

– Это почта, которая пропала в девяносто первом году! – Раздался чей-то голос. – Ее везли Питер Джеймс и Дилэни; их обоих в последний раз видел Мэттьюз у озера Ла-Барж.

Клерк усердно записывал, и к истории Севера прибавилась новая глава.

– Мне осталось сказать немного, – медленно произнес Имбер. – На бумаге есть все, что мы совершили. Мы, старики, – мы не понимали, что делали. Храня тайну, мы убивали и убивали; мы убивали хитро, ибо прожитые годы научили нас делать свое дело не спеша, но быстро. Однажды пришли к нам белые люди, они глядели на нас сердитыми глазами и говорили нам бранные слова, шести нашим юношам они заковали руки в железо и увели их с собой. Тогда мы поняли, что мы должны убивать еще хитрее и еще больше. И мы, старики, один за другим уходили вверх и вниз по реке в неведомые края. Для такого дела требовалась смелость. Хотя мы были стары и уже ничего не боялись, все же страх перед далекими, чужими краями –

великий страх для стариков.

Так мы убивали – не торопясь и с большой хитростью. Мы убивали и на Чилкуте и у Дельты, на горных перевалах и на морском берегу – везде, где только разбивал свою стоянку или прокладывал тропу белый человек. Да, белые люди умирали, но для нас это было бесполезно. Они все приходили и приходили из-за гор, их становилось все больше и больше, а нас, стариков, оставалось все меньше. Я помню, у Оленьего перевала разбил стоянку один белый человек. Этот человек был очень маленького роста, и три наших старика напали на него, когда он спал. На следующий день я наткнулся и на этого белого и на стариков. Из всех четверых еще дышал один лишь белый человек, и у него даже хватило силы, пока он не умер, изругать и проклясть меня.

Так вот и было: сегодня погибнет один старик, а завтра другой. Иногда, уже спустя много времени, к нам доходила весть о смерти кого-нибудь из наших, а иногда и не доходила. А старики других племен были слабы и трусливы и не хотели помогать нам. Итак, сегодня погибал один старик, завтра другой, – и вот остался только я. Я, Имбер, из племени Белая Рыба. Мой отец Отсбаок, могучий воин. Теперь уже нет племени Белая Рыба. Я последний старик этого племени, а юноши и молодые женщины ушли с нашей земли – кто к племени пелли, кто к племени Лососей, а больше всего – к белым людям. Я очень стар и очень устал, я напрасно боролся с Законом, и ты прав, Хаукан, – я пришел сюда в поисках Закона.

– Ты поистине глупец, о Имбер, – сказал Хаукан.

Но Имбер уже не слышал, погружившись в свои видения. Широколобий судья тоже был погружен в видения: перед его взором величественно проходила вся его раса – закованная в сталь, одетая в броню, устанавливающая законы и определяющая судьбы других народов. Он видел зарю ее истории, встающую багровыми отсветами над темными лесами и простором угрюмых морей. Он видел, как эта заря разгорается кроваво-красным пламенем, переходя в торжественный сияющий полдень, видел, как за склоном, тронутым тенью, уходят в ночь багряные, словно кровью пропитанные пески... И за всем этим ему мерещился Закон, могучий и беспощадный, непреложный и грозный, более сильный, чем те ничтожные человеческие существа, которые действуют его именем или погибают под его тяжестью, – более сильный, чем он, судья, чье сердце просило о снисхождении.

\* \* \*

## ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Прихрамывая, они спустились к речке, и один раз тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность – след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые тюки, стянутые ремнями. Каждый из них нес ружье. Оба шли сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз.

– Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тайнике, – сказал один.

Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его спутник, только что ступивший в молочно-белую воду, пенящуюся по камням, ничего ему не ответил.

Второй тоже вошел в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была холодная, как лед, – такая холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. Местами вода захлестывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору.

Второй путник поскользнулся на гладком валуне и чуть не упал, но удержался на ногах, громко вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова, – он пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперед, но снова пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего спутника: тот все так же шел впереди, даже не оглядываясь.

Целую минуту он стоял неподвижно, словно раздумывая, потом крикнул:

– Слушай, Билл, я вывихнул ногу!

Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. Второй смотрел ему вслед, и хотя его лицо оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась тоска, словно у раненого оленя.

Билл уже выбрался на другой берег и плелся дальше. Тот, что стоял посреди речки, не сводил с него глаз. Губы у него так сильно дрожали, что шевелились жесткие рыжие усы над ними. Он облизнул сухие губы кончиком языка.

– Билл! – крикнул он.

Это была отчаянная мольба человека, попавшего в беду, но Билл не повернул головы. Его товарищ долго следил, как он неуклюжей походкой, прихрамывая и спотыкаясь, взбирается по отлогому склону к волнистой линии горизонта, образованной гребнем невысокого холма. Следил до тех пор, пока Билл не скрылся из виду, перевалив за гребень. Тогда он отвернулся и медленно обвел взглядом тот круг вселенной, в котором он остался один после ухода Билла.

Над самым горизонтом тускло светило солнце, едва видимое сквозь мглу и густой туман, который лежал плотной пеленой, без видимых границ и очертаний. Опираясь на одну ногу всей своей тяжестью, путник достал часы. Было уже четыре. Последние недели две он сбился со счета; так как стоял конец июля и начало августа, то он знал, что солнце должно находиться на северо-западе. Он взглянул на юг, соображая, что где-то там, за этими мрачными холмами, лежит Большое Медвежье озеро и что в том же направлении проходит по канадской равнине страшный путь Полярного круга. Речка, посреди которой он стоял, была притоком реки Коппермайн, а Коппермайн течет также на север и впадает в залив Коронации, в Северный Ледовитый океан. Сам он никогда не бывал там, но видел эти места на карте Компании Гудзонова залива.

Он снова окинул взглядом тот круг вселенной, в котором остался теперь один. Картина была невеселая. Низкие холмы замыкали горизонт однообразной волнистой линией. Ни деревьев, ни кустов, ни травы, – ничего, кроме беспредельной и страшной пустыни, – и в его глазах появилось выражение страха.

– Билл! – прошептал он и повторил опять: – Билл!

Он присел на корточки посреди мутного ручья, словно бескрайняя пустыня подавляла его своей несокрушимой силой, угнетала своим страшным спокойствием. Он задрожал, словно в лихорадке, и его ружье с плеском упало в воду. Это заставило его опомниться. Он пересилил свой страх, собрался с духом и, опустив руку в воду, нашарил ружье, потом передвинул тук ближе к левому плечу, чтобы тяжесть меньше давила на больную ногу, и медленно и осторожно пошел к берегу, морщась от боли.

Он шел не останавливаясь. Не обращая внимания на боль, с отчаянной решимостью, он торопливо взбирался на вершину холма, за гребнем которого скрылся Билл, – и сам он казался еще более смешным и неуклюжим, чем хромой, едва ковылявший Билл. Но с гребня он увидел, что в неглубокой долине никого нет! На него снова напал страх, и, снова поборов

его, он передвинул тюк еще дальше к левому плечу и, хромя, стал спускаться вниз.

Дно долины было болотистое, вода пропитывала густой мох, словно губку. На каждом шагу она брызгала из-под ног, и подошва с хлюпаньем отрывалась от влажного мха. Стараясь идти по следам Билла, путник перебирался от озера к озеру, по камням, торчавшим во мху, как островки.

Оставшись один, он не сбился с пути. Он знал, что еще немного – и он подойдет к тому месту, где сухие пихты и ели, низенькие и чахлые, окружают маленькое озеро Титчинничили, что на местном языке означает: «Страна Маленьких Палок». А в озеро впадает ручей, и вода в нем не мутная. По берегам ручья растет камыш – это он хорошо помнил, – но деревьев там нет, и он пойдет вверх по ручью до самого водораздела. От водораздела начинается другой ручей, текущий на запад; он спустится по нему до реки Диз и там найдет свой тайник под перевернутым челноком, заваленным камнями. В тайнике спрятаны патроны, крючки и лески для удочек и маленькая сеть – все нужное для того, чтобы добывать себе пропитание. А еще там есть мука – правда, немного, и кусок грудинки, и бобы.

Билл подождет его там, и они вдвоем спустятся по реке Диз до Большого Медвежьего озера, а потом переправятся через озеро и пойдут на юг, все на юг, – а зима будет догонять их, и быстрину в реке затянет льдом, и дни станут холодней, – на юг, к какой-нибудь фактории Гудзонова залива, где растут высокие, мощные деревья и где сколько хочешь еды.

Вот о чем думал путник с трудом пробираясь вперед. Но как ни трудно было ему идти, еще труднее было уверить себя в том, что Билл его не бросил, что Билл, конечно, ждет его у тайника. Он должен был так думать, иначе не имело никакого смысла бороться дальше, – оставалось только лечь на землю и умереть. И пока тусклый диск солнца медленно скрывался на северо-западе, он успел рассчитать – и не один раз – каждый шаг того пути, который предстоит проделать им с Биллом, уходя на юг от наступающей зимы. Он снова и снова перебирал мысленно запасы пищи в своем тайнике и запасы на складе Компании Гудзонова залива. Он ничего не ел уже два дня, но еще дольше он не ел досыта. То и дело он нагибался, срывал бледные болотные ягоды, клал их в рот, жевал и проглатывал. Ягоды были водянистые и быстро таяли во рту, – оставалось только горькое жесткое семя. Он знал, что ими не насытишься, но все-таки терпеливо жевал, потому что надежда не хочет считаться с опытом.

В девять часов он ушиб большой палец ноги о камень, пошатнулся и упал от слабости и утомления. Довольно долго он лежал на боку не шевелясь; потом высвободился из ремней, неловко приподнялся и сел. Еще не стемнело, и в сумеречном свете он стал шарить среди камней, собирая клочки сухого мха. Набрав целую охапку, он развел костер – тлеющий, дымный костер – и поставил на него котелок с водой.

Он распаковал тюк и прежде всего сосчитал, сколько у него спичек. Их было шестьдесят семь. Чтобы не ошибиться, он пересчитывал три раза. Он разделил их на три кучки и каждую завернул в пергамент; один сверток он положил в пустой кيسет, другой – за подкладку изношенной шапки, а третий – за пазуху. Когда он проделал все это, ему вдруг стало страшно; он развернул все три свертка и снова пересчитал. Спичек было по-прежнему шестьдесят семь.

Он просушил мокрую обувь у костра. От мокасин остались одни лохмотья, сшитые из одеяла носки прохудились насквозь, и ноги у него были стертые до крови. Лодыжка сильно болела, и он осмотрел ее: она распухла, стала почти такой же толстой, как колено. Он оторвал длинную полосу от одного одеяла и крепко-накрепко перевязал лодыжку, оторвал еще несколько полос и обмотал ими ноги, заменив этим носки и мокасины, потом выпил кипятку, завел часы и лег, укрывшись одеялом.

Он спал как убитый. К полуночи стемнело, но не надолго. Солнце взошло на северо-востоке – вернее, в той стороне начало светать, потому что солнце скрывалось за серыми тучами.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он посмотрел на серое небо и почувствовал, что голоден. Повернувшись и приподнявшись на локте, он услышал громкое фырканье и увидел большого оленя, который настороженно и с любопытством смотрел на него. Олень стоял от него шагах в пятидесяти, не больше, и ему сразу представился запас и вкус оленины, шипящей на сковородке. Он невольно схватил незаряженное ружье, прицелился и нажал курок. Олень всхрапнул и бросился прочь, стуча копытами по камням.

Он выругался, отшвырнул ружье и со стоном попытался встать на ноги. Ни деревьев, ни кустов – ничего, кроме серого моря мхов, где лишь изредка виднелись серые валуны, серые озерки и серые ручьи. Небо тоже было серое. Ни солнечного луча, ни проблеска солнца! Он потерял представление, где находится север, и забыл, с какой стороны он пришел вчера вечером. Но он не сбился с пути. Это он знал. Скоро он придет в Страну Маленьких Палок. Он знал, что она где-то налево, недалеко отсюда – быть может, за следующим пологим холмом.

Он вернулся, чтобы увязать свой тюк по-дорожному; проверил, целы ли его три свертка со спичками, но не стал их пересчитывать. Однако он остановился в раздумье над плоским, туго набитым мешочком из оленьей кожи. Мешочек был невелик, он мог поместиться между ладонями, но весил пятнадцать фунтов – столько же, сколько все остальное, – и это его тревожило. Наконец, он отложил мешочек в сторону и стал свертывать тюк; потом взглянул на мешочек, быстро схватил его и вызывающе оглянулся по сторонам, словно пустыня хотела отнять у него золото. И когда он поднялся на ноги и поплелся дальше, мешочек лежал в тюке у него за спиной.

Он свернул налево и пошел, время от времени останавливаясь и срывая болотные ягоды. Нога у него одеревенела, он стал хромать сильнее, но эта боль ничего не значила по сравнению с болью в желудке. Голод мучил его невыносимо. Боль все грызла и грызла его, и он уже не понимал, в какую сторону надо идти, чтобы добраться до страны Маленьких Палок. Ягоды не утоляли грызущей боли, от них только щипало язык и небо.

Когда он дошел до небольшой ложбины, навстречу ему с камней и кочек поднялись белые куропатки, шелестя крыльями и крича: кр, кр, кр... Он бросил в них камнем, но промахнулся. Потом, положив тюк на землю, стал подкрадываться к ним ползком, как кошка подкрадывается к воробьям. Штаны у него порвались об острые камни, от колен тянулся кровавый след, но он не чувствовал этой боли, – голод заглушал его. Он полз по мокрому мху; одежда его намочила, тело зябло, но он не замечал ничего, так сильно терзал его голод. А белые куропатки все вспархивали вокруг него, и наконец это «кр, кр» стало казаться ему насмешкой; он выругал куропаток и начал громко передразнивать их крик.

Один раз он чуть не наткнулся на куропатку, которая, должно быть, спала. Он не видел ее, пока она не вспорхнула ему прямо в лицо из своего убежища среди камней. Как ни быстро вспорхнула куропатка, он успел схватить ее таким же быстрым движением – и в руке у него осталось три хвостовых пера. Глядя, как улетает куропатка, он чувствовал к ней такую ненависть, будто она причинила ему страшное зло. Потом он вернулся к своему тюку и взвалил его на спину.

К середине дня он дошел до болота, где дичи было больше. Словно дразня его, мимо прошло стадо оленей, голов в двадцать, – так близко, что их можно было подстрелить из ружья. Его охватило дикое желание бежать за ними, он был уверен, что догонит стадо. Навстречу ему попалась черно-бурая лисица с куропаткой в зубах. Он закричал. Крик был страшен, но лисица, отскочив в испуге, все же не выпустила добычи.



Вечером он шел по берегу мутного от извести ручья, поросшего редким камышом. Крепко ухватившись за стебель камыша у самого корня, он выдернул что-то вроде луковицы, не крупнее обойного гвоздя. Луковица оказалась мягкая и аппетитно хрустела на зубах. Но волокна были жесткие, такие же водянистые, как ягоды, и не насыщали. Он сбросил свою поклажу и на четвереньках пополз в камыши, хрустя и чавкая, словно жвачное животное.

Он очень устал, и его часто тянуло лечь на землю и уснуть; но желание дойти до Страны Маленьких Палок, а еще больше голод не давали ему покоя. Он искал лягушек в озерах, копал руками землю в надежде найти червей, хотя знал, что так далеко на Севере не бывает ни червей, ни лягушек.

Он заглядывал в каждую лужу и наконец с наступлением сумерек увидел в такой луже одну-единственную рыбку величиной с пескаря. Он опустил в воду правую руку по самое плечо, но рыба от него ускользнула. Тогда он стал ловить ее обеими руками и поднял всю муть со дна. От волнения он оступился, упал в воду и вымок до пояса. Он так замутил воду, что рыбку нельзя было разглядеть, и ему пришлось дожидаться, пока муть осядет на дно.

Он опять принялся за ловлю и ловил, пока вода опять не замутилась. Больше ждать он не мог. Отвязав жестяное ведро, он начал вычерпывать воду. Сначала он вычерпывал с яростью, весь облился и выплескивал воду так близко от лужи, что она стекала обратно. Потом стал черпать осторожнее, стараясь быть спокойным, хотя сердце у него сильно билось и руки дрожали. Через полчаса в луже почти не осталось воды. Со дна уже ничего нельзя было зачерпнуть. Но рыба исчезла. Он увидел незаметную расщелину среди камней, через которую рыбка проскользнула в соседнюю лужу, такую большую, что ее нельзя было вычерпать и за сутки. Если б он заметил эту щель раньше, он с самого начала заложил бы ее камнем, и рыба досталась бы ему.

В отчаянии он опустился на мокрую землю и заплакал. Сначала он плакал тихо, потом стал громко рыдать, будя безжалостную пустыню, которая окружала его; и долго еще плакал без слез, сотрясаясь от рыданий.

Он развел костер и согрелся, выпив много кипятку, потом устроил себе ночлег на каменистом выступе, так же как и в прошлую ночь. Перед сном он проверил, не намокли ли спички, и завел часы. Одежда была сырые и холодные на ощупь. Вся нога горела от боли, как в огне. Но он чувствовал только голод, и ночью ему снились пиры, званые обеды и столы, заставленные едой.

Он проснулся озябший и больной. Солнца не было. Серые краски земли и неба стали темней и глубже. Дул резкий ветер, и первый снегопад выбелил холмы. Воздух словно сгустился и побелел, пока он разводил костер и кипятил воду. Это повалил мокрый снег большими влажными хлопьями. Сначала они таяли, едва коснувшись земли, но снег валил все гуще и гуще, застилая землю, и наконец весь собранный им мох отсырел, и костер погас.

Это было ему сигналом снова взвалить тюк на спину и брести вперед, неизвестно куда. Он уже не думал ни о Стране Маленьких Палок, ни о Билле, ни о тайнике у реки Диз. Им владело только одно желание: есть! Он помешался от голода. Ему было все равно, куда идти, лишь бы идти по ровному месту. Под мокрым снегом он ощупью искал водянистые ягоды, выдергивал стебли камыша с корнями. Но все это было пресно и не насыщало. Дальше ему попала какая-то кислая на вкус травка, и он съел, сколько нашел, но этого было очень мало, потому что травка стлалась по земле и ее нелегко было найти под снегом.

В ту ночь у него не было ни костра, ни горячей воды, и он залез под одеяло и уснул тревожным от голода сном. Снег превратился в холодный дождь. Он то и дело просыпался, чувствуя, что дождь мочит ему лицо. Наступил день – серый день без солнца. Дождь перестал. Теперь чувство голода у путника притупилось. Осталась тупая, ноющая боль в

желудке, но это его не очень мучило. Мысли у него прояснились, и он опять думал о Стране Маленьких Палок и о своем тайнике у реки Дез.

Он разорвал остаток одного одеяла на полосы и обмотал стертые до крови ноги, потом перевязал больную ногу и приготовился к дневному переходу. Когда дело дошло до тюка, он долго глядел на мешочек из оленьей кожи, но в конце концов захватил и его.

Дождь растопил снег, и только верхушки холмов оставались белыми. Проглянуло солнце, и путнику удалось определить страны света, хотя теперь он знал, что сбился с пути. Должно быть, блуждая в эти последние дни, он отклонился слишком далеко влево. Теперь он свернул вправо, чтобы выйти на правильный путь.

Муки голода уже притупились, но он чувствовал, что ослаб. Ему приходилось часто останавливаться и отдыхать, собирая болотные ягоды и луковицы камыша. Язык у него распух, стал сухим, словно ершистым, и во рту был горький вкус. А больше всего его донимало сердце. После нескольких минут пути оно начинало безжалостно стучать, а потом словно подсакивало и мучительно трепетало, доводя его до удушья и головокружения, чуть не до обморока.

Около полудня он увидел двух пескарей в большой луже. Вычерпать воду было невыносимо, но теперь он стал спокойнее и ухитрился поймать их жестяным ведерком. Они были с мизинец длиной, не больше, но ему не особенно хотелось есть. Боль в желудке все слабела, становилась все менее острой, как будто желудок дремал. Он съел рыбок сырыми, старательно их разжевывая, и это было чисто рассудочным действием. Есть ему не хотелось, но он знал, что это нужно, чтобы остаться в живых.

Вечером он поймал еще трех пескарей, двух съел, а третьего оставил на завтрак. Солнце высушило изредка попадавшие клочки мха, и он согрелся, вскипятив себе воды. В этот день он прошел не больше десяти миль, а на следующий, двигаясь только когда позволяло сердце, – не больше пяти. Но боли в желудке уже не беспокоили его; желудок словно уснул. Местность была ему теперь незнакома, олени попадались все чаще и волки тоже. Очень часто их вой доносился до него из пустынной дали, а один раз он видел трех волков, которые, крадучись, перебежали дорогу.

Еще одна ночь, и наутро, образумившись наконец, он развязал ремешок, стягивающий кожаный мешочек. Из него желтой струйкой посыпался крупный золотой песок и самородки. Он разделил золото пополам, одну половину спрятал на видном издалека выступе скалы, завернув в кусок одеяла, а другую всыпал обратно в мешок. Свое последнее одеяло он тоже пустил на обмотки для ног. Но ружье он все еще не бросал, потому что в тайнике у реки Диз лежали патроны.

День выдался туманный. В этот день в нем снова пробудился голод. Путник очень ослабел, и голова у него кружилась так, что по временам он ничего не видел. Теперь он постоянно спотыкался и падал, и однажды свалился прямо на гнездо куропатки. Там было четверо только что вылупившихся птенца, не старше одного дня; каждого хватило бы только на глоток; и он съел их с жадностью, запихивая в рот живыми: они хрустели у него на зубах, как яичная скорлупа. Куропатка-мать с громким криком летала вокруг него. Он хотел подшибить ее прикладом ружья, но она увернулась. Тогда он стал бросать в нее камнями и перебил ей крыло. Куропатка бросилась от него прочь, вспархивая и волоча перебитое крыло, но он не отставал.

Птенцы только раздражили его голод. Неуклюже подсакивая и припадая на больную ногу, он то бросал в куропатку камнями и хрипло вскрикивал, то шел молча, угрюмо и терпеливо поднимаясь после каждого падения, и тер рукой глаза, чтобы отогнать головокружение, грозившее обмороком.

Погоня за куропаткой привела его в болотистую низину, и там он заметил человеческие следы на мокром мху. Следы были не его – это он видел. Должно быть, следы Билла. Но он не мог остановиться, потому что белая куропатка убегала все дальше. Сначала он поймаёт ее, а потом уже вернется и рассмотрит следы.

Он загнал куропатку, но и сам обессилел. Она лежала на боку, тяжело дыша, и он, тоже тяжело дыша, лежал в десяти шагах от нее, не в силах подползти ближе. А когда он отдохнул, она тоже собралась с силами и упорхнула от его жадно протянутой руки. Погоня началась снова. Но тут стемнело и птица скрылась. Споткнувшись от усталости, он упал с тюком на спине и поранил себе щеку. Он долго не двигался, потом повернулся на бок, завел часы и пролежал так до утра.

Опять туман. Половину одеяла он израсходовал на обмотки. Следы Билла ему не удалось найти, но теперь это было неважно. Голод упорно гнал его вперед. Но что, если... Билл тоже заблудился? К полудню он совсем выбился из сил. Он опять разделил золото, на этот раз просто высыпав половину на землю. К вечеру он выбросил и другую половину, оставив себе только обрывок одеяла, жестяное ведро и ружье.

Его начали мучить навязчивые мысли. Почему-то он был уверен, что у него остался один патрон, – ружье заряжено, он просто этого не заметил. И в то же время он знал, что в магазине нет патрона. Эта мысль неотвязно преследовала его. Он боролся с ней часами, потом осмотрел магазин и убедился, что никакого патрона в нем нет. Разочарование было так сильно, словно он и в самом деле ожидал найти там патрон.

Прошло около получаса, потом навязчивая мысль вернулась к нему снова. Он боролся с ней и не мог побороть и, чтобы хоть чем-нибудь помочь себе, опять осмотрел ружье. По временам рассудок его мутился, и он продолжал брести дальше бессознательно, как автомат; странные мысли и нелепые представления точили его мозг, как черви. Но он быстро приходил в сознание, – муки голода постоянно возвращали его к действительности. Однажды его привело в себя зрелище, от которого он тут же едва не упал без чувств. Он покачнулся и зашатался, как пьяный, стараясь удержаться на ногах. Перед ним стояла лошадь. Лошадь! Он не верил своим глазам. Их завлакивал густой туман, пронизанный яркими точками света. Он стал яростно тереть глаза и, когда зрение прояснилось, увидел перед собой не лошадь, а большого бурого медведя. Зверь разглядывал его с недружелюбным любопытством.

Он уже вскинул было ружье, но быстро опомнился. Опустив ружье, он вытащил охотничий нож из шитых бисером ножен. Перед ним было мясо и – жизнь. Он провел большим пальцем по лезвию ножа. Лезвие было острое, и кончик тоже острый. Сейчас он бросится на медведя и убьет его. Но сердце заколотилось, словно предостерегая: тук, тук, тук – потом бешено подскочило кверху и дробно затрепетало; лоб сдавило, словно железным обручем, и в глазах потемнело.

Отчаянную храбрость смыло волной страха. Он так слаб – что будет, если медведь нападет на него? Он выпрямился во весь рост как можно внушительнее, выхватил нож и посмотрел медведю прямо в глаза. Зверь неуклюже шагнул вперед, поднялся на дыбы и зарычал. Если бы человек бросился бежать, медведь погнался бы за ним. Но человек не двинулся с места, осмелев от страха; он тоже зарычал, свирепо, как дикий зверь, выражая этим страх, который неразрывно связан с жизнью и тесно сплетается с ее самыми глубокими корнями.

Медведь отступил в сторону, угрожающе рыча, в испуге перед этим таинственным существом, которое стояло прямо и не боялось его. Но человек все не двигался. Он стоял как вкопанный, пока опасность не миновала, а потом, весь дрожа, повалился на мокрый мох.

Собравшись с силами, он пошел дальше, терзаясь новым страхом. Это был уже не страх голодной смерти: теперь он боялся умереть насильственной смертью, прежде чем последнее

стремление сохранить жизнь заглохнет в нем от голода. Кругом были волки. Со всех сторон в этой пустыне доносился их вой, и самый воздух вокруг дышал угрозой так неотступно, что он невольно поднял руки, отстраняя эту угрозу, словно полотнище колеблемой ветром палатки.

Волки по двое и по трое то и дело перебегали ему дорогу. Но они не подходили близко. Их было не так много; кроме того, они привыкли охотиться за оленями, которые не сопротивлялись им, а это странное животное ходило на двух ногах, и должно быть, царапалось и кусалось.

К вечеру он набрел на кости, разбросанные там, где волки настигли свою добычу. Час тому назад это был живой олененок, он резво бегал и мычал. Человек смотрел на кости, дочиста обглоданные, блестящие и розовые, оттого что в их клетках еще не угасла жизнь. Может быть, к концу дня и от него останется не больше? Ведь такова жизнь, суетная и скоропреходящая. Только жизнь заставляет страдать. Умереть не больно. Умереть – уснуть. Смерть – это значит конец, покой. Почему же тогда ему не хочется умирать?

Но он не долго рассуждал. Вскоре он уже сидел на корточках, держа кость в зубах и высасывал из нее последние частицы жизни, которые еще окрашивали ее в розовый цвет. Сладкий вкус мяса, еле слышный, неуловимый, как воспоминание, доводил его до бешенства. Он стиснул зубы крепче и стал грызть. Иногда ломалась кость, иногда его зубы. Потом он стал дробить кости камнем, размалывая их в кашу, и глотать с жадностью. Второпях он попадал себе по пальцам, и все-таки, несмотря на спешку, находил время удивляться, почему он не чувствует боли от ударов.

Наступили страшные дни дождей и снега. Он уже не помнил, когда останавливался на ночь и когда снова пускался в путь. Шел, не разбирая времени, и ночью и днем, отдыхал там, где падал, и тащился вперед, когда угасавшая в нем жизнь вспыхивала и разгоралась ярче. Он больше не боролся, как борются люди. Это сама жизнь в нем не хотела гибнуть и гнала его вперед. Он не страдал больше. Нервы его притупились, словно оцепенели, в мозгу теснились странные видения, радужные сны.

Он, не переставая, сосал и жевал раздробленные кости, которые подобрал до последней крошки и унес с собой. Больше он уже не поднимался на холмы, не пересекал водоразделов, а брел по отлогому берегу большой реки, которая текла по широкой долине. Перед его глазами были только видения. Его душа и тело шли рядом и все же порознь – такой тонкой стала нить, связывающая их.

Он пришел в сознание однажды утром, лежа на плоском камне. Ярко светило и пригревало солнце. Издали ему слышно было мычание оленят. Он смутно помнил дождь, ветер и снег, но сколько времени его преследовала непогода – два дня или две недели, – он не знал.

Долгое время он лежал неподвижно, и щедрое солнце лило на него свои лучи, напивая теплом его жалкое тело. «Хороший день», – подумал он. Быть может, ему удастся определить направление по солнцу. Сделав мучительное усилие, он повернулся на бок. Там, внизу, текла широкая, медлительная река. Она была ему незнакома, и это его удивило. Он медленно следил за ее течением, смотрел, как она вьется среди голых, угрюмых холмов, еще более угрюмых и низких, чем те, которые он видел до сих пор. Медленно, равнодушно, без всякого интереса он проследил за течением незнакомой реки почти до самого горизонта и увидел, что она вливается в светлое блистающее море. И все же это его не взволновало. «Очень странно, – подумал он, – это или мираж, или видение, плод расстроенного воображения». Он еще более убедился в этом, когда увидел корабль, стоявший на якоре посреди блистающего моря. Он закрыл глаза на секунду и снова открыл их. Странно, что видение не исчезает! А впрочем, нет ничего странного. Он знал, что в сердце этой бесплодной земли нет ни моря, ни кораблей, так же как нет патронов в его незаряженном ружье.

Он услышал за своей спиной какое-то сопение – не то вздох, не то кашель. Очень медленно, преодолевая крайнюю слабость и оцепенение, он повернулся на другой бок. Поблизости он ничего не увидел и стал терпеливо ждать. Опять послышались сопение и кашель, и между двумя островерхими камнями, не больше чем шагах в двадцати от себя, он увидел серую голову волка. Уши не торчали вверх, как это ему приходилось видеть у других волков, глаза помутнели и налились кровью, голова бессильно понурилась. Волк, верно, был болен: он все время чихал и кашлял.

"Вот это по крайней мере не кажется, – подумал он и опять повернулся на другой бок, чтобы увидеть настоящий мир, не застланный теперь дымкой видений. Но море все так же сверкало в отдалении, и корабль был ясно виден. Быть может, это все-таки настоящее? Он закрыл глаза и стал думать – и в конце концов понял, в чем дело. Он шел на северо-восток, удаляясь от реки Диз, и попал в долину реки Коппермайн. Эта широкая, медлительная река и была Коппермайн. Это блистающее море – Ледовитый океан. Этот корабль – китобойное судно, заплывшее далеко к востоку от устья реки Маккензи, оно стоит на якоре в заливе Коронации. Он вспомнил карту Компании Гудзонова залива, которую видел когда-то, и все стало ясно и понятно.

Он сел и начал думать о самых неотложных делах. Обмотки из одеяла совсем износились, и ноги у него были содраны до живого мяса. Последнее одеяло было израсходовано. Ружье и нож он потерял. Шапка тоже пропала, но спички в кисете за пазухой, завернутые в пергамент, остались целы и не отсырели. Он посмотрел на часы. Они все еще шли и показывали одиннадцать часов. Должно быть, он не забывал заводить их.

Он был спокоен и в полном сознании. Несмотря на страшную слабость, он не чувствовал никакой боли. Есть ему не хотелось. Мысль о еде была даже неприятна ему, и все, что он ни делал, делалось им по велению рассудка. Он оторвал штанины до колен и обвязал ими ступни. Ведерко он почему-то не бросил: надо будет выпить кипятку, прежде чем начать путь к кораблю – очень тяжелый, как он предвидел.

Все его движения были медленны. Он дрожал, как в параличе. Он хотел набрать сухого мха, но не смог подняться на ноги. Несколько раз он пробовал встать и в конце концов пополз на четвереньках. Один раз он подполз очень близко к больному волку. Зверь неохотно посторонился и облизнул морду, насилу двигая языком. Человек заметил, что язык был не здорового, красного цвета, а желтовато-бурый, покрытый полусохшей слизью.

Выпив кипятку, он почувствовал, что может подняться на ноги и даже идти, хотя силы его были почти на исходе. Ему приходилось отдыхать чуть не каждую минуту. Он шел слабыми, неверными шагами, и такими же слабыми, неверными шагами тащился за ним волк.

И в эту ночь, когда блистающее море скрылось во тьме, человек понял, что приблизился к нему не больше чем на четыре мили.

Ночью он все время слышал кашель больного волка, а иногда крики оленят. Вокруг была жизнь, но жизнь, полная сил и здоровья, а он понимал, что больной волк тащится по следам больного человека в надежде, что этот человек умрет первым. Утром, открыв глаза, он увидел, что волк смотрит на него тоскливо и жадно. Зверь, похожий на заморенную унылую собаку, стоял, понурился и поджав хвост. Он дрожал на холодном ветру и угрюмо оскалил зубы, когда человек заговорил с ним голосом, упавшим до хриплого шепота.

Взошло яркое солнце, и все утро путник, спотыкаясь и падая, шел к кораблю на блистающем море. Погода стояла прекрасная. Это началось короткое бабье лето северных широт. Оно могло продержаться неделю, могло кончиться завтра или послезавтра.

После полудня он напал на след. Это был след другого человека, который не шел, а тащился на четвереньках. Он подумал, что это, возможно, след Билла, но подумал вяло и

равнодушно. Ему было все равно. В сущности, он перестал что-либо чувствовать и волноваться. Он уже не ощущал боли. Желудок и нервы словно дремали. Однако жизнь, еще теплившаяся в нем, гнала его вперед. Он очень устал, но жизнь в нем не хотела гибнуть; и потому, что она не хотела гибнуть, человек все еще ел болотные ягоды и пескарей, пил кипяток и следил за больным волком, не спуская с него глаз.

Он шел следом другого человека, того, который тащился на четвереньках, и скоро увидел конец его пути: обглоданные кости на мокром мху, сохранившем следы волчьих лап. Он увидел туго набитый мешочек из оленьей кожи – такой же, какой был у него, – разорванный острыми зубами. Он поднял этот мешочек, хотя его ослабевшие пальцы не в силах были удержать такую тяжесть. Билл не бросил его до конца. Ха-ха! Он еще посмеется над Биллом. Он останется жив и возьмет мешочек на корабль, который стоит посреди блистающего моря. Он засмеялся хриплым, страшным смехом, похожим на карканье ворона, и больной волк вторил ему, уныло подвывая. Человек сразу замолчал. Как же он будет смеяться над Биллом, если это Билл, если эти бело-розовые, чистые кости – все, что осталось от Билла?

Он отвернулся. Да, Билл его бросил, но он не возьмет золота и не станет сосать кости Билла. А Билл стал бы, будь Билл на его месте, размышлял он, тащась дальше.

Он набрел на маленькое озерко. И, наклонившись над ним в поисках пескарей, отшатнулся, словно ужаленный. Он увидел свое лицо, отраженное в воде. Это отражение было так страшно, что пробудило даже его оцепеневшую душу. В озерке плавали три пескаря, но оно было велико, и он не мог вычерпать его до дна; он попробовал поймать рыб ведерком, но в конце концов бросил эту мысль. Он побоялся, что от усталости упадет в воду и утонет. По этой же причине он не отважился плыть по реке на бревне, хотя бревен было много на песчаных отмелях.

В этот день он сократил на три мили расстояние между собой и кораблем, а на следующий день – на две мили; теперь он полз на четвереньках, как Билл. К концу пятого дня до корабля все еще оставалось миль семь, а он теперь не мог пройти и мили в день. Бабье лето еще держалось, а он то полз на четвереньках, то падал без чувств, и по его следам все так же тащился больной волк, кашляя и чихая. Колени человека были содраны до живого мяса, и ступни тоже, и хотя он оторвал две полосы от рубашки, чтобы обмотать их, красный след тянулся за ним по мху и камням. Оглянувшись как-то, он увидел, что волк с жадностью лижет этот кровавый след, и ясно представил себе, каков будет его конец, если он сам не убьет волка. И тогда началась самая жестокая борьба, какая только бывает в жизни: больной человек на четвереньках и больной волк, ковылявший за ним, – оба они, полумертвые, тащились через пустыню, подстерегая друг друга.

Будь то здоровый волк, человек не стал бы так сопротивляться, но ему было неприятно думать, что он попадет в утробу этой мерзкой твари, почти падали. Ему стало противно. У него снова начинался бред, сознание туманили галлюцинации, и светлые промежутки становились все короче и реже.

Однажды он пришел в чувство, услышав чье-то дыхание над самым ухом. Волк отпрыгнул назад, споткнулся и упал от слабости. Это было смешно, но человек не улыбнулся. Он даже не испугался. Страх уже не имел над ним власти. Но мысли его на минуту прояснились, и он лежал, раздумывая. До корабля оставалось теперь мили четыре, не больше. Он видел его совсем ясно, протирая затуманенные глаза, видел и лодочку с белым парусом, рассекавшую сверкающее море. Но ему не одолеть эти четыре мили. Он это знал и относился к этому спокойно. Он знал, что не проползет и полумили. И все-таки ему хотелось жить. Было бы глупо умереть после всего, что он перенес. Судьба требовала от него слишком много. Даже умирая, он не покорялся смерти. Возможно, это было чистое безумие, но и в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней.

Он закрыл глаза и бесконечно бережно собрал все свои силы. Он крепился, стараясь не поддаваться чувству дурноты, затопившему, словно прилив, все его существо. Это чувство поднималось волной и мутило сознание. Временами он словно тонул, погружаясь в забытие и силясь выплыть, но каким-то необъяснимым образом остатки воли помогали ему снова выбраться на поверхность.

Он лежал на спине неподвижно и слышал, как хриплое дыхание волка приближается к нему. Оно ощущалось все ближе и ближе, время тянулось без конца, но человек не пошевелился ни разу. Вот дыхание слышно над самым ухом. Жесткий сухой язык царапнул его щеку словно наждачной бумагой. Руки у него вскинулись кверху – по крайней мере он хотел их вскинуть – пальцы согнулись как когти, но схватили пустоту. Для быстрых и уверенных движений нужна сила, а силы у него не было.

Волк был терпелив, но и человек был терпелив не меньше. Полдня он лежал неподвижно, борясь с забытием и сторожа волка, который хотел его съесть и которого он съел бы сам, если бы мог. Время от времени волна забытия захлестывала его, и он видел длинные сны; но все время, и во сне и наяву, он ждал, что вот-вот услышит хриплое дыхание и его лизнет шершавый язык.

Дыхание он не услышал, но проснулся оттого, что шершавый язык коснулся его руки. Человек ждал. Клыки слегка сдавили его руку, потом давление стало сильнее – волк из последних сил старался вонзить зубы в добычу, которую так долго подстерегал. Но и человек ждал долго, и его искусанная рука сжала волчью челюсть. И в то время как волк слабо отбивался, а рука так же слабо сжимала его челюсть, другая рука протянулась и схватила волка. Еще пять минут, и человек придавил волка всей своей тяжестью. Его рукам не хватало силы, чтобы задушить волка, но человек прижался лицом к волчьей шее, и его рот был полон шерсти. Прошло полчаса, и человек почувствовал, что в горло ему сочится теплая струйка. Это было мучительно, словно ему в желудок вливали расплавленный свинец, и только усилием воли он заставлял себя терпеть. Потом человек перекатился на спину и уснул.

На китобойном судне «Бедфорд» ехало несколько человек из научной экспедиции. С палубы они заметили какое-то странное существо на берегу. Оно ползло к морю, едва передвигаясь по песку. Ученые не могли понять, что это такое, и, как подобает естествоиспытателям, сели в шлюпку и поплыли к берегу. Они увидели живое существо, но вряд ли его можно было назвать человеком. Оно ничего не слышало, ничего не понимало и корчилось на песке, словно гигантский червяк. Ему почти не удавалось продвинуться вперед, но оно не отступало и, корчась и извиваясь, продвигалось вперед шагов на двадцать в час.

Через три недели, лежа на койке китобойного судна «Бедфорд», человек со слезами рассказывал, кто он такой и что ему пришлось вынести. Он бормотал что-то бессвязное о своей матери, о Южной Калифорнии, о домике среди цветов и апельсиновых деревьев.

Прошло несколько дней, и он уже сидел за столом вместе с учеными и капитаном в кают-компании корабля. Он радовался изобилию пищи, тревожно провожал взглядом каждый кусок, исчезающий в чужом рту, и его лицо выражало глубокое сожаление. Он был в здравом уме, но чувствовал ненависть ко всем сидевшим за столом. Его мучил страх, что еды не хватит. Он спрашивал о запасах провизии повара, юнгу, самого капитана. Они без конца успокаивали его, но он никому не верил и тайком заглядывал в кладовую, чтобы убедиться собственными глазами.

Стали замечать, что он поправляется. Он толстел с каждым днем. Ученые качали головой и строили разные теории. Стали ограничивать его в еде, но он все раздавался в ширину, особенно в поясе.

Матросы посмеивались. Они знали, в чем дело. А когда ученые стали следить за ним, им

тоже стало все ясно. После завтрака он прокрадывался на бак и, словно нищий, протягивал руку кому-нибудь из матросов. Тот ухмылялся и подавал ему кусок морского сухаря. Человек жадно хватал кусок, глядел на него, как скряга на золото, и прятал за пазуху. Такие же подачки, ухмыляясь, давали ему и другие матросы.

Ученые промолчали и оставили его во покое. Но они осмотрели потихоньку его койку. Она была набита сухарями. Матрац был полон сухарей. Во всех углах были сухари. Однако человек был в здравом уме. Он только принимал меры на случай голодовки – вот и все. Ученые сказали, что это должно пройти. И это действительно прошло, прежде чем «Бедфорд» стал на якорь в гавани Сан-Франциско.

\* \* \*

## МАЛЕНЬКИЙ СЧЕТ СУЗИНУ ХОЛЛУ

1

Окинув еще раз долгим взглядом безбрежную синеву моря, Гриф вздохнул, слез с шаткого салинга и стал медленно спускаться по вантам на палубу.

– Мистер Сноу, – обратился он к молодому помощнику капитана, встретившему его тревожным взглядом, – атолл Лю-Лю, очевидно, на дне морском. Больше ему быть негде, если есть в навигации хоть капля здравого смысла. Ведь мы второй раз проходим над ним, вернее, над тем местом, где ему полагается быть. Либо я совсем забыл, чему меня учили, либо хронометр врет.

– Это хронометр, – поспешил уверить капитана Сноу. – Ведь я независимо от вас проводил наблюдения и получил те же результаты.

– Да, – уныло кивнул головой Гриф, – и там, где у вас Сомнеровы линии пересекаются и у меня тоже, должен находиться центр атолла Лю-Лю. Значит, хронометр не в порядке. Зубец, наверное, сорвался.

Он быстро подошел к поручням, взглянул на пенистый след за кормой и вернулся назад. «Дядя Тоби», подгоняемый свежим попутным ветром, шел со скоростью девять-десять узлов.

– Приведите шхуну к ветру, мистер Сноу. Убавьте паруса. Будем лавировать двухчасовыми галсами. Небо заволакивается. Определиться по звездам ночью вряд ли удастся. Определим широту завтра, выйдем на широту атолла Лю-Лю и будем идти по ней, пока не наткнемся на остров. Вот как поступали прежде бывалые моряки.

Широкая, как бочка, с тяжелым рангоутом, высокими бортами и тупым, почти голландским, носом шхуна «Дядя Тоби» была самой тихоходной, но зато и самой надежной и простой в управлении из шхун Дэвида Грифа. Она совершала рейсы между островами Банка и Санта-Крус, а также ходила к отдаленным атоллам, лежащим к северо-западу, откуда Гриф вывозил копру, черепах, а случалось, и тонну-другую жемчужных раковин, скупаемых для него туземными агентами. Накануне отплытия жестокий приступ лихорадки свалил капитана, и Гриф сам повел шхуну в очередное полугодовое плавание. Он решил начать с наиболее



отдаленного атолла Лю-Лю, но сбился с курса и теперь блуждал в открытом море с испорченным хронометром.

2

В эту ночь не было видно ни одной звезды. На другой день солнце не появилось совсем. Знойный влажный штиль, порой прерываемый сильными шквалами и ливнями, навис над морем. Чтобы не забираться слишком далеко по ветру, шхуна легла в дрейф. Так прошло четверо суток. Небо все время было затянуто облаками. Солнце исчезло, а звезды если и появлялись, то мерцали так тускло и слабо, что нечего было и думать определиться по ним. Теперь уже было ясно, что стихии готовы разыгаться, – самый неопытный новичок понял бы это. Взглянув на барометр, который упорно показывал 29.90, Гриф вышел на палубу и столкнулся с Джеки-Джеки, чье лицо было так же хмуро и пасмурно, как небо и воздух. Джеки-Джеки служил на шхуне в качестве не то боцмана, не то второго помощника, командуя смешанным канакским экипажем.

– Большой будет буря, – сказал он. – Я пять, шесть раз видел большой буря. Начало всегда такой.

Гриф кивнул.

– Приближается ураган, Джеки-Джеки. Барометр скоро начнет падать.

– Да, – согласился боцман. – Очень сильно дуть будет.

Минут через десять на палубу вышел Сноу.

– Начинается, – сказал он. – Уже двадцать девять восемьдесят пять. Барометр колеблется. Чувствуете, жарница какая? – Он отер со лба пот. – Мутит меня что-то. Завтрак обратно просится.

Джеки-Джеки усмехнулся.

– Моя тоже весь нутро ходит. Это к буре. Ничего, «Дядя Тоби» хорош корабль. Выдержит.

– Поставьте штормовой трисель на грот-мачте и штормовой кливер, – обратился Гриф к помощнику. – Возьмите все рифы на основных парусах, прежде чем убирать их, и закрепите двойными сезнями. Кто знает, что может случиться!

Через час барометр упал до 29.70. Духота стала еще невыносимее, мертвый штиль продолжался. Помощник капитана, совсем молодой человек, шагал по палубе, но тут вдруг остановился и потряс поднятыми кулаками.

– Где этот чертов ураган! Чего он медлит! Пусть уж самое худшее, только бы скорее! Веселенькая история! Места своего не знаем, хронометр испорчен, да еще нате вам – ураган, а ветра все нету!

Загроможденное тучами небо стало медно-красным, как внутренность огромного раскаленного котла. Никто не остался внизу, все вышли на палубу. На корме и на носу толпились туземные матросы, испуганно шептались и с опаской поглядывали на грозное небо и такое же грозное море, катившее длинные низкие маслянистые волны.

– Как нефть с касторкой, – буркнул помощник капитана, плюнув с отвращением за борт. –

Мать любила пичкать меня такой гадостью в детстве. Господи, темно-то как!

Зловещее медное зарево исчезло. Тучи сгустились и медленно поползли вниз, стало темно, как в сумерках. Дэвид Гриф хорошо знал повадки ураганов, однако он достал «Штормовые правила» и снова их перечитал, напрягая глаза в этом призрачном освещении. Нет, делать ничего не полагалось, только лечь в дрейф и ждать ветра, тогда можно будет определить, где находится центр урагана, неотвратимо двигавшегося откуда-то из мрака.

Ураган налетел в три часа дня, когда барометр показывал 29.45. О его приближении можно было судить по волнам. Море вдруг потемнело и зарябило белыми барашками. Сперва это был просто свежий ветер, не набравший еще полной силы. Паруса «Дядя Тоби» наполнились, и он пошел в полветра со скоростью четыре узла.

– Не много же после такой подготовки, – иронически заметил Сноу.

– Да, – согласился Джеки-Джеки, – этот ветер, он маленький мальчик. Но скоро будет большой мужчина.

Гриф приказал поставить фок, не отдавая рифов. И «Дядя Тоби» ускорил ход под напором усиливающегося ветра. Предсказание Джеки-Джеки скоро сбылось. Ветер стал «большим мужчиной». Но на этом не остановился. Он дул и дул, затихая на миг перед новыми, все более яростными порывами. Наконец поручни «Дядя Тоби» почти совсем скрылись под водой. По палубе заходили пенные волны – вода не успевала уходить через шпигаты. Гриф не спускал глаз с барометра, который продолжал падать.

– Центр урагана где-то к югу от нас, – сообщил он помощнику. – Мы идем прямо наперерез ему. Надо лечь на обратный курс. Тогда, если я прав, барометр начнет подниматься. Уберите фок. «Дядя Тоби» не может нести столько парусов. Приготовиться к повороту.

Когда все было готово, «Дядя Тоби» повернул и стремительно понесся к северу сквозь мрак и бурю.

– Как в кошки-мышки играем, – обратился Гриф к помощнику спустя некоторое время. – Ураган описывает огромную дугу. Вычислить ее невозможно. Успеем проскочить, или центр урагана нас настигнет? Все зависит от размеров кривой. Барометр пока, слава богу, стоит на месте. Но идти нам больше нельзя, волна слишком велика, надо лечь в дрейф. Нас и так будет относить к северу.

– Я думал, уж я-то знаю, что такое ветер! – прокричал на другое утро Сноу на ухо капитану. – Но это не ветер. Это черт знает что. Это невообразимо. В порывах – до ста миль в час. Ничего себе, а? И рассказать-то никому нельзя, не поверят. А волна! Посмотрите! Не первый год плаваю, а такого не видывал.

Наступил день, и солнце, надо думать, взошло в положенное ему время, но и час спустя после восхода шхуну все еще окутывали густые сумерки. По океану ходили исполинские горы. Меж ними разверзались изумрудные долины шириной в треть мили. На их пологих склонах, несколько защищенных от ветра, грядами теснились мелкие волны в белых пенных шапках. Но гребни огромных валов были без белой оторочки – ветер мгновенно срывал с них закипавшую пену и носил ее над морем, забрасывая выше самых высоких мачт.

– Худшее позади, – решил Гриф. – Барометр поднимается. Ветер скоро спадет, ну а волна, понятно, станет еще больше. Пойду-ка я теперь вздремну. А вы, Сноу, следите за ветром. Он наверняка будет меняться. Разбудите меня, когда пробьет восемь склянок.

После полудня волнение достигло апогея, а шторм, изменив направление, превратился в обыкновенный крепкий ветер. Как раз в это время Джеки-Джеки заметил вдали

полузатопленную шхуну. «Дядя Тоби», дрейфуя, прошел вдалеке от ее носа, так что разглядеть название было трудно. А к вечеру они наткнулись на небольшую, наполовину затонувшую шлюпку. На ее носу белели буквы: «Эмилия Л. N\_3». Сноу разглядел их в бинокль.

– Эта шхуна с котиковых промыслов, – объяснил Гриф. – И что ей понадобилось в здешних водах, ума не приложу!

– Клад, может быть, искать вздумали? – предположил Сноу. – Помните «Софи Сезерлэнд» и «Германа»? Тоже были котиковые шхуны. А потом их в Сан-Франциско зафрахтовали какие-то, с картами в кармане, из тех, что всегда точно знают и куда ехать и где искать, а придут на место – все оказывается чепухой.

3

Всю ночь «Дядю Тоби» швыряло, как скорлупку, по уже затихающим, но все еще огромным волнам. Ветра не было, это лишало шхуну устойчивости. Только под утро, когда всем на борту казалось уже, что у них душа с телом расстается, задул небольшой ветерок. Отдали рифы. К полудню волнение улеглось, облака поредели, выглянуло солнце. Наблюдение дало два градуса пятнадцать минут южной широты. Определить долготу по испорченному корабельному хронометру нечего было и думать.

– Мы сейчас где-то в пределах полутора тысяч миль на линии этой широты, – обратился Гриф к помощнику, склонившемуся вместе с ним над картой. – Атолл Лю-Лю где-нибудь к югу. А в этой части океана пусто, хоть шаром покати, ни островка, ни рифа, по которому бы можно отрегулировать хронометр. Единственное, что остается делать...

– Земля, капитан! – крикнул боцман, наклоняясь над трапом.

Гриф взглянул на сплошное голубое пятно карты, свистнул от удивления и бессильно откинулся на спинку стула.

– Ну и ну! – проговорил он наконец. – Здесь не должно быть земли. Вот так плавание! Бред какой-то! Будьте так добры, мистер Сноу, пойдите узнайте, что там стряслось с Джеки-Джеки, с ума он, что ли, сошел.

– А ведь верно, земля! – раздался через минуту голос помощника. – Видно с палубы... Верхушки пальм... Какой-то атолл... Может, это все-таки Лю-Лю?

Гриф вышел на палубу, взглянул на резную бахрому пальм, которые, казалось, вставали прямо из воды, и покачал головой.

– Приведите шхуну круто к ветру, – сказал он. – Пойдем на юг. Если остров тянется в этом направлении, попадем в его юго-западный угол.

Пальмы были, по-видимому, совсем недалеко, раз их было видно даже с низкой палубы «Дяди Тоби». И действительно, скоро из воды вынырнул небольшой плоский островок. Пальмы росшие на нем в изобилии, ясно обозначали круг атолла.

– Красивый остров! – воскликнул Сноу. Правильный круг, миль восемь-девять в диаметре. Интересно, есть ли вход в лагуну? Как знать, может, мы новый остров открыли.

Они пошли короткими галсами вдоль западной стороны острова, то приближаясь к

омываемой бурунами коралловой гряде, то отходя от нее. Канак, смотревший с мачты поверх пальмовых крон, закричал, что видит в самой середине лагуны небольшой островок.

– Знаю, о чем вы сейчас думаете, – обратился вдруг Гриф к помощнику.

Сноу что-то пробормотал, покачивая головой: теперь он с сомнением и в то же время вызывающе поглядел на хозяина.

– Вы думаете, что вход в лагуну на северо-западе, – продолжал Гриф, словно отвечая выученный урок. – Ширина прохода два кабельтова. На северном берегу три одиночных пальмы, на южном – панданусы. Атолл представляет собой правильный круг диаметром в восемь миль. В центре островок.

– Да, вы правы, я именно об этом и думал, – признался Сноу.

– А вон и вход в лагуну, как раз там, где ему полагается быть.

– И три пальмы, – почти шепотом произнес Сноу, – и панданусы. Если увидим ветряк, значит, это и есть остров Суизина Холла. Но нет, не может быть. Десять лет его ищут, этот остров, и не могут найти.

– Говорят, Суизин Холл сыграл с вами скверную шутку.

Сноу кивнул:

– Да. Поэтому я и служу у вас. Он разорил меня. Это был сущий грабеж. Я получил наследство и на первую же выплату купил в Сиднее на аукционе «Каскад» – судно, потерпевшее кораблекрушение.

– Он разбился у острова Рождества?

– Да. Ночью налетел на берег и прочно засел на отмели. Пассажиров и почту сняли, а груз остался. На те деньги, что у меня еще были, я купил маленькую шхуну, а уж чтобы снарядить ее, пришлось ждать окончательного расчета с душеприказчиками. Что же, вы думаете, сделал Суизин Холл? Он тогда был в Гонолулу. Взял да и отправился, нимало не медля, на остров Рождества. У него не было абсолютно никаких прав на «Каскад» и никаких документов. Но когда я прибыл туда, то нашел только остров да машину. А «Каскад» вез партию шелка. И она даже ни капельки не подмокла. Я позже узнал об этом от его второго помощника. Да. Холл здорово поживился на этом деле. Говорят, выручил шестьдесят тысяч долларов.

Сноу дернул плечами и мрачно уставился на сияющую гладь лагуны, где в лучах полуденного солнца плясали маленькие веселые волны.

– «Каскад» по всем законам принадлежит мне. Я купил его на аукционе. Все поставил на карту и все потерял. Шхуна пошла на расплату с командой и торговцами, предоставившими мне кредит. Я заложил часы и секстан и нанялся кочегаром. Потом получил работу на Новых Гебридах за восемь фунтов в месяц. Попробовал завести собственное дело, прогорел. Поступил на вербовочное судно, ходившее в Танну и дальше, на Фиджи. Последнее время работал надсмотрщиком на немецких плантациях за Апией. Теперь вот плаваю на «Дяде Тоби».

– А вы встречались когда-нибудь с Суизином Холлом?

Сноу отрицательно покачал головой.

– Ну, так сегодня встретитесь. Смотрите, вон и мельница.

Выйдя из прохода, они увидели поросший лесом островок. Сквозь гущу пальм ясно виднелся высокий голландский ветряк.

– Похоже, что на острове никого нет. А то бы вам удалось наконец свести с ним счеты.

Лицо Сноу приняло злобное выражение, кулаки сжались.

– Судом от него ничего не добьешься. Он слишком богат. Но вздуть его я могу – на все шестьдесят тысяч. Эх, хотел бы я, чтобы он был дома!

– Признаться, и я тоже, – одобрительно усмехнулся Гриф. – Описание острова вам известно от Бау-Оти?

– Да, как и всем. Беда только в том, что Бау-Оти не знал ни широты, ни долготы острова. Где-то далеко за островами Гилберта – вот все, что он мог сказать. Интересно, где он теперь?

– Последний раз я видел его год назад на Таити. Он собирался наняться на судно, которое шло в рейс к Паумоту. Ну вот мы и подходим. Бросай лот, Джеки-Джеки. Мистер Сноу, приготовьтесь отдать якорь. По словам Бау-Оти, якорное место находится в трехстах ярдах от западного берега, глубина десять сажен, к юго-востоку коралловые отмели. Да вот и они. Джеки-Джеки, сколько там у тебя?

– Десять сажен.

– Отдайте якорь, Сноу.

«Дядя Тоби» развернулся на якоре, паруса поползли вниз, матросы канаки бросились к фока-фалам и шкотам.

4

Вельбот причалил к небольшой пристани, сложенной из обломков коралла, и Дэвид Гриф с помощником спрыгнули на берег.

– Нигде ни души, – сказал Гриф, направляясь по песчаной дорожке к бунгалу. – Но я чувствую запах, очень хорошо мне знакомый. Где-то идет работа, если мой нос не обманывает меня. Лагуна полна перламутровых раковин и, поверьте, их мясо гниет не в тысяче миль отсюда. Чувствуете, какая вонь?

Жилище Суизина Холла было мало похоже на обычное тропическое бунгало. Это было здание в миссионерском стиле. Решетчатая дверь вела в большую гостиную, соответственно убранную. Пол был устлан искусно сплетенными самоанскими циновками. Были здесь бильярд, несколько кушеток, удобные мягкие сиденья в оконных нишах. Столик для рукоделия и рабочая корзинка с начатой французской вышивкой, из которой торчала иголка, говорили о присутствии женщины. Окружавшая дом веранда и шторы на окнах превращали слепящий блеск тропического солнца в прохладное матовое сияние. Внимание Грифа привлекли переливы перламутровых кнопок.

– Ого! Да здесь и скрытое освещение. Аккумуляторы, питаемые ветряным двигателем, – догадался он и нажал одну из кнопок.

Вспыхнули невидимые лампы, и рассеянный золотистый свет наполнил комнату. Вдоль стен

тянулись полки, уставленные книгами. Гриф просмотрел названия. Для моряка и искателя приключений он был довольно начитанным человеком, но и его удивило многообразие интересов и широта кругозора Суизина Холла. Он увидел на полках многих своих старых друзей, но среди них оказались и такие книги, о которых Гриф знал только понаслышке. Здесь стояли полные собрания сочинений Толстого, Тургенева и Горького, Купера и Марка Твена, Золя и Сю, Флобера, Мопассана и Поль-де-Кока. С любопытством перелистывал он Мечникова, Вейнингера и Шопенгауэра, Эллиса, Лидстона, Крафт-Эббинга и Фореля. Когда Сноу, осмотрев весь дом, вернулся в гостиную, он застал Грифа с «Распространением человеческих рас» Вудрофа в руках.

– Эмалированная ванна! Душ! Королевские покои, да и только! Мои денежки тоже, небось, пошли на эту роскошь. Но в доме кто-то есть. Я нашел в кладовой только что раскрытые банки с молоком и маслом и свежее черепаховое мясо. Пойду-ка еще погляжу.

Гриф тоже отправился осматривать дом. Отворив дверь на другом конце гостиной, он попал в комнату, которая, очевидно, служила спальней женщине. В дальнем углу виднелась дверь из проволочной сетки, а за нею веранда, которую затеняли решетчатые жалюзи. Там на кушетке спала женщина: в мягком полусвете она показалась Грифу очень красивой – брюнетка, похожая на испанку. По цвету лица прекрасной незнакомки Гриф решил, что она недавно в тропиках. Бросив один-единственный взгляд на спящую, он поспешил удалиться на цыпочках. В гостиной в эту минуту опять появился Сноу: он тащил за руку старого, сморщенного чернокожего, который гримасничал от страха и знаками старался дать понять, что он немой.

– Я нашел его спящим в конурке за домом, разбудил и приволок сюда. Кажется, повар, но я не мог добиться от него ни слова. Ну, а вы что нашли?

– Спящую царевну! Ш-ш-ш, кто-то идет.

– Ну, если это Холл!.. – прорычал Сноу, сжимая кулаки.

Гриф покачал головой.

– Только без драки. Здесь женщина. Если это Холл, я уж постараюсь доставить вам случай расквитаться с ним, прежде чем мы уедем.

Дверь отворилась, и на пороге показался рослый и грузный мужчина. На поясе у него болтался длинный тяжелый кольт. Он бросил на них подозрительный взгляд, но тут же его лицо расплылось в приветливой улыбке.

– Милости просим, путешественники! Но скажите на милость, как вам удалось найти мой остров?

– А мы, видите ли, сбились с курса, – ответил Гриф, пожимая протянутую руку.

– Суизин Холл, – представился хозяин и повернулся, чтобы приветствовать Сноу. – Должен сказать, что вы мои первые гости.

– Так это значит и есть тот таинственный остров, о котором столько лет идут разговоры во всех портах! Ну ладно, теперь-то я знаю, как вас найти.

– Как? – быстро переспросил Холл.

– Очень просто. Нужно сломать корабельный хронометр, попасть в ураган, а затем смотреть, где появятся из моря кокосовые пальмы.

– Простите, а ваше имя? – спросил, слегка посмеявшись шутке, Холл.

– Энстей, Фил Энстей, – без запинки ответил Гриф. – Иду на «Дяде Тоби» с островов Гилберта на Новую Гвинею и пытаюсь поймать свою долготу. А это мой помощник, мистер Грей, куда более опытный мореход, чем я, но на этот раз и он дал маху.

Гриф сам не знал, почему ему вздумалось солгать. Какая-то внутренняя сила толкнула его на это, и он поддался искушению. Он смутно чувствовал, что здесь что-то неладно, но что, не мог разобрать. Суизин Холл был круглолицый толстяк с неизменной улыбкой на устах и лукавыми морщинками в уголках глаз. Но Гриф еще в ранней юности познал, как обманчива бывает подобная внешность и что может скрываться под веселым блеском голубых глаз.

– Что вы делаете с моим поваром? Своего потеряли и думаете моего похитить? – спросил Холл. – Отпустите беднягу, а не то быть вам без ужина. Жена моя здесь и будет рада с вами познакомиться. Сейчас поужинаем. Жена, правда, зовет это обедом и вечно бранит меня за невежество. Но что поделаешь! Я человек старомодный. Мои всегда обедали в полдень, и я не могу забыть привычек детства. Не хотите ли помыться? Что касается меня, я не прочь. Взгляните, на кого я похож. Весь день работал, как собака, с ловцами, раковины достаю. Да вы и сами, верно, догадались по запаху.

5

Сноу ушел, сославшись на дела. Помимо нежелания разделить трапезу с человеком, ограбившим его, он спешил на шхуну предупредить команду о выдумке Грифа. Гриф вернулся на «Дядю Тоби» только в одиннадцать. Помощник ждал его с нетерпением.

– Странное что-то творится на острове Суизина Холла, – сказал Гриф, в раздумье покачивая головой. – Не знаю, в чем дело, но чувствую: тут что-то не так. Каков из себя Суизин Холл?

Сноу пожал плечами.

– Этот тип на берегу в жизни не покупал тех книг, что стоят у него на полках, – убежденно продолжал Гриф. – И придумать такую тонкую штуку, как скрытое освещение, он тоже не способен. Он только разговаривает сладко, а внутри груб, как конская скребница. Плут с елейными манерами. А те молодцы, что при нем состоят, Уотсон и Горман, – они пришли тотчас же после вашего ухода – это сущие пираты. Им лет под сорок каждому. Битые-перебитые, колючие, как ржавые гвозди, только вдвое опасней. Настоящие головорезы с кольтами за поясом. Совсем, казалось бы, неподходящая компания для Суизина Холла. Но женщина! Леди с головы до пят, уверяю вас. Хорошо знает Южную Америку и Китай. Уверен, что испанка, хотя по-английски говорит, как на родном языке. Много путешествовала. Мы говорили с ней о бое быков. Она его видала в Мексике, Гваякиле и Севилье. Небезызвестен ей, между прочим, и котиковый промысел. И тут есть одна странность, которая меня смущает. Почему бы Суизину Холлу не завести для нее рояль? Ведь дом обставлен, как дворец. И еще: она живая, разговорчивая. И Холл весь вечер не спускал с нее глаз, сидел, как на иголках, вмешивался в разговор, сам старался его направлять. Вы не знаете, Суизин Холл женат?

– Убей меня бог, не знаю. Мне и в голову не приходило этим интересоваться.

– Он представил ее мне как миссис Холл. Самого его Уотсон и Горман тоже зовут Холлом. Прелюбопытная парочка эти двое! Очень все это странно. Не понимаю.

– Ну и что же вы думаете делать? – спросил Сноу.

– Да так, пожить здесь немного, почитать кое-что, тут есть интересные книжки. А вы завтра утречком спустите-ка стеньгу, да хорошо бы и все остальное пересмотреть. Как-никак мы выдержали ураган. Займитесь заодно ремонтом всего такелажа. Разберите все на части, да и возитесь себе на здоровье. Этак, знаете, не спеша.

6

На следующий день подозрения Грифа получили новую пищу. Съехав ранним утром на берег, он побрел наперерез через остров к бараку, где жили ловцы, и подошел как раз в тот момент, когда они садились в лодки. С удивлением отметил он подавленное настроение рабочих; канаки – веселый народ, но эти напоминали партию арестантов. Холл и его помощники тоже были здесь, и Гриф обратил внимание на то, что у каждого за плечами была винтовка. Сам Холл встретил гостя весьма любезно, но Горман и Уотсон смотрели исподлобья и еле поздоровались с ним.

Спустя минуту один из канаков, нагнувшись над веслом, многозначительно подмигнул Грифу. Лицо рабочего показалось ему знакомым: как видно, один из туземцев, матросов или водолазов, с которыми он встречался во время своих многочисленных разъездов по островам.

– Не говори им, кто я, – сказал Гриф по-таитянски. – Ты служил у меня?

Канак кивнул головой и открыл было рот, но грозный окрик Уотсона, сидевшего уже на корме, заставил его замолчать.

– Простите, пожалуйста, – извинился Гриф. – Мне бы надо знать, что этого делать не полагается.

– Ничего, – успокоил его Холл. – Беда с ними, болтают много, а дела не делают. Приходится держать их в ежовых рукавицах. А то и кормежку свою не оправдают.

Гриф сочувственно кивнул.

– Знаю. У меня у самого команда из канаков. Ленивые свиньи. Палкой их надо подгонять, как негров, иначе и половины работы не сделают.

– О чем вы с ним говорили? – бесцеремонно вмешался Горман.

– Спросил, много ли тут раковин и глубоко ли приходится нырять.

– Раковин довольно, – ответил за канака Холл. – Работаем на глубине десяти сажен, недалеко отсюда. Не хотите ли взглянуть?

Полдня провел Гриф на воде. Потом завтракал вместе с хозяевами. После завтрака вздремнул в гостиной на диване, почитал, поболтал полчаса с миссис Холл. После обеда сыграл на бильярде с ее мужем. Грифу не приходилось раньше сталкиваться с Суизином Холлом, но слава последнего как искуснейшего игрока на бильярде облетела все порты от Леуки до Гонолулу. Однако сегодняшний противник Грифа оказался довольно слабым игроком. Его жена гораздо лучше владела кием.

Вернувшись на «Дядю Тоби», Гриф растолкал Джеки-Джеки, объяснил, где находятся бараки рабочих, и велел ему незаметно сплавить туда и поговорить с канаками. Джеки-Джеки вернулся через два часа. Весь мокрый стоял он перед Грифом и мотал головой.



– Очень странно. Все время там один белый с большим ружьем. Лежит в воде, смотрит. Потом, может быть, полночь, другой белый приходит, берет ружье. Тогда один идет спать, другой караулит с ружьем. Плохо. Нельзя видеть канака, нельзя говорить. Моя вернулся.

– Черт возьми, – сказал Гриф, – сдается мне, тут не одними раковинами пахнет! Эти трое все время следят за канаками. Наш хозяин такой же Суизин Холл, как и я.

Сноу даже свистнул, так поразила его вдруг пришедшая ему в голову мысль.

– Понимаю! – воскликнул он. – Знаете, что я подумал?

– Я вам скажу, – ответил Гриф. – Вы подумали, что «Эмилия Л.» – их судно.

– Вот именно. Они добывают и сушат раковины, а шхуна ушла за рабочими и удовольствием.

– Да, так оно, очевидно, и есть. – Гриф взглянул на часы и стал собираться спать. – Он моряк, вернее, все трое моряки. Но они не с островов. Они чужие в этих водах.

Сноу опять свистнул.

– А «Эмилия Л.» погибла со всей командой. Кому это знать, как не нам. Придется, значит, этим молодцам ждать возвращения настоящего Суизина Холла. Тут он и накроет.

– Или они захватят его шхуну.

– Дай-то бог! – злорадно проворчал Сноу. – Пусть-ка и его кто-нибудь ограбит. Эх, был бы я на их месте! Сполна бы расчелся.

7

Прошла неделя, за которую «Дядя Тоби» подготовился к отплытию, а сам Гриф сумел рассеять все подозрения, какие могли возникнуть в душе его гостеприимных хозяев. Даже Горман и Уотсон больше не сомневались, что перед ними доподлинный Фил Энстей. Всю неделю Гриф упрашивал Холла сообщить ему долготу острова.

– Как же я уйду отсюда, не зная пути? – взмолился он под конец. – Я не могу отрегулировать хронометр без вашей долготы.

Холл, смеясь, отказал.

– Такой опытный моряк, как вы, мистер Энстей, уж как-нибудь доберется до Новой Гвинеи или еще какого-нибудь другого острова.

– А такой опытный моряк, как вы, мистер Холл, должен бы знать, что мне нетрудно будет найти ваш остров по его широте, – отпарировал Гриф.

В последний вечер Гриф, как обычно, обедал на берегу, и ему впервые удалось посмотреть собранный жемчуг. Миссис Холл в пылу беседы попросила мужа принести «красавиц». Целых полчаса показывала она их Грифу. Он искренне восхищался и так же искренне выражал удивление по поводу такой богатой добычи.

– Эта лагуна ведь совершенно нетронутая, – объяснил Холл. – Вы сами видите – почти все раковины большие и старые. Но интереснее всего, что самые ценные раковины мы нашли в

одной небольшой заводи и выловили за какую-нибудь неделю. Настоящая сокровищница. Ни одной пустой, мелкого жемчуга целые кварталы. Но и самые крупные все оттуда.

Гриф оглядел их и определил, что самая мелкая стоит не меньше ста долларов, те, что покрупнее, – до тысячи, а несколько самых крупных – даже гораздо больше.

– Ах, красавицы! Ах, милые! – приговаривала миссис Холл, нагибаясь и целуя жемчуг. Немного погодя она поднялась и пожелала Грифу спокойной ночи. – До свидания!

– Не до свидания, а прощайте, – поправил ее Гриф. – Завтра утром мы снимаемся.

– Как, уже? – протянула она, но в глазах ее мужа Гриф подметил затаенную радость.

– Да, – продолжал Гриф, – ремонт окончен. Вот только никак не добьюсь от вашего мужа, чтобы он сообщил мне долготу острова. Но я еще не теряю надежды, что он сжалится над нами.

Холл засмеялся и затряс головой. Когда жена вышла, он предложил выпить напоследок. Выпили и, закулив, продолжали беседу.

– Во что вы оцениваете все это? – спросил Гриф, указывая на россыпь жемчуга на столе. – Вернее, сколько вам дадут скупщики?

– Тысяч семьдесят пять – восемьдесят, – небрежно бросил Холл.

– Ну, это вы мало считаете. Я кое-что смыслю в жемчуге. Взять хоть эту, самую большую. Она великолепна. Пять тысяч долларов, и ни цента меньше. А потом какой-нибудь миллионер заплатит за нее вдвое, после того как купцы урвут свое. И заметьте, что, не считая мелкого жемчуга, у вас тут много крупных неправильной формы. Целые кучи! А они начинают входить в моду, цена на них растет и удваивается с каждым годом.

Холл еще раз внимательно осмотрел жемчуг, разобрал по сортам и вслух подсчитал его стоимость.

– Да, вы правы, все вместе стоит около ста тысяч.

– А во сколько вам обошлась добыча? – продолжал Гриф. – Собственный ваш труд, два помощника, рабочие?

– Примерно пять тысяч долларов.

– Значит, чистых девяносто пять тысяч?

– Да, около того. Но почему вас это так интересует?

– Просто пытаюсь найти... – Гриф остановился и допил бокал. – Пытаюсь найти справедливое решение. Допустим, я отвезу вас и ваших товарищей в Сидней и оплачу ваши издержки – пять тысяч долларов или, будем даже считать, семь с половиной тысяч. Как-никак, вы основательно потрудились.

Холл не дрогнул, не шевельнул ни одним мускулом, он только весь подобрался и насторожился. Добродушие, сиявшее на его круглом лице, вдруг угасло, как пламя свечи, когда ее задувают. Смех уже не заволакивал его глаза непроницаемой пеленой, и внезапно из их глубины выглянула темная, преступная душа. Он заговорил сдержанно и негромко:

– Что вы, собственно, хотите этим сказать?

Гриф небрежно закурил сигару.

– Уж, право, не знаю с чего и начать. Положение довольно затруднительное – для вас. Я хочу быть справедливым. Я уже сказал: вы все-таки немало потрудились. Мне бы не хотелось просто отбирать у вас жемчуг. Так что я готов заплатить вам за хлопоты, за потерянное время, за труд.

Сомнение на лице мнимого Холла сменилось внезапно уверенностью.

– А я-то думал, что вы в Европе, – проворчал он. На миг в глазах его блеснула надежда. – Эй, послушайте, не морочьте голову. Чем вы докажете, что вы Суизин Холл?

Гриф пожал плечами.

– Подобная шутка была бы неуместной после вашего гостеприимства. Да и второй Суизин Холл неуместен на острове.

– Если вы Суизин Холл, так кто я, по-вашему? Вы, может быть, и это знаете?

– Нет, не знаю, – ответил беспечно Гриф, – но хотел бы знать.

– Не ваше дело.

– Согласен. Выяснять вашу личность не моя обязанность. Но, между прочим, я знаю вашу шхуну, и найти ее хозяина не такое уж мудреное дело.

– Как зовется моя шхуна?

– «Эмилия Л.».

– Верно. А я капитан Раффи, владелец и шкипер.

– Охотник за котиками? Слышал, слышал. Но каким ветром вас занесло сюда?

– Деньги были нужны. Котиковых лежбищ почти не осталось.

– А те, что на краю света, слишком хорошо охраняются?

– Да, вроде того. Но вернемся к нашему спору. Я ведь могу оказать сопротивление. Будут неприятности. Каковы ваши окончательные условия?

– Те, что я сказал. И даже больше. Сколько стоит ваша «Эмилия»?

– Она свое отплавала. Десять тысяч долларов – да и то уже грабеж. Каждый раз в штормовую погоду я боюсь, что обшивка не выдержит и балласт продавит дно.

– Уже продавил. Я видел, что ваша «Эмилия Л.» болталась килем кверху после шторма. Допустим, она стоит семь с половиной тысяч долларов. Так вот, я плачу вам пятнадцать тысяч и везу вас до Сиднея. Не снимайте рук с колен.

Гриф встал, подошел к нему и отстегнул от его пояса револьвер.

– Небольшая предосторожность, капитан. Сейчас я отвезу вас на шхуну. Миссис Раффи я сам обо всем предупрежу и доставлю ее на судно вслед за вами.

– Вы великодушный человек, мистер Холл, – сказал Раффи, когда вельбот уже подходил к борту «Дяди Тоби». – Но будьте осторожны с Горманом и Уотсоном. Это сущие дьяволы. Да, между прочим, мне неприятно говорить об этом, но вы ведь знаете мою жену. Я, видите ли, подарил ей четыре или пять жемчужин. Уотсон с Горманом были не против.

– Ни слова, капитан, ни слова. Жемчужины принадлежат ей. Это вы, мистер Сноу? Здесь наш друг, капитан Раффи. Будьте добры, возьмите его на свое попечение. А я поехал за его женой.

8

Дэвид Грифф что-то писал, сидя за столом в гостиной. За окном чуть брезжил рассвет. Грифф провел беспокойную ночь. Обливаясь слезами, миссис Раффи два часа укладывала вещи. Гормана захватили в постели. Но Уотсон, карауливший рабочих, пытался было оказать сопротивление. До выстрелов, впрочем, дело не дошло. Он сдался, как только понял, что его карта бита. Гормана с Уотсоном в наручниках заперли в каюте помощника. Миссис Раффи расположилась у Гриффа, а капитана Раффи привязали к столу в салоне.

Грифф дописал последние строчки, отложил перо и перечитал написанное:

Суизину Холлу за жемчуг, добытый в его лагуне (согласно оценке) – 100.000 долларов

Герберту Сноу сполна за судно «Каскад» (в жемчуге, согласно оценке) – 60.000 долларов

Капитану Раффи жалованье и плата за издержки, связанные с добычей жемчуга – 7.500 долларов

Капитану Раффи в виде компенсации за шхуну «Эмилия Л.», погибшую во время урагана – 7.500 долларов

Миссис Раффи в подарок пять первоклассных жемчужин (согласно оценке) – 1.100 долларов

Проезд до Сиднея четверем персонам по 120 долларов – 480 долларов

За белила на окраску двух вельботов Суизина Холла – 9 долларов

Суизину Холлу остаток (в жемчуге, согласно оценке) оставлен в ящике стола в библиотеке – 23.411 долларов

100 000 долларов

Грифф поставил свою подпись, дату, помедлил немного и приписал внизу:

«Остаюсь должен Суизину Холлу три книги, взятые мною из библиотеки: Хедсон „Закон психических явлений“, Золя „Париж“, Мэхэн „Проблемы Азии“. Книги, или их полную стоимость, можно получить в конторе вышеупомянутого Гриффа, в Сиднее».

Грифф включил свет, взял стопку книг, аккуратно заложил входную дверь на щеколду и зашагал к поджидавшему его вельботу.

\* \* \*

МАУКИ

Он весил сто десять фунтов. Волосы у него были курчавые, как у негра, и он был черен. Черен как-то по-особенному: не красновато и не синевато-черен, а черно-лилов, как слива. Звали его Мауки, и он был сын вождя. У него было три «тамбо». Тамбо у меланезийцев означает табу и, конечно, сродни этому полинезийскому слову. Три тамбо Мауки сводились к следующему: во-первых, он не должен здороваться за руку с женщиной или допускать, чтобы женская рука прикасалась к нему и к его вещам; во-вторых, он не должен есть ракушек или другой пищи, приготовленной на огне, на котором их жарили; в-третьих, он не должен притрагиваться к крокодилам или плавать в челне, на котором была частица крокодила величиной хотя бы с ноготь.

Черными были у Мауки и зубы, но в отличие от кожи, они были совсем черные или, лучше сказать, черные, как сажа. Они стали у него такими за одну ночь, когда мать натерла их истолченным в порошок камнем, который добывали у горного обвала возле Порт-Адамса. Порт-Адамс – приморская деревушка на Малаите, а Малаита – самый дикий из всех Соломоновых островов. Он настолько дик, что ни одному купцу или плантатору не удалось там обосноваться, а сотни белых авантюристов – начиная с первых ловцов трепанга и торговцев сандаловым деревом и кончая современными вербовщиками рабочей силы с их винчестерами и нефтяными двигателями – нашли здесь свой конец от томагавков и тупоносых снайдеровских пуль. Тем не менее и сейчас, в двадцатом столетии, Малаита остается золотым дном для вербовщиков, которые посещают ее берега в надежде найти здесь туземцев для работы на плантациях соседних и более цивилизованных островов за тридцать долларов в год. Уроженцы этих соседних и более цивилизованных островов сами настолько приобщились к цивилизации, что уже не желают работать на плантациях.

Уши Мауки были проткнуты не в одном и не в двух, а в десяти местах. В одном из меньших отверстий он носил глиняную трубку. Отверстия покрупней не годились для этой цели: не только чубук, но и вся трубка легко проскочила бы насквозь. Да это и не мудрено, потому что в самые большие дырки он обычно вставлял по круглой деревяшке диаметром в добрые четыре дюйма. Иначе говоря, окружность этих дыр равнялась приблизительно двенадцати с половиной дюймам. Что касается эстетики, то здесь Мауки придерживался весьма независимых взглядов. В ушах у него красовались такие предметы, как пустые гильзы, гвозди от подков, медные гайки, обрывки бечевки, плетенный из соломы шнур, зеленые стрелки пальмовых листьев, а когда наступала вечерняя прохлада, – пунцовые цветы мальвы. Отсюда видно, что он прекрасно мог обходиться без карманов. Да и куда бы он их приделал – ведь вся его одежда состояла из куска ситца шириной в несколько дюймов. Карманный нож он носил в волосах, защемиив лезвием курчавую прядь, а самое ценное свое достояние – ручку от фарфоровой чашки – привешивал к продетому сквозь ноздри черепаховому кольцу.

Невзирая на все эти украшения, Мауки был миловиден. Его лицо можно было назвать красивым даже с европейской точки зрения, а для меланезийца Мауки был поразительно хорош собой. Единственным недостатком этого лица была излишняя мягкость. Оно было женственным, почти девичьим, с тонкими, мелкими и правильными чертами. Безвольный подбородок и рот. Ни силы, ни характера в линии скул, лба и носа. Разве только в глазах Мауки порой проскальзывал какой-то намек на те неизвестные величины, которые составляли неотъемлемую часть его существа, но никем еще не были разгаданы. Эти неизвестные были смелость, настойчивость, бесстрашие, живое воображение, хитрость, и когда они проявлялись в его последовательных и решительных поступках, окружающие только разводили руками.

Отец Мауки был вождем в деревушке Порт-Адамс, и для родившегося на берегу мальчика вода была родной стихией. Он умел ловить рыб и устриц; коралловые рифы были для него открытой книгой. Управлять челноком он тоже умел. Плавать научился, когда ему был год от роду. Семи лет он уже мог задерживать дыхание на целую минуту и нырять на глубину тридцати футов. Но в этом возрасте его похитили жители чащи, которые не только не умеют плавать, но даже боятся соленой воды. С тех пор Мауки видел море только издали, сквозь

просветы в зарослях или с обнаженных склонов высоких гор. Он стал рабом старого Фанфоа, царька, объединившего под своей властью около двух десятков разбросанных по горным отрогам Малаиты селений, дым которых в безветренные утра служит для белых мореплавателей едва ли не единственным доказательством того, что внутренняя часть острова обитаема. Белые не проникают в глубь Малаиты. Когда-то в погоне за золотом они пытались туда пробраться, но всякий раз оставляли там свои головы, которые и поныне скалят зубы с закопченных балок туземных хижин.

Однажды, когда Мауки уже был рослым семнадцатилетним юношей, Фанфоа остался без табаку. Он остался совсем без табаку. И все его подданные очень бедствовали. Винават в этом был сам Фанфоа. Бухта Суо настолько мала, что большой шхуне в ней не развернуться на якоре. Мангровые заросли обступают ее со всех сторон и низко свешиваются над темной водой. Это западня, и в эту западню попались двое белых. Они приплыли на небольшом двухмачтовом паруснике вербовать рабочих, и у них было много табаку и товаров, не говоря уже о трех винтовках и большом запасе патронов. В Суо нет прибрежных жителей, и лесные племена здесь могут спокойно спускаться к морю. Торговля шла бойко. В первый же день записались двадцать человек. Даже старый Фанфоа записался. И в тот же день двадцать новых рабочих отрубили двум белым головы, прикончили команду и сожгли парусник. После этого целых три месяца табак и другие товары не переводились в лесных селениях. А потом пришел военный корабль, ядра с которого полетели далеко в горы, и люди в страхе разбежались из деревень и ушли в глубь чащи. Затем на берег высадились вооруженные отряды. Они сожгли все деревни вместе с награбленным табаком и товарами. Кокосовые пальмы и бананы были срублены, всходы таро уничтожены, а куры и свиньи прирезаны.

Полученный урок мог пригодиться Фанфоа в будущем, но пока он оставался без табаку. А молодежь в селениях была так напугана, что отказывалась наниматься к вербовщикам. Потому-то Фанфоа и приказал отвести своего раба Мауки на берег и сдать его белым, а в задаток получить за него пол-ящика табаку да еще ножей, топоров, бус и ситцу. Все это Мауки отработает на плантациях. Мауки до смерти перепугался, когда ему велели подняться на шхуну. Он шел, словно ягненок на заклание. Белые, наверное, очень свирепые существа. Иначе они бы не посмели разъезжать вдоль берегов Малаиты и заходить во все бухты, по двое на шхуне, с командой из пятнадцати – двадцати чернокожих да еще с несколькими десятками завербованных. А ведь им приходилось вдобавок опасаться прибрежного населения, готового в любую минуту напасть, захватить шхуну и прикончить весь экипаж. Белые люди, должно быть, очень страшны. Притом ни у кого, кроме белых, не было таких дьявол-дьяволов – ружей, стрелявших много раз подряд без остановки; всяких железных и медных штук, заставлявших шхуну идти без всякого ветра, и ящиков, которые говорили и смеялись, точь-в-точь как говорят и смеются люди. Да это еще что! Он слышал про одного белого, у которого его собственный, личный дьявол-дьявол обладал такой чудодейственной силой, что этот белый мог по желанию вынимать все свои зубы, а потом вставлять их обратно.

Мауки повели вниз в каюту. На палубе остался сторожить один белый с двумя пистолетами за поясом. А в каюте другой сидел за книгой и чертил в ней какие-то таинственные линии и знаки. Он осмотрел Мауки, словно тот был курицей или поросенком, заглянул ему под мышки и написал что-то в книге. Потом протянул Мауки палочку для письма, и Мауки, только дотронувшись до нее, тем самым обязался работать три года на плантациях мыловаренной компании «Лунный блеск». Мауки никто не разъяснил, что свирепые белые люди прибегнут к силе, если он вздумает уклониться от взятого на себя обязательства, и что вся мощь и все военные корабли Великобритании будут им в том поддержке.

На шхуне было много других чернокожих из дальних и никому не ведомых мест, и когда белый человек им что-то сказал, они сорвали с головы Мауки длинное перо, остригли его наголо, а вокруг бедер повязали лавалаву из ярко-желтого ситца.

Много дней провел Мауки на шхуне, много видел новых земель и островов – столько ему и во сне не снилось – и наконец добрался до Нью-Джорджии, где его высадили на берег и поставили работать в поле – резать тростник и расчищать заросли. Только теперь он узнал, что такое работа. Даже когда он был у старого Фанфоа, ему не приходилось столько трудиться. А трудиться он не любил. Подымались с зарей, возвращались в сумерки, ели всего два раза в день. И пища была однообразная. Заладят на целый месяц одни бататы, а не то целый месяц дают только рис.

День за днем он очищал кокосовые орехи от скорлупы, день за днем и неделю за неделей подбрасывал хворост в костры, на которых сушили копру, пока у него не разболелись глаза и его не послали валить деревья. Он ловко орудовал топором, и вскоре его перевели на постройку моста. Потом в наказание за какую-то провинность отправили на дорожные работы. Ему случалось плавать и на вельботах, когда белые отправлялись в отдаленные бухты за копррой или выходили в море глушить рыбу динамитом.

Помимо всего прочего, он усвоил «beche de mer»[7] – распространенный в южных морях английский жаргон – и мог теперь объясняться с белыми, а главное – со всеми черными рабочими, с которыми иначе никогда бы не столкнулся. Тут были сотни различных племен и наречий. Многое узнал он о белых людях, и прежде всего то, что они держат свое слово. Когда они говорили рабочему, что дадут ему пачку табаку, он ее получал. Когда говорили, что выбьют из него семь склянок, если он сделает то-то и то-то, и он это делал, из него непременно выбивали семь склянок. Мауки не знал, что такое «семь склянок», но, часто слыша это выражение, решил про себя, что, должно быть, это кровь и зубы, потерей которых частенько сопровождалось подобного рода операции. Еще одно он твердо усвоил: никого не били и не наказывали зря. Даже когда белые напивались – а это с ними случалось нередко – они никогда не дрались, если не было нарушено какое-нибудь их правило.

Мауки не нравилось на плантациях. Работать он терпеть не мог, ведь как-никак он был сын вождя. К тому же с тех пор как Фанфоа похитил его из Порт-Адамса, прошло десять лет, и Мауки стосковался по дому. Даже рабство у старого Фанфоа представлялось ему теперь завидным уделом. Поэтому он бежал. Он углубился в джунгли, надеясь пробиться на юг к морю, украсть челнок и в нем добраться до Порт-Адамса. Но схватил лихорадку, был пойман и полумертвым доставлен назад.

Второй раз Мауки бежал уже не один, а с двумя земляками. Они отошли миль за двадцать по берегу, достигли деревни и укрылись в хижине одного из тамошних жителей, переселенца с Малаиты. Но двое белых не побоялись прийти глухой ночью в селение и выбить по семи склянок из каждого беглеца, связать их всех троих, как поросят, и кинуть в вельбот. А из человека, который их приютил, выколотили семь раз по семи склянок, судя по количеству вырванных у него волос, содранной кожи и выбитых зубов. На всю жизнь пропала у него охота укрывать беглых.

Целый год Мауки терпел и трудился. Потом его взяли в дом прислуживать. Тут пища была лучше, свободного времени больше, работа совсем не трудная – убирать комнаты и подавать белым господам виски и пиво в любое время дня и ночи. Мауки это нравилось, но жизнь в Порт-Адамсе нравилась ему больше. Служить оставалось два года, а два года – долгий срок, когда тоскуешь по дому. За этот год Мауки многому научился, и теперь на правах слуги он ко всему имел доступ. Он разбирал и чистил винтовки, знал, где хранится ключ от кладовой. План побега принадлежал ему, и вот однажды ночью десять туземцев с Малаиты и один из Сан-Кристораля ускользнули из барачных помещений и подтащили к берегу вельбот. Ключ от висевшего на вельботе замка раздобыл Мауки, и тот же Мауки погрузил в вельбот двенадцать винчестеров, огромный запас патронов, ящик динамита с детонаторами и бикфордовым шнуром и десять ящиков табаку.

Дул северо-западный муссон, и по ночам они неслись на юг, а днем прятались на

уединенных, необитаемых островках, если же приставали к большому острову, то втаскивали вельбот в кусты. Так они добрались до Гвадалканара, обогнули остров, держась вдоль берега, потом пересекли пролив Индиспэнсебль и пристали к острову Флорида. Здесь они убили того чернокожего, который был из Сан-Кристобаля, голову его спрятали, а все остальное зажарили и съели. Малаита была всего в двадцати милях, но в последнюю ночь сильное течение и переменные ветры помешали им достичь берега. Рассвет застал их все еще в нескольких милях от цели. Но на рассвете показался катер с двумя белыми, которые не испугались одиннадцати туземцев с их двенадцатью ружьями. Мауки и его товарищей доставили в Тулаги, где жил великий белый господин, старший над всеми белыми. И великий белый господин судил беглецов, после чего их связали, дали им по двенадцати плетей и приговорили к штрафу в пятнадцать долларов. Затем их отослали в Нью-Джорджию, где белые выбили из них по семи склянок из каждого и запрягли в работу. Но Мауки уже не попал в слуги. Его отправили на постройку дороги. Штраф в пятнадцать долларов уплатили за него белые, от которых он бежал, и ему сказали, что он должен их отработать, а это значило – лишних шесть месяцев на плантациях. Да сверх того за его долю украденного табаку ему накинули еще год.

Теперь до возвращения в Порт-Адамс Мауки оставалось три с половиной года. Поэтому он однажды ночью украл челнок, прятался некоторое время на островках в проливе Маннинг, потом пересек этот пролив и стал пробираться вдоль восточного побережья острова Изабель, но, проделав две трети пути, был пойман белыми у лагуны Мериндж. Спустя неделю он бежал от них и скрылся в чаще. На Изабель нет лесных племен, там одни только прибрежные жители, и все они христиане. Белые назначили за поимку Мауки награду в пятьсот пачек табаку, и всякий раз, как он пытался пробраться к морю, чтобы украсть челнок, прибрежные жители устраивали на него облаву. Так прошло четыре месяца, но когда награду повысили до тысячи пачек, Мауки поймали и вернули в Нью-Джорджию строить дороги. Ну, а тысяча пачек табаку стоит пятьдесят долларов, и обещанную награду Мауки должен был уплатить сам, а для этого требовалось проработать год и восемь месяцев. Так что Порт-Адамс отодвинулся теперь уже на пять лет.

Он тосковал еще сильнее и отнюдь не был склонен к тому, чтобы взяться за ум, остепениться, отработать свои пять лет и тогда уже вернуться домой. В следующий раз его задержали при попытке к бегству. Дело рассматривал сам мистер Хэвеби, представитель мыловаренной компании на острове, и он признал Мауки неисправимым. Неисправимых компания отправляла с Соломоновых островов за сотни миль, на острова Санта-Крус, где у нее тоже были свои плантации. Туда и отправили Мауки, только он не доехал. Шхуна зашла в Санта-Анне, и ночью Мауки вплавь добрался до берега, стащил у торгового агента две винтовки и ящик табаку и в челноке доплыл до Кристобаля. Малаита была теперь от него к северу всего в пятидесяти или шестидесяти милях, но когда он пытался переправиться через пролив, поднялся шторм и его отнесло назад к Санта-Анне, где агент заковал его в кандалы и продержал до возвращения шхуны с островов Санта-Крус. Винтовки агенту вернули, а за ящик табаку Мауки предстояло расплатиться годом работы. Его задолженность компании теперь равнялась шести годам.

На обратном пути в Нью-Джорджию шхуна стала на якорь в проливе Марау у юго-восточной оконечности Гвадалканара. С кандалами на руках Мауки поплыл к берегу и скрылся в зарослях. Шхуна ушла, но местный агент «Лунного блеска» предложил за поимку беглеца награду в тысячу пачек табаку, и жители чащи привели к нему Мауки, что увеличило его долг компании еще на год и восемь месяцев. Прежде чем шхуна вернулась, Мауки снова сбежал, на этот раз в вельботе, прихватив с собой украденный у агента ящик табаку. Но налетевший с северо-запада шквал выбросил его на Уги, где туземцы-христиане стащили у него табак, а его самого передали агенту «Лунного блеска». Украденный туземцами табак означал для Мауки еще год работы, что в итоге составило восемь с половиной лет.

– Отправим-ка его на Лорд-Хау, – сказал мистер Хэвеби. – Там теперь Бунстер. Пусть как



хотят, так между собой и разбираются. Либо Мауки угробит Бунстера, либо Бунстер – Мауки. И в том и в другом случае мы останемся в выигрыше.

Если выйти из лагуны Мериндж у острова Изабель и держать курс прямо на север, по компасу, то, пройдя сто пятьдесят миль, увидишь выступающие из воды коралловые отмели Лорд-Хау. Лорд-Хау – кольцеобразная полоса земли миль полтора в окружности и шириной всего в несколько сот ярдов, возвышающаяся местами на целых десять футов над уровнем моря. Внутри этого песчаного кольца лежит огромная лагуна, усеянная коралловыми рифами. Ни географически, ни этнографически Лорд-Хау не может быть отнесен к Соломоновым островам. Это атолл, тогда как Соломоновы острова происхождения вулканического. И язык и внешность его обитателей говорят об их близости к полинезийской расе, а жители Соломоновых островов – меланезийцы. Лорд-Хау заселен уроженцами Западной Полинезии, приток которых продолжается и по сей день: юго-восточный пассат прибывает к берегам острова их длинные узконосые челны. Некоторый, хоть и более слабый приток меланезийцев на Лорд-Хау в пору северо-западных муссонов тоже не подлежит сомнению.

Никто не посещает Лорд-Хау, или Онтонг-Джаву, как этот остров иногда называют. Агентство Кука не продает туда билетов и туристы не подозревают о его существовании. Ни один белый миссионер не высаживался на его берегах. Пять тысяч жителей этого атолла столь же милостивы, сколь и первобытны. Но они не всегда отличались таким миролюбием. Лоции указывали на их враждебность и коварство. Однако составители этих лоций, видимо, не знают, какие изменения претерпел нрав обитателей острова, с тех пор как они несколько лет назад захватили большой трехмачтовый корабль и перебили всю команду, кроме помощника штурмана, которому удалось спастись. Уцелевший принес эту весть своим белым братьям и вернулся на Лорд-Хау с тремя торговыми шхунами. Шкиперы направили свои суда прямо в лагуну и без дальних слов стали проповедовать евангелие белого человека, гласившее, что убивать белых разрешается только белым, а низшим расам это не положено. Шхуны разгуливали вдоль и поперек лагуны, сея смерть и разрушение. Бежать с этой узкой полоски песка было некуда. В чернокожего стреляли, как только он показывался, а спрятаться ему было негде. Деревни были сожжены, лодки изломаны в щепы, куры и свиньи зарезаны, а драгоценные кокосовые пальмы срублены. Так продолжалось месяц, а потом шхуны удалились, но страх перед белым человеком навсегда запечатлелся в сердцах островитян, и никогда они уже не осмеливались нанести ему вред.

Макс Бунстер, агент вездесущей мыловаренной компании «Лунный блеск», был единственным белым на острове. На Лорд-Хау компания водворила его потому, что стремилась если не совсем с ним развязаться, то хоть запихнуть его куда-нибудь подальше. Отделаться от него раз и навсегда она не могла, потому что не так-то легко было найти кого-нибудь на его место. В голове у этого здорового немца явно чего-то не доставало. Назвать его полупомешанным было бы еще слишком мягко. Задира, трус и в три раза худший дикарь, чем любой из дикарей на острове, Бунстер, как это и свойственно трусам, измывался только над слабыми. Поступив агентом на службу мыловаренной компании, он сперва получил назначение на Саво. Когда его решили оттуда убрать и послали ему на смену чахоточного колониста, Бунстер избил его до полусмерти, и тот, совсем уже умирающий, вынужден был уехать на той же шхуне, с которой прибыл.

Затем мистер Хэвеби подыскал на место Бунстера молодого иоркширца, настоящего гиганта, стяжавшего себе славу кулачного бойца, которого хлебом не корми, а только дай подраться. Но Бунстер не желал драться. Десять дней он прикидывался овечкой, пока иоркширец не свалился от приступа дизентерии и лихорадки. Тут Бунстер себя наконец показал, сбросил больного на пол и до того разошелся, что принялся топтать его ногами. Опасаясь расплаты, Бунстер не стал ждать, когда его жертва оправится, и сбежал на катере в Гувуту. Там он опять-таки отличился: избил молодого англичанина, и без того искалеченного во время бурской войны.

Тогда-то мистер Хэвеби и отослал Бунстера на этот богом забытый остров – Лорд-Хау. В честь своего прибытия Бунстер выдул пол-ящика джину и исколотил помощника шкипера с доставившей его шхуны, человека уже пожилого и страдающего астмой. А когда шхуна ушла, он созвал на берег канаков и предложил им бороться с ним один на один, пообещав ящик табаку тому, кто положит его на обе лопатки. Трех канаков он одолел, а четвертый положил его самого, но вместо обещанного табаку получил пулю в легкие.

Так началось правление Бунстера на Лорд-Хау. В главном селении жили три тысячи человек, но оно пустело даже среди бела дня, стоило только Бунстеру там появиться. Мужчины, женщины, дети бросались от него врассыпную. Даже собаки и свиньи спешили убраться подобру-поздорову, а сам король, позабыв о своем королевском достоинстве, прятался от него под циновку. Оба премьер-министра трепетали от страха перед Бунстером, который, не вдаваясь в обсуждение спорных вопросов, сразу пускал в ход кулаки.

И сюда, на Лорд-Хау, доставили Мауки, и здесь он должен был работать на Бунстера восемь с половиной долгих лет. С Лорд-Хау не убежишь. Так или иначе судьбы Бунстера и Мауки отныне тесно переплелись. Бунстер весил двести футов, Мауки – сто десять. У Бунстера была жестокость дегенерата, у Мауки – свирепость дикаря, и оба, каждый по-своему, были хитры и упорны.

Мауки и понятия не имел, на какого хозяина ему придется работать. Его никто не предостерег насчет Бунстера, и он думал, что этот белый такой же, как и все остальные, – пьет много виски, правит островом, устанавливает законы, всегда держит свое слово и никогда без причины не ударит туземца. Бунстер был в более выгодном положении. Он знал историю Мауки и заранее предвкушал, как возьмет его в оборот. Последний по счету повар Бунстера лежал со сломанной рукой и вывихнутым плечом, поэтому немец взял к себе Мауки поваром; кроме того, он должен был прислуживать по дому.

Мауки очень скоро понял, что белый белому рознь. В тот самый день, когда шхуна снялась с якоря, Бунстер приказал ему купить цыпленка у Самайзи, туземца-миссионера с островов Тонга. Но Самайзи как раз был в отлучке – он отправился на другой берег лагуны, и его ждали назад только через три дня. Мауки вернулся с пустыми руками. Он поднялся по крутой лестнице (дом стоял на сваях, футов на двенадцать от земли) и вошел в спальню хозяина. Бунстер потребовал цыпленка.

Мауки раскрыл было рот, чтобы объяснить, почему он не выполнил приказание. Но Бунстер был не охотник до объяснений. Он двинул его кулаком. Удар пришелся Мауки по челюсти и подбросил его в воздух. Он вылетел в дверь, перелетел через узкую веранду, обломав перила, и грохнулся на землю. Губы у него были расквашены, рот полон крови и выбитых зубов.

– Поговори у меня! – орал багровый от ярости агент, перегнувшись через сломанные перила и сверкая глазами на Мауки.

Такого белого Мауки еще никогда не встречал, и он решил смириться и по возможности не раздражать хозяина. Он видел, как доставалось от Бунстера гребцам, одного из них немец три дня продержал в кандалах и морил голодом лишь за то, что тот сломал уключину. Слышал он и ходившие по деревне толки, узнал, почему Бунстер взял себе третью жену, взял насильно, как это всем было известно. И первая и вторая жена покоились на кладбище, засыпанные белым коралловым песком с коралловыми глыбами в ногах и в изголовье. Молва говорила, что они умерли от побоев. А что третьей жене Бунстера живется не сладко, Мауки и сам видел.

Но разве угодишь на белого человека, когда он зол на жизнь? Если Мауки молчал, его били и обзывали бессловесной скотиной. Если говорил, били за то, что смеет рассуждать. Если он

был угрюм, Бунстер утверждал, что повар замышляет недоброе, и на всякий случай порол его. А если Мауки силился улыбнуться и казаться веселым, его обвиняли в том, что он насмехается над своим господином и повелителем и угощали палкой. Бунстер был сущий дьявол. В селении с ним давно бы расправились, если бы не память о трех шхунах и о полученном тогда уроке. Возможно, что и это не остановило бы туземцев, будь здесь лес, куда они могли бы бежать. Но леса не было, а убийство белого – любого белого – приведет сюда военный корабль, виновных перестреляют, а драгоценные кокосовые пальмы срубят. Гребцы тоже только о том и мечтали, как бы невзначай утопить Бунстера, опрокинув шлюпку. Однако Бунстер зорко следил за тем, чтобы шлюпка не опрокидывалась.

Мауки был слеплен из другого теста. Зная, что, пока Бунстер жив, ему не убежать, он твердо решил прикончить белого. Вся беда в том, что не представлялось подходящего случая. Бунстер всегда был начеку. Ни днем, ни ночью не расставался он с револьвером. Он никому не разрешал подходить к себе сзади. Мауки уразумел это после того, как его дважды сшибли с ног кулаком. Бунстер понимал, что ему следует опасаться этого добродушного и даже кроткого на вид юнца с Малаиты больше, чем всего населения Лорд-Хау. Но наслаждение, которое он испытывал, мучая Мауки, приобретало от этого лишь особую остроту. А Мауки до поры до времени смирялся, безропотно переносил все истязания и ждал.

До сих пор все белые уважали его тамбо, но Бунстер не считался ни с чем. Мауки полагалось две пачки табаку в неделю. Бунстер отдавал их своей наложнице, и Мауки должен был брать табак у нее из рук. Этого он сделать не мог и оставался без табаку. Тем же способом его не раз лишали обеда, и часто он по целым дням ходил голодный. Ему нарочно заказывали рагу из ракушек, которые водились у берегов. Но этого блюда Мауки не мог приготовить: ракушки были для него тамбо. Шесть раз отказывался он прикоснуться к ракушкам, и шесть раз его избивали до потери сознания. Бунстер знал, что это щенок скорее умрет, чем нарушит запрет, однако называл его отказ бунтом и, конечно, убил бы Мауки, если бы не боялся остаться без повара.

Любимой забавой агента было схватить Мауки за курчавые волосы и колотить его головой об стену или же неожиданно для Мауки ткнуть ему в голое тело горячей сигарой. Это называлось у Бунстера прививкой, и такой прививке Мауки подвергался чуть ли не каждый день. Однажды в припадке бешенства Бунстер выдернул ручку от фарфоровой чашки из носа Мауки, разорвав ему ноздри.

– Ну и рожа! – вот и все, что Бунстер нашел нужным сказать, взглянув на его изуродованное лицо.

Если кожа акулы шершава, как наждачная бумага, то кожа ската подобна терке. В южных морях туземцы употребляют ее вместо рашпиля для шлифовки челнов и весел. Бунстер обзавелся рукавицей из кожи ската. Для начала он испытал ее на Мауки, одним взмахом руки содрал ему кожу от затылка до лопатки. Бунстер пришел в восторг. Он и жену угостил рукавицей, а потом весьма основательно опробовал ее на всех гребцах. Оба премьер-министра тоже удостоились прикосновения рукавицы и скрепя сердцем вынуждены были ухмыляться и принимать все в шутку.

– Смейтесь же, черт побери, смейтесь! – приговаривал при этом Бунстер.

Мауки больше всех терпел от рукавицы. Не проходило дня, чтобы он не испытал ее ласк. Временами сплошь покрытая ссадинами спина не давала ему спать по ночам, а неистощимый в своих шутках мистер Бунстер то и дело сдирал едва поджившую кожу. Мауки терпел и ждал, уверенный, что рано или поздно наступит и его час. А когда этот час наконец наступил, все до мелочи было у него решено и предусмотрено.

Однажды утром Бунстер поднялся в таком настроении, что готов был выбить семь склянок из

всей вселенной. Начал он с Мауки и им же кончил, между делом наградив увесистым тумаком жену и исколотив всех гребцов. За завтраком он назвал кофе помоями и обварил Мауки, выплеснув всю чашку ему в лицо. К десяти часам Бунстер дрожал от озноба, а полчаса спустя метался в жару. Это был не простой приступ малярии. Болезнь быстро приняла тяжелое течение со всеми признаками тропической лихорадки. Дни проходили, а прикованный к постели Бунстер все слабел и слабел. Мауки следил за ним и ждал, а кожа его тем временем подживала. Он приказал гребцам вытащить катер на берег, чтобы очистить дно и вообще привести шлюпку в порядок. Думая, что это распоряжение Бунстера, они беспрекословно повиновались. Но Бунстер в это время лежал без сознания и распоряжаться не мог. Казалось бы, удобный случай настал, но Мауки почему-то все еще медлил.

Лишь только миновал кризис и выздоравливающий, но слабый, как ребенок, Бунстер пришел в себя, Мауки уложил в сундучок свои скудные пожитки, в том числе и драгоценную ручку от фарфоровой чашки, и отправился в деревню переговорить с королем и его двумя премьер-министрами.

– Эта хозяин Бунстер, он – хороший хозяин, вы много его любите? – спросил Мауки.

Те в один голос стали уверять, что вовсе его не любят. Министры изливались в жалобах, перечисляя все оскорбления и обиды, которые вытерпели от Бунстера. Король так расчувствовался, что даже всплакнул. Мауки грубо прервал их:

– Ваш мой слушай – мой большой господина в свой страна. Ваш не любит этот белый хозяин. Мой его не любит. Будет шибко хорош – ваш клади катер сто кокос, двести кокос, триста кокос. Ваш кончал таскай, ваш ходи спать. Канаки все ходи спать. Большой белый хозяин шибко дома шуметь. Ваш ничего не знай, ваш много крепко спал.

В том же духе Мауки переговорил и с гребцами. Потом он приказал жене Бунстера вернуться к своим родным. Если бы она отказалась, он попал бы в затруднительное положение, ведь его тамбо не позволяло ему и пальцем притронуться к ней.

Когда дом опустел, Мауки вошел в спальню, где дремал Бунстер. Прежде всего он убрал от него револьверы, потом натянул рукавицу из кожи ската. Взмах рукавицы, содравшей Бунстеру всю кожу с носа, послужил ему первым предупреждением.

– Шибко хорош, хозяин? – ухмыльнулся Мауки между двумя взмахами рукавицы, первый из которых ободрал лоб, а второй снял всю кожу с левой щеки агента. – Смейся, черт бери, смейся!

Мауки работал на совесть, и укрывшиеся в своих хижинах канаки слышали, как «большой хозяин шибко шумел» и продолжал шуметь еще час, а то и больше.

Закончив свое дело, Мауки отнес компас и все имевшиеся в доме винтовки и патроны в катер и стал грузить в него ящики с табаком. Пока он занимался этим, из дома выскочило какое-то страшное багровое существо и с воплями устремилось к морю. Но, пробежав несколько шагов, оно упало на песок и пыталось еще ползти, корчась и скуля под палящими лучами солнца. Мауки посмотрел в ту сторону; он, видимо, колебался. Затем подошел, аккуратно отделил Бунстеру голову от туловища, завернул ее в циновку и спрятал в ящик на корме катера.

Так крепко спали канаки весь этот долгий жаркий день, что не видели, как катер вышел в открытое море и повернул на юг, подгоняемый юго-восточным пассатом. Катер не был замечен и во время долгого перехода к острову Изабель и тогда, когда он, беспрестанно лавируя, шел против ветра оттуда на Малаиту. Мауки прибыл в Порт-Адамс богачом: такой уймы винтовок и табаку здесь ни у кого до сих пор еще не было. Но он не остался там. Он отрезал голову белому человеку, и только лес мог быть ему защитой. И так, Мауки вернулся в

лесные селения, пристрелил старого Фанфоа и с десяток его приспешников, а себя провозгласил вождем. Когда умерли его отец и брат, Мауки стал править в Порт-Адамсе, они заключили союз, и жители джунглей и побережья, объединившись, стали наиболее грозной силой среди двухсот вечно враждующих между собой племен на Малаите.

Мауки очень боялся британского правительства, но еще больше боялся он всемогущей мыловаренной компании «Лунный блеск». И вот однажды в джунгли пришло известие: компания напоминала, что он ей должен за неотработанные восемь с половиной лет. Мауки ответил, что согласен уплатить; и тогда появился неизбежный белый человек, шкипер шхуны, единственный белый, который за все время правления Мауки осмелился углубиться в чащу и вышел оттуда цел и невредим. И этот человек не только вышел из чащи, но и унес с собой семьсот пятьдесят долларов золотом – возмещение за недополученные компанией восемь с половиной лет работы и за уступленные ею по себестоимости небезызвестные винтовки и ящики табаку.

Мауки весит уже не сто десять фунтов. У него живот в три обхвата и четыре жены. Много у него и всякого другого добра: винтовки, револьверы, ручка от фарфоровой чашки и великолепная коллекция голов, в которой представлены чуть ли не все лесные племена Малаиты. Но дороже всей коллекции ему одна голова, превосходно высушенная и сохранившаяся, с песочного цвета волосами и рыжеватой бородкой, бережно завернутая в тончайшую лава-лава. Когда Мауки отправляется в поход на своих соседей, он неизменно достает эту голову и один в своем тростниковом дворце долго и торжественно ее созерцает. В такие минуты деревня погружается в безмолвие, и в этой мертвой тишине даже грудной младенец не смеет пикнуть. Голову эту считают самым могущественным дьявол-дьяволом на Малаите и приписывают ей всю силу и величие Мауки.

\* \* \*

## МУДРОСТЬ СНЕЖНОЙ ТРОПЫ

Ситка Чарли достиг недостижимого. Индейцев, которые не хуже его владели бы мудростью тропы, еще можно было встретить, но только один Ситка Чарли постиг мудрость белого человека, его закон, его кодекс походной чести. Все это ему далось, однако, не сразу. Ум индейца не склонен к обобщениям, и нужно, чтобы накопилось много фактов и чтобы факты эти часто повторялись, прежде чем он поймет их во всем их значении. Ситка Чарли с самого детства толкался среди белых. Когда же он возмужал, он решил совсем уйти от своих братьев по крови и навсегда связал свою судьбу с белыми. Но и тут, несмотря на все свое уважение, можно сказать, преклонение перед могуществом белых, над которым Ситка Чарли без конца размышлял, он долго еще не мог уяснить себе скрытую сущность этого могущества – закон и честь, и только многолетний опыт помог ему окончательно разобраться в этом. Поняв же закон белых, он, человек другой расы, усвоил его лучше любого белого человека. Так он, индеец, достиг недостижимого.

Все это породило в нем некоторое презрение к собственному народу. Обычно он старался скрывать это презрение, но сейчас оно проявилось в многоязычном каскаде проклятий, обрушившемся на головы Ка-Чукте и Гоухи. Они стояли перед ним, точно две собаки, которым трусость мешает напасть, между тем как волчья сущность не позволяет спрятать клыки. Вид у обоих, да и у Ситки Чарли, тоже был такой, что краше в гроб кладут: кожа да кости, на скулах омерзительные струпья от жестоких морозов, местами потрескавшиеся, местами затянущиеся, в глазах зловещий огонь, порожденный голодом и отчаянием. Когда люди дошли до состояния, им нет дела до закона и чести; таким людям доверять нельзя.

Ситка Чарли это знал, потому-то десять дней назад, когда было решено оставить кое-что из походного снаряжения, он и заставил их побросать ружья. Теперь во всем отряде оставалось всего лишь два ружья: одно у самого Ситки Чарли, другое у капитана Эппингуэлла.

– А ну-ка, разведите костер, живо! – скомандовал Ситка Чарли, доставая драгоценную спичечную коробку и бересту.

Индейцы мрачно принялись собирать сухие сучья и валежник. Они были очень слабы, устраивали частые передышки и, наклоняясь за сучьями, с трудом удерживались на ногах; их колени дрожали и стучались одно о другое, как кастаньеты. Каждый раз, доковыляв до костра, они останавливались, чтобы перевести дух, как тяжело больные или смертельно усталые люди. Взгляд их то тускнел, выражая тупое, терпеливое страдание, то загорался испуганной жадностью жизни, которая, казалось, вот-вот прорвется неистовым воплем, лейтмотивом всего сущего: «Я хочу жить! Я, я, я!»

Внезапно поднявшийся с юга ветерок больно щипал лицо и руки, а раскаленные иглы мороза проникали до самых костей, впиваясь в тело сквозь меховую одежду. Поэтому, когда костер разгорелся как следует и снег кругом него начал подтаивать, Ситка Чарли заставил своих товарищей помочь ему в устройстве защитного полога. Это было весьма примитивное сооружение, попросту говоря, обыкновенное одеяло, которое натянули с подветренной стороны костра примерно под углом в сорок градусов к земле. Полог этот все же защищал от пронизывающего ветра и отражал тепло, направляя его на сидящих вокруг костра. Затем, чтоб не сидеть прямо на снегу, индейцы набросали еловых ветвей. Выполнив эту работу, они занялись своими ногами. Заледеневшие мокасины сильно истрепались в пути, острый лед речных затворов превратил их в лохмотья. Меховые носки были в таком же состоянии; когда же они оттаяли настолько, что их можно было стащить, обнажились мертвенно-бледные пальцы ног в разных стадиях обмороженности; они красноречиво поведали несложную историю похода.

Оставив Ка-Чукте и Гоухи сушить у костра обувь, Ситка Чарли повернул лыжи и пошел обратно по тропе. Он и сам был бы рад посидеть у костра и дать отдых своему измученному телу, но это было бы противно

закону и\_ч\_е\_с\_т\_и\_. Он шагал по замерзшей равнине, в каждом шаге был словно вопль протеста, в каждом мускуле – призыв к бунту. Его нога то и дело ступала на хрупкий лед, только что затянувшейся промоины, и тогда нужно было не мешкая перепрыгнуть на другую льдину. Смерть в таких местах бывает мгновенной и легкой; но Ситка Чарли не желал умирать.

Тревога, которая постепенно нарастала в нем, рассеялась, как только из-за поворота реки показались ковыляющие фигуры двух индейцев. Они с трудом волочили ноги и тяжело дышали, точно несли непосильную ношу, хотя в их заплечных мешках было всего несколько фунтов клади. Ситка Чарли набросился на индейцев с расспросами, и, видимо, их ответы успокоили его. Он поспешил дальше. Навстречу шли трое белых – двое мужчин вели под руки женщину. Они тоже брели, как пьяные, от усталости у них тряслись руки и ноги. Однако женщина старалась не слишком опираться на своих спутников и двигаться без их помощи. На лице Ситки Чарли мелькнула радость, когда он увидел ее. Миссис Эппингуэлл вызывала у него чувство глубокой симпатии и уважения. На своем веку он перевидал много белых женщин, но никогда еще ему не доводилось идти с какой-нибудь из них по снежной тропе. Когда капитан Эппингуэлл впервые заговорил с ним об этом рискованном предприятии, предложив ему принять участие в походе, индеец хмуро покачал головой. Он знал, что прокладывать новый путь через унылые просторы Северной Страны было делом, которое даже от мужчин требовало предельного напряжения сил. Услышав же, что их собирается сопровождать жена капитана, он решительно отказался от какого бы то ни было участия в этом предприятии. Добро бы это была индианка, но женщина из Южной Страны... нет, нет,

все они неженки и белоручки, и такой поход им не под силу.

Но Ситка Чарли не знал, с кем он имеет дело. Еще пять минут назад он и в мыслях не имел согласиться. Но вот подошла она; ее чудесная улыбка околдовала его, ее четкая английская речь поразила его слух; она поговорила с ним по-деловому, не прибегая ни к просьбам, ни к уговорам, и Ситка Чарли тут же сдался. Если бы он прочел в ее глазах мольбу или вкрадчивость, если бы уловил в ее голосе малейшую дрожь, если бы почувствовал, что она рассчитывает на свое женское обаяние, Ситка Чарли оказался бы тверже стали, – но ее ясный, пытливый взгляд, ее звонкий, решительный голос, ее полнейшая искренность и манера держаться с ним просто, как с равным, вскружили ему голову совершенно. Он почувствовал, что перед ним женщина особой породы, и уже в первые дни пути понял, отчего мужчины, родившиеся от подобных женщин, сделались повелителями морей и суши и отчего мужчины, рожденные женщинами его племени, не могли против них устоять. Неженка и белоручка – это она-то! И изо дня в день наблюдал он ее, усталую, измученную и все же не сдающуюся, и повторял в уме эти слова: «Неженка и белоручка». Он смотрел, как с утра до ночи, не зная усталости, мелькают перед ним ее ноги, которым бы ходить по утоптаным дорожкам в солнечных краях, не ведая ни ноющей боли от мокасин, ни ледяных поцелуев мороза; смотрел – и не мог надивиться. Она дарила всех своей приветливой улыбкой, для самого последнего носильщика находила словечко одобрения. Надвигалась полярная ночь, но упорство и решимость этой женщины, казалось, только возрастали с наступающей темнотой. Когда Гоухи и Ка-Чукте, которые хвастали, что знают дорогу, как собственный вигвам, признались в конце концов, что сбились с пути, среди проклятий, обрушившихся на них, один голос, голос женщины, поднялся в их защиту. В ту ночь она пела своим спутникам, и от ее песни позабылась усталость и вселилась новая надежда в их сердца. Когда съестные припасы стали подходить к концу и каждый крохотный кусок был на учете, она восстала против ухищрений своего мужа и Ситки Чарли, требуя, чтобы ей выделяли ровно столько же, сколько остальным, – ни больше, ни меньше.

Ситка Чарли гордился дружбой этой женщины. С ее появлением жизнь его стала богаче, он обрел новые горизонты. Сам себе наставник, он привык идти своим путем, ни на кого не оглядываясь. Он воспитал себя, опираясь на правила, которые сам же и выработал, не прислушиваясь ни к чьим мнениям, кроме собственного. И вот впервые появилась какая-то сила извне и вызвала к жизни все лучшее, что в нем таилось. Взгляд одобрения этих ясных глаз, слово благодарности, произнесенные этим звонким голосом, неуловимое движение губ, складывающихся в эту изумительную улыбку, – и Ситка Чарли в течение долгих часов пребывал на седьмом небе. Она вдохновляла его, поднимала в его собственных глазах; он научился гордиться тем, что так глубоко усвоил мудрость тропы. Он и миссис Эппингуэлл вдвоем поддерживали дух у приунывших товарищей.

Лица всех троих прояснились при виде Ситки Чарли – ведь он был их единственной опорой в пути. Как всегда, невозмутимый, привыкший скрывать под железной маской безразличия равно и радость и боль, Ситка Чарли осведомился об остальных членах отряда, сообщил, сколько осталось идти до костра, и продолжал свой путь. Вскоре ему попался навстречу индеец; он шел, прихрамывая, один и без поклажи; губы его были плотно сжаты, в глазах застыла боль: в его ноге в последней схватке со смертью еще пульсировала жизнь. Все, что можно было для него сделать, было сделано, но в конечном счете слабый и неудачливый гибнет. Ситка Чарли видел, что дни индейца сочтены. Долго он все равно протянуть не мог, и Ситка Чарли, бросив на ходу несколько суровых слов утешения, пошел дальше. После этого ему повстречались еще два индейца – те, которым Ситка Чарли поручил вести Джо, четвертого белого человека в их отряде. Но они бросили его. Ситке Чарли было достаточно одного взгляда, чтобы понять по какой-то неуловимой свободе движений, что индейцы вышли из повиновения. И поэтому он не был застигнут врасплох, когда в ответ на приказ вернуться за белым в руках у индейцев сверкнули охотничьи ножи. Какое убогое зрелище – три слабых человеческих существа меряются своими слабыми силенками среди просторов могучей

природы! Двое были вынуждены оступить под ударами, которые наносил им третий прикладом ружья. Индейцы, как побитые собаки, поплелись обратно. А через два часа все они – Джо, поддерживаемый с двух сторон индейцами, и Ситка Чарли, замыкающий шествие, – подошли к костру, где остальные члены отряда жались к огню под защитой полога.

Когда были проглочены скудные порции пресных лепешек, Ситка Чарли сказал:

– Несколько слов, друзья мои, прежде чем лечь спать. – Он обратился к индейцам на их родном языке, так как уже сообщил белым содержание своей речи. – Несколько слов, друзья мои, для вашей же пользы, – может быть, они помогут вам сохранить вашу жизнь. Я дам вам закон, и тот, кто нарушит его, будет сам виновен в своей смерти. Мы перешли Горы Молчания и сейчас идем по верховьям реки Стюарт. Может быть, нам остался всего лишь один сон в пути, может быть, два-три или даже много снов, но так или иначе мы дойдем до людей с Юкона, у которых много еды. Так вот, мы должны соблюдать закон. Сегодня Ка-Чукте и Гоухи, которым я приказал прокладывать лыжню, забыли о том, что они мужчины, и убежали, как малые дети. Ну что ж, они забыли, забудем и мы на этот раз! Но отныне пусть они не забывают. Если же они снова забудут... – Тут он с нарочитой небрежностью погладил ствол ружья. – Завтра они понесут муку, и поведут белого человека Джо, и будут следить за тем, чтоб он не остался лежать на тропе. Я вымерил, сколько здесь чашек муки; если к вечеру пропадет хотя бы унция... Понятно? Кое-кто еще не забыл сегодня: Оленья Голова и Три Лосося оставили белого человека Джо одного на снегу. Пусть и они не забывают больше. Как только забрезжит день, они отправятся вперед прокладывать лыжню. Вы слышали закон – смотрите же, не нарушайте его.

Как ни старался Ситка Чарли, ему не удавалось заставить свой отряд идти след в след. От Оленьей Головы и Трех Лососей, которые шли в авангарде, прокладывая лыжню, до замыкающих шествие Ка-Чукте, Гоухи и Джо он растянулся чуть не на милю. Каждый брел, падал, чтобы перевести дух, и снова вставал. Они подвигались вперед, напрягая остатки сил, то и дело останавливаясь, и всякий раз, когда они думали, что окончательно выдохлись, оказывалось, что каким-то чудом они все-таки могут еще идти, что силы их не совсем еще иссякли. Всякий раз, упав, человек думал, что ему уже не встать, и, однако, он вставал, и падал снова, и еще раз вставал. Человеческая воля побеждала изнемогающую плоть, но каждая одержанная победа таила в себе трагедию. Индеец и отмороженной ногой уже не шел, а полз на четвереньках. Он полз, почти не останавливаясь, ибо знал цену, которую мороз взъщует с него за передышку. Даже у миссис Эппингуэлл улыбка словно застыла на губах, и она смотрела вперед ненавидящим взглядом. Она часто останавливалась, прижимала к груди руку в меховой рукавице: не хватало дыхания и кружилась голова.

Белый человек Джо находился по ту сторону страданий. Он уже не молил, чтоб его оставили в покое, и не взывал к смерти; он был кроток и ни на что не жаловался – бред избавил его от страданий. Ка-Чукте и Гоухи тащили его без всяких церемоний, награждая свирепыми взглядами, а иной раз и тумаками. Они считали себя жертвой величайшей несправедливости. Их сердца были полны страха и жгучей ненависти. Этот человек слаб, так почему они должны тратить на него свои последние силы? Повиноваться означало для них верную смерть; взбунтоваться... Но тут они вспомнили Ситку Чарли, его закон, его ружье.

С наступлением сумерек Джо падал все чаще и чаще, и поднимать его становилось с каждым разом все тяжелее; они начали сильно отставать. Индейцы так ослабли под конец, что стали уже валиться в снег вместе с ним. А между тем на спине, за плечами – жизнь, тепло! В мешках с мукой заключалась животворящая сила. Не думать об этом было невозможно, и то, что случилось, должно было неминуемо случиться. Они устроили привал возле большой партии сплавного леса, которую затерло льдами. Дрова – их было несколько тысяч кубических футов, – казалось, только и ждали спички. А совсем близко поблескивала в проруби вода. Ка-Чукте и Гоухи взглянули на дрова, затем на воду, потом посмотрели друг другу в лицо. Они не обменялись ни единым словом. Гоухи разжег костер; Ка-Чукте наполнил



жестянку водой и согрел ее на огне. Джо лепетал на непонятном языке о непонятных делах, творившихся в далеком, чуждом им краю. Размешав муку в тепловатой воде, они приготовили себе жидкую кашу и выпили одну за другой несколько чашек. Они не подумали угостить Джо, но Джо не обижался; Джо ни на что больше не обижался. Он даже не обижался на свои мокасины, которые тихо тлели и дымились на угольках от костра.

Вокруг пирующих падал легкий искрящийся снег, падал мягко, ласково, обволакивая их плотной белой мантией. Много еще троп исходили бы они, если бы волею судеб не прекратился снегопад и небо не очистилось от туч. Каких-нибудь десять минут, и они были бы спасены! Оглянувшись, Ситка Чарли увидел столб дыма от костра и все понял. Он посмотрел вперед, туда, где шагали самые стойкие, где шла миссис Эппингуэлл.

– Итак, друзья мои, вы опять забыли, что вы мужчины? Хорошо. Очень хорошо. Двумя ртами меньше.

С этими словами Ситка Чарли завязал мешок с остатками муки и пристегнул его к своему вещевому мешку. Затем он принялся изо всех сил толкать несчастного Джо, пока боль не вывела беднягу из блаженного оцепенения и не заставила его с трудом подняться на ноги. Ситка Чарли поставил его на лыжню, слегка подтолкнул, и Джо пошел. Индейцы попытались было улизнуть.

– Стой, Гоухи! И ты, Ка-Чукте! Или мука придала вашим ногам столько сил, что уж и быстрокрылый свинец вас не догонит? Закон не обманешь. Покажите же, что вы мужчины, и радуйтесь, что умираете сытыми. Встаньте рядом, спиной к бревнам!.. Ну!

Индейцы повиновались без слов, без страха, ибо человек страшится будущего, а не настоящего.

– У тебя, Гоухи, есть жена и дети и вигвам из оленьих шкур на земле племени чиппева. Как ты хочешь распорядиться ими?

– Узнай у капитана, что принадлежит мне, и отдай все моей жене – одеяла, бусы, табак и ящик, который издает чудные звуки, похожие на разговор белого человека. Скажи, что я встретил смерть в пути, но не рассказывай, как это случилось.

– А ты, Ка-Чукте? У тебя ведь нет ни жены, ни детей...

– У меня есть сестра, жена агента фактории в Крошине. Он бьет ее, ей плохо с ним. Дай ей все, что принадлежит мне по контракту, и скажи, чтобы возвращалась к своей родне. А если сам он тебе попадетсЯ и ты захочешь оказать мне услугу, – знай, что ему следовало бы умереть. Он ее бьет, и она его боится.

– Согласны ли вы принять законную смерть?

– Согласны.

– Прощайте же, дорогие друзья! Да попадут ваши души в теплое жилье, да воссядут они возле полных котлов!

С этими словами он вскинул ружье, и тишина огласилась многократным эхо. Едва умолкли последние раскаты, как в ответ издали послышались ружейные выстрелы. Ситка Чарли вздрогнул. Выстрелов было несколько, а он знал, что во всем отряде только у одного человека, кроме него, имелось ружье. Кинув быстрый взгляд на тех, что недвижно лежали на снегу, он с горькой усмешкой подумал о мудрости тропы и быстро зашагал навстречу людям с Юкона.

\* \* \*

## МУЖЕСТВО ЖЕНЩИНЫ

Волчья морда с грустными глазами, вся в инее, раздвинув края палатки, просунулась внутрь.

– Эй, Сиваш! Пошел вон, дьявольское отродье! – закричали в один голос обитатели палатки. Беттлз стукнул собаку по морде оловянной миской, и голова мгновенно исчезла. Луи Савой закрепил брезентовое полотнище, прикрывавшее вход, и, опрокинув ногой горячую сковороду, стал греть над ней руки.

Стоял лютый мороз. Двое суток тому назад спиртовой термометр, показав шестьдесят градусов ниже нуля, лопнул, а становилось все холоднее и холоднее; трудно было сказать, сколько еще продержатся сильные морозы. Только господь бог может заставить в этакую стужу отойти от печки. Бывают смельчаки, которые отваживаются выходить при такой температуре, но это обычно кончается простудой легких; человека начинает обычно душить сухой, скрипучий кашель, который особенно усиливается, когда поблизости жарят сало. А там, весной или летом, отогрев мерзлый грунт, вырывают где-нибудь могилу. В нее опускают труп и, прикрыв его сверху мхом, оставляют так, свято веря, что в день страшного суда сохраненный морозом покойник восстанет из мертвых цел и невредим. Скептикам, которые не верят в физическое воскресение в этот великий день, трудно рекомендовать более подходящее место для смерти, чем Клондайк. Но это вовсе не означает, что в Клондайке также хорошо и жить.

В палатке было не так холодно, как снаружи, но и не слишком тепло. Единственным предметом, который мог здесь сойти за мебель, была печка, и люди откровенно льнули к ней. Пол в палатке был наполовину устлан сосновыми ветками; под ними был снег, а поверх них лежали меховые одеяла. В другой половине палатки, где снег был утопан мокасинами, в беспорядке валялись котелки, сковороды и прочее снаряжение полярного лагеря. В раскаленной докрасна печке трещали дрова, но уже в трех шагах от нее лежала глыба льда, такого крепкого и сухого, словно его только что вырубил на речке. От притока холодного воздуха все тепло в палатке поднималось вверх. Над самой печкой, там, где труба выходила наружу через отверстие в потолке, белел кружок сухого брезента, дальше был круг влажного брезента, от которого шел пар, а за ним – круг сырого брезента, с которого капала вода; и, наконец, остальная часть потолка палатки и стены ее были покрыты белым, сухим, толщиной в полдюйма слоем инея.

– О-о-о! О-ох! О-ох! – застонал во сне юноша, лежавший под меховыми одеялами. Его худое, изможденное лицо обросло щетиной. Не просыпаясь, он стонал от боли все громче и мучительнее. Его тело, наполовину высунувшееся из-под одеял, судорожно вздрагивало и сжималось, как будто он лежал на ложе из крапивы.

– Ну-ка, переверните парня! – приказал Беттлз. – У него опять судороги.

И вот шестеро товарищей с готовностью подхватили больного и принялись безжалостно вертеть его во все стороны, мять и колотить, пока не прошел припадок.

– Черт бы побрал эту тропу! – пробормотал юноша, сбрасывая с себя одеяла и садясь на постели. – Я рыскал по всей стране три зимы подряд – мог бы уж, кажется, закалиться! А вот попал в этот проклятый край и оказался каким-то женоподобным афинянином, лишенным и крупницы мужественности!

Он подтянулся поближе к огню и стал свертывать сигарету.

– Не подумайте, что я люблю скульптуру! Нет, я все могу вынести! Но мне просто стыдно за себя, вот и все... Прошел несчастных тридцать миль – и чувствую себя таким разбитым, словно рахитичный молокосос после пятимильной прогулки за город! Противно!.. Спички у кого-нибудь есть?

– Не горячись, мальчик! – Беттлз протянул больному вместо спичек горящую головешку и продолжал отеческим тоном: – Тебе это простительно – все проходят через это. Устал, измучен! А разве я забыл свое первое путешествие? Не разогнуться! Бывало, напьешься из проруби, а потом целых десять минут маешься, пока на ноги встанешь. Все суставы трещат, все кости болят так, что с ума можно сойти. А судороги? Бывало, так скрючит, что весь лагерь полдня бьется, чтобы меня распрямить! Хоть ты и новичок, а молодец, парень с характером! Через какой-нибудь год ты всех нас, стариков, за пояс заткнешь. Главное – сложение у тебя подходящее: нет лишнего жира, из-за которого многие здоровенные парни отправлялись к праотцам раньше времени.

– Жира?

– Да, да. У кого на костях много жира и мяса, тот тяжелее переносит дорогу.

– Вот уж не знал!

– Не знал? Это факт, можешь не сомневаться. Этаким великан может сделать что-нибудь только с наскоку, а выносливости у него никакой. Самый непрочный народ! Только у жилистых, худощавых людей крепкая хватка – во что вцепятся, того у них не вырвешь, как у пса кость! Нет, нет, толстяки для этого не годятся.

– Верно ты говоришь, – вмешался в разговор Луи Савой. – Я знал одного детину, здорового, как буйвол. Так вот, когда столбили участки у Северного ручья, он туда отправился с Лоном Мак-Фэйном. Помните Лона? Маленький рыжий такой ирландец, всегда ухмыляется. Ну, шли они, шли – весь день и всю ночь шли. Толстяк выбился из сил и начал ложиться на снег, щупленький ирландец толкает его, колотит, а тот ревет, ну, совсем как ребенок. И так всю дорогу Лон тащил его и подталкивал, пока они не добрались до моей стоянки. Три дня он провалялся у меня под одеялами. Я никогда не думал, что мужчина может оказаться такой бабой. Вот что делает с человеком жирок!

– А как же Аксель Гундерсон? – спросил Принс. На молодого инженера великан-скандинав и его трагическая смерть произвели сильное впечатление. – Он лежит где-то там... – И Принс неопределенно повел рукой в сторону таинственного востока.

– Крупный был человек, самый крупный из всех, кто когда-либо приходил сюда с берегов Соленой Воды и охотился на лосей, – согласился Беттлз. – Но он – то исключение, которое подтверждает правило. А помнишь его жену, Унгу! Килограммов пятьдесят всего весила. Одни мускулы, ни унции лишнего. И эта женщина все вынесла и заботилась только о нем. Ни на том, ни на этом свете не было ничего такого, чего бы она не сделала для него.

– Ну что ж, она любила его, – возразил инженер.

– Да разве в этом дело! Она...

– Послушайте, братья, – вмешался Ситка Чарли, сидевший на ящике со съестными припасами. – Вы тут толковали о лишнем жире, который делает слабыми больших, здоровых мужчин, о мужестве женщин и о любви; и ваши речи были прекрасны. И вот я вспомнил одного мужчину и одну женщину, которых я знал в те времена, когда этот край был молод, а костры редки, как звезды на небе. Мужчина был большой и здоровый, но должно быть, ему мешало то, что ты назвал лишним жиром. Женщина была маленькая, но сердце у нее было большое, больше бычьего сердца мужчины. И у нее было много мужества. Мы шли к Соленой

Воде, дорога была трудная, а нашими спутниками были жестокий мороз, глубокие снега и мучительный голод. Но эта женщина любила своего мужа могучей любовью – только так можно назвать такую любовь.

Ситка замолчал. Отколов топором несколько кусков льда от глыбы, лежавшей рядом, он бросил их в стоявший на печке таз для промывки золота, – так они получали питьевую воду. Мужчины придвинулись ближе, а больной юноша тщетно пытался сесть поудобнее, чтобы не ныло сведенное судорогами тело.

– Братья, – продолжал Ситка, – в моих жилах течет красная кровь сивашей, но сердце у меня белое. Первое – вина моих отцов, а второе – заслуга моих друзей. Когда я был еще мальчиком, печальная истина открылась мне. Я узнал, что вся земля принадлежит вам, что сиваши не в силах бороться с белыми и должны погибнуть в снегах, как гибнут медведи и олени. Да, и вот я пришел к теплу, сел среди вас, у вашего очага, и стал одним из вас. За свою жизнь я видел многое. Я узнал странные вещи и много дорог исходил с людьми разных племен. Я стал судить о людях и о делах их так, как вы, и думать по-вашему. Поэтому, если я говорю сурово о каком-нибудь белом, я знаю: вы не обидитесь на меня. И когда я хвалю кого-нибудь из племени моих отцов, вы не скажете: «Ситка Чарли – сиваш, его глаза видят криво, а язык нечестен». Не так ли?

Слушатели глухим бормотаньем подтвердили, что они согласны с ним.

– Имя этой женщины было Пассук. Я честно купил ее у ее племени, которое жило на побережье, у одного из заливов с соленой морской водой. Сердце мое не лежало к этой женщине, и моим глазам не было приятно глядеть на нее; ее взгляд был всегда опущен, и она казалась робкой и боязливой, как всякая девушка, брошенная в объятия чужого человека, которого она никогда до того не видела. Я уже сказал, что ей не было места в моем сердце, но я собирался в далекий путь, и мне нужен был кто-нибудь, чтобы кормить моих собак и помогать мне грести во время долгих переходов по реке. Ведь одно одеяло может прикрыть и двоих, и я выбрал Пассук.

Говорил ли я вам, что в то время я состоял на службе у правительства? Поэтому меня взяли на военный корабль вместе с нартами, собаками и запасом провизии; со мной была и Пассук. Мы поплыли на север, к зимним льдам Берингова моря, и там нас высадили – меня, Пассук и собак. Как слуга правительства, я получил деньги, карты мест, на которые до тех пор не ступала нога человеческая, и письма. Письма были запечатаны и хорошо защищены от непогоды, я должен был доставить их на китобойные суда, которые стояли, затертые льдами, около великой Маккензи. Другой такой реки нет на свете, если не считать наш родной Юкон, отца всех рек.

Но это все не так важно, потому что то, о чем я хочу рассказать, не имеет отношения ни к китобойным судам, ни к суровой зиме, которую я провел на берегах Маккензи. Весной, когда дни стали длиннее, после оттепели, мы с Пассук отправились на юг, к берегам Юкона. Это было тяжелое, утомительное путешествие, но солнце указывало нам путь. Край этот, как я уже сказал, был тогда совсем пустынный, и мы плыли вверх по течению, работая то багром, то веслами, пока не добрались до Сороковой Мили. Приятно было снова увидеть белые лица, и мы высадились на берег.

Та зима была очень сурова. Наступили холод и мрак, а вместе с ними пришел и голод. Агент Компании выдал всего по сорок фунтов муки и двадцать фунтов сала на человека. Бобов не было вовсе. Собаки постоянно выли, а у людей подводило животы, и лица их прорезали глубокие морщины. Сильные слабели, слабые умирали. В поселке свирепствовала цинга.

Однажды вечером мы пришли на склад и при виде пустых полок еще сильнее почувствовали пустоту в желудке; мы тихо беседовали при свете очага, потому что свечи были припрятаны

для тех, кто дотянет до весны. И вот решено было, что надо послать кого-нибудь к Соленой Воде, чтобы сообщить о том, как мы тут бедствуем. При этом все головы повернулись в мою сторону, а глаза людей смотрели на меня с надеждой: все знали, что я опытный путешественник.

– До миссии Хейнса на берегу моря семьсот миль, – сказал я, – и весь путь нужно прокладывать на лыжах. Дайте мне ваших лучших собак и запасы лучшей пищи, и я пойду. Со мной пойдет Пассук.

Люди согласились. Но тут встал Длинный Джефф, здоровый, крепкий янки. Речь его была хвастлива. Он сказал, что и он тоже отличный путешественник, что он словно создан для ходьбы на лыжах и вскормлен молоком буйволицы. Он сказал, что пойдет со мною, и если я погибну в дороге, то он дойдет до миссии и исполнит поручение. Я тогда был молод и плохо знал янки. Откуда я мог знать, что хвастливые речи – первый признак слабости, а те, кто способен на большие дела, держат язык за зубами. И вот мы взяли лучших собак и запас еды и отправились в путь втроем: Пассук, Длинный Джефф и я.

Всем нам приходилось прокладывать тропу по снежной целине, работать поворотным шестом и пробираться через ледяные заторы, поэтому я не буду много рассказывать о трудностях пути. А лучшие собаки едва держались на ногах, и мы с большим трудом заставляли их тащить нарты. Когда мы достигли Уайттривер, у нас из трех упряжек осталось уже только две, а ведь мы прошли всего двести миль! Правда, нам не пришлось ничего потерять: издохшие собаки попали в желудок тех, которые были еще живы.

Ни человеческого голоса, ни струйки дыма нигде до тех пор, пока мы не пришли в Пелли. Там я рассчитывал пополнить наши запасы, а также оставить Длинного Джеффа, который ослабел в пути и все время хныкал. Но склады фактории в Пелли были почти пусты; агент Компании сильно кашлял и задыхался, глаза его блестели от лихорадки. Он показал нам пустую хижину миссионера и его могилу, заваленную камнями, чтобы собаки не могли вырыть его труп. Мы встретили там группу индейцев, но среди них уже не было ни детей, ни стариков; и нам стало ясно, что немногие из оставшихся доживут до весны.

Итак, мы отправились дальше с пустым желудком и тяжелым сердцем. До миссии Хейнса оставалось еще пятьсот миль пути среди вечных снегов и безмолвия. Было самое темное время года, и даже в полдень солнце не озаряло южного горизонта. Но ледяных заторов стало меньше, идти было легче. Я непрестанно подгонял собак, а мы шли почти без передышки. Как я и предполагал, нам все время приходилось идти на лыжах. А от лыж сильно болели ноги, и на них появились незаживающие трещины и раны. С каждым днем эти болячки причиняли нам все больше мучений. И вот однажды утром, когда мы надевали лыжи, Длинный Джефф заплакал, как ребенок. Я послал его прокладывать дорогу для меньших нарт, но он, чтоб было полегче, снял лыжи. Из-за этого дорога не утаптывалась, его мокасины делали большие углубления в снегу, собаки проваливались в них. Собаки были так худы, что кости выпирали под шкурой, им было очень тяжело двигаться. Я сурово выбранил Джеффа, и он обещал не снимать лыж, но не сдержал слова. Тогда я ударил его бичом, и уж после этого собаки больше не проваливались в снег. Джефф вел себя, как ребенок; мучения в пути и то, что ты назвал лишним жиром, сделали его ребенком.

А Пассук? В то время, как мужчина лежал у костра и плакал, она стряпала, по утрам помогала мне запрягать собак, а вечером распрягать их. Это Пассук спасала наших собак. Она всегда шагала на лыжах впереди, утаптывая им дорогу. Пассук... что вам сказать! Я тогда принимал это как должное и не задумывался ни над чем. Голова моя была занята другим, и к тому же я был молод и мало знал женщин. И только позднее, вспоминая это время, я понял, какая у меня была жена.

Джефф теперь был только обузой. У собак и так не хватало сил, а он украдкой ложился на

нарты, когда оказывался позади. Пассук сама взялась вести упряжку, и Джеффу совсем было нечего делать. Каждое утро я честно выдавал ему его порцию еды, и он один уходил вперед, а мы собирали вещи, грузили нарты и запрягали собак. В полдень, когда солнце дразнило нас, мы его догоняли – он брел, плача, и слезы замерзали у него на щеках – и шли дальше. Ночью мы делали привал, откладывали порцию еды для Джеффа и расстилали его меховое одеяло. Мы разводили большой костер, чтобы ему было легче заметить нас. И через несколько часов он приходил, хромя, съедал с жалобными причитаниями свою порцию и засыпал. Так повторялось каждый день. Этот человек не был болен – он просто устал, измучился и ослабел от голода. Но Пассук и я тоже устали, измучились и ослабели от голода, а между тем выполняли всю работу, – он же не работал. Но все дело, видно, было в том лишнем жире, о котором говорил брат Беттлз; а ведь мы всегда честно оставляли ему его порцию еды.

Раз мы встретили на дороге двух призраков, странствовавших среди Белого Безмолвия, – мужчину и мальчика. Они были белые. На озере Ле-Барж начался ледоход, и все их имущество унесло, только на плечах у каждого было по одеялу. Ночью они разводили костер и лежали скрючившись подле него до утра. У них еще осталось немного муки, и они мешали ее с теплой водой и пили. Мужчина показал мне восемь чашек муки – все, что у них осталось, а до Пелли, где уже тоже начался голод, было еще двести миль. Путники рассказали нам, что с ними шел индеец и они честно делились с ним; но он не мог поспеть за ними. Я не поверил тому, что они честно делились с индейцем, – почему же он тогда отстал от них?

Я не мог дать им ничего. Они пытались украсть у нас самую жирную собаку (которая тоже была очень худа), но я пригрозил им револьвером и велел убираться. И они ушли, эти два призрака, качаясь, как пьяные, – ушли в Белое Безмолвие, по направлению к Пелли.

Теперь у меня оставалось только три собаки и одни нарты; и собаки были кожа да кости. Когда мало дров, огонь горит плохо и в хижине холодно, – так было и с нами. Мы ели очень мало, и потому мороз сильно донимал нас; лица у нас были обморожены и почернели так, что родная мать не узнала бы нас. Ноги сильно болели. По утрам, когда мы трогались в путь, я едва сдерживал крик – такую боль причиняли лыжи. Пассук, не разжимая губ, шла впереди и прокладывала дорогу. А янки все стонал и хныкал.

В Тридцатимильной реке течение быстрое, оно подмыло лед в некоторых местах, и нам попадалось много промоин и трещин, а иногда и сплошь вода. И вот однажды мы, как обычно, догнали Джеффа, который ушел раньше и теперь отдыхал. Нас разделяла вода. Он-то обошел ее кругом, по кромке льда, но для нарт кромка была слишком узкой. Мы нашли полосу еще крепкого льда. Пассук пошла первой, держа в руках шест на тот случай, если она провалится. Пассук весила мало, лыжи у нее были широкие, и она благополучно перешла, затем позвала собак. Но у собак не было ни шестов, ни лыж, они провалились, и течение сейчас же подхватило их, но постромки оборвались, и собак затянуло под лед. Собаки очень отощали, но все же я рассчитывал на них, как на недельный запас еды, – и вот их не стало!

На следующее утро я разделил весь небольшой остаток провизии на три части и сказал Длинному Джеффу, пусть он идет с нами или остается – как хочет, мы теперь пойдем налегке и потому быстро. Он начал кричать и жаловаться на больные ноги и на всякие невзгоды и упрекал меня в том, что я плохой товарищ. Но ведь ноги у Пассук и у меня тоже болели, еще больше, чем у него, потому что мы прокладывали путь собакам; и нам тоже было трудно. Длинный Джефф клялся, что он умрет, а дальше не двинется. Пассук молча взяла его меховое одеяло, а я котелок и топор, и мы собрались идти. Но женщина посмотрела на порцию, отложенную для Джеффа, и сказала: «Глупо оставлять еду этому младенцу. Ему лучше умереть». Я покачал головой и сказал: «Нет, товарищ всегда останется товарищем». Тогда Пассук напомнила мне о людях на Сороковой Миле, – там были настоящие мужчины, и их было много, и они ждали от меня помощи. Когда я опять сказал «нет», она выхватила револьвер у меня из-за пояса, и Длинный Джефф отправился к праотцам задолго до

положенного ему срока, – как тут говорил брат Беттлз. Я бранил Пассук, но она не выказала никакого раскаяния и не была огорчена. И в глубине души я сознавал, что она права.

Ситка Чарли замолчал и снова бросил несколько кусков льда в стоявший на печке таз. Мужчины молчали, по их спинам пробежал озноб от заунывного воя собак, которые словно жаловались на страшный мороз.

– Каждый день нам на пути попадались потухшие костры, где прямо на снегу ночевали те два призрака, и я знал, что не раз мы будем радоваться такому ночлегу, пока доберемся до Соленой Воды. Затем мы встретили третий призрак – индейца, который тоже шел к Пелли. Он рассказал нам, что мужчина и мальчик обделили его едой, и вот уже три дня как у него нет муки. Каждую ночь он отрезал куски от своих мокасин, варил их и ел. Теперь от мокасин уже почти ничего не осталось. Индеец этот был родом с побережья и говорил со мной через Пассук, которая понимала его язык. Он никогда не был на Юконе и не знал дороги, но все же шел туда. Как далеко это? Два сна? Десять? Сто? Он не знал, но шел к Пелли. Слишком далеко было возвращаться назад, он мог идти только вперед.

Он не просил у нас пищи, потому что видел, что нам самим приходится туго. Пассук смотрела то на индейца, то на меня, как будто не зная, на что решиться, словно куропатка, у которой птенцы попали в беду. Я повернулся к ней и сказал:

– С этим человеком нечестно поступили. Дать ему часть наших запасов?

Я видел, что в ее глазах блеснула радость, но она долго смотрела то на него, то на меня, ее рот сурово и решительно сжался, и, наконец, она сказала:

– Нет. До Соленой Воды еще далеко, и смерть подстерегает нас по дороге. Пусть лучше она возьмет этого чужого человека и оставит в живых моего мужа Чарли.

И индеец ушел в Белое Безмолвие по направлению к Пелли.

А ночью Пассук плакала. Я никогда прежде не видел ее слез. И это было не из-за дыма от костра, так как дрова были совсем сухие. Меня удивила ее печаль, и я подумал, что мрак и боль сломили ее мужество.

Жизнь – странная вещь. Много я думал, долго размышлял о ней, но с каждым днем она кажется мне все более непонятной. Почему в нас такая жажда жизни? Ведь жизнь – это игра, из которой человек никогда не выходит победителем. Жить – это значит тяжело трудиться и страдать, пока не подкрадется к нам старость, и тогда мы опускаем руки на холодный пепел остывших костров. В муках рождается ребенок, в муках старый человек испускает последний вздох, и все наши дни полны печали и забот. И все же человек идет в открытые объятия смерти неохотно, спотыкаясь, падая, оглядываясь назад, борясь до последнего. А ведь смерть добрая. Только жизнь причиняет страдания. Но мы любим жизнь и ненавидим смерть. Это очень странно!

Мы разговаривали мало, Пассук и я. Ночью мы лежали в снегу, как мертвые, а по утрам продолжали свой путь – все так же молча, как мертвецы. И все вокруг нас было мертво. Не было ни куропаток, ни белок, ни зайцев – ничего. Река была безмолвна под своим белым покровом. Даже сок застыл в деревьях. И мороз был такой, как сейчас. Ночью звезды казались близкими и большими, они прыгали и танцевали; днем же солнце дразнило нас до тех пор, пока нам не начинало казаться, что мы видим множество солнц; воздух сверкал и искрился, а снег был, как алмазная пыль. Кругом не было ни костра, ни звука – только холод и Белое Безмолвие. Мы потеряли счет времени и шли точно мертвые. Наши глаза были устремлены в сторону Соленой Воды, наши мысли были прикованы к Соленой Воде, а ноги сами несли нас к Соленой Воде. Мы останавливались у самой Такхины – и не узнали ее. Наши глаза смотрели на пороги Уайт Хорс – и не видели их. Наши ноги ступали по земле

Каньона – и не чувствовали этого. Мы ничего не чувствовали. Часто мы падали в снег, но, даже падая, смотрели в сторону Соленной Воды.

Кончились последние запасы еды, которую мы все время делили поровну, – и Пассук падала чаще и чаще. И вот около Оленьего перевала силы изменили ей. Утром мы лежали под нашим единственным одеялом и не трогались в путь. Мне хотелось остаться там и встретить смерть рука об руку с Пассук, потому что я стал старше и начал понимать, что такое любовь женщины. До миссии Хейнса оставалось еще восемьдесят миль, и вдали, над лесами, великий Чилкут поднимал истерзанную бурями вершину.

И вот Пассук заговорила со мной – тихо, касаясь губами моего уха, чтобы я мог слышать ее. Теперь, когда она уже не боялась моего гнева, она стала изливать передо мной душу, говорила мне о своей любви и о многом другом, чего я раньше не понимал.

Она сказала:

– Ты мой муж, Чарли, и я была тебе хорошей женой. Я разжигала твой костер, готовила тебе пищу, кормила твоих собак, работала веслом, прокладывала путь и никогда не жаловалась. Я никогда не говорила, что в вигваме моего отца было теплее или что у нас на Чилкуте было больше еды. Когда ты говорил, я слушала. Когда ты приказывал, я повиновалась. Не так ли, Чарли?

И я ответил:

– Да, это так.

Она продолжала:

– Когда ты впервые пришел к нам на Чилкут и купил меня, даже не взглянув, как покупают собаку, и увел с собой, сердце мое восстало против тебя и было полно горечи и страха. Но с тех пор прошло много времени. Ты жалел меня, Чарли, как добрый человек жалеет собаку. Сердце твое оставалось холодно, и в нем не было места для меня; но ты всегда был справедлив ко мне и поступал, как должно поступать. Я была с тобой, когда ты совершал смелые дела и шел навстречу большим опасностям. Я сравнивала тебя с другими мужчинами – и видела, что ты лучше многих из них, что ты умеешь беречь свою честь и слова твои мудры, а язык правдив. И я стала гордиться тобой. И вот наступило такое время, когда ты заполнил мое сердце и все мои мысли были только о тебе. Ты был для меня как солнце в разгар лета, когда оно движется по золотой тропе и ни на час не покидает неба. Куда бы ни обратились мои глаза, я везде видела свое солнце. Но в твоём сердце, Чарли, был холод, в нем не было места для меня.

И я ответил:

– Да, это было так. Сердце мое было холодно, и в нем не было места для тебя. Но так было раньше. Сейчас мое сердце подобно снегу весной, когда возвращается солнце. В моем сердце все тает, в нем шумят ручьи, все зеленеет и цветет. Слышатся голоса куропаток, пение зорянок, и звенит музыка, потому что зима побеждена, Пассук, и я узнал любовь женщины.

Она улыбнулась и крепче прижалась ко мне. А затем сказала:

– Я рада.

После этого она долго лежала молча, тихо дыша, прильнув головой к моей груди. Потом она прошептала:

– Мой путь кончается здесь, я устала. Но я хочу еще кое-что рассказать тебе. Давным-давно,



когда я была девочкой, я часто оставалась одна в вигваме моего отца на Чилкуте, а женщины и мальчики возили из лесу убитую дичь. И вот однажды, весной, я была одна и играла на шкурах. Вдруг большой бурый медведь, только что проснувшийся от зимней спячки, отощавший и голодный, всунул голову в вигвам и прорычал: «У-ух!»! Мой брат как раз в эту минуту пригнал первые нарты с охотничьей добычей. Он выхватил из очага горящие головни и отважно вступил в борьбу с медведем, а собаки, прямо в упряжи, волоча нарты за собой, повисли на медведе. Был большой бой и много шума. Они повалились в огонь, раскидали шкуры и опрокинули вигвам. В конце концов медведь испустил дух, но палец моего брата остался у него в пасти, следы медвежьих когтей остались на лице мальчика. Заметил ли ты, что у индейца, который шел по направлению к Пелли, на той руке, которую он грел над огнем, не было большого пальца?.. Это был мой брат. Но я отказала ему в еде, и он ушел в Белое Безмолвие без еды.

Вот, братья, какова была любовь Пассук, которая умерла в снегах Оленьего перевала. Это была большая любовь! Ведь женщина пожертвовала своим братом ради мужчины, который тяжелым путем вел ее к горькому концу. Любовь ее была так сильна, что она пожертвовала собой. Прежде чем в последний раз закрыть глаза, Пассук взяла мою руку и просунула ее под свою беличью парку. Я нащупал у ее пояса туго набитый мешочек – и понял все. День за днем мы поровну делили наши припасы до последнего куска, но она съедала только половину. Вторую половину она прятала в этот мешочек для меня.

Пассук сказала:

– Вот и конец пути для Пассук; твой же путь, Чарли, не кончен, он ведет дальше, через великий Чилкут, к миссии Хейнса на берегу моря. Он ведет дальше и дальше, к свету многих солнц, через чужие земли и неведомые воды; и на этом пути тебя ждут долгие годы жизни, почет и великая слава. Он приведет тебя к жилищам многих женщин, хороших женщин, но никогда ты не встретишь большей любви, чем была любовь Пассук.

И я знал, что она говорит правду. Безумие охватило меня. Я отбросил туго набитый мешочек и поклялся, что мой путь окончен и я останусь с ней. Но усталые глаза Пассук наполнились слезами, и она сказала:

– Среди людей Ситка Чарли всегда считался честным и каждое слово было правдиво. Разве он забыл о своей чести сейчас, что говорит ненужные слова у Оленьего перевала? Разве он забыл о людях на Сороковой Миле, которые дали ему свою лучшую пищу, своих лучших собак? Пассук всегда гордилась своим мужем. Пусть он встанет, наденет лыжи и двинется в путь, чтобы Пассук могла по-прежнему им гордиться.

Когда ее тело стало остывать в моих объятиях, я встал, нашел туго набитый мешочек, надел лыжи и, шатаясь двинулся в путь. В коленях я ощущал слабость, голова кружилась, в ушах стоял шум, а перед глазами вспыхивали искры. Забытые картины детства проплывали передо мной. Я сидел у кипящих котлов на потлаче, я пел песни и плясал под пение мужчин и девушек, под звуки барабана из моржовой кожи, а Пассук держала меня за руку и шла все время рядом со мной. Когда я засыпал, она будила меня. Когда я спотыкался и падал, она поднимала меня. Когда я забредал в глубокие снега, она выводила меня на дорогу. И вот, как человек, лишившийся разума, который видит странные видения, потому что голова его легка от вина, я добрался до миссии Хейнса на берегу моря.

Ситка Чарли встал и вышел, откинув полы палатки. Был полдень. На юге, заливая ярким светом гряды Гендерсона, висел холодный диск солнца. По обе стороны от него сверкали ложные солнца. Воздух был подобен паутине из блестящего инея, а впереди, около дороги, сидел пес с заиндевевшей шерстью и, запрокинув морду кверху, жалобно выл.

\* \* \*

## НА СОРОКОВОЙ МИЛЕ

Вряд ли Большой Джим Белден думал, к чему приведет его вполне как будто безобидное замечание о том, какая «занятная штука» – ледяное сало. Не думал об этом и Лон Мак-Фэйн, заявив в ответ, что еще более занятная штука – донный лед; не думал и Беттлз, когда он сразу же заспорил, утверждая, что никакого донного льда не существует, – это просто вздорная выдумка вроде буки, которой пугают детей.

– И это говоришь ты, – закричал Лон, – который столько лет провел в этих местах! И мы еще столько раз ели с тобой из одного котелка!

– Да ведь это противоречит здравому смыслу, – настаивал Беттлз – послушай-ка, ведь вода теплее льда...

– Разница невелика, если проломить лед.

– И все-таки вода теплее, раз она не замерзла. А ты говоришь, она замерзает на дне!

– Да ведь я про донный лед говорю, Дэвид, только про донный лед. Вот иногда плывешь по течению, вода прозрачная, как стекло, и вдруг сразу точно облако закрыло солнце – и в воде льдинки, словно пузырьки, начинают подниматься кверху; и не успеешь оглянуться, как уж вся река от берега до берега, от изгиба до изгиба побелела, как земля под первым снегом. С тобой этого никогда не бывало?

– Угу, бывало, и не раз, когда мне случалось задремать на рулевом весле. Только лед всегда выносило из какого-нибудь бокового протока, пузырьками снизу он не поднимался.

– А наяву ты этого ни разу не видел?

– Нет. И ты не видел. Все это противоречит здравому смыслу. Каждый тебе скажет то же!

Беттлз обратился ко всем сидевшим вокруг печки, но никто не ответил ему, и спор продолжался только между ним и Лоном Мак-Фэйном.

– Противоречит или не противоречит, но то что я тебе говорю, – это правда. Осенью прошлого года мы с Ситкой Чарли наблюдали такую картину, когда плыли через пороги, что пониже Форты Доверия. Погода была настоящая осенняя, солнце поблескивало на золотых лиственницах и дрожащих осинах, рябь на реке так и сверкала; а с севера уже надвигалась голубая дымка зимы. Ты и сам хорошо знаешь, как это бывает: вдоль берегов реку начинает затягивать ледяной кромкой, а кое-где в заводях появляются уже порядочные льдины; воздух какой-то звонкий и словно искрится; и ты чувствуешь, как с каждым глотком этого воздуха у тебя жизненных сил прибывает. И вот тогда-то, дружище, мир становится тесным и хочется идти и идти вперед.

Да, но я отвлекся.

Так вот, значит, мы гребли, не замечая никаких признаков льда, разве только отдельные льдинки у водоворотов, как вдруг индеец поднимает свое весло и кричит: «Лон Мак-Фэйн! Посмотри-ка вниз! Слышал я про такое, но никогда не думал, что увижу это своими глазами!»

Ты знаешь, что Ситка Чарли, так же как и я, никогда не жил в тех местах, так что зрелище было для нас новым. Бросили мы гребсти, свесились по обе стороны и всматриваемся в сверкающую воду. Знаешь, это мне напомнило те дни, которые я провел с искателями

жемчуга, когда мне приходилось видеть на дне моря коралловые рифы, похожие на цветущие сады. Так вот, мы увидели донный лед: каждый камень на дне реки был облеплен гроздьями льда, как белыми кораллами.

Но самое интересное было еще впереди. Не успели мы обогнуть порог, как вода вокруг лодки вдруг стала белеть, как молоко, покрываясь на поверхности крошечными кружочками, как бывает, когда хариус поднимается весной или когда на реке идет дождь. Это всплывал донный лед. Справа, слева, со всех сторон, насколько хватало глаз, вода была покрыта такими кружочками. Словно лодка продвигалась вперед в густой каше, как клей, прилипавшей к веслам. Много раз мне приходилось плыть через эти пороги и до этого и после, но никогда я не видел ничего подобного. Это зрелище запомнилось мне на всю жизнь.

– Рассказывай! – сухо заметил Беттлз. – Неужели, ты думаешь, я поверю таким небылицам? Просто у тебя в глазах рябило да воздух развязал язык.

– Так ведь я же своими глазами видел это; был бы Ситка Чарли здесь, он подтвердил бы.

– Но факты остаются фактами, и обойти их никак нельзя. Это противоестественно, чтобы сначала замерзала вода, которая дальше всего от воздуха.

– Но я своими глазами...

– Хватит! Ну что ты заладил одно и то же! – убеждал его Беттлз.

Но в Лоне Мак-Фэйне уже начинал закипать гнев, свойственный его вспыльчивой кельтской натуре:

– Так ты что ж, не веришь мне?!

– Раз уж ты так уперся, – нет; в первую очередь я верю природе и фактам.

– Значит, ты меня обвиняешь во лжи? – угрожающе произнес Лон. – Ты бы лучше спросил свою жену, сивашку. Пусть она скажет, правду я говорю или нет.

Беттлз так и вспыхнул от злости. Сам того не сознавая, ирландец больно задел его самолюбие: дело в том, что жена Беттлза, по матери индианка, была дочерью русского торговца пушниной, и он с ней венчался в православной миссии в Нулато, за тысячу миль отсюда вниз по Юкону; таким образом, она по своему положению стояла гораздо выше обыкновенных туземных жен – сивашек. Это была тонкость, нюанс, значение которого может быть понятно только северному искателю приключений.

– Да, можешь понимать это именно так, – подтвердил Беттлз с решительным видом.

В следующее мгновение Лон Мак-Фэйн повалил его на пол, сидевшие вокруг печки повскакивали со своих мест, и с полдюжины мужчин тотчас же очутились между противниками.

Беттлз поднялся на ноги, вытирая кровь с губ.

– Драться – это не ново. А не думаешь ли ты, что я с тобой за это рассчитаюсь?

– Еще никто никогда в жизни не обвинял меня во лжи, – учтиво ответил Лон. – И будь я проклят, если я не помогу тебе расквитаться со мной любым способом.

– У тебя все тот же 38-55?

Лон утвердительно кивнул головой.

– Ты бы лучше достал себе более подходящий калибр. Мой револьвер понаделает в тебе дыр величиной с орех.

– Не беспокойся! Хотя у моих пуль рыльце мягкое, но бьют они навывлет и выходят с другой стороны сплюснутыми в лепешку. Когда я буду иметь удовольствие встретиться с тобой? По-моему, самое подходящее место – это у проруби.

– Место неплохое. Приходи туда ровно через час, и тебе не придется долго меня дожидаться.

Оба надели рукавицы и вышли из помещения поста Сороковой Мили, не обращая внимания на уговоры товарищей. Казалось бы, началось с пустяка, но у людей такого вспыльчивого и упрямого нрава мелкие недоразумения быстро разрастаются в крупные обиды. Кроме того, в те времена еще не умели вести разработку золотоносных пластов зимой, и у жителей Сороковой Мили, запертых в своем поселке продолжительными арктическими морозами и страдающих от обжорства и вынужденного безделья, сильно портился характер; они становились раздражительными, как пчелы осенью, когда ульи переполнены медом.

В Северной Стране тогда не существовало правосудия. Королевская конная полиция также была еще делом будущего. Каждый сам измерял обиду и сам назначил наказание, когда дело касалось его. Необходимость в совместных действиях против кого-либо возникала редко, и за всю мрачную историю лагеря Сороковой Мили не было случаев нарушения восьмой заповеди.

Большой Джим Белден сразу же устроил импровизированное совещание. Бирюк Маккензи занял председательское место, а к священнику Рубо был отправлен нарочный с просьбой помочь делу своим участием. Положение совещающихся было двойственным, и они понимали это. По праву силы, которое было на их стороне, они могли вмешаться и предотвратить дуэль, однако такой поступок, вполне отвечая их желаниям, шел бы вразрез с их убеждениями. В то время как их примитивные законы чести признавали личное право каждого ответить ударом на удар, они не могли примириться с мыслью, что два таких добрых друга, как Беттлз и Мак-Фэйн, должны встретиться в смертельном поединке. Человек, не принявший вызова, был, по их понятиям, трусом, но теперь, когда они столкнулись с этим в жизни, им хотелось, чтобы поединок не состоялся.

Совещание было прервано торопливыми шагами, скрипом мокасин на снегу и громкими криками, за которыми последовал выстрел из револьвера. Одна за другой распахнулись двери, и вошел Мэйлмут Кид, держа в руке дымящийся кольт, с торжествующим огоньком во взгляде.

– Уложил на месте. – Он вставил новый патрон и добавил: – Это твой пес, Бирюк.

– Желтый Клык? – спросил Маккензи.

– Нет, знаешь, тот, вислоухий.

– Черт! Да ведь он был здоров!

– Выйди и погляди.

– Да в конце концов так и надо было. Я и сам думал, что с вислоухим кончится плохо. Сегодня утром возвратился Желтый Клык и сильно покусал его. Потом Желтый Клык едва не сделал меня вдовцом. Набросился на Заринку, но она хлестнула его по морде своим подолом и убежала – отделалась изодранной юбкой да здорово вывалялась в снегу. После этого он опять удрал в лес. Надеюсь, больше не вернется. А что, у тебя тоже погибла собака?

– Да, одна, лучшая из всей своры – Шукум. Утром он вдруг взбесился, но убежал не очень далеко. Налетел на собак из упряжки Ситки Чарли, и они проволокли его по всей улице. А сейчас двое из них взбесились и вырвались из упряжки – как видишь, он свое дело сделал. Если мы что-нибудь не предпримем, весной недосчитаемся многих собак.

– И людей тоже.

– Это почему? Разве с кем-нибудь случилась беда?

– Беттлз и Лон Мак-Фэйн поспорили и через несколько минут будут сводить счета вниз, у проруби...

Ему рассказали все подробно, и Мэйлмут Кид, привыкший к беспрекословному послушанию со стороны своих товарищей, решил взяться за это дело. У него быстро созрел план действий; он изложил его присутствующим, и они пообещали точно выполнить указания.

– Как видите, – сказал он в заключение, – мы вовсе не лишаем их права стреляться; но я уверен, что они сами не захотят, когда поймут всю остроумную суть нашего плана. Жизнь – игра, а люди – игроки. Они готовы поставить на карту все состояние, если имеется хотя бы один шанс из тысячи. Но отнимите у них этот единственный шанс, и они не станут играть. – Он повернулся к человеку, на попечение которого находилось хозяйство поста. – Отмерь-ка мне футов восемнадцать самой лучшей полудюймовой веревки. Мы создадим прецедент, с которым будут считаться на Сороковой Миле до скончания веков, – заявил он. Затем он обмотал веревку вокруг руки и вышел из дверей в сопровождении своих товарищей как раз вовремя, чтобы встретиться с главными виновниками происшествия.

– Какого черта он приплел мою жену? – заревел Беттлз в ответ на дружескую попытку успокоить его. – Это было ни к чему! – заявил он решительно. – Это было ни к чему! – повторял он, шагая взад и вперед в ожидании Лона Мак-Фэйна.

А Лон Мак-Фэйн с пылающим лицом все говорил и говорил: он открыто восстал против церкви.

– Если так, отец мой, – кричал он священнику, – если так, то я с легким сердцем завернусь в огненные одеяла и улягусь на ложе из горящих углей! Никто тогда не посмеет сказать, что Лона Мак-Фэйна обвинили во лжи, а он проглотил обиду, не шевельнув пальцем! И не надо мне вашего благословения! Пусть моя жизнь была беспорядочной, но сердцем я всегда знал, что хорошо и что плохо.

– Лон, но ведь это не сердце, – прервал его отец Рубо. – Это гордыня толкает тебя на убийство ближнего.

– Эх вы, французы! – ответил Лон. И затем, повернувшись, чтобы уйти, он спросил: – Скажите, если мне не повезет, вы отслужите по мне панихиду?

Но священник только улыбнулся в ответ и зашагал в своих мокалинах по снежному простору уснувшей реки. К проруби вела утоптанная тропинка шириной в санный след, не более шестнадцати дюймов. По обеим сторонам ее лежал глубокий мягкий снег. Молчаливая вереница людей двигалась по тропинке; шагающий с ними священник в своем черном облачении придавал процессии какой-то похоронный вид. Был теплый для Сороковой Мили зимний день; свинцовое небо низко нависло над землей, а ртуть термометра показывала необычные для этого времени года двадцать градусов ниже нуля. Но это тепло не радовало. Ветра не было, угрюмые, неподвижно висящие облака предвещали снегопад, а равнодушная земля, скованная зимним сном, застыла в спокойном ожидании.

Когда подошли к проруби, Беттлз, который, очевидно, по дороге мысленно переживал ссору,

в последний раз разразился своим: «Это было ни к чему!» Лон Мак-Фэйн продолжал хранить мрачное молчание. Он не мог говорить: негодование душило его.

И все же, отвлекаясь от взаимной обиды, оба в глубине души удивлялись своим товарищам. Они полагали, что те будут спорить, протестовать, и это молчаливое непротивление больно задевало их. Можно было ожидать большего участия со стороны столь близких людей, и в душе у обоих поднималось смутное чувство обиды: их возмущало, что друзья собрались, словно на праздник, и без единого слова протеста готовы смотреть, как они будут убивать друг друга. Видно, не так уж дорожили ими на Сороковой Миле. Поведение товарищей приводило их в замешательство.

– Спиной к спине, Дэвид. На каком расстоянии будем стреляться – пятьдесят шагов или сто?

– Пятьдесят, – решительно ответил тот; это было сказано достаточно четко, хотя и ворчливым тоном.

Внезапно зоркий взгляд ирландца упал на веревку, небрежно обмотанную вокруг руки Мэйлмюта Кида, и он мгновенно насторожился.

– А что ты собираешься делать с этой веревкой?

– Ну, вы, поторапливайтесь! – сказал Мэйлмют Кид, не удостоив его ответом, и взглянул на свои часы. – Я собирался было печь хлеб и не хочу, чтобы тесто село. Кроме того, у меня уже ноги мерзнут.

Остальные тоже начали выказывать нетерпение, каждый по-своему.

– Да, но зачем веревка, Кид? Она же совершенно новая, и уж, конечно, твои хлебы не такие тяжелые, чтобы их нужно было вытягивать веревкой?

В это время Беттлз оглянулся кругом. Отец Рубо прикрыл рукавицей рот: до него только сейчас начал доходить комизм положения.

– Нет, Лон, эта веревка предназначена для человека.

Мэйлмют Кид при желании мог говорить очень внушительно.

– Для какого человека? – Беттлза начинал интересоваться разговор.

– Для второго.

– А кого ты подразумеваешь под этим?

– Послушай, Лон, и ты, Беттлз, тоже! Мы обсудили эту вашу маленькую ссору и приняли одно решение. Мы знаем, что не имеем права запретить вам драться...

– Вот это верно!

– А мы и не собираемся. Но зато мы можем сделать – и сделаем – так, чтобы этот поединок оказался первым и последним на Сороковой Миле. Пусть это послужит уроком для каждого чечачо на Юконе. Тот из вас, кто останется в живых, будет повешен на ближайшем дереве. А теперь приступайте!

Лон недоверчиво улыбнулся, затем лицо его оживилось:

– Отмеривай пятьдесят шагов, Дэвид; разойдемся и будем стрелять до тех пор, пока один из нас не свалится мертвым. Не посмеют они это сделать! Ты же знаешь, что это штучки нашего янки. Он просто хочет запугать нас!

Он двинулся вперед, самодовольно ухмыляясь, но Мэйлмют Кид остановил его:

– Лон! Давно ты меня знаешь?

– Давно, Кид.

– А ты, Беттлз?

– В июне, в половодье, будет пять лет.

– Был хоть один случай, чтобы я не сдержал свое слово? Может быть, вы хоть от других слышали о таком случае?

Оба отрицательно покачали головой, стараясь в то же время понять, что скрывалось за его вопросами.

– Значит, на мое обещание можно положиться?

– Как и на долговую расписку, – изрек Беттлз.

– Верное дело, не то что надежда на райское блаженство, – быстро подтвердил Лон Мак-Фэйн.

– Ну так слушайте! Я, Мэйлмют Кид, даю вам слово, – а вы знаете, что это значит, – что тот из вас, кто останется в живых, будет повешен через десять минут после дуэли. – Он отступил назад, как, быть может, сделал Понтий Пилат, умыв руки.

Молча стояли люди Сороковой Мили. Небо нависло еще ниже, осыпая на землю кристаллическую морозную пыль – крошечные геометрические фигурки, прекрасные и эфемерные, как дыхание, которым тем не менее суждено было существовать до тех пор, пока солнце, возвращаясь, не пройдет половину своего северного пути. Как Беттлзу, так и Лону не раз приходилось отчаянно рисковать; однако, пускаясь в опасное предприятие, с проклятиями или шутками на языке, они всегда сохраняли в душе неизменную веру в Счастливый Случай. Но на сей раз участие этого милостивого божества совершенно исключалось. Они вглядывались в лицо Мэйлмюта Кида, тщетно сясь разгадать его истинные намерения, но оно было непроницаемо, как у сфинкса. И по мере того как в тягостном молчании проходила минута за минутой, они все больше ощущали потребность сказать что-нибудь.

Собачий вой резко оборвал тишину; он доносился со стороны Сороковой Мили. Зловещий звук усиливался, наполняясь отчаянием и предсмертной тоской, и наконец, замер.

– Черт возьми! – Беттлз поднял воротник своей теплой куртки и беспомощно оглянулся кругом.

– Выгодную игру ты затеял, Кид! – воскликнул Лон Мак-Фэйн. – Весь выигрыш заведению, и ни гроша игроку. Сам черт не сумел бы придумать такой штуки, и будь я проклят, если я пойду на это.

Когда обитатели Сороковой Мили взбирались по вырубленным по льду ступенькам на берег и пересекали улицу, направляясь к посту, можно было услышать приглушенные смешки и перехватить лукавые подмигивания, едва заметные под пушистыми от инея ресницами. Снова раздался протяжный угрожающий вой собаки. За углом пронзительно взвизгнула женщина. Кто-то крикнул: «Вот он!» И в толпу стремительно врезался мальчик-индеец, а потом полдюжины перепуганных собак, которые мчались с такой быстротой, словно за ними гналась смерть. Им вслед пронесся Желтый Клык, оцетинив серую шерсть. Все, кроме янки, бросились бежать. Мальчик споткнулся и упал. Беттлз задержался ровно настолько, чтобы успеть схватить его за края меховой одежды, и вместе с ним бросился к высокой поленнице,

куда успели забраться несколько его товарищей. Желтый Клык, преследуя одну из собак, уже возвращался быстрыми прыжками. Беглянка, совершенно обезумевшая от страха, сбила Беттлза с ног и бросилась по улице. Мэйлмют Кид быстро, не целясь, выстрелил в Желтого Клыка. Бешеный пес взвился и, перекувырнувшись в воздухе, упал на спину, но тут же вскочил и одним прыжком покрыл половину расстояния, отделявшего его от Беттлза.

Но второй роковой прыжок не состоялся. Лон Мак-Фэйн вскочил с поленницы, встретил Желтого Клыка на лету. Они покатались по земле; Лон схватил собаку за горло и удерживал ее морду вытянутой рукой на расстоянии. Зловонная слюна брызнула ему в лицо. И вот тогда Беттлз, с револьвером в руке хладнокровно выжидавший удобного момента, решил исход поединка.

– Это была честная игра, Кид, – сказал Лон, поднимаясь на ноги и вытряхивая снег из рукавов, – и выигрыш достался мне по праву.

Вечером, в то время как Лон Мак-Фэйн, решив вернуться во всепрощающее лоно церкви, направлялся к хижине отца Рубо, Мэйлмют Кид и Маккензи вели длинный, но почти безрезультатный разговор.

– Неужели ты сделал бы это, – упорствовал Маккензи, – если бы они все-таки стрелялись?

– Был ли случай, чтобы я не сдержал свое слово?

– Нет, но не о том речь. Ты отвечай. Сделал бы ты это?

Мэйлмют Кид выпрямился.

– Знаешь, Бирюк, я сам все время спрашиваю себя об этом и...

– И что?

– И вот пока не могу найти ответа.

\* \* \*

## НАБЕГ НА УСТРИЧНЫХ ПИРАТОВ

Мы с Чарли Ле Грантом, видимо, одинаково считали, что из всех патрульных, под началом которых нам довелось в разное время служить, лучшим был Нейл Партингтон. Человек честный и отважный, он относился к нам чисто по-дружески, хотя и требовал точного выполнения всех своих приказаний, и ни при одном другом начальнике мы не знали такой свободы, какую предоставлял нам Нейл, в чем вы сами убедитесь, прочитав этот рассказ.

Его семья жила в Окленде, что стоит на Нижней бухте, милях в шести по заливу от Сан-Франциско. Однажды, когда мы патрулировали возле мыса Педро, где китайцы ловят креветок, Нейл получил известие, что его жена заболела. Не прошло и часа, как «Северный олень», подгоняемый крепким норд-остом, уже мчался к Окленду. Мы вошли в оклендский порт и отдали якорь, а потом, в те дни, пока Нейл находился на берегу, подтягивали на «Северном олене» такелаж, тщательно проверяли балласт, скребли палубы и приводили судно в полный порядок.

Покончив с работой, мы начали томиться от безделья. Болезнь жены Нейла оказалась опасной, перелома ждали лишь через неделю, и это вынуждало нас стоять на приколе. Мы с



Чарли околачивались в доках, подыскивая, чем бы заняться, как вдруг на оклендской городской пристани наткнулись на устричную флотилию. Это были по большей части ладные, чистенькие шлюпки, быстроходные и надежные в штормовую погоду, и мы уселись на край причала, чтобы получше их разглядеть.

– Неплохой, видать, улов! – заметил Чарли, указывая на устриц, сложенных по величине в три кучи на палубе каждой шлюпки.

Разносчики, примостив свои тележки у борта причала, отчаянно торговались с рыбаками, и из переговоров я узнал продажную цену устриц.

– В этой шлюпке долларов на двести груза, никак не меньше, – подсчитал я. – Хотел бы я знать, сколько времени понадобилось, чтобы его добыть.

– Дня три-четыре, – ответил Чарли. – Недурной заработок на двоих: двадцать пять долларов в день на каждого!

Шлюпка, которая привлекла наше внимание, называлась «Призрак» и стояла как раз под нами. В ее команде было двое. Один – приземистый, широкоплечий детина с чрезвычайно длинными, точно у гориллы, руками; второй, напротив, был высокого роста, хорошо сложен, с ясными голубыми глазами и шапкой черных волос. Это сочетание цвета глаз и волос было столь поразительно и необычно, что мы с Чарли задержались на причале дольше, чем предполагали.

И хорошо сделали. Рядом с нами остановился тучный пожилой мужчина, по виду и одежде крупный торговец, и тоже принялся глядеть вниз на палубу «Призрака». Он, казалось, был чем-то рассержен и чем больше смотрел, тем больше злился.

– Это мои устрицы, – сказал он наконец. – Я уверен, что мои. Вы учинили ночью набег на мои отмели и обокрали меня.

Верзила и коротышка с «Призрака» посмотрели вверх.

– Здорово, Тафт! – с наглой развязностью сказал коротышка (из-за своих длинных рук он получил на заливе прозвище «Сороконожка»). – Здорово, Тафт, – повторил он столь же развязно. – На что теперь разворчался?

– Это мои устрицы, говорю я вам. Вы их украли с моих отмелей.

– Уж больно ты умник, – насмешливо отозвался Сороконожка. – Ишь ты, так сразу и распознал, что устрицы твои?

– Насколько мне известно, – вмешался Верзила, – устрица всегда устрица, где ее ни найти, они вроде одинаковые во всем заливе и, между прочим, на всем белом свете тоже. Мы не хотим ссориться с вами, мистер Тафт, мы только хотим, чтобы вы не возводили на нас поклеп, рассказывая всем, что это ваши устрицы и что мы воры и грабители, если у вас нет на то доказательств.

– Голову даю на отсечение, что это мои устрицы, – прохрипел мистер Тафт.

– Докажите, – потребовал Верзила, которого, как мы потом узнали, за то, что он великолепно плавал, окрестили «Дельфином».

Мистер Тафт беспомощно пожал плечами. Конечно, он не мог доказать, как бы ни был в этом уверен, что устрицы принадлежат ему.

– Я бы не пожалел и тысячи долларов, чтобы засадить вас за решетку! – крикнул он. – Я бы

дал по пятьдесят долларов с головы тому, кто поймал бы вас и уличил всех до единого!

Взрыв хохота прокатился по лодкам; другие пираты прислушивались к разговору.

– От устриц больше дохода, – отрезал Дельфин.

Разгневанный мистер Тафт повернулся и ушел. Краешком глаза Чарли проследил, куда он идет. Через несколько минут, когда мистер Тафт свернул за угол, Чарли лениво поднялся, я за ним, и мы побрели в противоположную сторону.

– Бегом! Живо! – прошептал Чарли, едва мы скрылись из вида устричной флотилии.

Мы мгновенно изменили курс и, прячась за углами, кружили по боковым улицам до тех пор, пока впереди не замаячила внушительная фигура мистера Тафта.

– Я хочу потолковать с ним насчет награды, – объяснил мне Чарли, когда мы догоняли владельца устричных отмелей. – Нейл пробудет тут еще целую неделю, и почему бы нам за это время не подзаработать немного? Что ты на это скажешь?

– Разумеется, разумеется, – подтвердил мистер Тафт, после того как Чарли представился и сообщил о нашем намерении. – Эти воры ежегодно обкрадывают меня на тысячи долларов, и, чтобы разделаться с ними, я не пожалею денег, да, сэр, не пожалею. Как я уже говорил, я дам по пятьдесят долларов с головы и считаю, что это дешево. Они ограбили мои отмели, сорвали опознавательные знаки, запугали сторожей, а в прошлом году одного убили. Доказать ничего не удалось. Все делается под покровом ночи. Сторож был убит, но улик никаких. Сыщики ничего не нашли. Никто не может справиться с этими людьми. Ни одного из них нам не удалось арестовать. Так вот, мистер... Как, вы сказали, вас зовут?

– Ле Грант, – ответил Чарли.

– Так вот, мистер Ле Грант. Я чрезвычайно обязан вам за предложенную помощь. И буду рад, очень рад, всячески содействовать вам. Мои сторожа и лодки в вашем распоряжении. В любое время приходите в мою контору в Сан-Франциско или звоните по телефону за мой счет. Не жалеете денег. Я оплачу расходы, какие бы они ни были, конечно, в пределах благоразумия. Положение становится невыносимым, и необходимо наконец что-то предпринять, чтобы выяснить, кто хозяин устричных отмелей: я или эта банда головорезов.

– Теперь пойдём к Нейлу, – сказал Чарли после того, как мы проводили мистера Тафта к сан-францисскому поезду.

Нейл Партингтон не только не препятствовал нам осуществить свое рискованное намерение, но даже оказал большую помощь. Мы с Чарли ничего не смыслили в ловле устриц, а его голова была энциклопедией всяких сведений в этом вопросе. Притом не позднее чем через час он доставил нам парнишку-грека, который знал на зубок все ходы и выходы устричного пиратства.

К слову говоря, не мешает пояснить, что в рыбачьем патруле мы с Чарли были вроде добровольцев. Нейл Партингтон как штатный патрульный получал определенное жалование, тогда как мы с Чарли, всего лишь помощники, получали только то, что нам удавалось заработать, то есть некоторый процент со штрафов, налагаемых на уличенных нами нарушителей законов рыбной ловли, и вознаграждение, если нам подвертывался случай его заслужить. Мы предложили Нейлу поделиться с ним деньгами, которые надеялись получить у мистера Тафта, но он и слышать об этом не хотел. Он сказал, что счастлив помочь людям, которые так много сделали для него.

Мы долго держали военный совет и наметили такой план действий. На Нижней бухте меня и

Чарли не знали в лицо, но «Северный олень» был всем известен как патрульное судно, поэтому решили, что я и парнишка-грек – его звали Николас – отправимся к острову Аспарагус на другой, не вызывающей подозрений лодке и присоединимся к устричной флотилии. Зная по описанию Николаса расположение отмелей и способы набега, мы могли рассчитывать, что застигнем пиратов во время кражи устриц и сумеем задержать их. Чарли, сторожа и наряд полицейских будут ждать нас на берегу и в нужную минуту придут на помощь.

– У меня есть на примете такая лодка, – сказал Нейл в заключение. – На том берегу в Тибуроне стоит старый-престарый шлюп. Ты и Николас переправитесь туда на пароме, наймете его за гроши и прямо оттуда поплывете к отмелям.

– Ни пуха ни пера, мальчишки! – сказал Нейл на прощание два дня спустя. – Помните, что это опасные люди, и будьте начеку.

Нам с Николасом действительно удалось зафрахтовать шлюп совсем задаром. Поднимая парус, мы со смешками порешили, что он еще древнее и хуже, чем нам описали. Это было большое плоскодонное судно с транцевой кормой и парусным вооружением шлюпа, неуклюжее и ненадежное в управлении. Мачта его была перекошена, снасть не натянута, паруса ветхи, а бегучий такелаж почти весь сгнил. Оно мерзко воняло каменноугольным дегтем, которым было замарано от носа до кормы и от крыши каюты до выдвинутого кия. И в довершение на обоих его бортах из конца в конец огромными белыми буквами было выведено: "Каменноугольная смола «Мэгги».

В пути из Тибурона до острова Аспарагус, куда мы прибыли на следующий день, все обошлось без происшествий, хотя смеху было много. Флотилия устричных хищников, состоявшая из порядочного числа шлюпок, стояла на якоре у так называемых «Заброшенных отмелей». Наша «Мэгги», с легким ветерком за кормой, хлюпая, вклинилась между шлюпками пиратов, и они высыпали на палубу, чтобы посмотреть на нас. Нам с Николасом удалось раскусить нрав нашей посудины, и мы старались вести ее как можно более неумело.

– Это еще что? – воскликнул кто-то.

– Назови, как хочешь, – отозвался другой.

– Бьюсь об заклад, что это и есть ноев ковчег, – сострил Сороконожка с палубы «Призрака».

– Эй, да это же клипер! – крикнул еще один шутник. – В какой порт изволите следовать?

Мы не обращали внимания на насмешки и, прикидываясь неопытными новичками, делали вид, будто всецело заняты нашей «Мэгги». Я обогнул «Призрак» с наветренной стороны, а Николас побежал вперед отдать якорь. Все видели, что наша цепь спуталась в клубок и якорь не мог достать дна. И на глазах у всех мы ужасно долго возились, силясь вытравить цепь. Как бы то ни было, нам вполне удалось обмануть пиратов, которых наши затруднения приводили в неистовый восторг.

Цепь не желала распутываться. Под градом насмешек и язвительных советов мы отошли назад и наскочили на «Призрак», бушприт которого врезался в наш грот и проткнул дыру величиной с амбарную дверь. Сороконожка и Дельфин корчились от смеха на палубе, предоставив нам справляться на свой страх и риск. В конце концов мы справились, хотя действовали очень неумело. Мы высвободили якорную цепь, но вытравили ее футов на триста, хотя глубина под нами едва достигала десяти футов. Это дало нам возможность двигаться по окружности шестьсот футов диаметром, и в этом круге «Мэгги» могла зацепить, по крайней мере, половину флотилии.

Суда стояли вплотную друг к другу на коротких тросах, и поскольку погода была тихой,

устричные пираты громко запротестовали против того, что мы по невежеству вытравили якорную цепь на столь недопустимо большую длину. Они не только протестовали, но и вынудили нас выбрать ее, оставив лишь только тридцать футов.

Полагая, что они достаточно уверились в нашей неопытности, мы с Николасом спустились в каюту, чтобы поздравить друг друга и приготовить ужин. Только мы поели и вымыли посуду, как к борту «Мэгги» подошел ялик, и по палубе затопали тяжелые сапоги. Потом над люком появилось омерзительное лицо Сороконожки, и он в сопровождении Дельфина спустился в каюту. Не успели они сесть на койку, как подошел второй ялик, потом третий, пока, наконец, в каюте не собралась вся флотилия.

– Где вы стянули эту старую лохань? – спросил малорослый, волосатый, похожий на мексиканца мужчина со злыми глазами.

– Нигде не стянули, – в тон ему ответил Николас, поддерживая в пиратах подозрение, что мы действительно украли «Мэгги». – А если и стянули, так что из этого?

– Ничего, только не очень я одобряю ваш вкус, – с издевкой усмехнулся тот, что походил на мексиканца. – Я бы сгнил на берегу, но не польстился бы на лоханку, которая сама у себя путается под ногами.

– А откуда нам было знать, не испытай ее? – спросил Николас с таким невинным видом, что все покатались со смеху. – А как вы ловите устриц? – быстро добавил он. – Нам нужно целую гору устриц, для этого мы и пришли сюда, целую гору.

– А для чего они вам понадобились? – осведомился Дельфин.

– Раздарить друзьям, на что еще, – нашелся Николас. – Для этого они, должно быть, нужны и вам.

Ответ вызвал новый взрыв смеха; гости становились все благодушнее, и мы уже не сомневались, что они ничуть не подозревают, кто мы такие и зачем явились.

– Не тебя ли я видел на днях на Оклендской пристани? – вдруг спросил меня Сороконожка.

– Меня, – смело ответил я, хватая быка за рога. – Я следил за вами и прикидывал, есть ли нам расчет ввязаться в это дело. Я решил, что это выгодная работа, вот мы и взяли за нее. Конечно, – поспешил я добавить, – если вы не против.

– Скажу вам раз и навсегда, – заявил он. – Придется вам поднатужиться и добыть себе шлюпку получше. Мы не допустим, чтоб нас срамили таким вот корытом. Ясно?

– Как божий день! – ответил я. – Продадим немного устриц и снарядимся, как положено.

– Что ж, если вы покажете себя правильными людьми, – продолжал Сороконожка, – топайте с нами. Но ежели нет, – голос его стал суровым и угрожающим, – каюк. Попомните это. Ясно?

– Как божий день, – ответил я.

Еще несколько минут пираты таким же манером поучали и запугивали нас, а потом разговор принял общий характер, и из него мы узнали об их намерении ограбить отмели той же ночью. Через час, когда хищники собрались уходить, нам было предложено участвовать в набеге. «Чем больше народу, тем веселее», – сказал кто-то.

– Ты заметил этого малого, смахивающего на мексиканца? – спросил Николас, когда они удалились на свои шлюпки. – Его зовут Бэрчи. Он из банды «Бесшабашная жизнь», а тот, что с ним, Скиллинг. Они оба выпущены на поруки под залог в пять тысяч долларов.

Я слышал о банде «Бесшабашная жизнь» – шайке хулиганов и преступников, терроризировавших нижние кварталы Окленда; две трети из них постоянно сидели в местной тюрьме за разные преступления, начиная от лжесвидетельства и жульничества с бюллетенями во время выборов и кончая убийством.

– Вообще-то они не занимаются кражей устриц, – продолжал Николас. – И явились сюда лишь поозорничать да подзаработать. Но за ними надо следить в оба.

В одиннадцать часов, когда мы сидели в кубрике, уточняя подробности нашего плана, до нас вдруг донеслись со стороны «Призрака» мерные удары весел. Мы подтянули свой ялик, бросили туда несколько мешков и поплыли к «Призраку». Там мы застали лодки в полном сборе, ибо пираты решили напасть на отмели скопом. К моему удивлению, в том месте, где мы отдали якорь на десять футов, теперь глубина едва достигала одного фута. Была пора большого прилива июньского полнолуния, а так как до конца отлива оставалось еще полтора часа, то я знал, что к наступлению малой воды наша якорная стоянка окажется на суше. Отмели мистера Тафта находились на расстоянии трех миль, и мы долго в полном молчании шли в кильватере остальных лодок, порой застревая на мели или задевая дно веслом. В конце концов мы сели на илистый грунт, покрытый водой не больше, чем на два дюйма. Дальше лодки плыть не могли. Однако пираты мгновенно оказались за бортом, и, толкая и подтягивая свои плоскодонные ялики, мы неуклонно двигались вперед.

Полную луну временами закрывали высокие облака, но пираты шли с уверенностью людей, не раз проделывавших этот путь. С полмили мы тащили свои лодки по илу, потом снова сели в них и вошли в глубокий канал, по обе стороны которого высились поблескивающие устрицами отмели. Наконец-то мы достигли места, где собирают устриц. С одной из отмелей нас окликнули двое сторожей и велели убираться. Сороконожка, Дельфин, Бэрчи и Скиллинг вышли вперед и двинулись прямо на сторожей. Мы вместе с остальными – нас было не менее тридцати человек в пятнадцати лодках – поплыли вслед за ними.

– Убирайтесь-ка отсюда, пока целы, – угрожающе сказал Бэрчи, – не то мы всадим в ваши лодки столько свинца, что они даже в патоке не удержатся на плаву!

Перед столь превосходящими силами сторожа благоразумно отступили и направили свою лодку вдоль канала к берегу. По нашему плану им полагалось отступить.

Мы втащили лодки носом на край большой отмели, разбрелись во все стороны и стали собирать устриц в мешки. Время от времени заволакивавшие луну облака редели, и мы ясно видели перед собой крупных устриц. Мешки наполнялись мгновенно, их тотчас уносили в лодки, а оттуда брали другие. Мы с Николасом, не набирая много устриц, то и дело возвращались к лодкам, но всякий раз наталкивались на кого-нибудь из пиратов, шедших туда или обратно.

– Не тужи, – сказал Николас. – Чего спешить? Чем дальше придется ходить за устрицами, тем больше времени понадобится, чтобы относить мешки. Тогда они будут оставлять полные мешки прямо на месте, чтобы во время прилива приплыть за ними на лодках.

Прошло добрых полчаса, вода уже начала прибывать, и вот тут-то все и началось. Оставив хищников за работой, мы украдкой пробрались к лодкам и, бесшумно столкнув их одну за другой в воду, быстро составили неуклюжую флотилию. В ту минуту, когда мы сталкивали последний ялик, наш собственный, подошел один из пиратов. Это был Бэрчи. Быстрым взглядом он вмиг оценил положение и кинулся на нас, но мы, сильно оттолкнувшись, ушли вперед, и он упал в воду. Выбравшись на отмель, он тотчас поднял крик, предупреждая об опасности.

Мы гребли изо всех сил, но с таким количеством лодок на буксире двигались медленно. С отмели хлопнул выстрел, второй, третий, и началась самая настоящая канонада. Пули так и

шлепались вокруг нас, но густые облака застлали луну, и в мутной тьме стрельба была беспорядочной. В нас могли попасть разве только ненароком.

– Был бы у нас маленький паровой катер, – задыхаясь, прошептал я.

– Хоть бы луна больше не показывалась, – тяжело дыша, отозвался Николас.

Мы шли медленно, но каждый удар весел уводил нас все дальше и дальше от отмели и приближал к берегу. Наконец стрельба стихла, и, когда луна вновь вышла из облаков, мы были уже вне опасности. Вскоре нас окликнули с берега, и две адмиралтейские шлюпки, каждая с тремя гребцами на веслах, понеслись нам навстречу. Чарли радостно улыбался и, пожимая нам руки, кричал:

– Молодцы! Молодцы оба!

Мы подвели флотилию к берегу, и сразу же я, Николас и один из сторожей сели на весла в адмиралтейскую шлюпку, а Чарли на корму. Две другие шлюпки последовали за нами, и, поскольку луна теперь светила ярко, мы без труда отыскивали устричных пиратов на дальней отмели. Но стоило нам подойти ближе, как пираты открыли стрельбу из своих револьверов, и мы живо отступили на безопасную позицию.

– Нам спешить некуда, – сказал Чарли. – Вода прибывает быстро, и, когда она подступит к горлу, им уже будет не до стрельбы.

Мы сушили весла, ожидая, пока прилив сделает свое дело. Положение пиратов становилось отчаянным: после большого отлива вода стремительно, как по мельничному лотку, неслась назад, и даже лучший в мире пловец не одолел бы против течения трех миль пути. Путь к бегству в сторону берега отрезали мы, ибо наши лодки стояли между берегом и отмелями. Вода меж тем быстро заливала отмели и через несколько часов неминуемо должна была покрыть пиратов с головой.

Было удивительно тихо; в искрящемся белом свете луны мы наблюдали за пиратами в бинокль и рассказывали Чарли о нашем плавании на «Мэгги». Наступил час, потом два часа ночи; хищники, стоя по пояс в воде, столпились на самой высокой отмели.

– Вот доказательство того, как важна смекалка, – говорил Чарли. – Сколько лет Тафт старался заполучить их, но он лез напролом, и ничего у него не получалось. А мы поработали головой...

Тут до меня донесся едва слышный плеск, и, подняв руку в знак молчания, я обернулся и показал на рябь, которая медленно расходилась по воде большими кругами. Это произошло не более чем в пятидесяти футах от нас. Мы замерли, ожидая, что будет дальше. Через минуту вода раздалась футах в шести от нас, и в свете луны показалась черная голова и белое плечо. Человек удивленно фыркнул, шумно выпустил воздух, и тотчас голова и плечо скрылись под водой.

Несколькими ударами весел мы ушли вперед и поплыли по течению. Четыре пары глаз впились в водную гладь, но так и не увидели кругов на воде, ни черной головы, ни белого плеча.

– Это Дельфин, – сказал Николас. – Его и днем-то не очень поймашь.

Без четверти три пираты проявили первые признаки слабости. Мы услышали крики о помощи и сразу узнали голос Сороконожки, а когда подошли поближе, в нас уже больше не стреляли. Положение Сороконожки было воистину отчаянным. Чтобы легче было устоять против течения, хищники держались друг за друга и над водой были только их головы да плечи, а так

как ноги Сороконожки не доставали дна, он буквально висел на своих приятелях.

– Ну, ребята, – весело сказал Чарли, – вот вы и попались! Теперь вам не уйти. Если будете сопротивляться, оставим вас здесь, и вода вас прикончит. Но если будете послушными, мы возьмем вас на борт, каждого по очереди, и все будут спасены. Что вы на это скажете?

– Ладно, – хором просипели пираты, стуча зубами от холода.

– Тогда подходите поодиночке и сперва малорослые.

Первым взяли на борт Сороконожку, он пошел охотно, хотя и стал было протестовать, когда полицейский надевал ему наручники. Вторым втащили Бэрчи, который от долгого пребывания в воде присмирел и стал совсем покорным. Приняв на борт десятерых, мы отошли, и пираты полезли во вторую шлюпку. Третьей досталось только девять пленников, а весь улов насчитывал двадцать девять человек.

– А Дельфина вы так и не поймали, – торжествующе заявил Сороконожка, словно бегство Дельфина основательно умалило наш успех.

– Зато видели, – засмеялся Чарли. – Плыл, фыркая, к берегу и хрюкал, как боров.

В устричный склад мы привели с берега кроткую и дрожащую от озноба банду пиратов. На стук Чарли дверь широко распахнулась, и нас обдало волной приятного тепла.

– Можете высушить здесь свою одежду и выпить горячего кофе, – возвестил Чарли, когда все ввалились в дом.

А там, у огня, с кружкой дымящегося кофе в руках, мирно сидел Дельфин. Мы с Николасом одновременно взглянули на Чарли. Он весело рассмеялся.

– Результат смекалки, – сказал он. – Когда что-нибудь видишь, надо осмотреть со всех сторон, иначе что толку? Я видел берег и потому оставил там двоих полицейских – пусть приглядывают. Вот и вся недолга.

\* \* \*

## НАМ-БОК – ЛЖЕЦ

– Байдарка, правда, байдарка! Байдарка, и в ней человек! Смотрите, как неуклюже он ворочает веслом!

Старая Баск-Ва-Ван приподнялась на коленях, дрожа от слабости и волнения, и посмотрела в море.

– Нам-Бок всегда неуклюже работал веслом, – пробормотала она в раздумье, прикрыв ладонью глаза от солнца и глядя на сверкающую серебром поверхность воды. – Нам-Бок всегда был неуклюжим. Я помню...

Но женщины и дети громко расхохотались, и в их хохоте слышалась добродушная насмешка; голос старухи затих, и только губы шевелились беззвучно.

Кугах оторвался от своей работы (он был занят резьбой по кости), поднял голову и посмотрел туда, куда указывал взгляд Баск-Ва-Ван. Да, это была байдарка, она шла к берегу, хотя временами ее и относило далеко в сторону. Сидевший в ней греб решительными, но

неумелыми движениями и приближался медленно, словно сознательно ставя лодку вдоль волны. Голова Кугаха снова склонилась над работой: на моржовом бивне он вырезал спинной плавник такой рыбы, какие никогда не плавали ни в одном море.

– Это, наверно, мастер из соседнего селения. Хочет посоветоваться со мной, как вырезать на кости разные изображения, – сказал он наконец. – Но он неуклюжий человек. Никогда он не научится.

– Это Нам-Бок, – повторила старая Баск-Ва-Ван. – Неужели я не узнаю своего сына? – раздраженно выкрикнула она. – Говорю вам: это Нам-Бок.

– Ты это говорила каждое лето, – ласково стала увещевать ее одна из женщин. – Чуть только море очистится ото льда, ты садилась на берегу и целыми днями смотрела в море; и про всякую лодку ты говорила: «Это Нам-Бок». Нам-Бок умер, о Баск-Ва-Ван, а мертвые не возвращаются. Невозможно, чтобы мертвый вернулся.

– Нам-Бок! – закричала старуха так громко и пронзительно, что все с удивлением оглянулись на нее.

Она с трудом встала на ноги и заковыляла по песку. По дороге она споткнулась о лежащего на солнышке младенца, мать бросилась унимать его и пустила вслед старухе грубые ругательства, но та не обратила на нее внимания. Ребятишки, обгоняя ее, помчались к берегу, а когда байдарка, едва не опрокинувшись из-за неловкости гребца, подъехала ближе, за ребятишками потянулись и женщины. Кугах отложил моржовый клык в сторону и тоже пошел, тяжело опираясь на свою дубинку, а за ним по двое и по трое двинулись мужчины.

Байдарка повернулась бортом, и ее непременно захлестнуло бы прибоем, если б один из голых юнцов не вбежал в воду и не вытащил ее за нос далеко на песок. Человек поднялся и пытливо оглядел стоявших перед ним жителей селения. Грязная и изношенная полосатая фуфайка свободно облегла его широкие плечи, шея по-матросски была повязана красным бумажным платком. Рыбачья шапка на коротко остриженной голове, грубые бумажные штаны и тяжелые сапоги дополняли его наряд.

Несмотря на все это, он был удивительным явлением для рыбаков с дельты великого Юкона: всю жизнь перед глазами у них было Берингово море, и они видели только двух белых – переписчика населения и заблудившегося католического священника. Они были народ бедный – ни золота в их земле не было, ни ценных мехов на продажу, поэтому белые и близко не подходили к их берегу. К тому же в этой стороне моря тысячелетиями скоплялись наносы горных пород Аляски, так что корабли садились на мель, даже еще не увидев земли. Вследствие этого болотистое побережье с глубокими заливами и множеством затопляемых островков никогда не посещалось большими кораблями белых людей, и рыбачье племя не имело понятия об их существовании.

Кугах-Резчик внезапно побежал, зацепился за собственную дубинку и упал.

– Нам-Бок! – закричал он отчаянно, стараясь подняться. – Нам-Бок, унесенный морем, вернулся!

Мужчины и женщины попятились, ребятишки обратились в бегство, прошмыгнув между ног взрослых. Один Опи-Куон, как и подобает старшине селения, проявил храбрость. Он вышел вперед и долго и внимательно разглядывал пришельца.

– Это в самом деле Нам-Бок, – сказал он наконец, и женщины, поняв по его голосу, что сомнений больше нет, завывали от суеверного ужаса и отступили еще дальше.

Губы пришельца нерешительно раскрылись, и смуглый кадык задвигался, словно силясь



вытолкнуть застревавшие слова.

– Ля-ля, это Нам-Бок! – бормотала Баск-Ва-Ван, заглядывая ему в лицо. – Я всегда говорила, что Нам-Бок вернется.

– Да, Нам-Бок вернулся.

На этот раз говорил сам Нам-Бок; он перешагнул через борт и стоял одной ногой на суше, другой – на байдарке. Опять его горло напряглось, и видно было, что он с трудом подыскивает забытые слова. И когда он их наконец выговорил, они были странны на слух, и гортанные звуки сопровождались каким-то причмокиванием.

– Привет, о братья, – сказал он, – братья тех лет, когда я жил среди вас и попутный ветер еще не унес меня в море.

Он ступил на песок другой ногой, но Опи-Куон замахал на него руками.

– Ты умер, Нам-Бок, – сказал он.

Нам-Бок рассмеялся.

– Взгляни, какой я толстый.

– Мертвые не бывают толстыми, – согласился Опи-Куон. – Ты хорошо упитан, но это странно. Еще ни один человек, ушедший с береговым ветром, не возвращался по пятам лет.

– Я возвратился, – просто ответил Нам-Бок.

– Тогда, быть может, ты тень. Проходящая тень Нам-Бока, который был. Тени возвращаются.

– Я голоден. Тени не едят.

Но Опи-Куон был смущен и в мучительном сомнении провел рукой по лбу. Нам-Бок тоже был смущен; он обводил глазами лица стоявших перед ним рыбаков и не видел в них приветов. Мужчины и женщины шепотом переговаривались между собой. Дети робко жались за спины старших, а собаки, ощетилившись, скалили морды и подозрительно нюхали воздух.

– Я родила тебя, Нам-Бок, и кормила тебя грудью, когда ты был маленький, – жалостливо молвила Баск-Ва-Ван, подходя ближе. – И тень ты или не тень, я и теперь дам тебе поесть.

Нам-Бок шагнул было к ней, но испуганные и угрожающие возгласы заставили его остановиться. Он сказал на непонятном языке что-то очень похожее на «о черт!» и добавил:

– Я человек, а не тень.

– Что можно знать, когда дело касается неведомого? – спросил Опи-Куон отчасти у самого себя, отчасти обращаясь к своим соплеменникам. – Сейчас мы есть, но один вздох – и нас нет. Это мы знаем, но мы не знаем, Нам-Бок ты или его тень?

Нам-Бок откашлялся и ответил так:

– В давно прошедшие времена, Опи-Куон, отец твоего отца ушел и возвратился по пятам лет. И ему не отказали в месте у очага. Говорили... – Он значительно помолчал, и все замерли, ожидая, что он скажет. – Говорили, – повторил он внушительно, рассчитывая на эффект своих слов, – что Сипсип, его жена, принесла ему двух сыновей после его возвращения.

– Но он не вверялся береговому ветру, – возразил Опи-Куон. – Он ушел в глубь суши, а это так уж положено, что по суше человек может ходить сколько угодно.

– Так же точно и по морю. Но не в том дело. Говорили... будто отец твоего отца рассказывал удивительные истории о том, что он видел.

– Да, он рассказывал удивительные истории.

– Мне тоже есть что порассказать, – хитро заявил Нам-Бок. И, заметив колебания слушателей, добавил: – Я привез и подарки.

Он достал из своей лодки шаль дивной мягкости и окраски и набросил ее на плечи матери. У женщин вырвался дружный вздох восхищения, а старая Баск-Ва-Ван стала щупать и гладить рукой яркую ткань, напевая от восторга, как ребенок.

– У него есть что рассказать, – пробормотал Кугах.

– И он привез подарки, – откликнулись женщины.

Опи-Куон видел, что его соплеменникам не терпится послушать чудесные рассказы, да и его самого разбирало любопытство.

– Улов был хороший, – сказал он рассудительно, – и жира у нас вдоволь. Так пойдем, Нам-Бок, попируем.

Двое мужчин взвалили байдарку на плечи и понесли ее к костру. Нам-Бок шел рядом с Опи-Куоном, прочие жители селения следовали за ними, и только несколько женщин задержались на минутку, чтобы любовно потрогать шаль.

Пока шел пир, разговору было мало, зато много любопытных взглядов украдкой было брошено на сына Баск-Ва-Ван. Это стесняло его, но не потому, что он был скромного нрава, а потому, что вонь тюленьего жира лишила его аппетита; ему же во что бы то ни стало хотелось скрыть это обстоятельство.

– Ешь, ты голоден, – приказал Опи-Куон, и Нам-Бок, закрыв глаза, сунул руки в горшок с тухлой рыбой.

– Ля-ля, не стесняйся. Тюленей эти годы было много, а сильные мужчины всегда голодны.

И Баск-Ва-Ван обмакнула в жир особенно отвратительный кусок рыбы и, закапав все кругом, нежно протянула его сыну.

Однако некоторые зловещие симптомы скоро оповестили Нам-Бока, что желудок его не так вынослив, как в былые времена, и он в отчаянии поспешил набить трубку и закурить. Люди шумно ели и наблюдали за ним. Не многие из них могли похвастаться близким знакомством с этим драгоценным зельем, хотя оно порой попадало к ним – понемножку и самого скверного сорта – от северных эскимосов в обмен на другие товары. Кугах, сидевший рядом с ним, дал ему понять, что и он не прочь бы разок затянуться, и в промежутке между двумя кусками рыбы вложил в рот янтарный мундштук и принялся посасывать его вымазанными жиром губами. Увидев это, Нам-Бок дрожащей рукой схватился за живот и отвел протянутую обратно трубку. Пусть Кугах оставит трубку себе, сказал он, потому что он с самого начала намеревался почтить его этим подношением. И все стали облизывать пальцы и хвалить щедрость Нам-Бока.

Опи-Куон поднялся.

– А теперь, о Нам-Бок, пир кончен, и мы хотим послушать об удивительных вещах, которые ты видел.

Рыбаки захлопали в ладоши и, разложив около себя свою работу, приготовились слушать.

Мужчины строга́ли ко́пья и занимались резьбой по кости, а женщины соскабливали жир с котиковых шкур и разминали их и шили одежду нитками из сухожилий. Нам-Бок окинул взглядом всю эту картину и не увидел в ней той прелести, какую, по воспоминаниям, ожидал найти. В годы своих скитаний он с удовольствием рисовал себе такую именно картину, но сейчас, когда она была перед его глазами, он чувствовал разочарование. Убогая и жалкая жизнь, думалось ему; она не идет ни в какое сравнение с жизнью, к которой он теперь привык. Все-таки кое-что им расскажет, он приоткроет им глаза, – и при этой мысли глаза его заблестели.

– Братья, – начал он с благодушным самодовольством человека, готовящегося поведать о своих подвигах. – Братья, когда много лет назад я ушел от вас, было позднее лето и погода стояла такая точно, какая обещает быть сейчас. Вы все помните тот день: чайки летали низко, с суши дул сильный ветер, и я не мог одолеть его на своей байдарке. Я плотно затянул крышку, чтобы вода не попала внутрь, и всю ночь боролся с бурей. А утром земли уже не было видно – одно море – и ветер с суши по-прежнему держал меня в руках и гнал перед собой. Три раза ночь сменялась бледным рассветом, а земли все не было видно, и береговой ветер все не отпускал меня. И когда наступил четвертый день, я был как безумный. Я не мог работать веслом, потому что ослабел от голода, а голова моя кружилась и кружилась – так меня мучила жажда. Но море уже утихло, и дул теплый южный ветер, и когда я посмотрел вокруг, то увидел такое зрелище, что подумал, не сошел ли я и вправду с ума.

Нам-Бок остановился, чтобы вытащить волоконце лососины, застрявшее в зубах, а окружавшие его мужчины и женщины ждали, бросив работу и вытянув шеи.

– Это была лодка, большая лодка. Если все лодки, какие я когда-либо видел, сложить в одну, она все-таки не будет такой большой.

Послышались возгласы сомнений, и Кугах, насчитывавший много лет жизни, покачал головой.

– Если б каждая байдарка была все равно что песчинка, – продолжал утверждать Нам-Бок, – и если б байдарок было столько, сколько песчинок на этом берегу, и то из них не составилась бы такая большая лодка, какую я увидел на четвертый день. Это была очень большая лодка, и называлась она шхуна. Я увидел, что эта чудесная лодка, эта большая шхуна идет прямо на меня, а на ней люди...

– Стой, о Нам-Бок! – воскликнул Опи-Куон. – Какие это были люди? Большие люди?

– Нет, они были, как ты и я.

– Большая лодка шла быстро?

– Да.

Лодка была большая, люди маленькие, – отметил для точности Опи-Куон. – И люди гребли длинными веслами?

Нам-Бок усмехнулся.

– Весел не было вовсе, – сказал он.

Разинутые рты открылись еще шире, и наступила продолжительная тишина. Опи-Куон попросил у Кугаха трубку и несколько раз задумчиво затянулся. Одна из молодых женщин нервно хихикнула, чем навлекла на себя гневные взгляды.

– Значит, весел не было? – тихо спросил Опи-Куон, возвращая трубку.

– Южный ветер дул сзади, – пояснил Нам-Бок.

– Но ветер гонит лодку медленно.

– У шхуны были крылья – вот так.

Он набросал на песке схему мачт и парусов, и мужчины, столпившись вокруг, стали изучать ее. Дул резкий ветер, и для большей наглядности Нам-Бок схватил за концы материнскую шаль и растянул ее, так что она надулась, как парус. Баск-Ва-Ван бранилась и отбивалась, но ветер подхватил ее и потащил по берегу; шагах в двадцати, еле дыша, она упала на кучу прибитых морем щепок. Мужчины кричали с понимающим видом, но Кугах вдруг откинул назад свою седую голову.

– Хо! Хо! – расхохотался он. – Одна глупость, эта твоя большая лодка! Чистая глупость! Игрушка ветра! Куда ветер подует, туда и она. В такой лодке не знаешь к какому берегу пристанешь, потому что она плывет всегда по ветру, а ветер дует куда ему вздумается, и никому не известно, в какую сторону он подует сейчас.

– Да, это так, – важно подтвердил Опи-Куон. – По ветру идти легко, но, когда ветер противный, человеку приходится сильно бороться; а раз весел у этих людей на большой лодке не было, значит, они вовсе не могли бороться.

– Очень им нужно было бороться! – сердито воскликнул Нам-Бок. – Шхуна идет и против ветра.

– А что, ты говорил, заставляет шх... шх... шхуну двигаться? – спросил Кугах, ловко одолев незнакомое слово.

– Ветер, – последовал нетерпеливый ответ.

– Ветер заставляет шх... шх... шхуну двигаться против ветра? – Тут старый Кугах без стеснения подмигнул Опи-Куону и под общий смех продолжал: – Ветер дует с юга, а шхуну гонит на юг. Ветер дует против ветра. Ветер дует сразу и в ту и в другую сторону. Это очень просто. Мы поняли, Нам-Бок. Мы все поняли.

– Ты глупец!

– Уста твои говорят правду, – ответил Кугах кротко. – Я слишком долго не мог понять самую простую вещь.

Лицо Нам-Бока помрачнело, и он быстро проговорил какие-то слова, которых раньше они никогда не слышали. Все снова принялись кто резать по кости, кто очищать шкуры, но он крепко сжал губы, чтобы не вырвались у него слова, которым все равно никто не поверит.

– Эта шх... шх... шхуна, – невозмутимо спросил Кугах, – она была сделана из большого дерева?

– Она была сделана из многих деревьев, – отрезал Нам-Бок. – Она была очень большая.

Он опять угрюмо замолчал, а Опи-Куон подтолкнул Кугаха, который в недоверчивом изумлении покачал головой и прошептал:

– Удивительное дело.

Нам-Бок попался на удочку.

– Это еще что, – сказал он легкомысленно, – а вот посмотрели бы вы на пароход. Во сколько

раз байдарка больше песчинки, во столько раз шхуна больше байдарки, во столько раз пароход больше шхуны. К тому же пароход сделан из железа. Он весь железный.

– Нет, нет, Нам-Бок, – воскликнул старшина, – как это может быть? Железо всегда идет ко дну. Вот послушай: у старшины соседнего селения я выменял нож, и вчера нож выскользнул у меня из рук и сразу пошел вниз, в самую глубь моря. Всему есть закон. У каждой вещи свой закон. Мы знаем. Больше того: мы знаем, что для всех одинаковых вещей закон один, и потому для всего железного закон тоже один. Так что отрекись от своих слов, Нам-Бок, чтоб мы не потеряли к тебе уважение.

– Но это так, – стоял на своем Нам-Бок. – Пароход весь железный, а не тонет.

– Нет, нет, этого не может быть.

– Я видел своими глазами.

– Это противно природе вещей.

– Но скажи мне, Нам-Бок, – перебил Кугах, опасаясь, как бы рассказ на этом не прекратился.

– Скажи мне, как эти люди находят дорогу в море, если не видно берега?

– Солнце показывает им дорогу.

– Но как?

– У старшины шхуны есть такая штука, через которую смотрят на солнце, и вот в полдень он берет ее, и смотрит, и заставляет солнце сойти с неба на край земли.

– Но это колдовство! – ошеломленный таким святотатством, закричал Опи-Куон. Мужчины в ужасе подняли руки, женщины заголосили. – Это гнусное колдовство! Очень нехорошо отклонять великое солнце от его пути: оно прогоняет ночь и дает нам тюленей, лососину и тепло.

– Что из того, что это колдовство? – грубо спросил Нам-Бок. – Я тоже смотрел сквозь эту вещь на солнце и заставлял солнце сходить с неба.

Сидевшие поблизости поспешно отодвинулись, и одна женщина накрыла лицо ребенка, лежавшего на руках, чтобы не упал на него взгляд Нам-Бока.

– Что же было на утро четвертого дня, когда шх... шх... шхуна погналась за тобой?

– У меня так мало оставалось сил, что я не мог уйти от нее. И вот меня взяли на борт, влили в горло воду и дали хорошую пищу. Братья мои, мы видели только двух белых людей. А на шхуне люди все были белые, и было их столько, сколько у меня пальцев на руках и ногах. И когда я увидел, что они добры, я осмелел и решил все запоминать, чтобы потом рассказать вам, что я видел. И они научили меня своей работе, и кормили хорошей пищей, и отвели мне место для сна.

И мы день за днем плыли по морю, и каждый день старшина стаскивал солнце с неба и заставлял его говорить, где мы находимся. И когда море бывало милостиво, мы охотились на котиков, и я очень удивлялся, потому что эти люди выбрасывали мясо и жир и оставляли себе только шкуры.

Опи-Куон скривил рот и готов уже был высмеять подобную расточительность, но Кугах толчком заставил его молчать.

– Потом наступило трудное время – солнце ушло и мороз стал больно жечь кожу; и тогда

старшина повернул шхуну на юг. Долгие дни мы плыли на юг и на восток, ни разу не увидав земли, и вот уже стали приближаться к селению, откуда все они были родом...

– Почем они знали, что приближаются? – спросил Опи-Куон, который больше не в силах был сдержать себя. – Ведь земли не было видно.

Нам-Бок метнул на него яростный взгляд.

– Разве я не сказал, что старшина спускал солнце с неба?

Но Кугах успокоил Опи-Куона, и Нам-Бок продолжал:

– Так вот, я говорю, когда мы стали приближаться к тому селению, разразилась сильная буря, и в темноте мы были беспомощны, так как не знали, где находимся...

– Ты только что говорил, что старшина знал...

– Молчи, Опи-Куон! Ты дурак и не понимаешь. Я говорю, в темноте мы были беспомощны, и вдруг сквозь рев бури я услышал шум прибоя. И тотчас мы обо что-то ударились, и я очутился в воде и поплыл. Берег был скалистый, и скалы тянулись на много миль, и только в одном месте была узенькая песчаная полоска, но мне суждено было выбраться из бурунов. Другие, должно быть, разбились о скалы, потому что ни одного из них не оказалось на берегу, кроме старшины, – я узнал его только по кольцу на пальце.

Когда наступил день и я убедился, что от шхуны ничего не осталось, я обратил свой взгляд на сушу и пошел в глубь ее, чтобы добыть себе пищу и увидеть человеческие лица. Когда я подошел к жилью, то меня впустили и дали поесть, потому что белые люди добры, а я выучился говорить на их языке. И дом, в который я попал, был больше, чем все дома, построенные нами, и больше тех, что до нас строили себе наши отцы.

– Велик же был этот дом, – сказал Кугах, скрывая свое недоверие под видом изумления.

– И на постройку его пошло много деревьев, в тон ему подхватил Опи-Куон.

– Этот дом – еще пустяки, – пренебрежительно пожал плечами Нам-Бок. – Как наши дома малы по сравнению с ним, так этот дом был мал по сравнению с теми, что я увидел потом.

– А люди там тоже были большие?

– Нет, люди были, как ты и я, – отвечал Нам-Бок. – Я срезал себе палку, чтобы удобно было ходить, и, помня, что я обо всем должен рассказать вам, братья, на каждого из живших в этом доме я сделал на своей палке по зарубке. И я прожил там много дней и работал, и за это мне давали деньги, – и вы не знаете, что это такое, но это очень хорошая вещь.

Потом я ушел с этого места и отправился еще дальше. По дороге я встречал много народа и стал делать на палке зарубки поменьше, чтобы всем хватило места. И вдруг я увидел что-то совсем удивительное. На земле передо мной лежала железная полоса толщиной в мою руку, а через широкий шаг от нее лежала другая железная полоса...

– Значит, ты стал богатым человеком, – заключил Опи-Куон, – потому что железо дороже всего на свете. Из этих полос получилось бы много ножей.

– Но это железо было не мое.

– Это была находка, и она принадлежит тому, кто нашел.

– Нет. Эти полосы положили белые люди. Кроме того, полосы эти такие длинные, что ни один

человек не мог бы их унести, такие длинные, что, сколько я ни смотрел, конца им не видел.

– Нам-Бок, не слишком ли это много железа? – предостерегающе заметил Опи-Куон.

– Да, мне самому трудно было поверить, хотя они лежали перед моими глазами; но глаза меня не обманывали. Я стоял и смотрел и вдруг услышал... – Он быстро повернулся к старшине. – Опи-Куон, ты знаешь, как ревет разгневанный морской лев? Представь себе столько морских львов, сколько волн в море, и представь себе, что все эти морские львы соединились в одного льва, – и вот если б заревел такой лев, то рев его был бы подобен тому, который я услышал.

Рыбаки в изумлении громко вскрикнули, а у Опи-Куона отвисла челюсть.

– И вдалеке я увидел чудовище, равное тысяче китов. Оно было одноглазое, и изрыгало дым, и оглушительно фыркало. У меня от страха задрожали ноги, но я побежал по тропинке между двумя железными полосами. А оно приближалось с быстротой ветра, это чудовище; и только я успел отскочить в сторону, как оно обдало мне лицо своим горячим дыханием...

Опи-Куон овладел собой, челюсть его стала на место, и он спросил:

– А потом? Что же было потом, о Нам-Бок?

– Потом оно промчалось по железным полосам мимо и не причинило мне вреда; а когда ноги у меня перестали трястись, оно уже исчезло из вида. И в той стороне это – самое обыкновенное дело. Этим чудовищ не боятся даже женщины и дети, и люди заставляют их там работать.

– Как мы заставляем работать наших собак? – спросил Кугах, и глаза его недоверчиво блеснули.

– Да, как мы заставляем работать наших собак.

– А как разводятся эти... эти чудовища? – поинтересовался Опи-Куон.

– Они не разводятся вовсе. Люди искусно делают их из железа и кормят камнями и поят водой. Камни превращаются в огонь, вода – в пар, а этот пар и есть дыхание их ноздрей и...

– Хватит, хватит, о Нам-Бок, – прервал его Опи-Куон. – Расскажи нам о других чудесах. Мы устали от таких, которых мы не понимаем.

– Вы не понимаете? – в отчаянии вскричал Нам-Бок.

– Нет, не понимаем, – уныло откликнулись и мужчины и женщины. – Мы не можем понять.

Нам-Бок подумал о сложных машинах, которые разом и жнут и молотят, и о машинах, показывающих изображения живых людей, и о машинах, из которых исходят человеческие голоса, – и ему стало ясно, что его народ ни за что этого не поймет.

– А если я скажу вам, что я ездил по стране на таком железном чудовище? – спросил он с горечью.

Опи-Куон развел руками, не пытаясь скрыть свое недоверие.

– Говори, говори. Говори, что хочешь. Мы слушаем.

– Так вот, я поехал на железном чудовище и дал за это деньги...

– Ты же сказал, что его кормят камнями.

– Я ведь сказал тебе, глупец, что деньги – это такая вещь, о которой ты понятия не имеешь. Итак, я поехал на этом чудовище через всю страну и проезжал мимо многих селений, пока не приехал в большое селение на морском заливе. Дома там поднимали свои крыши к самым звездам небесным, и мимо них тянулись облака, и везде было полно дыма. И шум в этом селении был – как шум бурного моря, а народу было столько, что я бросил свою палку и перестал и думать о том, чтобы делать зарубки.

– Если бы ты делал маленькие зарубки, – укоризненно заметил Кугах, – ты мог бы рассказать нам все в точности.

– Если бы я делал маленькие зарубки! – вне себя накинулся на него Нам-Бок. – Слушай, Кугах, ты, который только и умеешь, что царапать на кости! Если бы я делал даже самые маленькие зарубки, то не хватило бы не только той палки, но и двадцати палок, – нет, не хватило бы всех бревен, которые выбросил прибой на берег между этим селением и соседним. И если б всех вас с женщинами и детьми было в двадцать раз больше и если б у каждого было по двадцати рук и в каждой руке палка и нож, все равно невозможно было бы сделать зарубки на всех людей, которых я видел, – так много их было и так быстро проходили они мимо меня.

– На всем свете не может быть столько народа, – возразил Опи-Куон, ибо он был ошеломлен и не мог охватить умом таких громадных количеств.

– А что ты знаешь обо всем свете и о том, как он велик? – спросил Нам-Бок.

– Но не может быть столько народа в одном месте.

– Кто ты такой, чтобы решать, что может быть и чего не может быть?

– Да ведь ясно, что в одном месте не может быть столько народа. Их лодки запрудили бы все море, так что негде было бы повернуться. И каждый день они вылавливали бы из моря всю рыбу – и все равно на всех бы ее не хватало.

– Казалось бы, так оно и должно быть, – ответил Нам-Бок, заканчивая беседу. – И, однако, это правда. Я видел все собственными глазами и потому бросил свою палку.

Он зевнул во весь рот и поднялся.

– Я приплыл издалека. День был долгий, и я устал. Сейчас я лягу спать, а завтра мы еще поговорим о том, что я видел.

Баск-Ва-Ван боязливо заковыляла вперед и гордясь своим удивительным сыном и в то же время испытывая перед ним благоговейный ужас. Она привела его в свою хижину и уложила на жирный вонючий мех. Но мужчины остались у костра, чтобы держать совет, и на этом совете долго шептались и спорили.

Прошел час и другой – Нам-Бок спал, а разговор у костра все продолжался. Вечернее солнце склонилось к северу и в одиннадцать часов остановилось почти прямо на севере. Тогда старшина и резчик по кости покинули совет и разбудили Нам-Бока. Он, мигая со сна, взглянул им в лица и повернулся на другой бок. Но Опи-Куон беззлобно, но решительно начал трясти его за плечи, пока тот совсем не пришел в себя.

– Ну-ну, Нам-Бок, вставай! – приказал он. – Пора!

– Опять есть? – вскричал Нам-Бок. – Нет, я не голоден. Ешьте сами и дайте мне спать.

– Пора уходить! – заревел Кугах.



Но Опи-Куон был не так резок.

– Ты в паре со мной ходил на байдарке, когда мы были мальчиками, – сказал он. – Мы вместе первый раз вышли на охоту за тюленями и вытаскивали лососей из западни. И ты возвратил меня к жизни, Нам-Бок, когда море сомкнулось над моей головой и меня стало затягивать под черные скалы. Вместе мы голодали, и дрогли от холода, и заползали вдвоем под одну шкуру, и лежали рядом, тесно прижавшись друг к дружке. Из-за всего этого, из-за того, что я дружил с тобой, мне очень жалко, что ты возвратился к нам таким необыкновенным лжецом. Мы ничего не понимаем, и головы у нас кружатся от всего, что ты рассказал. Это нехорошо, и в совете было много толков. И мы решили, что ты должен уйти, чтобы не смущать нас и не туманить нам разум необъяснимыми вещами.

– Все вещи, о которых ты говорил, – это тени, – подхватил Кугах. – Ты принес их из мира теней и в мир теней должен возвратить их. Твоя байдарка готова, и люди племени ждут. Они не уснут спокойно, пока ты не уйдешь.

Нам-Бок растерянно смотрел на старшину, но не перебивал его.

– Если ты Нам-Бок, – говорил Опи-Куон, – то ты поразительный и опасный лжец; если ты тень Нам-Бока, то ты говорил о тенях, а живым людям не годится знать то, что касается теней. Мы думаем, что большое селение, о котором ты нам рассказал, – это жилище теней. Там витают души мертвых; ибо мертвых много, а живых мало. Мертвые не возвращаются. Ни один мертвый еще не вернулся, ты первый с твоими удивительными рассказами. Не подобает мертвым возвращаться, и если мы это допустим, нам грозит большая беда.

Нам-Бок хорошо знал свой народ и понимал, что решение совета непреложно. Поэтому он покорно пошел к берегу, где его посадили в байдарку и в руку сунули весло. Отбившийся от стаи дикий гусь одиноко кричал где-то над морем, и волны с глухим плеском накатывались на песок. Мутные сумерки нависли над землей и водою, а на севере слабо тлело тусклое солнце, окутанное кроваво-красным туманом. Чайки летали низко. Дул резкий и холодный береговой ветер, и черные, клубящиеся тучи предвещали непогоду.

– Из моря ты вышел, – точно произнося заклинание, нараспев проговорил Опи-Куон, – и обратно в море уходишь. Так восстановится равновесие вещей и все придет в законный порядок.

Баск-Ва-Ван, прихрамывая, подошла поближе и закричала:

– Благословляю тебя, Нам-Бок, ибо ты вспомнил меня!

Но Кугах, оттолкнув байдарку от берега, сорвал шаль с плеч старухи и кинул ее Нам-Боку.

– Мне холодно в долгие зимние ночи, – жалобно простонала она, – мороз так и пробирает старые кости.

– Эта вещь – тень, – ответил резчик, – а тень тебя не согреет.

Нам-Бок встал, чтобы ветер донес его слова до нее.

– О Баск-Ва-Ван, мать, родившая меня! – воскликнул он. – Слушай слова Нам-Бока, твоего сына. В байдарке хватит места для двоих, и он хочет, чтобы ты ушла с ним. Там, куда он держит путь, вдоволь и рыбы и жира. Мороз туда не приходит, и жизнь там легка, и железные вещи работают на человека. Пойдем со мной, о Баск-Ва-Ван!

Она колебалась, а байдарку тем временем относил от берега; тогда, собрав силы, она крикнула высоким, дребезжащим голосом:

– Я стара, Нам-Бок, и скоро отойду в жилище теней. Но мне не хочется уходить раньше, чем пришел мой срок. Я стара, Нам-Бок, и мне страшно.

Луч света брызнул на сумрачное море и озарил лодку и человека сиянием пурпура и золота. Рыбаки притихли, и только слышался шум ветра да крики низко летавших чаек.

\* \* \*

## НЕУКРОТИМЫЙ БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Пока чернокожий человек черный, а белый человек белый, они не поймут друг друга, – так сказал капитан Вудворт.

Мы сидели в кабачке у Чарли Робертса и стаканами тянули «Абу-Хамед», приготовленный хозяином, который пил с нами за компанию. Чарли Робертс утверждал, что раздобыл рецепт этого напитка непосредственно у Стивенса, прославившегося изобретением «Абу-Хамеда» в то время, когда жажда гнала его отведать воду Нила, у того самого Стивенса, который сочинил «С Китченером к Хартуму», а потом погиб при осаде Ледисмита.

Капитан Вудворт, крепкий, коренастый, с опаленным за сорок лет пребывания в тропиках лицом, прекрасными лучистыми карими глазами, каких я ни разу в жизни не встречал у мужчин, многое изведal в жизни. Крестообразный шрам на его лысой макушке говорил о близком знакомстве с боевым топором туземца; о том же свидетельствовали два рубца от стрелы на правой стороне шеи: там, где стрела вошла и вышла из его тела. По его словам, он бежал, а стрела ему мешала, но он не имел времени отламывать наконечник стрелы и потому протасил ее насквозь. Теперь он был капитаном «Савайи», огромного парохода, который вербовал на островах Южных морей рабочую силу для немецких плантаций в Самоа.

– Половина всех недоразумений происходит из-за нашей тупости, – заявил Робертс, делая паузу, чтобы отхлебнуть из своего стакана и добродушно отчитать за что-то маленького слугу-самоанца. – Если бы белый человек хотя бы иногда задумывался над психологией чернокожих, можно было бы избежать большинства недоразумений.

– Я встречал таких, правда, их было немного, которые утверждали, что понимают негров, – ответил капитан Вудворт, – и я всегда замечал, что их в первую очередь «кай-кай», то есть съедали. Вспомните миссионеров в Новой Гвинее и Новых Гебридах, на острове мучеников Эрроманге и на всех остальных островах. Вспомните судьбу австрийской экспедиции: ее изрубили в куски на Соломоновых островах, в дебрях Гвадалканара. Да и сами торговцы, умудренные многолетним опытом: они хвастались, что к ним не прикаснется ни один негр, а головы их по сей день красуются на балках плавучих жилищ. Или вот старый Джонни Симонс. Двадцать шесть лет провел в дебрях Меланезии и клялся, что знает негров как свои пять пальцев, что они его не тронут. А погиб он у лагуны Марово, в Нью-Джорджии. Ему отрезали голову черная Мэри и старый одноногий негр. (Одну ногу у него отхватила акула, когда он нырял за оглушенной рыбой.) Был еще Билли Уотс, убийца негров, человек, которого испугался бы сам дьявол! Помню, стояли мы у мыса Литл, это, знаете ли, в Новой Ирландии, когда негры утащили у него полтюка табаку, который он собирался продать, табак и стоил-то доллара три. Так он в отместку пристрелил шестерых негров, разбил их боевые каноэ и сжег две деревни. Четыре года спустя, когда он с пятьюдесятью молодчиками из Буку там же, у мыса Литл, ловил трепангов, их подстерегли чернокожие. Всех перебили за пять минут, кроме троих парней, которым удалось удрать в каноэ. Словом, нечего болтать, будто мы понимаем негров. Миссия белого человека – нести цивилизацию в мир, и это – нелегкое дело,

выпавшее на его долю. Где ж тут останется время, чтобы копаться в психологии негров?

– Точно! – выпалил Робертс. – И вообще это не так уж обязательно – понимать негров. Чем глупее белый человек, тем успешнее он насаждает цивилизацию...

– И вселяет страх божий в сердца негров, – вставил капитан Вудворт. – Может быть, вы правы, Робертс. Возможно, секрет его успеха именно в глупости, и, несомненно, один из признаков этой глупости – неспособность понять негров. Одно ясно: белый призван управлять неграми, независимо от того, понимает он их или нет. Он неукротим и неотвратим, как рок.

– Конечно, белый человек неукротим и неотвратим для негров, – вставил Робертс. – Скажите белому, что в какой-то лагуне, где живут десятки тысяч воинственных туземцев, лежит жемчужина, – он бросится туда очертя голову с полдюжиной разных ловцов-канаков и дешевым будильником вместо хронометра. Они возьмут удобное судно водоизмещением тонн в пять и набьются туда, как сельди в бочку. Только шепните ему, что на Северном полюсе есть золотая жила, и это неукротимое белокожее существо сразу же двинется в путь, прихватив с собой лопату, кирку, окорок и патентованный, последнего образца, лоток для промывания золота. И самое удивительное, что он туда доберется! Намекните ему, что за раскаленной оградой ада нашли алмазы – и Мистер Белокожий атакует врата преисподней и заставит старого бродягу Сатану работать ломом и лопатой. Вот что происходит, когда человек глуп и неукротим.

– Интересно, что думают чернокожие о... о неукротимости?

Капитан Вудворт негромко засмеялся. Глаза его засветились от воспоминаний.

– Мне тоже хотелось бы узнать, что думали и, должно быть, до сих пор думают негры Малу об одном неукротимом белом человеке, который был с нами на «Герцогине», когда мы стали на якорь у их берега, – сказал он.

Робертс приготовил еще три «Абу-Хамеда».

– Было это лет двадцать тому назад. Звали его Саксторп. Я ни разу в жизни не встречал такого тупого человека, но он был неукротим, как сама смерть. Он умел только стрелять, и больше ничего. Помню, как я в первый раз его встретил здесь, в Апии, двадцать лет назад. Тебя еще тут не было, Робертс. Я остановился в гостинице голландца Генри, там, где сейчас рынок. Вы ничего о нем не знаете? Он неплохо заработал, тайно переправляя оружие повстанцам, продал свою гостиницу, а ровно через шесть недель его зарезали в каком-то кабачке Сиднея.

Однако о Саксторпе. Как-то ночью, едва я заснул, кошачья пара начала во дворе концерт. Соскочив с постели, я подошел к окну с кувшином воды в руке. И в то же время услышал, как раскрылось соседнее окошко. Раздалось два выстрела, и окно закрылось. Все произошло так быстро, что описать невозможно. Это было делом нескольких секунд. Раскрывается окно, – бум, бум, – два раза стреляет револьвер, – окно закрывается. Я не знаю, кто он был, но он даже не выглянул в окно. Он был уверен. Понимаете? Уверен. Концерт прекратился, и утром нашли окоченевшие тела нарушителей тишины. Мне это показалось чудовищным. Во-первых, на небе светились только звезды, а Саксторп стрелял, не целясь, во-вторых, выстрелы следовали один за другим так быстро, будто он стрелял из двустволки, и, наконец, он знал, что попал в свои мишени, даже не выглянув в окно.

Через два дня он пришел наниматься на «Герцогиню». Я тогда был помощником капитана на большой шхуне водоизмещением в сто пятьдесят тонн. Мы перевозили завербованных негров. Должен сказать, в те дни вербовка была настоящей вербовкой. Мы не знали ни правительственных инспекторов, ни властей. Это была адски тяжелая работа. Мы целиком

полагались только на себя. Когда дела принимали плохой оборот, не пеняй на других! Мы вывозили негров со всех островов Южных морей, кроме тех, откуда нас гнали. Словом, он пришел на шхуну и назвался Джоном Саксторпом. Небольшой человечек какого-то песочного цвета: песочные волосы, песочный цвет лица, даже глаза песочные. Ничего в нем не было приметного. Душа у него была такая же бесцветная, как и физиономия. Он сказал, что остался без единого пенса и хочет поступить на судно. Готов служить юнгой, коком, судовым приказчиком или простым матросом.

Он ничего не смыслил ни в одной из тех профессий, но сказал, что научится. Мне он был не нужен, но его стрельба произвела на меня столь сильное впечатление, что я записал его матросом с жалованьем три фунта в месяц.

Не стану отрицать, он действительно хотел чему-нибудь научиться. Но так уж он был устроен, что не мог ничему научиться. Он разбирался в румбах компаса не больше, чем я в приготовлении выпивки, которую нам делает Робертс. Штурвалом же он орудовал так, что ему я обязан первой сединой. Я ни разу не рискнул подпустить его к штурвалу, когда море было беспокойно, потому что движение с попутным ветром или галсами – против ветра – было для него неразрешимой тайной. Он бы никогда не мог сказать, в чем разница между шкотами и таями. Путал кливер с гафелем. Прикажите ему ослабить грот-трисель-шкот, и, прежде чем вы сообразите, что происходит, он опустит нок гафеля. Он трижды падал за борт, а плавать не умел. Но он всегда был жизнерадостен, не ведал, что такое морская болезнь, и был самым покладистым человеком, каких я только знал. Это была замкнутая натура. Он никогда не рассказывал о себе. Для нас его жизнь началась с того дня, когда он появился на «Герцогине». Где он научился стрелять, сказать могли лишь звезды. Он был янки – это мы определили по его гнусавому произношению. Но больше мы так ничего и не узнали.

Вот я и подошел к самому главному. Нам здорово не везло на Новых Гебридах: за пять недель – только четырнадцать негров, и с попутным зюйд-остом мы взяли курс к Соломоновым островам. На Малаите тогда, как и сейчас, можно было легко вербовать негров, и мы пошли к северо-западной оконечности острова – Малу. Рифы там и у берега и в открытом море, и стать на якорь нелегко, но мы благополучно миновали рифы, отдали якорь и взорвали динамит – этим сигналом мы возвещали негров о начале вербовки. За три дня никто не явился. Негры сотнями подплывали к нам на своих каноэ, но они только смеялись, когда мы показывали им бусы, ситец, топоры и начинали рассказывать о том, что работа на плантациях Самоа – одно удовольствие.

На четвертый день все вдруг переменялось. Записалось сразу пятьдесят с лишним человек; их разместили в главном трюме, разумеется, с правом свободного передвижения по палубе. Теперь, когда я оглядываюсь назад, эта повальная вербовка представляется мне очень подозрительной, но в то время мы думали, что какой-нибудь могущественный вождь-царек разрешил своим подданным наниматься на работу. Утром пятого дня обе наши шлюпки, как обычно, пошли к берегу. Одна шлюпка прикрывала другую на случай нападения. И, как обычно, на палубе слонялись без дела, болтали, курили или спали полсотни негров. На «Герцогине», кроме них, остались я, Саксторп да четверка матросов. На обеих шлюпках работали уроженцы островов Гилберта. На первой были капитан, судовой приказчик и вербовщик. На второй, что прикрывала первую и стояла в сотне ярдов от берега, находился второй помощник капитана. Обе шлюпки были хорошо вооружены, хотя нам как будто ничего не угрожало.

Четверо матросов, включая Саксторпа, чистили поручни на корме. Пятый матрос с винтовкой в руках стоял на часах перед грот-мачтой, возле бака с водой. Я был на носу, наводя последний глянец на новое крепление фор-гафеля. Только я наклонился за своей трубкой, как с берега раздался выстрел. Я выпрямился, чтобы посмотреть, в чем дело. Что-то стукнуло меня по затылку. Оглушенный, я свалился на палубу. Вначале я подумал, что мне на голову упала снасть, но я услышал адский треск выстрелов со стороны шлюпок и, падая,

успел посмотреть на матроса, который стоял на часах. Два здоровенных негра держали его за руки, а третий замахнулся на него топором.

Как сейчас, вижу эту картину: бак для воды, грот-мачта, чернокожие, схватившие часового за руки, топор, опускающийся ему на голову, – все это залито ослепительно солнечным светом. Я был словно во власти колдовского видения наступающей смерти. Казалось, томагавк двигается слишком медленно. Я увидел, как он врезался в голову, ноги матроса подкосились, и он начал оседать на палубу. Негры крепко держали его и стукнули еще два раза. Затем меня тоже стукнули пару раз по голове, и я решил, что я умер. К тому же выводу пришел тот негодяй который нанес мне удары. Я не мог двигаться и лежал неподвижно, наблюдая, как они отсекали часовому голову. Должен сказать, орудовали они ловко. Видно, набили руку на этом деле.

Стрельба со шлюпок прекратилась, и я не сомневался, что они всех прикончили. Сейчас они придут за моей головой. Очевидно, они снимали головы тем матросам, что были на корме. На Малаите ценятся человеческие головы, особенно головы белых. Они занимают почетные места в каноэ, в которых живут прибрежные туземцы. Я не знаю, какого декоративного эффекта добиваются лесные жители, но они ценят человеческие головы так же, как их собратья на побережье.

Все же меня не покидала слабая надежда на спасение. На четвереньках я добрался до лебедки, а там с трудом поднялся на ноги. Теперь мне была видна корма – на палубе рубки торчали три головы. Это были головы матросов, с которыми я общался много месяцев подряд.

Негры заметили, что я поднялся на ноги, и побежали ко мне. Я хотел было достать револьвер, но обнаружил, что они его забрали. Не могу сказать, чтобы я очень испугался. Я несколько раз был на волосок от гибели, но никогда смерть не подступала ко мне так близко, как в тот раз. Я был в полубессознательном состоянии, и мне было все безразлично.

Негр, который несся впереди, прихватил в камбузе большой мясницкий нож, намереваясь разделать меня на куски. Он гримасничал, как обезьяна. Но ему не удалось осуществить свое намерение. Он ничком рухнул на палубу, и я увидел, как изо рта у него хлынула кровь. В полубезытии я слышал выстрел, за ним еще и еще. Негры падали один за другим. Я постепенно приходил в себя и заметил, что стреляют без промаха. С каждым выстрелом кто-то падал. Я уселся рядом с лебедкой и взглянул вверх. Там на салинге сидел Саксторп. Как он умудрился туда забраться, я не знаю: ведь у него в руках было два винчестера и множество патронташей. Как бы то ни было, сейчас он был занят делом, на какое был способен.

Мне приходилось видеть и резню и расстрелы, но я ни разу в жизни не видел ничего подобного. Я сидел у лебедки и наблюдал. Я был в каком-то полубомрачном состоянии, и все происходящее представлялось мне сном. Банг, банг, банг – стреляло ружье, и хлоп, хлоп, хлоп – валялись на палубу негры. Во время первой попытки схватить меня погибло человек десять, и остальные теперь остолбенели от ужаса, но Саксторп стрелял, не переставая. К этому времени к судну подошли те две шлюпки и каноэ с неграми, которые были вооружены снайдерами и винчестерами, захваченными у нас. Они открыли по Саксторпу ураганный огонь. К счастью для него, негры хорошо стреляют только на близком расстоянии. Они не прикладывают ружья к плечу. Они ждут, пока человек очутится ниже их, и стреляют, приставив ружье к бедру. Когда у Саксторпа перегревался винчестер, он брал другой. Потому-то он и захватил с собой два ружья, когда полез наверх.

Скорость стрельбы была у него потрясающая. К тому же Саксторп ни разу не промазал. Если на земле существует неукротимый человек, так это Саксторп. Немыслимая скорость делала это побоище страшным.

Негры не могли опомниться. Когда же они немного пришли в себя, они начали бросаться за борт и опрокидывали свои каноэ. Саксторп продолжал свою стрельбу. Вода была сплошь усеяна черными макушками, и – бух-бух-бух – всаживал он в них свои пули. Он не промахнулся ни разу, и я отлично слышал, как каждая пуля хлопала в человеческий череп.

Лавина негров устремилась к берегу. Я поднялся и, словно во сне, видел, как на воде, точно мячики, прыгали и исчезали головы чернокожих. Некоторые дальние выстрелы были совершенно феноменальны. Только один добрался до берега, но когда он поднялся, чтоб выйти из воды, Саксторп уложил и его. Это было превосходное попадание. И когда двое негров подбежали к раненому и стали вытаскивать его на берег, Саксторп уложил их на месте.

Я решил, что все кончилось. Но тут стрельба началась снова. Какой-то негр выскочил из кают-компании и бросился к поручням, но на полпути упал. Кают-компания, вероятно, была переполнена неграми. Я насчитал человек двадцать. Они выбегали по одному и прыгали к поручням. Но ни один из них не добрался до борта. Мне это зрелище напомнило стрельбу по летящей мишени. Чернокожий выскакивал из двери, раздавался выстрел Саксторпа – и он моментально летел вниз. Там, в кают-компании, они, конечно, не знали, что происходит на палубе, и продолжали выбегать наверх, пока их всех не перебили.

Саксторп подождал немного, убедился, что опасность миновала, и спустился на палубу.

Из всей команды «Герцогини» уцелели только мы с Саксторпом, и я был очень плох, а он был совершенно беспомощен теперь, когда уже не нужно было стрелять. Следуя моим указаниям, он промыл мои раны и перевязал их. Внушительная порция виски придала мне сил – надо было как-то выбираться отсюда. Мне не на кого было надеяться. Все были убиты. Мы попытались поставить паруса: Саксторп поднимал их, а я ему помогал. Он снова показал свою непроходимую тупость. Парус не поднялся ни на сантиметр, и когда я снова потерял сознание, нам, казалось, пришел конец.

Но я очнулся. Саксторп беспомощно сидел на трапе в ожидании моих распоряжений. Я велел ему осмотреть раненых, среди них могли оказаться такие, которые могут передвигаться. Он отобрал шестерых. У одного, помню, была перебита нога, но Саксторп заявил, что руки у него в порядке. Лежа в тени, я отгонял мух и говорил, что делать, а Саксторп подгонял свою инвалидную команду. Клянусь, он заставлял этих несчастных негров тянуть каждый конец, прежде чем они нашли фалы. Один из них, выбирая канат, замертво упал на палубу, но Саксторп избил остальных и велел им продолжать работать. Когда грот и фок были поставлены, я приказал ему расклепать якорную цепь и выпустить ее за борт. Я заставил их помочь мне добраться до штурвала: хотел попытаться сам как-нибудь повести судно. Не могу понять, как это произошло, но вместо того, чтобы освободиться от якоря, он отдал второй. Так что теперь мы стали на оба якоря.

Но в конце концов Саксторпу удалось сбросить обе якорные цепи в море и поставить стаксель и кливер. «Герцогиня» легла на курс. Наша палуба представляла собой ужасное зрелище. Повсюду валялись трупы и умирающие. Они были везде, в самых неожиданных местах. Многим удалось заползти с палубы в кают-компанию. Я распорядился, чтобы Саксторп и его кладбищенская команда сбрасывали за борт трупы и умирающих. В тот день акулы здорово поживились. Четверо наших убитых матросов были, разумеется, тоже сброшены за борт. Но головы их мы все-таки положили в мешок с грузом, чтобы их не выбросило на берег и чтобы они ни в коем случае не попали в руки неграм.

Пятерку пленных я считал командой судна. Однако они придерживались другого мнения. Они дождались удобного случая и перемахнули за борт. Двоих Саксторп застрелил из револьвера на лету и прикончил бы и остальных, но я его остановил. Понимаете, мне надоела непрерывная бойня, и, кроме того, они помогли нам двинуться в путь. Но это заступничество

ни к чему не привело: акулы сожрали всех троих.

Мы вышли в открытое море. У меня началось что-то вроде воспаления мозга. Как бы то ни было, «Герцогиню» носило по морю три недели, пока я немного не поправился и не привел ее в Сидней. Во всяком случае, эти негры Малу долго будут помнить, что с белым человеком шутки плохи. Саксторп был действительно неукротим.

Чарли Робертс протяжно свистнул и сказал:

– Еще бы! Ну, а Саксторп, что с ним было потом?

– Он занялся охотой на тюленей, и дела его шли отлично. Лет шесть он плавал на разных шхунах Виктории и Сан-Франциско. На седьмой год в Беринговом море шхуна, на которой он служил, была захвачена русским крейсером, и, говорят, всю команду отправили на соляные копи в Сибирь. Во всяком случае, я больше о нем ничего не слышал.

– Нести цивилизацию в мир... – пробормотал Робертс. – Нести цивилизацию... Что ж, за это стоит выпить! Кто-то должен этим заниматься, я хочу сказать, нести цивилизацию.

Капитан Вудворт потер шрам на своей лысой голове.

– Я уже сделал свое дело, сказал он. – Вот уже сорок лет, как я служу. Это мой последний рейс. Уеду домой – на покой.

– Держу пари, – возразил Робертс, – что вы встретите смерть за штурвалом, а не дома.

Капитан Вудворт без колебаний принял пари, но я думаю, что у Чарли Робертса больше шансов выиграть.

\* \* \*

## НОЧЬ НА ГОБОТО

1

На Гобото собираются торговцы, прибывающие сюда на своих шхунах, и плантаторы с диких и далеких берегов, и все надевают здесь башмаки, облачаются в белые полотняные брюки и прочие атрибуты цивилизации. На Гобото приходит почта, оплачиваются счета, и здесь почти всегда можно получить газету не более чем пятидневной давности, ибо этот крохотный островок, опоясанный коралловыми рифами и имеющий удобную якорную стоянку, стал, по существу, главным портом и своего рода распределительным центром всего архипелага.

Гобото живет в мрачной, удушливой и зловещей атмосфере, и, хоть это совсем маленький островок, здесь зафиксировано больше случаев острого алкоголизма, чем в любой другой точке земли. На Гувуту (Соломоновы острова) говорят, что там пьют даже в промежутках между выпивками. На Гобото этого не оспаривают. Но, между прочим, замечают, что в истории Гобото о таких промежутках ничего не известно. И еще приводят некоторые статистические данные об импорте, из которых явствует, что Гобото потребляет гораздо больше спиртных напитков на душу населения, чем Гувуту. Гувуту объясняет это тем, что

Гобото ведет более крупные дела и там больше приезжих. Гобото возражает на это, что по численности населения он уступает Гувуту, но зато приезжающие сюда больше страдают от жажды. Спору этому конца не видно, и прежде всего потому, что спорщики слишком быстро сходят в могилу, так ни до чего и не договорившись.

Гобото невелик. Остров имеет лишь четверть мили в поперечнике, и на этой четверти мили расположились адмиралтейские навесы для угля (несколько тонн угля лежат тут вот уже двадцать лет), бараки для горстки чернокожих рабочих, большой магазин и склад, крытые железом, и бунгало, в котором живут управляющий и два его помощника. Эти трое и составляют белое население острова. Одного из трех всегда трясет лихорадка. Работать на Гобото нелегко. Как и все Компании, обосновавшиеся на островах, здешняя Компания взяла за правило угощать своих клиентов, и обязанность угощать ложится на управляющего и его помощников. Круглый год торговцы и вербовщики, прибывающие сюда из далеких и «сухих» рейсов, и плантаторы со столь же далеких и «сухих» берегов высаживаются на Гобото, мучимые великой и неутолимой жаждой. Гобото – Мекка кутил, и, упившись до бесчувствия, приезжие возвращаются на свои шхуны и плантации, чтобы отдохнуть и восстановить силы.

Иным, менее выносливым, нужна по крайней мере шестимесячная передышка, прежде чем они в состоянии вновь посетить Гобото. Но управляющему и его помощникам такой передышки не полагается. Они привязаны к своему месту; день за днем, неделя за неделей с муссоном или юго-восточным пассатом приходят шхуны, груженные копррой, «растительной слоновой костью», перламутром, морскими черепаками и жаждой.

Работать на Гобото очень тяжело. Поэтому служащим здесь платят вдвое больше, чем на других факториях, и именно поэтому Компания отбирает для работы на Гобото самых смелых и неустрашимых людей. Мало кто может протянуть здесь хотя бы год; либо его чуть живого увозят обратно в Австралию, либо его останки зарывают в песок на противоположной, подветренной стороне острова.

Джонни Бэссет, почти легендарный герой Гобото, побил все рекорды. Джонни получал деньги, которые присылали с родины; обладая совершенно удивительным здоровьем, он протянул целых семь лет. Выполняя его предсмертную волю, помощники заспиртовали его в бочке с ромом (купленной на их собственные сбережения) и отправили бочку к его родным в Англию.

И тем не менее на Гобото старались быть джентльменами. Пусть у них есть кое-какие грешки на совести, но все же они джентльмены и всегда были таковыми. Вот почему на Гобото существовал великий неписанный закон, согласно которому человек, сходя на берег, должен надевать брюки и башмаки. Короткие штаны, лава-лава и голые ноги были просто неприличны. Когда капитан Йенсен, самый отчаянный из всех вербовщиков, хоть и происходил из почтенной нью-йоркской семьи, решил сойти на берег в набедренной повязке, нижней рубашке, с двумя пистолетами и ножом за поясом, ему предложили одеться. Это произошло еще во времена Джонни Бэссета, человека весьма щепетильного в вопросах этикета. Стоя на корме своего вельбота, капитан Йенсен громогласно утверждал, что у него на шхуне штанов нет; при этом он подтвердил свое намерение сойти на берег. Потом его заботливо лечили на Гобото от пулевого ранения в плечо и даже принесли извинения за причиненное беспокойство, так как на его шхуне штанов действительно не оказалось. Наконец, когда капитан Йенсен поднялся с постели, Джонни Бэссет очень вежливо, но твердо помог гостю облачиться в брюки из своего собственного гардероба. Это был великий прецедент, и в последующие годы этикет никогда не нарушался. Отныне белый человек и брюки были неотделимы друг от друга. Только чернокожие бегали голыми. Брюки стали символом касты.



Этот вечер был бы таким же, как и все остальные вечера, если бы не одно происшествие. Их было семеро; целый день они тянули шотландское виски с умопомрачительными коктейлями, и хоть глаза у них блестели, они еще твердо держались на ногах; потом все семеро сели обедать. На них были куртки, брюки и башмаки. Тут были: Джерри Мак-Мертрей, управляющий; Эдди Литл и Джек Эндрюс, помощники; капитан Стейплер с вербовочного кеча «Мери»; Дарби Шрайлтон, плантатор с Тито-Ито; Питер Джи, наполовину англичанин, наполовину китаец, скупавший жемчуг на островах от Цейлона до Паумоту, и, наконец, Альфред Дикон, который прибыл сюда с последним пароходом. Сначала чернокожий слуга принес вино для тех, кто хотел вина, но вскоре они снова перешли на шотландское виски с содовой и обильно смачивали каждый кусок, прежде чем отправить его в свои затвердевшие, сожженные спиртом желудки.

Когда они пили кофе, послышался грохот якорной цепи, скользящей по клюзу: прибыло какое-то судно.

– Это Дэвид Гриф, – заметил Питер Джи.

– Откуда вы знаете? – грубо спросил Дикон и, не желая согласиться с метисом, заявил: – Все вы такие, чуть что, норовите пустить новичку пыль в глаза. Я сам немало поплавал на своем веку и считаю пустым бахвальством, когда мне говорят название судна, едва завидев парус, или называют по имени капитана, лишь услышав, как гремит якорная цепь его судна; это... это совершеннейшая ерунда.

Питер Джи зажигал в это время сигарету и промолчал.

– Я знал чернокожих, которые проделывают совершенно удивительные вещи, – тактично вставил Мак-Мертрей.

Поведение Дикона раздражало и управляющего и остальных свидетелей этой сцены. С той минуты, как Питер Джи прибыл сюда, Дикон все время старался как-нибудь задеть его. Он придирался к каждому его слову и вообще был очень груб.

– Может быть, это потому, что у Питера есть примесь китайской крови? – предположил Эндрюс. – Дикон – австралиец, а ведь известно, какие они сумасброды, когда речь идет о цвете кожи.

– Думаю, что вы правы, – согласился Мак-Мертрей. – Но мы не допустим, чтобы так оскорбляли человека, особенно такого, как Питер Джи, который белее многих белых.

И управляющий был прав. Питер Джи, этот евразиец, был редким человеком, добрым и умным. Хладнокровие и честность его китайских предков уравновешивали безрассудство и распущенность его отца-англичанина. Кроме того, он был образованнее, чем любой из присутствующих, говорил на хорошем английском языке, равно как и на нескольких других языках, и больше соответствовал их идеалу джентльмена, чем они сами. Наконец, он был добрая душа. Он ненавидел насилие, хотя в свое время ему приходилось убивать людей, ненавидел драки и избегал их, как чумы.

Капитан Стейплер поддержал Мак-Мертрея.

– Помню, когда я перешел на другую шхуну и прибыл на ней в Альтман, чернокожие сразу же узнали, что это я. Меня там не ждали, тем более на другом судне. Они сказали торговому агенту, что шхуну веду я. Тот взял бинокль и заявил, что они ошибаются. Но они не

ошиблись. Потом они сказали, что узнали меня по тому, как я управлял шхуной.

Дикон словно не слышал Стейплера и продолжал приставать к скупщику жемчуга.

– Каким образом вы могли узнать по грохоту цепи, что подошел именно этот... как его там зовут?.. – вызывающе спросил он.

– Тут очень много всего, что позволяет прийти к этому выводу, – ответил Питер Джи. – Не знаю даже, как вам это объяснить. Об этом можно написать целую книгу.

– Так я и думал, – ухмыльнулся Дикон. – Ничего нет проще, как дать объяснение, которое ничего не объясняет.

– Кто хочет партию в бридж? – прервал его Эдди Литл, помощник управляющего; он выжидательно смотрел на присутствующих и уже начал тасовать карты. – Питер, вы будете играть, не правда ли?

– Если он сядет сейчас за бридж, значит, он просто болтун, – отрезал Дикон. – В конце концов мне надоел весь этот вздор. Мистер Джи, вы весьма обяжете меня и поддержите свою репутацию честного человека, если объясните, каким образом вы узнали, чей корабль отдал сейчас якорь. А потом мы сыграем с вами в пикет.

– Я предпочел бы бридж, – ответил Питер. – Что касается вашего вопроса, то дело, в общем, обстоит так: по звуку якорной цепи я определяю, что это небольшое судно, без прямых парусов. Не было слышно ни гудка, ни сирены – опять-таки небольшое судно. Оно подошло чуть не к самому берегу. Еще одно указание на то, что это небольшое судно, ибо пароходы и большие парусники отдают якорь, не доходя до мели. Далее, вход в бухту очень извилист, и ни один капитан на всем архипелаге, будь он с вербовочного или торгового судна, не отважится войти в бухту после наступления темноты. И тем более, если он не местный. Правда, есть два исключения. Одно из них Маргонвилл, но его казнили по приговору суда на Фиджи. Остается Дэвид Гриф. Он заходит в бухту днем и ночью, в любую погоду. Все это знают. Если бы Гриф был сейчас где-нибудь далеко, мы могли бы предположить, что это какой-нибудь отчаянный молодой шкипер. Но, во-первых, о таком шкипере нам ничего не известно. А, во-вторых, Гриф плавает сейчас в этих водах на «Гунге» и скоро отправится на Каро-Каро. Позавчера я был на «Гунге» в проливе Сэнд-флай и разговаривал с ним. Он привез на новую факторию торгового агента. Гриф сказал, что сначала он зайдет в Бабо, а потом прибудет на Гобото. Ему давно пора быть здесь. Я слышал, как отдали якорь. Кому же еще быть, как не Дэвиду Грифу? Командует «Гунгой» капитан Доновен, и я знаю, что он не подойдет к Гобото в темноте, когда на судне нет хозяина. Вот увидите, не пройдет и нескольких минут, как в дверях появится Дэвид Гриф и скажет: «В Гувуту пьют даже в промежутках между выпивками». Держу пари на пятьдесят фунтов, что сейчас войдет именно он и скажет: «В Гувуту пьют даже в промежутках между выпивками».

На миг Дикон был сокрушен. От гнева кровь бросилась ему в лицо.

– Отлично! Он ответил вам. – Мак-Мертрей добродушно рассмеялся. – И я сам поддержу пари на пару соверенов.

– Кто хочет сыграть в бридж? – нетерпеливо крикнул Эдди Литл. – Питер, идите сюда!

– Вы играйте в бридж, а мы перекинемся в пикет, – заявил Дикон.

– Я предпочитаю бридж, – мягко возразил Питер Джи.

– Вы не играете в пикет?

Скупщик жемчуга кивнул.

– Тогда начнем! И, может быть, я докажу вам, что в пикете смыслу больше, чем в якорях.

– Но позвольте... – начал было Мак-Мертрей.

– Вы можете играть в бридж, – перебил его Дикон, – а мы предпочитаем пикет.

Питер Джи сел за игру очень неохотно; он словно чувствовал, что она могла плохо кончиться.

– Только один роббер, – сказал он, снимая колоду перед сдачей.

– По сколько будем играть? – спросил Дикон.

Питер Джи пожал плечами.

– По сколько хотите.

– Сто на кон – пять фунтов партия?

Питер Джи согласился.

– При недоборе больше чем наполовину, конечно, десять фунтов?

– Хорошо, – сказал Питер Джи.

Четверо сели за другой стол играть в бридж. Капитан Стейплер в карты не играл и время от времени наполнял шотландским виски высокие стаканы, что стояли справа у каждого игрока. Мак-Мертрей, плохо скрывая беспокойство, следил за тем, как шла игра в пикет. На его товарищевой англичан тоже весьма неприятно действовало поведение австралийца, и они опасались какой-нибудь выходки с его стороны. Всем было ясно, что он ненавидит Питера Джи и в любой момент может затеять ссору.

– Надеюсь, что Питер проиграет, – тихо сказал Мак-Мертрей.

– Едва ли, разве если карта совсем не пойдет, – ответил Эндрюс. – В пикет он играет, как бог. Знаю по собственному опыту.

Питеру Джи явно везло, потому что Дикон все время бранился, то и дело наливая себе виски. Он проиграл первую партию и, судя по его отрывистым замечаниям, проигрывал вторую, когда дверь открылась и в комнату вошел Дэвид Грифф.

– В Гувуту пьют даже в промежутках между выпивками, – сказал он и пожал руку управляющему. – Здорово, Мак! Понимаешь, мой шкипер сидит в вельботе. У него есть шелковая рубашка, галстук и теннисные туфли, одним словом, все как полагается, но он просит прислать ему пару брюк. Мои ему слишком малы, но ваши будут впору. Здорово, Эдди! Ну как твоя нгари-нгари? Джек, ты здоров? Просто чудеса! Никого не трясет лихорадка, и никто не пьян! – Грифф вздохнул. – Наверно, еще слишком рано. Здорово, Питер! Знаешь, через час, после того как ты ушел в море, налетел шквал. Он захватил вас? Нам пришлось бросить второй якорь. – Пока Гриффа познакомили с Диконом, Мак-Мертрей велел мальчику-слуге отнести брюки, и, когда капитан Доновен вошел в комнату, он имел такой вид, какой и должен иметь белый человек – по крайней мере на Гобото.

Дикон проиграл вторую партию. Об этом возвестил новый взрыв брани. Питер Джи молча закурил сигарету.

– Что? Вы выиграли и хотите бросить игру? – свирепо спросил Дикон.

Грифф вопросительно поднял брови и взглянул на Мак-Мертрея, который сердито нахмурился в ответ.

– Роббер окончен, – ответил Питер Джи.

– Роббер состоит из трех партий. Мне сдавать. Начали!

Питер Джи уступил, и третья партия началась.

– Щенок, ему нужна плетка, – прошептал Мак-Мертрей Грифу. – А ну, ребята, кончай игру! Я присмотрю за этим малым. Если он зайдет слишком далеко, я выкину его вон, и плевать я хотел на инструкции.

– Кто это? – спросил Гриф.

– Прибыл с последним пароходом. Компания распорядилась встретить его как можно лучше. Он хочет вложить деньги в плантацию. Компания предоставила ему кредит на десять тысяч фунтов. Он бредит «Австралией только для белых». Думает, что если у него белая кожа, а папаша был когда-то генеральным прокурором британского содружества, значит, он может хамить. Вот и пристаёт к Питеру, а ведь вы знаете, что Питер – самый миролюбивый человек в мире. К черту Компанию! Я не обязан нянчить ее молокососов с банковскими билетами. Налейте себе, Гриф. Это негодяй, отъявленный негодяй.

– Может быть, он еще слишком молод? – заметил Гриф.

– Он просто не умеет пить. – Управляющий весь кипел гневом. – Если он поднимет на Питера руку, я его так отделаю, что век не забудет, паршивец этакий!

Питер Джи опустил доску, на которой записывал очки, и откинулся на спинку стула. Он выиграл третью партию. Питер посмотрел на Эдди и сказал:

– Теперь я могу играть с вами в бридж.

– Может быть, продолжим? – проворчал Дикон.

– Нет, я, право же, устал от этой игры, – сказал Питер Джи со свойственным ему спокойствием.

– Давайте сыграем еще партию, – настаивал Дикон. – Еще одну. Это же сущий разбой. Я проиграл пятнадцать фунтов. Либо проиграю вдвое больше, либо каждый останется при своих.

Мак-Мертрей хотел было вмешаться, но Гриф остановил его взглядом.

– Если действительно в последний раз, то я согласен, – сказал Питер Джи, собирая карты. – Кажется, мне сдавать. Если я правильно понял, ставка – пятнадцать фунтов. Либо вы будете мне должны тридцать фунтов, либо мы в расчете.

– Вот именно! Либо ничья, либо я плачу вам тридцать фунтов.

– Что, попало? – заметил Гриф, пододвигая стул.

Остальные стояли или сидели вокруг стола, а Дикону опять не везло. Было очевидно, что он умеет играть и играет хорошо. К нему просто не шла карта. Но он не умел сохранять хладнокровие, когда проигрывал. Он так и сыпал грубыми, отвратительными ругательствами и все время нападал на невозмутимого Питера Джи. Когда Питер уже закончил игру, у Дикона не было даже пятидесяти очков. Он не произнес ни слова и злобно посмотрел на своего противника.

– Кажется, недобор, – сказал Гриф.

– Значит, проигрыш вдвойне, – заметил Питер Джи.

– Без вас знаю, – огрызнулся Дикон. – Я учил арифметику. И должен вам сорок пять фунтов. Забирайте!

И он грубо швырнул на стол девять пятифунтовых банкнот, что само по себе было оскорблением. Однако Питер Джи оставался невозмутим и даже виду не подал, что его это как-то задевает.

– Дуракам счастье, но скажу вам по чести, что в карты играть вы все-таки не умеете, – продолжал Дикон. – Я показал бы вам, что значит играть в карты.

Питер Джи усмехнулся и, кивая головой, молча сложил деньги.

– Есть одна маленькая игра, которую называют казино, – не знаю, слышали ли вы о ней, – совсем детская игра.

– Я видел, как в нее играют, – мягко сказал Питер Джи.

– Что такое? – рявкнул Дикон. – Уж не хотите ли вы сказать, что умеете в нее играть?

– О нет, ни в коем случае. Боюсь, для меня это слишком сложно.

– Отличнейшая игра казино, – непринужденно вмешался Гриф. – Я очень люблю ее.

Дикон не удостоил его даже взглядом.

– Я сыграю с вами по десять фунтов партия, до тридцати одного, – заявил Дикон. – И докажу вам, как мало вы смыслите в картах. Начнем. Где полная колода?

– Нет, благодарю вас, – ответил Питер Джи. – Меня ждут партнеры, мы будем играть в бридж.

– Да, да, идите к нам, – встрепенулся Эдди Литл. – И давайте начнем.

– Испугались маленького казино! – издевался Дикон. – Может быть, ставка слишком высока? Ну, так будем играть на пенсы и фартинги, если вам угодно.

Поведение австралийца было оскорбительно для всех присутствующих. И Мак-Мертрей не выдержал.

– Перестаньте, Дикон! Он же сказал, что не хочет играть. Оставьте его в покое.

Дикон свирепо повернулся к хозяину, но прежде чем он успел разразиться ругательствами, вмешался Гриф.

– Мне бы хотелось сыграть с вами в казино, – сказал он.

– Что вы понимаете в казино?

– Совсем немного, но я с удовольствием поучусь.

– Сегодня я не даю уроков на пенсы.

– Прекрасно! – ответил Гриф. – Я согласен почти на любую ставку... конечно, в разумных пределах.

Дикон решил отделаться от этого назойливого человека одним ударом.

– Мы сыграем по сто фунтов за партию, если вас это устраивает.

Гриф выразил свой полнейший восторг.

– Чудесно! Великолепно! Давайте начнем. Вы мелочь считаете?

Дикон был ошарашен. Он никак не ожидал, что гоботский торговец примет его предложение.

– Так вы мелочь считаете? – повторил Гриф.

Между тем Эндрюс принес новую колоду и выбросил джокера.

– Конечно, нет, – ответил Дикон. – Так играют только пай-мальчики.

– Прекрасно, – согласился Гриф. – Я тоже не люблю играть, как пай-мальчики.

– Значит, не любите? Ну что ж, тогда я вам предложу одну вещь: будем играть по пятьсот фунтов партия.

И Дикон снова был ошарашен.

– Согласен, – сказал Гриф, начиная тасовать карты. – Сначала идет вся масть и пики, потом большое и малое казино и, наконец, тузы, по старшинству, как в бридже. Согласны?

– Да я вижу, вы здесь ребята не промах, – засмеялся Дикон, но смех его звучал неестественно. – Откуда я знаю, есть ли у вас деньги?

– А откуда я знаю, что они есть у вас? Мак, какой кредит может мне предоставить Компания?

– Такой, какой вам нужно.

– Вы лично гарантируете это? – спросил Дикон.

– Ну, конечно, гарантирую. И будьте спокойны, Компания учтет его вексель на гораздо большую сумму, чем ваш чек.

– Снимите, – сказал Гриф, кладя колоду карт перед Диконом на стол.

Недоверчиво глядя на лица присутствующих, Дикон нерешительно начал снимать. Помощники управляющего и капитаны ободряюще кивнули.

– Я никого из вас не знаю, – жаловался Дикон. – Как я могу быть уверен? Вексель – это еще не деньги.

Тогда Питер Джи достал из кармана бумажник и, попросив у Мак-Мертрея авторучку, стал писать.

– Я еще ничего не купил, – сказал он, – значит, вся сумма лежит на моем счете. Гриф, я переведу ее на ваше имя. Здесь пятнадцать тысяч. Вот посмотрите.

Дикон перехватил чек, когда его передавали через стол, медленно прочитал и посмотрел на Мак-Мертрея.

– Чек надежный?

– Вполне. Такой же надежный, как ваш. И вообще бумаги Компании всегда надежны.

Дикон снял колоду и тщательно перетасовал карты. Первым сдавал он. Но ему по-прежнему не везло, и он проиграл первую партию.

– Сыграем еще, – сказал он. – Мы не договорились, сколько партий будем играть, и вы не можете бросить игру, когда я проигрываю. Будем дерзать.

Гриф стасовал карты и протянул колоду Дикону, чтобы тот снял.

– Давайте играть на тысячу, – сказал Дикон, проиграв вторую партию. И когда ставка в тысячу фунтов была проиграна так же, как перед этим две по пятьсот, он предложил играть на две тысячи.

– Ведь это прогрессия, – предостерегающе заявил Мак-Мертрей и тут же встретил ненавидящий взгляд Дикона. Однако управляющий был настойчив. – Вы умный человек и не соглашайтесь на удвоение ставок.

– Кто здесь играет, вы или он? – злобно выкрикнул Дикон, потом, обращаясь к Грифу, сказал: – Я проиграл две тысячи?

Гриф кивнул в знак согласия, началась четвертая партия, и Дикон выиграл. Каждый понимал, что, постоянно удваивая ставки, он вел нечестную игру. Хотя Дикон проиграл три партии из четырех, он не потерял ни пенса. Прибегая к этой детской уловке и удваивая ставки при каждом проигрыше, он рано или поздно должен был полностью отыгаться при первом же выигрыше.

Было видно, что он не прочь прекратить игру, но Гриф снова протянул ему колоду.

– Как? – закричал Дикон. – Вы еще хотите?

– Я же ничего не выиграл, – капризно, словно оправдываясь, пробормотал Гриф, начиная сдавать. – Играем, как сначала, по пятьсот фунтов?

До Дикона, очевидно, дошло, что он ведет себя недостойно, и он ответил:

– Нет, продолжим по тысяче. И потом игра до тридцати одного тянется очень долго. Почему бы нам не сыграть до двадцати одного, если для вас это не слишком быстро?

– Это будет чудесная быстрая игра, – согласился Гриф.

Дикон играл в прежней манере. Он проиграл две партии, удвоил ставку и опять вернул проигранное. Но Гриф был терпелив, хотя та же самая история повторилась на протяжении часа несколько раз. Наконец произошло то, чего он так долго ждал: Дикон проиграл подряд несколько партий. Он удвоил ставку до четырех тысяч, потом до восьми – и проиграл опять, тогда он предложил удвоить ставку до шестнадцати тысяч.

Гриф отрицательно покачал головой.

– Вы же не можете играть на такую сумму. Компания предоставила кредит только на десять тысяч.

– Значит, вы не дадите мне отыгаться? – хрипло спросил Дикон. – Отобрали у меня восемь тысяч фунтов и бросаете карты? Надо дерзать!

Гриф, улыбаясь, покачал головой.

– Но это же грабеж, настоящий грабеж! – кричал Дикон. – Вы забрали мои деньги и не даете мне отыгаться.

– Нет, вы ошибаетесь. Можете играть. У вас осталось еще две тысячи фунтов.

– Хорошо, мы сыграем на них, – прервал его Дикон. – Снимите.

Игра шла в полной тишине, которую прерывали лишь гневные выкрики и ругательства Дикона. Зрители молчаливо потягивали виски и снова наполняли стаканы.

Гриф не обращал внимания на своего беснующегося противника и играл очень сосредоточенно. В колоде было пятьдесят две карты, которые надо помнить, и он их помнил. Партия после последней сдачи была почти сыграна; Гриф бросил карты.

– Я кончил, – сказал он. – У меня двадцать семь.

– А если вы ошиблись? – угрожающе сказал Дикон; его лицо побледнело и вытянулось.

– Тогда я проиграл. Считайте.

Гриф пододвинул ему свои взятки, и Дикон начал пересчитывать их дрожащими пальцами. Потом он отодвинулся от стола, осушил стакан виски и огляделся: все смотрели на него с неприязнью.

– Кажется, со следующим пароходом мне надо ехать в Сидней, – сказал он, и впервые за весь день голос его прозвучал спокойно, без раздражения.

Впоследствии Гриф рассказывал:

– Если бы он начал хныкать или поднял гвалт, я бы ни за что не дал ему этого последнего шанса, но он вел себя, как подобает мужчине, и я не мог отказать ему в этом.

Дикон взглянул на часы, сделал вид, что зевает, и начал подниматься.

– Подождите, – сказал Гриф. – Может быть, вы еще хотите отыгаться?

Дикон опустил на стул, хотел что-то сказать, но не мог, он только облизал пересохшие губы и кивнул головой.

– Утром капитан Доновен уходит на «Гунге» на Каро-Каро, – начал Гриф таким тоном, словно говорил о чем-то совершенно не относящимся к делу. – Каро-Каро – это песчаная отмель посреди моря, на которой стоят несколько тысяч кокосовых пальм. Еще там растет пандус, но ни сладкий картофель, ни таро развести не удастся. На острове живут около восьмисот туземцев, король и два премьер-министра, причем только эти двое носят кое-какую одежду. Это забытая богом дыра, и раз в год я посылаю туда с Гобото шхуну. Питьевая вода там, правда, солоновата на вкус, но старый Том Батлер пьет ее вот уже двенадцать лет и держится. Он там единственный белый. У него есть шлюпка и пятеро гребцов с островов Санта-Крус, которые – дай им только волю – немедленно бы сбежали или прикончили Тома. Потому-то их и послали на Каро-Каро. Оттуда не сбежишь. Ему посылают с плантаций самых буйных. Там нет миссионеров. Двух учителей туземцы с Самоа забили насмерть палками, едва они сошли на берег.

Вы, конечно, удивлены, зачем я все это рассказываю. Наберитесь терпения. Так вот, завтра утром капитан Доновен отправится в свой ежегодный рейс на Каро-Каро. Том Батлер стар, ему уже трудно вести дела. Я предлагал ему вернуться в Австралию, но он не соглашается, говорит, что хочет умереть на Каро-Каро; так оно и будет через год-два. Старый чудак! Но теперь туда пора послать кого-нибудь помоложе, чтобы он заменил там Батлера. Как вам нравится эта работа? Вам пришлось бы пробыть там два года.

Подождите! Я еще не кончил.

Сегодня вы много говорили о том, что надо дерзать. А что дерзновенного в том, чтобы просаживать деньги, которые не стоили тебе ни капли пота? Проигранные вами десять тысяч достались вам от отца или какого-нибудь родственника, которому, наверно, пришлось немало



попотеть, прежде чем он их заработал. Но если вы пробудете два года на Каро-Каро в качестве агента, это уже кое-что значит. Я ставлю десять тысяч фунтов, которые выиграл у вас, против вашего обязательства провести два года на Каро-Каро. Если вы проиграете, то поступаете ко мне на службу и завтра утром отправляетесь на остров. Вот это можно назвать настоящим дерзновением. Будете играть?

Дикон не мог выговорить ни слова. У него застрял комок в горле, и, беря карты, он только кивнул головой.

– Одну минуту, – сказал Гриф. – Я даже пойду вам навстречу. Если вы проиграете, то два года вашей жизни принадлежат мне – безо всякого жалованья. Если вы будете хорошо работать, будете выполнять все правила и инструкции, то за два года заработаете у меня десять тысяч фунтов, по пять тысяч фунтов в год. Деньги будут депонированы на счет Компании и по истечении срока выплачены вам с процентами. Вас это устраивает?

– Даже больше, чем устраивает, – с трудом выдавил из себя Дикон. – Но вы же идете на явный убыток. Агент получает каких-нибудь десять – пятнадцать фунтов в месяц.

– Отнесем это за счет дерзания, – сказал Гриф, как бы давая понять, что говорить тут не о чем. – Но прежде чем начать, я набросаю для вас несколько жизненных правил. Вы будете их повторять вслух каждое утро в течение двух лет – если, конечно, проиграете. Они пойдут вам на пользу. Я уверен, что, когда вы их повторите на Каро-Каро семьсот тридцать раз, они навсегда врежутся в вашу память. Мак, дайте мне, пожалуйста, вашу ручку. Итак...

Несколько минут он кое-что быстро писал, а потом начал читать вслух:

«Я должен раз и навсегда запомнить, что каждый человек достоин уважения, если только он не считает себя лучше других».

«Как бы я ни был пьян, я должен оставаться джентльменом. Джентльмен – это человек, который всегда вежлив. Примечание: лучше не напиваться пьяным».

«Играя с мужчинами в мужскую игру, я должен вести себя, как мужчина».

«Крепкое словцо, вовремя и к месту сказанное, облегчает душу. Частая ругань лишает ругательство смысла. Примечание: ругань не сделает карты хорошими, а ветер – попутным».

«Мужчине не разрешается забывать, что он мужчина. Такое разрешение не купишь за десять тысяч фунтов».

Когда Гриф начал читать, Дикон побледнел от гнева. Потом шея и лицо его начали багроветь, и он сидел красный, как рак.

– Вот и все, – сказал Гриф, складывая бумагу и бросая ее на середину стола. – Ну как, вы еще хотите играть?

– Так мне и надо, – отрывисто пробормотал Дикон. – Я осел. Мистер Джи, независимо от того, выиграю я или проиграю, мне хотелось бы извиниться перед вами. Может быть, всему виной виски, я не знаю, но я осел, грубиян и хам.

Он протянул Питеру Джи руку, и тот радостно пожал ее.

– Послушайте, Гриф, – воскликнул Джи, – он, право же, парень что надо. Давай кончим это дело, выпьем на прощание и все забудем.

Гриф хотел было что-то возразить, но Дикон крикнул:

– Нет, я этого не допущу. Играть – так играть до конца. И если суждено Каро-Каро, пусть будет Каро-Каро. И хватит об этом.

– Правильно, – сказал Гриф, начиная тасовать колоду. – И если он сделан из крепкого материала, Каро-Каро ему не повредит.

Игра была острая и упорная. Трижды они набирали равное количество взяток и не могли выйти на «мастях». Перед пятой и последней сдачей Дикону не хватало до выигрыша трех очков, а Грифу – четырех. Дикон мог выиграть на одних «мастях». Он больше не ворчал и не ругался и, надо сказать, играл отлично. Неожиданно он бросил два черных туза и туза червей.

– Думаю, что вы можете назвать четыре мои карты? – сказал он, когда колода кончилась и он взял оставшиеся карты.

Гриф кивнул.

– Тогда назовите их.

– Валет пик, двойка пик, тройка червей и туз бубен.

Ни один мускул не дрогнул на лицах зрителей, которые стояли за Диконом и видели его карты. Гриф назвал карты правильно.

– Кажется, вы играете в казино лучше меня, – признал Дикон. – Я могу назвать только три ваших карты; у вас валет, туз и большое казино.

– Неверно. В колоде не пять тузов, а четыре. Вы сбросили трех, а четвертый у вас на руках.

– Клянусь Юпитером, вы правы. Я и правда трех сбросил. И все-таки я наберу на одних «мастях»... Это все, что мне нужно.

– Я отдам вам малое казино... – Гриф замолчал, прикидывая взятки. – Да и туза тоже, а потом сыграю на «мастях» и кончу с большим казино. Играйте!

– "Мастей больше нет, и я выиграл! – возликовал Дикон, когда взял последнюю взятку. – Я кончаю с малым казино и четырьмя тузами. На пиках и большом казино вы набираете только двадцать.

Гриф покачал головой.

– Боюсь, что вы ошибаетесь.

– Не может быть, – уверенно заявил Дикон. – Я считал каждую карту, какую сбрасывал. Это единственное, за что я спокоен. У меня двадцать шесть, и у вас двадцать шесть.

– Пересчитайте, – сказал Гриф.

Дрожащими пальцами, медленно и тщательно Дикон пересчитал взятки. У него было двадцать пять. Он протянул руку к углу стола, взял написанные Грифом правила, сложил их и сунул в карман. Потом он допил свой стакан и встал. Капитан Доновен посмотрел на часы, зевнул и тоже поднялся.

– Вы на шхуну, капитан? – спросил Дикон.

– Да. В котором часу прислать за вами вельбот?

– Я иду сейчас с вами. По дороге захватим с «Билли» мой багаж. Утром я ходил на нем в

Баро.

Все пожелали Дикону удачи на Каро-Каро, и он с каждым попрощался за руку.

– А Том Батлер играет в карты? – спросил он Грифа.

– В солитер, – ответил тот.

– Тогда я научу его двойному солитеру.

Дикон повернулся к двери, где его ждал капитан Доновен, и со вздохом добавил:

– Думаю, он тоже обдерет меня, если играет, как вы, почтенные островитяне.

\* \* \*

## ОБЫЧАЙ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА

– Я пришел приготовить себе ужин на твоём огне и переночевать под твоей крышей, – сказал я, входя в хижину старого Эббитса. Его слезящиеся мутные глаза остановились на мне без всякого выражения, а Зилла скорчила кислую мину и что-то презрительно буркнула вместо приветствия. Зилла, жена старого Эббитса, была самая сварливая и злющая старуха на всем Юконе. Я ни за что не остановился бы у них, но собаки мои сильно утомились, а во всем поселке не было ни души. Хижина Эббитса была единственная, где оказались люди, и потому мне пришлось именно здесь искать приюта.

Старик Эббитс время от времени пытался преодолеть путаницу в мыслях; проблески сознания то вспыхивали, то потухали в его глазах. Пока я готовил себе ужин, он даже несколько раз, как полагается гостеприимному хозяину, начинал осведомляться о моем здоровье, спрашивал, сколько у меня собак и в каком они состоянии, сколько миль я прошел за этот день. А Зилла все больше хмурилась и фыркала еще презрительнее.

Да и то сказать: чему им было радоваться, этим двум старикам, которые сидели, скорчившись у огня? Жизнь их подходила к концу, они были дряхлы и беспомощны, страдали от ревматизма и голода. Вдыхая запах мяса, которое я поджаривал на огне, они испытывали Танталовы муки и качались взад и вперед, медленно, в безнадежном унынии. Эббитс каждые пять минут тихо стонал. В его столах слышалось не столько страдание, сколько усталость от долгих страданий. Угнетенный тяжким и мучительным бременем того, что зовется жизнью, но еще более – страхом смерти, он переживал вечную трагедию старости, когда жизнь уже не радует, но смерть еще не влечет, а пугает.

В то время, как моя оленина шипела и трещала на сковороде, я заметил, как дрожат и раздуваются ноздри старого Эббитса, как жадно он вдыхает аромат жаркого. Он даже на время перестал качаться и кряхтеть, и лицо его приняло осмысленное выражение.

Зилла, напротив, стала качаться еще быстрее и в первый раз выразила свое отчаяние отрывистыми и резкими звуками, похожими на собачий визг. Оба – и она и Эббитс – своим поведением в эту минуту до того напоминали голодных собак, что я ничуть не был бы удивлен, если бы у Зиллы вдруг оказался хвост и она стала бы им стучать об пол, как это делают собаки. У Эббитса даже слюни текли, он то и дело наклонялся вперед, чтобы его трепещущие ноздри были ближе к сковороде с мясом, так сильно возбуждавшим его аппетит.

Наконец я подал каждому из них по тарелке жареного мяса, и они принялись жадно есть,

громко чавкая, причмокивая, непрерывно что-то бормоча себе под нос. Когда все было съедено и чавканье утихло, я дал старикам по кружке горячего чая. Лица их выражали теперь блаженное удовлетворение. Зилла облегченно вздохнула, и угрюмые складки у ее рта разгладились. Ни она, ни Эббитс больше не раскачивались, и, казалось, оба погружены были в тихое раздумье. Я видел слезы в глазах Эббитса и понимал, что это слезы жалости к самому себе. Оба долго искали свои трубки – видно, они давно уже не курили, потому что не было табаку. И старик так спешил насладиться этим наркотиком, что у него руки тряслись – пришлось мне разжечь ему трубку.

– А почему вы одни во всей деревне? – спросил я. – Все остальные вымерли, что ли? Может, здесь была повальная болезнь и выжили только вы двое?

Старый Эббитс покачал головой.

– Нет, никакой болезни не было. Все ушли на охоту, добывать мясо. А мы с Зиллой слишком стары, ноги у нас ослабли, и мы уже не можем нести на спине поклажу, все, что нужно для дороги и лагеря. Вот мы и остались дома. Ждем, чтобы молодые вернулись с мясом.

– А если они и вернутся с мясом, что из того? – резко спросила Зилла.

– Может, они принесут много мяса, – сказал Эббитс, и в его дрожащем голосе звучала надежда.

– А даже если много принесут, нам-то что достанется? – еще суровее возразила женщина. – Несколько костей дадут обглодать – так разве это пища для нас, беззубых стариков? А сало, почки, языки – все это попадет в другие рты.

Эббитс поник головой и тихонько всхлипнул.

– Некому больше охотиться за мясом для нас! – крикнула Зилла с ожесточением, повернувшись ко мне.

Она как будто обвиняла меня в чем-то, и я пожал плечами в знак того, что неповинен в приписываемом мне неизвестном преступлении.

– Так знай же, белый человек: это твои братья, белые, виноваты в том, что мой муж и я на старости лет не имеем мяса и сидим в холоде, без табака.

– Нет, – возразил Эббитс серьезно (у него, видно, чувство справедливости было развито сильнее, чем у его жены), – нет, нас постигло большое горе, это верно. Но белые не желали нам зла.

– А где Моклан? – крикнула Зилла. – Где твой сильный и крепкий сын Моклан? Где рыба, которую он всегда так охотно приносил нам, чтобы мы не голодали?

Старик только покачал головой.

– И где Бидаршик, твой могучий сын? Он был ловкий охотник и всегда приносил тебе спинное сало и вкусные сушеные языки лосей и карibu. А теперь я не вижу больше ни сала, ни вкусных сушеных языков. Твой желудок целыми днями пуст, и накормить тебя пришлось человеку очень дурного и лживого белого племени...

– Нет, – мягко остановил ее Эббитс. – Белые не лгут, они говорят правду. Они всегда говорят правду. – Он помолчал, ища подходящих слов, чтобы смягчить жесткое суждение, которое собирался высказать. – Но правда у белого человека бывает разная. Сегодня он говорит одну, завтра – другую, и невозможно понять его, понять его обычай...

– Говорить сегодня одну правду, а завтра другую – это и значит лгать! – объявил Зилла.

– Нет, белого человека понять невозможно, – упрямо твердил свое Эббитс.

Мясо, чай и табак словно вернули его к жизни, и он крепко уцепился за мысль, всплывшую в мозгу. Мысль эта светилась сейчас в глубине его мутных от старости глаз. Он даже как-то выпрямился, голос его окреп и звучал уверенно, утратив прежние интонации, то жалобные, то ворчливые. Старик обращался теперь ко мне с достоинством, как равный к равному.

– Глаза белого человека открыты, – начал он. – Белый человек видит все, он много думает и очень мудр. Но сегодня он не таков, каким был вчера или будет завтра, и понять его никак невозможно. Он не всегда поступает одинаково, и никто не может знать, как он поступит в следующий раз. Обычай индейца всегда один и тот же. Лось каждый год спускается с гор в долины, когда наступает зима. Лосось всегда приходит весной, когда река освобождается ото льда. На свете все испокон веков совершается одинаково. Индеец знает это, и все ему понятно. А обычай белого человека не всегда один и тот же, и потому индейцу его не понять. Индеец не может знать, как поступит белый.

Вот, к примеру, скажу про табак. Табак – очень хорошая вещь. Он заменяет голодному пищу, он сильного делает сильнее, а тот, кто сердится, за трубкой забывает свой гнев. И потому табак ценится так дорого, очень дорого. Индеец за лист табака дает большого лосося, потому что этот табак он может жевать долго и от сока его становится приятно внутри. А что делает белый? Когда рот его полон табачного сока, он этот сок выплевывает!.. Да, выплевывает прямо на снег, и дорогой сок пропадает даром. Что, белый человек любит табак? Не знаю. Но если любит, зачем же он выплевывает такой дорогой сок? Это непонятно и очень неразумно.

Старый Эббитс умолк и запыхтел трубкой, но, убедившись, что она потухла и ее нужно разжечь, протянул ее жене. И Зилле, чтобы сделать это, пришлось разжать губы, застывшие в язвительной усмешке по адресу белых.

А Эббитс молчал, не докончив своего рассказа. Он снова как будто ослабел под бременем старости. Я спросил:

– А где ваши сыновья Моклан и Бидаршик? Почему ты и твоя жена на старости лет остаетесь без мяса?

Эббитс словно очнулся от сна и с трудом выпрямился.

– Красть нехорошо, – сказал он. – Если собака утащит у тебя кусок мяса, ты бьешь ее палкой. Таков закон. Этот закон человек установил для собаки, и собака должна его соблюдать, иначе палка причинит ей боль. И когда другой человек украдет у тебя мясо, или челнок, или жену, ты убиваешь этого человека. Таков закон, и он справедлив. Воровать нехорошо, поэтому закон говорит: вору – смерть! Кто нарушает закон, должен быть наказан. А самая страшная кара – смерть.

– Но почему же человека вы за кражу убиваете, а собаку нет? – спросил я.

Старый Эббитс посмотрел на меня с искренним изумлением, в котором было что-то детское, а Зилла насмешливой улыбкой дала мне понять, как мой вопрос глуп.

– Да, вот так думают белые люди! – заметил Эббитс.

– Они глупы, эти белые! – отрезала Зилла.

– Так пусть же старый Эббитс поучит меня, белого человека, уму-разуму, – сказал я смиренно.

– Собаку не убивают, потому что она должна тащить нарты. А человек никогда не тащит нарты другого человека, и потому, если он провинился, его можно убить.

– Вот оно что! – пробормотал я.

– Таков закон, – продолжал старый Эббитс. – Теперь слушай, белый человек, я расскажу тебе об одном величайшем безрассудстве. Живет в деревне индеец по имени Мобитс. Украл он у белого два фунта муки. И что же сделал белый? Поколотил Мобитса? Нет. Убил его? Нет. А как же он поступил с Мобитсом? Сейчас узнаешь. У белых есть дом. И он запирает Мобитса в этом доме. У дома крепкая крыша, толстые стены. Белый разводит огонь, чтобы Мобитсу было тепло. Он дает Мобитсу много еды. Никогда в жизни Мобитс не едал такой хорошей пищи. Тут и сало, и хлеб, и бобов сколько душе угодно. Мобитсу живется отлично.

Дверь дома заперта на большой замок, чтобы Мобитс не сбежал. Это тоже очень глупо: зачем Мобитсу бежать, если у него там всегда еды много, и теплые одеяла и жаркий огонь? Дурак бы он был, если бы сбежал! А Мобитс вовсе не дурак.

Три месяца его держали в этом доме. Он украл два фунта муки – и за это белый так хорошо позаботился о нем! Мобитс съел за три месяца не два, а много фунтов муки, много фунтов сахару и сала, а уж бобов – целую уйму. И чаю Мобитсу давали вволю. Через три месяца белый открывает дверь и приказывает Мобитсу уходить. Но Мобитс не хочет. Ведь и собака не уходит оттуда, где ее долгое время кормили. Так и Мобитс не хотел уходить, и белому человеку пришлось его гнать. Вот Мобитс и вернулся к нам в деревню. Он очень разжирел. Так поступает белый человек, и нам его не понять. Ведь это глупо, очень глупо!..

– Но где же твои сыновья? – настойчиво допытывался я. – У тебя сильные сыновья, а ты на старости лет голодаешь?

– Был у нас Моклан, – начал Эббитс.

– Он был очень сильный! – вмешалась Зилла. – Он мог день и ночь грести, не отдыхая. Он знал все повадки лососей и был на реке, как дома. Моклан был очень умен.

– Да, был у нас Моклан, – повторил Эббитс, не обратив внимания на вмешательство жены. – Весною он уплыл вниз по Юкону вместе с другими юношами, чтобы поторговать в форте Кэмбел. Там есть пост, где много всяких товаров белых людей, и есть торговец по имени Джонс. Живет там еще и шаман белых – по-вашему, «миссионер».

А около форта Кэмбел на реке есть опасное место, где Юкон узок, как стан девушки, и вода очень быстрая. Там сталкиваются течения с разных сторон, и в реке водоворот. Людей в этом месте засасывает. Течение все время меняется, и лицо реки никогда не бывает одинаково. А Моклан был мой сын и, значит, храбрый юноша...

– Разве мой отец не был храбрецом? – прервала его Зилла.

– Да, твой отец был храбр, – согласился Эббитс тоном человека, который во что бы то ни стало хочет сохранить мир в семье. – Моклан – твой сын и мой, и он не знал страха. Может быть, потому, что отец у тебя был смельчак из смельчаков, Моклан был тоже чересчур смел. Когда нальешь в горшок слишком много воды, она переливается через край. Так и в Моклане было слишком много смелости, и она переливалась через край.

Юноши, что плыли с ним по Юкону, очень боялись опасной воды у форта Кэмбел. А Моклан не трусил. Он громко засмеялся: «О-хо-хо!» – и поплыл прямо к опасному месту. И там, где течения сталкиваются, его лодка опрокинулась. Водоворот схватил Моклана за ноги. Он кружил его, кружил и тянул вниз. Моклан скрылся под водой, и больше его не видели.

– Ай-ай-ай! – простонала Зилла. – Он был ловок и умен, и он мой первенец!

– Я отец Моклана, – пробормотал Эббитс, терпеливо выждав, пока жена притихнет. – И вот я сажусь в лодку и еду вниз по Юкону, в форт Кэмбел, чтобы получить долг.

– Долг? – переспросил я. – Какой долг?

– Долг с Джонсона, главного торговца, – был ответ. – Таков закон для тех, кто странствует по чужой стране.

Я в недоумении покачал головой, обнаружив этим свое невежество. И Эббитс посмотрел на меня сострадательно, а Зилла, по обыкновению, презрительно фыркнула.

– Ну слушай, белый человек, – сказал старый Эббитс. – К примеру, у тебя в лагере есть собака, и она кусается. Так вот, если она укусит человека, ты подаришь тому человеку что-нибудь, потому что собака – твоя и ты за нее отвечаешь. Ты платишь за вред, который она причинила. Верно? И то же самое бывает, если в твоём краю опасная охота или опасная вода: ты должен платить чужим за вред. Таков закон, и это справедливо. Брат моего отца пошел в страну племени Танана и был там убит медведем. Так разве племя Танана не уплатило за это моему отцу? Оно дало ему много одеял и ценных шкур. Так и следовало. Охота в тех краях опасна, и жители должны были за это заплатить.

Поэтому я, Эббитс, отправился в форт Кэмбел получить долг. А Джонс, главный торговец, посмотрел на меня и рассмеялся. Да, он долго смеялся, и не захотел платить. Тогда я пошел к вашему шаману, тому, кого вы называете «миссионер», и у нас с ним был долгий разговор. Я ему объяснил все про опасную воду и плату, которую мне следует получить. А он говорил о другом. О том, куда ушел Моклан после смерти. Если миссионер не лжет, там горят большие костры, и, значит, Моклану никогда не будет холодно. И еще миссионер толковал о том, куда я пойду, когда умру. Он сказал недобрые слова. Будто я слеп. Но это же ложь! И будто я брожу в великой тьме. И это тоже ложь! Я ответил ему, что день и ночь приходят для всех одинаково, и в моей деревне ничуть не темнее, чем у белых в форте Кэмбел. И еще я сказал, что приехал не за тем, чтобы толковать про тьму и свет, и то место, куда мы уходим после смерти. Мне должны здесь уплатить за опасную воду, убившую моего сына. Тогда миссионер очень рассердился, обозвал меня «темным дикарем» и прогнал. И я вернулся из форта Кэмбел, ничего не получив. Моклан умер, а я на старости лет остался без рыбы и без мяса.

– А все из-за этих белых! – вставила Зилла.

– Да, из-за белых, – согласился Эббитс. – И еще другое случилось по вине белых. Был у нас сын Бидаршик. Белый человек поступил с ним совсем иначе, чем с Ямиканом, а ведь Бидаршик и Ямикан сделали одно и то же. Сперва я расскажу тебе про Ямикана. Молодой Ямикан был из нашей деревни, и случилось так, что он убил белого. Скверное это дело – убить человека другого племени: из-за него потом беды не оберешься. Однако Ямикан не был виноват. На языке у него всегда были добрые слова, и от ссор он бегал, как собака от палки. А белый выпил много виски и ночью пришел в дом к Ямикану. Он стал жестоко драться. Ямикан не мог от него убежать, и белый хотел его убить. Но Ямикану не хотелось умирать, и он убил белого человека.

Вся деревня была в большой тревоге. Мы очень боялись, что придется много заплатить родне убитого. И мы попрятали одеяла, и меха, и все наше добро, чтобы белые думали, что мы бедняки и не можем дорого заплатить. Прошло немало времени, и вот пришли белые. Это были воины. Солдаты, по-вашему. Они увели Ямикана. Мать громко оплакивала его и посыпала волосы пеплом. Она была уверена, что Ямикана уже нет в живых. Да и вся деревня думала так и радовалась, что белые ничего с нас не взяли.

Случилось все это весной, когда река освободилась от льда. Прошел год, потом еще год.

Опять наступила весна, и лед с реки сошел. И вот Ямикан, которого все считали мертвым, вернулся к нам живой. Он очень растолстел: видно было, что он все это время спал в тепле и ел досыта. У него было теперь много красивой одежды, и он был мудр, совсем как белый человек. Очень скоро он стал вождем нашей деревни.

Ямикан рассказывал много удивительного про обычаи белых: ведь он долго жил среди них и совершил далекое путешествие в их страну. Сначала белые солдаты долго везли его вниз по Юкону, очень далеко, туда, где река кончается и впадает в озеро, которое больше всей земли и такое же широкое, как небо. Я и не знал, что Юкон течет так далеко, но Ямикан это видел собственными глазами. Не верилось мне также, что есть такое озеро – больше всей земли и широкое, как небо. Но Ямикан его видел. И еще он говорил мне, что вода в этом озере соленая, – а это уже совсем удивительно и непонятно...

Однако тебе, белый человек, все эти чудеса известны, и я не стану утомлять тебя беседой о них. Расскажу только о том, что случилось с Ямиканом. Белые очень хорошо кормили его. Ямикан все время ел, и ему давали все больше хорошей пищи. Белые люди живут в солнечной стране, так рассказывает Ямикан, там очень тепло и тела зверей покрыты не мехом, а волосом. В полях зелень высокая, густая, вот откуда у белых берется мука, и бобы, и картофель. И в той стране под солнцем никогда не бывает голода. Там всегда много еды. Я об этом ничего не знаю... Но так говорил Ямикан.

Да, странно все то, что случилось с Ямиканом. Белые люди не причинили ему никакого зла. Давали ему все время теплую постель ночью и много вкусной пищи днем. Они повезли его через Соленое озеро, огромное, как небо. Он плыл на огненной лодке белых, которая по-вашему зовется «пароход», и этот пароход был раз в двадцать больше, чем тот, что плавает по Юкону. Сделан он из железа, а все-таки не тонет. Не понимаю, как это возможно, но Ямикан говорит: «Я же плавал далеко на этой железной лодке – и вот видите, я жив». Это военное судно белых, на нем множество солдат.

Плавание продолжалось много-много дней и ночей, и вот Ямикан приехал в страну, где нет снега. Этому трудно поверить. Не может быть, чтобы зимою не выпадал снег. Но Ямикан это видел. Я спрашивал потом белых, и они тоже говорят, что в этой стране снега никогда не бывает. Но мне все еще не верится, и потому я хочу спросить у тебя: правда ли это? И еще скажи ты мне, белый человек, как называется та страна. Я когда-то слышал ее название, но хочу услышать его еще и от тебя, тогда я буду знать, правду мне говорили или ложь.

Старый Эббитс смотрел на меня с беспокойством. Он решил во что бы то ни стало узнать правду, как ни хотелось ему сохранить веру в невиданное никогда чудо.

– Да, – сказал я ему. – То, что ты слышал, правда. В той стране не бывает снега, а зовется она Калифорнией.

– Кали-фор-ния, – отдельно повторил он несколько раз, напряженно вслушиваясь в то, что произносил. И наконец утвердительно кивнул головой.

– Да, значит, это та самая страна, про которую рассказывал нам Ямикан.

Я догадывался, что случай с Ямиканом, очевидно, произошел в те годы, когда Аляска только что перешла к Соединенным Штатам: тогда здесь еще не было власти на местах и территориальных законов, и виновных в убийстве, видимо, отсылали в Штаты, чтобы там судить федеральным судом.

– Когда Ямикан очутился в этой стране без снега, – продолжал старый Эббитс, – его привели в большой дом, полный людей. Люди эти долго говорили что-то и задавали Ямикану много вопросов. Потом объявили ему, что ему больше ничего плохого не сделают. Ямикана это удивило: ведь ему и до того ничего плохого не делали, все время давали еды вволю и теплую



постель. А с того дня его стали кормить еще лучше, давали ему деньги и возили по разным местам в той стране белых людей. И он видел много удивительного, много такого, чего не в силах понять я, Эббитс, потому что я старик и никуда далеко не ездил. Через два года Ямикан вернулся в нашу деревню. Он стал очень мудр и до самой смерти был нашим вождем.

Пока он был жив, он часто сиживал у моего огня и рассказывал про чудеса, которые довелось ему видеть. Бидаршик, мой сын, тоже сидел у огня и слушал с широко раскрытыми глазами.

Раз ночью, когда Ямикан ушел домой, Бидаршик встал, выпрямился во весь свой высокий рост, ударил себя кулаком в грудь и сказал:

– Когда я стану мужчиной, я отправлюсь путешествовать в дальние края и даже в ту страну, где нет снега. Я хочу увидеть все своими глазами.

– Бидаршик не раз ездил в дальние места, – с гордостью сказала Зилла.

– Это верно, – торжественно подтвердил Эббитс. – А когда возвращался, сидел у огня и томился жаждой увидеть еще другие, неизвестные ему земли.

– Он постоянно поминал про Соленое озеро величиной с небо и про ту страну, где не бывает снега, – добавила Зилла.

– Да, – сказал Эббитс. – Он часто твердил: «Когда я наберусь сил и стану настоящим мужчиной, я отправлюсь туда и сам увижу, правда ли все то, что говорит Ямикан».

– Но не было никакой возможности попасть в страну белых, – заметила Зилла.

– Разве он не поплыл по Юкону до Соленого озера, большого, как небо? – возразил ей муж.

– Да, но перебраться через это озеро в страну солнца ему не удалось.

– Для этого надо было попасть на железный пароход белых, который в двадцать раз больше тех, что ходят по Юкону, – пояснил Эббитс (он сердито покосился на Зиллу, видя, что ее увядшие губы опять разжались для какого-то замечания. И она не решилась ничего сказать).

– Но белый человек не пустил Бидаршика на свой пароход, и мой сын вернулся домой.

Он сидел у огня и тосковал по той стране, где нет снега.

– А все-таки он побывал у Соленого озера и видел пароход, который не тонет, хотя он железный! – воскликнула неукротимая Зилла.

– Да, – подтвердил Эббитс. – И он узнал, что Ямикан говорит правду. Но у Бидаршика не было никакой возможности попасть в страну белых. И он затосковал и постоянно сидел у огня, как старый, больной человек. Он не ходил больше на охоту добывать мясо.

– И не ел мяса, которое я ему подавала, – добавила Зилла. – Только головой качал и говорил: «Я хотел бы есть пищу белых людей и растолстеть от нее, как Ямикан».

– Да, он совсем перестал есть мясо, – продолжал Эббитс. – Болезнь все сильнее одолевала его, и я боялся, что он умрет. То была не болезнь тела, а болезнь головы. Он был болен желанием. И я, его отец, крепко призадумался. У меня оставался только один сын, и я не хотел, чтобы Бидаршик умер. У него была больна голова, и только одно могло его исцелить. «Надо, чтобы Бидаршик через Соленое озеро попал в страну, где не бывает снега, иначе он умрет», – говорил я себе. Я долго думал и наконец придумал, как ему этого добиться.

И однажды вечером, когда он сидел у огня, повесив голову в тоске, я сказал:

– Сын мой, я придумал, как тебе попасть в страну белых.

Он посмотрел на меня, и лицо его просияло.

– Поезжай так, как поехал Ямикан.

Но Бидаршик уже опять впал в уныние и ничего не понял.

– Ступай, – говорю я ему, – найди какого-нибудь белого и убей его, как это сделал Ямикан. Тогда придут солдаты. Они заберут тебя и так же, как Ямикана, повезут через Соленое озеро в страну белых. И ты, как Ямикан, вернешься сюда толстым, и глаза твои будут полны всем тем, что ты видел, а голова полна мудрости.

Бидаршик вскочил и протянул руку к своему ружью.

– Иду убить белого.

Тут я понял, что мои слова понравились Бидаршику и что он выздоровеет. Ибо слова мои были разумны.

В нашу деревню пришел тогда один белый. Он не искал в земле золота, не охотился за жуками в лесу. Нет, он все время собирал разных жуков и мух. Но он ведь не ел насекомых, для чего же он их разыскивал и собирал? Этого я не знал. Знал только, что этот белый – очень странный человек. Собирал он и птичьи яйца. Их он тоже не ел. Он выбрасывал все, что внутри, и оставлял себе только скорлупу. Но ведь яичную скорлупу не едят! А он ее укладывал в коробки, чтобы она не разбилась. Не ел он и птичек, которых ловил. Он снимал с них только кожу с перьями и прятал в коробки. Еще он любил собирать кости, хотя костей не едят, а к тому же этот чудака больше всего любил очень старые кости, он их выкапывал из земли.

Этот белый не был силен и свиреп, я понимал, что его убить легко. И я сказал Бидаршику: «Сын мой, этого белого человека ты сможешь убить». А Бидаршик ответил, что это умные слова. И вот он пошел в одно место, где, как он знал, в земле лежало много костей. Он вырыл их целую кучу и принес на стоянку того чудака. Белый был очень доволен. Его лицо засияло, как солнце, он глядел на кости и радостно улыбался. Потом он нагнулся, чтобы рассмотреть их получше. Тут Бидаршик нанес ему сильный удар топором по голове. Белый повалился на землю и умер.

– Ну, – сказал я Бидаршику, – теперь придут воины и увезут тебя в ту страну под солнцем, где ты будешь много есть и растолстеешь.

Бидаршик был счастлив. Тоска его сразу же прошла, он сидел у огня и ждал солдат...

– Как я мог знать, что обычай у белых всякий раз иной? – гневно спросил вдруг старый Эббитс, повернувшись ко мне. – Откуда мне было знать, что белый сегодня поступает иначе, чем вчера, а завтра поступит не так, как сегодня? – Эббитс уныло покачал головой. – Нет, белых понять невозможно! Вчера они Ямикана увозят в свою страну и кормят его там до отвала хорошей пищей. Сегодня они хватают Бидаршика – и что же они с ним делают? Вот послушайте, что они сделали с нашим Бидаршиком.

Да, я, его отец, расскажу вам это. Они повезли Бидаршика в форт Кэмбел, а там накинули ему на шею веревку, и когда ноги его отделились от земли, он умер.

– Ай! Ай! – запричитала Зилла. – И он так и не переплыл то озеро, что шире неба, и не увидел солнечную страну, где нет снега!

– А потому, – сказал старый Эббитс серьезно и с достоинством, – некому больше охотиться

за мясом для меня, и я на старости лет сижу голодный у огня и рассказываю про свое горе белому человеку, который дал мне еду, и крепкий чай, и табак для моей трубки.

– А во всем виноваты лживые и дурные белые люди! – резко крикнула Зилла.

– Нет, – возразил ее старый муж мягко, но решительно. – Виноват обычай белых, которого нам не понять, потому что он никогда не бывает одинаков.

\* \* \*

## ОДНОДНЕВНАЯ СТОЯНКА

Такой сумасшедшей гонки я еще никогда не видывал.

Тысячи упряжек мчались по льду, собак не видно было из-за пара. Трое человек замерзли насмерть той ночью, и добрый десяток навсегда испортил себе легкие! Но разве я не видел собственными глазами дно проруби? Оно было желтое от золота, как горчичник. Вот почему я застолбил участок на

Юконе и сделал заявку. Из-за этих-то заявок и пошла вся гонка. А потом там ничего не оказалось. Ровным счетом ничего. Я так до сих пор и не знаю, чем это объяснить. Рассказ Шорти

Не снимая рукавиц, Джон Месснер одной рукой держался за поворотный шест и направлял нарты по следу, другой растирал щеки и нос. Он то и дело тер щеки и нос. По сути дела, он почти не отрывал руки от лица, а когда онемение усиливалось, принимался тереть с особенной яростью. меховой шлем закрывал ему лоб и уши. Подбородок защищала густая золотистая борода, заиндевевшая на морозе.

Позади него враскачку скользили тяжело нагруженные юконские нарты, впереди бежала упряжка в пять собак. Постромка, за которую они тянули нарты, терлась о ногу Месснера. Когда собаки поворачивали, следуя изгибу дороги, он переступал через постромку. Поворотов было много, и ему снова и снова приходилось переступать. Порой, зацепившись за постромку, он чуть не падал; движения его были неловки и выдавали огромную усталость, нарты то и дело наезжали ему на ноги.

Когда дорога пошла прямо и нарты могли некоторое время продвигаться вперед без управления, он отпустил поворотный шест и ударил по нему несколько раз правой рукой. Восстановить в ней кровообращение было нелегко. Но, колотя правой рукой по твердому дереву, он левой неумолимо растирал нос и щеки.

– Честное слово, в такой холод нельзя разъезжать, – сказал Джон Месснер. Он говорил так громко, как говорят люди, привыкшие к одиночеству. – Только идиот может пуститься в дорогу при такой температуре! Если сейчас не все восемьдесят ниже нуля, то уж семьдесят девять верных.

Он достал часы и, повертев их в руках, положил обратно во внутренний карман толстой шерстяной куртки, затем посмотрел на небо и окинул взглядом белую линию горизонта.

– Двенадцать часов, – пробормотал он. – Небо чистое, и солнца не видно.

Минут десять он шел молча, а потом добавил так, словно не было никакой паузы:

– И не продвинулся почти совсем. Нельзя в такой холод ездить.

Внезапно он закричал на собак: «Хо-о!» – и остановился. Его охватил дикий страх, – правая рука почти онемела. Он начал бешено колотить ею о поворотный шест.

– Ну... вы... бедняги! – обратился Месснер к собакам, которые тяжело упали на лед – отдохнуть. Голос его прерывался от усилий, с которыми он колотил онемевшей рукой по шесту. – Чем вы провинились, что двуногие запрягают вас в нарты, подавляют все ваши природные инстинкты и делают из вас жалких рабов?

Он остервенело потер нос, стараясь вызвать прилив крови, потом заставил собак подняться. Джон Месснер шел по льду большой замерзшей реки. Позади она простиралась на много миль, делая повороты и теряясь в причудливом нагромождении безмолвных, покрытых снегом гор. Впереди русло реки делилось на множество рукавов, образуя острова, которые она как бы несла на своей груди. Острова были безмолвные и белые. Безмолвие не нарушалось ни криком зверей, ни жужжанием насекомых. Ни одна птица не пролетала в застывшем воздухе. Не слышно было человеческого голоса, не заметно никаких следов человеческого жилья. Мир спал, и сон его был подобен смерти.

Оцепенение, царившее вокруг, казалось, передалось и Джону Месснеру. Мороз сковывал его мозг. Он тащился вперед, опустив голову, не глядя по сторонам, бессознательно растирая нос и щеки, и когда нарты выезжали на прямую дорогу, колотил правой рукой по шесту.

Но собаки были начеку и внезапно остановились. Повернув голову к хозяину, они смотрели на него тоскливыми вопрошающими глазами. Их ресницы и морды выбелил мороз, и от этой седины да еще от усталости они казались совсем дряхлыми.

Человек хотел было подстегнуть их, но удержался и, собравшись с силами, огляделся вокруг. Собаки остановились у края проруби; это была не трещина, а прорубь, сделанная руками человека, тщательно вырубленная топором во льду толщиной в три с половиной фута. Толстая корка нового льда свидетельствовала о том, что прорубью давно не пользовались. Месснер посмотрел по сторонам. Собаки уже указывали ему путь: их заиндеветые морды были повернуты к едва приметной на снегу тропинке, которая, ответвляясь от основного пути, взбегала вверх по берегу острова.

– Ну, ладно, бедные вы зверюги, – сказал Месснер. – Пойду на разведку. Я и сам не меньше вас хочу отдохнуть.

Он взобрался по склону и исчез. Собаки не легли и, стоя, нетерпеливо ждали его. Вернувшись, он взял веревку, привязанную в передку нарт, и накинул петлю себе на плечи. Потом повернул собак вправо и погнал их на берег. Втащить сани на крутой откос оказалось нелегко, но собаки забыли про усталость и, распластываясь на снегу, с нетерпеливым и радостным визгом из последних сил лезли вверх. Когда передние скользили или останавливались, задние кусали их за ляжки. Человек кричал на собак, то подбадривая, то угрожая, и всей тяжестью своего тела налегал на веревку.

Собаки стремительно вынесли нарты наверх, сразу свернули влево и устремились к маленькой бревенчатой хижине. В этой необитаемой хижине была одна комната площадью в восемь футов на десять. Месснер распряг собак, разгрузил нарты и вступил во владение жильем. Последний случайный его обитатель оставил здесь запас дров. Месснер поставил в хижине свою маленькую железную печку и развел огонь. Он положил в духовку пять вяленых рыб – корм собакам – и наполнил кофейник и кастрюлю водой из проруби.

Поджидая, когда закипит вода, Месснер нагнулся над печкой. Осевшая на бороде влага, превратившаяся от дыхания в ледяную корку, начинала оттаивать. Падая на печку, льдинки шипели, и от них поднимался пар. Джон Месснер отдирали сосульки от бороды, и они со стуком падали на пол.

Неистовый лай собак не оторвал его от этого занятия. Он услышал визг и рычание чужих собак и чьи-то голоса. В дверь постучали.

– Войдите! – крикнул Месснер глухо, потому что в это мгновение отсасывал кусок льда с верхней губы.

Дверь отворилась, и сквозь окружавшее его облако пара Месснер разглядел мужчину и женщину, остановившихся на пороге.

– Войдите, – сказал он повелительно, – и закройте дверь.

Сквозь пар он едва мог рассмотреть вошедших. Голова женщины была так закутана, что виднелись только черные глаза. Мужчина был тоже темноглазый, с гладко выбритым лицом; обледеневшие усы совершенно скрывали его рот.

– Мы хотели бы у вас узнать, нет ли тут поблизости другого жилья? – спросил он, окидывая взглядом убогую обстановку хижины. – Мы думали, что здесь никого нет.

– Это не моя хижина, – отвечал Месснер. – Я сам нашел ее несколько минут назад. Входите и располагайтесь. Места достаточно, и ставить вашу печку вам не понадобится. Как-нибудь разместимся.

При звуке его голоса женщина с любопытством посмотрела на него.

– Раздевайся, – сказал ее спутник. – Я распрягу собак и принесу воды, чтоб можно было приняться за стряпню.

Месснер взял оттаявшую рыбу и пошел кормить собак. Ему пришлось защищать их от чужой упряжки, и когда он вернулся в хижину, вновь прибывший уже разгрузил нарты и принес воды. Кофейник Месснера закипел. Он засыпал в него кофе, влил туда еще полкружки холодной воды, чтобы осела гуща, и снял с печки. Потом положил оттаивать несколько сухарей из кислого теста и разогрел в кастрюле бобы, которые сварил прошлой ночью и все утро вез с собой замороженными.

Сняв свою посуду с печки, чтобы дать возможность вновь прибывшим приготовить себе пищу, Месснер сел на тук с постелью, а вместо стола приспособил ящик для провизии. За едой он разговаривал с незнакомцем о дороге и о собаках, а тот, наклонившись над печкой, оттаивал лед на усах. Избавившись наконец от сосуллек, незнакомец бросил тук с постелью на одну из двух коек, стоявших в хижине.

– Мы будем спать здесь, – сказал он, – если только вы не предпочитаете эту койку. Вы пришли сюда первый и имеете право выбора.

– Мне все равно, – сказал Месснер. – Они обе одинаковые.

Он тоже приготовил себе постель и присел на край койки. Незнакомец сунул под одеяло вместо подушки маленькую дорожную сумку с медицинскими инструментами.

– Вы врач? – спросил Месснер.

– Да, – последовал ответ. – Но, уверяю вас, я приехал в Клондаик не для практики.

Женщина занялась стряпней, в то время как ее спутник резал бекон и подтапливал печку. В хижине был полумрак, свет проникал лишь сквозь маленькое оконце, затянутое куском бумаги, пропитанной свиным жиром, и Джон Месснер не мог как следует рассмотреть женщину. Да он и не старался. Она, казалось, мало его занимала. Но женщина, то и дело с любопытством поглядывала в темный угол, где он сидел.

– Какая здесь замечательная жизнь! – восторженно сказал врач, перестав на мгновение точить нож о печную трубу. – Мне нравится эта борьба за существование, стремление добиться всего своими руками, примитивность этой жизни, ее реальность.

– Да, температура здесь весьма реальная, – засмеялся Месснер.

– А вы знаете, сколько градусов? – спросил врач.

Месснер покачал головой.

– Ну, так я вам скажу. Семьдесят четыре ниже нуля на спиртовом термометре, который у меня в нартах.

– То есть сто шесть ниже точки замерзания. Холодно для путешествия, а?

– Форменное самоубийство, – изрек доктор. – Человек затрачивает массу энергии. Он тяжело дышит, мороз проникает ему прямо в легкие и отмораживает края ткани. Человек начинает кашлять резким, сухим кашлем, отхаркивая мертвую ткань, и следующей весной умирает от воспаления легких, недоумевая, откуда оно взялось. Я пробуду в этой хижине неделю, если только температура не поднимется по крайней мере до пятидесяти ниже нуля.

– Посмотри-ка, Тэсс, – сказал он через минуту. – По-моему, кофе уже вскипел.

Услышав имя женщины, Джон Месснер насторожился. Он метнул на нее быстрый взгляд, и по лицу его пробежала тень – призрак какой-то давно похороненной и внезапно воскресшей горести. Но через мгновение он усилием воли отогнал этот призрак. Лицо его стало по-прежнему невозмутимо, но он настороженно приглядывался к женщине, досадуя на слабый свет, мешавший ее рассмотреть.

Ее первым бессознательным движением было снять кофейник с огня. Лишь после этого она взглянула на Месснера. Но он уже овладел собой. Он спокойно сидел на койке и с безразличным видом рассматривал свои мокасины. Но когда она снова принялась за стряпню, Месснер опять быстро посмотрел на нее, а она, обернувшись, так же быстро перехватила его взгляд. Месснер тотчас перевел глаза на врача, и на его губах промелькнула усмешка – знак того, что он оценил хитрость женщины.

Она зажгла свечу, достав ее из ящика с припасами. Месснеру достаточно было одного взгляда на ее ярко освещенное лицо. В этой маленькой хижине женщине понадобилось сделать всего несколько шагов, чтобы очутиться рядом с Месснером. Она намеренно поднесла свечу поближе к его лицу и уставилась на него расширенными от страха глазами. Она узнала его. Месснер спокойно улыбнулся ей.

– Что ты там ищешь, Тэсс? – спросил ее спутник.

– Шпильки, – ответила она и, отойдя от Месснера, начала шарить в вещевом мешке на койке.

Они устроили себе стол из своего ящика и уселись на ящик Месснера лицом к нему. А он, отдыхая, растянулся на койке, подложив руку под голову, и смотрел на них. В этой тесной хижине казалось, что все трое сидят за одним столом.

– Вы из какого города? – спросил Месснер.

– Из Сан-Франциско, – отвечал врач. – Но я здесь уже два года.

– Я сам из Калифорнии, – объявил Месснер.

Женщина умоляюще вскинула на него глаза, но он улыбнулся и продолжал:

– Из Беркли...

Врач сразу заинтересовался.

– Из Калифорнийского университета? – спросил он.

– Да, выпуска восемьдесят шестого года.

– А я думал, вы профессор. У вас такой вид.

– Очень жаль, – улыбнулся ему Месснер. – Я бы предпочел, чтобы меня принимали за старателя или погонщика собак.

– Он также не похож на профессора, как ты на доктора, – вставила женщина.

– Благодарю вас, – сказал Месснер. Потом обратился к ее спутнику: – Кстати, доктор, разрешите узнать, как ваша фамилия?

– Хейторн. Но вам придется поверить мне на слово. Я забросил визитные карточки вместе с цивилизацией.

– А это, конечно, миссис Хейторн... – Месснер с улыбкой поклонился.

Она бросила на него взгляд, в котором гнева было больше, чем мольбы.

Хейторн собирался, в свою очередь, спросить его фамилию, он уже открыл рот, но Месснер опередил его:

– Вы, доктор, верно, сможете удовлетворить мое любопытство. Два-три года назад в профессорских кругах разыгралась скандальная история. Жена одного из профессоров сбежала... прошу прощения, миссис Хейторн... с каким-то, кажется, врачом из Сан-Франциско, не могу припомнить его фамилии. Вы не слышали об этом?

Хейторн кивнул.

– Эта история в свое время наделала немало шума. Его звали Уомбл. Грехэм Уомбл. Врач с великолепной практикой. Я немного знал его.

– Так вот, мне любопытно, что с ним случилось? Может быть, вы знаете? Они исчезли бесследно.

– Да, он ловко замел следы. – Хейторн откашлялся. – Ходили слухи, будто они отправились на торговой шхуне в южные моря и, кажется, погибли там во время тайфуна.

– Ничего об этом не слышал, – сказал Месснер. – А вы помните эту историю, миссис Хейторн?

– Прекрасно помню, – отвечала женщина, и спокойствие ее голоса являло разительный контраст гневу, вспыхнувшему в ее глазах. Она отвернулась, пряча лицо от Хейторна.

Врач опять хотел было спросить Месснера, как его зовут, но тот продолжал:

– Этот доктор Уомбл... говорят, он был очень красив и пользовался... э-э... большим успехом у женщин.

– Может быть, но эта история его доконала, – пробормотал Хейторн.

– А жена была настоящая мегера. Так по крайней мере я слышал. В Беркли считали, что она создала своему мужу... гм... совсем не райскую жизнь.

– Первый раз слышу, – ответил Хейторн. – В Сан-Франциско говорили как раз обратное.

– Жена-мученица, не так ли? Распятая на кресте супружеской жизни?

Хейторн кивнул. Серые глаза Месснера не выражали ничего, кроме легкого любопытства.

– Этого следовало ожидать – две стороны медали. Живя в Беркли, я, конечно знал только одну сторону. Эта женщина, кажется, часто бывала в Сан-Франциско.

– Налей мне, пожалуйста, кофе, – сказал Хейторн.

Наполняя его кружку, женщина непринужденно рассмеялась.

– Вы сплетничаете, как настоящие кумушки, – упрекнула она мужчин.

– А это очень интересно, – улыбнулся ей Месснер и снова обратился к врачу: – Муж, по-видимому, пользовался не очень-то завидной репутацией в Сан-Франциско.

– Напротив, его считали высоко моральной личностью, – вырвалось у Хейторна с излишним жаром. – Педант, сухарь без капли горячей крови.

– Вы его знали?

– Никогда в жизни не видел. Я не вращался в университетских кругах.

– Опять только одна сторона медали, – сказал Месснер, как бы беспристрастно обсуждая дело со всех сторон. – Правда, он был не бог весть как хорош, – я говорю про внешность, – но и не так уж плох. Увлекался спортом вместе со студентами. И вообще был не без способностей. Написал святочную пьесу, которая имела большой успех. Я слышал, что его хотели назначить деканом английского отделения, да тут как раз все это стряслось, он подал в отставку и уехал куда-то. По-видимому, эта история погубила его карьеру. Во всяком случае, в наших кругах считали, что после такого удара ему не оправиться. Он, кажется, очень любил свою жену.

Хейторн допил кофе и, пробурчав что-то безразличным тоном, закурил трубку.

– Счастье, что у них не было детей, – продолжал Месснер.

Но Хейторн, посмотрев на печку, надел шапку и рукавицы.

– Пойду за дровами, – сказал он. – А потом сниму мокасины и устроюсь поудобнее.

Дверь за ним захлопнулась. Воцарилось долгое молчание. Месснер, не меняя позы, лежал на койке. Женщина сидела на ящике напротив его.

– Что вы намерены делать? – спросила она резко.

Месснер лениво взглянул на нее.

– А что, по-вашему, должен я делать? Надеюсь, не разыгрывать драму? Я, знаете ли, устал с



дороги, а койка очень удобная.

Женщина в немой ярости прикусила губу.

– Но... – горячо начала она и замолчала, стиснув руки.

– Надеюсь, вы не хотите, чтобы я убил мистера... э-э... Хейторна? – сказал он кротко, почти умоляюще. – Это было бы очень печально... и, уверяю вас, совсем не нужно.

– Но вы должны что-то сделать! – вскричала она.

– Напротив, я, вероятнее всего, ничего не сделаю.

– Вы останетесь здесь?

Он кивнул.

Женщина с отчаянием оглядела хижину и постель, приготовленную на другой койке.

– Скоро ночь. Вам нельзя здесь оставаться. Нельзя! Понимаете, это просто невозможно!

– Нет, можно. Позвольте вам напомнить, что я первый нашел эту хижину, и вы оба – мои гости.

Снова ее глаза обежали комнату, и в них отразился ужас, когда они скользнули по второй койке.

– Тогда уйдем мы, – объявила она решительно.

– Это невозможно. Вы кашляете тем самым сухим, резким кашлем, который так хорошо описал мистер... э-э... Хейторн. Легкие у вас уже слегка простужены. А ведь он врач и понимает это. Он не позволит вам уйти.

– Но что же тогда вы будете делать? – опять спросила она напряженно спокойным голосом, предвещавшим бурю.

Месснер постарался изобразить на своем лице максимум сочувствия и долготерпения и взглянул на нее почти отечески.

– Дорогая Тереза, я уже вам сказал, что не знаю. Я еще не думал об этом.

– Боже мой, вы меня с ума сведете! – она вскочила с ящика, ломая руки в бессильной ярости.

– Раньше вы никогда таким не были.

– Да, я был воплощенная мягкость и кротость, – согласился он. – Очевидно, поэтому вы меня и бросили?

– Вы так переменились! Откуда у вас это зловещее спокойствие? Я боюсь вас! Я чувствую, вы замышляете что-то ужасное. Не давайте воли гневу, будьте рассудительны...

– Я больше не теряю самообладания... – прервал ее Месснер, – с тех пор как вы ушли.

– Вы исправились просто на удивление, – отпарировала она.

Месснер улыбнулся в знак согласия.

– Пока я буду думать о том, как мне поступить, советую вам сделать вот что: скажите мистеру... э-э... Хейторну, кто я такой. Это сделает наше пребывание в хижине более, как бы

это выразиться... непринужденным.

– Зачем вы погнались за мной в эту ужасную страну? – спросила она неожиданно.

– Не подумайте, что я искал вас, Тереза. Не льстите своему тщеславию. Наша встреча – чистая случайность. Я порвал с университетской жизнью, и мне нужно было куда-нибудь уехать. Честно признаюсь, я приехал в Клондайк именно потому, что меньше всего ожидал встретить вас здесь.

Послышался стук щеколды, дверь распахнулась, и вошел Хейторн с охапкой хвороста. При первом же звуке его шагов Тереза как ни в чем не бывало принялась убирать посуду. Хейторн опять вышел за хворостом.

– Почему вы не представили нас друг другу? – спросил Месснер.

– Я скажу ему, – ответила она, тряхнув головой. – Не думайте, что я боюсь.

– Я никогда не замечал, чтобы вы чего-нибудь особенно боялись.

– Исповеди я тоже не испугаюсь, – сказала она. Выражение ее лица смягчилось, и голос зазвучал нежнее.

– Боюсь, что ваша исповедь превратится в завуалированное вымогательство, стремление к собственной выгоде, самовозвеличение за счет бога.

– Не выражайтесь так книжно, – проговорила она капризно, но с растущей нежностью в голосе. – Я не любительница мудрых споров. Кроме того, я не побоюсь попросить у вас прощения.

– Мне, собственно говоря, нечего прощать вам, Тереза. Скорее, я должен благодарить вас. Правда, вначале я страдал, но потом ко мне – точно милосердное дыхание весны – пришло ощущение счастья, огромного счастья. Это было совершенно поразительное открытие.

– А что, если я вернусь к вам? – спросила она.

– Это поставило бы меня, – сказал он, посмотрев на нее с лукавой усмешкой, – в немалое затруднение.

– Я ваша жена. Вы ведь не добивались развода?

– Нет, – задумчиво сказал он. – Всею виной моя небрежность. Я сразу же займусь этим, как только вернусь домой.

Она подошла к нему и положила руку ему на плечо.

– Я вам больше не нужна, Джон? – Ее голос звучал нежно, прикосновение руки было, как ласка. – А если я скажу вам, что ошиблась? Если я признаюсь, что очень несчастна? И я правда несчастна. Я действительно ошиблась.

В душу Месснера начал закрадываться страх. Он чувствовал, что слабеет под легким прикосновением ее руки. Он уже не был хозяином положения, все его хваленное спокойствие исчезло. Она смотрела на него нежным взглядом, и суровость этого человека начинала таять. Он видел себя на краю пропасти и не мог бороться с силой, которая толкала его туда.

– Я вернусь к вам, Джон. Вернусь сегодня... сейчас.

Как в тяжелом сне, Месснер старался освободиться от власти этой руки. Ему казалось, что он слышит нежную, журчащую песнь Лорелей. Как будто где-то вдали играли на рояле и звуки

настойчиво проникали в сознание.

Он вскочил с койки, оттолкнул женщину, когда она попыталась обнять его, и отступил к двери. Он был смертельно испуган.

– Я не ручаюсь за себя! – крикнул он.

– Я же вас предупреждала, чтобы вы не теряли самообладания. – Она рассмеялась с издевкой и снова принялась мыть посуду. – Никому вы не нужны. Я просто пошутила. Я счастлива с ним.

Но Месснер не поверил ей. Он помнил, с какой легкостью эта женщина меняла тактику. Сейчас происходит то же самое. Вот оно – завуалированное вымогательство! Она счастлива с другим и сознает свою ошибку. Его самолюбие было удовлетворено. Она хочет вернуться назад, но ему это меньше всего нужно. Незаметно для самого себя он взялся за щеколду.

– Не убегайте, – засмеялась она, – я вас не укушу.

– Я и не убегаю, – ответил Месснер по-детски запальчиво, натягивая рукавицы. – Я только за водой.

Он взял пустые ведра и кастрюли и открыл дверь. Потом оглянулся.

– Не забудьте же сказать мистеру... э-э... Хейторну, кто я такой.

Месснер разбил пленку льда, которая за один час уже затянула прорубь, и наполнил ведра. Но он не торопился назад в хижину. Поставив ведра на тропинку, он принялся быстро шагать взад и вперед, чтобы не замерзнуть, потому что мороз жег тело, как огнем. К тому времени, когда морщины у него на лбу разгладились и на лице появилось решительное выражение, борода его успела покрыться инеем. План действий был принят, и его застывшие от холода губы скривила усмешка. Он поднял ведра с водой, уже затянувшейся ледком, и направился к хижине.

Открыв дверь, Месснер увидел, что врач стоит у печки, выражение лица у него было натянутое и нерешительное. Месснер поставил ведра на пол.

– Рад познакомиться с вами, Грехэм Уомбл, – церемонно произнес Месснер, словно их только что представили друг другу.

Он не протянул руки. Уомбл беспокойно топтался на месте, испытывая к Месснеру ненависть, которую обычно испытывают к человеку, причинив ему зло.

– Значит, это вы, – сказал Месснер, разыгрывая удивление. – Так, так... Право, я очень рад познакомиться с вами. Мне было... э-э... любопытно узнать, что нашла в вас Тереза, что, если так можно выразиться, привлекло ее к вам. Так, так...

И он осмотрел его с головы до ног, как осматривают лошадь.

– Я вполне понимаю ваши чувства ко мне... – начал Уомбл.

– О, какие пустяки! – прервал его Месснер с преувеличенной сердечностью. – Стоит ли об этом говорить! Мне хотелось бы только знать, что вы думаете о Терезе. Оправдались ли ваши надежды? Как она себя вела? Вы живете теперь, конечно, словно в блаженном сне?

– Перестаньте говорить глупости! – вмешалась Тереза.

– Я простой человек и говорю, что думаю! – сокрушенным тоном сказал Месснер.

– Тем не менее вам следует держать себя соответственно обстоятельствам, – отрезал Уомбл. – Мы хотим знать, что вы намерены делать?

Месснер развел руками с притворной беспомощностью.

– Я, право, не знаю. Это одно из тех невозможных положений, из которых трудно придумать какой-нибудь выход.

– Мы не можем провести ночь втроем в этой хижине.

Месснер кивнул в знак согласия.

– Значит, кто-нибудь должен уйти.

– Это тоже неоспоримо, – согласился Месснер. – Если три тела не могут поместиться одновременно в данном пространстве, одно из них должно исчезнуть.

– Исчезнуть придется вам, – мрачно объявил Уомбл. – До следующей стоянки десять миль, но вы как-нибудь их пройдете.

– Вот первая ошибка в вашем рассуждении, – возразил Месснер. – Почему именно я должен уйти? Я первым нашел эту хижину.

– Но Тэсс не может идти, – сказал Уомбл. – Ее легкие уже простужены.

– Вполне с вами согласен. Она не может идти десять миль по такому морозу. Безусловно, ей нужно остаться.

– Значит, так и будет, – решительно сказал Уомбл.

Месснер откашлялся.

– Ваши легкие в порядке, не правда ли?

– Да. Ну и что же?

Месснер опять откашлялся и проговорил медленно, словно обдумывая каждое слово:

– Да ничего... разве только то, что... согласно вашим же доводам, вам ничто не мешает прогуляться по морозу каких-нибудь десять миль. Вы как-нибудь их пройдете.

Уомбл подозрительно взглянул на Терезу и подметил в ее глазах искру радостного удивления.

– А что скажешь ты? – спросил он.

Она промолчала в нерешительности, и лицо Уомбла потемнело от гнева. Он повернулся к Месснеру.

– Довольно! Вам нельзя здесь оставаться.

– Нет, можно.

– Я не допущу этого! – Уомбл угрожающе расправил плечи. – В этом деле мне решать.

– А я все-таки останусь, – стоял на своем Месснер.

– Я вас выброшу вон!

– А я вернусь.

Уомбл замолчал, стараясь овладеть собой. Потом заговорил медленно, тихим, сдавленным голосом:

– Слушайте, Месснер, если вы не уйдете, я вас изобью. Мы не в Калифорнии. Вот этими кулаками я превращу вас в котлету.

Месснер пожал плечами.

– Если вы это сделаете, я соберу золотоискателей и посмотрю, как вас вздернут на первом попавшемся дереве. Совершенно верно, мы не в Калифорнии. Золотоискатели – народ простой, и мне достаточно будет показать им следы побоев, поведать всю правду и предъявить права на свою жену.

Женщина хотела что-то сказать, но Уомбл свирепо набросился на нее.

– Не вмешивайся! – крикнул он.

Голос Месснера прозвучал совсем по-иному:

– Будьте добры, не мешайте нам, Тереза.

От гнева и с трудом сдерживаемого волнения женщина разразилась сухим, резким кашлем. Лицо ее покраснело, она прижала руку к груди и ждала, когда приступ кончится.

Уомбл мрачно смотрел на нее, прислушиваясь к кашлю.

– Нужно на что-то решиться, – сказал он. – Ее легкие не выдержат холода. Она не может идти, пока не станет теплее. А я не собираюсь уступать ее вам.

Месснер смиренно хмыкнул, откашлялся, снова хмыкнул и сказал:

– Мне нужны деньги...

На лице Уомбла сразу появилась презрительная гримаса. Вот когда Месснер упал неизмеримо ниже его, показал наконец свою подлость!

– У вас есть целый мешок золотого песка, – продолжал Месснер, – я видел, как вы снимали его с нарт.

– Сколько вы хотите? – спросил Уомбл, и в голосе его звучало такое же презрение, какое было написано на его лице.

– Я подсчитал, сколько приблизительно может быть в вашем мешке, и... э-э... думаю, что около двадцати фунтов потянет. Что вы скажете о четырех тысячах?

– Но это все, что у меня есть! – крикнул Уомбл.

– У вас есть Тереза, – утешил его Месснер. – Разве она не стоит таких денег? Подумайте, от чего я отказываюсь. Право же, это сходная цена.

– Хорошо! – Уомбл бросился к мешку с золотом. – Лишь бы скорее покончить с этим делом! Эх вы!.. Ничтожество!

– Ну, тут вы не правы, – с насмешкой возразил Месснер. – Разве с точки зрения этики человек, который дает взятку, лучше того, кто эту взятку берет? Укрывающий краденное не лучше вора, не правда ли? И не утешайтесь своим несуществующим нравственным

превосходством в этой маленькой сделке.

– К черту вашу этику! – взорвался Уомбл. – Идите сюда и смотрите, как я взвешиваю песок. Я могу вас надуть.

А женщина, прислонившись к койке, наблюдала в бессильной ярости, как на весах, поставленных на ящик, взвешивают песок и самородки – плату за нее. Весы были маленькие, приходилось взвешивать по частям, и Месснер каждый раз все тщательно проверял.

– В этом золоте слишком много серебра, – заметил он, завязывая мешок. – Пожалуй, тут всего три четверти чистого веса на унцию. Вы, кажется, слегка обставили меня, Уомбл.

Он любовно поднял мешок и с должным почтением к такой ценности понес его к нартам. Вернувшись, он собрал свою посуду, запаковал ящик с провизией и скатал постель. Потом, увязав поклажу, запряг недовольных собак и снова вернулся в хижину за рукавицами.

– Прощайте, Тэсс! – сказал он с порога.

Она повернулась к нему, хотела что-то ответить, но не смогла выразить словами кипевшую в ней ярость.

– Прощайте, Тэсс! – мягко повторил Месснер.

– Мерзавец! – выговорила она, наконец.

Шатаясь, она подошла к койке, повалилась на нее ничком и зарыдала.

– Скоты! Ах, какие вы скоты!

Джон Месснер осторожно закрыл за собой дверь и, трогаясь в путь, с чувством величайшего удовлетворения оглянулся на хижину. Он спустился с берега, остановил нарты у проруби и вытащил из-под веревок, стягивающих поклажу, мешок с золотом. Воду уже затянуло тонкой корочкой льда. Он разбил лед кулаком и, развязав тесемки мешка зубами, высыпал его содержимое в воду. Река в этом месте была неглубока, и в двух футах от поверхности Месснер увидел дно, тускло желтевшее в угасающем свете дня. Он плюнул в прорубь.

Потом он пустил собак по Юкону. Они жалобно повизгивали и бежали неохотно. Держась за поворотный шест правой рукой и растирая щеки и нос левой, Месснер споткнулся о постромку, когда собаки свернули в сторону, следуя изгибу реки.

– Вперед, хромоногие! – крикнул он. – Ну же, вперед, вперед!

\* \* \*

## ОСАДА «ЛАНКАШИРСКОЙ КОРОЛЕВЫ»

Вероятно, самым трудным в практике нашей рыбацкой патрульной службы был тот случай, когда нам с Чарли Ле Грантом пришлось в течение двух недель держать в осаде большое четырехмачтовое английское судно. Под конец это дело превратилось для нас в настоящую математическую задачу, и только чистая случайность позволила нам благополучно решить ее.

Разделавшись с устричными пиратами, мы вернулись в Окленд, но прошло еще две недели, прежде чем миновала опасность для жены Нейла Партингтона и она оправилась от болезни.

Итак, в общей сложности, лишь через месяц наш «Северный олень» вновь появился в Бенишии. Без кота мышам раздолье: за этот месяц рыбаки совсем от рук отбились и стали беззастенчиво нарушать закон. Огибая мыс Педро, мы заметили признаки оживления среди ловцов креветок, а по заливу Сан-Пабло шныряло немало рыбацких баркасов с Верхнего залива, владельцы которых, завидев нас, спешили вытащить из воды свои сети и поднять паруса.

Все это, конечно, не могло не вызвать подозрений. Мы тут же приступили к расследованию, и в первой же и единственной лодке, что нам удалось захватить, оказалась сеть, которой ловля сельди запрещена. По закону расстояние в петле от узла до узла должно быть не меньше семи с половиной дюймов, меж тем как в сети, захваченной нами, узлы находились один от другого на расстоянии трех дюймов. Это было злостным нарушением закона, и мы арестовали двух находившихся в лодке рыбаков. Одного из них Нейл Партингтон взял на «Северного оленя», где тот должен был помочь нашему патрульному вести судно, а мы с Чарли, забрав второго с собой, ушли вперед на задержанном баркасе.

Меж тем сельдяная флотилия что есть духу понеслась к берегам Петалумы, и на всем пути через залив Сан-Пабло мы не увидели больше ни одного рыбака. Наш пленник, бронзовый от загара бородач грек, угрюмо сидел на своей сети, а мы вели его судно. То был новенький баркас с реки Колумбии для ловли лососей, видимо, впервые в плавании, и управлять им было одно удовольствие. Наш пленник не произносил ни слова и, казалось, не замечал нас даже тогда, когда Чарли расхваливал его баркас, так что вскоре мы потеряли к нему всякий интерес, решив, что он крайне необщительный человек.

Мы прошли Каркинезский пролив и свернули в бухту у Тернерской верфи, где море было спокойнее. Там в ожидании груза пшеницы нового урожая стояло несколько английских парусников с железным корпусом, и там же, на том самом месте, где был задержан Большой Алек, мы внезапно наткнулись на ялик с двумя итальянцами, оснащенный «китайской лесой» для ловли осетров. Это явилось полной неожиданностью как для них, так и для нас: не успели они опомниться, как мы уже были рядом. У Чарли едва хватило времени привести к ветру и подвернуть к ним. Я побежал вперед и бросив конец, приказав, не мешкая, закрепить его. Один из итальянцев стал заматывать его на нагель, а я поспешил убрать наш парус. Баркас рванулся назад, потащив за собой ялик.

Чарли пошел на нос, намереваясь перепрыгнуть на захваченное судно, но, когда я ухватился за трос, чтобы подтащить ялик поближе, итальянцы отдали конец. Нас тут же начало сносить под ветер, меж тем как они, достав две пары весел, повели свое легкое суденышко против ветра. Этот маневр сперва обескуражил нас, ибо мы не могли надеяться догнать их на веслах в своей большой, тяжело нагруженной лодке. И вдруг на помощь пришел наш пленник. Его черные глаза засверкали, лицо загорелось от сдержанного волнения, когда он опустил выдвигной киль и, одним прыжком очутившись на носу, поставил парус.

– Не зря говорят, что греки не любят итальянцев, – смеясь, заметил Чарли и бросился на корму к румпелю.

Никогда прежде я не видел, чтобы один человек так страстно желал поймать другого, как наш пленник во время этой погони. Он был так возбужден, что его глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит, а ноздри неестественно трепетали и раздувались. Чарли правил рулем, а он – парусом; и, хотя Чарли был скор и проворен, как кошка, грек с трудом сдерживал свое нетерпение.

Итальянцы были отрезаны от берега – их отделяла, самое меньшее, добрая миля пути. Если бы они попытались держать прямо к берегу, то мы, идя за ними при боковом ветре, догнали бы их прежде, чем они прошли восьмую часть этого расстояния. Нет, они были слишком благоразумны, чтобы сделать такую попытку, и продолжали энергично грести против ветра

вдоль правого борта большого судна под названием «Ланкаширская королева». За кораблем в сторону противоположного берега тянулась открытая полоса воды шириною в добрых две мили. Идти туда они тоже не осмеливались, ибо мы неминуемо догнали бы их. Так что, когда они достигли носа «Ланкаширской королевы», им не оставалось ничего другого, как обогнуть его и направиться вдоль левого борта к корме, идя, таким образом, по ветру и оставляя преимущество за нами.

Мы в своем баркасе, держа круто к ветру, легли на другой галс и срезали нос кораблю. Чарли переложил руль под ветер, и мы пошли по левому борту «Королевы»; грек, ухмыляясь от удовольствия, потравил шкот. Итальянцы уже успели пройти половину длины корабля, но крепкий попутный бриз гнал нас куда быстрее, чем они могли двигаться на веслах. Мы подходили все ближе и ближе, и я, перейдя на нос, уже приготовился было зацепить ялик, как вдруг он нырнул под широкую корму «Ланкаширской королевы».

Погоня, собственно, началась сначала. Итальянцы шли на веслах по правому борту корабля, а мы, держа в крутой бейдевинд, постепенно уходили от «Королевы», пытаясь выбраться на ветер. Потом ялик юркнул под нос корабля и пошел по его левому борту, а мы легли на другой галс, срезали нос кораблю и по ветру пустились за ними вдогонку. И снова только я потянулся к ялику, как он нырнул под корму корабля и был таков. И так мы делали круг за кругом, и каждый раз итальянцам удавалось, правда, едва-едва, ускользнуть от опасности.

Тем временем экипаж корабля узнал о том, что происходит, и мы увидели над собой длинный ряд зрителей, с интересом следивших за погоней. Всякий раз, когда мы упускали ялик у кормы, они орали от восторга и бросались к противоположному борту «Ланкаширской королевы», чтобы насладиться тем, как мы будем гнаться за яликом против ветра. Они забрасывали нас и итальянцев остротами и советами и так разозлили нашего грека, что он по крайней мере раз в каждом круге угрожающе потрясал кулаком. Они уже стали ждать этого жеста и встречали его бурным весельем.

– Как в настоящем цирке! – крикнул один из них.

– А еще сомневаются, есть ли на море ипподром! А это что, если не ипподром? – подтвердил второй.

– Шестидневные бега, ежели вам угодно, – возвестил третий. – Кто говорит, что итальяшки не выиграют?

На следующем повороте против ветра грек предложил Чарли поменяться местами.

– Позвольте мне вести лодку, – попросил он. – Уж я-то догоню их. Я их наверняка поймаю.

То был удар по профессиональной гордости Чарли, ибо он не раз хвалился своим умением вести парусное судно. Тем не менее он передал румпель пленнику и занял его место у паруса. Мы сделали еще три круга, и грек убедился, что не может выжать из своего баркаса большей скорости, чем это делал Чарли.

– Бросьте эту затею, – посоветовал сверху один из матросов.

Грек свирепо нахмурился и потряс кулаком на прежний манер. Меж тем моя голова лихорадочно работала, и в конце концов меня осенила неплохая идея.

– Сделаем еще один круг, Чарли, – сказал я.

И когда мы легли на другой галс и снова пошли против ветра, я привязал кусок троса к небольшому четырехлапому крюку, который лежал на дне баркаса. Второй конец я прикрепил к носовому рыму и, спрятав крюк, стал ждать случая пустить его в ход. Ялик снова ушел под



ветер к левому борту «Ланкаширской королевы», и мы опять пустились по ветру вдогонку за яликом. Мы подходили к итальянцам все ближе, и я сделал вид, будто, как прежде, хочу поймать их. Корма ялика находилась от нас не более чем в шести футах, когда итальянцы, вызываясь засмеявшись, юркнули под корму корабля. В это мгновение я неожиданно выпрямился и метнул крюк. Расчет оказался верным, крюк зацепился за планшир ялика, и канат, натянувшись, вытащил маленькое суденышко из его убежища прямо к носу нашего баркаса.

Сверху, где столпились матросы, донесся стон сожаления, тут же сменившийся криками восторга, ибо один из итальянцев достал длинный складной нож и перерезал канат. Но мы уже вытянули их из безопасного места, и Чарли, сидевший у шкота на корме, наклонился вперед и ухватился за корму ялика. Все это произошло в одну секунду: в то мгновение, когда первый итальянец отсекал канат, а Чарли уцепился за ялик, второй итальянец ударил его веслом по голове. Чарли выпустил добычу и, оглушенный ударом, свалился на дно нашей лодки, итальянцы же налегли на весла и исчезли за кормой корабля.

Грек, действуя одновременно румпелем и шкотом, продолжал погоню вокруг «Ланкаширской королевы», а я занялся Чарли, на голове у которого выросла ужасная шишка. Наши зрители-матросы неистовствовали от восторга, и все, как один, подбадривали удиравших итальянцев. Чарли сел и, прижав руку к голове, недоуменно осмотрелся.

– Теперь-то уж я ни за что не позволю им уйти, – наконец сказал он, доставая револьвер.

Когда мы делали следующий круг, он пригрозил итальянцам своим оружием, но они продолжали невозмутимо грести, сохраняя превосходный темп и не обращая ни малейшего внимания на оружие.

– Если вы не остановитесь, я буду стрелять! – сурово крикнул Чарли.

Однако угроза не возымела действия; они отказались капитулировать даже тогда, когда несколько пуль пронеслось в непосредственной близости от них. Им не хуже нас было известно, что Чарли не станет стрелять в безоружных людей, и они по-прежнему упорно кружили вокруг корабля.

– В таком случае мы их загоняем! – воскликнул Чарли. – Они у нас попляшут! Мы из них все жилы вытянем!

Итак, погоня продолжалась. Еще двадцать раз мы заставили итальянцев обойти «Ланкаширскую королеву» и наконец увидели, что даже их железные мускулы сдают. Они уже выбивались из сил, и еще несколько кругов доконали бы их, если бы дело не приняло новый оборот. Всякий раз, идя против ветра, они имели перед нами преимущество, так что, когда они подходили к середине «Ланкаширской королевы», мы были только у ее носа. В последний раз обогнув нос, мы увидели, что итальянцы быстро поднимаются по трапу, неожиданно спущенному с корабля. Этот ход был подстроен матросами, очевидно, с согласия капитана, ибо, когда мы подошли, трап был уже поднят, а ялик качался высоко в воздухе на судовых шлюпбалках.

Последовавший разговор с капитаном был короток и ясен. Капитан категорически запретил нам подниматься на борт «Ланкаширской королевы» и наотрез отказался выдать итальянцев. К этому времени Чарли был так же взбешен, как и наш грек. Он не только потерпел неудачу в долгой и нелепой погоне, но вдобавок был оглушен ударом по голове, нанесенным улизнувшими от нас браконьерами.

– Пусть меня повесят, – решительно заявил он, стукнув кулаком по ладони другой руки, – если эти двое удержат от нас! Я буду караулить их здесь до конца отпущенных мне дней, а если за это время не поймаю их, обещаю, что все равно умру не раньше, чем сцапаю их, не

будь я Чарли Ле Грант.

Так началась осада «Ланкаширской королевы», сохранившаяся в анналах истории как самих рыбаков, так и рыбацкого патруля. Когда «Северный олень» после бесплодного преследования сельдяной флотилии вернулся в Бенишию, Чарли попросил Нейла Партингтона выслать нам свою лососевую лодку, погрузив в нее одеяла, провизию и печку. Обмен лодками произошел перед заходом солнца, и мы попрощались с нашим греком, которому предстояло сесть в Бенишии в тюрьму за то, что он нарушил закон. Мы с Чарли после ужина и до рассвета попеременно несли четырехчасовые вахты. Этой ночью рыбаки не делали попыток удрать, но с корабля была выслана на берег лодка с разведывательной целью.

На другой день мы наладили регулярную осаду и уточнили свой план, не забыв о собственных удобствах. Хорошую службу нам сослужил док под названием Соланская пристань, находившийся чуть пониже Бенишии. Оказалось, что «Ланкаширская королева», берег у Тернерской верфи и Соланская пристань составляют углы большого равнобедренного треугольника. Одна сторона треугольника – расстояние от корабля до берега, которое могли бы покрыть итальянцы, равняется другой его стороне – расстоянию от Соланской пристани до берега, которое нам предстояло пройти так, чтобы не позволить итальянцам высадиться на берег. Но поскольку парусник идет намного быстрее гребного судна, то можно было разрешить итальянцам пройти половину их стороны треугольника, прежде чем пуститься в погоню по своей стороне. Если бы мы дали им возможность пройти больше половины пути, они добрались бы до берега раньше нас; опять-таки, пусть мы вдогонку, прежде чем они пройдут половину пути, им удастся укрыться от нас на корабле.

Мы заметили что воображаемая линия, проведенная от конца пристани к ветряной мельнице, стоявшей немного дальше к берегу, делит ровно пополам ту сторону треугольника, по которой должны были идти к берегу итальянцы. Эта линия помогла нам определить, как далеко можно позволить уйти, прежде чем пуститься в погоню. День за днем мы следили в бинокль, как итальянцы неторопливо гребли к точке на полпути, и стоило им выйти на одну линию с мельницей, как мы миглом вскакивали в свою лодку и ставили парус. Но, увидев что мы готовы к погоне, они поворачивали и медленно шли назад к «Ланкаширской королеве», зная, что нам их не догнать.

На случай штиля, когда парусная лодка была бы бесполезна, у нас стоял наготове ялик, оснащенный веслами с вогнутыми лопастями. Но в те дни, когда ветер падал, мы были вынуждены покидать пристань, как только итальянцы отходили от корабля. Ночью же нам приходилось патрулировать в непосредственной близости от корабля, и тогда мы с Чарли несли вахту, сменяя друг друга каждые четыре часа. Однако итальянцы предпочитали для побега день, и наши ночные бдения были напрасны.

– Больше всего меня бесит, – сказал как-то Чарли, – то, что мы лишены заслуженного сна, меж тем как эти наглецы-браконьеры безмятежно спят по ночам. Но они мне заплатят за все! – пригрозил он. – Я их продержу на этом корабле до тех пор, пока капитан не взыщет с них за квартиру и харчи! Это так же верно, как то, что осетр не сом!

Нам предстояло решить мучительно трудную задачу. Пока мы были начеку, итальянцы не могли удрать; но и нам не удалось бы поймать их, пока они соблюдают осторожность. Чарли совсем извелся, ломая себе голову над решением этой задачи, однако на сей раз его смекалка ему изменила. Видимо, не было иного выхода, как терпеливо ждать. Это была игра, и выиграть ее мог тот, у кого окажется больше терпения. Приятели итальянцев на берегу придумали целую систему сигнализации, с помощью которой легко переговаривались с ними, что особенно раздражало нас и ни на минуту не позволяло ослабить осаду. Кроме того, на Соланской пристани постоянно вертелись два или три подозрительного вида рыбака и шпионили за нами. Но нам ничего другого не оставалось, как, по словам Чарли, «скрывать

свои муки за улыбкой». Меж тем осада отнимала все наше время и не давала возможности заняться чем-нибудь другим.

Дни шли, но положение не менялось. Не потому, что итальянцы не делали никаких попыток его изменить. Как-то ночью их приятели с берега даже вышли на ялике в море, чтобы обмануть нас и помочь тем бежать. Попытка эта не удалась только потому, что блоки талей у шлюпбалок были плохо смазаны. Нас отвлек от погони за незнакомым яликом скрип шлюпбалок, и мы вернулись к «Ланкаширской королеве» в ту самую минуту, когда итальянцы спускали свой ялик на воду. На следующую ночь в темноте возле нас сновало целых шесть яликов, но мы прилипли к борту корабля, как пиявки, тем самым сорвав план рыбаков, так что под конец они разозлились и почем зря стали осыпать нас бранью. Чарли, сидя на дне лодки, смеялся про себя.

– Это хорошая примета, сынок, – сказал он мне. – Когда люди начинают браниться, значит, они потеряли терпение, а потеряв терпение, они вскоре теряют и голову. Помяни мое слово, если только мы продержимся, в один прекрасный день они забудут осторожность, и тогда им крышка.

Но они не забывали осторожность, и Чарли признался, что это тот случай когда все приметы врут. Терпение итальянцев, казалось, не уступало нашему, и столь же однообразно протекала вторая неделя осады, как вдруг проснулась дремавшая смекалка Чарли, и он придумал одну хитрость.

В Бенишию приехал новый, незнакомый рыбакам патрульный Питер Бойлен, и мы сделали его участником нашего плана. По мере сил своих мы старались сохранить нашу затею в тайне, но приятели итальянцев на берегу что-то заподозрили и велели осажденным глядеть в оба.

В ту ночь, когда мы намеревались осуществить свою уловку, я и Чарли в гребной лодке, как обычно, заняли свое место у борта «Ланкаширской королевы». После того как совсем стемнело, Питер Бойлен вышел в море в неустойчивой, утлой лодчонке, такой, какую можно подхватить и унести под мышкой. Услышав, что он подходит, шумно ударяя веслами по воде, мы отошли на небольшое расстояние в темноту и остановились. Поравнявшись с «Ланкаширской королевой», Питер лихо окликнул стоявшего на вахте у якоря матроса и, спросив его, где стоит «Шотландский вождь» – другое судно, ожидавшее груза пшеницы, – по неловкости опрокинул свою лодчонку. Человек, стоявший на вахте, сбежал по трапу вниз и вытащил Питера из воды. А ему только этого и нужно было; теперь он надеялся попасть на корабль, где в каюте он согреется и высушит одежду. Однако капитан негостеприимно держал его на нижней ступеньке трапа; ноги его болтались в воде, и он так дрожал от холода, что мы не вытерпели, вышли из темноты и взяли его в нашу лодку. Шуточки и насмешки проснувшейся команды звучали в наших ушах как угодно, только не сладостно, даже оба итальянца влезли на поручень и смеялись над нами залихватно и злобно.

– Ничего, – сказал мне Чарли так тихо, что только один я расслышал, – я очень рад, что мы не смеемся первыми. Мы прибережем свой смех к концу, не правда ли, сынок?

Потом он похлопал меня по плечу, но мне показалось, что в его голосе больше решимости, чем надежды.

Мы могли, конечно, заручиться помощью полиции и взойти на борт английского корабля по распоряжению властей. Но в инструкции Рыболовной комиссии было сказано, что патрульные должны избегать осложнений, и, вмешайся высшие власти, наш случай мог бы кончиться международным конфликтом.

Вторая неделя осады подходила к концу, но не было видно никаких признаков перемены обстановки. Все же утром четырнадцатого дня положение изменилось, при этом самым

неожиданным и удивительным образом как для нас, так и для людей, которых мы так жаждали поймать.

Мы с Чарли возвращались к Соланской пристани, как обычно, проведя ночь в дозоре у борта «Ланкаширской королевы».

– Эй! – воскликнул Чарли в изумлении. – Во имя разума и здравого смысла скажи мне: что это? Видел ли ты когда-нибудь такое чудное судно?

Да, было чему поучиться, ибо на причале стоял баркас, подобного которому я и в самом деле никогда не встречал. Его, собственно, нельзя было назвать баркасом, но он походил на баркас больше, чем на какое-либо другое судно. Он был длиною в семьдесят футов, но очень узок и почти без всяких надстроек, отчего казался меньше, чем был в действительности. Сделан он был весь из стали и выкрашен в черный цвет. На середине высились в ярд на значительном расстоянии одна от другой с наклоном к корме три дымовые трубы; нос же, длинный и острый, как нож, свидетельствовал о том, что судно строили с расчетом на большую скорость. Проходя мимо кормы, мы прочитали написанное на борту мелкими буквами: «Стрела».

Мы с Чарли сгорали от любопытства. Через несколько минут мы уже были на борту и беседовали с механиком, который стоял на палубе и любовался восходом солнца. Он охотно удовлетворил наше любопытство, и мы скоро узнали, что «Стрела» пришла поздно вечером из Сан-Франциско, что этот переход можно считать пробным и что судно принадлежит Сайлесу Тейту, молодому миллионеру с калифорнийских рудников, который помешан на быстроходных яхтах. Потом заговорили о турбинных двигателях, о применении пара, об отсутствии поршней, штоков и кривошипов – словом, о таких вещах, в которых я ничего не смыслил, так как знал только парусные суда. Однако последние слова механика я отлично понял.

– Хотите верьте, хотите нет, но мощность «Стрелы» – четыре тысячи лошадиных сил, а скорость – сорок пять миль в час! – с гордостью заключил он.

– Повторите это, дружище! Повторите! – взволнованно воскликнул Чарли.

– Четыре тысячи лошадиных сил и сорок пять миль в час! – добродушно усмехаясь, повторил механик.

– Где ее владелец? – воскликнул Чарли. – Могу я потолковать с ним?

– Боюсь, что нет, – покачав головой, ответил механик. – Он еще спит.

В эту минуту на палубу поднялся молодой человек в синей куртке и, пройдя к корме, стал глядеть на небо.

– Вот это и есть мистер Тейт, – сказал механик.

Чарли пошел на корму и заговорил с ним; он что-то с жаром рассказывал, и по выражению лица молодого владельца судна можно было судить, что рассказ его забавляет. Видимо, он спросил, какая глубина воды у берега возле Тернерской верфи, ибо я увидел, как Чарли жестами объяснял ему. Несколько минут спустя Чарли вернулся в превосходном настроении.

– Пошли, сынок, – сказал он мне. – Пошли на пристань. Теперь уж мы их не выпустим!

Нам здорово повезло в том, что мы сразу покинули «Стрелу», ибо почти тут же появился один из шпионивших за нами рыбаков. Мы с Чарли заняли свое обычное место на причале возле нашей лодки, чуть впереди от «Стрелы», откуда было удобно наблюдать за «Ланкаширской королевой». До девяти часов все было спокойно, потом мы увидели, что итальянцы отошли

от корабля и по своей стороне треугольника направились к берегу. Чарли сидел с самым невозмутимым видом, но не успели они покрыть и четверти расстояния, как он взволнованно прошептал:

– Сорок пять миль в час... Им нет спасения... Они наши!

Итальянцы медленно гребли и уже были почти на одной линии с ветряной мельницей. В эту минуту мы обычно вскакивали в свою лодку и ставили парус; двое в ялике, ожидая, что мы и сейчас так поступим, видимо, удивились нашему бездействию.

Когда они оказались точно на линии с мельницей, на одинаковом расстоянии от берега и от корабля, ближе к берегу, чем мы позволяли им подойти до сих пор, у них возникли подозрения. Мы следили за ними в бинокль и увидели, как они встали в своем ялике, пытаюсь догадаться, что мы собираемся делать. Озадачен был и шпион, сидевший рядом с нами на причале. Он не мог понять, почему мы не трогаемся с места. Итальянцы подошли еще ближе, снова поднялись и стали пристально всматриваться в берег, словно думая, что мы там спрятались. Тут на берегу появился какой-то человек и замахал платком, давая понять, что путь свободен. Тогда итальянцы решились. Они налегли на весла и ринулись вперед, но Чарли все еще выжидал. Только когда они прошли три четверти расстояния от «Ланкаширской королевы» и до берега осталось немногим больше четверти мили, Чарли хлопнул меня по плечу и крикнул:

– Попались! Попались!

Мы пробежали несколько шагов, отделявших нас от «Стрелы», и прыгнули к ней на борт. В одно мгновение были отданы носовые и кормовые концы, и «Стрела» стремительно понеслась вперед. Шпионивший за нами рыбак, который остался на пристани, выхватил револьвер и, не переводя дыхания, пять раз выстрелил в воздух. Итальянцы поняли, что их предостерегают, и, как безумные, пустились наутек.

Но если сказать, что они удирали, как безумные, то какими словами можно описать наше движение? Мы буквально летели. С такой дикой скоростью мы рассекали воду, что за бортом с двух сторон вздымались лавины, которые, пенясь, разбегались тремя могучими вертикальными волнами, а с кормы на нас алчно наседали огромный гребенчатый вал, готовый, казалось, в любую секунду обрушиться на судно и уничтожить его. «Стрела» дрожала, трепетала, рычала, как живое существо. Ветер, который мы поднимали, был подобен урагану – урагану со скоростью в сорок пять морских миль в час. Мы не могли повернуться к нему лицом и едва переводили дыхание. Он относил выходивший из жерл труб дым прямо назад под прямым углом к движению судна. Мы мчались со скоростью экспресса. «Мы прямо-таки неслись стрелой», – говорил потом Чарли, и вряд ли подберешь слова, которые более точно описали бы скорость нашего движения.

Что касается итальянцев в ялике, то мне казалось, что мы нагнали их, едва успев отойти от пристани. Конечно, пришлось умерить ход задолго до того, как мы подошли к ним; но все равно «Стрела» вихрем пронеслась мимо, и мы были вынуждены повернуть назад, описав дугу между ними и берегом. Итальянцы напряженно гребли, приподнимаясь над банкой при каждом ударе весел, до той самой минуты, когда мы промчались мимо них и они узнали нас с Чарли. Это их совершенно обескуражило, и от их воинственности и следа не осталось. Они мрачно вытащили свои весла из воды и позволили себя арестовать.

– Все это так, Чарли, – сказал Нейл Партингтон, когда мы потом на пристани поведали ему о нашей победе, – но я не понимаю, в чем проявилась твоя хваленая смекалка на этот раз.

Однако Чарли остался верен своему коньку.

– Смекалка? – переспросил он, указывая на «Стрелу». – Взгляни-ка на это судно! Ты только

взгляни! Уж если изобретение такого судна не результат смекалки, тогда что это такое, хотел бы я знать? Конечно, – добавил он, – на этот раз смекалка не моя, но свое дело она сделала.

\* \* \*

## ПЕРЬЯ СОЛНЦА

1

Остров Фиту-Айве был последним оплотом полинезийцев в Океании. Независимости его способствовали три обстоятельства. Во-первых и во-вторых – уединенное расположение острова и воинственность его жителей. Однако эти обстоятельства в конце концов не спасли бы Фиту-Айве, если бы им не прельстились одновременно Япония, Франция, Англия, Германия и Соединенные Штаты. Они дрались из-за него, как мальчишки из-за найденного на улице медяка, и не давали друг другу завладеть им. Военные суда пяти держав теснились в единственной маленькой гавани Фиту-Айве. Поговаривали о войне, и где-то за океаном уже бряцали оружием. Во всем мире люди за утренним завтраком читали в газетах сообщения о Фиту-Айве. Словом, по местному выражению одного матроса-янки, «все сразу сунулись к одной кормушке».

Вот почему-то остров Фиту-Айве избежал даже объединенного протектората и король его, Тулифау, или Туи Тулифау, по-прежнему творил суд и расправу в своем бревенчатом дворце из калифорнийского леса, построенном для него каким-то сиднейским коммерсантом. Туи Тулифау был король с головы до ног, король с первой секунды своей жизни. Более того, когда исполнилось пятьдесят восемь лет и пять месяцев его царствования, королю было еще только пятьдесят восемь лет и три месяца, а, следовательно, он царствовал на пять миллионов секунд дольше, чем жил на свете: его короновали за два месяца до рождения.

Это и с виду был настоящий король, величественный мужчина ростом шесть с половиной футов. Не отличаясь чрезмерной полнотой, он весил, однако, триста двадцать фунтов. Впрочем, такой рост и вес не считались у полинезийских вождей редкостью. Супруга Тулифау, королева Сепели, была ростом в шесть футов три дюйма и весила двести шестьдесят фунтов, а брат ее, Уилиами (командовавший армией, когда ему надоедали обязанности первого министра), был выше ее на дюйм и весил ровно на полцентнера больше.

Туи Тулифау был веселый король, большой любитель поесть и выпить. Таким же веселым и безобидным нравом отличались его подданные, что не мешало им иногда выходить из себя и даже швырять дохлыми свиньями в того, кто навлек на себя их гнев. При всем своем миролюбию они умели сражаться не хуже маорийцев, в чем не раз убеждались в былые времена разбойники-купцы, торговавшие сандаловым деревом и людьми.

2

Шхуна Грифа «Кантани», еще два часа назад миновав Каменные Столбы, скалы,

сторожившие вход в бухту, теперь тихо входила в гавань с легким бризом, который словно не решался разгуляться по-настоящему. Был прохладный звездный вечер, и все слонялись по палубе в ожидании, когда шхуна своим черепашьям ходом доберется до причала. Из каюты появился кладовщик Уилли Сми, принарядившийся перед выходом на берег. Помощник капитана посмотрел на его рубашку из тончайшего белого шелка и выразительно хмыкнул.

– Собираешься, я вижу, на бал? – сказал Гриф.

– Нет, – возразил помощник. – Это он для Таити так расфрантился. Влюблен в нее по уши.

– Выдумываете! – запротестовал Уилли.

– Ну, так она в тебя влюблена, это все равно, – настаивал помощник капитана. – Не пройдет и полчаса, как ты будешь с нею в обнимку гулять по берегу в венке и с цветком за ухом.

– Просто вы завидуете, фыркнул Уилли. – Вам самому она приглянулась, да ничего у вас не выходит.

– Не выходит, потому что у меня нет такой рубашки, как у тебя, вот и все. Держу пари на полкроны, что ты уедешь с Фиту-Айве без нее.

– А если ее не получит Таити, так наверняка заберет Туи Тулифау, – предостерег кладовщика Гриф. – Смотри, не попадайся ему на глаза в этой рубашке, иначе придется тебе распрощаться с нею!

– Это верно, подтвердил и капитан Бойг, оторвавшись на миг от созерцания огней на берегу. – В прошлый наш приезд он забрал у одного из моих канаков расшитый пояс и складной нож... Мистер Мэш, – обратился капитан к своему помощнику, – можете отдать якорь. Только не слишком вытравливайте канат. Похоже, что ветра не будет, и утром нам придется стать напротив складов копры.

Через минуту загремел якорь. У борта уже стояла спущенная на воду шлюпка, и в нее садились те, кто съезжал на берег. Здесь были все канаки, а из белых только Гриф и Уилли Сми.

На узком коралловом молу Уилли, буркнув что-то вроде извинения, расстался со своим хозяином и быстро исчез в пальмовой аллее. А Гриф пошел в другую сторону, мимо старой миссионерской церкви. На берегу среди могил плясали юноши и девушки, весьма легко одетые – в одних «аху» и «лава-лава», украшенные венками и гирляндами. В волосах у них белели, словно светясь, крупные цветки гибиска.

Немного подальше, перед длинным травяным шалашом «химине», Гриф увидел стариков: их было несколько десятков, и, сидя рядом, они пели старые церковные гимны, которым когда-то выучились у позабытых всеми миссионеров.

Потом Гриф прошел мимо дворца Туи Тулифау – множество огней и доносившийся изнутри шум свидетельствовали, что там, как всегда, идет пир горой. Ибо из всех счастливых островов Океании Фиту-Айве был самый счастливый. Здесь пировали и веселились по случаю и рождений и смертей, с одинаковым усердием чествовали мертвецов и еще не рожденных.

Гриф продолжал идти по Дроковой аллее, которая вилась и петляла среди множества цветов и густых зарослей папоротниковых альгароб. Теплый воздух был полон благоухания, а на фоне звездного неба рисовались отягощенные плодами манговые деревья, величавые авокадо и веера стройных пальм. Там и сям мелькали травяные хижины, чьи-то голоса и смех журчали во мраке. Вдали, на воде, мигали огоньки и звучала тихая песня – это от рифов

плыли домой рыбаки.

Наконец, Гриф свернул с дороги к одной из хижин и тут в темноте наткнулся на свинью, которая негодующе хрюкала. Заглянув в открытую дверь, он увидел пожилого туземца, сидевшего на груди сложенных циновок. Время от времени он машинально обмахивал свои голые ноги хлопущей для мух, сделанной из кокосовой мочалы, и, оседлав нос очками, сосредоточенно читал какую-то книгу. Гриф не сомневался, что это библия на английском языке. Какую еще книгу мог читать его торговый агент, Иеремия, окрещенный так в честь древнего пророка?

У Иеремии кожа была несколько светлее, чем у туземцев Фиту-Айве, ибо он был чистокровный самоанец. Воспитанный миссионерами, он когда-то преданно служил их делу, подвизаясь в качестве учителя на западных атоллах, населенных каннибалами. В награду его потом отправили на Фиту-Айве, этот рай земной, где все жители, за исключением отступников, были добрыми христианами, и Иеремию оставалось только вернуть некоторых заблудших на путь истинный.

Однако Иеремию погубила чрезмерная начитанность. Случайно попавший к нему в руки том Дарвина, да притом еще сварливая жена и одна хорошенькая вдовушка на Фиту-Айве совратили его самого, и он оказался в числе заблудших. Это не было вероотступничество. Но после того, как он полистал Дарвина, им овладела душевная и умственная апатия. Что пользы человеку пытаться познать бесконечно сложный и загадочный мир, в особенности когда у этого человека злая жена? И Иеремия все с меньшим рвением исполнял свои обязанности пастыря, начальство все чаще грозило, что отошлет его обратно к людоедам, а, соответственно этому, острый язык жены жалил его все сильнее.

Туи Тулифау был добрый монарх и сочувствовал Иеремию: ни для кого не было тайной, что его самого поколачивала супруга в тех случаях, когда он напивался сверх всякой меры. Из политических соображений (ибо Сепели принадлежала к столь же высокому роду, как и он, а брат ее командовал армией) Туи Тулифау не мог развестись с королевой. Но развести Иеремию с женой он мог – и сделал это, после чего Иеремия немедленно женился на своей избраннице и занялся коммерцией. Попробовав самостоятельно вести торговлю, он скоро прогорел – главным образом из-за разорительных милостей Туи Тулифау. Отказать в кредите этому веселому самодержцу значило бы навлечь на себя конфискацию имущества, а предоставление ему кредита неизбежно должно было привести к банкротству.

Проболтавшись год без дела, Иеремия поступил на службу к Дэвиду Грифу в качестве торгового агента и вот уже двенадцать лет с честью выполнял эту обязанность. Торговля процветала, так как Гриф был первый человек, который успешно отказывал королю в кредите, а если и отпускал ему товар в долг, то умудрялся затем получать с него деньги.

Когда Гриф вошел, Иеремия серьезно посмотрел на него поверх очков, затем так же серьезно и не спеша, отметив страницу, отложил библию в сторону и пожал хозяину руку.

– Очень хорошо, что вы пожаловали собственной персоной! – сказал он.

– А как иначе я мог пожаловать? – с улыбкой отозвался Гриф.

Но Иеремия, совершенно лишенный чувства юмора, пропустил это замечание мимо ушей.

– Коммерция на острове находится в катастрофическом состоянии! – изрек он торжественно, со смаком отчеканивая каждое многосложное слово. – Мой торговый баланс хоть кого приведет в ужас!

– А что, торговля идет плохо?



– Напротив, очень бойко. Полки в лавке совсем опустели. Да, полки совершенно пусты. Но...  
– Тут в глазах Иеремии блеснула гордость. – Но на складе еще много товара. Я держу его под спудом, за крепкими замками.

– Наверное, опять слишком много надавали в кредит Туи Тулифау?

– Нет, он не только не брал в долг, но заплатил и по всем старым счетам.

– Ну, тогда я ничего не понимаю! – признался Гриф. – Откуда же кризис? Вы говорите: полки пусты, в кредит ничего не отпускалось, все счета оплачены, на складе припрятан товар – в чем загвоздка?

Иеремия ответил не сразу. Из-под груды циновок он извлек железный денежный ящик. Гриф заметил, что ящик не заперт, и удивился: обычно самоанец очень тщательно запирает его.

Ящик был доверху набит какими-то кредитками. Иеремия снял одну, лежавшую на самом верху, и протянул ее хозяину.

– Вот в чем загвоздка.

Гриф осмотрел аккуратно сделанную кредитку и прочел:

«Первый Королевский банк Фиту-Айве выплачивает предъявителю сего по требованию один фунт стерлингов.» Посредине было расплывчатое изображение чьей-то физиономии, а внизу стояла подпись Туи Тулифау и еще другая – «Фулуалеа» с пояснительной надписью «Министр финансов».

– Что за чертовщина? Откуда взялся этот Фулуалеа? – воскликнул Гриф. – И что за имя! На языке туземцев фиджи это слово, кажется, означает «перья солнца»!

– Совершенно верно: Перья Солнца. Так именует себя этот гнусный мошенник. Явился сюда с Фиджи и перевернул все вверх дном – я имею в виду коммерцию на острове.

– Наверное, это кто-нибудь из продувных левукских туземцев?

Иеремия скорбно покачал головой.

– Нет, он белый. И негодяй, каких мало. Присвоил себе благородное и звучное фиджийское имя – и втоптал его в грязь ради своих гнусных целей. Он сделал Туи Тулифау пьяницей. Он все время его спаивает и не дает протрезвиться. А король в благодарность назначил его министром финансов и предоставил ему еще кучу других должностей. Фулуалеа выпустил вот эти фальшивые деньги и заставил весь народ принимать их. Он ввел патенты для торговцев, налоги на копру и на табак. Введены также и другие налоги, и портовый сбор, и какие-то правила для прибывающих судов. С населения налогов не берут, только с нас, торговцев. Когда обложили налогом копру, я стал платить за нее соответственно меньше. Тут люди зароптали, и Перья Солнца издал новый закон: восстановил прежнюю цену и запретил ее снижать. Меня он оштрафовал на два фунта стерлингов и пять свиней – так как было известно, что у меня их именно пять. Стоимость их я записал в графу торговых расходов. У Хоукинса, агента Компании Фокрэм, под видом штрафа отобрали сперва свиней, потом джин, а когда он стал шуметь, пришли солдаты и сожгли его лавку. Я прекратил торговлю, но подлец Фулуалеа оштрафовал меня вторично и пригрозил спалить и мою лавку, если я еще раз попытаюсь обойти закон. Ну, я и продал все, что было на полках, и теперь ваша касса набита ничего не стоящим хламом. Конечно, если вы выплатите мне жалованье этими бумажками, меня это сильно огорчит, но это будет только справедливо, безусловно справедливо. Теперь скажите, что делать?

Гриф пожал плечами.

– Прежде всего мне надо повидать эти Перья Солнца и выяснить положение.

– Тогда торопитесь, – посоветовал Иеремия, – покуда он не успел еще наложить на вас сотню всяких штрафов. Таким-то образом он и вылавливает всю звонкую монету, какая есть в стране. Он все, кажется, уже заграбастал, кроме того, что лежит в земле!

3

Возвращаясь от Иеремии по той же Дроковой аллее, Гриф у освещенного фонарями входа в дворцовый парк, встретил низенького толстяка, гладко выбритого, румяного, в измятых парусиновых брюках. Человек этот только что вышел из дворца. Что-то в его походке и самоуверенных манерах показалось Грифу знакомым, и в следующую минуту он узнал в нем субъекта, которого встречал по крайней мере в десяти портах Тихого океана.

– Кого я вижу! Корнелий Дизи! – воскликнул он.

– Эге, да это вы, Гриф! – отозвался тот, и они пожали друг другу руки.

– Пойдемте ко мне на шхуну, угощу вас первосортным ирландским виски, – предложил Гриф.

Корнелий выпятил грудь и принял чопорно-величественный вид.

– Нет, мистер Гриф, этот номер не пройдет. Теперь я – Фулуалеа, и выпивкой меня не соблазнишь, как в былые времена. Притом, волею его величества, милостивого короля Тулифау, я – министр финансов в этой стране. Я же – верховный судья. Только иногда, когда королю угодно развлечься, он сам берет в руки меч правосудия.

Гриф от удивления даже присвистнул.

– Так это вы – Перья Солнца?

– Я предпочитаю, чтобы меня называли по-здешнему, – поправил его Корнелий. – Имею честь представиться: Фулуалеа. Старая дружба не ржавеет, мистер Гриф, но все же я с великим сожалением должен сообщить вам неприятную весть: вам придется заплатить ввозную пошлину, установленную нами для всякого коммерсанта, который приезжает сюда грабить жителей коралловых островов, мирных полинезийцев... Что бишь я хотел сказать еще? Ах, да! Вы нарушили правила: с преступными намерениями вошли в порт Фиту-Айве после захода солнца, не зажигая бортовых огней... Не перебивайте меня! Я своими глазами видел это. За такие незаконные действия вы уплатите штраф в размере пяти фунтов... А джин у вас на шхуне имеется? Это тоже серьезное нарушение... Да, так я говорю – жизнь моряков нам слишком дорога, чтобы мы в нашем благоустроенном порту позволили рисковать ею ради грошовой экономии керосина... Однако вы не ответили на мой вопрос: есть у вас спиртное? Спрашиваю как начальник порта.

– Ого! Вы взяли на себя уйму ответственных обязанностей! – сказал Гриф, усмехаясь.

– Таков тяжкий долг белого человека. Мошенники-купцы взвалили все бремя правления на бедного Туи Тулифау, добрейшего из монархов, какие когда-либо занимали трон на тихоокеанских островах и тянули грог из королевского калабаша. И вот я, Корнелий... то есть Фулуалеа, взялся навести здесь законный порядок... И, хотя мне это очень неприятно, я как начальник порта должен обвинить вас в нарушении карантина.

– Какого карантина? Это что еще за новость?

– Распоряжение портового врача. Пока судно не отбыло карантина – никаких сношений с берегом! Ведь вы можете занести какую-нибудь эпидемию – ветряную оспу, например, или коклюш, – а это страшное бедствие для доверчивых полинезийцев! Кто же защитит кроткого и доверчивого туземца? Я, Фулуалеа, Перья Солнца, взял на себя эту великую миссию!

– А кто ваш портовый врач, черт бы его побрал? – осведомился Гриф.

– Я, Фулуалеа. Вы опасный правонарушитель!.. Считайте себя оштрафованным на пять ящиков первосортного голландского джина.

Гриф от души расхохотался.

– Как-нибудь сговоримся, Корнелий. Едемте ко мне на шхуну и там выпьем.

Перья Солнца величественным жестом отклонил приглашение.

– Это взятка. Взятки не беру, не такой я человек. А почему вы не представили ваших судовых документов? Как начальник таможни, я штрафую вас на пять фунтов стерлингов и еще на два ящика джина.

– Послушайте, Корнелий, пошутить не грех, но вы хватили через край. Здесь вам не Левука! Бросьте хорохориться, меня не запугаете. Признаться, у меня уже руки чешутся.

Перья Солнца в смятении отступил подальше.

– Не вздумайте сейчас пустить их в ход! – сказал он с угрозой. – Здесь не Левука, это верно. Именно поэтому и еще потому, что за мной стоит Туи Тулифау и королевская армия, я могу вас в порошок стереть. Немедленно платите все штрафы, иначе я конфискую ваше судно. Думаете, вы первый? Вот и Питер Джи, скупщик жемчуга, прокрался в гавань, нарушив все правила, да еще поднял скандал из-за каких-то пустячных штрафов. Не хотел платить, ну и сидит теперь на берегу и кается.

– Неужто вы...

– Конечно! Выполняя свои высокие обязанности, я захватил его шхуну. На ее борту сейчас находится пятая часть нашей верной армии, а через неделю шхуна будет продана. Мы нашли в трюме тонн десять раковин. Пожалуй, я уступлю их вам в обмен на джин. Вы сделаете на редкость выгодное дельце, можете мне поверить! Сколько, вы говорите, у вас джину?

– Опять джин!

– А что же тут удивительного? Туи Тулифау пьет по-королевски. Мне приходится день и ночь ломать голову, придумывая, как обеспечить его спиртным. И щедр он до невозможности – все его прихлебатели вечно вдрызг пьяны. Это безобразие... Ну что же, мистер Гриф, уплатите вы штрафы или вынудите меня прибегнуть к решительным мерам?

Гриф сердито повернулся к нему.

– Корнелий, вы пьяны. Протрезвитесь и тогда подумайте, что вы делаете. Веселые деньки на островах Океании миновали. В нынешние времена такие забавы вам даром не пройдут.

– Вы, кажется, собираетесь вернуться на шхуну, мистер Гриф? Не трудитесь напрасно! Я предвидел, что вы будете артачиться – знаю я вашего брата! – и вовремя принял меры: всю команду вы найдете на берегу, а шхуна ваша конфискована.

Гриф сделал шаг к нему, все еще надеясь, что он шутит. Фулуалеа опять испуганно попятился. За его спиной вдруг выросла какая-то огромная фигура.

– Это ты, Уилиами? – понизив голос, спросил Фулуалеа. – Вот еще один морской пират! Защити меня силой своих рук, о могучий брат мой!

– Привет тебе, Уилиами, – сказал Гриф. – С каких это пор на Фиту-Айве всем управляет какой-то левукский бездельник? Он говорит, что моя шхуна захвачена. Правда это?

– Правда, – густым басом прогудел Уилиами. – Есть у тебя еще такие шелковые рубашки, как та, что носит Уилли Сми? Туи Тулифау хочется иметь такую рубашку. Он слышал о ней.

– И он ее получит, – вмешался Фулуалеа. – Что бы король ни захотел, шхуну или рубашку, все он получит.

– Однако вы порядком зарвались, Корнелий! – пробурчал Гриф. – Это чистейший разбой! Вы захватили мое судно без всяких оснований.

– Без оснований? А разве пять минут тому назад вы на этом самом месте не отказались уплатить штрафы, которые с вас причитаются?

– Да ведь шхуна-то конфискована до этого!

– Ну и что же? Ведь я заранее знал, что вы откажетесь. Все сделано по закону, и вам не на что жаловаться. Правосудие, эта несравненная лучезарная звезда, – мое божество, и у его сияющего алтаря я, Корнелий Дизи – то есть Фулуалеа, это одно и то же, – день и ночь возношу молитвы. Уходите, господин купец, или я напущу на вас дворцовую стражу! Уилиами, этот купец – отчаянный человек, он на все способен. Вызови стражу!

Уилиами схватил свисток на плетеном кокосовом шнурке, висевший на его широкой голой груди, и засвистал. Гриф гневно замахнулся на Корнелия, но тот юркнул за массивную спину Уилиами, где он был в безопасности. А по дорожке от дворца уже мчалось человек десять рослых полинезийцев, среди которых не было ни одного ниже шести футов. Добежав, они выстроились позади своего командира.

– Убирайтесь отсюда, господин купец, – приказал Корнелий. – Разговор окончен. Завтра утром мы в суде разберем все ваши дела. Вы должны явиться во дворец ровно в десять часов и ответить за следующие преступления: Нарушение общественного спокойствия, изменнические, мятежные речи, дерзкое нападение на верховного судью с целью избить, ранить, нанести тяжкие увечья, а также несоблюдение карантина и установление порядков и грубое нарушение таможенных правил. Утром, милейший, утром, не успеет упасть плод с хлебного дерева, как правосудие свершится! И да помилует господь вашу душу!

4

Наутро, еще до назначенного часа, Гриф пришел во дворец вместе с Питером Джи и настоял, чтобы их допустили к Туи Тулифау. Король, окруженный несколькими вождями, возлежал на циновках в дворцовом саду, в тени авокадо. Несмотря на ранний час, служанки уже хлопотали, непрерывно разнося всем джин. Король был рад старому другу и выразил сожаление, что «Давида» впутался в неприятности, оказавшись не в ладу с новыми законами Фиту-Айве. Однако в дальнейшей беседе он упорно избегал этой темы и на все протесты ограбленных купцов неизменно отвечал предложением выпить. Только раз он излил свои чувства, сказав, что Перья Солнца – замечательный человек и никогда еще на Фиту-Айве не царил такое благополучие, как сейчас: никогда еще не было в казначействе столько денег, а во дворце столько джина.

– Да, я очень доволен Фулуалеа, – заключил король. – Выпейте еще!

– Нам надо в спешном порядке убраться отсюда, – шепнул Гриф Питеру Джи, – иначе мы совсем опьянеем. А меня к тому же через несколько минут будут судить за поджог, или ересь, или распространение проказы... сам не знаю, за что, – и мне надо собраться с мыслями.

Когда они выходили от короля, Гриф мельком видел королеву. Она из-за двери подсматривала за своим августейшим супругом и его собутыльниками, и выражение ее нахмуренного лица сразу подсказало Грифу, что ему следует действовать только через нее.

В другом тенистом уголке обширного дворцового парка Корнелий вершил суд. Видимо, он приступил к этому занятию спозаранку. Когда пришел Гриф, разбиралось уже дело Уилли Сми. Королевская армия присутствовала на суде в полном составе, за исключением той ее части, которая стерегла захваченные шхуны.

– Пусть подсудимый встанет, – сказал Корнелий, – и выслушает справедливый и милостивый приговор суда. За непристойное поведение и распущенность, не подобающую человеку его звания, он приговаривается к штрафу. Подсудимый заявляет, что у него нет денег? Хорошо. К сожалению, у нас нет тюрьмы. По этой причине, а также снисходя к бедности подсудимого, суд штрафует его только на одну белую шелковую рубашку такого же сорта, качества и фасона, как та, которая сейчас на нем.

Корнелий сделал знак, и несколько воинов увели Уилли Сми за дерево. Через минуту он появился уже без упомянутой в приговоре части туалета и сел подле Грифа.

– В чем вы провинились? – спросил у него тот.

– Понятия не имею. А какие преступления совершили вы?

– Следующий, – сказал Корнелий строго официальным тоном. – Обвиняемый Дэвид Гриф, встаньте! Суд рассмотрел обвинительный материал по вашему делу – или, вернее, делам – и выносит следующее постановление... Молчать! – гаркнул он, когда Гриф хотел перебить его.

– Повторяю, все показания против вас тщательно рассмотрены. Суд не желает отягчать участь обвиняемого и потому предупреждает, что таким поведением он может навлечь на себя еще и кару за оскорбление суда. А за его открытое и наглое неповиновение установленным в порту правилам, несоблюдение карантина и нарушение законов о судоходстве принадлежащая ему шхуна «Кантани» объявляется конфискованной в пользу правительства Фиту-Айве и через десять дней от сего числа будет продана с публичных торгов со всем ее оснащением и грузом. Кроме того, подсудимый Гриф за преступления, совершенные им, а именно за буйное, вызывающее поведение и явное неуважение к законам нашей страны, обязан уплатить штраф в размере ста фунтов стерлингов и пятнадцати ящиков джина. Подсудимый, я не предоставляю вам слова. Отвечайте только на один вопрос: намерены вы платить или нет?

Гриф отрицательно покачал головой.

– В таком случае, – продолжал Корнелий, – считайте себя арестованным, но временно оставленным на свободе, ибо на острове нет тюрьмы, куда вас можно было бы упрятать. И, наконец, до сведения суда дошло, что сегодня рано утром подсудимый Гриф самоуправно посылал своих канаков к рифам наловить рыбы на завтрак. Это явное нарушение прав здешних рыбаков. Мы обязаны защищать интересы отечественных промыслов. Суд выносит подсудимому суровое порицание, и, если подобное правонарушение повторится, он и все виновные будут немедленно отправлены на каторжные работы – приводить в порядок Дроковую аллею. Объявляю заседание закрытым.

Когда они уходили из резиденции короля, Питер Джи, подтолкнув Грифа, указал глазами на

Туи Тулифау, по-прежнему возлежавшего на циновках. Шелковая рубашка Уилли Сми уже туго облегла жирные королевские телеса.

5

– Картина ясна, – говорил Питер Джи на совещании в доме у Иеремии. – Дизи, видимо, выкачал уже почти все деньги, какие были у населения Фиту-Айве. Чтобы король ему не мешал, он непрерывно спаивает его джином, который он захватил на наших судах. Он только и ждет удобного момента, чтобы прикарманить всю звонкую монету, что хранится в казначействе, и удрать на моей или вашей шхуне.

– Он негодяй, – объявил Иеремия, перестав на минуту протирать очки. – Плут он и мерзавец!.. В него следовало бы запустить дохлой свиньей, самой протухшей падалью!

– Совершенно верно, – подтвердил Гриф, – отхлестать дохлой свиньей! И меня несколько не удивит, если именно вы возьмете это на себя. Непременно подыщите что-нибудь подходящее – самую что ни на есть дохлятину. Туи Тулифау сейчас в лодочном сарае на берегу – вскрывает один из моих ящиков виски. Я пойду во дворец и начну закулисные переговоры с королевой. Тем временем вы перенесите часть товара из склада в лавку и разложите по полкам. Вам, Хоукинс, я ссужу немного своего. А вы, Питер, ступайте в лавку немца и начните все продавать за бумажные деньги. Убытки я возьму, не беспокойтесь. Думаю, что через три дня у нас будет всенародное собрание – или переворот. Иеремия, вы разошлите гонцов по всему острову, к рыбакам, земледельцам, повсюду, даже в горы к охотникам за дикими козами. Пусть приедут и соберутся у дворца ровно через три дня.

– А солдаты? – возразил Иеремия.

– Ими я займусь сам. Они вот уже два месяца не получали жалованья. Притом Уилиами – брат королевы... Да, вот еще что: не надо сразу раскладывать в лавках много товаров. А когда придут солдаты с бумажными деньгами, ничего им не продавайте.

– Они сожгут лавки! – сказал Иеремия.

– Пусть сожгут. За все заплатит король Тулифау.

– И за мою рубашку тоже? – спросил Уилли Сми.

– Это уж ваше с ним частное дело, решайте его между собой, – ответил Гриф.

– Рубашка изорвана, – жалобно сказал Уилли. – Не успел он поносить ее десять минут, как она лопнула на спине. Я сам видел сегодня утром. Она стоила мне тридцать шиллингов, и я один только раз надевал ее.

– Где взять дохлую свинью? – спросил Иеремия.

– Купите живую и заколите, – сказал Гриф. – Лучше всего небольшую.

– Небольшая тоже стоит не меньше десяти шиллингов.

– Проведите эту сумму по графе текущих расходов.

И, помолчав, Гриф добавил:

– Если хотите, чтобы свинья хорошенько протухла, заколите ее сегодня же.

– Ты верно говоришь, Давида, – сказала королева Сепели. – С тех пор, как этот Фулуалеа, все словно взбесились, а Туи Тулифау потопил свой разум в джине. Если он не созовет Большой Совет, я его изобью. Когда он пьян, с ним очень легко справиться.

Она сжала кулак. У этой амазонки фигура была такая внушительная, а лицо выражало такую решимость, что Гриф понял: Совет будет созван.

Беседа велась на языке жителей Фиту-Айве, настолько родственном самоанскому, что Гриф говорил на нем, как туземец.

– Ты сказал, Уилиами, что солдаты требуют настоящих денег и не хотят брать бумажки, которыми платит Фулуалеа? Так вели им эти бумажки принимать и позаботиться, чтобы завтра же они получили жалованье за все время.

– К чему поднимать шум? – возразил Уилиами. – Король блаженствует. В казначействе куча денег. И я тоже доволен. Дома у меня припасено два ящика джина и много разного товару из лавки Хоукинса.

– О мой брат, ты настоящий боров! – обрушилась на него Сепели. – Или ты не слышал, что говорил Давида? Где были твои уши? Когда у тебя в доме не останется больше ни джина, ни товаров, когда купцы перестанут их привозить, а Перья Солнца удерет в Левуку со всеми нашими деньгами, что ты тогда будешь делать? Только золото и серебро – деньги, а бумага – это бумага. Говорю тебе: народ ропщет! Во дворце не стало рыбы. Никто не приносит нам больше бататов – можно подумать, что земля перестала их родить. Вот уже неделя, как горцы не шлют нам козьего мяса. Перья Солнца приказал торговцам покупать копру по старой цене, но никто не продает ее, потому что людям не нужны бумажные деньги. Сегодня я разослала слуг в двадцать домов за яйцами, а яиц нет. Может быть, Перья Солнца наслал порчу на кур? Не знаю. Знаю только, что яиц нет. Хорошо еще, что пьяницы едят мало, – не то во дворце давно начался бы голод. Вели своим воинам получить жалованье! Пусть им заплатят бумажками.

– И предупреждаю тебя, – добавил Гриф. – Хотя в лавках будут торговать, но от солдат бумажные деньги принимать не станут. Зато через три дня народ соберется на Большой Совет, и Перья Солнца будет мертв, какдохлая свинья.

В день Совета все население острова Фиту-Айве собралось в столице. Пять тысяч человек прибыли сюда в челноках и больших лодках, пешком и верхом на ослах. Три предыдущих дня были полны сенсационных событий. Во-первых, лавки стали бойко торговать разными товарами. Когда же явились солдаты, желая, в свою очередь, поддержать торговлю, им в этом было отказано, и купцы посоветовали им обратиться к Фулуалеа за звонкой монетой. «Ведь на его бумажных деньгах написано, что по первому требованию обменяют на золото и серебро», – говорили они.

Лишь высокий авторитет Уилиами удержал солдат и спас лавки от сожжения. Все-таки один из принадлежавших Грифу складов копры сгорел дотла (убытки, разумеется, были отнесены

за счет короля). Изрядно досталось и Иеремии – его поколотили, осыпали бранью и насмешками, да еще разбили его очки. А у судебного кладовщика Уилли Сми на костяшках пальцев была содрана вся кожа. Произошло это оттого, что три буянивших солдата, один за другим, со всего размаху ударились об его сжатые кулаки. Таким же точно образом пострадал и капитан Бойг. Только Питер Джи остался невредим, ибо, по счастливой случайности, его кулаки пришли в столкновение не с крепкими солдатскими челюстями, а с хлебными корзинами.

Большой Совет происходил в дворцовом парке. На главном месте восседал Туи Тулифау рядом с королевой Сепели, окруженный своими собутыльниками. Правый глаз и губа у короля вспухли, словно он тоже напоролся на чей-то кулак. Во дворце уже с утра шушукались о том, что Сепели задала супругу трепку. Как бы то ни было, король был сегодня трезв – об этом свидетельствовала вялость его жирного тела, уныло выпиравшего из всех прорех шелковой рубашки Уилли Сми. Ему беспрестанно подавали молодые кокосовые орехи, и он утолял их соком мучившую его жажду.

За оградой теснилась сдерживаемая солдатами толпа. На территорию дворца допущены были только кое-кто из вождей, деревенские щеголи с их подружками и делегаты, сопровождаемые своими штабами.

Корнелий Дизи занял место по правую руку короля, как и подобало влиятельному сановнику. А слева от Сепели, напротив Корнелия, сидел Иеремия в кругу белых купцов, которые выбрали его представителем. Лишенный своих очков, он близоруко щурился, поглядывая на всемогущего министра финансов.

Стали выступать по очереди ораторы – делегат с наветренной стороны побережья, делегат с подветренной стороны и делегаты от горных деревень. Каждого поддерживала группа прибывших с ним вождей и ораторов менее высокой марки.

Говорили все приблизительно одно и то же. Народ недоволен тем, что выпустили бумажные деньги. На острове неблагополучно. Никто не заготавливает копры. Люди стали недоверчивы. До того дошло, что все должники спешат уплатить свои долги, а кредиторы денег не берут и удирают от должников. И все потому, что бумажные деньги ничего не стоят. Цены растут, а продуктов на рынке все меньше. За курицу дерут втридорога. Купишь, а она оказывается жесткой и такой старой, что ее нужно немедленно перепродать, пока она не околела.

Стране грозят беды, на это указывают всякие дурные приметы и знамения. В некоторых местах наблюдается нашествие крыс. Урожай плохой. Плоды анонны уродились мелкие. На подветренном берегу с самого лучшего дерева авокадо неизвестно отчего облетели все листья. Манговые плоды в этом году совсем невкусные, а бананы поел червь. Из океана ушла вся рыба, и появились целые стаи тигровых акул. Дикие козы перекочевали на неприступные кручи. Запасы муки в хранилищах прогоркли. В горах слышен временами какой-то гул, а по ночам там бродят духи. У одной женщины из Пунта-Пуна ни с того ни с сего отнялся язык, а в деревне Эйхо родилась пятиногая коза. И старейшины в деревнях заявляют во всеуслышание, что всему причиной новые деньги, которые пустил в обращение Фулуалеа.

От армии выступил Уилиами. Он сказал, что его солдаты бунтуют. Вопреки королевскому указу, купцы не принимают бумажных денег. Он, Уилиами, ничего не берется утверждать, но похоже на то, что во многом виноваты деньги Фулуалеа.

Затем от имени купцов держал речь Иеремия. Когда он поднялся, все заметили, что между его широко расставленных колен стоит большая тростниковая корзина. Иеремия сначала долго распространялся о качествах тканей, привозимых на остров купцами, о красоте их, добротности и разнообразии, об их преимуществах перед местной «тапа», быстро промокающей, непрочной и грубой. Теперь никто не носит больше тапа, а раньше, до того,



как сюда приехали купцы, все носили только тапа, ничего кроме тапа. А что сказать о замечательных сетках от москитов, которые продаются почти даром? Самый искусный ткач на Фиту-Айве не сделает такой сетки и в тысячу лет!

Далее Иеремия подробно остановился на несравненных достоинствах топоров, ружей и стальных рыболовных крючков, перешел на иголки, нитки и лесы для удочек и в заключении воздал должное белой муке и керосину.

Затем, излагая свои доводы в строгой последовательности, так что поминутно слышалось: «во-первых», «во-вторых» и так далее, он заговорил о благоустройстве, порядке и цивилизации. Он утверждал, что купец – носитель цивилизации и ему следует оказывать всяческое содействие и покровительство, иначе он не будет приезжать сюда. Далеко на западе есть острова, где купцам не оказывали покровительства, – и что же? Они туда больше не ездят, и люди на этих островах живут, как дикие звери, не носят никакой одежды, а шелковых рубашек никогда и в глаза не выдывали (тут Иеремия выразительно покосился на короля) и едят друг друга.

Те подозрительные бумажки, что выпустил Перья Солнца, – не деньги. Купцы знают, что такое деньги, и не хотят принимать эти бумажки. А если от них станут этого требовать, купцы уедут с Фиту-Айве и никогда не вернутся. И тогда здешние жители, уже давно разучившиеся изготавливать тапа, будут ходить голые и пожирать друг друга.

Еще многое сказал Иеремия – он ораторствовал битый час – все время упирал на то, что без купцов жизнь на Фиту-Айве станет ужасной.

– И как тогда во всем мире будут называть жителей этого острова? – восклицал он. – Кай-канаки, людоеды – вот как будут называть их!

Речь Туи Тулифау была коротка. Он сказал:

– Мы слышали здесь, что думает народ, армия и купцы. Теперь пусть говорит Перья Солнца. Бесспорно, он своей денежной системой творит чудеса. Он не раз объяснял мне ее действие. Это очень просто. Он сейчас и вам все объяснит.

Корнелий начал с заявления, что народ взбудоражили белые купцы, которые все в заговоре против него, Фулуалеа. Иеремия справедливо восхвалял здесь благодетельные свойства белой муки и керосина. Жители Фиту-Айве вовсе не хотят стать кай-канаками. Они стремятся к цивилизации, они жаждут как можно быстрее к ней приобщиться. В этом все дело, и он просит его внимательно выслушать. Бумажные деньги – это главный признак высшей цивилизации. Поэтому он, Перья Солнца, и ввел их. И по этой самой причине купцы восстают против них. Они не хотят, чтобы Фиту-Айве стала цивилизованной страной. Для чего они везут сюда свои товары из самых дальних стран за океаном? Он, Перья Солнца, скажет им это прямо в глаза при всем народе! Поэтому они едут сюда, что в их цивилизованных странах люди не дают оббирать себя и купцы не получают таких громадных барышей, как здесь, на Фиту-Айве. Если жители острова станут цивилизованным народом, у белых купцов вся торговля полетит к черту. Тогда каждый островитянин при желании сможет сам стать торговцем. Оттого-то белые купцы и против бумажных денег, которые ввел здесь он, Перья Солнца. Почему его здесь называют «Перья Солнца»? Потому, что он принес островитянам свет из далекого мира за горизонтом. Бумажные деньги – это свет. А грабители-купцы боятся света. Вот они и стремятся его угасить.

Он, Фулуалеа, сейчас докажет это славному народу Фиту-Айве. Он докажет это устами своих врагов. Всем известно, что в высококвалифицированных странах давно введены бумажные деньги. Пусть скажет Иеремия, так это или нет.

Иеремия безмолствовал.

– Видите, – продолжал Корнелий, – он не отвечает. Он не может отрицать истину. В Англии, Франции, Германии Америке, во всех великих странах Папаланги в ходу бумажные деньги. Эта система существует там сотни лет. Я спрашиваю тебя, Иеремия, как честного человека, как человека, который когда-то усердно трудился во славу веры господней: ведь ты не можешь отрицать, что в великих заморских странах такая система существует?

Иеремия не мог этого отрицать и нервно теребил пальцами завязки стоявшей у его ног корзины.

– Ну что же? Вы видите, я прав, – сказал Корнелий. – Иеремия этого не отрицает. А теперь я спрошу тебя, о добрый народ Фиту-Айве: если бумажные деньги годятся для заморских стран, почему они не хороши для Фиту-Айве?

– Это не такие деньги! – крикнул Иеремия. – Бумажки, которые выпустил Перья Солнца, – совсем не то, что бумажные деньги великих стран!

Но Корнелий, видимо, ожидал этого возражения и не растерялся. Он поднял вверх кредитку так, чтобы все могли ее видеть.

– Это что? – спросил он.

– Бумага, просто бумага, – ответил Иеремия.

– А это?

Корнелий показал всем кредитку Английского банка.

– Это английские бумажные деньги, – пояснил он собранию, протягивая бумажку Иеремии, чтобы тот мог ближе рассмотреть ее. – Верно я говорю, Иеремия?

Иеремия неохотно кивнул головой.

– Ты сказал, что деньги Фиту-Айве – простая бумага и больше ничего. Ну, а что ты скажешь про эти английские деньги? Отвечай как честный человек!.. Мы ждем твоего ответа, Иеремия.

– Они... Они... – промямлил озадаченный Иеремия и беспомощно замолчал: в софистике он был не силен.

– Бумага, простая бумага, – закончил за него Корнелий, подражая его запинаящейся речи.

По лицам присутствующих видно было, что Корнелий убедил всех. А король восторженно захлопал в ладоши и сказал вполголоса:

– Все ясно, совершенно ясно.

– Видите, он сам это признает. – В позе и голосе Корнелия Дизи заметно было торжество и уверенность в победе. – Он не может указать разницы. Потому что разницы нет! Наши бумажные деньги – точное подобие английских. Это настоящие деньги!

Тем временем Гриф успел шепнуть что-то Иеремии на ухо. Тот кивнул головой, и, когда Корнелий замолчал, он снова взял слово:

– Однако все папаланги знают, что английское правительство обменивает эту бумагу на звонкую монету.

Дизи окончательно чувствовал себя победителем. Он помахал в воздухе фиту-айванской кредиткой.

– А разве здесь не написано то же самое?

Гриф снова что-то шепнул Иеремии.

– Написано, что эти бумажки вы обменяете на золото и серебро? – переспросил Иеремия.

– По первому требованию? – спросил Иеремия.

– По первому требованию.

– Тогда я требую обмена сейчас же, – сказал Иеремия, вытаскивая из висевшего у него на поясе мешочка небольшую пачку кредиток.

Корнелий взглянул на нее быстрым оценивающим взглядом.

– Хорошо. Вы получите за них немедленно звонкой монетой. Сколько тут?

– Вот мы сейчас увидим нашу новую систему в действии! – объявил король, разделяя триумф своего министра.

– Все слышали? Он будет менять бумажки на звонкую монету! – крикнул Иеремия во весь голос.

Не теряя ни минуты, он сунул обе руки в корзину и извлек оттуда целую кипу фиту-айванских кредиток, уложенных пачками. При этом вокруг распространился какой-то странный запах, шедший из корзины.

– Всего здесь у меня тысяча двадцать восемь фунтов, двенадцать шиллингов и шесть пенсов, – объявил Иеремия. – А вот мешок для монеты.

Корнелий отшатнулся. Он никак не ожидал, что Иеремия потребует такую большую сумму. К тому же, обводя собрание встревоженными глазами, он увидел, что вожди и представители деревень тоже достают пачки бумажных денег. Солдаты, держа в руках полученное за два месяца жалованье, проталкивались вперед, а из-за ограды на дворцовую территорию хлынула толпа народа – и все держали наготове бумажные деньги.

– Вы создаете панику, чтобы опустошить наш банк! – с упреком сказал Корнелий Грифу.

– Вот мешок для денег, – торопил его Иеремия.

– Обмен придется отложить, – объявил наконец Корнелий с храбростью отчаяния. – Банк в эти часы закрыт.

Иеремия, размахивая пачкой кредиток, орал:

– Здесь ничего не сказано насчет часов. Здесь сказано: «по требованию», – и я требую, чтобы обменяли немедленно.

– Вели им прийти завтра, Туи Тулифау! – взмолился Корнелий. – Завтра им будет уплачено.

Король медлил: супруга грозно смотрела на него, крепко сжав в кулак коричневую руку, и Туи Тулифау тщетно пытался отвести глаза от этого устрашающего кулака. Он нервно откашлялся.

– Мы хотим сейчас видеть твою систему в действии, – объявил он. – Люди прибыли издалека.

– Неужели вы согласны, чтобы я им отдал такие громадные деньги? – тихо сказал Дизи

королю.

Сепели услышала и огрызнулась так свирепо, что король невольно шарахнулся от нее.

– Не забудьте про свинью, – шепнул Гриф Иеремии. Тот вскочил и, энергичным жестом прекратив поднимавшийся уже галдеж, заговорил:

– На Фиту-Айве существовал когда-то древний и весьма почтенный обычай. Когда кого-нибудь уличали в тяжких преступлениях, ему перебивали дубиной все суставы, а затем связанного оставляли перед приливом в воде у берега, на съедение акулам. К сожалению, те времена миновали. Но у нас еще сохранился другой древний и весьма почтенный обычай. Всем вам он известен. Уличенных грабителей и обманщиков побивают дохлыми свиньями.

Тут правая рука Иеремии нырнула в корзину, и, несмотря на то, что он был без очков, извлеченная им оттуда свинья угодила прямехонько в шею Корнелию. Иеремия метнул ее с такой силой, что министр финансов перекувырнулся и отлетел в сторону. Тут же, не дав ему прийти в себя, к нему подскочила Сепели с живостью и проворством, каких никак нельзя было ожидать от женщины, весившей двести шестьдесят футов. Ухватив Корнелия одной рукой за шиворот, она взмахнула свиньей и под восторженный рев всех своих подданных по-королевски расправилась с ним.

Туи Тулифау ничего другого не оставалось, как, скрыв свою досаду, примириться с позором своего фаворита. Он откинулся на циновке, хохоча так, что сотрясалась вся гороподобная туша.

Сепели бросила наконец и свинью и министра финансов. Орудие казни немедленно подхватил один из делегатов. Корнелий пустился наутек, но свинья угодила в него и сшибла с ног. Тут уже весь народ и армия с криками и хохотом приняли участие в забаве. Как ни увертывался, как ни метался бывший министр, свинья настигала его всюду, сбивая с ног, или летела навстречу. Словно затравленный заяц, улепетывал он между пальмами и деревьями авокадо. Ни одна рука не коснулась его, мучители расступались, давая ему дорогу, но ни на миг не прекращали преследования. И свинья летала, как мяч, – ее только успевали подхватывать то одни, то другие руки.

Когда и Корнелий и его преследователи скрылись в глубине Дроковой аллеи, Гриф повел всех торговцев в королевское казначейство, и только к вечеру последняя кредитка была обменена на звонкую монету.

8

В ласковой прохладе сумерек из-за прибрежных зарослей выплыл челнок и направился к «Кантани». Челнок был ветхий, дырявый, и сидевший в нем человек греб очень медленно, время от времени останавливаясь, чтобы вычерпать воду. Матросы каначи злорадно захихикали, когда он, подъехав к «Кантани», с мучительными усилиями стал взбираться на палубу. Он был омерзительно грязен и вид имел пришибленный.

– Можно мне потолковать с вами, мистер Гриф? – спросил он смиренно и печально.

– Да, только сядьте подальше и с подветренной стороны, – отозвался Гриф. – Нет, нет, еще дальше! Вот так.

Корнелий присел на планшир и подпер голову руками.

– Понятно, – сказал он. – От меня несет, как от неубранных трупов на поле битвы. Голова трещит, шея, наверное, сломана, зубы все шатаются... В ушах жужжит, как будто там целое гнездо ос. А еще, я полагаю, у меня вывихнуты мозги! Ох! То, что я пережил, страшнее землетрясения и чумы! На мою голову падал град свиней... – Он замолчал с тяжелым вздохом, похожим на стон. – Я видел смерть лицом к лицу, смерть страшную, какую не мог бы вообразить себе ни один поэт. Если бы я сварился в кипящем масле, или был съеден крысами, или меня разорвали на части дикие жеребцы, это было бы, конечно, неприятно... Но принять смерть от дохлой свиньи! – Корнелий содрогнулся. – Право, это превосходит всякое человеческое воображение!

Капитан Бойг шумно потянул носом воздух и передвинул свой складной стул подальше от Корнелия.

– Мистер Гриф, я слышал, что вы едете в Яп, – продолжал Корнелий. – У меня к вам две покорнейшие просьбы: доведите меня туда и угостите капелькой того виски, от которого я отказался в день вашего прибытия.

Гриф хлопнул в ладоши и велел подошедшему на зов чернокожему стюарду принести мыло и полотенца.

– Ступайте, Корнелий, и первым делом вымойтесь как следует, – сказал он. – Бой принесет вам штаны и рубаху... Кстати, пока вы не ушли, объясните мне, каким это образом в казначействе денег оказалось больше, чем выпущено бумажек?

– Я хранил там свои собственные деньги, которые привез, чтобы было с чем начать.

– Ну, плату за простой и все наши убытки и издержки мы решили взыскать с Туи Тулифау, – сказал Гриф. – Так что найденный в кассе излишек будет вам возвращен... Вычтем только десять шиллингов.

– Это за что же?

– А дохлые свиньи, по-вашему, растут на деревьях? Сумма в десять шиллингов, уплаченная за свинью, у нас проведена по книгам.

Вздвогнув при упоминании о свинье, Корнелий кивком выразил согласие.

– Слава богу, что эта свинья стоила только десять шиллингов, а не пятнадцать и не двадцать!

\* \* \*

## ПОТОМОК МАК-КОЯ

Низко осев под тяжестью груза пшеницы, шхуна «Пиренеи» медленно скользила по спокойному океану, и человек, подплывший в легкой пироге к ее железному борту, без труда вскарабкался наверх. Когда он перегнулся через фальшборт и увидел палубу, ему показалось, что перед его глазами колышется легкое, едва различимое туманное марево. Может, это ему и впрямь только показалось, может, глаза на секунду застлала плотная пелена? Его охватило непреодолимое желание стряхнуть с себя неприятное ощущение, и он подумал, что стареет и пришло время послать в Сан-Франциско за очками.

Он перелез через поручни и посмотрел вверх на мачты, потом перевел взгляд на помпы. Они

не работали. Никаких признаков того, что произошла какая-то авария, не было, и он удивился, почему шхуна подала сигнал бедствия. «Только бы не эпидемия, – подумал он, беспокоясь о счастливо-беззаботных жителях своего островка. – Нет, должно быть, кончилась пресная вода или провизия». Он поздоровался с капитаном и по его изможденному лицу и страдальческому выражению глаз понял, что тот не зря подал сигнал. В ту же секунду до него донесся слабый, едва ощутимый запах – похоже было, что подгорел хлеб.

Он удивленно огляделся. В двадцати футах от него матрос с усталым лицом конопатил палубу. Взгляд незнакомца задержался на нем; он заметил, как из паза в палубе, прямо из-под рук матроса, выскользнула тоненькая струйка дыма и, свернувшись кольцами, растаяла в воздухе. Он подошел ближе. Загрубевшие подошвы босых ног ощутили странное тепло. Теперь он уже знал, что произошло. Он бросил взгляд на бак; столпившаяся там команда с надеждой смотрела на него. Влажные карие глаза незнакомца как будто изливали на них благостное тепло, лаская и словно окутывая покровом безмерного покоя.

– Давно горит, капитан? – спросил он голосом мягким и кротким, напоминавшим воркование голубя.

На какой-то краткий миг капитану передалось ощущение безмятежного покоя и умиротворенности, исходившее от незнакомца, но уже в следующую секунду при мысли о том, что пережито и что еще предстоит пережить, он возмутился. Какое право имеет этот жалкий оборванец в холщовых штанах и бумажной рубашке навязывать ему свой безмятежный покой и умиротворенность, лезть в его измученную тревожностями душу? Капитан сам не отдавал себе отчета: то был бессознательный протест, возникший помимо его желания и воли.

– Пятнадцать дней, – отрывисто ответил он. – А кто вы такой?

– Мое имя – Мак-Кой. – Голос незнакомца звучал теплым сочувствием.

– Меня интересует другое. Вы лоцман?

Ласковый благословляющий взгляд Мак-Коя устремился на подошедшего к капитану высокого широкоплечего человека с небритым, усталым лицом.

– Да, я и лоцман, – последовал ответ. – Мы все здесь лоцманы, капитан, и я знаю каждый дюйм этих вод.

– Мне надо повидать кого-нибудь из местных властей, – раздраженно перебил его капитан. – Я должен поговорить с ними, и чем скорее, тем лучше.

– В таком случае я тот, кто вам нужен.

И снова ощущение покоя и умиротворенности коварно проникло в душу капитана – и это теперь, когда каждую секунду у него под ногами вот-вот забушует огонь! Капитан раздраженно и нетерпеливо поднял брови и сжал кулаки, словно готовясь нанести удар.

– Да кто вы такой, черт подери? – крикнул он.

– Губернатор и главный судья, – был ответ, произнесенный голосом тихим и кротким.

При этих словах высокий широкоплечий человек разразился резким невеселым смехом, более походившим на истерические всхлипывания. И он и капитан изумленно и недоверчиво уставились на Мак-Коя. Непостижимо, как этот босоногий оборванец может занимать столь высокий пост. Под расстегнутой бумажной рубашкой виднелась заросшая седыми волосами грудь, нижнего белья явно не было. Из-под полей выгоревшей соломенной шляпы выбивались растрепанные седые космы. На грудь спускалась спутанная борода,

придававшая ему сходство с патриархом. Два шиллинга – вот красная цена, которую дали бы за его одежду в любой лавке старьевщика.

– Вы случайно не родственник Мак-Коя с брига «Баунти»? – спросил капитан.

– Он мой прадед.

– Да ну! – начал было капитан, но тут же осекся. – Меня зовут Девенпорт, а это мистер Кониг – мой старший помощник.

Они пожали друг другу руки.

– А теперь перейдем к делу, – торопливо, словно подгоняемый неотложной необходимостью, заговорил капитан. – Зерно начало гореть больше двух недель назад. Каждую секунду огонь может вырваться из трюма, и шхуна полетит к чертям. Вот почему я взял курс на Питкэрн. Я хочу выброситься на берег или затопить шхуну, чтобы спасти хотя бы корпус.

– В таком случае вы совершили ошибку, капитан, – заметил Мак-Кой. – Надо было идти на Мангареву. Там прекрасная отмель, а вода в лагуне спокойная, как в мельничной запруде.

– Но ведь мы пришли не в Мангареву, а сюда, не так ли? – раздраженно сказал старший помощник. – Мы уже здесь, и надо что-нибудь придумать.

Губернатор добродушно покачал головой.

– Здесь вы ничего не придумаете. У Питкэрна нет ни отмели, ни даже якорной стоянки.

– Вздор! – воскликнул старший помощник. – Вздор! – повторил он громче, заметив, что капитан делает ему знаки не горячиться. – Уж кого-кого, а меня вы не проведете! А где стоят ваши суда: шхуна, куттер или что там у вас имеется? А? Что же вы молчите?

Мягкая улыбка, такая же мягкая, как его голос, тронула губы Мак-Коя. Его улыбка была сама нежность и ласка, она словно обволакивала измученного помощника, увлекая в мир тишины и спокойствия безмятежной души Мак-Коя.

– У нас нет ни шхуны, ни куттера, – ответил он. – А пироги мы втаскиваем на скалы.

– Ну уж не морочьте мне голову, – проворчал помощник. – Как же вы добираетесь до других островов?

– А мы и не добираемся до них. Я, как губернатор Питкэрна, еще иногда бываю на других островах. Прежде, когда я был помоложе, я то и дело уезжал с острова – чаще всего на миссионерском бриге, а иногда и на торговых шхунах. Но этого брига больше нет, и мы целиком зависим от идущих мимо судов. Бывает, к нам заходит в год пять, а то и шесть судов. А иной год и ни одного. Ваша шхуна – первая за последние семь месяцев.

– Неужели вы думаете, я поверю... – начал было старший помощник, но капитан Девенпорт перебил его:

– Ну, хватит. Мы теряем время. Что же делать, мистер Мак-Кой?

Карие, женственно-кроткие глаза старика обратились к одиноко высившемуся среди океана скалистому острову, затем он перевел взгляд – капитан с помощником наблюдали за ним – на столпившуюся на носу команду, напряженно ждавшую его решения.

Мак-Кой не торопился с ответом. Он размышлял долго, обстоятельно, с уверенностью человека, душу которого никогда ничто не омрачало.

– Ветер сейчас совсем слабый, – сказал он наконец. – Но немного западнее проходит сильное течение.

– Поэтому-то мы и вышли на подветренную сторону, – перебил его капитан, желая показать, что и он владеет искусством мореходства.

– Да, поэтому вы и вышли на подветренную сторону, – продолжал Мак-Кой. – Но сегодня вам все равно не удастся справиться с этим течением. А если б даже и удалось, все равно здесь нет отмели. Разобьете судно о скалы.

Он замолчал; капитан и старший помощник обменялись взглядом, полным отчаяния.

– Остается единственный выход, – снова заговорил Мак-Кой. – К ночи ветер покрепчает. Видите вон те облачка и марево с наветренной стороны? Вот оттуда-то, с юго-востока, он и задует. Отсюда до Мангаревы триста миль. Идите прямехонько туда. Там превосходная лагуна.

Старший помощник покачал головой.

– Зайдем в каюту и посмотрим карту, – предложил капитан.

Когда они вошли в каюту, в ноздри Мак-Коя ударил резкий, удушливый запах. Невидимый газ разъедал глаза, причиняя нестерпимую боль. На горячей палубе невозможно было стоять босиком. Пот градом катил с Мак-Коя. Он чуть не с ужасом поглядел вокруг. Поразительная жара. Просто диво, что каюта еще не объята огнем. Мак-Коя почудилось, что его сунули в гигантскую печь, которая вот-вот разгорится и поглотит его как былинку, в своем полыхающем чреве.

Помощник капитана увидел, как Мак-Кой, подняв ногу, потер обожженную подошву о штанину, и жестко рассмеялся.

– Преддверие ада, не так ли? А спуститесь ниже, угодите в самый ад.

– Ну и пекло! – вскричал Мак-Кой, вытирая лицо цветным носовым платком.

– Вот Мангарева, – проговорил капитан, склонившись над столом и указывая на черную точку, затерявшуюся среди белой пустыни карты. – А между Питкэрном и Мангаревой есть еще один остров. Почему бы нам не пойти к нему?

Мак-Кой даже не взглянул на карту.

– Это остров Полумесяца. Он необитаем, поднимается над морем фута на два-три, не больше. Есть лагуна, но в нее не войти. Нет, Мангарева – ближайшее и самое подходящее для вас место.

– Ну что ж, Мангарева так Мангарева, – сказал капитан Девенпорт, предупреждая возражения старшего помощника. – Созовите команду на корму, мистер Кониг.

Матросы повиновались и устало поплелись на корму. В каждом их движении чувствовалось страшное переутомление. Из камбуза вышел кок, рядом с ним стал юнга.

Когда капитан объяснил обстановку и сообщил о своем решении идти на Мангареву, поднялся возмущенный ропот. В общем гуле хриплых голосов порой слышались невнятные гневные выкрики, то там, то здесь раздавались громкие проклятия. На мгновение все заглушил голос матроса-кокни:

– Да пропадите вы пропадом! Мало вам, что вот уже две недели мы жаримся в аду? Теперь



нас снова хотят заставить идти черт знает куда на этой адской посудине!

Они не поддавались никаким уговорам капитана, и лишь кроткое спокойствие Мак-Коя, казалось, умиротворило их: мало-помалу ропот и проклятия затихли, и вскоре все матросы, кроме двух-трех, не сводивших с капитана тревожных глаз, устремили взгляды на зеленые, нависшие над морем скалы Питкэрна.

Словно ласковый ветерок прошелестел голос Мак-Коя:

– Капитан! Мне слышалось, матросы говорили, что они голодают?

– Да, так оно и есть. За последние два дня я сам съел один сухарь и маленький кусочек рыбы. Есть нечего. Когда мы обнаружили, что зерно загорелось, мы тут же задраили люки, надеялись, что задушим огонь. А уж после этого увидели, что в камбузе у нас мало съестных припасов. Но было уже поздно, вскрыть люки мы не рискнули. Голодают? Я голодаю не меньше их.

Он снова принялся уговаривать матросов, и снова поднялся ропот и слышались проклятия, снова на лицах появилось выражение гнева и злобы. Позади капитана, на полуюте, встали второй и третий помощники. Лица их не выражали ничего, кроме усталости и равнодушия; казалось, бунт команды вызывает у них только скуку. Капитан Девенпорт вопросительно посмотрел на старшего помощника, но тот беспомощно пожал плечами.

– Теперь вы понимаете, – обернулся капитан к Мак-Коя, – что невозможно заставить людей уйти от острова, в котором они видят единственное спасение, и на горящем судне снова пуститься в море. Больше двух недель шхуна, по существу, была им плавучим гробом. Они выбились из сил, изголодались – словом, достаточно натерпелись. Нам остается только одно: пробиваться к Питкэрну!

Но ветра по-прежнему не было, днище шхуны обросло ракушками, и она снова и снова безуспешно пыталась преодолеть мощное западное течение. К концу второго часа их отнесло назад на три мили. Матросы работали с отчаянием обреченных, словно пытались передать судну частицу своей силы и помочь ему в борьбе с враждебной стихией. Но все было напрасно: шхуну неуклонно, сначала левым бортом, потом правым, относило на запад. Капитан беспокойно шагал по палубе, лишь изредка останавливаясь перед плывущей по воздуху струйкой дыма и пытаясь найти щель, из которой она пробилась. Корабельный плотник без усталости разыскивал такие щели, а найдя, наглухо конопатил их.

– Ну, что скажете? – вдруг обратился капитан к Мак-Коя, с детским любопытством наблюдавшему за плотником.

Мак-Кой посмотрел на берег, который медленно исчезал в сгущавшейся дымке.

– Мне думается, лучше уходить на Мангареву. Ветер свежееет, завтра к вечеру вы будете на месте.

– А что, если пламя вырвется наружу? Этого можно ждать в любую минуту.

– Держите шлюпки наготове. Если и начнется пожар, доберетесь с попутным ветром до Мангаревы на шлюпках.

Капитан на минуту задумался, и тут Мак-Кой услышал вопрос, которого он не желал бы слышать, но которого ждал все это время.

– У меня нет карты Мангаревы. На большой карте она крошечная точка. Мне не найти входа в лагуну. Не пойдете ли вы с нами?

Ничто не могло нарушить спокойствия Мак-Коя.

– Хорошо, капитан, – ответил он с такой безмятежностью, с какой принял бы приглашение на обед. – Я пойду с вами на Мангареву.

Снова команду созвали на корму, и, стоя на полюте, капитан снова обратился к матросам:

– Мы сделали все, что было в наших силах, но вы сами видите: к Питкэрну не подойти. Нас относит течение со скоростью двух узлов. Вот этот джентльмен, его превосходительство Мак-Кой, – губернатор и главный судья острова Питкэрн. Он идет с нами на Мангареву. Значит, положение наше не такое уж скверное. Разве согласился бы он пойти с нами, если б думал, что ему грозит смерть? Сколь бы ни был велик риск, раз он по доброй воле пошел на него, нам уж сам бог велел делать то же самое. Ну так что, идем мы на Мангареву?

На сей раз взрыва не последовало. Уверенность и спокойствие, которые, казалось, излучал Мак-Кой, возымели свое действие. Матросы вполголоса начали совещаться. Совещание длилось недолго. По сути дела, они были единодушны в своем решении. Объявить о нем они поручили матросу-кокни. Преисполненный сознанием собственной доблести, гордясь собой и своими товарищами, избранник матросов воскликнул с горящими глазами:

– Клянусь богом! Если он пойдет, то и мы пойдем!

Матросы нестройно поддержали его и разошлись.

– Пойдите-ка, капитан, – сказал Мак-Кой, заметив, что тот собирается отдать приказание старшему помощнику. – Прежде чем отправиться с вами, я должен съездить на берег.

Мистер Кониг застыл на месте от изумления и уставился на Мак-Коя, словно на сумасшедшего.

– Съездить на берег! – повторил капитан. – Зачем? Пока вы доберетесь в своей пироге до Питкэрна, пройдет не меньше трех часов.

Мак-Кой прикинул на взгляд расстояние до острова и утвердительно кивнул.

– Ваша правда. Сейчас шесть. Раньше девяти мне до берега не доплыть. Люди соберутся только к десяти. Но к ночи ветер обязательно покрепчает, вы сможете поднять паруса и на рассвете подберете меня прямо в море.

– Ради всего святого, – взорвался капитан, – для чего вам понадобилось собирать жителей? Неужто вы еще не поняли, что у нас под ногами полыхает огонь?

Мак-Кой оставался невозмутим и спокоен, точно океан в летнюю пору, и буря негодования пронеслась мимо – океан не подернулся даже легкой рябью.

– Я понимаю, капитан, что шхуна горит, – проворковал он. – Только поэтому я и согласился идти с вами в Мангареву. Но я должен получить на это разрешение граждан. Таков наш обычай. Не так уж часто губернатор покидает остров. Тогда на карту ставятся интересы всех жителей, поэтому они вправе либо дать согласие на его отъезд, либо ответить отказом. Но я знаю, они согласятся.

– Вы в этом уверены?

– Совершенно.

– А если так, то зачем же зря терять время? Подумайте, насколько это нас задержит – на целую ночь!

– Таков наш обычай, – последовал невозмутимый ответ. – Кроме того, как губернатор, я должен оставить на время моего отсутствия кое-какие распоряжения.

– Но ведь до Мангаревы ходу-то всего двадцать четыре часа, – возразил капитан. – Даже если в обратный путь вам придется идти против ветра и времени на него уйдет в шесть раз больше, то и тогда вы будете дома не позже, чем через неделю.

Мак-Кой улыбнулся своей ласковой, доброй улыбкой.

– Должно быть, вы не знаете, что суда в Питкэрн заходят очень редко; а уж если и заходят, то только те, что идут из Сан-Франциско, или те, что огибают мыс Горн. Если я вернусь на Питкэрн через полгода, считайте, что мне повезло. Быть может, придется отсутствовать и целый год, а быть может, придется добираться до Сан-Франциско и уж там ждать попутного судна. Однажды мой отец уехал с острова на три месяца, а прошло два года, прежде чем ему удалось вернуться домой. К тому же у вас плохо с провизией. Если дойдет до того, что надо будет пересаживаться в шлюпки да еще и погода испортится, не так-то скоро вы доберетесь до суши. Я приведу две пироги с провизией. Лучше всего, пожалуй, взять сушеных бананов. Как только ветер усилится, набирайте ход. Чем ближе вы подойдете к острову, тем тяжелее я нагружу свои пироги. До свидания.

Он протянул капитану руку. Девенпорт крепко пожал ее и на секунду задержал в своей. Казалось, он цепляется за нее с тем же отчаянием, с каким утопающий цепляется за спасательный круг.

– Могу я быть уверен, что утром вы вернетесь? – спросил он.

– То-то и оно-то! – крикнул старший помощник. – Откуда нам знать, не выдумал ли он всего, чтобы спасти собственную шкуру?

Мак-Кой ничего не ответил. Он посмотрел на них ласково и мягко, и обоим показалось, что вместе с его взглядом им передалась частица его огромной душевной убежденности.

Капитан выпустил его руку, и, окинув в последний раз ласковым взглядом шхуну и матросов, Мак-Кой перелез через поручни и спустился в пирог.

Ветер усилился, и шхуне удалось, несмотря на обросшее ракушками дно, уйти на несколько миль от западного течения. На рассвете, когда до Питкэрна оставалось больше трех миль, капитан увидел две быстро приближающиеся к шхуне пироги. И снова Мак-Кой вскарабкался на борт и прыгнул на горячую палубу «Пиренеев». Затем наверх подняли обернутые сухими листьями тюки сушеных бананов.

– А теперь, капитан, – сказал Мак-Кой, – летим на всех парусах. Я ведь не моряк, – объяснил он спустя несколько минут, стоя на корме рядом с капитаном, который переводил взгляд с неба на воду, прикидывая скорость судна. – Ваше дело довести шхуну до Мангаревы, а уж там-то я введу ее в лагуну. Как по-вашему, сколько она делает узлов?

– Одиннадцать, – ответил капитан, бросив последний взгляд на пенящуюся за бортом воду.

– Одиннадцать, – повторил Мак-Кой. – Ну что ж, если она сохранит эту скорость, завтра утром, между восемью и девятью, мы увидим Мангареву. К десяти, самое позднее к одиннадцати, я подведу шхуну к берегу, и всем вашим несчастьям наступит конец.

В голосе Мак-Коя звучала такая убежденность, что капитану показалось, будто блаженная минута спасения уже наступила. Больше двух недель вел он по океану горящее судно. Еще немного, и он не вынесет страшного напряжения.

Ветер налетел шквалом, ударил его в спину и засвистел в ушах. Капитан мысленно

определил его силу и быстро глянул за борт.

– А ветер-то крепчает, – объявил он. – Старушка выжимает, пожалуй, все двенадцать. Если ветер продержится, мы к рассвету покроем путь до Мангаревы.

Весь день шхуна с горящим грузом неслась по вспененному, яростно клокочущему океану. К ночи подняли бом-брамсель и брамсель, и шхуна продолжала лететь в кромешной тьме, разрезая и оставляя позади огромные ревущие валы. Попутный ветер сделал свое дело, и настроение команды явно улучшилось. Когда сменилась вторая вахта, какой-то беззаботный матрос даже затянул песню, а когда пробило восемь склянок, ее подхватила уже вся команда.

Капитан Девенпорт велел постелить себе прямо на палубе рубки.

– Я уже забыл, что такое сон, – пожаловался он Мак-Коя. – Совсем выбился из сил. Но вы разбудите меня, как только сочтете нужным.

В три часа ночи капитан проснулся от легкого прикосновения к плечу. Он быстро сел и прислонился спиной к световому люку, еще не очнувшись от короткого тяжелого сна. Ветер по-прежнему пел в снастях свою воинственную песню, все так же бушевал океан, яростно швыряя «Пиренеи» из стороны в сторону. Шхуна черпала воду то одним бортом, то другим, волны то и дело заливали палубу. Мак-Кой что-то крикнул ему – капитан не расслышал. Он схватил Мак-Коя за плечо и притянул к себе так, что его ухо оказалось вровень с губами Мак-Коя.

– Сейчас три часа, – услышал он голос Мак-Коя, не потерявший своей глубинной кротости, но странно приглушенный, словно доносился откуда-то издалека. – Мы прошли двести пятьдесят миль. Прямо по носу, милях в тридцати, остров Полумесяца. На нем нет маяков. Если мы будем нестись так, как несемся сейчас, наверняка наскочим на него, – сами погибнем и шхуну потеряем.

– Вы считаете, надо ложиться в дрейф?

– Да, до рассвета. Это задержит нас всего на четыре часа.

И шхуна с объятым огнем чревом легла в дрейф, вступив в отчаянную схватку со штормом и приняв на себя всю ярость сокрушающих ударов ревущего океана, – охваченная пламенем скорлупка, за которую цеплялась кучка людей, из последних сил пытающихся выиграть сражение с взбунтовавшейся стихией.

– Никак не возьму в толк, откуда налетел шторм, – сказал Мак-Кой капитану, когда они добрались до подветренной стороны рубки. – В это время года не должно бы быть никакого шторма. Да и вообще с погодой творится что-то неладное. Пассат прекратился, а шторм налетел совсем с другой стороны. – Он махнул в темноту, словно взгляд его обладал способностью проникать за сотни миль. – Он несется на запад – где-то сейчас происходят вещи куда страшнее, чем здесь, – ураган, или что-нибудь в этом роде. Наше счастье, что нас отнесло так далеко к востоку. Шторм скоро прекратится, уж что-что, а это я знаю наверняка.

С рассветом шторм и в самом деле утих. Но рассвет принес с собой новую опасность, еще более грозную. Над океаном навис густой туман, вернее, жемчужно-серая мгла; плотная и непроницаемая для глаза, она в то же время пропускала солнечные лучи, и они пронизывали ее насквозь, наполняя ярким переливчатым сиянием.

На палубе «Пиренеев» в это утро вилось больше дымок, чем накануне, и приподнятого настроения офицеров и матросов как не бывало. С подветренной стороны камбуза доносились всхлипывания юнги. Это был его первый рейс, и сердце его переполняло страх

смерти. Капитан, как неприкаянный, слонялся по шхуне, хмурясь и нервно покусывая усы, не зная, на что решиться.

– Ну, а вы что скажете? – спросил он, останавливаясь возле Мак-Коя, который ел сушеные бананы и запивал их холодной водой.

Мак-Кой доел последний банан, допил воду и медленно осмотрелся. Взгляд его, который он обратил на капитана, лучился теплым сочувствием.

– Что ж, капитан, – сказал он, – чем гореть, стоя на месте, лучше идти вперед. Не может же палуба бесконечно стискивать натиск огня. Сегодня она куда горячее, чем вчера. Не найдется ли у вас для меня пары ботинок? Трудновато становится ходить босиком.

При развороте шхуну захлестнули две огромные волны, и старший помощник заметил, что неплохо было бы залить эту воду в трюм, если б не надо было при этом отдраивать люки. Мак-Кой наклонился над компасом, проверяя курс судна.

– Я бы взял круче к ветру, капитан, – сказал он. – Нас здорово отнесло, пока мы лежали в дрейфе.

– Я уже взял правее на один румб. Мало?

– Прибавьте еще один, капитан. Шторм подогнал западное течение, теперь оно сильнее, чем вы думаете.

Капитан согласился на полтора румба и в сопровождении Мак-Коя и старшего помощника отправился на мостик посмотреть, не появится ли впереди земля. Были поставлены все паруса, и шхуна летела вперед со скоростью десять узлов. Океан быстро успокаивался. Но беспросветная жемчужная мгла по-прежнему плотно окутывала «Пиренеи», и к десяти часам капитан начал нервничать. Все матросы стояли на своих местах, готовые, как только завидят сушу, броситься к снастям и повернуть шхуну по ветру. Наткнись они в такой мгле на коралловый риф, шхуна неминуемо погибнет.

Прошел еще час. Трое марсовых напряженно всматривались в светящуюся на солнце жемчужную мглу.

– А что, если мы прошли мимо Мангаревы? – вдруг спросил капитан.

– Пусть себе бежит вперед, капитан, – мягко ответил Мак-Кой, не сводя глаз с океана. – Это все, что мы можем сделать. Впереди – все Паумоту. На тысячу миль вокруг – рифы и атоллы. Где-нибудь да высадимся.

– Ну что ж, вперед так вперед. – Капитан начал спускаться на палубу. – Должно быть, мы уже пропустили Мангареву. Одному богу известно, когда теперь попадетсЯ другой остров. Я жалею, что не послушался вас и не взял на полрумба правее, – признался он минутой позже. – Проклятое течение! Злые шутки играет оно с моряками!

– Старые моряки называли Паумоту «Опасным Архипелагом», – сказал Мак-Кой, когда они вернулись на корму. – А все из-за этого течения.

– Однажды я разговорился в Сиднее с одним малым, – начал мистер Кониг. – Он исходил все Паумоту на торговых судах. Так он уверял меня, что страховой взнос здесь составляет восемнадцать процентов. Это правда?

Мак-Кой улыбнулся и кивнул.

– Все верно, да только компании вовсе отказываются страховать суда, объяснил он. –

Каждый год владельцы списывают двадцать процентов стоимости шхун.

– Боже мой! – простонал капитан. – Значит, шхуна через пять лет ничего не стоит! – Он грустно покачал головой. – Страшные воды, страшные воды!

Они снова пошли в каюту посмотреть на большую карту, но каюта была полна ядовитых паров, и, задыхаясь и кашляя, они выбежали на палубу.

– Вот остров Моренаут. – Капитан показал на карту, которую он расстелил на крыше рубки. – До него не больше сотни миль, если идти в подветренную сторону.

– Сто десять. – Мак-Кой с сомнением покачал головой. – Можно попытаться подойти к нему, но это очень трудно. Может быть, мне удастся подвести шхуну к берегу, но с таким же успехом я могу посадить ее на риф. Плохое место, очень плохое.

– И все-таки попытаемся, – решил капитан и принялся прокладывать новый курс.

После полудня убавили парусов, чтобы в темноте не пройти мимо острова, и когда подошло время второй вахты, совсем было приунывшая команда снова воспрянула духом. Земля уже близко, рано поутру их мучениям наступит конец.

Утро следующего дня выдалось тихое и ясное, на горизонте вставало пылающее тропическое солнце. Юго-восточный пассат повернул на восток и гнал шхуну со скоростью восемь узлов. Капитан Девенпорт определил точное место судна, сделав поправку на течение, и объявил, что до Моренаута осталось не больше десяти миль. Шхуна прошла десять миль и еще десять, но тщетно марсовые на всех трех мачтах всматривались в даль: ничто не нарушало однообразия пустынного, сияющего в лучах солнца океана.

– И все-таки земля совсем рядом! – прокричал им с кормы капитан Девенпорт.

Мак-Кой успокаивающе улыбнулся, а капитан схватил секстан и, бросив на Мак-Коя безумный взгляд, снова принялся за вычисления.

– Так и знал, что я прав! – закричал он, кончив вычисления. – Двадцать один и пятьдесят пять южной широты; один – тридцать шесть и два – западной долготы. Вот где мы сейчас находимся. Остров в восьми милях под ветром. А что у вас получилось, мистер Кониг?

Старший помощник просмотрел свои выкладки и тихо сказал:

– Широта у меня та же, что и у вас, – двадцать один и пятьдесят пять, но долгота совсем другая: один – тридцать шесть, сорок восемь. Это значит, что остров с наветренной стороны и...

Но капитан встретил его слова таким презрительным молчанием, что мистеру Конигу не оставалось ничего другого, как заскрежетать зубами и пробормотать про себя проклятие.

– Круче к ветру! – приказал капитан рулевому. – Три румба вправо, так держать!

Он снова углубился в вычисления, заново проверяя их. Пот лил с него градом. Он нервно кусал губы, жевал усы, грыз карандаш и глядел на цифры с таким ужасом, словно перед ним стояло привидение. Внезапно, охваченный дикой вспышкой гнева, он скомкал исписанный листок и растоптал его ногами. Мистер Кониг злорадно ухмыльнулся, а капитан прислонился к рубке и в течение получаса молчал, размышляя и безнадежно глядя в океан.

– Мистер Мак-Кой, – вдруг прервал он молчание. – Милях в сорока отсюда, к северу или северо-западу, на карте указана группа островов – острова Актеона. Что вы о них скажете?

– Их четыре, и все они очень низкие, ответил Мак-Кой. – Первый, к юго-востоку, – Матуэри. Людей нет, лагуна закрыта. Потом идет Тенарунга. Когда-то на этом острове было десятка два жителей, но теперь там, наверно, никого не осталось. Да и неважно, живут ли на нем люди, – вход в лагуну очень мелкий, всего шесть футов, шхуне в нее не войти. Два других острова – Вехауга и Теуараро. Ни людей, ни лагун, – очень низкие. Ни к одному из этих островов шхуне не пристать – верная гибель.

– Да что же это такое! – в бешенстве вскричал капитан. – Людей нет! Лагуны закрыты! На кой черт они тогда годятся, эти острова? Ну, ладно! – рявкнул он вдруг, словно разъяренный терьер. – К северо-западу от нас на карту нанесена целая куча островов. А о них что вы скажете? Неужто ни к одному нельзя подойти?

Мак-Кой спокойно обдумывал ответ. Ему не нужно было смотреть на карту. Все эти острова, рифы, мели, лагуны и расстояния между ними были давным-давно занесены на карту его памяти. Он знал их так же хорошо, как городской житель знает дома, улицы и переулки своего родного города.

– Панакена и Ванавана отсюда милях в ста, а то и больше, к западу, вернее, к северо-западу, – сказал он. – Один необитаем, а жители второго, слышал я, перебались на остров Кадмус. Как бы то ни было, в лагуны этих островов нет входа. Еще в ста милях к северо-западу остров Ахунуи. Ни входа в лагуну, ни людей.

– Ладно. В сорока милях от них еще два острова? – Капитан Девенпорт поднял голову от карты.

Мак-Кой кивнул.

– Да, Парос и Манухунги – ни входа в лагуну, ни людей. В сорока милях от них – Ненго-Ненго. И тоже – ни людей, ни лагуны. Но рядом с ним остров Хао. Это как раз то, что нам надо. Лагуна имеет тридцать миль в длину и пять в ширину. Полным-полно народу. Сколько угодно пресной воды. В лагуну может войти судно любого размера.

Мак-Кой умолк и сочувственно посмотрел на капитана; Девенпорт, вооружившись измерительным циркулем, снова склонился над картой и глухо застонал.

– Неужели ближе Хао нет ни одного острова с открытой лагуной? – спросил он.

– Нет, капитан. Это ближайший.

– Но ведь до него триста сорок миль. – Капитан говорил медленно, но решительно. – Я не могу пойти на такой риск и взять на себя ответственность за жизнь вверенных мне людей. Уж лучше я потоплю шхуну на рифах островов Актеона. А жаль, неплохое ведь судно, – добавил он огорченно, отдавая распоряжение об изменении курса и делая большую, чем прежде, поправку на снос западным течением.

Прошел час, и небо заволокли тяжелые тучи. Все еще дул юго-восточный пассат, но океан стал похож на черно-белую шахматную доску, по которой перекатывались и вздымались пенные гребни волн.

– В час, самое позднее в два мы подойдем к островам, – уверенно объявил капитан. – Ваша задача, Мак-Кой, подвести шхуну к тому из них, на котором живут люди.

Солнце в этот день больше не показывалось; пробило час, но впереди не было видно никаких островов. Капитан мрачно смотрел на тянущийся за «Пиренеями» бурлящий след.

– Бог мой! – вдруг закричал он. – Смотрите-ка! Восточное течение!

Мистер Кониг недоверчиво посмотрел за корму. Мак-Кой уклонился от прямого ответа, но заметил, что не видит причин, почему бы на Паумоту не быть восточному течению. От налетевшего шквала шхуна вдруг словно застыла на месте и полетела в бездонную пропасть между двумя высоченными волнами.

– Посмотрите на лот! Эй, вы там! – Капитан Девенпорт держал лотлинь и следил, как судно отклонялось от курса к северо-востоку. – Вот оно, смотрите! Подержите-ка лотлинь, увидите сами!

Мак-Кой и старший помощник схватились за линь и почувствовали, как он трепещет, подхваченный силой течения.

– Течение в четыре узла, – заметил мистер Кониг.

– Восточное течение вместо западного! – сказал капитан, осуждающе глядя на Мак-Коя, словно это он был виноват в том, что произошло.

– Вот вам одна из причин, капитан, почему страховой взнос в этих местах составляет восемнадцать процентов, – весело ответил Мак-Кой. – Никогда не знаешь, что тебя ждет. Течения то и дело меняются. Один человек – забыл его имя, он книги писал и плавал на яхте «Каско», – так однажды он, вместо того, чтобы пристать к Такароа, прошел от него в тридцати милях и оказался у острова Тикеи, а все из-за того, что переменилось течение. Мы сейчас идем с наветренной стороны, и лучше бы взять на несколько румбов круче.

– Но насколько отнесло нас это течение? – раздраженно сказал капитан. – Откуда мне знать, сколько брать румбов?

– Я тоже не знаю, капитан, – кротко ответил Мак-Кой.

Снова подул ветер, и шхуна круто повернула по ветру; с палубы по-прежнему поднимались тоненькие струйки дыма, тускло мерца в сером свете дня. Но вот шхуну снова отнесло назад, она сделала поворот фордевинд, пересекла свой след, бороздя океан и нащупывая путь к островам Актеона, которых по-прежнему не видели марсовые на мачтах.

Капитан Девенпорт был вне себя от ярости. Гнев его вылился в форму мрачного молчания, и с полудня до самого вечера он только шагал по палубе или молча стоял, прислонившись к вантам. С наступлением ночи, даже не посоветовавшись с Мак-Коем, он отдал приказ изменить курс на северо-запад. Мистер Кониг исподтишка бросил взгляд на карту и компас, а Мак-Кой, не скрываясь, простодушно сверился с компасом, и оба они поняли, что шхуна взяла направление к острову Хао. К полуночи ветер стих, небо усеяли звезды. Капитан Девенпорт приободрился в надежде на тихую погоду.

– Место корабля определю утром, – сказал он Мак-Кою, – хотя, на какой мы теперь долготе, для меня загадка. Но я думаю воспользоваться способом равных высот Сомнера. Вы знаете, что такое линия Сомнера?

И он подробно объяснил Мак-Кою метод определения места по способу Сомнера.

Утро выдалось ясное. С востока дул ровный пассат, и шхуна так же ровно бежала вперед со скоростью девяти узлов. Капитан и старший помощник определили местонахождение судна по способу Сомнера, цифры у обоих сошлись, и сделанные в полдень наблюдения лишь подтвердили правильность полученных утром данных.

– Еще двадцать четыре часа, и мы будем у цели, – уверял Мак-Коя капитан. – Просто чудо, как еще держится палуба нашей славной старушки! Но ее ненадолго хватит, нет, нет, ненадолго. Посмотрите, как дымится, с каждым днем все сильнее и сильнее. А ведь пригнана



была на славу, перед выходом из Фриско ее заново проконопатили. Я даже удивился, когда в первый раз прорвался огонь и пришлось задраить люки. Что такое?

Он внезапно умолк и испуганно уставился на тоненькую струйку дыма, вьющуюся за бизань-мачтой на высоте двадцати футов над палубой. От удивления у него даже отвисла челюсть.

– Откуда он там взялся? – возмутился он.

Ниже никакого дыма не было. Должно быть, струйка дыма перелетела сюда с палубы и, найдя приют от ветра под прикрытием мачты, по какому-то странному капризу природы обрела форму и видимость на высоте двадцати футов от палубы. Вот она оторвалась от мачты и на короткое мгновение нависла над головой капитана, словно грозное предзнаменование судьбы. В следующую минуту порыв ветра подхватил ее и унес в океан, а челюсть капитана вновь приняла нормальное положение.

– Так вот, когда мы впервые задраили люки, я удивился. Уж как хорошо была пригнана палуба, и все же дым просачивался сквозь нее, словно сквозь сито. С тех пор мы только и делаем, что конопатим ее. Должно быть, давление в трюме огромное, если дым находит столько лазеек.

В тот вечер небо вновь затянуло тучами, начал моросить дождь. Ветер все время менял направление, то дул с юго-востока, то с северо-востока; в полночь с юго-запада налетел сильный шквал, отбросил шхуну назад, и с этой минуты ветер дул, не переставая ни на секунду.

– Нам не добраться до Хао раньше десяти или одиннадцати, – простонал капитан в семь утра, когда нависшая на востоке мрачная громада туч унесла слабую надежду на солнечный день. В следующую минуту он уже уныло спрашивал:

– Ну где же эти течения?

Марсовы на мачтах по-прежнему не видели землю, и весь день то стоял штиль и моросил дождь, то порывами налетал ветер. К ночи с запада пошли огромные волны. Барометр упал до 29.50. Ветра почти не было, но зловещие волны все сильнее и сильнее бились о борта «Пиренеев». Не прошло и часа, как шхуну завертело в водовороте огромных валов, бесконечной чередой мчавшихся с запада из бездны ночи. Быстро, как только смогли падавшие от усталости матросы обеих вахт, убрали паруса, и к шуму ревущих волн добавился угрожающий ропот и жалобы выбившихся из сил матросов. А когда вахтенных матросов вызвали на корму крепить снасти, они уже открыто выразили свое нежелание повиноваться. В каждом их движении крылись протест и угроза. Воздух был влажный и словно бы липкий, матросы дышали тяжело и часто, жадно ловя ртом воздух. Пот лил по обнаженным рукам и лицам матросов, по измученному, еще более мрачному, чем когда-либо, лицу капитана, и в его застывших глазах притаилась тревога и сознание неизбежной гибели.

– Ураган проходит западнее, – ободряюще сказал Мак-Кой. – Самое худшее – заденет нас краем.

Но капитан даже не обернулся и принялся читать при свете фонаря «Наставление морякам по вождению судов в циклоны и штормы». Молчание нарушали лишь доносящиеся со спардека всхлипывания юнги.

– Да замолчишь ли ты! – крикнул капитан с такой яростью, что все, кто был на палубе, вздрогнули, а преступник завопил от страха пуще прежнего. – Мистер Кониг, – обратился капитан к старшему помощнику дрожащим от возбуждения и гнева голосом, – сделайте одолжение, заткните шваброй глотку этому отродью!

Но к мальчику отправился Мак-Кой, и через несколько минут всхлипывания прекратились – юнга успокоился и заснул.

Перед рассветом с юго-востока повеяло первым дыханием свежего ветерка, мало-помалу усиливавшегося и перешедшего в легкий ровный бриз. Вся команда собралась на палубе, тревожно ожидая, что последует дальше.

– Ну вот, теперь все будет в порядке, капитан, – сказал Мак-Кой, стоя бок о бок с Девенпортом. – Ураган помчался на запад, а мы много южнее. До нас дошел только этот бриз. Сильнее он уже не станет. Можно ставить паруса.

– А что от них толку? Куда мне вести шхуну? Вот уже два дня, как мы не знаем, где находимся, а ведь мы должны были увидеть Хао еще вчера утром. Куда нас несет: на север, юг, восток – или куда? Ответьте, и я в мгновение ока подниму все паруса.

– Я не моряк, капитан, – мягко сказал Мак-Кой.

– Когда-то я считал себя моряком, – послышалось в ответ, – до тех пор, пока не попал на эти проклятые Паумоту.

В полдень с мачты раздался крик:

– Прямо по носу буруны!

Моментально сбавили ход и начали убирать паруса. Судно медленно скользило вперед, борясь с течением, грозившим бросить его на рифы. Офицеры и матросы работали как одержимые, им помогали кок, юнга, капитан Девенпорт, Мак-Кой. Шхуна была на волосок от гибели: прямо перед ними тянулась низкая отмель, унылый и опасный клочок земли, непригодный для жилья, о который безостановочно разбивались волны и на котором даже птицам негде было свить гнезда. Шхуна прошла мимо отмели в каких-нибудь ста ярдах и опять забрала ветер. Как только опасность миновала, задыхающиеся от только что пережитого волнения матросы обрушили поток ругательств и проклятий на голову Мак-Коя. Это он явился к ним на шхуну и предложил идти на Мангареву! Он лишил их безопасного приюта на Питкэрне и привел на верную гибель в эти изменчивые, страшные просторы океана! Но ничто не могло нарушить безмятежного спокойствия Мак-Коя. Он улыбнулся матросам, и столько доброжелательности было в его улыбке, что лучившаяся от него доброта, казалось, проникла в мрачные, полные отчаяния души матросов, и, посрамленные, они замолкли.

– Страшные воды, страшные воды, – бормотал капитан, пока шхуна медленно уходила от опасного места. Вдруг он замолчал и уставился на отмель. Она должна была находиться прямо за кормой, но почему-то оказалась с наветренной стороны шхуны.

Он сел и закрыл лицо руками. И все – и старший помощник, и Мак-Кой, и матросы – увидели то, что увидел капитан. Южную оконечность отмели омывало восточное течение, отнесшее к ней шхуну; у северного конца отмели проходило западное течение, захватившее шхуну и медленно увлекавшее ее прочь.

– Когда-то я слышал об этих Паумоту, – со стоном сказал капитан, поднимая белое, как полотно, лицо. – Мне рассказывал о них капитан Мойендейл, после того как потерял здесь судно. А я тогда посмеялся над ним. Да простит меня бог за то, что я посмеялся над ним. Что это за отмель? – обратился он к Мак-Кою.

– Не знаю, капитан.

– Почему?

– Да потому, что мне никогда прежде не приходилось ни видеть ее, ни слышать о ней. Одно я знаю наверняка: на картах ее нет. Этот район никто никогда как следует не исследовал.

– Но ведь это значит, что вы не знаете, где мы находимся?

– Так же как и вы, капитан, – мягко ответил Мак-Кой.

В четыре пополудни вдаль показалось несколько кокосовых пальм, словно выросших прямо из воды. А чуть позже над водой поднялся низкий атолл.

– Теперь я знаю, где мы находимся, капитан, – сказал Мак-Кой, опуская бинокль. – Это остров Решимости. Мы в сорока милях от Хао, но ветер дует нам прямо в лоб, и нам к нему не пробиться.

– Тогда готовьтесь, будем приставать здесь. С какой стороны вход в лагуну?

– К лагуне ведет узкий пролив, годный разве что для легкой пироги. Но уж раз мы знаем теперь, где находимся, можно пойти к острову Баркляя де Толли. Он всего в ста двадцати милях, на северо-северо-запад. При таком ветре мы будем завтра к девяти утра.

Капитан углубился в карту, обдумывая предложения Мак-Коя.

– Даже если мы разобьем ее здесь, нам все равно не миновать идти к острову Баркляя де Толли, только уж в шлюпках, – добавил Мак-Кой.

Капитан отдал приказание, и снова шхуна пустилась в путь по океану, столь негостеприимно встречавшему ее.

Следующий день не принес ничего утешительного: палуба «Пиренеев» дымилась больше прежнего, людьми овладело безысходное отчаяние, грозившее в любую минуту перейти в открытый бунт. Течение усилилось, ветер спал, и шхуну неуклонно относило на запад. Далеко на востоке, еле видимый с мачты, показался остров Баркляя де Толли, и шхуна несколько часов подряд безуспешно пыталась пробиться к нему. На горизонте, как навязчивый мираж, маячили кокосовые пальмы, стоило спуститься с мачты на палубу, и они сразу исчезали за выпуклым краем водной равнины.

И снова капитан Девенпорт углубился в карту, призвав на совет Мак-Коя. В семидесяти милях к юго-западу лежит остров Макемо с превосходной лагуной длиной в тридцать миль. Но когда капитан отдал приказ идти к острову, матросы отказались повиноваться. Хватит с них жариться на адском огне, заявили они. Земля совсем рядом. Что из того, что шхуна не может к ней подойти? На что ж тогда шлюпки? Пусть горит, туда ей и дорога. А жизнь им еще пригодится. Они верой и правдой служили шхуне, теперь пришел черед послужить самим себе.

Отшвырнув с дороги второго и третьего помощников, матросы бросились к шлюпкам и с лихорадочной поспешностью стали готовить их к спуску. Им наперерез кинулись капитан Девенпорт и старший помощник с револьверами в руках. Но в этот момент с палубы рубки к матросам обратился Мак-Кой.

При первых же звуках его тихого, кроткого голоса они остановились и начали прислушиваться. Мак-Кой вселял в них свою непостижимую уверенность и безмятежность. Его мягкий голос и простые слова таинственным образом вливались в их сердца, и, сами того не желая и внутренне противясь, матросы оттаивали и смягчались. В памяти всплывали давно минувшие времена, любимые колыбельные песни, что пела в детстве мать, ласка и теплота материнских рук... И почудилось им, что нет больше в этом мире ни тревог, ни усталости. Все идет так, как должно, и уж само собой разумеется, что им придется отказаться

от мысли о суше и снова пуститься в океан на охваченном адским огнем судне...

Мак-Кой говорил очень просто, да им вовсе и неважно было то, что он говорил. Красноречивее любых слов говорила за него его незаурядная натура. Должно быть, они подпали под очарование той таинственной силы, которая исходила из его чистой и глубокой души, в одно и то же время несказанно смиренной и необычайно властной. Словно луч света проник в темные тайники их душ, неся с собой ласку и доброту, и эта сила оказалась куда более грозной, чем та, что глядела на них из сверкающих, несущих смерть дул револьверов в руках капитана и старшего помощника.

Матросы заколебались, и те, кто успел отвязать шлюпки, начали поспешно крепить их обратно. Потом один, второй, третий, и вот уже все они сначала неуверенно, бочком, потом более поспешно стали расходиться с кормы.

Мак-Кой спустился с крыши рубки на палубу; лицо его светилось неподдельной радостью. Еще один бунт миновал. А был ли какой-нибудь бунт? Да и никогда не вспыхивали никакие бунты, ибо не было для них места в том благословенном мире, в котором он жил.

– Вы загипнотизировали их, – пробормотал старший помощник, мрачно усмехаясь.

– Они славные ребята, и у них добрые сердца, – последовал ответ. – Им нелегко пришлось, и они работали, не щадя себя; они и дальше не будут щадить себя, до самого конца.

Мистеру Конигу было не до разговора. Он отдал приказание, матросы послушно забегали по палубе, и скоро шхуна начала медленно поворачивать, пока наконец не взяла курс на Макемо.

Ветер дул очень слабый, а после заката и вовсе прекратился. Было нестерпимо жарко; по носу и корме уныло слонялись матросы: все их попытки заснуть оказались тщетными. На горячей палубе лечь было невозможно, ядовитые испарения просачивались сквозь щели и, словно злые духи, ползли по судну, забираясь в ноздри и горло, вызывая приступы кашля и удушья. На черном небе тускло мерцали звезды; взошла круглая луна, и в ее серебристом свете заплясали мириады струек дыма; извиваясь и переплетаясь, они подымались над палубой, добираясь до самых верхушек мачт.

– Расскажите, – попросил капитан Девенпорт, протирая слезящиеся от дыма глаза, – что произошло с матросами брига «Баунти» после того, как они высадились на Питкэрне. В газетах тогда писали, что бриг они сожгли и след их отыскался только много лет спустя. А что произошло за это время? Мне всегда хотелось разузнать об их судьбе. Помнится, их приговорили к повешению. Кажется, они привезли с собой на Питкэрн туземцев, не так ли? И среди них было несколько женщин. Должно быть, из-за них-то и начались все неприятности.

– Да, неприятности в самом деле начались, – ответил Мак-Кой. – Они были плохие люди. Они сразу начали ссориться из-за женщин. У одного из мятежников, звали его Уильямс, вскоре умерла жена, упала со скалы и разбилась, когда охотилась на морских птиц. Все женщины на острове были таитянки. Тогда Уильямс отнял жену у туземца. Туземцы рассердились и перебили почти всех мятежников. А потом те мятежники, что спаслись, перебили всех туземцев. Женщины им помогали. Да и сами туземцы убивали друг друга. Произошло побоище. Это были очень плохие люди.

Туземца Тимити убили двое других туземцев; пришли к нему в гости и в знак дружбы стали расчесывать ему волосы; потом убили. Этих двух послали белые люди. А потом белые люди убили их самих. Туллалоо был убит своей женой в пещере, потому что она хотела в мужья белого человека. Они были очень нехорошие. Господь отвратил от них лицо свое. К концу второго года из туземцев не осталось в живых ни одного, а из белых – четверо: Юнг, Джон Адамс, Мак-Кой – мой прадед, и Квинтал. Квинтал тоже был очень плохой человек. Однажды

он откусил у своей жены ухо только потому, что она наловила мало рыбы.

– Вот так сброд! – воскликнул мистер Кониг.

– Да, они были очень дурные люди, – согласился Мак-Кой и продолжал ворковать о кровавых деяниях и пагубных страстях своих грешных предков. – Мой прадед убежал от виселицы только для того, чтобы покончить жизнь самоубийством. На острове он соорудил куб и начал гнать спирт из корней пальмового дерева. Квинтал был его закадычным другом, и они только и делали, что вместе пили. Кончилось тем, что прадед заболел белой горячкой и в приступе болезни привязал к шее камень и бросился со скалы в море.

Жена Квинтала, та самая, у которой он откусил ухо, тоже вскоре погибла, сорвалась со скалы. Тогда Квинтал отправился к Юнгу и потребовал, чтоб он отдал ему свою жену, а потом пошел к Адамсу и потребовал его жену. Адамс и Юнг боялись Квинтала. Они знали, что он убьет их. Тогда они сами убили его топором. Потом Юнг умер. На этом и кончились их несчастья.

– Еще бы им не кончиться, – пробормотал капитан Девенпорт. – Убивать больше было некого.

– Господь отвратил от них лицо Свое, – тихо сказал Мак-Кой.

Миновала ночь; к утру восточный ветер почти совсем спал, и, не решаясь повернуть шхуну на юг, капитан Девенпорт привел ее в крутой бейдевинд. Он боялся коварного западного течения, которое уже не раз лишало их надежных убежищ. Штиль держался весь день и всю ночь, и снова среди матросов, вот уже много дней не евших ничего, кроме сушеных бананов, поднялся ропот. От этой банановой диеты они слабели, многие жаловались на боли в животе. Весь день течение несло «Пиренеи» на запад, не оставалось уже никакой надежды, что шхуна сможет идти прямо на юг... В середине первой вахты далеко на юге из воды вновь показались верхушки кокосовых пальм, их пышные кроны величаво колыхались над низким атоллom.

– Это остров Таэнга, – сказал Мак-Кой. – Если ночью не задует ветер, мы пройдем мимо Макемо.

– Куда запропастился юго-восточный пассат? – возмущался капитан. – Почему он не дует? Что происходит?

– Все дело в испарениях с лагун, – объяснил Мак-Кой. – Лагун-то здесь видимо-невидимо. Эти испарения изменяют всю систему пассатов. Случается, ветер вдруг и вовсе поворачивает вспять, а потом уж возвращается с юго-запада ураганным штормом. Это Опасный Архипелаг, капитан.

Капитан обернулся к старику и уже открыл было рот, собираясь выругаться, но в последний момент удержался. Присутствие Мак-Коя сдерживало клокотавшую в груди ярость, и готовое сорваться с языка богохульство так и осталось произнесенным. Влияние Мак-Коя очень выросло за те дни, что они провели вместе. Капитан Девенпорт, этот смелый и отчаянный моряк, который никогда ни перед чем не останавливался и никогда не обуздывал себя ни в поступках, ни в словах, вдруг почувствовал, что не может выговорить бранных слов в присутствии старика с добрыми карими глазами и тихим кротким голосом! Когда это дошло до сознания капитана, он был потрясен. Да ведь этот старик – потомок Мак-Коя с «Баунти», мятежника Мак-Коя, исчадия зла и насилия, что бежал из Англии от грозившей ему виселицы и погиб насильственной смертью на острове Питкэрн в давно минувшие кровавые дни!

Капитан Девенпорт не отличался религиозностью, но в эту минуту им овладело безумное желание броситься к ногам стоящего перед ним человека и говорить, говорить, говорить... он и сам не знал что. Он не смог бы определить причину того глубокого волнения, которое с

такой силой охватило все его существо, но вдруг почувствовал себя слабым и ничтожным рядом с этим стариком, мягкосердечным, как женщина, и простодушным, как ребенок.

Нет, он не унижится на глазах у всей команды. Ярость, душившая его за минуту до того и едва не исторгнувшая из его уст проклятия, все еще бушевала в его груди. Он изо всех сил хватил кулаком по стенке каюты.

– Меня не так-то легко сломить, слышите? Вашим проклятым Паумоту удалось провести меня, но я все равно не сдамся! Я буду вести шхуну вперед, вперед и только вперед, но я найду для нее лагуну, хотя бы мне пришлось дойти до Китая! И если все до единого сбегут со шхуны, я все равно не покину ее! Я еще покажу этим Паумоту! Им не одурачить меня! И я не брошу старую посудину до тех пор, пока на ее палубе останется хоть одна доска, на которой я смогу стоять! Слышите?

– Я останусь с вами, капитан.

Всю ночь дул слабый южный ветер. Капитан то и дело определял направление течения и каждый раз убеждался, что шхуну с ее горящим грузом неуклонно относит на запад; тогда он отходил в сторону и тихо, чтобы не слышал Мак-Кой, ругался.

С рассветом на юге показались верхушки кокосовых пальм.

– Это подветренный берег Макемо, – сказал Мак-Кой. – В нескольких милях к западу – остров Катиу. Можно попытаться подойти к нему.

Но сильное течение, выбивавшееся из пролива между островами, отнесло шхуну на северо-запад, и в полдень кокосовые пальмы острова Катиу в последний раз мелькнули над водой и снова исчезли в безбрежных просторах океана. А через несколько минут, как раз в тот момент, когда капитан обнаружил, что шхуна зажата мертвыми тисками уже другого течения, северо-восточного, марсовые разглядели кокосовые пальмы на северо-западе.

– Это Рарака, – объяснил Мак-Кой. – Без попутного ветра к ней не подойти. А нас относит течение к юго-западу. Но надо быть настороже. Несколькими милями дальше мы попадаем в течение, которое идет на север, потом делает круг и поворачивает к северо-западу. Оно может отнести нас от Факаравы, а Факарава – самое для нас подходящее место.

– Эти прок... эти течения носят нас из стороны в сторону, куда им заблагорассудится, – с жаром проговорил капитан. – Но мы все равно разыщем лагуну, помяните мое слово.

Однако конец шхуны неотвратимо приближался. Палуба так накалилась, что казалось, еще немного – и из щелей вырвутся языки пламени. А в некоторых местах, чтобы не обжечь ноги, приходилось бежать: даже башмаки на толстых подошвах уже не защищали. Дыма все прибавлялось, и с каждой минутой он становился все более едким. Воспаленные глаза слезились, все кашляли и задыхались, словно чахоточные больные. После полудня приготовили к спуску шлюпки. В них уложили остатки сушеных бананов и навигационные приборы. Опасаясь, что палуба может вспыхнуть в любой момент, капитан отнес в шлюпку даже хронометр.

Ночь прошла в гнетущем ожидании близкого конца, каждый смотрел на измученное лицо и ввалившиеся глаза другого, словно удивляясь, что шхуна еще цела и все они до сих пор живы.

Перебегая с одного места на другое, а время от времени даже смешно подпрыгивая, что совсем не вязалось с его обычной степенной походкой, капитан Девенпорт осмотрел палубу.

– Конец – вопрос нескольких часов, если не минут, – объявил он, вернувшись на корму.

С мачты раздался крик марсового, увидевшего землю. С палубы ее не было видно, и Мак-Кой бросился наверх, а капитан, воспользовавшись его отсутствием, разразился проклятиями. Но вдруг они замерли у него на языке: в направлении к северо-востоку капитан разглядел на воде темную полоску. То был не шквал, а обычный ветер, тот самый пассат, что пропал и появился теперь вновь, отклонясь на восемь румбов в сторону от своего обычного направления.

– Ну, теперь держитесь по ветру, капитан, – сказал Мак-Кой, вернувшись на корму. – Мы у восточного берега острова Факарава. Войдем в лагуну на полном ходу, при боковом ветре под всеми парусами.

Через час кокосовые пальмы и низкие берега острова были видны уже с палубы. Но мысль о том, что конец шхуны неотвратимо приближается, тяжелым камнем легла на души людей. Капитан приказал спустить на воду три шлюпки, а чтобы они держались порознь, в каждую посадили по матросу. Шхуна шла вдоль самого берега – всего в двух кабельтовых лежал белый от пены приборя атолл.

– Приготовьтесь, капитан, – предупредил Мак-Кой.

Не прошло и минуты, как атолл словно расступился, открыв узкий пролив, за которым расстилалась зеркальная гладь огромной – тридцать миль в длину и десять в ширину – лагуны.

– Пора, капитан.

В последний раз повернулись реи, и, послушно повинувшись рулю, шхуна вошла в пролив. Но не успела она сделать поворот, не успели матросы закрепить шкоты, как вдруг все в паническом ужасе бросилось на корму. Ничего не случилось, но что-то, уверяли они, вот-вот произойдет. Почему им это казалось, они и сами не могли объяснить. Но они знали, что этого не миновать. Мак-Кой побежал на нос, чтобы оттуда управлять шхуной, но капитан схватил его за руку и вернул на место.

– Оставайтесь здесь, – сказал он. – Палуба не безопасна. В чем дело? – закричал он. – Почему мы стоим на месте?

Мак-Кой улыбнулся.

– Мы пробиваемся навстречу течению в семь узлов, капитан, – объяснил он, – с такой скоростью во время отлива выходит вода из лагуны.

К концу следующего часа шхуна продвинулась вперед едва ли на больше чем на собственную длину; но вот ветер посвежел, и она медленно пошла вперед.

– Все в шлюпки! – громко приказал капитан.

Но не успел еще затихнуть его голос, не успели матросы, послушно повиновавшиеся его приказу, добежать до борта, как из средней части палубы вырвался огромный столб огня и дыма и взметнулся в небо, опалив часть парусов и оснастки, тут же рухнувших в воду. Столпившихся на корме матросов спасло только то, что дул боковой ветер. Они в ужасе метнулись к шлюпкам, но их остановил спокойный, невозмутимый голос Мак-Коя:

– Не спешите, все в порядке. Пожалуйста, спустите сначала мальчика.

Когда разразилась катастрофа, рулевой в панике бросил штурвал, и капитан едва успел ухватиться за спицы и выровнять шхуну, чтобы она не отклонилась от курса и не врезалась в стремительно надвигающийся берег.

– Займитесь шлюпками! – крикнул он старшему помощнику. – Одну из них держите прямо за кормой. В последний момент я в нее прыгну.

Мгновение мистер Кониг колебался, потом перескочил через борт и спустился в шлюпку.

– Полрумба правее, капитан.

Капитан Девенпорт вздрогнул. Он был уверен, что остался на шхуне один.

– Есть полрумба правее, – ответил он.

На спардеке зияла огненная дыра, извергавшая огромные клубы дыма, которые поднимались до самых верхушек мачт, совершенно закрывая носовую часть судна. Встав под прикрытие бизань-мачты, Мак-Кой продолжал управлять маневрами шхуны в узком извилистом проливе. Огонь устремился вдоль палубы на корму, белоснежная башня парусов грот-мачты вспыхнула и исчезла в огненном вихре. Парусов фок-мачты не было видно за стеной дыма, но они знали, что до фок-мачты огонь еще не добрался.

– Только бы успеть войти в лагуну прежде, чем сгорят все паруса, – тяжело вздохнув, сказал капитан.

– Успеем, – заверил его Мак-Кой. – Времени у нас вполне достаточно. Должны успеть. А уж в лагуне мы поставим ее кормой к ветру, так, что он унесет дым и собьет огонь.

Язык пламени жадно лизал бизань-мачту, но не дотянулся до нижнего паруса и исчез. Откуда-то сверху на голову капитана упал горящий кусок троса, но он только досадливо поморщился, словно его ужалила пчела, и смахнул его на палубу.

– Как на румбе, капитан?

– Северо-запад.

– Держите на запад-северо-запад.

Капитан переложил руль на подветренный борт и привел шхуну точно на заданный курс.

– Северо-запад, капитан!

– Есть северо-запад!

– А теперь запад!

Медленно входя в лагуну, шхуна, разворачиваясь, описала дугу и стала кормой к ветру, и так же медленно, со спокойной уверенностью человека, у которого впереди еще тысячи лет жизни, Мак-Кой произносил нарастающие слова команды:

– Еще румб, капитан!

– Есть еще румб!

Капитан Девенпорт немного повернул штурвальное колесо, потом быстрым движением изменил направление и снова чуть-чуть повернул штурвал.

– Так держать!

– Есть так держать!

Несмотря на то, что ветер дул теперь с кормы, было так жарко, что капитан лишь искоса



поглядывал на компас, поворачивая штурвал то одной, то другой рукой и заслоня свободной обожженное, покрывшееся волдырями лицо. Борода Мак-Коя начала тлеть, и в нос капитана ударил такой сильный запах паленых волос, что он оглянулся и с беспокойством посмотрел на Мак-Коя. Время от времени капитан и вовсе отпускал штурвал и потирал обожженные руки о штаны. Все до одного паруса бизань-мачты унесло пламенным вихрем, и обоим приходилось сгибаться в три погибели, чтобы укрыть от огня лицо.

– А теперь, – сказал Мак-Кой, бросая из-под руки взгляд на лежащий перед ними низкий берег, – четыре румба вправо и так держать.

Всюду, куда бы они не посмотрели, горели и летели вниз снасти. Едкий дым от тлеющего у ног капитана смоленого троса вызвал у него сильный приступ кашля, но капитан не выпустил штурвала.

Шхуна задела дно и, высоко задрав нос, мягко остановилась. От толчка на капитана и Мак-Коя посыпался град горящих обломков. Судно еще немного продвинулось вперед и снова остановилось. Слышно было, как киль дробит хрупкие кораллы. Продвинувшись еще немного вперед, шхуна в третий раз остановилась.

– Точнее на румбе, – сказал Мак-Кой. – Точнее? – тихо спросил он.

– Она не слушается руля, – ответил капитан.

– Ну что ж. Она разворачивается. – Мак-Кой заглянул через борт. – Мягкий белый песок. Лучшего и желать нельзя. Превосходная лагуна.

Как только шхуна развернулась и корма оказалась под ветром, на нее обрушился страшный столб дыма и пламени. Опаленный огнем, капитан выпустил из рук штурвал и бросился к шлюпке. Мак-Кой посторонился, пропуская его вперед.

– Сначала вы! – крикнул капитан, схватив его за плечо и почти перебрасывая через поручни. Но пламя бушевало уже у самого борта, и капитан прыгнул вниз сразу же вслед за Мак-Коем; оба повисли на канате и одновременно упали в шлюпку.

Не дожидаясь приказаний, матрос обрубил канат, поднятые наготове весла врезались в воду, и шлюпка стрелой полетела к берегу.

– Прекрасная лагуна, капитан, – пробормотал Мак-Кой, оглядываясь.

– Да, лагуна прекрасная, но если бы не вы, нам бы никогда ее не разыскать.

Три шлюпки быстро приближались к песчаному, усеянному кораллами берегу; чуть дальше, на опушке рощи кокосовых пальм, виднелось с полдюжины хижин, а около них десятка два испуганных туземцев во все глаза глядели на огромное полыхающее чудище, подошедшее к их острову.

Шлюпки коснулись земли, и команда шхуны ступила на белый песок.

– А теперь, – сказал Мак-Кой, – мне надо подумать о том, как вернуться на Питкэрн.

\* \* \*

ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ СОЛНЕЧНОЙ СТРАНЫ

Мэнделл – это заброшенное селение на берегу Полярного моря. Оно невелико, и жители его миролюбивы, более миролюбивы, чем соседние племена. В Мэнделле мало мужчин и много женщин, и поэтому там в обычае благодетельная полигамия; женщины усердно рожают, и рождение мальчика встречается радостными криками. И живет там Ааб-Ваак, чья голова постоянно опущена набок, словно шея устала и наотрез отказалась исполнять свою обязанность.

Причина всего – и миролюбия, и полигамии, и опущенной набок головы Ааб-Ваака – восходит к тем отдаленным временам, когда в бухте Мэнделл бросила якорь шхуна «Искатель» и когда Тайи, старшина селения, задумал быстро обогатиться. Люди племени мэнделл, которое родственно по крови живущему к западу Голодному племени, по сей день, понизив голос, рассказывают о минувших событиях. И когда заходит о них речь, дети подсаживаются ближе и удивляются безумству тех, которые могли бы быть их предками, если бы не вступили в борьбу с жителями Солнечной Страны и не окончили бы так печально своих дней.

Все началось с того, что шесть человек с «Искателя» сошли на берег; они взяли множество вещей – словно намеревались надолго обосноваться в Мэнделле – и устроились в хижине Нига. Они щедро расплачивались за помещение мукой и сахаром, но Нига был огорчен, ибо его дочь Мисэчи решила разделить свою судьбу, стол и ложе с Пришельцем-Биллом, начальником отряда белых людей.

– Она стоит большого выкупа, – жаловался Нига собравшемуся у костра совету, когда белые пришельцы спали. – Она стоит большого выкупа, потому что у нас много мужчин и мало женщин, и охотники дают высокую цену за жен. Уненк предлагал мне только что сделанный каяк и ружье, которое он выменял у Голодного племени. Вот что мне было предложено, а теперь она ушла, и я ничего не получу.

– Я тоже предлагал выкуп за Мисэчи, – беззлобно проворчал кто-то, и у костра показалось широкое жизнерадостное лицо Пило.

– Да, ты тоже, – подтвердил Нига. – Были еще и другие. Отчего так беспокойны жители Солнечной Страны? – сердито спросил он. – Отчего они не остаются у себя на родине? Жители Страны Снегов не ходят в Солнечную Страну.

– И спроси, зачем они приезжают к нам! – раздался голос из темноты, и к костру протиснулся Ааб-Ваак.

– Верно! Зачем они приезжают! – воскликнуло множество голосов, и Ааб-Ваак сделал рукою знак, призывая к тишине. – Люди не станут рыть землю без надобности, – начал он. – Я вспоминаю китобоев, они тоже родом из Солнечной Страны, и их корабль погиб во льдах. Вы все помните, как они явились к нам в разбитых лодках, а когда настали морозы и земля покрылась снегом, отправились на запряженных собаками нартах к югу. Вы помните, как, ожидая морозов, один из них начал копать землю, за ним еще двое, затем трое, пока не стали копать все. Вы помните, как они при этом спорили и ссорились. Мы не знаем, что они нашли в земле, потому что не позволяли нам следить за собой. После, когда они уехали, мы тоже искали, но ничего не нашли. Но у нас земли много, всей они не могли перекопать.

– Ты прав, Ааб-Ваак, ты прав! – кричали все.

– И вот я думаю, – заключил он свою речь, – что один житель Солнечной Страны рассказал другому, и они приехали к нам рыть землю.

– Но как могло случиться, что Пришелец-Билл говорит на нашем языке? – спросил маленький, иссохший старик охотник. – Пришелец-Билл, которого наши глаза никогда не видели?

– Пришелец-Билл бывал прежде в Стране Снегов, – отвечал Ааб-Ваак. – Иначе он бы не знал языка племени Медведя, а их речь очень похожа на речь Голодного племени, а Голодное племя говорит на том же языке, что и мы, мэнделлы. У племени Медведя побывало много жителей Солнечной Страны, у Голодного племени их было мало, а в Мэнделле не было никого, кроме китобоев и тех белых, что спят сейчас в жилище Нига.

– Сахар у них очень хорош, – заметил Нига. – И мука тоже хороша.

– У них много богатств, – добавил Уненк. – Вчера я был у них на судне и видел много хитроумных железных вещей, ножи, оружие, а также муку, сахар и много-много всяких удивительных припасов.

– Это правда, братья! – Тайи поднялся, радуясь мысли, что племя уважает и прислушивается к его словам. – Они очень богаты, эти пришельцы из Солнечной Страны. При этом они очень глупы. Судите сами! Они без опаски являются к нам, не заботясь о своем огромном богатстве. Они спокойно спят, а нас много, и мы не знаем страха.

– Может быть, они храбрые воины и тоже не знают страха? – возразил маленький старик охотник.

Тайи негодуяще посмотрел на него.

– Нет, непохоже. Они живут на юге, в Солнечной Стране, изнежены, как и их собаки. Вы помните собаку китобоев? Наши псы загрызли ее на другой же день, потому что она была изнежена и не могла сопротивляться. В той стране греет солнце, и жизнь легка, мужчины там похожи на женщин, а женщины – на детей.

Слушатели одобрительно закивали, а женщины еще больше вытянули шеи.

– Говорят, что они хорошо обращаются со своими женщинами и их женщины не работают, – захихикала здоровая, крепкая Ликита, дочь самого Тайи.

– Не хочешь ли ты пойти по следам Мисэчи? – сердито крикнул ее отец и повернулся к соплеменникам. – Вот видите, братья, каков обычай жителей Солнечной Страны! Они смотрят на наших женщин и уводят одну за другой. Мисэчи ушла, лишив Нига законного выкупа, теперь хочет уйти Ликита, и захотят уйти все, а мы останемся ни с чем. Я говорил с охотником из племени Медведя, и я знаю, что это так. Среди нас находятся мужчины из Голодного племени – пусть они тоже скажут, правдивы ли мои слова.

Шестеро охотников из Голодного племени подтвердили, что это так, и наперебой принялись рассказывать о жителях Солнечной Страны и их обычаях. Ворчали молодые охотники, подыскивающие себе жен, ворчали старики, желающие получить богатый выкуп за дочерей, и ропот становился громче и явственнее.

– Они очень богаты, у них много удивительных вещей, много ножей и ружей, – подливал масла в огонь Тайи, и мечта о быстром обогащении начинала казаться ему близкой к осуществлению.

– Ружье Пришельца-Билла я возьму себе, – заявил неожиданно Ааб-Ваак.

– Нет, я возьму его! – заорал Нига. – Пусть оно послужит выкупом за Мисэчи.

– Тише, о братья! – Тайи жестом успокоил собравшихся. – Пусть женщины и дети удалятся в свои хижины. Это беседа мужей, пусть ее слышат только уши мужчин.

– Ружей хватит на всех, – сказал он, когда женщины нехотя удалились. – Я не сомневаюсь, что каждый получит по два ружья, не говоря уже о муке, сахаре и других вещах. Это будет

нетрудно. Шестеро жителей Солнечной Страны будут убиты сегодня ночью в хижине Нига. Завтра мы мирно поедем на шхуну выменивать товары и, улучив удобный момент, перебьем их братьев. А вечером устроим пиршество и станем веселиться и делить добычу. Самый бедный будет иметь больше, чем имел когда-либо богатый. Слова мои мудры, не правда ли, братья?

В ответ раздался гул одобрения, и началась подготовка к нападению. Шестеро охотников из Голодного племени, как и подобает жителям богатого селения, были вооружены винтовками и в изобилии снабжены боевыми припасами. Но у жителей Мэнделла ружей было мало, да и те в большинстве случаев никуда не годились, а пороха и пуль почти совсем не было. Зато они имели несметное количество стрел с костяными наконечниками, копий и стальных ножей русской и американской работы.

– Действовать надо тихо, – наставлял Тайи, – окружите хижину плотным кольцом, чтобы жители Солнечной Страны не могли прорваться. Затем ты, Нига, и шестеро молодых охотников вползут потихоньку внутрь. Ружей брать не надо – они могут неожиданно выстрелить, но вложите всю силу рук в ножи.

– И не причините вреда Мисэчи – она стоит большого выкупа, – хрипло прошептал Нига.

Нападающие ползком окружали хижину Нига, а поодаль притаились женщины и дети – им хотелось посмотреть, как расправятся с пришельцами. Короткая августовская ночь сменялась рассветом, так что можно было различить подкрадывающихся к хижине шестерых юношей и Нига. Передвигаясь на четвереньках, они пробрались в длинный проход, ведущий в хижину. Тайи поднялся и довольно потер руки. Все шло хорошо. Люди поднимали головы с земли и прислушивались. Каждый по-своему рисовал себе сцену, разыгравшуюся внутри: спящие пришельцы, взмахи ножей, мгновенная смерть во мраке.

Вдруг громкий крик жителя Солнечной Страны разорвал тишину, потом раздался выстрел. В хижине поднялся шум. Не теряя времени, мэнделлы бросились вперед. Сидевшие внутри открыли стрельбу, и атакующие, стиснутые в узком проходе, были беспомощны. Передние пытались отступить, спрятаться от изрыгавших огонь ружей, а находившиеся сзади напирали, чтобы схватиться врукопашную. Пули, пущенные из крупнокалиберных винтовок образца 1890 года, выводили из строя по шести человек сразу, и сени, битком набитые взбудораженными беспомощными людьми, напоминали мясной ряд на рынке. Пришельцы стреляли, не целясь, толпа редела, как под пулеметным огнем, и никто не мог устоять перед этим смертоносным ливнем.

– Никогда такого не бывало! – задыхаясь, говорил охотник из Голодного племени. – Я только заглянул туда – мертвые лежали, словно тюлени на льду после охоты.

– Не говорил ли я вам, что они хорошие воины? – пробормотал старик охотник.

– Этого следовало ожидать, – отвечал Ааб-Ваак. – Мы попали в западню, которую сами устроили.

– Вы глупцы! – бранился Тайи. – И сыны глупцов! Зачем полезли туда? Лишь Нига и шести юношам нужно было попасть внутрь хижины. Я хитрее жителей Солнечной Страны, но вы нарушаете приказания, и моя мудрость теряет силу и остроту!

Люди молчали, устремив взгляды на хижину, казавшуюся таинственной громадой на фоне рассветного неба. Через отверстие в крыше медленно подымался ружейный дымок, растворяясь в неподвижном воздухе, и время от времени проползал со стонами раненый.

– Пусть каждый спросит ближайшего о Нига и шести юношах, – приказал Тайи.

Через некоторое время пришел ответ:

– Нига и шести юношей больше нет.

– И многих других нет! – заплакала сзади какая-то женщина.

– Больше добычи достанется тем, что остались, – мрачно утешил Тайи и, повернувшись к Ааб-Вааку, добавил: – Ступай, принеси побольше тюленьих шкур, наполненных жиром. Пусть охотники обольют жиром стены хижины. И скажи, чтобы они поторопились разжечь пламя, пока жители Солнечной Страны не проделали в стенах отверстий для ружей.

Не успел он договорить, как сквозь глину, которой были обмазаны щели между бревнами просунулось дуло винтовки, и один из воинов Голодного племени схватился рукой за бок и высоко подпрыгнул. Вторая пуля пробила ему грудь, и он рухнул на землю. Тайи и остальные рассыпались во все стороны, спасаясь от огня. Ааб-Ваак торопил людей, несших шкуры с жиром. Избегая бойниц, проделанных в стенах хижины, они вылили жир на сухие бревна, принесенные рекой Мэнделл из южных лесов. Уненк подбежал с горящей головней, и пламя взвилось вверх. Прошло некоторое время, но осажденные не подавали никаких признаков жизни; нападавшие держали наготове оружие, следя за работой огня.

Тайи радостно потирал руки: пламя с треском охватило всю постройку.

– Теперь мы их поймали, братья! Они в ловушке.

– Никто не посмеет отнять у меня ружье Пришельца-Билла, – объявил Ааб-Ваак.

– Никто, кроме его самого, – пропищал старый охотник. – Гляди, вот он!

Защищенный опаленным, почерневшим одеялом, выскочил из пылающей хижины человек громадного роста, а за ним следовали тоже покрытые одеялами Мисэчи и пятеро остальных жителей Солнечной Страны. Воины Голодного племени попытались было остановить их поспешным нестройным залпом, а мэнделлы пустили тучу стрел и копий. Пришельцы сбросили на бегу горящие одеяла, и атакующие увидели, что у каждого за плечами была небольшая сумка с боевыми припасами. Из всего снаряжения было решено, видимо, спасти только это. Они плотной группой прорвались через кольцо врагов и побежали к высокой скале, черневшей в полумиле от селения.

Тайи привстал на одно колено и, взяв на мушку бежавшего позади жителя Солнечной Страны, спустил курок; раздался выстрел, и тот упал лицом вперед, попытался подняться и снова упал. Не обращая внимания на град стрел, один из его товарищей побежал обратно, нагнулся над ним и поднял к себе на плечи. Но их уже нагоняли мэнделлы, и метко брошенное копье пронзило раненого. Он вскрикнул, и когда товарищ опустил его на землю, зашатался и упал. Тем временем Пришелец-Билл и трое других остановились и встретили свинцом приближающихся копьеносцев. Пятый нагнулся над сраженным товарищем, пощупал ему сердце, а затем хладнокровно обрезал ремни у сумки и встал, захватив припасы и винтовку.

– Ну и глупец же он! – воскликнул Тайи и прыгнул вперед, чтобы вырвать оружие у раненого воина Голодного племени.

Его собственная винтовка засорилась, так что воспользоваться ею было невозможно; он закричал, чтобы кто-нибудь бросил копье в убегающего под прикрытие выстрелов жителя Солнечной Страны.

Маленький старик охотник поднял копье для броска, откинулся назад и метнул оружие.

– Клянусь Волком, прекрасный удар! – похвалил его Тайи, когда бегущий свалился;

торчавшее меж лопаток копьё медленно раскачивалось.

Вдруг старик закашлялся и сел. На губах у него показалась красная капелька, потом кровь хлынула изо рта. Он снова закашлялся, в груди раздался странный свист.

– Они не знают страха и хорошие воины, – хрипел он, хватаясь руками за землю. – Смотрите! Вот идет Пришелец-Билл!

Тайи поднял глаза. Четверо мэнделлов и один из воинов Голодного племени копьями добивали пытавшегося подняться на колени пришельца из Солнечной Страны. Но в то же мгновение четверо из них были сражены пулями. Пятый, пока невредимый, схватил обе винтовки, но, поднявшись, завертелся волчком от раны в руку; вторая пуля успокоила его, а третья сразила насмерть. Секундой позже Пришелец-Билл стоял над товарищем и, срезав сумку, подобрал винтовки.

Тайи видел, как падали его соплеменники, и им овладело некоторое сомнение, и он решил пока лежать тихо и наблюдать. Мисэчи зачем-то побежала назад к Пришельцу-Биллу, но прежде чем ей удалось добраться до него, выскочил вперед Пило и обхватил ее руками. Он пытался поднять ее на плечи, а она вцепилась в него, стала колотить и царапать ему лицо. Затем Мисэчи подставила Пило ногу, и оба упали на землю. Когда им удалось подняться, Пило обхватил ее одной рукой за шею и крепко сдавил, не давая возможности двигаться. Опустив лицо и подставив под удары голову с шапкой волос, он медленно увлекал ее прочь. Тогда-то и подоспел к ним Пришелец-Билл, возвращавшийся с оружием павших товарищей. Мисэчи увидела его и напрягла все силы, чтобы удержать врага на месте. Билл размахнулся и на бегу ударил винтовкой Пило. Тайи видел, как Пило, словно пораженный падающей звездой, сполз на землю, а пришелец из Солнечной Страны и дочь Нига бросились бежать к своему отряду.

Небольшая группа мэнделлов под предводительством одного из воинов Голодного племени бросилась на отступающих, но будто растаяла под огнем противника.

Тайи подавил вздох и шепнул:

– Как иней на утреннем солнышке!

– Я говорил, что они хорошие воины, – слабо прошептал истекающий кровью старик охотник.  
– Я знаю. Слышал о них. Они морские пираты и охотники за тюленями; они стреляют быстро и точно попадают в цель – таков их обычай и ремесло.

– Как иней на утреннем солнышке! – повторял Тайи, прячась за умирающим стариком и выглядывая лишь время от времени.

Сражение прекратилось: ни один из мэнделлов не осмеливался наступать, а положение было таково, что и отступить было поздно – слишком близко подошли они к противнику. Трое попытались спастись бегством, но один из них упал с перебитой ногой, второго прострелили навывлет, а третий, корчась, свалился на краю селения. Мэнделлы прятались по низинкам и зарывались в землю на открытом месте, а жители Солнечной Страны обстреливали долину.

– Не двигайся, – просил Тайи, когда к нему подполз Ааб-Ваак. – Не двигайся, друг Ааб-Ваак, иначе ты навлечешь на нас смерть.

– Смерть ко многим уже пришла, – рассмеялся Ааб-Ваак, – значит, каждому достанется больше богатства, ты сам это говорил. Мой отец вон за тем камнем, он уже задыхается, а дальше, скрючившись от боли, лежит брат. Но их доля будет моей долей, и это хорошо.

– Да, мой Ааб-Ваак. То же самое говорил и я, но прежде чем делить, надо заполучить

богатства, а жители Солнечной Страны еще живы.

Пуля ударила о скалу и, отскочив рикошетом, просвистела у них над головой. Тайи дрожа пригнулся, а Ааб-Ваак усмехнулся и попытался проследить глазами за ее полетом.

– Так быстро летят, что их не видишь, – заметил он.

– Многие из наших погибли, – продолжал Тайи.

– Но многие остались, – прозвучал ответ. – Теперь они припадают к земле, ибо узнали, как нужно сражаться. Кроме того, они очень рассержены на пришельцев. Когда мы уьем на корабле всех жителей Солнечной Страны, здесь, на суше, останутся только четверо. Может быть, пройдет много времени, пока мы их уьем, но в конце концов это совершится.

– Как мы отправимся на корабль, если мы не можем двинуться с места? – спросил Тайи.

– Пришелец-Билл и его братья заняли неудобное место, – пояснил Ааб-Ваак. – Мы можем окружить их со всех сторон, но и это не годится. Они попытаются отойти под прикрытие скалы и там ждать, пока братья с корабля не придут к ним на помощь.

– Их братья с корабля не сойдут на сушу! Я сказал.

Тайи приободрился, и когда пришельцы Солнечной Страны поступили так, как он предполагал, – отступили к скале, – у него снова стало легко на душе.

– Нас осталось всего трое! – жаловался воин Голодного племени, когда все собрались для совета.

– Значит каждый из вас получит по три ружья вместо двух, – гласил ответ Тайи.

– Мы хорошо дрались.

– Да, и если случится, что останутся в живых только двое, то каждый получит по шести ружей. Поэтому держитесь хорошо.

– А если ни один из них не останется в живых? – коварно прошептал Ааб-Ваак.

– Тогда ружья получим мы с тобой, – шепнул в ответ Тайи.

Чтобы как-то задобрить воинов Голодного племени, Тайи назначил одного из них вожаком отряда, который должен был отправиться на корабль. В отряд вошли две трети взрослых мужчин племени мэнделлов; нагруженные шкурами и другими предметами торговли, они двинулись к берегу, милях в двенадцати от селения. Остальные разместились широким полукольцом вокруг земляной насыпи, устроенной Биллом и его товарищами. Тайи быстро оценил положение и послал своих людей копать небольшие траншеи.

– Они скоро разберутся в случившемся, – объяснил он Ааб-Вааку, – мысли их будут заняты работой, и они перестанут горевать о смерти близких и бояться за себя. Ночью мы подползем ближе, и наутро жители Солнечной Страны увидят, что мы рядом.

В полдень в жару мэнделлы сделали перерыв и подкрепились принесенной женщинами сухой рыбой и тюленьим жиром. Некоторые требовали забрать припасы, которые пришельцы из Солнечной Страны оставили в хижине Нига, но Тайи отказался делить их до возвращения отряда, посланного на корабль. Все строили догадки насчет исхода дела, но в это время с моря донесся глухой взрыв. Те, кто обладал острым зрением, разглядели густое облако дыма, которое, однако, быстро рассеялось: по уверениям некоторых, дым был как раз в том месте, где стоял корабль жителей Солнечной Страны. Тайи решил, что это был выстрел

большого ружья. Ааб-Ваак ничего не утверждал, но думал, что это какой-то сигнал. Но как бы там ни было, что-то случилось, говорил он.

Пять-шесть часов спустя на широкой, тянувшейся к морю равнине показался человек, и все женщины и дети бросились к нему навстречу. Это был Уненк, раненый, в разорванной одежде, выбившийся из сил. Кровь струилась со лба. Левая рука у него была изуродована и висела как плеть. Но самым страшным казался какой-то дикий блеск в его глазах, и женщины не знали, что и думать.

– Где Пишек? – плаксиво спросила одна старуха.

– А Олитли? А Полак? А Ма-Кук? – раздались крики.

Уненк не отвечал, он, шатаясь, пробирался сквозь взбудораженную толпу к Тайи. Старуха заголосила, и женщины одна за другой подхватили ее причитания. Мужчины выползли их траншей и окружили Тайи, даже жители Солнечной Страны взобрались на насыпь посмотреть, что случилось.

Уненк остановился, вытер кровь с лица и осмотрелся. Он пытался заговорить, но губы слиплись от жажды. Ликита подала ему воды, он пробормотал что-то и принялся пить.

– Было ли сражение? – спросил наконец Тайи. – Хорошее сражение?

– Хо! Хо! Хо! – Уненк так неожиданно и жутко расхохотался, что все замолкли. – Никогда еще не бывало такого сражения! Так говорю я, Уненк, победитель зверей и воинов. Я хочу сказать мудрые слова, пока я не забыл. Жители Солнечной Страны хорошо сражаются и учат нас сражаться. Если нам придется с ними долго биться, мы станем великими воинами, такими же, как они, иначе мы погибнем. Хо! Хо! Хо! Вот была битва!

– Где наши братья? – Тайи тряс его, пока Уненк не вскрикнул от боли.

– Братья? Их больше нет.

– А где Пом-Ли? – воскликнул воин Голодного племени. – Сын моей матери Пом-Ли?

– Пом-Ли нет, – монотонно отвечал Уненк.

– А пришельцы из Солнечной Страны? – спросил Ааб-Ваак.

– Пришельцев из Солнечной Страны тоже нет.

– А корабль пришельцев из Солнечной Страны, их вещи, оружие и богатства? – допытывался Тайи.

– Нет ни корабля, ни богатств, ни оружия, ни вещей, – был неизменный ответ. – Нет никого. Нет ничего. Остался один я.

– Ты сошел с ума!

– Возможно, – невозмутимо отвечал Уненк. – От того, что я видел, можно лишиться рассудка.

Тайи замолчал, и все ждали, пока Уненк заговорит сам и расскажет о случившемся.

– Мы не брали с собой винтовок, о Тайи! – начал он наконец. – Никаких ружей, братья, только ножи, охотничьи луки и копья. На каяках по двое и по трое мы перебрались на корабль. Пришельцы из Солнечной Страны были нам рады. Мы разложили наши шкуры, а они вынесли товары для обмена, и все шло хорошо. А Пом-Ли ждал, ждал, пока солнце поднялось высоко над головой и они сели за еду. Тогда он издал воинственный клич, и мы



напали на них. Никогда еще не бывало такой битвы, и никогда воины не сражались так храбро. Мы перебили половину пришельцев, прежде чем они успели прийти в себя от неожиданности, но остальные обратились в дьяволов. Каждый из них бился за десятерых, и все они бились как дьяволы. Трое стали спиной к мачте, вокруг них многие пали мертвыми, прежде чем нам удалось их убить. У некоторых были двуглазые ружья, и они стреляли быстро и точно. А один выстрел из большого ружья, из которого сразу вылетало множество маленьких пуль. Вот, глядите!

Уненк показал свое простреленное ухо.

– Но я, Уненк, подкрался сзади и всадил копье ему в спину. И мы перебили их всех, – всех, кроме начальника. Он остался один, мы окружили его, но он громко закричал и вырвался, отбросив пять или шесть воинов. Потом он побежал вниз, внутрь корабля. Затем, когда богатства уже принадлежали нам и оставалось убить лишь начальника внизу, тогда раздался такой грохот, словно выстрелили сразу все ружья на свете. Я, как птица, взлетел на воздух. Все наши живые братья и все мертвые пришельцы из Солнечной Страны, маленькие каяки, большой корабль, ружья и богатство – все взлетело на воздух. Я, Уненк, говорю вам, и только я остался в живых!

Глубокая тишина воцарилась среди собравшихся. Тайи испуганно посмотрел на Ааб-Ваак, но ничего не сказал. Даже женщины были слишком потрясены, чтобы оплакивать погибших.

Уненк горделиво огляделся вокруг.

– Я один остался, – повторил он.

Но в этот миг с насыпи раздался выстрел, и пуля попала в грудь Уненка. Он качнулся, и на лице у него отразилось изумление. Он задышался, губы исказились в мучительной усмешке. Плечи опустились, колени подгибались. Он встряхнулся, словно пытаясь отогнать сон, и выпрямился. Но плечи опускались, колени подгибались, и Уненк медленно, очень медленно опустился на землю.

От того места, где залегли пришельцы из Солнечной Страны, была добрая миля, и вот смерть легко перешагнула это расстояние. Раздался дикий крик, в котором была и жажда мести и бессмысленная, животная жестокость. Тайи и Ааб-Ваак старались удержать соплеменников, но те оттеснили их и кинулись на приступ. Со стороны укрепления не раздалось ни единого выстрела, и, пробежав полпути, многие остановились, напуганные таинственной тишиной, и стали ждать. Более смелые продолжали мчаться вперед, но пришельцы не подавали признаков жизни. Шагах в двухстах атакующие замедлили бег и разбились на группы, а пройдя еще с сотню шагов, остановились и, заподозрив недоброе, стали совещаться.

Вдруг насыпь окутали клубы дыма, и мэнделлы рассыпались во все стороны, словно брошенная кем-то горсть камешков. Четверо упали, затем еще четверо, затем – еще и еще, пока не остался один, да и тот, помчался назад, и пули свистели ему вслед. Это был Нок, молодой быстроногий и высокий охотник, и бежал он так, как ему никогда не приходилось бегать. Как птица, несся он по открытому месту, и прыгал, и пригибался, и петлял. С насыпи дали залп, потом стреляли попеременно, а Нок снова пригибался, а распрямившись, снова мчался к своим. Наконец пальба прекратилась вовсе, как будто пришельцы отказались от мысли подстрелить беглеца, и Нок мало-помалу перестал беречься и побежал по прямой. Тогда-то из-за укрытия прозвучал одинокий выстрел. Нок подпрыгнул, упал, подскочил, как мяч, и свалился замертво.

– Что на свете быстрее крылатого свинца? – горестно размышлял Ааб-Ваак.

Тайи проворчал что-то и отвернулся. Сражение окончилось, и необходимо было заняться

более важными делами.

В живых оставались сорок своих воинов и один воин из голодного племени, причем некоторые были ранены, а четырех пришельцев из Солнечной Страны нельзя было сбросить со счетов.

– Мы не выпустим их из укрытия, – сказал он, – а когда они ослабеют от голода, мы перебьем их, как детей.

– Но зачем нам биться? – спросил Олуф, молодой воин. – Богатства жителей Солнечной Страны больше нет, осталось лишь то, что находится в хижине Нига, совсем мало.

Он замолк, услышав свист пули, пролетевшей у него над головой.

Тайи презрительно рассмеялся.

– Пусть это будет ответом. Что же нам делать с этими сумасшедшими, которые не желают умирать?

– Как неразумно! – сетовал Олуф, вслушиваясь в свист пуль. – Зачем они сражаются, эти пришельцы из Солнечной Страны? Отчего не желают умирать? Они, безумцы, не хотят понять, что они конченные люди. И нам только хлопоты.

– Прежде мы сражались за богатство, теперь мы сражаемся за жизнь, – кратко заключил Ааб-Ваак.

Ночью в траншеях была рукопашная схватка и стрельба, а наутро мэнделлы увидели, что из хижины Нига исчезли вещи жителей Солнечной Страны. Пришельцы их унесли – при дневном свете были явственно видны их следы. Олуф взобрался на скалу, чтобы сбросить на головы врагов камни, но скала выступала над рвом, и он вместо камней осыпал их ругательствами и угрожал страшными пытками. Пришелец-Билл отвечал ему на языке племени Медведя, а Тайи, высунувшийся из окопа, получил пулю в плечо.

Потекли страшные дни и долгие ночи; мэнделлы, подкапываясь все ближе и ближе к скале, постоянно спорили, не лучше ли дать жителям Солнечной Страны возможность убраться восвояси. Но они боялись пришельцев, а женщины принимались голосить, как только заходила речь об освобождении врагов. Довольно для них жителей Солнечной Страны, больше они их видеть не желают. Непрестанно раздавался свист пуль, и так же непрестанно возрастал список погибших. Утром, на заре, вдруг раздавался слабый треск выстрела, и на дальнем краю селения какая-нибудь женщина, взмахнув руками, падала мертвая; в жаркий полдень воины, засев в окопе, прислушивались к свисту пуль, и кто-нибудь из них узнавал смерть; в серых вечерних сумерках пули, попадая в землю, вздымали песок и комья глины. По ночам далеко разносились жалобные причитания женщин: «Оаа-оо-аа-ооаа-оо-аа!»

Предсказание Тайи исполнилось: среди пришельцев из Солнечной Страны начался голод. Однажды ночью разыгралась ранняя осенняя буря, и один из них прокрался мимо окопов и выкрал много сушеной рыбы. Но вернуться он не успел, и когда солнце взошло, он спрятался где-то в селении. Ему пришлось защищаться; его окружили плотным кольцом мэнделлы, четверых он убил из револьвера и, прежде чем его успели схватить, застрелился сам, чтобы избежать мучений.

Событие опечалило всех. Олуф спрашивал:

– Если один заставил нас так дорого заплатить за свою смерть, сколько же придется заплатить за смерть оставшихся?

Как-то на насыпи показалась Мисэчи и подозвала трех собак, бродивших поблизости; это

была еда, жизнь и отсрочка расплаты. Отчаяние охватило племя, и на голову Мисэчи посылались проклятия.

Дни текли. Солнце спешило к югу, ночи становились длиннее, чувствовалось приближение морозов. А жители Солнечной Страны все еще держались в своем укрытии. Воины падали духом от постоянного напряжения и неудач, а Тайи часто погружался в глубокие размышления. Наконец, он приказал собрать все имеющиеся в селении шкуры и кожи и связать их в большие цилиндрические тюки, под прикрытием которых можно было подползти к противнику.

Приказ был дан, когда короткий осенний день уже клонился к вечеру. Воины с трудом, шаг за шагом, перекатывали большие тюки. Пули стучались о них, но не могли пробить, и воины завывали от радости. Но наступил вечер, и Тайи, будучи уверен в успехе, отозвал их обратно в траншеи.

Утром мэнделлы двинулись в решительное наступление. Из-за укрытия пришельцев не раздавалось ни звука. Промежутки между тюками медленно сокращались, по мере того как круг смыкался. За сто шагов от прикрытия тюки оказались совсем близко друг от друга, так что воины могли шепотом передать приказ Тайи остановиться. Враги не подавали никаких признаков жизни. Мэнделлы долго и пристально всматривались, но не обнаружили никакого движения. Потом они снова поползли, толкая перед собой тюки, и на расстоянии пятидесяти ярдов маневр был повторен. Снова тишина. Тайи покачал головой, и даже Ааб-Ваак заколебался. Снова был дан приказ продолжать наступление, и они поползли дальше, пока сплошной вал их шкур не окружил со всех сторон укрытие врагов.

Тайи оглянулся назад – женщины и дети сгрудились позади в траншеях. Потом поглядел вперед, на безмолвное укрытие врага. Воины нервничали, и он приказал каждому второму двигаться вперед. Тюки покатались, теперь двойной цепью, пока снова не соприкоснулись друг с другом. Тогда Ааб-Ваак пополз один, толкая свой тюк. Когда тот уткнулся в насыпь, Ааб-Ваак остановился и стал прислушиваться. Затем он кинул в ров противника несколько больших камней и, наконец, с великими предосторожностями поднялся и заглянул внутрь. Там он увидел стреляные гильзы, начисто обглоданные собачьи кости и лужу под расщелиной в скале, откуда капала вода. Это было все. Жители Солнечной Страны исчезли.

Шепотки о колдовстве, недовольные возгласы и мрачные взгляды воинов показали Тайи предвестием каких-то ужасных событий.

Но в этот момент Ааб-Ваак обнаружил вдоль уступа скалы следы, и Тайи облегченно вздохнул.

– Пещера! – воскликнул Тайи. – Они предвидели мою хитрость и удрали в пещеру!

Подножие скалы было прорезано узкими подземными ходами, которые начинались на полпути между рвом и тем местом, где траншеи подступали к скале. Туда-то и последовали мэнделлы с громкими криками и, добравшись до отверстия в земле, обнаружили, что именно отсюда вылезли жители Солнечной Страны и забрались в пещеру, находившуюся в скале, футах в двадцати от земли.

– Теперь дело сделано, – потирая руки, сказал Тайи. – Передайте, чтобы все радовались, потому что теперь жители Солнечной Страны в ловушке. Молодые воины вскарабкаются наверх и заложат отверстие камнями, и тогда Пришелец-Билл, его братья и Мисэчи обратятся от голода в тени и умрут во мраке с проклятиями на устах.

Слова старшины были встречены криками восторга: Хауга, последний их воинов Голодного племени, пополз вверх по крутому склону и нагнулся над отверстием в скале. В этот миг раздался глухой выстрел, а когда он в отчаянии ухватился за скользкий уступ, – второй. Руки

у него разжались, он скатился вниз, к ногам Тайи и, дрогнув несколько раз, подобно гигантской медузе, выброшенной на берег, затих.

– Мог ли я знать, что они великие и неустрашимые бойцы, – спросил, словно оправдываясь, Тайи, вспомнив мрачные взгляды и недовольные возгласы воинов.

– Нас было много, и мы были счастливы, – смело заявил один из воинов. Другой нетерпеливой рукой ощупывал копье.

Но Олуф прикрикнул на них и заставил умолкнуть.

– Слушайте меня, братья! Есть другой вход в пещеру. Еще мальчиком я нашел его, играя на скале. Он скрыт в камнях, им никогда не пользовались, и никто о нем не знает. Ход очень узок, и придется долго ползти на животе, пока доберешься до пещеры. Ночью мы тихонько вползем и нападём на пришельцев с тыла. Завтра же у нас будет мир, и мы никогда больше не станем ссориться с жителями Солнечной Страны.

– Никогда больше! Никогда! – хором воскликнули измученные воины. Тайи присоединился к общему хору.

Помня о близких, которые погибли, и вооружившись камнями, копьями и ножами, толпа женщин и детей собралась ночью под скалой у выхода из пещеры. Ни один пришелец из Солнечной Страны не мог надеяться спуститься невредимым с высоты двадцати с лишним футов. В селении оставались только раненые, а все боеспособные мужчины – их было тридцать человек – шли за Олуфом к потайному входу в пещеру. Ход находился на высоте ста футов над землей, и лезть приходилось с выступа на выступ, по грудам камней, рискуя вот-вот сорваться. Чтобы камни от неосторожного движения не скатились вниз, люди взбирались вверх по одному. Олуф поднялся первым и, тихо позвав следующего, исчез в проходе. За ним последовал второй воин, потом третий и так далее, пока не остался один Тайи. Он слышал сигнал последнего воина, но им овладело сомнение, и он решил выждать. Спустя полчаса он поднялся на скалу и заглянул в проход. Там царил непроглядный мрак, но Тайи чувствовал, как узок проход. Страх оказаться погребенным заживо заставил Тайи содрогнуться, и он не мог решиться. Все погибшие, начиная от Нига, его собрата, до Хауга, последнего воина Голодного племени, словно обступили его, но он предпочел остаться с ними, чем спуститься в чернеющий проход. Он долго сидел неподвижно и вдруг почувствовал на щеке прикосновение чего-то мягкого и холодного – то падал первый снег. Наступил туманный рассвет, затем пришел яркий день, и лишь тогда услышал он доносившийся из прохода негромкий стон, который приближался, становился явственнее. Он соскользнул с края, опустил ноги на первый выступ и стал ждать.

Тот, кто стонал, двигался медленно, но после многих остановок добрался наконец до Тайи, и последний понял, что это не был житель Солнечной Страны. Он протянул руку и там, где полагалось быть голове, нащупал плечо ползущего на локтях человека. Голову он нашел потом: она свисала набок, и затылок касался земли.

– Это ты, Тайи? – сказал человек. – Это я, Ааб-Ваак, беспомощный и искалеченный, как плохо пущенное копье. Голова у меня волочится по земле, без твоей помощи мне не выбраться отсюда.

Тайи влез в проход и прислонил Ааб-Ваака спиной к стене, но голова у того свисала, и он стонал и жаловался.

– Ой-ой, ой-ой! – плакался Ааб-Ваак. – Олуф забыл, что Мисэчи тоже знала этот ход. Она показала его жителям Солнечной Страны, и они поджидали нас у конца прохода. Я погиб, у меня нет сил... Ой-ой!

– А проклятые пришельцы из Солнечной Страны, они погибли в пещере? – спросил Тайи.

– Откуда я мог знать, что они поджидают нас? – стонал Ааб-Ваак. – Мои братья ползли впереди, и из пещеры не доносился шум схватки. Как я мог знать, отчего нет шума схватки? И прежде чем я узнал, две руки стиснули мне шею так, что я не мог крикнуть и предупредить своих собратьев. Затем еще две руки схватили меня за голову, а еще две – за ноги. Так меня и поймали трое пришельцев из Солнечной Страны. Они держали мне голову и за ноги повернули мое тело. Они свернули мне шею так же, как мы свертываем головы болотным уткам.

– Но мне не суждено было погибнуть, продолжал Ааб-Ваак, и в голосе его послышалась гордость. – Я один остался. Олуф и все остальные лежат в ряд, и головы у них повернуты, и лицо там, где должен быть затылок. На них нехорошо смотреть. Когда жизнь вернулась ко мне, я увидел наших братьев при свете факела, оставленного пришельцами из Солнечной Страны. Ведь я лежал вместе со всеми.

– Неужели? Неужели? – повторял Тайи, слишком потрясенный, чтобы говорить.

Тут он услышал голос Пришельца-Билла и вздрогнул.

– Это хорошо, – говорил тот. – Я искал человека со сломанной шеей, и вот чудо! Встречаю Тайи. Брось-ка ружье вниз, Тайи, чтобы я слышал, как оно стукнется о камни.

Тайи повиновался, и Пришелец-Билл выполз из отверстия в скале. Тайи с изумлением глядел на чужестранца. Он очень похудел, был измучен и покрыт грязью, но глубоко посаженные глаза горели, как угли.

– Я голоден, Тайи, – сказал Билл. – Очень голоден.

– Я пыль под твоими ногами, – отвечал Тайи. – Твое слово для меня закон. Я приказывал людям не сопротивляться тебе. Я советовал...

Но Пришелец-Билл, не слушая, повернулся и крикнул своим товарищам:

– Эй, Чарли! Джим! Берите с собой женщину и выходите!

– Мы хотим есть, – сказал Билл, когда его товарищи и Мисэчи присоединились к нему.

Тайи заискивающе потер руки.

– Наша пища скудна, но все, что имеем, твое.

– Затем мы по снегу отправимся на юг, – продолжал Пришелец-Билл.

– Пусть ничто дурное не коснется вас и путь покажется легким.

– Путь долог. Нам понадобятся собаки и много пищи.

– Лучшие наши собаки – твои, и вся пища, какую они смогут везти.

Пришелец-Билл подошел к краю уступа и приготовился к спуску.

– Но мы вернемся, Тайи. Мы вернемся и проведем много дней в твоей стране.

Так они отправились по снегу на юг. Пришелец-Билл, его братья и Мисэчи. А на следующий год в бухте Мэнделл бросил якорь «Искатель-2». Немногие мэнделлы, те, кто остался в живых, потому что были ранены и не могли ползти в пещеру, стали под началом жителей Солнечной Страны копать землю. Они забросили охоту и рыбную ловлю и получают теперь

каждый день плату за работу и покупают муку, сахар, ситец и другие вещи, которые ежегодно привозит из Солнечной Страны «Искатель-2».

Этот прииск, как и многие другие в Северной Стране, разрабатывается тайно; ни один белый человек, не имеющий отношения к Компании (Компания – это Билл, Джим и Чарли), не знает, где на краю Полярного моря затерялось селение Мэнделл. Ааб-Ваак, у которого голова свисает набок, стал прорицателем и проповедует младшему поколению смирение, за что и получает пенсию от Компании. Тайи назначен десятником на прииске. Теперь он разработал новую теорию насчет жителей Солнечной Страны.

– Живущие там, где ходит солнце, не изнеженные, – частенько говорит он, покуривая трубку и наблюдая, как день постепенно сменяется ночью. – Солнце вливается им в тело, и кровь их закипает от желаний и страстей. Они всегда горят и поэтому не знают поражений. Они не знают покоя, ибо в них сидит дьявол. Они разбросаны по всей земле и осуждены вечно трудиться, страдать и бороться. Я знаю. Я, Тайи.

\* \* \*

## ПРОЩАЙ, ДЖЕК!

Странное место – Гавайи. В тамошнем обществе все, как говорится, шиворот-навыворот. Не то чтобы случилось что-нибудь неподобающее, нет. Скорее наоборот. Все даже слишком правильно. И тем не менее что-то в нем не так. Самым изысканным обществом считается миссионерский кружок. Любого неприятно удивит тот факт, что на Гавайях незаметные, готовые как будто в любую минуту принять мученический венец служители церкви важно восседают на почетном месте за столом у представителей денежной аристократии. Скромные выходцы из Новой Англии, которые еще в тридцатых годах минувшего столетия покинули свою родину, спешили сюда с возвышенной целью – дабы принести канакам свет истинной веры и научить их почитать бога единого, всеправедного и вездесущего. И так усердно обращали они канаков и приобщали к благам цивилизации, что ко второму или третьему поколению почти все туземцы вымерли. Евангельские семена упали на добрую почву. Что до миссионеров, то их сыновья и внуки тоже собрали неплохой урожай в виде полноправного владения самими островами: землей, бухтами, поселениями, сахарными плантациями. Проповедники, явившиеся сюда, чтобы дать дикарям хлеб насущный, недурно покутили на языческом пиру.

Я вовсе не собирался рассказывать о странных вещах, что творятся на Гавайях. Но дело в том, что только один человек может толковать о здешних событиях, не приплетая к разговору миссионеров: этот человек – Джек Керсдейл, тот самый, о котором я хочу рассказать. Так вот, сам он тоже из миссионерского рода. Правда, со стороны бабки. А дед его был старый Бенджамен Керсдейл из Штатов, который начал сколачивать в молодости миллион, торгуя дешевым виски и джином. Вот вам еще одна странная шутка. В былые времена миссионеры и торговцы считались заклятыми врагами. Интересы-то их сталкивались. А нынче их потомки переженились, поделили остров и отлично ладят друг с другом.

Жизнь на Гавайях, что песня! Об этом здорово сказал Стоддарт в своих «Гавайях»:

Самой судьбы мелодии прелестной

Тут каждый островок – строфа.

И жизнь, как песня!

Как он прав! Кожа здесь у людей золотистая. Туземки – юноны, спелые, как солнце, а мужчины – бронзовые аполлоны. Нацепят украшения, венки из цветов – и ну плясать и петь. Да и белые, которые недолюбливают чопорную миссионерскую компанию, тоже поддаются расслабляющему влиянию солнечного климата и, как бы ни были заняты, тоже танцуют, поют и втыкают цветы в волосы. Джек Керсдейл из таких ребят. А надо сказать, самый деловой человек из тех, кого я знаю. Сколько у него миллионов, – не сочтешь! Сахарный король, владелец кофейных плантаций, первым начал добывать каучук, держит несколько скотоводческих ранчо, неприменный участник чуть ли не всех предприятий, что замышляют тут, на островах. И в то же время – человек света, член клуба, яхтсмен, холостяк, к тому же такой красавец, какие не снились мамашам, имеющим дочек на выданье. Между прочим, он прошел курс в Иейле, так что голова у него была набита всякими цифрами и учеными сведениями о Гавайских островах больше, чем у любого здешнего жителя, каких я знаю. И работать умел что надо, и песни пел, и танцевал, и цветы в волосы втыкал, как заправский бездельник.

Характер у Джека был упорный: он дважды дрался на дуэли – оба раза по политическим мотивам, – будучи еще зеленым юнцом, который делал первые шаги в политике. Он сыграл самую достойную, пожалуй, и мужественную роль во время последней революции, когда скинули местную династию, а ведь ему тогда было едва ли больше шестнадцати. Он далеко не трус – я говорю об этом для того, чтобы вы лучше поняли случившееся потом. Довелось мне раз видеть, как он объезжал на ранчо в Халеакала одного четырехлетнего жеребца, к которому два года не могли подступиться лучшие ковбои Фон Темпского. И еще об одном происшествии расскажу. Оно случилось в Конне, внизу, на побережье, вернее – наверху, потому что тамошние жители, видите ли, считают ниже своего достоинства селиться меньше чем на тысячефутовой высоте. Так вот, мы собрались на веранде у доктора Гудхью. Я болтал с Дотти Фэрчайлд. И вдруг со стропил прямо к ней на прическу упала огромная сороконожка – мы потом измерили: семь дюймов! Признаюсь, я остолбенел от ужаса. Рассудок не повиновался мне. Я не мог шевельнуть пальцем. Только представьте: в каком-нибудь шаге от меня в волосах собеседницы извивается этакая отвратительная ядовитая гадина. Каждую секунду сороконожка могла скатиться на ее оголенные плечи – ведь мы только что поднялись из-за стола.

– В чем дело? – удивилась Дотти, поднимая руку к волосам.

– Не двигайтесь! – закричал я.

– Что случилось? – испуганно спрашивала она, видя, как дергаются у меня губы и глаза расширились от ужаса.

Мое восклицание привлекло внимание Керсдейла. Он посмотрел в нашу сторону, сразу все понял и быстро, но без лихорадочной поспешности подошел к нам.

– Не двигайтесь, Дотти, прошу вас! – сказал он спокойно.

Он не колебался ни секунды и действовал хладнокровно, расторопно.

– Позвольте, – проговорил он.

Он поднял ей на плечи шарф и одной рукой плотно держал концы, чтобы сороконожка не попала Дотти за корсаж. Другую руку, правую, он протянул к ее волосам, схватил омерзительную тварь насколько возможно ближе к голове и, крепко держа между большим и указательным пальцами, вытащил ее прочь. Не часто увидишь такое. Меня мороз по коже

продирал. Сороконожка – семь дюймов шевелящихся конечностей – билась в воздухе, изгибалась, скручивалась, обвивалась вокруг пальцев, царапала Джеку кожу, стараясь вырваться. Я видел, как эта тварь однажды укусила его, хотя, сбросив ее на землю и раздавив ногой, Джек принялся уверять дам, что дело обошлось без укусов. Но пять минут спустя он был уже в кабинете у доктора Гудхью, где тот сделал ему насечку и инъекцию перманганата. На другой день рука у Керсдейла вздулась, как пивной бочонок, и прошло три недели, прежде чем опухоль спала.

Все это не имеет в общем-то прямого отношения к моему рассказу, я лишь хотел показать, что Джек Керсдейл был кто угодно, но только не трус. Он являл лучший образец мужской выдержки. Никогда не выказывал боязни. Улыбка не сходила с его губ. Он запустил руку в волосы Дотти Фэрчайлд так беспечно, как будто в бочонок с соленым миндалем. И все же мне привелось наблюдать, как этот человек испытал такой дикий страх, который в тысячу раз сильнее того, что охватил меня, когда я увидел, как на голове Дотти Фэрчайлд шевелится ядовитая сороконожка, грозя вот-вот упасть на лицо и на грудь.

В ту пору я интересовался различными случаями проказы, а в этой области Керсдейл обладал поистине энциклопедическими знаниями – как, впрочем, и в любой другой, касающейся островов. Проказа была, что называется, его коньком. Он слыл ревностным защитником колонии на Молокаи, куда помещали всех заболевших. Среди туземцев ходили разговоры, раздуваемые всякими демагогами, насчет жестокостей на Молокаи, что, дескать, людей не только насильно отрывают от родных и друзей, но и принуждают жить в заключении до самой смерти. Попавший туда не мог будто бы надеяться ни на смягчение этого наказания, ни на отсрочку приговора. На воротах в колонию словно было написано: «Оставь надежду...»

– А я вам заявляю, что они там вполне счастливы, – настаивал Керсдейл. – Им куда лучше живется, чем их родственникам и друзьям, которые здоровы. Вся эта болтовня об ужасах на Молокаи – вздор! Побывайте в какой-нибудь больнице или в трущобах любого большого города, вы увидите вещи в тысячу раз страшнее. Живые мертвецы! Существа, которые когда-то были людьми! Какая глупость! Посмотрели бы вы, какие конные состязания устраивают эти живые мертвецы четвертого июля! У некоторых из них есть собственные лодки. Один имеет даже катерок. Им совсем нечего делать, кроме как весело проводить время. Еда, кров, одежда, медицинское обслуживание – все к их услугам. Они сами себе хозяева. И климат там гораздо лучше, чем в Гонолулу, и местность восхитительная. Я и сам не возражал бы насовсем поселиться там. Чудесное местечко!

Так Керсдейл представлял веселящегося прокаженного. Сам он не боялся проказы. Он утверждал, что для него или любого другого белого опасность заразиться проказой ничтожна, какой-нибудь один случай из миллиона, хотя признавался впоследствии, что его однокашник, Альфред Стартер, как-то умудрился заболеть, был отправлен на Молокаи и там умер.

– Дело в том, что прежде не умели точно ставить диагноз, – объяснил Керсдейл. – Какие-нибудь неизвестные симптомы или отклонение от нормы – и человека упекали на Молокаи. В результате туда были отправлены десятки таких же прокаженных, как и мы с вами. Теперь ошибок не случается. Метод, которым пользуется Бюро здравоохранения, абсолютно надежен. Самое интересное: когда этот метод открыли, подвергли повторному исследованию всех, кто был на Молокаи, и обнаружили, что кое-кто совершенно здоров. Вы думаете, они были рады выбраться оттуда? Как бы не так! Покидая колонию, они рыдали так, как не рыдали, уезжая из Гонолулу. Иные наотрез отказались вернуться, их пришлось увести силой. Один даже женился на женщине в последней стадии болезни и писал душераздирающие письма в Бюро здравоохранения, протестуя против высылки его из колонии на том основании, что никто не сможет так ухаживать за его старой больной женой, как он сам.



– И что это за метод? – спрашивал я.

– Бактериологический метод. Тут уж ошибка невозможна. Первым его применил здесь доктор Герви, наш лучший специалист. Он прямо чудесник. Знает о проказе больше, чем кто бы то ни было, и если когда-нибудь откроют средство от проказы, то это сделает он. А сам метод очень прост: удалось выделить и изучить bacillus leprae. Теперь эти бациллы узнают безошибочно. Человека, у которого подозревают проказу, приглашают к врачу, срезают крохотный кусочек кожи и подвергают его бактериологическому исследованию. Видимых признаков нет, а тем не менее могут найти кучу этих самых бацилл.

– В таком случае и у нас с вами может быть куча бацилл? – спросил я.

Керсдейл пожал плечами и засмеялся.

– Разумеется! Инкубационный период длится семь лет. Если у вас есть какие-нибудь сомнения на этот счет, отправляйтесь к доктору Герви. Он срежет у вас кусочек кожи и мигом даст ответ.

Позже Джек Керсдейл познакомил меня с доктором Герви, который немедленно всучил мне стопку разных отчетов и брошюр по этому вопросу, выпущенных Бюро здравоохранения, и повез в Калихи, на приемный пункт, где подвергались исследованию подозреваемые, а тех, у кого обнаруживали проказу, задерживали для высылки на Молокаи. Отправляют туда приблизительно раз в месяц, и тогда, попрощавшись с близкими, больные садятся на крошечный парходик «Ноо», и их везут в колонию.

Однажды около полудня, когда я писал в клубе письма, ко мне подошел Джек Керсдейл.

– Вы-то мне и нужны! – сказал он вместо приветствия. – Я хочу показать вам самое грустное зрелище на Гавайях: отправку рыдающих прокаженных на Молокаи. Посадка начнется через несколько минут. Позвольте, однако, предупредить: не давайте воли своим чувствам. Горе их, конечно, безутешно, но, поверьте, они убивались бы сильнее, если бы Бюро здравоохранения вздумало через год вернуть их обратно. У нас как раз есть время пропустить стаканчик виски. Коляска ждет у подъезда. Мы за пять минут доберемся до пристани.

Мы отправились на пристань. Человек сорок несчастных сгрудились там на отгороженном месте со своими тюками, одеялами и прочей кладью. «Ноо» только что прибыл и подходил к лихтеру, что стоял у пристани. За посадкой наблюдал самолично мистер Маквей, управляющий колонией; меня представили ему, а также доктору Джорджесу из Бюро здравоохранения, которого я уже видел раньше в Калихи. Прокаженные и в самом деле являли собой весьма мрачное зрелище. Лица у большинства были так обезображены, что не берусь описать. Среди них попадались, однако, люди вполне приятной внешности, без явных видимых признаков беспощадной болезни. Особенно я запомнил белую девочку, лет двенадцати, не больше, с голубыми глазами и золотыми кудряшками. Но одна щечка у нее была чуть раздута. На мое замечание о том, насколько ей, бедняжке, тяжело, наверное, одной среди темнокожих больных, доктор Джорджес ответил:

– Не совсем так. По-моему, это для нее самый счастливый день в жизни. Дело в том, что ее привезли из Кауаи, где она жила с отцом – страшный человек! И теперь, заболев, она будет жить вместе с матерью в колонии. Ту отправили еще три года назад... Очень тяжелый случай.

– И вообще по внешности судить никак нельзя, – пояснил Маквей. – Видите того высокого парня, которой так хорошо выглядит, словно совсем здоров? Так вот, я случайно узнал, что у него открытая язва на ноге и другая у лопатки. И у остальных тоже что-нибудь... Посмотрите на девушку, которая курит сигарету. Обратите внимание на ее руку. Видите, как скрючены

пальцы? Анестезийная форма проказы. Поражает нервные узлы. Можно отрубить ей пальцы тупым ножом или потереть о терку для мускатного ореха, и она ровным счетом ничего не почувствует.

– Да, но вот, например, та красивая женщина. Она-то уж наверняка здорова, – упорствовал я.  
– Такая великолепная и пышная.

– С ней печальная история! – бросил Маквей через плечо, поворачиваясь, чтобы прогуляться с Керсдейлом по пристани.

Да, она была красива – чистокровная полинезийка. Даже из моего скудного знакомства с типами людей той расы я мог заключить, что она отпрыск старинного царского рода. Я дал бы ей года двадцать три – двадцать четыре, не больше. Сложена она была великолепно, и признаки полноты, свойственной женщинам ее расы, были едва заметны.

– Это было ударом для всех нас, – прервал молчание доктор Джордес. – Она сама пришла на обследование. Никто даже не подозревал. Как она заразилась – ума не приложу. Право же, мы чуть не плакали. Мы разумеется, постарались, чтобы дело не попало в газеты. Что с ней случилось, никто не знает, кроме нас да ее семьи. Спросите у любого в Гонолулу, и он вам скажет, что она скорее всего в Европе. Она сама просила, чтобы мы не распространялись. Бедняжка, она такая гордая.

– Но кто она? – спросил я. – По тому, как вы говорите, она должна быть заметной фигурой.

– Знаете такую – Люси Мокунуи?

– Люси Мокунуи? – повторил я: в памяти зашевелились какие-то давние впечатления, но я покачал головой. – Мне кажется, что я где-то слышал это имя, но оно мне ничего не говорит.

– Никогда не слышали о Люси Мокунуи? Об этом гавайском соловье? Ах, простите, вы же малахини, новичок в здешних местах, можете и не знать. Люси Мокунуи была любимицей всего Гонолулу, да что там – всего острова.

– Вы сказали была... – прервал я.

– Я не оговорился, увы! Теперь она, считайте, умерла. – Он с безнадежным сожалением пожал плечами. – В разное время из-за нее потеряли голову человек десять хаолес – ах, простите! – человек десять белых. Я уж не говорю о людях с улицы. Те десять – все занимали видное положение.

Она могла бы выйти замуж за сына Верховного Судьи, если бы захотела. Так вы считаете ее красивой? Да, но надо услышать, как она поет! Самая талантливая певица-туземка на Гавайских островах. Голос у нее – чистое серебро, нежный, как солнечный луч. Мы обожали ее. Она гастролировала в Америке – сначала с Королевским Гавайским оркестром, потом дважды ездила одна, давала концерты.

– Вот оно что! – воскликнул я. – Да, припоминаю. Я слышал ее года два назад в Бостонской филармонии. Так это она! Теперь-то я узнаю ее.

Безотчетная грусть внезапно охватила меня. Жизнь в лучшем случае – бессмысленная и тщетная штука. Каких-нибудь два года, и вот эта великолепная женщина во всем великолепии своего успеха вдруг оказывается здесь, в толпе прокаженных, ожидающих отправки на Молокаи. Невольно пришли на ум строки из Хенли:

Старый несчастный бродяга поведал о старом несчастье,

Жизнь, говорит, – ошибка, ошибка и позор.

Я содрогнулся при мысли о будущем. Если на долю Люси Мокунуи выпал такой тяжкий жребий, то кто знает, что ожидает меня... любого из нас? Я всегда отдавал себе отчет в том, что мы смертны, но жить среди живых мертвецов, умереть и не быть мертвым, стать одним из тех обреченных существ, которые некогда были мужчинами и женщинами, да, да, и женщинами – такими, как Люси Мокунуи, это воплощение полинезийского обаяния, эта талантливая актриса, божество... наверное, я выдал в ту минуту свое крайнее смятение, ибо доктор Джорджес поспешил уверить меня, что им там, в колонии, живется совсем не плохо.

Это было непостижимо, чудовищно. Я не мог заставить себя смотреть на нее. Немного поодаль, за веревками, где прохаживался полисмен, стояли родственники и друзья отъезжающих. Подойти поближе им не позволяли. Не было ни объятий, ни прощальных поцелуев. Они могли лишь переговариваться друг с другом – последние пожелания, последние слова любви, последние, многократно повторяемые напутствия. Те, что стояли за веревками, смотрели с каким-то отчаянным, напряженным до ужаса вниманием. Ведь в последний раз видели они любимые лица, лица живых мертвецов, которых погребальное судно увезет сейчас на молокаиское кладбище.

Доктор Джорджес подал знак, и несчастные зашевелились, поднялись на ноги и, сгибаясь под тяжестью кладки, медленно побрели через лихтер к сходням. Скорбное похоронное шествие! Среди провожающих, сгрудившихся за веревками, тут же послышались рыдания. Кровь стыла в жилах, разрывалось сердце. Я никогда не видел такого горя и, надеюсь, не увижу больше. Керсдейл и Маквей все еще находились на другом краю пристани, занятые каким-то серьезным разговором – наверное, о политике, потому что оба они в ту пору крайне увлекались этой странной игрой. Когда Люси Мокунуи проходила мимо, я снова украдкой посмотрел на нее. Она и в самом деле была прекрасна! Прекрасна даже по нашим представлениям – один из тех редчайших цветков, что расцветают лишь раз в поколение. Подумать только, что такая женщина обречена прозябать в колонии для прокаженных!

Она шла, точно королева: вот пересекла лихтер, поднялась по сходням, прошла палубой на корму, где у поручней столпились прокаженные – они плакали и махали остающимся на берегу.

Отдали концы, и «Ноо» стал медленно отваливать от пристани. Крики и плач усилились. Какое безнадежное, горестное зрелище! Я мысленно давал себе слово, что никогда впредь не окажусь свидетелем отплытия «Ноо», в эту минуту подошли Маквей и Керсдейл. Глаза у Джека блестели, и губы не могли скрыть довольной улыбки. Очевидно, разговор о политике закончился к обоюдному согласию. Веревочное ограждение сняли, и причитающие родственники кинулись к самому краю причала, окружив нас плотной толпой.

– Это ее мать, – шепнул мне доктор Джорджес, показывая на стоявшую рядом старушку, которая горестно покачивалась из стороны в сторону, не отрывая от палубы невидящих, полных слез глаз. Я заметил, что Люси Мокунуи тоже плачет. Но вот она утерла слезы и пристально посмотрела на Керсдейла. Потом протянула обе руки – тем восхитительным чувственным движением, которым некогда словно обнимала аудиторию Ольга Нетерсоль, и воскликнула:

– Прощай, Джек! Прощай, дорогой!

Он услышал ее и обернулся. Я никогда не видел, чтобы человек так испугался. Керсдейл зашатался, побелел и как-то обмяк, словно из него вынули душу. Вскинув руки, он простонал: «Боже мой!» Но тут же громадным усилием воли взял себя в руки.

– Прощай, Люси! Прощай! – отозвался он.

Он стоял и махал ей до тех пор, пока «Ноо» не вышел из гавани и лица стоявших у кормовых поручней не слились в сплошную полосу.

– Я полагал, что вы знаете, – сказал Маквей, удивленно глядя на Керсдейла. – Уж кому-кому, а вам... Я решил, что поэтому вы и пришли сюда.

– Теперь я знаю, – медленно проговорил Керсдейл. – Где коляска?

И быстро, чуть не бегом, зашагал с пристани. Я едва поспевал за ним.

– К доктору Герви, – крикнул он кучеру, – Да побыстрее!

Тяжело, еле переводя дух, он опустился на сиденье. Бледность разлилась у него по лицу, губы были крепко сжаты, на лбу и на верхней губе выступил пот. Сильнейшая боль, казалось, мучает его.

– Поскорее, Мартин, ради бога! – вырвалось у него. – Что они у тебя плетутся? Подхлестни-ка их, слышишь? Подхлестни как следует.

– Мы загоним лошадей, сэ, – возразил кучер.

– Пускай! Гони вовсю! Плачу и за лошадей и штраф полиции. А ну, быстрее, быстрее!

– Как же я не знал? Ничего не знал... – бормотал он, откидываясь на подушки и дрожащей рукой отирая пот с лица.

Коляска неслась с бешеной скоростью, подпрыгивая и кренясь на поворотах. Разговаривать было невозможно. Да и о чем говорить? Но я слышал, как Джек повторял снова и снова: «Как же я не знал!...»

\* \* \*

## СВЕТЛОКОЖАЯ ЛИ ВАН

– Солнце опускается, Каним, и дневной жар схлынул!

Так сказала Ли Ван мужчине, который спал, накрывшись с головой беличьим одеялом; сказала негромко, словно знала, что его надо разбудить, но страшилась его пробуждения. Ли Ван побаивалась своего рослого мужа, столь непохожего на всех других мужчин, которых она знала.

Лосиное мясо зашипело, и женщина отодвинула сковородку на край угасающего костра. В то же время она поглядывала на обоих своих гудзонских псов, а те жадно следили за каждым ее движением, и с их красных языков капала слюна. Громадные косматые звери, они сидели с подветренной стороны в негустом дыму костра, спасаясь от несметного роя мошкары. Но как только Ли Ван отвела взгляд и посмотрела вниз, туда, где Клондаик катил меж холмов свои вздувшиеся воды, один из псов на брюхе подполз к костру и ловким кошачьим ударом лапы сбросил со сковороды на землю кусок горячего мяса. Однако Ли Ван заметила это краешком глаза, и пес, получив удар поленом по носу, отскочил, щелкая зубами и рыча.

– Эх ты, Оло, – засмеялась женщина, водворив мясо на сковородку и не спуская глаз с собаки. – Никак наесться не можешь, а все твой нос виноват – то и дело в беду попадаешь.

Но тут к Оло подбежал его товарищ, и вместе они взбунтовались против женщины. Шерсть на их спинах и загривках вздыбилась от ярости, тонкие губы искривились и приподнялись, собравшись уродливыми складками и угрожающе обнажив хищные клыки. Дрожали даже их сморщенные ноздри, и псы рычали с волчьей ненавистью и злобой, готовые прыгнуть на женщину и свалить ее с ног.

– И ты тоже, Баш, строптивый, как твой хозяин, – все норовишь укусить руку, которая тебя кормит! Что лезешь не в свое дело? Вот тебе, получай!

Ли Ван решительно размахивала поленом, но псы увертывались от ударов и не собирались отступать. Они разделились и стали подбираться к ней с разных сторон, припадая к земле и рыча. К этой борьбе, в которой человек утверждает свое господство над собакой, Ли Ван привыкла с самого детства – с тех пор как училась ходить в родном вигваме, ковыляя от одного вороха шкур до другого, – и потому знала, что близится опасный момент. Баш остановился, напружив тугие мускулы, изготавившись к прыжку, Оло еще подползал, выбирая удобное место для нападения.

Схватив две горящие головни за обугленные концы, женщина смело пошла на псов. Оло попятился, а Баш прыгнул, и она встретила его в воздухе ударом своего пылающего оружия. Раздался пронзительный визг, остро запахло паленой шерстью и горелым мясом, и пес повалился в грязь, а женщина сунула головню ему в пасть. Бешено огрызаясь, пес отскочил в сторону и, сам не свой от страха, отбежал на безопасное расстояние. Отступил и Оло, после того как Ли Ван напомнила ему, кто здесь хозяин, бросив в него толстой палкой. Не выдержав града головешек, псы наконец удалились на самый край полянки и принялись зализывать свои раны, повизгивая и рыча.

Ли Ван сдула пепел с мяса и села у костра. Сердце ее билось не быстрее, чем всегда, и она уже позабыла о схватке с псами – ведь подобные происшествия случаются каждый день. А Каним не только не проснулся от шума, но захрапел еще громче.

– Вставай, Каним, – проговорила женщина. – Дневной жар спал, и тропа ожидает нас.

Беличье одеяло шевельнулось, и смуглая рука откинула его. Веки спящего дрогнули и опять сомкнулись.

– Вьюк у него тяжелый, – подумала Ли Ван, – и он устал от утреннего перехода.

Комар ужалил ее в шею, и она помазала незащищенное место мокрой глиной, отщипнув кусочек от комка, который лежал у нее под рукой. Все утро, поднимаясь на перевал в туче гнуса, мужчина и женщина обмазывали себя липкой грязью, и грязь, высыхая на солнце, покрывала лицо глиняной маской. От движения лицевых мускулов маска эта отваливалась кусками, и ее то и дело приходилось подновлять, так что она была где толще, где тоньше, и вид у нее был престранный.

Ли Ван стала тормозить Канима осторожно, но настойчиво, пока он не приподнялся и не сел. Прежде всего он посмотрел на солнце и, узнав время по этим небесным часам, опустил на корточки перед костром и жадно набросился на мясо. Это был крупный индеец, в шесть футов ростом, широкогрудый и мускулистый, с более пронизательным, более умным взглядом, чем у большинства его соплеменников. Глубокие складки избороздили лицо Канима и, сочетаясь с первобытной суровостью, свидетельствовали о том, что этот человек с неукротимым нравом упорен в достижении цели и способен, если нужно, быть жестоким с противником.

– Завтра, Ли Ван, мы будем пировать. – Он начисто высосал мозговую кость и швырнул ее собакам. – Мы будем есть оладьи, жаренные на свином сале, и сахар, который еще вкуснее...

– Олады? – переспросила она, неуверенно произнося незнакомое слово.

– Да, – ответил Каним снисходительно, – и я научу тебя стряпать по-новому. В этом ты ничего не смыслишь, как и во многом другом. Ты всю жизнь провела в глухом уголке земли и ничего не знаешь. Но я, – он выпрямился и гордо окинул ее взглядом, – я – великий землепроходец и побывал всюду, даже у белых людей; и я сведущ в их обычаях и в обычаях многих народов. Я не дерево, которому от века назначено стоять на одном месте, не ведая, что творится за соседним холмом; ибо я, Каним-Каноэ, создан, чтобы бродить повсюду и странствовать, и весь мир исходить вдоль и поперек.

Женщина смиренно склонила голову.

– Это правда. Я всю жизнь ела только рыбу, мясо и ягоды и жила в глухом уголке земли. И я не знала, что мир так велик, пока ты не похитил меня у моего племени и я не стала стряпать тебе пищу и носить вьюки по бесконечным тропам. – Она вдруг взглянула на него.

– Скажи мне, Каним, будет ли конец нашей тропе?

– Нет, – ответил он. – Моя тропа, как мир: у нее нет конца. Моя тропа пролегает по всему миру, и я странствую с тех пор, как встал на ноги, и буду странствовать, пока не умру. Быть может, и отец мой и мать моя умерли – не знаю, ведь я давно их не видел, но мне все равно. Мое племя похоже на твое. Оно всегда живет на одном и том же месте, далеко отсюда, но мне нет дела до него, ибо я – Каним-Каноэ.

– А я, Ли Ван, тоже должна брести по твоей тропе, пока не умру, хоть я так устала?

– Ты, Ли Ван, моя жена, а жена идет по тропе мужа, куда бы та ни вела. Это закон. А если такого закона нет, так это станет законом Канима, ибо Каним сам создает законы для себя и своих.

Ли Ван снова склонила голову, так как знала лишь один закон: мужчина – господин женщины.

– Не спеши, – остановил ее Каним, когда она принялась стягивать ремнями свой вьюк со скудным походным снаряжением, – солнце еще горячо, а тропа идет под уклон и удобна для спуска.

Женщина послушно опустила руки и села на прежнее место.

Каним посмотрел на нее с задумчивым любопытством.

– Ты никогда не сидишь на корточках, как другие женщины, – заметил он.

– Нет, – отозвалась она. – Это неудобно. Мне это трудно; так я не могу отдохнуть.

– А почему ты во время ходьбы ставишь ступни не прямо, а вкось?

– Не знаю. Должно быть, потому, что ноги у меня не такие, как у других женщин.

Довольный огонек мелькнул в глазах Канима, и только.

– Как и у всех женщин, волосы у тебя черные, но разве ты не знаешь, что они мягкие и тонкие, мягче и тоньше, чем у других?

– Знаю, – ответила она сухо; ей не нравилось, что он так спокойно разбирает ее недостатки.

– Прошел год с тех пор, как я увел тебя от твоих родичей, а ты все такая же робкая, все так же боишься меня, как и в тот день, когда я впервые взглянул на тебя. Отчего это?

Ли Ван покачала головой.

– Я боюсь тебя, Каним. Ты такой большой и странный. Но и до того, как на меня посмотрел ты, я боялась всех юношей. Не знаю... не могу объяснить... только мне почему-то казалось, что я не для них... как будто...

– Говори же, – нетерпеливо понукал он, раздраженный ее нерешительностью.

– ...как будто они не моего рода.

– Не твоего рода? – протянул он. – А какого же ты рода?

– Я не знаю, я... – Она в замешательстве покачала головой. – Я не могу объяснить словами то, что чувствовала. Я была какая-то странная. Я была не похожа на других девушек, которые хитростью приманивали юношей. Я не могла вести себя так. Мне это казалось чем-то дурным, нехорошим.

– Скажи, а твое первое воспоминание... о чем оно? – неожиданно спросил Каним.

– О Пау-Ва-Каан, моей матери.

– А что было дальше, до Пау-Ва-Каан, ты помнишь?

– Нет, ничего не помню.

Но Каним, не сводя с нее глаз, словно проник в глубину ее души и в ней прочел колебание.

– Подумай, Ли Ван, подумай хорошенько! – угрожающе проговорил он.

Женщина замаялась, глаза ее смотрели жалобно и умоляюще; но его воля одержала верх и сорвала с губ Ли Ван вынужденное признание.

– Да ведь это были только сны, Каним, дурные сны детства, тени не бывшего, неясные видения, от каких иногда скулит собака, задремавшая на солнцепеке.

– Поведай мне, – приказал он, – о том, что было до Пау-Ва-Каан, твоей матери.

– Все это я позабыла, – не сдавалась она. – Девочкой я грезила наяву, днем, с открытыми глазами, но когда я рассказывала другим о том, какие странные вещи видела, меня поднимали на смех, а дети пугались и бежали прочь. Когда же я стала рассказывать Пау-Ва-Каан свои сны, она меня выбранила, сказала, что это дурные сны, а потом прибила. Должно быть, это была болезнь, вроде падучей у стариков, но с возрастом она прошла, и я перестала грезить. А теперь... не могу вспомнить. – Она растерянно поднесла руку ко лбу. – Они где-то тут, но я не могу их поймать, разве что...

– Разве что... – повторил Каним, требуя продолжения.

– Разве что одно видение... Но ты будешь смеяться надо мной, такое оно нелепое, такое непохожее на правду.

– Нет, Ли Ван. Сны – это сны. Может быть, они – воспоминания о тех жизнях, которые мы прожили раньше. Вот я, например, был когда-то лосем. Я уверен, что некогда был лосем, – сужу по тому, что видел и слышал во сне.

Как ни старался Каним скрыть свое возрастающее беспокойство, это ему не удавалось, но Ли Ван ничего не заметила: с таким трудом подыскивала она слова, чтобы описать свой сон.

– Я вижу покрытую снегом поляну среди деревьев, – начала она, – и на снегу след человека,

который из последних сил прополз тут на четвереньках. Я вижу и самого человека на снегу, и мне кажется, что он где-то совсем близко. Он не похож на обыкновенных людей: лицо его обросло волосами, густыми волосами, а волосы, и на лице и на голове, желтые, как летний мех у ласки. Глаза у него закрыты, но вот они открываются и начинают искать что-то. Они голубые, как небо, и наконец они находят мои глаза и перестают искать. И рука его движется медленно, словно она очень слабая, и я чувствую...

– Ну, – хрипло прошептал Каним. – Что же ты чувствуешь?

– Нет, нет! – поспешно выкрикнула она. – Я ничего не чувствую. Разве я сказала «чувствую»? Я не то хотела сказать. Не может быть, чтобы я это хотела сказать. Я вижу, я только вижу, и это все, что я вижу: человек на снегу, и глаза у него, как небо, а волосы, как мех ласки. Я видела это много раз и всегда одно и то же – человек на снегу...

– А себя ты не видишь? – спросил Каним, подаваясь вперед и пристально глядя на нее. – Видишь ли ты себя рядом с этим человеком на снегу?

– Как могу я видеть себя рядом с тем, чего нет? Ведь я существую!

Он с облегчением выпрямился, и величайшее торжество мелькнуло в его взгляде, но он отвел глаза от женщины, чтобы она ничего не заметила.

– Я объясню тебе, Ли Ван, – сказал он уверенно. – Все это сохранилось в твоей памяти от прежней жизни, когда ты была птичкой, маленькой пташкой. Тут нет ничего удивительного. Я когда-то был лосем, отец моего отца после смерти стал медведем, это сказал шаман, а шаманы не лгут. Так мы переходим из жизни в жизнь по Тропе Богов, и лишь богам все ведомо и понятно. То, что нам снится и кажется, – это только воспоминания, – и собака, что скулит во сне на солнцепеке, конечно, видит и вспоминает то, что некогда происходило. Баш, например, когда-то был воином. Я уверен, что он был воином.

Каним кинул псу кость и поднялся.

– Вставай, будем собираться. Солнце еще печет, но прохлады ждать нечего.

– А какие они, эти белые люди? – осмелилась спросить Ли Ван.

– Такие же, как и мы с тобой, – ответил он, – разве что кожа у них посветлее. Ты увидишь их раньше, чем угаснет день.

Каним подвязал меховое одеяло к своему полторастафунтовому вьюку, обмазал лицо мокрой глиной и присел отдохнуть, ожидая, пока Ли Ван навьючит собак. Оло съежился при виде палки в ее руках и безропотно дал привязать себе на спину вьюк весом в сорок с лишним фунтов. Но Баш не выдержал – взвизгнул и зарычал от обиды и ярости, когда ненавистная ноша коснулась его спины. Пока Ли Ван туго стягивала ремни, он, оцетинившись, скалил зубы, то косясь на нее, то оглядываясь, и волчья злоба горела в этих взглядах. Каним сказал посмеиваясь:

– Я же говорил, что когда-то он был великим воином! Эти меха пойдут по дорогой цене, – заметил он, надев головной ремень и легко подняв свой вьюк с земли. – Белые люди хорошо платят за такой товар. Им самим охотиться некогда, да и холода они не выносят. Скоро мы будем пировать, Ли Ван; такой пир зададим, какого ты не видывала ни в одной из своих прежних жизней.

Она пробормотала что-то, выражавшее признательность и благодарность мужу за его доброту, надела на себя лямки и согнулась под тяжестью вьюка.

– В моей следующей жизни я хотел бы родиться белым человеком, – добавил Каним и мерно



зашагал вниз по тропе, которая круто спускалась в ущелье.

Собаки шли за ним следом, а Ли Ван замыкала шествие. Но мысли ее унеслись далеко – на восток, за Ледяные Горы, в глухой уголок земли, где протекало ее детство. Она вспомнила, что еще тогда ее считали какой-то странной, смотрели на нее, как на больную. Что ж, она действительно грезила наяву, и ее бранили и били за те необычайные видения, о которых она рассказывала.

Однако с годами это прошло. Но не совсем. Правда, эти видения уже не тревожили ее, когда она бодрствовала, но когда спала, появлялись вновь, хоть она и стала взрослой женщиной; и по ночам ее мучили кошмары – какие-то мелькающие образы, смутные, лишённые всякого смысла. Разговор с Канемом взбудоражил ее, и в течении всего извилистого пути по горному склону она вспоминала об этих причудливых порождениях своих снов.

– Передохнем, – сказал Канем на полпути, когда они перешли русло главного протока.

Он прислонил свою ношу к выступу скалы, снял головной ремень и сел. Ли Ван под села к нему, а собаки, тяжело дыша, растянулись подле них на земле. У их ног журчал холодный, как лед, горный ручей, но вода в нем была мутной, грязной словно после оползней.

– Отчего это? – спросила Ли Ван.

– Тут белые роются в земле. Прислушайся! – Канем поднял руку, и она услышала звон кирок и заступов и людские голоса. – Золото свело их с ума, и они работают без передышки – все ищут его. Что такое золото? Оно желтое, лежит в земле, и люди им очень дорожат. Кроме того, оно – мерило цены.

Но блуждающий взгляд Ли Ван остановился на чем-то, и она уже не слушала. Немного ниже того места, где они сидели, виднелся сруб, полузакрытый молодым ельником, и нависшая над ним земляная крыша. Дрожь охватила Ли Ван, и все ее призрачные видения ожили и лихорадочно заплясали в мозгу.

– Канем, – прошептала она, вся во власти тревожного предчувствия. – Канем, что это такое?

– Вигвам белого человека, в котором он ест и спит.

Ли Ван задумчиво взглянула на сруб, сразу оценила его достоинства и снова задрожала от непонятого волнения, которое он вызвал в ней.

– Наверное, там тепло и в мороз, – громко проговорила она, чувствуя, что с ее губ вот-вот слетят какие-то странные звуки. Что-то заставляло ее произнести их, но она молчала, и вдруг Канем сказал:

– Это называется хижина.

Сердце у Ли Ван екнуло. Да, да, вот эти самые звуки! Именно это слово! Она испуганно оглянулась кругом. Почему это слово ей знакомо, если она никогда его не слышала? Как это объяснить? И тут она с ужасом и восторгом впервые поняла, что сны ее – не бессмысленный бред.

«Хижина, – повторяла она про себя, – хижина, хижина». Ее затопил поток бессвязных видений, закружилась голова; казалось, сердце вот-вот разорвется. Какие-то тени и очертания вещей в непонятной связи мелькали и вихрем кружились над ней, и тщетно пыталась она ухватить их и осмыслить. Она чувствовала, что в этих сумбурных видениях – ключ к тайне; если бы только ухватить его – тогда все станет ясным и простым...

О Канем! О Пау-Ва-Каан! О призраки и тени – что же они такое?

Она повернулась к Каниму, безмолвная и трепещущая, одержимая своими безумными неотвязными видениями. До ее слабеющего сознания доносились только ритмичные звуки чудесной мелодии, летящие из хижины.

– Хм! Скрипка! – снисходительно уронил Каним.

Но она не слышала его: в блаженном возбуждении ей казалось, что наконец-то все становится ясным. «Вот-вот! Сейчас!» – думала она. Внезапно глаза ее увлажнились, и слезы потекли по щекам. Тайны начинали раскрываться, а ее одолевала слабость. Если бы... но вдруг земля выгнулась и сжалась, а горы закачались на фоне неба, и Ли Ван вскочила с криком: «Папа! Папа!» Завертелось солнце, потом сразу наступила тьма, и Ли Ван, пошатнувшись, ничком рухнула на скалу.

Вьюк был так тяжел, что она могла сломать себе позвоночник; поэтому Каним осмотрел ее, облегченно вздохнул и побрызгал на нее водой из ручья. Она медленно пришла в себя, задыхаясь от рыданий, и наконец села.

– Плохо, когда солнце припекает голову, – заметил он.

– Да, – отозвалась она, – плохо; да и вьюк меня замучил.

– Мы скоро остановимся на ночлег, чтобы ты смогла отоспаться и набраться сил, – сказал он мягко. – И чем быстрее мы тронемся в путь, тем раньше ляжем спать.

Ли Ван, ничего не ответив, послушно встала и, пошатываясь, отошла поднимать собак. Сама того не заметив, она сразу зашагала в ногу с мужем, а когда они проходили мимо хижины, затаила дыхание. Но из хижины уже не доносилось ни звука, хотя дверь была открыта и железная труба выбрасывала дым.

В излучине ручья они набрали на мужчину, белокожего и голубоглазого, и на мгновение перед Ли Ван встал образ человека на снегу. Но лишь на мгновение, так она ослабела и устала от всего пережитого. Все же она с любопытством оглядела белого мужчину и вместе с Канимом остановилась посмотреть на его работу. Наклонно держа в руках большой таз, старатель вращал его, промывая золотоносный песок, и в то время как они наблюдали за ним, он ловким неожиданным взмахом выплеснул воду, и на дне таза широкой полосой сверкнуло желтое золото.

– Очень богатый ручей, – сказал жене Каним, когда они двинулись дальше. – Когда-нибудь я найду такой же и сделаюсь большим человеком.

Чем ближе они подходили к самому богатому участку долины, тем чаще встречались люди и хижины. И наконец перед путниками открылась широкая картина разрушения и опустошения. Повсюду земля была взрыта и разбросана, как после битвы титанов. Кучи песка перемежались с огромными зияющими ямами, канавами, рвами, из которых был вынут весь грунт, до коренной породы. Ручей еще не прорыл себе глубокого русла, и воды его – где запруженные, где отведенные в сторону, где низвергающиеся с отвесных круч, где медленно стекающие во впадины и низины, где поднятые на высоту громадными колесами – без устали работали на человека. Лес на горах был вырублен; оголенные склоны сплошь изрезаны и пробиты длинными деревянными желобами с пробными шурфами. И повсюду чудовищным муравьиным полчищем сновали выпачканные глиной грязные, растрепанные люди, которые то спускались в ямы, выкопанные ими, то вылезали на поверхность, то, как огромные жуки, ползали по ущелью, трудились, обливаясь потом, у куч золотоносного песка, вороша и перетряхивая их, и кишели всюду, куда хватал глаз, до самых вершин, и все рыли, и рушили, и кромсали тело земли.

Ли Ван была испугана и потрясена этой невиданной кутерьмой.

– Поистине эти люди безумны, – сказала она Каниму.

– Удивляться нечему, – отозвался он. – Золото, которое они ищут, – великая сила. Самая большая на свете.

Долго пробирались они через этот хаос, порожденный алчностью; Каним – внимательный и сосредоточенный, Ли Ван – вялая и безучастная. Она понимала, что тайны чуть было не раскрылись, что они вот-вот раскроются, но первое потрясение утомило ее, и она покорно ждала, когда свершится то, что должно было свершиться. На каждом шагу у нее возникали новые и новые впечатления, и каждое служило глухим толчком, побуждавшим к действию ее измученный мозг. В глубине ее существа рождались созвучные отклики, восстанавливались давно забытые и даже во сне не вспоминавшиеся связи, и все это она сознавала, но равнодушно, без любопытства; и хотя на душе у нее было беспокойно, но не хватало сил на умственное напряжение, необходимое для того, чтобы осмыслить и понять эти переживания. Поэтому она устало плелась вслед за своим господином, терпеливо ожидая того, что непременно – в этом она была уверена – должно было где-то как-то произойти.

Вырвавшись из-под власти человека, ручей, весь грязный и мутный после работы, которую его заставили проделать, наконец вернулся на свой древний проторенный путь и заструился, лениво извиваясь среди полян и перелесков, по долине, расширявшейся к устью. В этих местах золота уже не было, и людям не хотелось тут задерживаться – их манило вдаль. И здесь-то Ли Ван, остановившись на миг, чтобы подогнать палкой Оло, услышала женский смех, нежный и серебристый.

Перед хижинкой сидела женщина, белолицая и румяная, как младенец, и весело хохотала в ответ на слова другой женщины, стоявшей в дверях. Заливаясь смехом, она встряхивала шапкой темных мокрых волос, высыхавших под лаской солнца.

На мгновение Ли Ван остановилась как вкопанная. И вдруг ей показалось, будто что-то щелкнуло и ослепительно вспыхнуло в ее сознании – словно разорвалась завеса. И тогда исчезли и женщины перед хижинкой, и сама хижина, и высокий ельник, и зубчатые очертания горных хребтов, и Ли Ван увидела в сиянии другого солнца другую женщину, которая тоже расчесывала густые волны черных волос и пела песню. И Ли Ван слушала слова этой песни, и понимала их, и вновь была ребенком. Она была потрясена этим видением, в котором слились все ее прежние беспокойные видения; и вот тени и призраки встали на свои места, и все сделалось ясным, простым и реальным. Множество разных образов теснилось в ее сознании – странные места, деревья, цветы, люди, – и она видела их и узнавала.

– Когда ты была птичкой, малой пташкой, – сказал Каним, устремив на нее горящие глаза.

– Когда я была малой пташкой, – прошептала она так тихо, что он вряд ли услышал, и, склонив голову, стянутую ремнем, снова мерно зашагала по тропе. Но она знала, что солгала.

И как ни странно, все реальное стало теперь казаться ей нереальным. Переход длинной в милю и разбивка лагеря на берегу потока промелькнули как в бреду. Как во сне, она жарила мясо, кормила собак, развязывала вьюки и пришла в себя лишь тогда, когда Каним принялся набрасывать перед нею планы новых странствий.

– Клондайк, – говорил он, – впадает в Юкон, огромную реку; она больше, чем Маккензи, а Маккензи ты знаешь. Итак, мы с тобой спустимся до Форты Юкон. На собаках в зимнее время это будет двадцать снов. Потом мы пойдем вдоль Юкона на запад – это сто или двести снов, не знаю точно. Это очень далеко. И тогда мы подойдем к морю. О море ты ничего не знаешь, так что я расскажу тебе про него. Как озеро обтекает остров, так море обтекает всю землю; все реки впадают в него, и нет ему ни конца ни края. Я видел его у Гудзонова залива, и я должен увидеть его с берегов Аляски. И тогда, Ли Ван, мы с тобой сядем в огромную лодку и

поплывем по морю или же пойдем пешком по суше на юг, и так пройдет много сотен снов. А что будет потом, я не знаю; знаю только, что я, Канним-Каноз, странник и землепроходец!

Она сидела и слушала, и страх вгрызлся в ее сердце, когда она думала о том, что обречена затеряться в этих бескрайних пустынях.

– Тяжелый это будет путь, – только и проронила она и смиренно уткнула голову в колени.

Но вдруг ее осенила чудесная мысль – такая, что Ли Ван даже вспыхнула. Она спустилась к потоку и отмыла с лица засохшую глину. Когда рябь на воде улеглась, Ли Ван внимательно всмотрелась в свое отражение. Но солнце и ветер сделали свое дело: кожу ее, обветренную, загорелую, нельзя было и сравнить с детски-нежной кожей той белой женщины. А все-таки это была чудесная мысль, и она продолжала волновать Ли Ван и тогда, когда она юркнула под меховое одеяло и улеглась рядом с мужем.

Она лежала, устремив глаза в синеву неба, выжидая, когда муж уснет первым глубоким сном. Когда он заснул, она медленно и осторожно выползла из-под одеяла, подоткнула его под спящего и выпрямилась. При первом же ее шаге Баш угрожающе заворчал. Ли Ван шепотом успокоила его и оглянулась на мужа. Канним громко храпел. Тогда Ли Ван повернулась и быстро, бесшумно побежала назад по тропе.

Миссис Эвелин Ван-Уик только что собралась лечь в постель. Отягощенная обязанностями, которые возлагало на нее общество, богатство, беспечальное вдовье положение, она отправилась на Север и устроилась в уютной хижине на окраине золотоносного участка. Здесь она при поддержке и содействии своей подруги и компаньонки мисс Миртл Гиддингс играла в опрощение, в жизнь, близкую к природе, и с утонченной непосредственностью отдавалась своему увлечению первобытным.

Она старалась отмежеваться от многих поколений, воспитанных в избранном обществе, и стремилась к земле, от которой оторвались ее предки. Кроме того, она частенько вызывала в себе мысли и желания, которые, по ее мнению, были не чужды людям каменного века, и как в эту минуту, убирая волосы на ночь, тешила свое воображение сценами палеолитической любви. Главными декорациями и аксессуарами в этих сценах были пещерные жилища и раздробленные мозговые кости; фигурировали в них также свирепые хищные звери, волосатые мамонты и драки на ножах – грубых, зазубренных, кремневых ножах; но все это порождало блаженные переживания. И вот в тот самый миг, когда Эвелин Ван-Уик бежала под темными сводами дремучего леса, спасаясь от слишком пылкого натиска косолобого, едва прикрытого шкурой поклонника, дверь хижины распахнулась без стука, и на пороге появилась одетая в шкуру дикая, первобытная женщина.

– Боже мой!

Одним прыжком, который сделал бы честь пещерной женщине, мисс Гиддингс отскочила в безопасное место – за стол. Но миссис Ван-Уик не отступила. Заметив, что незнакомка очень взволнована, она быстро оглянулась и убедилась, что путь к ее койке свободен, а там под подушкой лежал большой колыт.

– Привет тебе, о женщина с чудесными волосами, – сказала Ли Ван.

Но сказала она это на своем родном языке, том языке, на котором говорили в одном глухом уголке земли, и женщины не поняли ее слов.

– Не сбегать ли за помощью? – пролепетала мисс Гиддингс.

– Да нет, она, кажется, безобидное существо, эта несчастная, – возразила миссис Ван-Уик. – Посмотри только на ее меховую одежду. Какая рваная, совсем износилась, но в своем роде

уникум. Я куплю ее для своей коллекции. Дай мне, пожалуйста, мешок, Миртл, и приготовь весы.

Ли Ван следила за ее губами, но слов не разбирала, и тут впервые она в беспокойстве и смятении почувствовала, что им не понять друг друга.

И, страдая от своей немоты, она широко раскинула руки и крикнула:

– О женщина, ты моя сестра!

Слезы текли по ее щекам, – так страстно тянулась она к этим женщинам, и голос срывался от горя, которого она не могла выразить словами. Мисс Гиддингс задрожала, и даже миссис Ван-Уик разволновалась.

– Я хочу жить так, как живете вы. Ваш путь – это мой путь, и пусть наши пути сольются. Мой муж – Канам-Канозэ, он большой и непонятный, и я боюсь его. Его тропа пролегает по всей земле, и нет ей конца; а я устала. Моя мать была похожа на тебя: у нее были такие же волосы и такие же глаза. И тогда мне было хорошо жить, и солнце грело меня.

Она смиренно опустилась на колени и склонила голову к ногам миссис Ван-Уик. Но миссис Ван-Уик отшатнулась, испуганная силой этого порыва.

Ли Ван выпрямилась и, задыхаясь, пыталась что-то сказать. Но с ее немых губ не могли слететь слова, нужные для того, чтобы выразить, как остро она чувствует, что эти женщины – одного с нею племени.

– Торговля? Ты торговать? – спросила миссис Ван-Уик, переходя на тот ломаный язык, которым в таких случаях пользуются люди, принадлежавшие к цивилизованным нациям.

Дотронувшись до обтрепанной меховой одежды Ли Ван, чтобы объяснить ей свои намерения, миссис Ван-Уик насыпала в котелок золотиносного песка, помешала его, потом зачерпнула пригоршню золотого порошка, и он заструился между ее пальцами, соблазнительно сверкая желтым блеском. Но Ли Ван видела только эти пальцы, белые, как молоко, точеные, изящные, суживающиеся к ногтям, похожим на какие-то розовые драгоценные камни. Она поднесла к руке белой женщины свою руку, натруженную, огрубелую, и заплакала.

Но миссис Ван-Уик ничего не поняла.

– Золото, – внушала она незнакомке. – Хорошее золото! Ты торговать? Ты менять то на это? – И опять прикоснулась к одежде Ли Ван. – Сколько? Ты продавать! Сколько? – настаивала она, поглаживая мех против ворса и нащупывая прошитые жилой стежки шва.

Но Ли Ван была и нема и глуха, она не понимала, что ей говорят. Неудача сломила ее. Как заставить этих женщин признать ее своей соплеменницей? Ведь она-то знает, что они одной породы, что они сестры по крови. Глаза Ли Ван тревожно блуждали по занавескам, по женским платьям на вешалке, по овальному зеркалу и изящным туалетным принадлежностям на полочке под ним. Вид всех этих вещей терзал ее, ибо она когда-то уже видела подобные им, когда смотрела на них теперь, губы ее сами складывались для слов, которые рвались из груди. И вдруг что-то словно вспыхнуло в ее мозгу, и вся она подобралась. Надо успокоиться. Надо взять себя в руки, потому что теперь ее непременно должны понять, а не то... И, вся содрогаясь от подавленных рыданий, она овладела собой.

Ли Ван положила руку на стол.

– Стол, – произнесла она ясно и отчетливо. – Стол, – повторила она.

Она взглянула на миссис Ван-Уик, и та одобрительно кивнула. Ли Ван пришла в восторг, но

усилием воли опять сдержала себя.

– Печка, – продолжала она. – Печка.

С каждым кивком миссис Ван-Уик волнение Ли Ван возрастало. То запинаясь, то с лихорадочной поспешностью, смотря по тому, медленно или быстро восстанавливались в памяти забытые слова, она передвигалась по хижине, называя предмет за предметом. И, наконец, остановилась, торжествуя выпрямившись, подняв голову, гордая собой, ожидая признания.

– Кошка, – сказала миссис Ван-Уик, со смехом отчеканивая слова внятно и отдельно, как воспитательница в детском саду. – «Ви-жу-кош-ка-съе-ла-мыш-ку».

Ли Ван серьезно кивнула головой. Наконец-то они начали понимать ее, эти женщины! От этой мысли темный румянец заиграл на ее бронзовых щеках, она улыбнулась и еще резче закивала головой.

Миссис Ван-Уик оглянулась на свою компаньонку.

– Должно быть, нахваталась английских слов в какой-нибудь миссионерской школе и пришла похвалиться.

– Ну конечно, – фыркнула миссис Гиддингс. – Вот глупая! Только спать нам не дает своим хвастовством!

– А мне все-таки хочется купить ее куртку; хоть она и поношенная, но работа хорошая – превосходный экземпляр. – И она снова повернулась к Ли Ван. – Менять то на это? Ты! Менять? Кольцо? А? Сколько тебе?

– Может, ей больше хочется получить платье или еще что-нибудь из вещей, подсказала мисс Гиддингс.

Миссис Ван-Уик подошла к Ли Ван и знаками попыталась объяснить, что хочет променять свой капот на ее куртку. И, чтобы получше втолковать ей это, взяла ее руку и, положив ее на свою пышную грудь, прикрытую кружевами и лентами, стала водить пальцами Ли Ван по ткани, чтобы та могла на ощупь убедиться, какая она мягкая. Но капот, небрежно сколотый драгоценной брошкой в виде бабочки, распахнулся и открыл крепкую грудь, не знавшую прикосновения младенческих губок.

Миссис Ван-Уик невозмутимо застегнула капот, но Ли Ван громко крикнула и, рывком распахнув свою кожаную куртку, обнажила грудь, такую же белую и крепкую, как и у миссис Ван-Уик. Бормоча что-то нечленораздельное и размахивая руками, она старалась убедить этих женщин в своем родстве с ними.

– Полукровка, – заметила миссис Ван-Уик. – Так я и думала – можно догадаться по волосам.

Мисс Гиддингс презрительно махнула рукой.

– Гордится белой кожей отца. Противно! Дай ей что-нибудь Эвелин, и выгони ее вон.

Но миссис Ван-Уик вздохнула:

– Бедняжка! Хотелось бы помочь ей.

За стеной под чьей-то тяжелой поступью хрустнул гравий. Дверь хижины широко распахнулась, и вошел Каним. Мисс Гиддингс взвизгнула, решив, что ей сию минуту конец. Но миссис Ван-Уик спокойно взглянула на индейца.

– Чего тебе нужно? – спросила она.

– Как поживаешь? – вкрадчиво, но уверенно ответил Каним, показывая пальцем на Ли Ван. – Это моя жена.

Он протянул руку к Ли Ван, но та отстранила ее.

– Говори, Каним! Скажи им, что я...

– Дочь Пау-Ва-Каан? А зачем? Какое им до этого дело? Лучше я расскажу им, какая ты плохая жена, – бегаешь от мужа, когда сон смыкает ему глаза.

И вновь он протянул к ней руку, но Ли Ван отбежала к миссис Ван-Уик и упала к ее ногам в страстной мольбе, пытаясь обхватить руками ее колени. Миссис Ван-Уик отшатнулась и выразительно посмотрела на Канима – в этом взгляде было разрешено увести женщину. Он взял Ли Ван под мышки и поставил на ноги. В исступлении она старалась вырваться из его рук, а он изо всех сил тащил ее к выходу, оба они сцепившись, кружили по комнате.

– Пусти, Каним, – рыдала она.

Но он так крепко сжал ей запястье, что она перестала бороться.

– Малая пташка помнит лишнее и от этого попадает в беду... – начал Каним.

– Я знаю! Знаю! – прервала его Ли Ван. – Я вижу человека на снегу – так ясно, как никогда еще не видела. И он тащит меня, малого ребенка, на спине. И все это было до Пау-Ва-Каан и тех лет, когда я жила в глухом уголке земли.

– Да, ты знаешь, – отозвался он, толкая ее к выходу. – Но ты пойдешь со мной вниз по Юкону и забудешь.

– Никогда не забуду! Пока моя кожа останется белой, всегда буду помнить!

Она неистово вцепилась в дверной косяк и с последним призывом впилась глазами в миссис Ван-Уик.

– Ну, так я заставлю тебя забыть, я, Каним-Каноз.

И он оторвал ее пальцы от двери и повлек ее за собой на тропу.

\* \* \*

## СЕВЕРНАЯ ОДИССЕЯ

1

Полозья пели свою бесконечную унылую песню, поскрипывала упряжь, позвякивали колокольчики на жоках; но собаки и люди устали и двигались молча. Они шли издалека, тропа была не утоптана после недавнего снегопада, и нарты, груженные мороженой олениной, с трудом двигались по рыхлому снегу, сопротивляясь с настойчивостью почти

человеческой. Темнота сгущалась, но в этот вечер путники уже не собирались делать привал. Снег мягко падал в неподвижном воздухе, но не хлопьями, а маленькими снежинками тонкого рисунка. Было совсем тепло, каких-нибудь десять градусов ниже нуля, Майерс и Беттлз подняли наушники, а Мэйлмют Кид даже снял рукавицы.

Собаки устали еще с полудня, но теперь они как будто набирались новых сил. Самые чуткие из них стали проявлять беспокойство, нетерпеливо дергали постромки, принохивались к воздуху и поводили ушами. Они злились на своих более флегматичных товарищей и подгоняли их, покусывая сзади за ноги. И те, в свою очередь, тоже заражались беспокойством и передавали его другим. Наконец вожак передней упряжки радостно завизжал и, глубже забирая по снегу, рванулся вперед. Остальные последовали за ним. Постромки натянулись, нарты помчались веселее, и люди, хватаясь за поворотные шесты, изо всех сил ускоряли шаг, чтобы не попасть под полозья. Дневной усталости как не бывало; они криками подбодряли собак, и те отвечали им радостным лаем, во весь опор мчась в сгущающихся сумерках.

– Гей! Гей! – наперебой кричали люди, когда нарты круто сворачивали с дороги и накренились набок, словно парусное суденышко под ветром.

И вот уже осталось каких-нибудь сто ярдов до освещенного, затянутого промасленной бумагой окошка, которое говорило об уюте жилья, пылающего юконской печке и дымящемся котелке с чаем. Но хижина оказалась занятой. С полсотни эскимосских псов угрожающе залаяли и бросились на собак первой упряжки. Дверь распахнулась, и человек в красном мундире северо-западной полиции, по колению утопая в снегу, водворил порядок среди разъяренных животных, хладнокровно и бесстрастно орудуя своим бичом. Мужчины обменялись рукопожатиями; вышло так, что чужой человек приветствовал Мэйлмюта Кида в его же собственной хижине.

Стэнли Принс, который должен был встретить его и позаботиться о вышеупомянутой юконской печке и горячем чае, был занят гостями. Их было человек десять – двенадцать, самая разношерстная компания, и все они состояли на службе у королевы – одни в качестве блюстителей ее законов, другие в качестве почтальонов и курьеров. Они были разных национальностей, но жизнь, которую они вели, выковала из них определенный тип людей – худощавых, выносливых, с крепкими мускулами, бронзовыми от загара лицами, с бесстрашной душой и невозмутимым взглядом ясных, спокойных глаз. Эти люди ездили на собаках, принадлежащих королеве, вселяли страх в сердца ее врагов, кормились ее скудными милостями и были довольны своей судьбой. Они видели многое, совершали подвиги, жизнь их была полна приключений, но никто из них даже не подозревал об этом.

Они чувствовали себя здесь как дома. Двое из них растянулись на койке Мэйлмюта Кида и распевали песни, которые пели еще их предки-французы, когда впервые появились в этих местах и стали брать в жены индейских женщин. Койка Беттлза подверглась такому же нашествию: трое или четверо voyageurs, закутав ноги одеялом, слушали рассказы одного из своих спутников, служившего под командой Вулзли, когда тот пробивался к Хартуму. А когда он кончил, какой-то ковбой стал рассказывать о королях и дворцах, о лордах и леди, которых он видел, когда Буффало Билл совершал турне по столицам Европы. В углу два метиса, старые товарищи по оружию, чинили упряжь и вспоминали дни, когда на Северо-Западе полыхал огонь восстания и Луи Рейл был королем.

То и дело слышались грубые шутки и еще более грубые остроты; о необыкновенных приключениях на суше и на воде говорилось как о чем-то повседневном и заслуживающем воспоминания только ради какого-нибудь острого словца или смешного происшествия. Принс был совершенно увлечен этими не увенчанными славой героями, которые видели, как творится история, но относились к великому и романтичному как к обыкновенным будням. Он с небрежной расточительностью угощал их своим драгоценным табаком, и в благодарность



за такую щедрость разматывались ржавые цепи памяти и воскресали преданные забвению одиссеи.

Когда разговоры смолкли и путники, набив по последней трубке, стали развязывать спальные мешки, Принс обратился к своему приятелю, чтобы тот рассказал ему об этих людях.

– Ну, ты сам знаешь, что такое ковбой, – ответил Мэйлмют Кид, стаскивая мокасины, – а в жилах его товарища по койке течет кровь британца, это сразу заметно. Что касается остальных, то все они потомки *coureurs du bois*[8], и один бог ведает, какая там еще была примесь. Те двое, что улеглись в дверях, чистокровные *bois brules*[9]. Обрати внимание на брови и нижнюю челюсть вон того юнца с шерстяным шарфом – сразу видно, что в дымном вигваме у его матери побывал шотландец. А это красивый парень, который подкладывает себе под голову шинель, – француз-метис. Ты слышал, какой у него выговор? Он без особой симпатии относится к тем индейцам, что лежат с ним рядом. Дело в том, что когда метисы восстали под предводительством Рейла, чистокровные индейцы не поддержали их, и с тех пор они недолюбливают друг друга.

– Ну, а вон та мрачная личность у печки, кто это? Клянусь, он не говорит по-английски, за весь вечер не проронил ни слова.

– Ошибаешься. Английский он знает отлично. Ты обратил внимание на его глаза, когда он слушал? Я следил за ним. Но он здесь, видно, чужой. Когда разговор шел на диалекте, было ясно, что он не понимает. Я и сам не разберу, кто он такой. Давай попробуем доискаться... Подбрось-ка дров в печку, – громко сказал Мэйлмют Кид, в упор глядя на незнакомца.

Тот сразу повиновался.

– К дисциплине его где-то приучили, – вполголоса заметил Принс.

Мэйлмют Кид кивнул, снял носки и стал пробираться к печке, между растянувшимися на полу людьми; там он развесил свои мокрые носки среди двух десятков таких же промокших насквозь.

– Когда вы думаете попасть в Доусон? – спросил он, чтобы завязать разговор с незнакомцем.

Тот внимательно посмотрел на него, потом ответил:

– Туда, говорят, семьдесят пять миль? Если так, дня через два.

Он говорил с едва заметным акцентом, но свободно, не подыскивая слов.

– Бывали здесь раньше?

– Нет.

– Вы с северо-западных территорий?

– Да.

– Тамошний уроженец?

– Нет.

– Так откуда же вы родом, черт возьми? Видно, что вы не из этих. – Мэйлмют Кид кивнул в сторону всех расположившихся в хижине, включая и тех двух полисменов, что растянулись на койке Принса. – Откуда вы? Я видел раньше такие лица, как ваше, но никак не припомню, где именно.

– А я знаю вас, – неожиданно сказал незнакомец, сразу же обрывая поток вопросов Мэйлмюта Кида.

– Откуда? Разве мы встречались?

– Нет. Мне говорил о вас священник в Пастилике, ваш компаньон. Это было давно. Спрашивал, знаю ли я Мэйлмюта Кида. Дал мне провизии. Я был там недолго. Он не рассказывал вам обо мне?

– Ах, так вы тот самый человек, который менял выдр на собак?

Незнакомец кивнул, выбил трубку и завернулся в меховое одеяло, дав понять, что он не расположен продолжать разговор. Мэйлмют Кид погасил светильник, и они с Принсом залезли под одеяло.

– Ну, кто же он?

– Не знаю. Не захотел разговаривать и ушел в себя, как улитка. Любопытнейший субъект. Я о нем кое-что слышал. Восемь лет тому назад он удивил все побережье. Какая-то загадка, честное слово! Приехал с Севера в самые лютые морозы и так спешил, точно за ним сам черт гнался. Было это за много тысяч миль отсюда, у самого Берингова моря. Никто не знал, откуда он, но, судя по всему, его принесло издалека. Когда он брал провизию у шведа-миссионера в бухте Головина, вид у него был здорово измученный. А потом узнали, что он спрашивал, как проехать на юг. Из бухты он двинулся прямо через пролив Нортон. Погода была ужасная, пурга, буря, а ему хоть бы что. На его месте другой давно отправился бы на тот свет. В форт Сент-Майкл он не попал, а выбрался на берег у Пастилики, всего-навсего с двумя собаками и полумертвый от голода.

Он так торопился в путь, что отец Рубо снабдил его провизией, но собак не мог дать, потому что ждал моего приезда и должен был сам отправиться в путь. Наш Улисс знал, что значит путешествовать по Северу без собак, и несколько дней он рвал и метал. На нартах у него лежала груда отлично выделанных шкурок морской выдры – а мех ее, как известно, ценится на вес золота. В это время в Пастилике жил русский купец, скупой, как Шейлок, собак у него хоть отбавляй. Торговались они недолго, и когда наш чудак отправился на Юг, в упряжке у него бежал десяток свежих собак, а мистер Шейлок получил, разумеется, выдру. Я видел эти шкуры – великолепные! Мы подсчитали, и вышло, что каждая собака принесла тому купцу по крайней мере пятьсот долларов чистой прибыли. Не думай, что мистер Улисс не знал цен на морскую выдру. Хоть он из индейцев, но по выговору видно, что жил среди белых.

Когда море очистилось ото льда, мы узнали, что этот чудак запасается провизией на острове Нунивак. Потом он совсем исчез, и восемь лет о нем ничего не было слышно. Из каких краев теперь он явился, чем занимался и зачем пришел? Индеец неизвестно, где побывал. Привык, видно, к дисциплине. А это для индейца не совсем обычно. Еще одна загадка Севера, попробуй ее раскусить, Принс.

– Благодарю покорно! У меня и своих много, – ответил тот.

Мэйлмют Кид уже начал похрапывать, но молодой горный инженер лежал с открытыми глазами, всматриваясь в густой мрак и ожидая, когда утихнет охватившее его непонятное волнение. Потом он заснул, но его мозг продолжал работать, и всю ночь он блуждал по неведомым снежным просторам, вместе с собаками преодолевал бесконечные переходы и видел во сне людей, которые жили, трудились и умирали так, как подобает настоящим людям.

На следующее утро, задолго до рассвета, курьеры и полисмены выехали на Доусон. Но силы, которые стояли на страже интересов ее величества и распорядились судьбами ее

подданных, не давали курьерам отдыха. Неделю спустя они снова появились у реки Стюарт с грузом почты, которую нужно было доставить к Соленой Воде. Правда, собаки были заменены свежими, но ведь на то они и собаки.

Люди мечтали хотя бы о небольшой передышке. Кроме того, Клондайк был новым северным центром, и им хотелось пожить немного в этом Золотом Городе, где золотой песок льется, как вода, а в танцевальных залах никогда не прекращается веселье. Но, как и в первое свое посещение, они сушили носки и с удовольствием курили трубки. И лишь несколько смельчаков строили планы, как можно дезертировать, пробравшись через неисследованные Скалистые горы на восток, а оттуда по долине Маккензи двинуться в знакомые места, в страну индейцев Чиппева. Двое-трое даже решили по окончании срока службы тем временем возвращаться домой, заранее радуясь этому рискованному предприятию примерно так, как горожанин радуется воскресной прогулке в лес.

Странный незнакомец был, казалось, чем-то встревожен и не принимал участия в разговорах. Наконец, он отозвал в сторону Мэйлмюта Кида и некоторое время вполголоса с ним разговаривал. Принс с любопытством наблюдал за ними; и загадка стала для него еще неразрешимее, когда оба надели шапки и рукавицы и вышли наружу. Вернувшись, Мэйлмют Кид поставил на стол весы для золота, отвесил шестьдесят унций золотого песка и пересыпал его в мешок незнакомца. Потом к совету был привлечен старший погонщик, и с ним тоже была заключена какая-то сделка. На следующий день вся компания отправилась вверх по реке, а владелец выдровых шкур взял с собой немного провизии и повернул обратно, по направлению к Доусону.

Я положительно не понимаю, что все это значит, – сказал Мэйлмют Кид в ответ на вопросы Принса. – Бедняга твердо решил освободиться от службы. По-видимому, для него это очень важно, но причин он не объяснил. У них, как в армии: он обязался служить два года, а если хочешь уйти раньше срока, надо откупиться. Дезертировать и оставаться в здешних краях нельзя, а остаться ему почему-то необходимо. Он это еще в Доусоне надумал, но денег у него не было ни цента, а там его никто не знал. Я единственный человек, который перекинулся с ним несколькими словами. Он поговорил с начальством и добился увольнения, в случае если я дам ему денег – в долг, разумеется. Обещал вернуть в течение года и, если я захочу, показать местечко, где уйма золота. Сам он и в глаза его не видел, но твердо уверен, что оно существует.

Когда они вышли, он чуть не плакал. Просил, умолял, валялся передо мной на коленях, пока я не поднял его. Болтал какую-то чепуху, как сумасшедший. Клялся, что работал годами, чтобы дожить до этой минуты, и не перенесет разочарования. Я спросил его, до какой минуты, но он не ответил. Сказал только что боится, как бы его не послали на другой участок, откуда он только года через два попадет в Доусон, а тогда будет слишком поздно. Я в жизни не видал, чтобы человек так убивался. А когда я согласился дать ему взаймы, мне опять пришлось вытаскивать его из снега. Говорю: «Считайте, что вы меня взяли в долю». Куда там! И слышать не хочет! Стал клясться, что отдаст мне всю свою добычу, сулил такие сокровища, которые не снились и скупцу, и все такое прочее. А когда человек берет кого-нибудь в долю, потом ему бывает жалко поделиться даже половиной добычи. Нет, Принс, здесь что-то кроется, помяни мое слово. Мы еще услышим о нем, если он останется в наших краях.

– А если нет?

– Тогда великодушию моему будет нанесен удар и плакали мои шестьдесят унций.

Снова настали холода и с ними долгие ночи. Уже солнце начало свою извечную игру в прятки у снежной линии горизонта на юге, а должник Мэйлмюта Кида все не появлялся. Но однажды в тусклое январское утро перед хижинкой Кида у реки Стюарт остановилось несколько тяжело

нагруженных нарт. То был владелец выдровых шкур, а с ним человек той породы, которую боги теперь уже почти разучились создавать. Когда речь заходила об удаче, отваге, о сказочных россыпях, люди всегда вспоминали Акселя Гундерсона. Он незримо присутствовал на ночных стоянках у костра, когда велись долгие беседы о мужестве, силе и смелости. А если разговор уже не клеился, то, чтобы оживить его, достаточно было назвать имя женщины, которая делила с Акселем Гундерсоном его судьбу.

Как уже было сказано, при сотворении Акселя Гундерсона боги вспомнили свое былое искусство и создали его по образу и подобию тех, кто рождался, когда мир был еще молод. Семи футов росту, грудь, шея, руки и ноги великана. Лыжи его были длиннее обычных на добрый ярд, иначе им бы не выдержать эти триста фунтов мускулов и костей, облаченных в живописный костюм короля Эльдорадо. Его суровое, словно высеченное из камня лицо с нависшими бровями, тяжелым подбородком и немигающими светло-голубыми глазами говорило о том, что этот человек признает только один закон – закон силы. Заиндевшие, золотистые, как спелая рожь, волосы, сверкая, словно свет во тьме, спадали на куртку из медвежьего меха. Когда Аксель Гундерсон шагал по узкой тропе впереди собак, в нем было что-то от древних мореплавателей. Он так властно постучал рукояткой бича в дверь Мэйлмюта Кида, как во время набега стучал некогда в запертые ворота замка какой-нибудь скандинавский викинг.

Обнажив свои белые, как у женщины, руки, Принс месил тесто, бросая время от времени взгляды на троих гостей – троих людей, каких не часто встретишь под одной крышей. Чудак, которого Мэйлмют Кид прозвал Улиссом, все еще интересовал молодого инженера; но еще больший интерес возбуждали в нем Аксель Гундерсон и его жена. Путешествие ее утомило, потому что, с тех пор как ее муж наткнулся на золото в этой ледяной пустыне, она спокойно жила в уютном домике и эта жизнь изнежила ее. Теперь она отдыхала, прислонившись к широкой груди мужа, словно нежный цветок к стене, и лениво отвечала на добродушные шутки Мэйлмюта Кида. Мимолетные взгляды глубоких черных глаз этой женщины странно волновали Принса, ибо Принс был мужчина, здоровый мужчина, и в течение многих месяцев почти не видел женщин. Она была старше его, к тому же индианка. Но он не находил в ней ничего общего с теми скво, которых ему доводилось встречать. Она много путешествовала, побывала, как выяснилось из разговора, и на его родине, знала то, что знали женщины белой расы, и еще многое, чего им не дано знать. Она умела приготовить кушанье из вяленой рыбы и устроить постель в снегу; однако сейчас она дразнила их мучительно подробным описанием изысканных обедов и волновала воспоминаниями о всевозможных блюдах, о которых они уже успели забыть. Она знала повадки лося, медведя, голубого песка и земноводных обитателей северных морей, ей были известны тайны лесов и потоков, и она читала, как открытую книгу, следы, оставленные человеком, птицей или зверем на тонком снежном насте. Однако сейчас Принс заметил, как лукаво сверкнули ее глаза, когда она увидела на стене правила для обитателей стоянки. Эти правила, составленные неисправимым Беттлзом в те времена, когда молодая кровь играла в его жилах, были замечательны выразительным грубоватым юмором. Перед приездом женщин Принс обычно поворачивал надпись к стене. Но кто бы подумал, что эта индианка... Ну, теперь уже ничего не поделаешь.

Так вот она какая, жена Акселя Гундерсона, женщина, чье имя и слава облетели весь Север наравне с именем и славой ее мужа! За столом Мэйлмют Кид на правах старого друга поддразнивал ее, и Принс, преодолев смущение первого знакомства, тоже присоединился к нему. Но она ловко защищалась в этой словесной перепалке, а муж ее, не отличавшийся остроумием, только одобрительно улыбался. Он гордился ею. Каждый его взгляд, каждое движение красноречиво говорили о том, какое большое место она занимает в его жизни. Владелец выдровых шкур ел молча, всеми забытый в этой оживленной беседе; он встал из-за стола прежде, чем остальные кончили есть, и вышел к собакам. Впрочем, и его спутникам пришлось вскоре надеть рукавицы и парки и последовать за ним.

Уже несколько дней не было снегопада, и нарты легко, как по льду, скользили по накатанной юконской тропе. Улисс вел первую упряжку, а со второй шли Принс и жена Акселя Гундерсона, а Мэйлмют Кид и златокудрый гигант вели третью.

– Мы идем наудачу, Кид, – сказал Аксель Гундерсон, – но я думаю, что дело верное. Сам он никогда там не был, но рассказывает много интересного. Показал мне карту, о которой я слышал в Кутнэе несколько лет тому назад. Мне бы очень хотелось взять тебя с собой. Да он какой-то странный, клянется, что бросит все, если к нам кто-нибудь присоединится. Но дай мне только вернуться, и я выделю тебе лучший участок рядом со своим и, кроме того, возьму тебя в половинную долю, когда начнет строиться город... Нет! Нет! – воскликнул он, не давая Киду перебить себя. – Это мое дело. Ум хорошо, а два лучше. Если все удастся, это будет второй Криппл. Понимаешь, второй Криппл! Ведь там не россыпь, а кварцевая жила. И если взяться за дело как следует, все достанется нам – миллионы и миллионы! Я слышал об этом месте раньше, да и ты тоже. Мы построим город... тысячи рабочих, прекрасные водные пути, пароходные линии... Займемся фрахтовым делом, пустим в верховья легкие суда... Может быть, проложим железную дорогу... Потом построим лесопильные заводы, электростанцию... будет у нас собственный банк, акционерное общество, синдикат... Только держи язык за зубами, пока я не вернусь!

Нарты остановились в том месте, где тропа пересекала устье реки Стюарт. Сплошное море льда тянулось к далекому неведомому востоку. От нарт отвязали лыжи. Аксель Гундерсон попрощался и двинулся вперед первым; его огромные канадские лыжи уходили на пол-ярда в рыхлый снег и уминали его, чтобы собаки не проваливались. Жена Акселя Гундерсона шла за последними нартами, искусно справляясь с неудобными лыжами. Прощальные крики нарушили тишину, собаки взвизгнули, и владелец выдровых шкур вытянул бичом непокорного жоака.

Час спустя санный поезд казался издали черным карандашиком, медленно ползущим по огромному листу белой бумаги.

2

Как-то вечером, несколько недель спустя, Мэйлмют Кид и Принс решали шахматные задачи из какого-то старого журнала. Кид только что вернулся со своего участка на Бонанзе и отдыхал, готовясь к большой охоте на лосей. Принс тоже скитался почти всю зиму и теперь с наслаждением вкушал блаженный отдых в хижине.

– Загородись черным конем и дай шах королю... Нет, так не годится. Смотри, следующий ход...

– Зачем продвигать пешку на две клетки? Ее можно взять на проходе, а слон вне игры.

– Нет, стой! Тут не защищено, и...

– Нет, защищено. Валяй дальше! Вот увидишь, что получится.

Задача была интересная. В дверь постучались дважды, и только тогда Мэйлмют Кид сказал: «Войдите!» Дверь распахнулась. Кто-то, пошатываясь, ввалился в комнату. Принс посмотрел на вошедшего и вскочил на ноги. Ужас, отразившийся на его лице, заставил Мэйлмюта Кида круто повернуться, и он, в свою очередь, тоже испугался, хотя видывал виды на своем веку. Странное существо, ковыляя, приближалось к ним. Принс стал пятиться до тех пор, пока не нащупал гвоздь на стене, где висел его смит-и-вессон.

– Господи боже, кто это? – прошептал он.

– Не знаю. Верно, обмороженный и голодный, – ответил Кид, отступая в противоположную сторону. – Берегись! Может быть, он даже сумасшедший, – предостерег он Принса, закрыв дверь.

Странное существо подошло к столу. Яркий свет ударил ему прямо в глаза, и раздалось жуткое хихиканье, по-видимому, от удовольствия. Потом вдруг человек – потому что это все-таки был человек – отпрянул от стола, подтянул свои кожаные штаны и затыкнул песенку – ту, что поют матросы на корабле, вращая рукоятку ворота и прислушиваясь к гулу моря:

Корабль идет вниз по реке.

Налегай, молодцы, налегай!

Хочешь знать, как зовут капитана?

Налегай, молодцы, налегай!

Джонатан Джонс из Южной Каролины,

Налегай, молодцы...

Песня оборвалась на полуслове, человек со звериным рычанием бросился к полке с припасами и, прежде чем они успели его остановить, впился зубами в кусок сырого сала. Он отчаянно сопротивлялся Мэйлмюту Киду, но силы быстро оставили его, и он выпустил добычу. Друзья усадили его на табурет, он упал лицом на стол. Несколько глотков виски вернули ему силы, и он запустил ложку в сахарницу, которую Мэйлмют Кид поставил перед ним. После того, как он пресытился сладким, Принс, содрогаясь, подал ему чашку слабого мясного бульона.

Глаза этого существа светились мрачным безумием; оно то разгоралось, то гасло с каждым глотком. В сущности говоря, в его изможденном лице не осталось ничего человеческого. Оно было обморожено, и виднелись еще не зажившие старые рубцы. Сухая, потемневшая кожа потрескалась и кровоточила. Его меховая одежда была грязная и вся в лохмотьях, мех с одной стороны подпален, а местами выжжен – видно, человек заснул у горящего костра.

Мэйлмют Кид показал на то место, где дубленую кожу срезали полосками, – ужасный знак голода.

– Кто вы такой? – медленно, отчетливо проговорил Кид.

Человек будто не слышал вопроса.

– Откуда вы пришли?

– Корабль плывет вниз по реке, – дрожащим голосом затыкнул незнакомец.

– Плывет, и черт с ним! – Кид тряхнул человека за плечи, пытаясь заставить его говорить более вразумительно.

Но человек вскрикнул, видимо, от боли, и схватился рукой за бок, потом с усилием поднялся, опираясь на стол.

– Она смеялась... и в глазах у нее была ненависть... Она... она не пошла со мной.

Он умолк и зашатался. Мэйлмют Кид крикнул, схватив его за руку:

– Кто? Кто не пошел?

– Она, Унга. Она засмеялась и ударила меня – вот так... А потом...

– Ну?

– А потом...

– Что потом?

– Потом он лежал на снегу тихо-тихо, долго лежал. Он и сейчас там.

Друзья растерянно переглянулись.

– Кто лежал на снегу?

– Она, Унга. Она смотрела на меня, и в глазах у нее была ненависть, а потом...

– Ну? Ну?

– Потом она взяла нож и вот так – раз-два. Она была слабая. Я шел очень медленно. А там много золота, в этом месте очень много золота...

– Где Унга?

Может быть, эта Унга умирала где-нибудь совсем близко, в миле от них. Мэйлмют Кид грубо тряс несчастного за плечи, повторяя без конца:

– Где Унга? Кто такая Унга?

– Она там... в снегу.

– Говори же! – И Кид крепко сжал ему руку.

– Я тоже... остался бы... в снегу... но мне... надо уплатить долг... Надо уплатить... Тяжело нести... надо уплатить... долг... – Оборвав свою бессвязную речь, он сунул руку в карман и вытащил оттуда мешочек из оленьей кожи.

– Уплатить долг... пять фунтов золотом... Мэйлмюту Киду... Я...

Он упал головой на стол, и Мэйлмют Кид уже не мог поднять его.

– Это Улисс, – сказал он спокойно, бросив на стол мешок с золотым песком. – Видимо, Акселю Гундерсону и его жене пришел конец. Давай положим его на койку, под одеяло. Он индеец, выживет и кое-что нам порасскажет.

Разрезая на нем одежду, они увидели с правой стороны груди две ножевые раны.

3

– Я расскажу вам обо всем, как умею, но вы поймете. Я начну с самого начала и расскажу о

себе и о ней, а потом уже о нем.

Человек подвинулся ближе к печке, словно боясь, что огонь, этот дар Прометея, вдруг исчезнет – так делают те, которые долго были лишены тепла. Мэйлмют Кид opravил светильник и поставил его поближе, чтобы свет падал на лицо рассказчика. Принс уселся на койку и приготовился слушать.

– Меня зовут Наас, я вождь и сын вождя, родился между закатом и восходом солнца на бурном море, в умиаке моего отца. Мужчины всю ночь работали веслами, а женщины выкачивали воду, которая заливала нас. Мы боролись с бурей. Соленые брызги замерзали на груди моей матери и ее дыхание ушло вместе с приливом. А я, я присоединил свой голос к голосу бури и остался жить. Наше становище было на Акатане...

– Где, где? – спросил Мэйлмют Кид.

– Акатан – это Алеутские острова. Акатан далеко за Чигником, за Кардалаком, за Унимаком. Как я уже сказал, наше становище было на Акатане, который лежит посреди моря на самом краю света. Мы добывали в соленой воде тюленей, рыбу и выдр; и наши хижины жались одна к другой на скалистом берегу, между опушкой леса и желтой отмелью, где лежали наши каяки. Нас было немного, и наш мир был очень мал. На востоке были чужие земли – острова вроде Акатана; и нам казалось, что мир – это острова, и мы привыкли к этой мысли.

Я отличался от людей своего племени. На песчаной отмели валялись гнутые брусья и покоробившиеся доски от большой лодки. Мой народ не умел делать таких лодок. И я помню, что на краю острова, там, где с трех сторон виден океан, стояла сосна – гладкая, прямая и высокая. Такие сосны редко растут в наших местах. Рассказывали, что как-то раз в этом месте высадились два человека и пробыли там много дней. Эти двое приехали из-за моря на той лодке, обломки которой я видел на берегу. Они были белые, как вы, и слабые, точно малые дети в голодные дни, когда тюлени уходят и охотники возвращаются домой с пустыми руками. Я слышал этот рассказ от стариков и старух, а они от своих отцов и матерей. Вначале белым чужеземцам не нравились наши обычаи, но потом они привыкли к ним и окрепли, питаюсь рыбой и жиром, и стали свирепыми. Они построили себе по хижине, и они взяли себе в жены лучших женщин нашего племени, а потом у них появились дети. Так родился тот, кто стал отцом моего деда.

Я уже сказал, что был не такой, как другие люди моего племени, ибо в моих жилах текла сильная кровь белого человека, который появился из-за моря. Говорят, что до прихода этих людей у нас были другие законы. Но белые были свирепы и драчливы. Они сражались с нашими мужчинами, пока не осталось ни одного, кто осмелился бы вступить с ними в бой. Потом они стали нашими вождями, уничтожили наши старые законы и дали нам новые, по которым мужчина был сыном отца, а не матери, как было раньше. Они установили, что первенец получает все, что принадлежало его отцу, а младшие братья и сестры должны сами заботиться о себе. И они дали нам много других законов. Показали, как лучше ловить рыбу и охотиться на медведей, которых так много в наших лесах, и научили нас делать большие запасы на случай голода. И это было хорошо.

Но когда эти белые люди стали нашими вождями и не осталось среди нас людей, которые могли бы им противиться, они начали ссориться между собой. И тот, чья кровь течет в моих жилах, пронзил своим копьем тело другого. Дети их продолжали борьбу, а потом дети их детей. Они враждовали между собой и творили черные дела и тогда, когда родился я, и наконец в обеих семьях осталось только по одному человеку, которые могли передать потомству кровь тех, кто был до нас. В моей семье остался я, в другой – девочка Унга, которая жила со своей матерью. Как-то ночью наши отцы не вернулись с рыбной ловли, но потом, во время большого прилива, их тела прибило к берегу, и они, мертвые, лежали на отмели, крепко сцепившись друг с другом.



И люди дивились на эту вражду, а старики говорили, что вражда эта будет продолжаться и тогда, когда и у Унги и у меня родятся дети. Мне говорили об этом, когда я был еще мальчишкой, и под конец я стал видеть в Унге врага, ту, чьи дети будут врагами моих детей. Я думал об этом целыми днями, а став юношей, спросил, почему так должно быть, и мне отвечали: «Мы не знаем, но так было при ваших отцах». И я дивился, почему те, которые придут за нами, обречены продолжать борьбу тех, кто уже ушел, и не видел в этом справедливости. Но люди племени говорили, что так должно быть, а я был тогда еще юношей.

Мне говорили, что я должен спешить, чтобы дети мои были старше детей Унги и успели раньше возмужать. Это было легко, ибо я возглавлял племя и люди уважали меня за подвиги и обычаи моих отцов и за богатство. Любая девушка охотно пришла бы в мою хижину, но я ни одной не находил себе по сердцу. А старики и матери девушек торопили меня, говоря, что многие охотники предлагают большой выкуп матери Унги, и если ее дети вырастут раньше, они убьют моих детей.

Но я все не находил себе девушки по сердцу. И вот как-то вечером я возвращался с рыбной ловли. Солнце стояло низко, лучи его били прямо мне в глаза. Дул свежий ветер, и каяки неслись по белым волнам. И вдруг мимо меня пронесся каяк Унги, и она взглянула мне в лицо. Ее волосы, черные, как туча, развевались, на щеках блестели брызги. Как я уже сказал, солнце било мне в глаза, и я был еще юношей, но тут я почувствовал, как кровь во мне заговорила, и мне все стало ясно. Унга обогнала мой каяк и опять посмотрела на меня – так смотреть могла одна Унга, – и я опять почувствовал, как кровь говорит во мне. Люди кричали нам, когда мы проносились мимо неповоротливых умиаков, оставляя их далеко позади. Унга быстро работала веслами, мое сердце было словно поднятый парус, но я не мог ее догнать. Ветер крепчал, море покрылось белой пеной, и, прыгая, словно тюлени по волнам, наши каяки скользили по золотой солнечной дороге.

Наас сгорбился на стуле, словно он опять, работая веслами, гнался по морю в своем каяке. Быть может, там, за печкой, виделся ему несущийся каяк и развевающиеся волосы Унги. Ветер свистел у него в ушах, и в ноздри бил соленый запах моря.

– Она причалила к берегу, и, смеясь, побежала по песку к хижине своей матери. И в ту ночь великая мысль посетила меня – мысль, достойная того, кто был вождем народа Акатана. И вот, когда взошла луна, я направился к хижине ее матери и посмотрел на дары Яш-Нуша, сложенные у дверей, – дары Яш-Нуша, отважного охотника, который хотел стать отцом детей Унги. Были и другие, которые тоже складывали свои дары грудой у этих дверей, а потом уносили их назад нетронутыми, и каждый старался, чтобы его груды были больше чужой.

Я посмотрел на луну и звезды, засмеялся и пошел к своей хижине, где хранились мои богатства. И много раз я ходил туда и обратно, пока моя груды не стала выше груды Яш-Нуша на целую ладонь. Там была копченая и вяленая рыба, и сорок тюленьих шкур, и двадцать котиковых, причем каждая шкура была перевязана и наполнена жиром, и десять шкур медведей, которых я убил в лесу, когда они выходили весной из своих берлог. И еще там были бусы, и одеяла, и пунцовые ткани, которые я выменял у людей, живущих на востоке, а те, в свою очередь, выменяли их у людей, живущих еще дальше на востоке. Я посмотрел на дары Яш-Нуша и засмеялся, ибо я был вождем Акатана, и мое богатство было больше богатства всех остальных юношей, и мои отцы совершали подвиги и устанавливали законы, навсегда оставив свои имена в памяти людей.

А когда наступило утро, я спустился на берег и краешком глаза стал наблюдать за хижинной матери Унги. Дары мои стояли нетронутыми. И женщины хитро улыбались и тихонько переговаривались между собой. Я не знал, что подумать: ведь никто прежде не предлагал такого большого выкупа. И в ту ночь я прибавил много вещей, и среди них был каяк из дубленой кожи, который еще не спускали на воду. Но и на следующий день все оставалось

нетронутым, на посмешище людям. Мать Унги была хитра, а я разгневался за то, что она позорила меня в глазах моего народа. И в ту ночь я принес к дверям хижины много других даров, и среди них был мой умиак, который один стоил двадцати каяков. Наутро все мои дары исчезли.

И тогда я начал готовиться к свадьбе, и на потлач к нам пришли за угощением и подарками даже люди, жившие далеко на востоке. Унга была старше меня на четыре солнца, – так считаем мы годы. Я в ту пору еще не вышел из юношеских лет, но я был вождем и сыном вождя, и молодость не была помехой.

И вот в океане показалось парусное судно, и оно приближалось с каждым порывом ветра. В нем, как видно, была течь – матросы торопливо откачивали воду насосами. На носу стоял человек огромного роста; он смотрел, как измеряли глубину, и отдавал приказания громовым голосом. У него были синие глаза – цвета глубоких вод, и грива, как у льва. Волосы у этого великана были желтые, словно пшеница, растущая на юге, или манильская пенька, из которой матросы плетут канаты.

В последние годы мы не раз видели проплывающие вдали корабли, но этот корабль первый пристал к берегу Акатана. Пир наш был прерван, дети и жены разбежались по домам, а мы, мужчины, схватились за луки и копья. Нос судна врезался в берег, но чужестранцы, занятые своим делом, не обращали на нас никакого внимания. Как только прилив спал, они накренили шхуну и стали чинить большую пробоину в днище. Тогда женщины опять выползли из хижин, и наше пиршество продолжалось.

С началом прилива мореплаватели отвели свою шхуну на глубокое место и пришли к нам. Они принесли с собой подарки и были дружелюбны. Я усадил их у костра и щедро преподнес им такие же подарки, как и другим гостям, ибо это был день моей свадьбы, а я был первым человеком на Акатане. Человек с львиной гривой тоже пришел к нам. Он был такой высокий и сильный, что, казалось, земля дрожит под тяжестью его шагов. Он долго и пристально смотрел на Унгу, сложив руки на груди – вот так, и не уходил, пока не зашло солнце и не зажглись звезды. Тогда он вернулся на свой корабль. А я взял Унгу за руку и повел ее к себе в дом. И все вокруг пели и смеялись, а женщины подшучивали над нами, как это всегда бывает на свадьбах. Но мы ни на кого не обращали внимания. Потом все разошлись по домам и оставили нас вдвоем.

Шум голосов еще не успел затихнуть, как в дверях появился вождь мореплавателей. Он принес с собой четыре бутылки, мы пили из них и развеселились. Ведь я был еще совсем юношей и все свои годы прожил на краю света. Кровь моя стала, как огонь, а сердце – легким, как пена, которая во время прибоя летит на прибрежные скалы. Унга молча сидела в углу на шкурах, и глаза ее были широко раскрыты от страха. Человек с гривой пристально и долго смотрел на нее. Потом пришли его люди с тюками и разложили передо мной богатства, равным которых не было на всем Акатане. Там были ружья, большие и маленькие, порох, патроны и пули, блестящие топоры, стальные ножи и хитроумные орудия и другие необыкновенные вещи, которых я никогда не видел. Когда он показал мне знаками, что все это – мое, я подумал, что это великий человек, если он так щедр. Но он показал мне также, что Унга должна пойти с ним на его корабль! Кровь моих отцов закипела во мне, и я бросился на него с копьем. Но дух, заключенный в бутылках, отнял силу у моей руки, и человек с львиной гривой схватил меня за горло – вот так, и ударил головой об стену. И я ослабел, как новорожденный младенец, и ноги мои подкосились. Тогда тот человек потащил Унгу к двери, а она кричала и цеплялась за все, что попадалось ей на пути. Потом он подхватил ее своими могучими руками, и когда она вцепилась ему в волосы, он загоготал, как большой тюлень-самец во время случки.

Я дополз до берега и стал кричать, сзывая своих, но никто не решался выйти. Один Яш-Нуш оказался мужчиной. Но его ударили веслом по голове, и он упал лицом в песок и замер.

Чужестранцы под звуки песни подняли паруса, и корабль их понесся, подгоняемый ветром.

Народ говорил, что это к добру, что не будет больше кровавой вражды на Акатане. Но я молчал и стал ждать полнолуния. Когда оно наступило, я положил в свой каяк запас рыбы и жира и отплыл на восток. По пути мне попадалось много островов и много людей; и я, который жил на краю света, понял, что мир очень велик. Я объяснялся знаками. Но никто не видел ни шхуны, ни человека с львиной гривой, и все показывали дальше на восток. И я спал где придется, ел непривычную мне пищу, видел странные лица. Многие смеялись надо мной, принимая за сумасшедшего, но иногда старики поворачивали лицо мое к свету и благословляли, а глаза молодых женщин увлажнялись, когда я рассказывал о загадочном корабле, об Унге, о людях с моря.

И вот через суровые моря и бушующие волны я добрался до Уналашки. Там стояли две шхуны, но ни одна из них не была той, которую я искал. И я поехал дальше на восток, и мир становился все больше, но никто не слышал о том корабле ни на острове Унимаке, ни на Кадьяке, ни на Афогнаке. И вот однажды я прибыл в скалистую страну, где люди рыли большие ямы на склонах гор. Там стояла шхуна, но не та, что я искал, и люди грузили ее камнями, добытыми в горах. Это показалось мне детской забавой, – ведь камни повсюду можно найти; но меня накормили и заставили работать. Когда шхуна глубоко осела в воде, капитан дал мне денег и отпустил. Но я спросил его, куда он держит путь, и он указал на юг. Я объяснил ему знаками, что хочу ехать с ним; сначала он рассмеялся, но потом оставил меня на шхуне, так как у него не хватало матросов. Там я научился говорить на их языке, и тянуть канаты, и брать рифы на парусах во время шквала, и стоять на вахте. И в этом не было ничего удивительного, ибо в жилах моих отцов текла кровь мореплавателей.

Я думал, что теперь, когда я живу среди белых людей, мне будет легко найти того, кого я искал. Когда мы достигли земли и вошли через пролив в порт, я ждал, что вот сейчас увижу много шхун – ну, столько, сколько у меня пальцев на руках. Но их оказалось гораздо больше, – как рыб в стае, и они растянулись на много миль вдоль берега. Я ходил с одного корабля на другой и всюду спрашивал о человеке с львиной гривой, но надо мной смеялись и отвечали мне на языках многих народов. И я узнал, что эти корабли пришли сюда со всех концов света.

Тогда я отправился в город и стал заглядывать в лицо каждому встречному. Но людей в городе было не счесть, – как трески, когда она густо идет вдоль берега. Шум оглушил меня, и я уже ничего не слышал, и голова моя кружилась от сутолоки. Но я продолжал свой путь – через страны, звеневшие песней под горячим солнцем, страны, где на полях созрел богатый урожай, где большие города были полны мужчин, изнеженных, как женщины, лживых и жадных до золота. А тем временем на Акатане мой народ охотился, ловил рыбу и думал, что мир мал, и был счастлив в своем неведении.

Но взгляд, который бросила Унга, возвращаясь с рыбной ловли, преследовал меня, и я знал, что найду ее, когда настанет час. Она шла по тихим переулкам в вечерние сумерки и следовала за мной по тучным полям, влажным от утренней росы, и глаза ее обещали то, что могла дать только Унга.

Я прошел тысячи городов. И люди, жившие в этих городах, то жалели меня и давали пищу, то смеялись, а некоторые встречали бранью. Но я, стиснув зубы, жил по чужим обычаям и видел многое, что было чуждо мне. Часто я, вождь и сын вождя, работал на людей грубых и жестких, как железо, – людей, которые добывали золото потом и кровью своих братьев. Но нигде я не получил ответа на свой вопрос о людях, которых искал, до тех пор, пока не вернулся к морю, как морж на лежбище. Это было уже в другом порту, в другой стране, которая лежит на Севере. И там я услышал рассказы о желтоволосом морском бродяге и узнал, что сейчас он в океане охотится за тюленями.

Я сел на охотничье судно с ленивыми сивашами, и мы пустились по пути, не оставляющему следов, на север, где в то время шла охота на тюленей. Мы провели не один томительный месяц на море и всюду расспрашивали о том, кого я искал, и слышали многое о нем, но самого его не встретили нигде.

Мы отправились дальше на север, к островам Прибылова, и били тюленей стадами на берегу, и приносили их еще теплыми на борт; и наконец на палубе стало так скользко от жира и крови, что нельзя было удержаться на ногах. За нами погнался корабль, который обстрелял нас из больших пушек. Мы подняли все паруса, так что наша шхуна стала зарываться носом в волны, и быстро скрылись в тумане.

Потом я слышал, что, пока мы в страхе спасались от преследования, желтоволосый бродяга высадился на островах Прибылова, пришел в факторию, и в то время, как часть его команды держала служащих взаперти, остальные вытащили из склада десять тысяч сырых шкур и погрузили на свой корабль. Это слухи, но я им верю. В своих скитаниях я никогда не встречал этого человека, но слава о нем и о его жестокости и отваге гремела по северным морям, так что, наконец, три народа, владевшие землями в тех краях, снарядили корабли в погоню за ним. Я слышал и об Унге, многие капитаны пели ей хвалу, прославляя ее в своих рассказах. Она была всегда с ним. Говорили, что она переняла обычаи его народа и теперь счастлива. Но я знал, что это не так, – я знал, что сердце Унги рвется назад к ее народу, к песчаным берегам Акатана.

Прошло много времени, и я вернулся в гавань, которая служит воротами в океан, и там я узнал, что желтоволосый ушел охотиться на котиков к берегам теплой страны, которая лежит южнее русских морей. И я, ставший к тому времени настоящим моряком, сел на корабль вместе с людьми его крови и понесся следом за ним на охоту за котиками.

Немногие корабли отправлялись туда, но мы напали на большое стадо котиков и всю весну гнали его на север. И когда брюхатые самки повернули в русские воды, наши матросы испугались и стали роптать, потому что стоял сильный туман и шлюпки гибли каждый день. Они отказались работать, и капитану пришлось повернуть судно обратно. Но я знал, что желтоволосый бродяга ничего не боится и будет преследовать стадо вплоть до русских островов, куда не многие решаются заходить. И вот темной ночью я взял шлюпку, воспользовавшись тем, что вахтенный задремал, и поплыл один в теплую страну. Я держал курс на юг и вскоре очутился в бухте Иеддо, где встретил много непокорных и отважных людей. Девушки Иошивары были маленькие, красивые и быстрые, как ртуть. Но я не мог там оставаться, зная, что Унга несется по бурным волнам к берегам Севера.

В бухте Иеддо собрались люди со всех концов света; у них не было родины, они не поклонялись никаким богам и плавали под японским флагом. И я отправился с ними к богатым берегам Медного острова, где наши трюмы доверху наполнились шкурами. В этом безлюдном море мы никого не встретили, пока не повернули обратно. Однажды сильный ветер рассеял туман, и мы увидели позади нас шхуну, а в ее кильватере дымящиеся трубы русского военного судна. Мы понеслись вперед на всех парусах, а шхуна нагоняла нас, делая три фута, пока мы делали два. И на корме шхуны стоял человек с львиной гривой и, схватившись за поручни, смеялся, гордясь своей силой. И Унга была с ним – я тотчас же узнал ее, – но когда пушки русских открыли огонь, он послал ее вниз. Как я уже сказал, шхуна делала три фута на два наших, и, когда налетала волна, можно было видеть ее днище. Я с проклятиями ворочал штурвалом, не оглядываясь на грохочущие пушки русских. Мы понимали, что он хочет обогнать наше судно и уйти от погони, пока русские будут возиться с нами. У нас сбили мачты, и мы неслись по ветру, как раненая чайка, а он исчез на горизонте – он и Унга.

Что нам было делать? Свежие шкуры говорили сами за себя. Нас отвели в русскую гавань, а оттуда послали в пустынную страну, где заставили работать в соляных копиях. И некоторые

умерли там, а некоторые... остались жить.

Наас сбросил одеяло с плеч и обнажил тело, исполосованное страшными рубцами. То были, несомненно, следы кнута. Принс торопливо прикрыл его вновь: зрелище было не из приятных.

– Долго мы томились там. Иногда люди убегали на юг, но их неизменно возвращали назад. И вот однажды ночью мы – те, кто был из бухты Иеддо, – отняли ружья у стражи и двинулись на север. Кругом тянулись непроходимые болота и дремучие леса, и конца им не было видно. Настали холода, земля покрылась снегом, а куда нам идти, никто не знал. Долгие месяцы бродили мы по необъятным лесам – я всего не помню, потому что у нас было мало пищи, и часто мы ложились и ждали смерти. Наконец трое из нас достигли холодного моря. Один из троих был капитан из Иеддо. Он знал, где лежат большие страны, и помнил место, где можно перейти по льду из одной страны в другую. И капитан повел нас туда. Сколько мы шли, не знаю, но это было очень долго, и под конец нас осталось двое. Мы дошли до места, о котором он говорил, и встретили там пятерых людей из того народа, что живет в этой стране; и у них были собаки и шкуры, а у нас не было ничего. Мы бились с ними на снегу, и ни один не остался в живых, и капитан тоже был убит, а собаки и шкуры достались мне. Тогда я пошел по льду, покрытому трещинами, и меня унесло на льдине и носило до тех пор, пока западный ветер не прибил ее к берегу. Потом была бухта Головина, Пастилик и священник. Потом – на юг, на юг, в теплые страны, где я уже был раньше.

Но море уже не давало большой добычи, и те, кто отправлялся на охоту за котиками, многим рисковали, а выгоды получали мало. Суда попадались редко, и ни капитаны, ни матросы ничего не могли сказать мне о тех, кого я искал. Тогда я ушел от беспокойного океана и пустился в путь по суше, где растут деревья, стоят дома и горы и ничто не меняет своих мест. Я много где побывал и научился многому, даже читать книги и писать. И это было хорошо, ибо я думал, что Унга тоже, верно, научилась этому и что когда-нибудь, когда придет наш час, мы... вы понимаете?.. когда придет наш час...

Так я скитался по свету, словно маленькая рыбацья лодка, которая, поднимая парус, оказывается во власти ветров. Но глаза и уши мои были всегда открыты, и я держался поближе к людям, которые много путешествовали, ибо, думалось мне, нельзя забывать тех, кого я искал. Наконец, я встретил человека, только что спустившегося с гор. Он принес с собой камни, в которых блестели кусочки золота – большие, как горошины. Он слышал о них, он встречал их, он знал их. Они богаты, рассказывал этот человек, и живут там, где добывают золото.

Это была далекая дикая страна, но я добрался и туда и увидел лагерь в горах, где люди работали день и ночь, не видя солнца. Но час мой еще не настал. Я прислушивался к тому, что говорят люди. Он уехал – они оба уехали в Англию, говорили кругом, и будут искать там богатых людей, чтобы образовать компанию. Я видел дом, в котором они жили; он был похож на те дворцы, какие бывают в Старом Свете. Ночью я забрался в дом через окно: мне хотелось посмотреть, что тот человек дал ей. Я бродил из комнаты в комнату и думал, что так, должно быть, живут только короли и королевы, – так хорошо там было! И все говорили, что он обращался с ней, как с королевой, хотя и недоумевали, откуда эта женщина родом, – в ней всегда чувствовалась чужая кровь, и она не была похожа на женщин Акатана. Да, она была королева. Но я был вождь и сын вождя, и я дал за нее неслыханный выкуп мехами, лодками и бусами.

Но зачем так много слов? Я стал моряком, и мне были ведомы пути кораблей. И я отправился в Англию, а потом в другие страны. Мне часто приходилось слышать рассказы о тех, кого я искал, и читать о них в газетах, но догнать их я не мог, потому что они были богаты и быстро переезжали с места на место, а я был беден. Но вот их настигла беда, и богатство рассеялось, как дым. Сначала газеты много писали об этом, а потом перестали; и я понял,

что они вернулись обратно, туда, где много золота в земле.

Обеднев, они скрылись куда-то, и я скитался из поселка в поселок и, наконец, добрался до Кутнэя, где напал на их след. Они были здесь и ушли, но куда? Мне называли то одно место, то другое, а некоторые говорили, что они отправились на Юкон. И я побывал во всех этих местах и под конец почувствовал великую усталость оттого, что мир так велик.

В Кутнэе мне пришлось долго идти по тяжелой тропе, пришлось и голодать, и мой проводник – метис с Северо-запада – не вынес голода. Этот метис незадолго до того побывал на Юконе, пробравшись туда никому не ведомым путем, через горы, и теперь, почувствовав, что час его близок, он дал мне карту и рассказал о некоем тайном месте, поклявшись своими богами, что там много золота.

В то время люди ринулись на Север. Я был беден. Я нанялся погонщиком собак. Остальное вы знаете. Я встретил их в Доусоне. Она не узнала меня. Ведь там, на Акатане, я был еще юношей, а она с тех пор прожила большую жизнь! Где ей было вспомнить того, кто заплатил за нее неслыханный выкуп.

Дальше? Дальше ты помог мне откупиться от службы. Я решил сделать все по-своему. Долго пришлось мне ждать, но теперь, когда он был у меня в руках, я не спешил. Говорю вам, я хотел сделать все по-своему, ибо я вспомнил всю свою жизнь, все, что видел и выстрадал, вспомнил холод и голод в бесконечных лесах у русских морей.

Как вы знаете, я повел Гундерсона и Унгу на восток, куда многие уходили и откуда не многие возвращались. Я повел их туда, где вперемешку с костями, осыпанное проклятиями лежит золото, которое людям не суждено было унести. Путь был долгий, и идти по снежной целине было нелегко. Собак у нас было много, и ели они много. Нарты не могли поднять всего, что нам требовалось до наступления весны. А вернуться назад мы должны были прежде, чем вскрыется река. По дороге мы устраивали хранилища и оставляли там часть припасов, чтобы уменьшить поклажу и не умереть с голода на обратном пути. В Мак-Квещене жили трое людей, и одно хранилище мы устроили неподалеку от их жилья, другое – в Мэйо, где была разбита стоянка охотников из племени пелли, пришедших сюда с юга через горный перевал. Потом мы уже не встречали людей; перед нашими глазами была только спящая река, недвижимый лес и Белое Безмолвие Севера.

Как я уже сказал, путь наш был долгий и дорога трудная. Случалось, что прокладывая тропу для собак, мы за день делали не больше восьми – десяти миль, а ночью засыпали как убитые. И ни разу спутникам моим не пришло в голову, что я Наас, вождь Акатана, решивший отомстить за обиду.

Теперь мы оставляли уже немного запасов, а ночью я возвращался назад по укатанной тропе и прятал их в другое место, так, чтобы можно было подумать, будто хранилища разорили росомахи. К тому же на реке много порогов, и бурный поток подмывает снизу лед. И вот на одном месте у нас провалилась упряжка, которую я вел, но он и Унга решили, что это несчастный случай. А на провалившихся нартах было много припасов и везли их самые сильные собаки.

Но он смеялся, потому что жизнь была в нем через край. Уцелевшим собакам мы давали теперь очень мало пищи, а затем стали выпрягать их одну за другой и бросать на съедение остальным.

– Возвращаться будем налегке, без нарт и собак, – говорил он, – и станем делать переходы от хранилища к хранилищу.

И это было правильно, ибо провизии у нас осталось мало; и последняя собака издохла в ту ночь, когда мы добрались до места, где были кости и проклятое людьми золото.

Чтобы попасть в то место, находящееся среди высоких гор – карта оказалась верной, – нам пришлось вырубать ступени в обледенелых скалах. Мы думали, что за горами будет спуск в долину, но кругом расстиралось беспредельное заснеженное плоскогорье, а над ним поднимались к звездам белые скалистые вершины. А посреди плоскогорья был провал, казалось, до самого сердца земли. Не будь мы моряками, у нас закружилась бы голова. Мы стояли на краю пропасти и смотрели, где можно спуститься вниз. С одной стороны – только с одной стороны – скала уходила вниз не отвесно, а с наклоном, точно палуба, накренившаяся на волне. Я не знаю, как это получилось, но это было так.

– Это преддверие ада, – сказал он. – Сойдем вниз.

И мы спустились.

На дне провала стояла хижина, построенная кем-то из бревен, сброшенных сверху. Это была очень старая хижина; люди умирали здесь в одиночестве, и мы прочли их последние проклятия, в разное время нацарапанные на кусках бересты. Один умер от цинги; у другого компаньон отнял последние припасы и порох и скрылся; третьего задрал медведь; четвертый пробовал охотиться и все же умер от голода.

Так кончали все, они не могли расстаться с золотом и умирали. И пол хижины был усыпан не нужным никому золотом, как в сказке!

Но у человека, которого я завел так далеко, была бесстрашная душа и трезвая голова.

– Нам нечего есть, – сказал он. – Мы только посмотрим на это золото, увидим, откуда оно и много ли его здесь. И сейчас же уйдем отсюда, пока оно не ослепило нас и не лишило рассудка. А потом мы вернемся, захватив с собою побольше припасов, и все золото будет нашим.

И мы осмотрели мощную золотоносную жилу, которая прорезывала скалу сверху донизу, измерили ее, вбивая заявочные столбы и сделали зарубки на деревьях в знак наших прав. Ноги у нас подгибались от голода, к горлу подступала тошнота, сердце колотилось, но мы все-таки вскарабкались по громадной скале наверх и двинулись в обратный путь.

Последнюю часть пути нам пришлось нести Унгу. Мы сами то и дело падали, но в конце концов добрались до первого хранилища. Увы – припасов там не было. Я так ловко сделал, что он подумал, будто всему виной росомахи, и обрушился на них и на своих богов с проклятиями. Но Унга не теряла мужества, она улыбалась, взяв его за руку, и я должен был отвернуться, чтобы овладеть собой.

– Мы проведем ночь у костра, – сказала она, – и подкрепимся мокасинами.

И мы отрезали по несколько полосок от мокасин и варили эти полосы чуть ли не всю ночь, – иначе их было бы не разжевать. Утром мы стали думать, как быть дальше. До следующего хранилища было пять дней пути, но у нас не хватило бы сил добраться до него. Нужно было найти дичь.

– Мы пойдем вперед и будем охотиться, – сказал он.

– Да, – повторил я, – мы пойдем вперед и будем охотиться.

И он приказал Унге остаться у костра, чтобы не ослабеть совсем. А мы пошли. Он на поиски пося, а я туда, где у меня была спрятана провизия. Но съел я немного, боясь, как бы они не заметили, что у меня прибавилось сил. Возвращаясь ночью к костру, он то и дело падал. Я тоже притворялся, что очень ослабел, и шел, спотыкаясь, на своих лыжах, словно каждый мой шаг был последним. У костра мы опять подкрепились мокасинами.

Он был выносливый человек. Дух его до конца поддерживал тело. Он не жаловался и думал только об Унге. На второй день я пошел за ним, чтобы не пропустить его последней минуты. Он часто ложился отдыхать. В ту ночь он был близок к смерти. Но наутро он опять пошел дальше, бормоча проклятия. Он был как пьяный, и несколько раз мне казалось, что он не сможет идти. Но он был сильным из сильных, и душа его была душой великана, ибо она поддерживала его тело весь день. Он застрелил двух белых куропаток, но не стал их есть. Куропаток можно было съесть сырыми, не разводя костра, и они сохранили бы ему жизнь. Но его мысли были с Унгой, и он пошел обратно к стоянке. Вернее, не пошел, а пополз на четвереньках по снегу. Я приблизился к нему и прочел смерть в его глазах. Он мог бы еще спастись, съев куропаток. Но он отшвырнул ружье и понес птиц в зубах, как собака. Я шел рядом с ним. И в минуты отдыха он смотрел на меня и удивлялся, что я так легко иду. Я понимал это, хотя он не мог выговорить ни слова, – его губы шевелились беззвучно. Как я уже сказал, он был сильный человек, и в сердце моем проснулась жалость. Но я вспомнил всю свою жизнь, вспомнил голод и холод в бесконечных лесах у русских морей. Кроме того, Унга была моя: я заплатил за нее неслыханный выкуп шкурами, лодками и бусами.

Так мы пробирались через белый лес, и безмолвие угнетало нас, как тяжелый морской туман. И вокруг носились призраки прошлого. Мне виделся желтый берег Акатана, каяки, возвращающиеся домой с рыбной ловли, и хижины на опушке леса. Я видел людей, которые дали законы моему народу и были его вождями, – людей, чья кровь текла в моих жилах и в жилах жены моей, Унги. И Ян-Нуш шел рядом со мной, в волосах у него был мокрый песок, и он все еще не выпускал из рук сломанного боевого копья. Я знал, что час мой близок и словно видел обещание в глазах Унги.

Как я сказал, мы пробирались через лес, и, наконец, дым костра зашевелил нам ноздри. Тогда я наклонился над Гундерсоном и вырвал куропатку у него из зубов. Он повернулся на бок, глядя на меня удивленными глазами, и рука его медленно потянулась к ножу, который висел у него на поясе. Но я отнял нож, смеясь ему прямо в лицо. И даже тогда он ничего не понял. А я показал ему, как я пил из черных бутылок, показал, как я складывал груды даров на снегу, и все, что случилось в ночь моей свадьбы. Я не произнес ни слова, но он все понял и не испугался. Губы его насмешливо улыбались, а в глазах была холодная злоба, у него, казалось, прибавилось сил, когда он узнал меня. Идти нам оставалось недолго, но снег был глубокий, и он едва тащился. Раз он так долго лежал без движения, что я перевернул его и посмотрел ему в глаза. Жизнь то угасала в них, то снова возвращалась. Но когда я отпустил его, он снова пополз. Так мы добрались до костра. Унга бросилась к нему. Его губы беззвучно зашевелились! Он показывал на меня. Потом вытянулся на снегу... Он и сейчас лежит там.

Я не сказал ни слова до тех пор, пока не изжарил куропатку. А потом заговорил с Унгой на ее языке, которого она не слышала много лет. Унга выпрямилась – вот так, глядя на меня широко открытыми глазами, – и спросила, кто я и откуда знаю этот язык.

– Я Наас, – сказал я.

– Наас? – крикнула она. – Это ты? – и подползла ко мне ближе.

– Да, – ответил я. – Я Наас, вождь Акатана, последний из моего рода, как и ты – последняя из своего рода.

И она засмеялась. Да не услышать мне еще раз такого смеха! Душа моя сжалась от ужаса, и я сидел среди Белого Безмолвия, наедине со смертью и с этой женщиной, которая смеялась надо мной.

– Успокойся, – сказал я, думая, что она бредит. – Подкрепись и пойдем. Путь до Акатана долг.

Но Унга спрянула лицо в его желтую гриву и смеялась так, что, казалось, еще немного, и само



небо обрушится на нас. Я думал, что она обрадуется мне и сразу вернется памятью к прежним временам, но таким смехом никто не выражает свою радость.

– Идем! – крикнул я, крепко беря ее за руку. – Нам предстоит долгий путь во мраке. Надо торопиться!

– Куда? – спросила она, приподнявшись, и перестала смеяться.

– На Акатан, – ответил я, надеясь, что при этих словах лицо ее сразу просветлеет.

Но оно стало похожим на его лицо: та же насмешливая улыбка, та же холодная злоба в глазах.

– Да, – сказала она, – мы возьмемся за руки и пойдем на Акатан. Ты и я. И мы будем жить в грязных хижинах, питаться рыбой и тюленьим жиром, и наплодим себе подобных, и будем гордиться ими всю жизнь. Мы забудем о большом мире. Мы будем счастливы, очень счастливы! Как это хорошо! Идем! Надо спешить. Вернемся на Акатан.

И она провела рукой по его желтым волосам и засмеялась недобрым смехом. И обещания не было в ее глазах.

Я сидел молча и дивился нраву женщин. Я вспомнил, как он тащил ее в ночь нашей свадьбы и как она рвала ему волосы – волосы, от которых теперь не могла отнять руки. Потом я вспомнил выкуп и долгие годы ожидания. И я сделал так же, как сделал когда-то он, поднял ее и понес. Как в ту ночь, она отбивалась, словно кошка, у которой отнимают котят. Я обошел костер и отпустил ее. И она стала слушать меня. Я рассказал ей обо всем, что случилось со мной в чужих морях и краях, о моих неустанных поисках, о голодных годах и о том обещании, которое она дала мне первому. Да, я рассказал обо всем, даже о том, что случилось между мной и им в этот день. И, рассказывая, я видел, как в ее глазах росло обещание, манящее, как утренняя заря. И я прочел в них жалость, женскую нежность, любовь, сердце и душу Унги. И я снова стал юношей, ибо взгляд ее стал взглядом той Унги, которая смеялась и бежала вдоль берега к материнскому дому. Исчезли мучительная усталость, и голод, и томительное ожидание. Час настал. Я почувствовал, что Унга зовет меня склонить голову ей на грудь и забыть все. Она раскрыла мне объятия, и я бросился к ней. Но вдруг ненависть зажглась у нее в глаза, и рука потянулась к моему поясу. И она ударила меня ножом, вот так – раз, два.

– Собака! – крикнула Унга, толкая меня в снег. – Собака! – Ее смех звенел в тишине, когда она ползла к мертвецу.

Как я уже сказал, Унга ударила меня ножом, но рука ее ослабела от голода, а мне не суждено было умереть. И все же я хотел остаться там и закрыть глаза в последнем долгом сне рядом с теми, чьи жизни сплелись с моей и кто вел меня по неведомым тропам. Но надо мной тяготел долг, и я не мог думать о покое.

А путь был долгий, холод свирепый, и пищи у меня было мало. Охотники из племени пелли, не напав на лосей, наткнулись на мои запасы. То же самое сделали трое белых в Мак-Квещене, но они лежали бездыханные в своей хижине, когда я проходил мимо. Что было потом, как я добрался сюда, нашел пищу, тепло – не помню, ничего не помню.

Замолчав, он жадно потянулся к печке. Светильник отбрасывал на стену страшные блуждающие тени.

– Но как же Унга?! – воскликнул Принс, потрясенный рассказом.

– Унга? Она не стала есть куропатку. Она лежала, обняв мертвеца за шею и зарывшись лицом в его желтые волосы. Я придвинул костер ближе, чтобы ей было теплее, но она

отползла. Я развел еще один костер, с другой стороны, но и это ничему не помогло, – ведь она отказывалась от еды. И вот так они и лежат там на снегу.

– А ты? – спросил Мэйлмют Кид.

– Я не знаю, что мне делать. Акатан мал, я не хочу возвращаться туда и жить на краю света. Да и зачем мне жить? Пойду к капитану Констэнтайну, и он наденет на меня наручники. А потом мне набросят веревку на шею – вот так, и я крепко усну, крепко... Я впрочем... не знаю.

– Послушай, Кид! – возмутился Принс. – Ведь это же убийство!

– Молчи! – строго сказал Мэйлмют Кид. – Есть вещи выше нашего понимания. Как знать, кто прав, кто виноват? Не нам судить.

Наас подвинулся к огню еще ближе. Наступила глубокая тишина, и в этой тишине перед мысленным взором каждого из них пестрой чередой проносились далекие видения.

\* \* \*

## СКАЗАНИЕ О КИШЕ

Давным-давно у самого Полярного моря жил Киш. Долгие и счастливые годы был он первым человеком в своем поселке, умер, окруженный почетом, и имя его было у всех на устах. Так много воды утекло с тех пор, что только старики помнят его имя, помнят и правдивую повесть о нем, которую они слышали от своих отцов и которую сами передадут своим детям и детям своих детей, а те – своим, и так она будет переходить из уст в уста до конца времен. Зимней полярной ночью, когда северная буря завывает над ледяными просторами, а в воздухе носятся белые хлопья и никто не смеет выглянуть наружу, хорошо послушать рассказ о том, как Киш, что вышел из самой бедной иглу[10], достиг почета и занял высокое место в своем поселке.

Киш, как гласит сказание, былмышленным мальчиком, здоровым и сильным и видел уже тринадцать солнц. Так считают на Севере годы, потому что каждую зиму солнце оставляет землю во мраке, а на следующий год поднимается над землей новое солнце, чтобы люди снова могли согреться и поглядеть друг другу в лицо. Отец Киша был отважным охотником и встретил смерть в голодную годину, когда хотел отнять жизнь у большого полярного медведя, чтобы даровать жизнь своим соплеменникам. Один на один он схватился с медведем, и тот переломал ему все кости; но на медведе было много мяса, и это спасло народ. Киш был единственным сыном, и, когда погиб его отец, он стал жить вдвоем с матерью. Но люди быстро все забывают, забыли и о подвиге его отца, а Киш был всего только мальчик, мать его – всего только женщина, и о них тоже забыли, и они жили так, забытые всеми, в самой бедной иглу.

Но как-то вечером в большой иглу вождя Клош-Квана собрался совет, и тогда Киш показал, что в жилах у него горячая кровь, а в сердце – мужество мужчины, и он ни перед кем не станет гнуть спину. С достоинством взрослого он поднялся и ждал, когда наступит тишина и стихнет гул голосов.

– Я скажу правду, – так начал он. – Мне и матери моей дается положенная доля мяса. Но это мясо часто бывает старое и жесткое, и в нем слишком много костей.

Охотники – и совсем седые, и только начавшие сесть, и те, что были в расцвете лет, и те,

что были еще юны, – все разинули рот. Никогда не доводилось им слышать подобных речей. Чтобы ребенок говорил, как взрослый мужчина, и бросал им в лицо дерзкие слова!

Но Киш продолжал твердо и сурово:

– Мой отец, Бок, был храбрым охотником, вот почему я говорю так. Люди рассказывают, что Бок один приносил больше мяса, чем любые два охотника, даже из самых лучших, что своими руками он делил это мясо и своими глазами следил за тем, чтобы самой древней старухе и самому хилому старику досталась справедливая доля.

– Вон его! – закричали охотники. – Уберите отсюда этого мальчишку! Уложите его спать. Мал он еще разговаривать с седовласыми мужчинами.

Но Киш спокойно ждал, пока не уляжется волнение.

– У тебя есть жена, Уг-Глук, – сказал он, – и ты говоришь за нее. А у тебя, Массук, – жена и мать, и за них ты говоришь. У моей матери нет никого, кроме меня, и потому говорю я. И я сказал: Бок погиб потому, что он был храбрым охотником, а теперь я, его сын, и Айкига, мать моя, которая была его женой, должны иметь вдоволь мяса до тех пор, пока есть вдоволь мяса у племени. Я, Киш, сын Бока, сказал.

Он сел, но уши его чутко прислушивались к буре протеста и возмущения, вызванной его словами.

– Разве мальчишка смеет говорить на совете? – прошамкал старый Уг-Глук.

– С каких это пор грудные младенцы стали учить нас, мужчин? – зычным голосом спросил Массук. – Или я уже не мужчина, что любой мальчишка, которому захотелось мяса, может смеяться мне в лицо?

Гнев их кипел ключом. Они приказали Кишу сейчас же идти спать, грозили совсем лишиться его мяса, обещали задать ему жестокую порку за дерзкий поступок. Глаза Киша загорелись, кровь забурлила и жарким румянцем прилила к щекам. Осыпaeмый бранью, он вскочил с места.

– Слушайте меня, вы, мужчины! – крикнул он. – Никогда больше не стану я говорить на совете, никогда, прежде чем вы не придете ко мне и не скажете: «Говори, Киш, мы хотим, чтобы ты говорил». Так слушайте же, мужчины, мое последнее слово. Бок, мой отец, был великий охотник. Я, Киш, его сын, тоже буду охотиться и приносить мясо и есть его. И знайте отныне, что дележ моей добычи будет справедлив. И ни одна вдова, ни один беззащитный старик не будут больше плакать ночью оттого, что у них нет мяса, в то время как сильные мужчины стонут от тяжелой боли, ибо съели слишком много. И тогда будет считаться позором, если сильные мужчины станут объедаться мясом! Я, Киш, сказал все.

Насмешками и глумлением проводили они Киша, когда он выходил из иглу, но он стиснул зубы и пошел своей дорогой, не глядя ни вправо, ни влево.

На следующий день он направился вдоль берега, где земля встречается со льдами. Те, кто видел его, заметили, что он взял с собой лук и большой запас стрел с костяными наконечниками, а на плече нес большое охотничье копье своего отца. И много было толков и много смеха по этому поводу. Это было невиданное событие. Никогда не случалось, чтобы мальчик его возраста ходил на охоту, да еще один. Мужчины только покачивали головой да пророчески что-то бормотали, а женщины с сожалением смотрели на Айкигу, лицо которой было строго и печально.

– Он скоро вернется, – сочувственно говорили женщины.

– Пусть идет. Это послужит ему хорошим уроком, – говорили охотники. – Он вернется скоро,

тихий и покорный, и слова его будут кроткими.

Но прошел день и другой, и на третий поднялась жестокая пурга, а Киша все не было. Айкига рвала на себе волосы и вымазала лицо сажей в знак скорби, а женщины горькими словами корили мужчин за то, что они плохо обошлись с мальчиком и послали его на смерть; мужчины же молчали, готовясь идти на поиски тела, когда утихнет буря.

Однако на следующий день рано утром Киш появился в поселке. Он пришел с гордо поднятой головой. На плече он нес часть туши убитого им зверя. И поступь его стала надменной, а речь звучала дерзко.

– Вы, мужчины, возьмите собак и нарты и ступайте по моему следу, – сказал он. – За день пути отсюда найдете много мяса на льду – медведицу и двух медвежат.

Айкига была вне себя от радости, он же принял ее восторги, как настоящий мужчина, сказав:

– Идем, Айкига, надо поесть. А потом я лягу спать, ведь я очень устал.

И он вошел в иглу и сытно поел, после чего спал двадцать часов подряд.

Сначала было много сомнений, много сомнений и споров. Выйти на полярного медведя – дело опасное, но трижды и три раза трижды опаснее – выйти на медведицу с медвежатами. Мужчины не могли поверить, что мальчик Киш один, совсем один, совершил такой великий подвиг. Но женщины рассказывали о свежем мясе только что убитого зверя, которое принес Киш, и это поколебало их недоверие. И вот, наконец, они отправились в путь, ворча, что если даже Киш и убил зверя, то, верно, он не позаботился освежевать его и разделать тушу. А на Севере это нужно делать сразу, как только зверь убит, – иначе мясо замерзнет так крепко, что его не возьмет даже самый острый нож; а взвалить мороженую тушу в триста фунтов на нарты и везти по неровному льду – дело нелегкое. Но, придя на место, они увидели то, чему не хотели верить: Киш не только убил медведей, но рассек туши на четыре части, как истый охотник, и удалил внутренности.

Так было положено начало тайне Киша. Дни шли за днями, и тайна эта оставалась неразгаданной. Киш снова пошел на охоту и убил молодого, почти взрослого медведя, а в другой раз – огромного медведя-самца и его самку. Обычно он уходил на три-четыре дня, но бывало, что пропадал среди ледяных просторов и целую неделю. Он никого не хотел брать с собой, и народ только диву давался. «Как он это делает? – спрашивали охотники друг у друга. – Даже собаки не берет с собой, а ведь собака – большая подмога на охоте».

– Почему ты охотишься только на медведя? – спросил его как-то Клош-Кван.

И Киш сумел дать ему надлежащий ответ:

– Кто же не знает, что только на медведе так много мяса.

Но в поселке стали поговаривать о колдовстве.

– Злые духи охотятся вместе с ним, – утверждали одни. – Поэтому его охота всегда удачна. Чем же иначе можно это объяснить, как не тем, что ему помогают злые духи?

– Кто знает? А может, это не злые духи, а добрые? – говорили другие. – Ведь его отец был великим охотником. Может, он теперь охотится вместе с сыном и учит его терпению, ловкости и отваге. Кто знает!

Так или не так, но Киша не покидала удача, и нередко менее искусным охотникам приходилось доставлять в поселок его добычу. И в дележе он был справедлив. Так же, как и отец его, он следил за тем, чтобы самый хилый старик и самая древняя старуха получали

справедливую долю, а себе оставлял ровно столько, сколько нужно для пропитания. И поэтому-то, и еще потому, что он был отважным охотником, на него стали смотреть с уважением и побаиваться его и начали говорить, что он должен стать вождем после смерти старого Клош-Квана. Теперь, когда он прославил себя такими подвигами, все ждали, что он снова появится в совете, но он не приходил, и им было стыдно позвать его.

– Я хочу построить себе новую иглу, – сказал Киш однажды Клош-Квану и другим охотникам.  
– Это должна быть просторная иглу, чтобы Айкиге и мне было удобно в ней жить.

– Так, – сказали те, с важностью кивая головой.

– Но у меня нет на это времени. Мое дело – охота, и она отнимает все мое время. Было бы справедливо и правильно, чтобы мужчины и женщины, которые едят мясо, что я приношу, построили мне иглу.

И они выстроили ему такую большую просторную иглу, что она была больше и просторнее даже жилища самого Клош-Квана. Киш и его мать перебрались туда, и впервые после смерти Бока Айкига стала жить в довольстве. И не только одно довольство окружало Айкигу: она была матерью замечательного охотника, и на нее смотрели теперь, как на первую женщину в поселке, и другие женщины посещали ее, чтобы испросить у нее совета, и ссылались на ее мудрые слова в спорах друг с другом или со своими мужьями.

Но больше всего занимала все умы тайна чудесной охоты Киша. И как-то раз Уг-Глук бросил Кишу в лицо обвинение в колдовстве.

– Тебя обвиняют, – зловеще сказал Уг-Глук, – в сношениях со злыми духами; вот почему твоя охота удачна.

– Разве вы едите плохое мясо? – спросил Киш. – Разве кто-нибудь в поселке заболел от него? Откуда ты можешь знать, что тут замешано колдовство? Или ты говоришь наугад – просто потому, что тебя душит зависть?

И Уг-Глук ушел пристыженный, и женщины смеялись ему вслед. Но как-то вечером на совете после долгих споров было решено послать соглядатаев по следу Кишв, когда он снова пойдет на медведя, и узнать его тайну. И вот Киш отправился на охоту, а Бим и Боун, два молодых, лучших в поселке охотника, пошли за ним по пятам, стараясь не попасться ему на глаза. Через пять дней они вернулись, дрожа от нетерпения, – так хотелось им поскорее рассказать то, что они видели. В жилище Клош-Квана был срочно созван совет, и Бим, тараща от изумления глаза, начал свой рассказ.

– Братья! Как нам было приказано, мы шли по следу Киша. И уж так осторожно мы шли, что он ни разу не заметил нас. В середине первого дня пути он встретился с большим медведем-самцом, и это был очень, очень большой медведь...

– Больше и не бывает, – перебил Боун и повел рассказ дальше. – Но медведь не хотел вступать в борьбу, он повернул назад и стал не спеша уходить по льду. Мы смотрели на него со скалы на берегу, а он шел в нашу сторону, и за ним, без всякого страха, шел Киш. И Киш кричал на медведя, осыпал его бранью, размахивал руками и поднимал очень большой шум. И тогда медведь рассердился, встал на задние лапы и зарычал. Киш шел прямо на медведя...

– Да, да, – подхватил Бим. – Киш шел прямо на медведя, и медведь бросился на него, и Киш побежал. Но когда Киш бежал, он уронил на лед маленький круглый шарик, и медведь остановился, обнюхал этот шарик и проглотил его. А Киш все бежал и все бросал маленькие круглые шарики, а медведь все глотал их.

Тут поднялся крик, и все выразили сомнение, а Уг-Глук прямо заявил, что он не верит этим сказкам.

– Собственными глазами видели мы это, – убеждал их Бим.

– Да, да, собственными глазами, – подтвердил и Боун. – И так продолжалось долго, а потом медведь вдруг остановился, завыл от боли и начал, как бешеный, колотить передними лапами о лед. А Киш побежал дальше по льду и стал на безопасном расстоянии. Но медведю было не до Киша, потому что маленькие круглые шарики наделали у него внутри большую беду.

– Да, большую беду, – перебил Бим. – Медведь царапал себя когтями и прыгал по льду, словно разыгравшийся щенок. Но только он не играл, а рычал и выл от боли, – и всякому было ясно, что это не игра, а боль. Ни разу в жизни я такого не видал.

– Да, и я не видал, – опять вмешался Боун. – А какой это был огромный медведь!

– Колдовство, – проронил Уг-Глук.

– Не знаю, – отвечал Боун. – Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Медведь был такой тяжелый и прыгал с такой силой, что скоро устал и ослабел и, тогда он пошел прочь вдоль берега и все мотал головой из стороны в сторону, а потом сидел, и рычал, и выл от боли – и снова шел. А Киш тоже шел за медведем, а мы – за Кишем, и так мы шли весь день и еще три дня. Медведь все слабел и выл от боли.

– Это колдовство! – воскликнул Уг-Глук. – Ясно, что это колдовство!

– Все может быть.

Но тут Бим опять сменил Боуна:

– Медведь стал кружить. Он шел то в одну сторону, то в другую, то назад, то вперед, то по кругу и снова и снова пересекал свой след и, наконец, пришел к тому месту, где встретил его Киш. И тут он уже совсем ослабел и не мог даже ползти. И Киш подошел к нему и прикончил его копьём.

– А потом? – спросил Клош-Кван.

– Потом Киш принялся освежевать медведя, а мы побежали сюда, чтобы рассказать, как Киш охотится на зверя.

К концу этого дня женщины притащили тушу медведя, в то время как мужчины собирали совет. Когда Киш вернулся, за ним послали гонца, приглашая его прийти тоже, но он велел сказать, что голоден и устал и что его иглу достаточно велика и удобна и может вместить много людей.

И любопытство было так велико, что весь совет во главе с Клош-Кваном поднялся и направился в иглу Киша. Они застали его за едой, но он встретил их с почетом и усадил по старшинству. Айкига то горделиво выпрямлялась, то в смущении опускала глаза, но Киш был совершенно спокоен.

Клош-Кван повторил рассказ Бима и Боуна и, закончив его, произнес строгим голосом:

– Ты должен нам дать объяснение, а Киш. Расскажи, как ты охотишься. Нет ли здесь колдовства?

Киш поднял на него глаза и улыбнулся.

– Нет, о Клош-Кван! Не дело мальчика заниматься колдовством, и в колдовстве я ничего не смыслю. Я только придумал способ, как можно легко убить полярного медведя, вот и все. Это смекалка, а не колдовство.

– И каждый сможет сделать это?

– Каждый.

Наступило долгое молчание.

Мужчины глядели друг на друга, а Киш продолжал есть.

– И ты... ты расскажешь нам, о Киш? – спросил наконец Клош-Кван дрожащим голосом.

– Да, я расскажу тебе. – Киш кончил высасывать мозг из кости и поднялся с места. – Это очень просто. Смотри!

Он взял узкую полоску китового уса и показал ее всем. Концы у нее были острые, как иглы. Киш стал осторожно скатывать ус, пока он не исчез у него в руке; тогда он внезапно разжал руку, – и ус сразу распрямился. Затем Киш взял кусок тюленьего жира.

– Вот так, – сказал он. – Надо взять маленький кусочек тюленьего жира и сделать в нем ямку – вот так. Потом в ямку надо положить китовый ус – вот так, и, хорошенько его свернув, закрыть его сверху другим кусочком жира. Потом это надо выставить на мороз, и когда жир замерзнет, получится маленький круглый шарик. Медведь проглотит шарик, жир растопится, острый китовый ус распрямится – медведю станет больно. А когда медведю станет очень больно, его легко убить копьем. Это совсем просто.

И Уг-Глук воскликнул:

– О!

И Клош-Кван сказал:

– А!

И каждый сказал по-своему, и все поняли.

Так кончается сказание о Кише, который жил давным-давно у самого Полярного моря. И потому, что Киш действовал смекалкой, а не колдовством, он из самой жалкой иглу поднялся высоко и стал вождем своего племени. И говорят, что, пока он жил, народ благоденствовал и не было ни одной вдовы, ни одного беззащитного старика, которые бы плакали ночью оттого, что у них нет мяса.

\* \* \*

## СТРАШНЫЕ СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА

Вряд ли кто станет утверждать, что Соломоновы острова – райское местечко, хотя, с другой стороны, на свете есть места и похуже. Но новичку, незнакомому с жизнью вдали от цивилизации, Соломоновы острова могут показаться сущим адом.

Правда, там до сих пор свирепствует тропическая лихорадка, и дизентерия, и всякие кожные болезни; воздух так насквозь пропитан ядом, который, просачивается в каждую царапину и

ссадину, превращает их в гноящиеся язвы, так что редко кому удается выбраться оттуда живым, и даже самые крепкие и здоровые люди зачастую возвращаются на родину жалкими развалинами. Правда и то, что туземные обитатели Соломоновых островов до сих пор еще пребывают в довольно диком состоянии; они с большой охотой едят человечину и одержимы страстью коллекционировать человеческие головы. Подкрасться к своей жертве сзади и одним ударом дубины перебить ей позвонки у основания черепа считается там верхом охотничьего искусства. До сих пор на некоторых островах, как, например, на Малаите, вес человека в обществе зависит от числа убитых им, как у нас – от текущего счета в банке; человеческие головы являются самым ходким предметом обмена, причем особенно ценятся головы белых. Очень часто несколько деревень складываются и заводят общий котел, который пополняется из месяца в месяц, пока какой-нибудь смелый воин не представит свеженькую голову белого, с еще не запекшейся на ней кровью, и не потребует в обмен все накопленное добро.

Все это правда, и, однако, немало белых людей десятками живут на Соломоновых островах и тоскуют, когда им приходится их покинуть. Белый может долго прожить на Соломоновых островах, – для этого ему нужна только осторожность и удача, а кроме того, надо, чтобы он был неукротимым. Печатью неукротимости должны быть отмечены его мысли и поступки. Он должен уметь с великолепным равнодушием встречать неудачи, должен обладать колоссальным самомнением, уверенностью, что все, что бы он ни сделал, правильно; должен, наконец, непоколебимо верить в свое расовое превосходство и никогда не сомневаться в том, что один белый в любое время может справиться с тысячей черных, а по воскресным дням – и с двумя тысячами. Именно это и сделало белого неукротимым. Да, и еще одно обстоятельство: белый, который желает быть неукротимым, не только должен глубоко презирать все другие расы и превыше всех ставить самого себя, но и должен быть лишен всяких фантазий. Не следует ему также вникать в побуждения, мысли и обычаи черно-, желто- и краснокожих, ибо отнюдь не этим руководилась белая раса, совершая свое триумфальное шествие вокруг всего земного шара.

Берти Аркрайт не принадлежал к числу таких белых. Для этого он был чересчур нервным и чувствительным, с излишне развитым воображением. Слишком болезненно воспринимал он все впечатления, слишком остро реагировал на окружающее. Поэтому Соломоновы острова были для него самым неподходящим местом. Правда, он и не собирался долго там задерживаться. Пяти недель, пока не придет следующий пароход, было, по его мнению, вполне достаточно, чтобы удовлетворить тягу к первобытному, столь приятно щекотавшему его нервы. По крайней мере так – хотя и в несколько иных выражениях – он излагал свои планы попутчицам по «Макембо», а те смотрели на него как на героя, ибо сами они, как и подобает путешествующим дамам, намеревались знакомиться с Соломоновыми островами, не покидая пароходной палубы.

На борту парохода находился еще один пассажир, который, впрочем, не пользовался вниманием прекрасного пола. Это был маленький сморщенный человечек с загорелым дочерна лицом, иссушенным ветрами и солнцем. Имя его – то, под которым он значился в списке пассажиров, – никому ничего не говорило. Зато прозвище – капитан Малу – было хорошо известно всем туземцам от Нового Ганновера до Новых Гебридов; они даже пугали им непослушных детей. Используя все – труд дикарей, самые варварские меры, лихорадку и голод, пули и бичи надсмотрщиков, – он нажил состояние в пять миллионов, выразившееся в обширных запасах трепанга и сандалового дерева, перламутра и черепаховой кости, пальмовых орехов и копры, в земельных участках, факториях и плантациях.

В одном покалеченном мизинце капитана Малу было больше неукротимости, чем во всем существе Берти Аркрайта. Но что поделаешь! Путешествующие дамы судят главным образом по внешности, а внешность Берти всегда завоевывала ему симпатии дам.

Разговаривая как-то с капитаном Малу в курительной комнате, Берти открыл ему свое



твердое намерение изведать «бурную и полную опасностей жизнь на Соломоновых островах», – так он при этом случае выразился. Капитан Малу согласился с тем, что это весьма смелое и достойное мужчины намерение. Но настоящий интерес к Берти появился у него лишь несколькими днями позже, когда тот вздумал показать ему свой автоматический пистолет 44-го калибра. Объяснив систему зарядания, Берти для наглядности вставил снаряженный магазин в рукоятку.

– Видите, как просто, – сказал он, отводя ствол назад. – Теперь пистолет заряжен и курок взведен. Остается только нажимать на спусковой крючок, до восьми раз, с любой желательной вам скоростью. А посмотрите сюда, на защелку предохранителя. Вот что мне больше всего нравится в этой системе. Полная безопасность! Возможность несчастного случая абсолютно исключена! – Он вытащил магазин и продолжал: – Вот! Видите, насколько эта система безопасна?

Пока Берти производил манипуляции, выцветшие глаза капитана Малу пристально следили за пистолетом, особенно под конец, когда дуло пришлось как раз в направлении его живота.

– Будьте любезны, направьте ваш пистолет на что-нибудь другое, – попросил он.

– Он не заряжен, – успокоил его Берти. – Я же вытащил магазин. А незаряженные пистолеты не стреляют, как вам известно.

– Бывает, что и палка стреляет.

– Эта система не выстрелит.

– А вы все-таки поверните его в другую сторону.

Капитан Малу говорил негромко и спокойно, с металлическими нотками в голосе, но глаза его ни на миг не отрывались от дула пистолета, пока Берти не отвернул его наконечник в сторону.

– Хотите пари на пять фунтов, что пистолет не заряжен? – с жаром воскликнул Берти.

Его собеседник отрицательно покачал головой.

– Хорошо же, я докажу вам...

И Берти приставил пистолет к виску с очевидным намерением спустить курок.

– Подождите минутку, – спокойно сказал капитан Малу, протягивая руку. – Дайте, я еще разок на него взгляну.

Он направил пистолет в море и нажал спуск. Раздался оглушительный выстрел, механизм щелкнул и выбросил на палубу дымящуюся гильзу. Берти застыл с открытым ртом.

– Я, кажется, отводил назад ствол, да? – пробормотал он. – Как глупо...

Он жалко улыбнулся и тяжело опустился в кресло. В лице у него не было ни кровинки, под глазами обозначились темные круги, руки так тряслись, что он не мог донести до рта дрожащую сигарету. У него было слишком богатое воображение: он уже видел себя распростертым на палубе с простреленной головой.

– В-в-вот история! – пролепетал он.

– Ничего, хорошая штука, – сказал капитан Малу, возвращая пистолет.

На борту «Макембо» находился правительственный резидент, возвращающийся из Сиднея, и с его разрешения пароход зашел в Уги, чтобы высадить на берег миссионера. В Уги стояло

небольшое двухмачтовое суденышко «Арла» под командованием шкипера Гансена. «Арла», как и многое другое, тоже принадлежала капитану Малу: и по его приглашению Берти перешел на нее, чтобы погостить там несколько дней и принять участие в вербовочном рейсе вдоль берегов Малаиты. Через четыре дня его должны были посадить на плантации Реминдж (тоже собственность капитана Малу), где он мог пожить недельку, а затем отправиться на Тулаги – местопребывание резидента – и остановиться у него в доме. Остается еще упомянуть о двух предложениях капитана Малу, сделанных им шкиперу Гансену и мистру Гаривелу, управляющему плантацией, после чего он надолго исчезает из нашего повествования. Сущность обоих предложений сводилась к одному и тому же – показать мистру Бертраму Аркрайту «бурную и полную опасностей жизнь на Соломоновых островах». Говорят также, будто капитан Малу намекнул, что тот, кто доставит мистру Аркрайту наиболее яркие переживания, получит премию в виде ящика шотландского виски.

– Между нами, Сварц всегда был порядочным идиотом. Как-то повез он четверых своих гребцов на Тулаги, чтобы их там высекли – конечно, совершенно официально. И с ними же отправился на вельботе обратно. В море немного штормило, и вельбот перевернулся. Все спаслись, ну, а Сварц – Сварц-то утонул. Разумеется, это был несчастный случай.

– Вот как? Очень интересно, – рассеянно заметил Берти, так как все его внимание было поглощено чернокожим гигантом, стоявшим у штурвала.

Уги остался за кормой, и «Арла» легко скользила по сверкающей глади моря, направляясь к густо поросшим лесом берегам Малаиты. Сквозь кончик носа у рулевого, так занимавшего внимание Берти, был щегольски продет большой гвоздь, на шее красовалось ожерелье из брючных пуговиц, в ушах висели консервный нож, сломанная зубная щетка, глиняная трубка, медное колесико будильника и несколько гильз от винчестерных патронов; на груди болталась половинка фарфоровой тарелки. По палубе в разных местах разлеглось около сорока чернокожих, разукрашенных примерно таким же образом. Пятнадцать человек из них составляли экипаж судна, остальные были завербованные рабочие.

– Конечно, несчастный случай, – заговорил помощник шкипера «Арлы» Джекобс, худощавый, с темными глазами, похожий скорее на профессора, чем на моряка. – С Джонни Бедилом тоже чуть было не приключился такой же несчастный случай. Он тоже вез домой несколько высеченных, и они перевернули ему лодку. Но он плавал не хуже их и спасся с помощью багра и револьвера, а двое черных утонули. Тоже несчастный случай.

– Это здесь частенько бывает, – заметил шкипер. – Взгляните вон на того парня у руля, мистер Аркрайт! Ведь самый настоящий людоед. Полгода назад он вместе с остальной командой утопил тогдашнего шкипера «Арлы». Прямо на палубе, сэр, вон там, у бизань-мачты.

– А уж в какой вид палубу привели – смотреть было страшно, – проговорил помощник.

– Позвольте, вы хотите сказать?.. – начал Берти.

– Вот, вот, – прервал его шкипер Гансен. – Несчастный случай. Утонул человек.

– Но как же – на палубе?

– Да уж вот так. Между нами говоря, они воспользовались топором.

– И это – теперешний ваш экипаж?!

Шкипер Гансен кивнул.

– Тот шкипер был уж очень неосторожен, – объяснил помощник. – Повернулся к ним спиной,

ну... и пострадал.

– Нам придется избегать лишнего шума, – пожаловался шкипер. – Правительство всегда стоит за черномазых. Мы не можем стрелять первыми, а должны ждать, пока выстрелит черный. Не то правительство объявит это убийством, и вас отправят на Фиджи. Вот почему так много несчастных случаев. Тонут, что поделаешь.

Подали обед, и Берти со шкипером спустились вниз, оставив помощника на палубе.

– Смотрите в оба за этим чертом Ауки, – предупредил шкипер на прощание. – Что-то не нравится мне последнее время его рожа.

– Ладно, – ответил помощник.

Обед еще не закончился, а шкипер дошел как раз до середины своего рассказа о том, как была вырезана команда на судне «Вожди Шотландии».

– Да, – говорил он, – отличное было судно, одно из лучших на побережье. Не успели вовремя повернуть, ну и напоролись на риф, а тут сразу же на них набросилась целая флотилия челнов. На борту было пятеро белых и двадцать человек команды с Самоа и Санта-Крус, а спасся один второй помощник. Кроме того, погибло шестьдесят человек завербованных. Всех их дикари – кай-кай. Что такое кай-кай? Прошу прощения, я хотел сказать – всех их съели. Потом еще «Джемс Эдвардс», прекрасно оснащенный...

Громкая брань помощника прервала шкипера. На палубе раздались дикие крики, затем прогремели три выстрела, и что-то тяжелое упало в воду. Одним прыжком шкипер Гансен взлетел по трапу, ведущему на палубу, на ходу вытаскивая револьвер. Берти тоже полез наверх, хотя и не столь быстро, и с осторожностью высунул голову из люка. Но ничего не случилось. На палубе стоял помощник с револьвером в руке, трясаясь, как в лихорадке. Вдруг он вздрогнул и отскочил в сторону, как будто сзади ему угрожала опасность.

– Туземец упал за борт, – доложил он каким-то странным, звенящим голосом. – Он не умел плавать.

– Кто это был? – строго спросил шкипер.

– Ауки!

– Позвольте, мне кажется, я слышал выстрелы, – вмешался Берти, испытывая приятный трепет от сознания опасности – тем более приятный, что опасность уже миновала.

Помощник круто повернулся к нему и прорычал:

– Вранье! Никто не стрелял. Черномазый просто упал за борт.

Гансен посмотрел на Берти немигающим, невидящим взглядом.

– Мне показалось... – начал было Берти.

– Выстрелы? – задумчиво проговорил шкипер. – Вы слышали выстрелы, мистер Джекобс?

– Ни единого, – отвечал помощник.

Шкипер с торжествующим видом повернулся к своему гостю.

– Очевидно, несчастный случай. Спустимся вниз, мистер Аркрайт, и закончим обед.

В эту ночь Берти спал в крошечной каюте, отгороженной от кают-компания и важно

именовавшейся капитанской каютой. У носовой переборки красовалась ружейная пирамида. Над изголовьем койки висело еще три ружья. Под койкой стоял большой ящик, в котором Берти обнаружил патроны, динамит и несколько коробок с бикфордовым шнуром. Берти предпочел перейти на диванчик у противоположной стены, и тут его взгляд упал на судовой журнал «Арлы», лежавший на столике. Ему и в голову не приходило, что этот журнал был изготовлен капитаном Малу специально для него. Из журнала Берти узнал, что двадцать первого сентября двое матросов упали за борт и утонули. Но теперь Берти уже научился читать между строк и знал, как это надо понимать. Далее он прочитал о том, как в зарослях на Суу вельбот с «Арлы» попал в засаду и потерял трех человек убитыми, как шкипер обнаружил в котле у повара человечье мясо, которое команда купила, сойдя на берег в Фуи; как во время сигнализации случайным взрывом динамита были перебиты все гребцы в шлюпке. Он прочитал также о ночных нападениях на шхуну, о ее спешном бегстве со стоянок под покровом ночной темноты, о нападениях лесных жителей на команду в мангровых зарослях и о сражениях с дикарями в лагунах и бухтах. То и дело Берти натыкался на случаи смерти от дизентерии. Со страхом он заметил, что так умерли двое белых, подобно ему гостивших на «Арле».

– Послушайте, э-э! – обратился на другой день Берти к шкиперу Гансену. – Я заглянул в ваш судовой журнал...

Шкипер был, по-видимому, крайне раздосадован тем, что судовой журнал попался на глаза постороннему человеку.

– Так вот эта дизентерия – это такая же ерунда, как и все ваши несчастные случаи, – продолжал Берти. – Что на самом деле имеется в виду под дизентерией?

Шкипер изумился пронизательности своего гостя, сделал было попытку все отрицать, потом сознался.

– Видите ли, мистер Аркрайт, дело вот в чем. Эти острова и так уже имеют печальную славу. С каждым днем становится все труднее вербовать белых для здешней работы. Предположим, белого убили – Компании придется платить бешеные деньги, чтобы заманить сюда другого. А если он умер от болезни, – ну, тогда ничего. Против болезней новички не возражают, они только не согласны, чтобы их убивали. Когда я поступал сюда, на «Арлу», я был уверен, что ее прежний шкипер умер от дизентерии. Потом я узнал правду, но было уже поздно: я подписал контракт.

– Кроме того, – добавил мистер Джекобс, – слишком уж много получается несчастных случаев. Это может вызвать ненужные разговоры. А во всем виновато правительство. Что еще остается делать, если белый не имеет возможности защитить себя от черномазых?

– Правильно, – подтвердил шкипер Гансен. – Возьмите хотя бы случай с «Принцессой» и этим янки, который служил на ней помощником. Кроме него, на судне было еще пятеро белых, в том числе правительственный агент. Шкипер, агент и второй помощник съехали на берег в двух шлюпках. Их всех перебили до одного. На судне оставались помощник, боцман и пятнадцать человек команды, уроженцев Самоа и Тонга. С берега явилась толпа дикарей. Помощник и оглянуться не успел, как боцман и экипаж были перебиты. Тогда он схватил три патронташа и два винчестера, влез на мачту и стал оттуда стрелять. Он словно взбесился при мысли, что все его товарищи погибли. Палил из одного ружья, пока оно не раскалилось. Потом взялся за другое. На палубе было темно от дикарей – ну, он всех их прикончил. Бил их влет, когда они прыгали за борт, бил в лодках, прежде чем они успевали схватиться за весла. Тогда они стали кидаться в воду, думали добраться до берега вплавь, а он уже так рассвирепел, что и в воде перестрелял еще с полдесятка. И что же он получил в награду?

– Семь лет каторги на Фиджи, – угрюмо бросил помощник.

– Да, правительство заявило, что он не имел права стрелять дикарей в воде, – пояснил шкипер.

– Вот почему они теперь умирают от дизентерии, – закончил Джекобс.

– Подумать только, – заметил Берти, чувствуя острое желание, чтобы эта поездка скорее кончилась.

В этот же день он имел беседу с туземцем, который, как ему сказали, был людоедом. Звали туземца Сумазаи. Три года он проработал на плантации в Квинсленде, побывал и в Сиднее, и на Самоа, и на Фиджи. В качестве матроса на вербовочной шхуне он объездил почти все острова – Новую Британию и Новую Ирландию, Новую Гвинею и Адмиралтейские острова. Он был большой шутник и в разговоре с Берти следовал примеру шкипера. Ел ли он человечину? Случалось. Сколько раз? Ну, разве запомнишь. Едал и белых. Очень вкусные, только не тогда, когда они больные. Раз как-то случилось ему попробовать больного.

– Фу! Плохой! – воскликнул он с отвращением, вспоминая об этой трапезе. – Я потом сам очень больной, чуть кишки наружу не вылезал.

Берти передернуло, но он мужественно продолжал расспросы. Есть ли у Сумазаи головы убитых? Да, несколько голов он припрятал на берегу, все они в хорошем состоянии – высушенные и прокопченные. Одна с длинными бакенбардами – голова шкипера шхуны. Ее он согласен продать за два фунта, головы черных – по фунту за каждую. Еще у него есть несколько детских голов, но они плохо сохранились. За них он просит всего по десять шиллингов.

Немного погодя, присев в раздумье на трапе, Берти вдруг обнаружил рядом с собой туземца с какой-то ужасной кожной болезнью. Он вскочил и поспешно удалился. Когда он спросил, что у этого парня, ему ответили – проказа. Как молния, влетел он в свою каюту и тщательно вымылся антисептическим мылом. За день ему пришлось еще несколько раз мыться, так как оказалось, что все туземцы на борту больны той или иной заразной болезнью.

Когда «Арла» бросила якорь среди мангровых болот, над бортом протянули двойной ряд колючей проволоки. Это выглядело весьма внушительно, а когда вблизи показалось множество челнов, в которых сидели туземцы, вооруженные копьями, луками и ружьями, Берти еще раз подумал, что хорошо бы поездка скорее кончалась.

В этот вечер туземцы не спешили покинуть судно, хотя им не разрешалось оставаться на борту после заката солнца. Они даже стали дерзить, когда помощник приказал им убираться восвояси.

– Ничего, сейчас они запоют у меня по-другому, – заявил шкипер Гансен, ныряя в люк.

Вернувшись, он украдкой показал Берти палочку с прикрепленным к ней рыболовным крючком. Простая аптечная склянка из-под хлородина, обернутая в бумагу, с привязанным к ней куском бикфордова шнура может вполне сойти за динамитную шашку. И Берти и туземцы были введены в заблуждение. Стоило шкиперу Гансену поджечь шнур и прицепить крючок к набедренной повязке первого попавшегося дикаря, как того сразу охватило страстное желание очутиться как можно скорее на берегу. Забыв все на свете и не догадываясь сбросить с себя повязку, несчастный рванулся к борту. За ним, шипя и дымя, волочился шнур, и туземцы стали очертя голову бросаться через колючую проволоку в море. Берти был в ужасе. Шкипер Гансен тоже. Еще бы! Двадцать пять завербованных им туземцев – за каждого он уплатил по тридцать шиллингов вперед – попрыгали за борт вместе с местными жителями. За ним последовал и тот, с дымящейся склянкой.

Что было дальше с этой склянкой, Берти не видел, но так как в это самое время помощник

взорвал на корме настоящую динамитную шашку, не причинившую, конечно, никому никакого вреда, но Берти с чистой совестью присягнул бы на суде, что туземца у него на глазах разорвало в клочья.

Бегство двадцати пяти завербованных обошлось капитану «Арлы» в сорок фунтов стерлингов, так как не было, конечно, никакой надежды разыскать беглецов в густых зарослях и вернуть их на судно. Шкипер и помощник решили утопить свое горе в холодном чае. А так как этот чай был разлит в бутылки из-под виски, то Берти и в голову не пришло, что они поглощают столь невинный напиток. Он видел только, что они очень быстро упились до положения риз и стали ожесточенно спорить о том, как сообщить о взорванном туземце – как об утопленнике или умершем от дизентерии. Затем оба захрапели, а Берти, видя, что, кроме него на борту не осталось ни одного белого в трезвом состоянии, до самой зари неусыпно нес вахту, ежеминутно ожидая нападения с берега или бунта команды.

Еще три дня простояла «Арла» у берегов Малаиты, и еще три томительных ночи Берти провел на вахте, в то время как шкипер и помощник накачивались с вечера холодным чаем и мирно спали до утра, вполне полагаясь на его бдительность. Берти твердо решил, что если он останется жив, то обязательно сообщит капитану Малу об их пьянстве.

Наконец «Арла» бросила якорь у плантации Реминдж на Гвадалканаре. Со вздохом облегчения сошел Берти на берег и крепко пожал руку управляющему. У мистера Гаривела все было готово к приему гостя.

– Вы только не беспокойтесь, пожалуйста, если заметите, что мои подчиненные настроены невесело, – шепнул по секрету мистер Гаривел, отводя Берти в сторону. – Ходят слухи, что у нас готовится бунт, и нельзя не признать, что кое-какие основания к тому есть, но лично я уверен, что все это сплошной вздор.

– И-и... много туземцев у вас на плантации? – спросил Берти упавшим голосом.

– Сейчас человек четыреста, – с готовностью сообщил мистер Гаривел, – но нас-то ведь трое, да еще вы, конечно, да шкипер «Арлы» с помощником – мы легко с ними управимся.

В эту минуту подошел некто Мак-Тэвиш, кладовщик на плантации, и, еле поздоровавшись с Берти, взволнованно обратился к мистеру Гаривелу с просьбой немедленно его уволить.

– У меня семья, дети, мистер Гаривел! Я не имею права рисковать жизнью! Беда на носу, это и слепому видно. Черные того и гляди взбунтуются, и здесь повторятся все ужасы Хохоно!

– А что это за ужасы Хохоно? – поинтересовался Берти, когда кладовщик после долгих уговоров согласился остаться еще до конца месяца.

– Это он о плантации Хохоно на острове Изабель, – отвечал управляющий. – Там дикари перебили пятерых белых на берегу, захватили шхуну, зарезали капитана и помощника и все скопом сбежали на Малаиту. Я всегда говорил, что тамошнее начальство слишком беспечно. Нас-то они не застанут врасплох!.. Пожалуйста сюда, на веранду, мистер Аркрайт. Посмотрите, какой вид на окрестности!

Но Берти было не до видов. Он придумывал, как бы ему поскорее добраться до Тулаги, под крылышко резидента. И пока он был занят размышлениями на эту тему, за спиной у него вдруг грянул выстрел. В тот же миг мистер Гаривел стремительно втащил его в дом, чуть не вывернув ему при этом руку.

– Ну, дружище, вам повезло. Капельку бы левее – и... – говорил управляющий, ощупывая Берти и постепенно убеждаясь, что тот цел и невредим. – Простите, ради бога, все по моей вине, но кто бы мог подумать – среди бела дня...

Берти побледнел.

– Вот также убили прежнего управляющего, – снисходительно заметил Мак-Тэвиш. – Хороший был парень, жалко! Всю веранду тогда мозгами забрызгало. Вы обратили внимание – вон там темное пятнышко, во-он, между крыльцом и дверью.

Берти пришел в такое расстройство, что коктейль, приготовленный и поднесенный ему мистером Гаривелом, оказался для него как нельзя более кстати. Но не успел он поднести стакан к губам, как вошел человек в бриджах и крагах.

– Что там еще стряслось? – спросил управляющий, взглянув на вошедшего. – Река, что ли, опять разлилась?

– Какая, к черту, река – дикари. В десяти шагах отсюда вылезли из тростника и пальнули по мне. Хорошо еще, что у них была снайдеровская винтовка, а не винчестер, да и стреляли с бедра... Но хотел бы я знать, откуда у них этот снайдер?.. Ах, простите, мистер Аркрайт. Рад вас приветствовать.

– Мистер Браун, мой помощник, – представил его мистер Гаривел. – А теперь давайте выпьем.

– Но где они достали оружие? – допытывался мистер Браун. – Говорил я вам, что нельзя хранить ружья в доме.

– Но они же никуда не делись, – уже с раздражением возразил мистер Гаривел.

Мистер Браун недоверчиво усмехнулся.

– Пойдем посмотрим! – потребовал управляющий.

Берти тоже отправился в контору вместе с остальными. Войдя туда, мистер Гаривел торжествующе указал на большой ящик, стоящий в темном пыльном углу.

– Прекрасно, но откуда же тогда у негодеев ружья? – в который раз повторил мистер Браун.

Но тут Мак-Тэвиш потрогал ящик и, ко всеобщему изумлению, без труда приподнял его. Управляющий бросился к ящику и сорвал крышку – ящик был пуст. Молча и со страхом они посмотрели друг на друга. Гаривел устало опустил голову. Мак-Тэвиш выругался:

– Черт побери! Я всегда говорил, что слугам нельзя доверять.

– Да, положение серьезное, – признался Гаривел. – Ну, ничего, как-нибудь выкрутимся. Нужно задать им острастку, вот и все. Джентльмены, захватите с собой к обеду винтовки, а вы, мистер Браун, пожалуйста, приготовьте штук сорок – пятьдесят динамитных шашек. Шнуры сделайте покороче. Мы им покажем, канальям! А сейчас, джентльмены, прошу к столу.

Берти терпеть не мог риса с пряностями по-индийски, поэтому он, опережая остальных, сразу приступил к заманчивому на вид омлету. Он успел уже разделаться со своей порцией, когда Гаривел тоже потянулся за омлетом. Но, взяв кусочек в рот, управляющий тут же с проклятиями его выплюнул.

– Это уже во второй раз, – зловеще процедил Мак-Тэвиш.

Гаривел все еще харкал и плевался.

– Что во второй раз? – дрожащим голосом спросил Берти.

– Яд, – последовал ответ. – Этому повару не миновать виселицы!

– Вот так же отправился на тот свет счетовод с мыса Марш, – заговорил Браун. – Он умер в ужасных мучениях. Люди с «Джесси» рассказывали, что за три мили слышно было, как он кричал.

– В кандалы закую мерзавца, – прошипел Гаривел. – Хорошо еще, что мы вовремя заметили.

Берти сидел белый, как полотно, не шевелясь и не дыша. Он попытался что-то сказать, но только слабый хрип вылетел из его горла. Все с тревогой посмотрели на него.

– Неужели вы?.. – испуганно воскликнул Мак-Тэвиш.

– Да, да, я съел его! Много! Целую тарелку! – возопил Берти, внезапно обретая дыхание, как пловец, вынырнувший на поверхность.

Наступило ужасное молчание. В глазах сотрапезников Берти прочитал свой приговор.

– Может, это еще не яд, – мрачно заметил Гаривел.

– Спросим у повара, – посоветовал Браун.

Весело улыбаясь, в комнату вошел повар, молодой туземец, с гвоздем в носу и продырявленными ушами.

– Слушай, ты, Ви-Ви! Что это такое? – прорычал Гаривел, угрожающе ткнув пальцем в яичницу.

Такой вопрос, естественно, озадачил и испугал Ви-Ви.

– Хороший еда, можно кушать, – пробормотал он извиняющимся тоном.

– Пускай сам попробует, – предложил Мак-Тэвиш. – Это лучший способ узнать правду.

Гаривел схватил ложку омлета и подскочил к повару. Тот в страхе бросился вон из комнаты.

– Все ясно, – торжественно объявил Браун. – Не станет есть, хоть ты его режь.

– Мистер Браун, прошу вас надеть на него кандалы! – приказал Гаривел и затем ободряюще обратился к Берти: – Не беспокойтесь, дружище, резидент разберет это дело, и, если вы умрете, негодяй будет повешен.

– Вряд ли правительство решится на это, – возразил Мак-Тэвиш.

– Но, господа, господа, – чуть не плача закричал Берти, – вы забываете обо мне!

Гаривел с прискорбием развел руками.

– К сожалению, дорогой мой, это туземный яд и противоядие пока еще не известно. Соберитесь с духом, и если...

Два резких винтовочных выстрела прервали его. Вошел Браун, перезарядил винтовку и сел к столу.

– Повар умер, – сообщил он. – Внезапный приступ лихорадки.

– Мы тут говорили, что против местных ядов нет противоядия.

– Кроме джина, – заметил Браун.



Назвав себя безмозглым идиотом, Гаривел бросился за джином.

– Только не разбавляйте, – предупредил он, и Берти, хватив разом чуть не стакан неразбавленного спирта, поперхнулся, задохся и так раскашлялся, что на глазах у него выступили слезы.

Гаривел пощупал у него пульс и смерил температуру, он всячески ухаживал за Берти, приговаривая, что, может, еще оmlет и не был отравлен. Браун и Мак-Тэвиш тоже высказали сомнение на этот счет, но Берти уловил в их тоне неискреннюю нотку. Есть ему уже ничего не хотелось, и он, тайком от остальных, щупал под столом свой пульс. Пульс все учащался, в этом не было сомнений, Берти только не сообразил, что это от выпитого им джина. Мак-Тэвиш взял винтовку и вышел на веранду посмотреть, что делается вокруг дома.

– Они собираются около кухни, – доложил он, вернувшись. – И все со снайдерами. Я предлагаю подкрасться с другой стороны и ударить им во фланг. Нападение – лучший способ защиты, так? Вы пойдете со мной, Браун?

Гаривел как ни в чем не бывало продолжал есть, а Берти с трепетом обнаружил, что пульс у него участился еще на пять ударов. Тем не менее и он невольно вскочил, когда началась стрельба. Сквозь частую трескотню снайдеров слышались гулкие выстрелы винчестеров Брауна и Мак-Тэвиша. Все это сопровождалось демоническими воплями и криками.

– Наши обратили их в бегство, – заметил Гаривел, когда крики и выстрелы стали удаляться.

Браун и Мак-Тэвиш вернулись к столу, но последний тут же снова отправился на разведку.

– Они достали динамит, – сообщил он по возвращении.

– Что же, пустим в ход динамит и мы, – предложил Гаривел.

Засунув в карманы по пять, шесть штук динамитных шашек, с зажженными сигарами во рту, они устремились к выходу. И вдруг!.. Позже они обвиняли Мак-Тэвиша в неосторожности, и тот признал, что заряд, пожалуй, и правда был великоват. Так или иначе, страшный взрыв потряс стены, дом одним углом поднялся на воздух, потом снова сел на свое основание. Со стола на пол полетела посуда, стенные часы с восьмидневным заводом остановились. Взывая о мести, вся троица кинулась в темноту, и началась бомбардировка.

Когда они двинулись в столовую, Берти и след простыл. Дотащившись до конторы и забаррикадировав дверь, он почил на полу, переживая в пьяных кошмарах сотни всевозможных смертей, пока вокруг него кипел бой. Наутро, разбитый, с отчаянной головной болью от джина, он выполз на воздух и с изумлением обнаружил, что солнце по-прежнему сияет на небе и бог, очевидно, правит миром, ибо гостеприимные хозяева Берти разгуливали по плантации живые и невредимые.

Гаривел уговаривал его погостить еще, но Берти был непоколебим и отплыл на «Арле» к Тулаги, где до прибытия парохода не покидал дома резидента. На пароходе в Сидней опять были путешествующие дамы, и опять они смотрели на Берти как на героя, а капитана Малу не замечали. Но по прибытии в Сидней капитан Малу отправил на острова не один, а два ящика первосортного шотландского виски, ибо никак не мог решить, кто – шкипер Гансен или мистер Гаривел – лучше показал Берти Аркрайту «бурную и полную опасностей жизнь на страшных Соломоновых островах».

\* \* \*

СЫН СОЛНЦА

«Уилли-Уо» стояла в проходе между береговым и наружным рифом. Там, за скалами, лениво шумел прибой, но защищенная лагуна, тянувшаяся ярдов на сто к белому пляжу из мельчайшего кораллового песка, оставалась гладкой, как стекло. Хотя проход был узок, а шхуна стала на якорь в самом мелком месте, позволявшем развернуться, якорная цепь «Уилли-Уо» была выпущена на полные сто футов. Все ее движения отпечатались на дне из живых кораллов. Ржавая цепь, подобно чудовищной змее, переползала с места на место, и ее прихотливые пути скрещивались, расходились и снова скрещивались, чтобы в конце концов сойтись у неподвижного якоря.

Большая треска, серовато-коричневая в крапинку, пугливо резвилась среди кораллов. Другие рыбы, самой фантастической формы и окраски, вели себя чуть ли не вызывающе: они даже не замечали апатично проплывающих мимо больших акул, одно появление которых заставляло треску удирать и прятаться в облюбованные расщелины.

В носовой части судна на палубе человек двенадцать туземцев чистили тиковые поручни. Обезьяны и то лучше справились бы с этой работой. Впрочем, эти люди и напоминали каких-то огромных доисторических обезьян: в глазах то же выражение плаксивой раздражительности, лица асимметричнее, чем у обезьян, не говоря уже о том, что наличие волосяного покрова делает обезьян все же в некотором роде одетыми, тогда как у этих туземцев не было и намека на одежду.

Зато они щеголяли кучей всяких украшений, чего нельзя сказать об обезьянах. В ушах у них красовались глиняные трубки, черепаховые кольца, огромные деревянные затычки, ржавые гвозди, стреляные гильзы. Дырки в их мочках были разной величины, – от такой, как винчестерное дуло, и до нескольких дюймов в диаметре. Каждое ухо в среднем насчитывало от трех до шести отверстий. В нос они продевали иглы и шила из полированной кости или окаменелые раковины. На груди у одного болталась белая дверная ручка, у другого – черепок фарфоровой чашки, у третьего – медное колесико от будильника. Они разговаривали странными птичьими голосами и сообща выполняли работу, с какой шутя справился бы один белый матрос.

На юте под тентом стояли двое мужчин. Оба были в нижних рубашках стоимостью в шесть пенсов и набедренных повязках. У каждого на поясе висели револьвер и кисет с табаком. Пот мириадами капелек выступал у них на коже. Кое-где капельки сливались в крошечные ручейки, которые стекали на горячую палубу и мгновенно испарялись. Сухопарый темноглазый человек пальцами утер со лба едкую струю пота и, устало выругавшись, стряхнул ее. Устало и безнадежно посмотрел он на море за дальним рифом и на верхушки пальм, окаймлявших берег.

– Восемь часов, а жарит, как в пекле. Что-то будет в полдень? – пожаловался он. – Послал бы господь ветерок. Неужто мы никогда не тронемся?

Второй, стройный немец лет двадцати пяти с массивным лбом ученого и недоразвитым подбородком дегенерата, не потрудился ответить. Он был занят тем, что высыпал порошки хинина в папиросную бумагу. Скрутив гран пятьдесят в тугий комок, он сунул его в рот и, не запивая водой, проглотил.

– Хоть бы каплю виски, – вздохнул первый после пятнадцатиминутного молчания.

Прошло еще столько же времени, и наконец немец ни с того ни с сего сказал:

– Малярия доконала меня! Как только придем в Сидней, я попрощаюсь с вами, Гриффитс. Хватит с меня тропиков. Не понимаю, о чем я думал, когда подписывал с вами контракт.

– Какой вы помощник! – ответил Гриффитс; он слишком изнывал от жары, чтобы горячиться. – Когда в Гувуту узнали, что я собираюсь нанять вас, все смеялись. «Кого? Якобсена? – спрашивали меня. – Вам не спрятать от него не то что кварталы джина, а даже склянки серной кислоты. Он что угодно вынюхает». И вы оправдали вашу репутацию. Уже две недели у меня глотка во рту не было, потому что вы изволили вылакать весь мой запас.

– Если бы у вас была такая малярия, как у меня, вы бы понимали, – захныкал помощник.

– Да я и не сержусь, – ответил Гриффитс. – Я только мечтаю, чтобы господь послал мне выпивку, или хотя бы легкий ветерок, или еще что-нибудь. А то завтра у меня начнется приступ.

Помощник предложил ему хинин. Приготовив пятидесятиграновую дозу, Гриффитс сунул комок в рот и проглотил без капли воды.

– Господи! Господи! – простонал он. – Попасть бы в места, где понятия не имеют, что такое хина. Проклятое лекарство, черт бы его побрал! Я проглотил уже тонны этой гадости.

Он снова взглянул на море, ища признаков ветра. Но нигде не было видно облаков, обычных предвестников ветра, а солнце, все еще не добравшееся до зенита, превратило небо в раскаленную медь. Эту жару, казалось, можно было не только ощущать, но и видеть, и Гриффитс устало перевел взгляд на берег. Но и белизна берега причиняла нестерпимую боль глазам. Неподвижные пальмы четко выделялись на фоне неяркой зелени густых зарослей, казались картонными. Чернокожие мальчишки играли голышом на песке под ослепительным солнцем, и человеку, страдающему от нестерпимого зноя, было обидно и тошно на них смотреть. Гриффитс почувствовал какое-то облегчение, когда один из них, разбежавшись, споткнулся и полетел кувырком в тепловатую морскую воду.

Восклицание, которое вырвалось у туземцев, толпившихся на баке, заставило обоих мужчин взглянуть в сторону моря. Со стороны ближайшего мыса, выступавшего из-за рифа, в четверти мили показалось длинное черное каноэ.

– Это племя гоома из соседней бухты, – определил помощник.

Один из чернокожих подошел к юту, ступая по раскаленной палубе с равнодушием человека, чьи босые ноги не ощущают жара. Это тоже болезненно задело Гриффитса, и он закрыл глаза. Но в следующий момент они широко раскрылись.

– Белый хозяин плывет вместе с гоома, – сказал чернокожий.

Капитан и его помощник вскочили на ноги и посмотрели на каноэ. На корме нетрудно было различить сомбреро белого человека. Лицо помощника выразило тревогу.

– Это Гриф, – сказал он.

Гриффитс долго смотрел и, удостоверившись, сердито чертыхнулся.

– Чего ему тут нужно? – обратился он не то к помощнику, не то к слепящим морю и небу, беспощадно сверкающему солнцу, ко всей этой раскаленной и неумолимой вселенной, с которой связала его судьба.

– Говорил я, что вам не удастся удрать, – захихикал помощник.

Но Гриффитс не слушал его.

– При его-то капиталах рыскать, как какой-нибудь сборщик арендной платы! – кричал он в порыве злобы. – Ведь он набит деньгами, купается в деньгах, лопается от денег. Мне точно известно, что он продал свои Йирингские плантации за триста тысяч фунтов. Белл сам сказал мне это, когда мы последний раз выпивали с ним в Гувуту. Архимиллионер, а преследует меня, как Шейлок, из-за какого-то пустяка. – Он накинулся на помощника: – Конечно, вы говорили мне. Так продолжайте же, говорите! Ну так что вы мне рассказывали?

– Я говорил вам, что, если вы надеетесь улизнуть с Соломоновых островов, не заплатив ему, значит вы плохо знаете Грифа. Этот человек – сущий дьявол, но он честен. Я это знаю. Я говорил вам, что он может выбросить тысячу фунтов ради потехи, а за пять центов будет драться, как бродяга за ржавый котелок. Говорю вам: я его знаю. Разве не он отдал свою «Балакулу» Квинслендской миссии, когда их «Вечерняя звезда» погибла у Сан-Кристобаля? А «Балакула», если ее продать, стоит верных три тысячи фунтов. И разве он не вздул Строзерса, да так, что тот две недели валялся на койке, только из-за того, что счет не сходился на два фунта десять шиллингов, а Строзерс стал нахально спорить и пытался обмануть его?

– Черт возьми! – крикнул Гриффитс в бессильной злобе.

Помощник продолжал рассказывать.

– Говорю вам, только честный человек, такой, как он сам, может с ним бороться, но другого такого человека еще не бывало на Соломоновых островах. Людям, как мы с вами, он не под силу. Мы слишком прогнили, насквозь прогнили. У вас тут внизу куда больше тысячи двухсот фунтов. Расплатитесь с ним – и делу конец.

Но Гриффитс только скрипнул зубами и сжал тонкие губы.

– Я буду бороться с ним, – пробормотал он, больше обращаясь к себе и к ослепительному солнечному шару, чем к помощнику. Он повернулся и уже стал спускаться вниз, но возвратился. – Послушайте, Якобсен. Он будет здесь только через четверть часа. Скажите, вы-то за меня? Вы будете на моей стороне?

– Конечно, я буду на вашей стороне. Даром я, что ли, выпил все ваше виски? А что вы намерены предпринять?

– Я не собираюсь убивать его, если удастся обойтись без этого. Но платить ему я не намерен, учтите это.

Якобсен пожал плечами, молчаливо покоряясь судьбе, а Гриффитс шагнул к трапу и спустился в каюту.

2

Якобсен увидел, как каноэ поравнялось с низким рифом, подошло к проходу и скользнуло в него. Гриффитс вернулся на палубу; большой и указательный пальцы его правой руки были перепачканы чернилами. Спустя пятнадцать минут каноэ подошло к борту. Человек в сомбреро встал.

– Здравствуйте, Гриффитс! – сказал он. – Здравствуйте, Якобсен! – Положив руку на фальшборт, он обернулся к своим темнокожим матросам: – Вы, ребята, оставайтесь с лодкой

здесь.

Когда он перепрыгнул через фальшборт и ступил на палубу, в его тяжеловатой на вид фигуре появилась какая-то кошачья гибкость. Подобно другим белым, он был одет очень легко. Дешевая рубашка и белая набедренная повязка не скрывали его атлетического сложения. У него были сильные мускулы, но они не делали фигуру неуклюжей и грузной. Они были округлыми и, приходя в движение, мягко и плавно перекачивались под гладкой загорелой кожей. Тропическое солнце покрыло таким же коричневым загаром его лицо, и оно стало темным, как у испанца. Светлые усы явно не соответствовали темному загару, а глаза поражали синевой. Трудно было представить, что когда-то у этого человека была совсем белая кожа.

– Откуда вас принесло? – спросил Гриффитс, когда они обменялись рукопожатиями. – Я думал, что вы в Санта-Круссе.

– Я и был там, – ответил приехавший. – Но мы совершили быстрый переход. «Удивительный» сейчас стоит в бухте Гоома и ждет ветра. Я узнал от туземцев, что здесь находится судно, и решил посмотреть. Ну, как дела?

– Дела ниже среднего. Копры в сараях почти нет, а кокосовых орехов не наберется и полдюжины тонн. Женщины раскисли от малярии и бросили работу, и мужчинам не удастся загнать их обратно в болота. Да и они все больные. Я угостил бы вас, но мой помощник прикончил последнюю бутылку. Эх, господи, хоть бы подул ветерок!

Гриф, переводя безмятежный взор с одного собеседника на другого, засмеялся.

– А я рад, что держится штиль, – сказал он. – Он помог мне повидаться с вами. Мой помощник раскопал вот этот ваш вексель, и я привез его.

Якобсен вежливо отступил назад, предоставляя своему хозяину самому встретить неприятность.

– К сожалению, Гриф, чертовски сожалею, – сказал Гриффитс, – но денег у меня сейчас нет. Вам придется дать мне еще отсрочку.

Гриф прислонился к трапу, и на лице его выразились удивление и огорчение.

– Черт побери, – сказал он, – как люди на Соломоновых островах быстро приучаются врать! Никому нельзя верить. Вот, например, капитан Йенсен. Я готов был поклясться, что он не лжет. Всего лишь пять дней назад он сказал мне... Хотите знать, что он сказал мне?

Гриффитс облизал губы.

– Ну?

– Он сказал мне, что вы продали все, сорвали большой куш и уходите на Новые Гебриды.

– Подлый лгун! – раздраженно крикнул Гриффитс.

Гриф кивнул головой.

– Похоже, что так. Он даже имел наглость утверждать, что купил у вас две ваши фабрики – Маури и Кахулу. Он сказал, что заплатил вам за них со всеми потрохами тысячу семьсот фунтов стерлингов.

Глаза Гриффитса сузились и сверкнули. Но и это произвольное движение не ускользнуло от ленивого взгляда Грифа.

– И Парсонс, ваш агент в Хикимаве, рассказал мне, что Фулкрумская компания купила у вас эту факторию. Ну ему-то какой смысл врать?

Гриффитс, изнуренный жарой и болезнью, больше не владел собой. Все, что у него накопело, отразилось на его лице, рот насмешливо искривился.

– Послушайте, Гриф, зачем вы играете со мной? Вам все известно, и я это знаю. Ну хорошо, пусть будет так. Я действительно продал все и сматываюсь. Что же вы намерены предпринять?

Гриф пожал плечами, лицо его по-прежнему ничего не выражало. Казалось только, что он озадачен.

– Здесь закон не действует. – Гриффитс решил внести в дело полную ясность. – Тулаги отсюда в ста пятидесяти милях. Я запасся всеми нужными бумагами и нахожусь на собственном судне. Ничто не помешает мне уйти. Вы не вправе задержать меня только из-за того что я должен вам какие-то деньги. И, клянусь богом, вам не удастся это сделать. Зарубите себе на носу.

Лицо Грифа выразило обиду и недоумение.

– Вы хотите сказать, что собираетесь прикарманить мои двенадцать сотен, Гриффитс?

– Да что-то в этом роде, старина. И жалкие слова не помогут вам. Но, кажется подул ветерок. Вам лучше убраться отсюда, пока я не двинулся, не то я потоплю вашу лодку.

– Действительно, Гриффитс, вы почти правы. Я не могу вас задержать. – Гриф пошарил в сумке, которая висела на поясе от револьвера, и вытащил свернутую бумагу, по-видимому, официальный документ. – Но, может быть, вот это остановит вас. Тут уж вам придется кое-что зарубить себе на носу.

– Что это?

– Приказ адмиралтейства. Бегство на Новые Гебриды не спасет вас. Он имеет силу повсюду.

Взглянув на документ, Гриффитс проглотил слюну. Нахмутив брови, он обдумывал создавшееся положение. Затем он внезапно поднял глаза, все его лицо дышало искренностью.

– Вы оказались умнее, чем я полагал, старина, – признался он. – Накрыли вы меня. Зря я вздумал тягаться с вами. Якобсен предупредил, что у меня ничего не выйдет, но я не послушал его. Оказалось, он был прав, так же, как правы и вы. Деньги у меня внизу. Пойдемте туда и рассчитаемся.

Гриффитс начал спускаться вниз первым, но затем пропустил гостя вперед и взглянул на море, где неожиданный порыв ветра оживил волну.

– Поднимите якорь! – приказал он помощнику. – Ставьте паруса и готовьтесь к отходу!

Когда Гриф присел на край койки помощника перед маленьким столиком, он заметил, что из-под подушки торчит рукоятка револьвера. На столике, прикрепленном крюками к переборке, были чернила, перо и потрепанный судовой журнал.

– О, меня ничем не проймешь – я и не такие шутки откалывал! – вызывающе говорил Гриффитс. – Я слишком долго болтался в тропиках. Я болен, чертовски болен. А виски, солнце и малярия сделали меня к тому же больным и душевно. Теперь для меня не существует ничего низкого и бесчестного, и я способен понять, почему туземцы едят людей,

охотятся за головами и делают тому подобные вещи. Я сейчас и сам на все способен. А потому попытку надуть вас на эту маленькую сумму я называю безобидной шуткой. К сожалению, не могу предложить вам выпить.

Гриф ничего не ответил, и хозяин занялся тем, что пытался отпереть большой и помятый во многих местах денежный ящик. С палубы донеслись пронзительные крики, грохот и скрип блоков, – чернокожие матросы ставили паруса. Гриф следил за большим тараканом, ползавшим по грязной стене. Гриффитс, раздраженно ругаясь, перенес денежный ящик к трапу, где было больше света. Здесь, повернувшись спиной к гостю и склонясь над ящиком, он схватил винтовку, которая стояла рядом с лестницей, и быстро повернулся.

– Теперь не двигайтесь, – приказал он.

Гриф улыбнулся, насмешливо приподнял брови и подчинился. Его левая рука лежала на койке, а правая на столе. Револьвер, висевший у его правого бедра, был хорошо виден. Но он вспомнил о другом револьвере, который торчал из-под подушки.

– Ха! – усмехнулся Гриффитс. – Вы загипнотизировали всех на Соломоновых островах, но не меня, позвольте вам сказать. А теперь я выброшу вас отсюда вместе с вашим адмиралтейским приказом, но сначала вам придется кое-что сделать. Поднимите этот судовой журнал.

Гриф с любопытством взглянул на журнал, но не сделал ни единого движения.

– Говорю вам, Гриф, я болен, и мне так же легко застрелить вас, как раздавить таракана. Повторяю, поднимите этот журнал.

Он и в самом деле выглядел больным; его худое лицо нервно дергалось от овладевшей им ярости. Гриф поднял журнал и отложил его в сторону. Под ним лежал исписанный листок бумаги вырванный из блокнота.

– Прочтите! – приказал Гриффитс. – Прочтите вслух!

Гриф подчинился; но в то время как он читал, пальцы его левой руки начали медленно подвигаться к рукоятке револьвера, лежавшего под подушкой.

«Борт судна „Уилли-Уо“, бухта Бомби, остров Анны, Соломоновы острова, – прочел он. – Настоящим заявляю, что я получил сполна весь долг с Гаррисона Гриффитса, который сего числа заплатил мне наличными тысячу двести фунтов стерлингов, и данной подписью удостоверяю, что не имею к нему никаких претензий».

– Когда эта расписка будет в моих руках, – усмехнулся Гриффитс, – ваш адмиралтейский приказ не будет стоить и бумаги, на которой он написан. Подпишите!

– Это не поможет, Гриффитс, – сказал Гриф. – Документ, скрепленный подписью под принуждением, не имеет законной силы.

– В таком случае почему вы не хотите подписать его?

– Просто я избавлю вас от крупных неприятностей, если не подпишу его.

Пальцы Грифа уже прикоснулись к револьверу, и в то время как он разговаривал, играя пером, которое держал в правой руке, левой он начал медленно и незаметно подвигать оружие к себе. Когда наконец револьвер полностью очутился под рукой и средний палец лег на спусковой крючок, а указательный – вдоль ствола, он подумал, удастся ли ему метко выстрелить, держа оружие в левой руке и не прицеливаясь.

– Обо мне не заботьтесь, – насмеялся Гриффитс. – Запомните только: Якобсен подтвердит, что видел, как я уплатил вам деньги. А теперь подпишите, подпишите полностью внизу и поставьте дату, Дэвид Гриф.

С палубы донеслись визг шкотовых блоков и треск ликтросов о паруса. В каюте можно было почувствовать, что «Уилли-Уо» кренится, забирая ветер, и выпрямляется. Дэвид Гриф все еще медлил. Спереди раздался резкий стук шкивов грота-фалов. Маленькое судно накренилось, и сквозь стенки каюты слышались бульканье и плеск воды.

– Пошевеливайтесь! – крикнул Гриффитс. – Якорь поднят.

Дуло винтовки, направленное прямо на него, находилось на расстоянии четырех футов, когда Гриф решил действовать. При первых движениях судна Гриффитс покачнулся, и винтовка дрогнула. Гриф воспользовался этим, притворился, будто подписывает бумагу, и в то же мгновение с кошачьим проворством сделал быстрое и сложное движение. Он низко пригнулся, бросился всем телом вперед, а левая рука его мелькнула из-под стола, и он столь своевременно и решительно нажал на спусковой крючок, что пуля вылетела как раз в тот момент, когда дуло показалось наружу. Но и Гриффитс не отстал. Дуло его оружия опустилось, чтобы встретить пригнувшееся тело, и выстрел из винтовки раздался одновременно с выстрелом из револьвера.

Гриф почувствовал острую боль и ожог от пули, оцарапавшей ему плечо, и увидел, что сам он промахнулся. Он бросился к Гриффитсу, чтобы предупредить новый выстрел, и, обхватив обе его руки, все еще державшие винтовку, сильно прижал их к телу. А дуло револьвера, который был в его левой руке, он приставил к животу Гриффитса. Под влиянием гнева и острой боли от содранной кожи Гриф уже был готов спустить курок, как вдруг волна гнева схлынула, и он овладел собой. Снаружи доносились негодующие крики людей с его лодки.

Все это произошло в течение нескольких секунд. Без малейшего промедления Гриф схватил своего противника в охапку и, не давая ему опомниться, потащил вверх по крутым ступенькам. Он выскочил на палубу в слепящий блеск солнца. У рулевого колеса, ухмыляясь, стоял чернокожий, и «Уилли-Уо», чуть накренившись от ветра, летела вперед, оставляя за собой пенистый след. А за кормой быстро отставала его лодка. Гриф повернул голову. Со средней палубы к нему бежал Якобсен с револьвером в руке. В два прыжка, все еще держа в объятиях беспомощного Гриффитса, Гриф добрался до борта, перемахнул через него и исчез в волнах.

Оба человека, сцепившись, пошли ко дну, но Гриф сразу поджал колени, уперся ими в грудь противника и, разорвав тиски, подмял его под себя. Поставив обе ступни на плечи Гриффитса, он заставил его погрузиться еще ниже, а сам вынырнул на поверхность. Едва его голова показалась в солнечном свете, как два всплеска воды в быстрой последовательности и на расстоянии двух футов от его лица известили о том, что Якобсен умеет пользоваться оружием. Но третьего выстрела не последовало, так как Гриф, набрав полные легкие воздуха, снова нырнул. Под водой он поплыл в сторону берега и не поднимался на поверхность до тех пор, пока не увидел над головой лодку и шлепающие весла. Когда он влез в лодку, «Уилли-Уо» шла по ветру, делая поворот.

– Давай! Давай! – крикнул Гриф своим матросам. – Эй, ребята, быстро к берегу!

Без всякого стеснения он повернулся спиной к полю боя и бежал в укрытие. «Уилли-Уо» была вынуждена остановиться, чтоб подобрать своего капитана, и это дало Грифу возможность уйти. Каноэ, подгоняемое всеми веслами, на полном ходу врезалось в песок, и все члены его экипажа, выскочив, побежали по песку к деревьям. Прежде чем они достигли укрытия, песок трижды взрывался перед ними. И вот наконец они очутились в спасительной чаще зарослей.

Гриф смотрел, как «Уилли-Уо», держа круто к ветру, вышла из прохода и, ослабив шкоты,



повернула на юг. Когда судно, огибая мыс, скрылось из виду, он успел заметить, как на нем поставили топсель. Один из туземцев, чернокожий лет пятидесяти, страшно изуродованный рубцами и шрамами от кожных болезней и старых ран, посмотрел ему в лицо и усмехнулся.

– Честное слово, – сказал он, – этот шкипер очень сердит на тебя.

Гриф засмеялся и пошел обратно по песку к лодке.

3

Ни один человек на Соломоновых островах не знал, сколько миллионов у Дэвида Грифа, ибо его владения и предприятия были разбросаны по всей южной части Тихого океана. От Самоа до Новой Гвинеи и даже севернее экватора встречались его плантации. Он владел концессиями по добыванию жемчуга на Паумоту. Хотя имя его нигде не упоминалось, но он представлял немецкую компанию, которая вела торговлю на Маркизских островах, принадлежащих Франции. Во всех группах островов у него имелись фабрики, и их обслуживали многочисленные суда, также принадлежащие ему. Он владел атоллами, столь отдаленными и микроскопическими, что самые маленькие его суда и шхуны навещали их не чаще раза в год.

В Сиднее, на улице Каслри, его контора занимала три этажа. Но он редко бывал там. Его больше привлекали поездки на острова, где он основывал все новые предприятия, проверял и оживлял старые и при этом сталкивался с тысячами неожиданных приключений и забав. Он купил за бесценку затонувший пароход «Гавонн» и, совершив невозможное, вытащил его на поверхность, заработав на этом четверть миллиона. На Луизиадах он основал первые каучуковые плантации, а на Бора-Бора покончил с хлопком и заставил беспечных туземцев сажать какао. Он приобрел покинутый остров Лаллу-Ка, заселив его полинезийцами с атолла Онтонг-Ява, и посадил там на четырех тысячах акров земли кокосовые пальмы. И не кто иной, как он, примирил враждующие племена таитян и начал разработку фосфатов на острове Хикиху.

Его собственные суда привозили новых рабочих. Они везли туземцев с Санта-Круса на Новые Гебриды, жителей Новых Гебрид на остров Банка, а охотников за головами перевозили с Малаиты на плантации Нью-Джорджии. От Тонги до островов Гилберта и дальше к островам Луизиады его вербовщики объезжали все берега в поисках рабочих. Он владел тремя большими пароходами, совершавшими регулярные рейсы между островами, хотя сам он редко выбирал их для своих поездок, предпочитая более примитивный способ передвижения при помощи ветра и парусов.

Ему было не меньше сорока лет, но выглядел он тридцатилетним. Однако обитатели берегов Тихого океана помнили, как он впервые появился на островах лет двадцать назад: соломенные усики уже тогда покрывали шелковистым пухом его верхнюю губу. В отличие от других белых в тропиках он жил здесь потому, что любил эти места. Его кожа легко переносила действие солнечных лучей. Он был рожден для солнца. Невидимые сверхскоростные световые волны были бессильны причинить ему вред. Другие белые люди не были защищены от них. Солнце проникало сквозь их кожу, разрушало и сушило их ткани и нервы, пока они не заболели умственно и физически, посылали к чертям все десять заповедей, опускались до уровня животных, быстро спивались, вгоняя себя в гроб, и так неистово самоуправствовались, что для усмирения их иногда приходилось посылать военные суда.

А Дэвид Грифф был настоящим сыном солнца и процветал под его лучами. С годами он становился все более смуглым, и его коричневый загар приобрел тот золотистый оттенок, каким отливают кожа полинезийцев. Но его голубые глаза сохраняли свою голубизну, усы оставались соломенными, а черты лица были такими, какие присущи в течение многих веков английской расе. Он был англичанином по крови, однако те, кто знал его, утверждали, что родился он, во всяком случае, в Америке. В отличие от своих знакомых он явился в Океанию не ради наживы. Собственно говоря, он даже привез кое-что с собой. Впервые он появился на островах Паумоту. Юношей, ищущим романтику и приключения на опаленной солнцем дороге тропиков, он прибыл на борту маленькой собственной яхты, которой сам же управлял. Его принес сильный ураган: гигантские волны забросили его вместе с яхтой в самую гущу кокосовых пальм за триста ярдов от берега. Спустя шесть месяцев вывезли его оттуда ловцы жемчуга. Но солнце уже проникло в его кровь. На Таити, вместо того чтобы сесть на пароход и возвратиться домой, он купил шхуну, нагрузил ее товарами, взял ловцов жемчуга и отправился крейсировать по Опасному Архипелагу.

Вместе с появлением золотистого оттенка на его лице золото начало истекать из кончиков его пальцев. Он превращал в золото все, к чему прикасался, но играл в эту игру не ради золота, а ради самой игры. Это была мужская игра, грубые столкновения и жестокие схватки из-за добычи с искателями приключений одной с ним крови и крови половины населения Европы и остального мира. Но еще выше он ставил свою любовь ко всем другим вещам, которые составляют неотъемлемую часть жизни человека, скитающегося по южным морям: к запаху рифов; к безграничной прелести стай актиний, встречающихся в тихих лагунах; к кровавым восходам солнца, с их буйством красок; к увенчанным пальмами островам в бирюзовых морях; к пьянящему действию пассатов; к равномерному покачиванию пенящихся волн; к колеблющейся под ногами палубе; к вздымающимся над головой парусам; к украшенным цветами золотисто-смуглым мужчинам и девушкам Полинезии, полудетям, полубогам, и даже к огромным дикарям из Меланезии, охотникам за головами и людоедам, этим полулюдям и настоящим дьяволам.

И вот единственно от избытка энергии и жизненной силы он, любимый сын солнца, обладатель многих миллионов, свернул со своего далекого пути, чтобы поиграть с Гаррисоном Гриффитсом из-за пустяковой суммы. Это была забава, шутка, задача, часть той игры, в которую он с таким удовольствием играл, легкомысленно ставя на карту собственную жизнь.

4

Ранее утро застало «Удивительный» идущим бейдевинд вдоль берега Гвадалканара. Он медленно скользил по воде под замирающим дыханием берегового бриза. На востоке тяжелые массы облаков предвещали юго-восточные пассаты, сопровождаемые шквалами и ливнями. Впереди вдоль берега одним курсом с «Удивительным» шло небольшое судно, которое он медленно нагонял. Однако это была не «Уилли-Уо»; капитан Уорд с «Удивительного», опустив подзорную трубу, назвал судно «Каури».

Грифф, только что поднявшийся на палубу, с сожалением вздохнул.

– Эх, если бы это была «Уилли-Уо»! – сказал он.

– А вы не любите, когда вам достается, – с участием заметил Дэнби, второй помощник.

– Разумеется. – Грифф замолчал, а потом искренне рассмеялся. – Я твердо убежден, что Гриффитс – мошенник, а вчера он поступил просто подло. «Подпишите, – говорит, –

подпишите полностью внизу и поставьте дату». И Якобсен, жалкая крыса, еще помогал ему. Это было настоящее пиратство, снова возвратились дни Забияки Хейса.

– Не будь вы моим хозяином, мистер Гриф, я бы с удовольствием дал вам совет, – вмешался капитан Уорд.

– Ну, выкладывайте, – одобрил его Гриф.

– Тогда... – Капитан помедлил и откашлялся. – При ваших-то капиталах надо быть дураком, чтобы идти на такой риск – связываться с этими проходимцами. Для чего вы это делаете?

– По правде говоря, я и сам не знаю, капитан. Наверное, мне просто хочется. А можете ли вы найти какую-нибудь более основательную причину для всех ваших поступков?

– В один прекрасный день оторвут вашу буйную голову, – заворчал в ответ капитан Уорд, подходя к компасу, чтобы определить положение судна относительно пика, вершина которого как раз в эту минуту показалась из-за облаков, закрывавших Гвадалканар.

Береговой бриз напруг последние силы, и «Удивительный», быстро скользя по волнам, догнал «Каури» и пошел рядом с ним. Когда обмен приветствиями закончился, Дэвид Гриф спросил:

– Не попадалась ли вам «Уилли-Уо»?

Капитан в широкополой шляпе и с голыми ногами потуже затянул бечевкой вокруг пояса выцветшую голубую набедренную повязку и сплюнул табачную жижу за борт.

– Попадалась, – ответил он. – Гриффитс заходил в Саво вчера вечером, чтобы запастись свининой, бататом и наполнить баки пресной водой. Похоже, собирается в дальнее плавание, но он отрицает это. А что? Вы хотели повидать его?

– Да, но если вы его встретите раньше, то не говорите, что видели меня.

Капитан кивнул головой и, подумав, перешел на нос судна, чтобы не удаляться от собеседника, находящегося на более быстроходной шхуне.

– Послушайте! – сказал он. – Якобсен говорил мне, что они собираются сегодня быть в Габере. Он сказал, они переночуют там, чтобы взять запас земляной груши.

– В Габере находится единственный маячный створ на Соломоновых островах, – заметил Гриф, когда его шхуна ушла намного вперед. – Не так ли, капитан Уорд?

Капитан утвердительно кивнул.

– А в маленькой бухте по эту сторону мыса трудно стать на якорь?

– Совсем невозможно. Там только рифы да мели и прибой сильный. Ведь именно в том месте три года назад «Молли» разлетелась в щепки.

С минуту Гриф затуманенным взором смотрел прямо перед собой, как будто созерцая какое-то видение. Затем глаза его сощурились, а кончики соломенных усов встопорщились от улыбки.

– Мы станем на якорь в Габере, – сказал он. Там меня и спустите в вельботе. Кроме того, дайте мне шесть молодцов с винтовками. Я вернусь на борт еще до утра.

Лицо капитана выразило подозрение, которое тут же сменилось укоризной.

– О, это только невинная шутка, шкипер, – стал оправдываться Гриф с виноватым видом школьника, уличенного в шалости.

Капитан Уорд что-то буркнул, зато Дэнби оживился.

– Мне хотелось бы отправиться с вами, мистер Гриф, – сказал он.

Гриф кивнул головой в знак согласия.

– Припасите несколько топоров и ножей для рубки кустарника, – сказал он. – И между прочим два ярких фонаря. Да проследите, чтобы в них было масло.

5

За час до захода солнца «Удивительный» подошел к маленькой бухте. Ветер посвежел, и оживившееся море начало волноваться. Прибрежные рифы уже побелели от пены прибоя, а те, что подальше, выделялись только бесцветной окраской воды. Когда шхуна, идя по ветру, замедлила ход, с нее спустили вельбот. В него спрыгнуло шесть молодцов с островов Санта-Крус в набедренных повязках, у каждого была винтовка. Дэнби с фонарями сел на корму. Гриф, собираясь спуститься, задержался у борта.

– Молитесь, чтобы ночь была темной, шкипер, – сказал он.

– Будет темной, – ответил капитан Уорд. – Луны не видно, и все небо закрыто облаками. Что-то пахнет штормом.

От такого прогноза лицо Грифа просветлело, и золотистый оттенок его загара стал более отчетливым. Он спрыгнул вниз ко второму помощнику.

– Отваливайте! – приказал капитан Уорд. – Ставь паруса! Руль под ветер! Так! Прямо держать руль!

«Удивительный» с наполненными парусами скользнул прочь и, обогнув мыс, пошел к Габере, в то время как вельбот на шести веслах с Грифом на руле понесся к берегу. Испушенный рулевой, Гриф пробрался сквозь узкий, извилистый проход, который не могло преодолеть ни одно судно большего размера, чем вельбот. Но вот рифы и мели остались позади, и они ступили на тихий, омываемый волнами берег.

Следующий час был посвящен работе. Расхаживая среди кокосовых пальм и кустарника, Гриф выбирал деревья.

– Рубите это дерево, рубите то, – говорил он туземцам. – Нет, это дерево не трогайте, – говорил он, отрицательно качая головой.

Наконец в зарослях был вырублен целый клин. У берега осталась одна высокая пальма, у вершины клина вторая. Когда зажгли фонари, подняли их на эти два дерева и закрепили там, было уже темно.

– Тот наружный фонарь висит слишком высоко, – критически заметил Дэвид Гриф. – Дэнби, повесьте его футов на десять ниже.

6

«Уилли-Уо» во весь дух мчалась по волнам, потому что порывы налетающего шквала все еще оставались сильными. Чернокожие поднимали большой грот, который спустили на ходу, когда ветер был слишком сильным. Якобсен, наблюдавший за их работой, приказал им сбросить фалы с нагелей и быть наготове, а сам прошел на бак, где стоял Гриффитс. Широко раскрытые глаза обоих мужчин напряженно всматривались в черную тьму, а уши жадно ловили звук прибоя, ударявшего в невидимый берег. Именно по этому звуку они и могли управлять своим судном в тот момент.

Ветер немного стих, массы облаков поредели и начали расходиться, в сумрачном свете звезд вдали неясно вырисовывался лесистый берег. Впереди с подветренной стороны появилась остроконечная скала. Капитан и помощник устремили на нее взгляд.

– Мыс Эмбой, – объявил Гриффитс. – Глубина здесь достаточная. Встаньте на руль, Якобсен, пока не определим курс. Живее!

Босой, с голыми икрами и в скудном одеянии, с которого струилась вода, помощник перебежал на корму и заменил чернокожего у штурвала.

– Как идем? – спросил Гриффитс.

– Зюйд-зюйд-вест.

– Ложись на зюйд-вест.

– Есть!

Гриффитс прикинул изменившееся положение мыса Эмбой по отношению к курсу «Уилли-Уо».

– Полрумба к весту! – крикнул он.

– Есть полрумба на вест! – донесся ответ.

– Так держать!

– Есть так держать! – Якобсен отдал штурвал туземцу. – Правь как следует, слышишь? – пригрозил он. – А не то я оторву твою проклятую черную башку.

Он снова пошел на бак и присоединился к Гриффитсу; опять сгустились тучи, звезды спрятались, а ветер усилился и разразился новым шквалом.

– Смотрите за гротом! – прокричал Гриффитс на ухо помощнику, одновременно следя за поведением судна.

Оно понеслось по волнам, черпая левым бортом, в то время как он мысленно измерял силу ветра и придумывал, как бы ослабить его действие. Тепловатая морская вода, чуть-чуть фосфоресцируя, заливала его ступни и колени. Ветер завывал на высокой ноте, и все снасти запели, когда «Уилли-Уо» еще больше увеличила скорость.

– Убрать грот! – закричал Гриффитс, бросаясь к дириxfалам, и, отталкивая чернокожих, он сам выполнил эту команду.

Якобсен у гафелей сделал то же самое. Большой парус упал вниз, и чернокожие с криками и воплями бросились на сопротивляющийся брезент. Помощник, отыскав в темноте туземца, уклоняющегося от работы, сунул свои огромные кулаки ему в лицо и потащил работать.

Шторм был в полном разгаре, и «Уилли-Уо» даже на малых парусах мчалась во весь дух. Снова двое мужчин встали на баке и тщетно всматривались в затянутый сеткой дождя горизонт.

– Мы идем верно, – сказал Гриффитс. – Дождь скоро кончится. Можем держать этот курс, пока не увидим огни. Вытравите тринадцать саженей якорной цепи. Хотя в ночь вроде этой лучше вытравить все сорок пять. А потом пусть убирают грот. Он нам больше не понадобится.

Спустя полчаса его утомленные глаза различили мерцание двух огней.

– Вот они, Якобсен. Я стану на руль. Спустите носовой стаксель и готовьте якорь. Заставьте-ка негров попрыгать.

Стоя на корме и держа в руках штурвал, Гриффитс следовал тому же курсу, пока оба огня не слились в один, а затем резко изменил курс и пошел прямо на них. Он слышал грохот и рев прибоя, но решил, что это далеко, – должно быть, у Габеры.

Он услышал испуганный крик помощника и изо всех сил стал вертеть штурвал обратно, но тут «Уилли-Уо» наскочила на риф. В тот же момент грот-мачта свалилась на бак. Последовало пять ужасных минут. Все уцепились за что попало, а шхуну то подбрасывало вверх, то швыряло на крупный коралл, и теплые волны перекатывались через людей. Давя и ломая коралл, «Уилли-Уо» пробилась через отмель и окончательно стала в сравнительно спокойном и мелководном проливе позади.

Гриффитс молча сел на крышу каюты, свесив голову на грудь в бессильной ярости и горечи. Только раз он поднял голову, чтобы взглянуть на два белых огня, стоявших точно один над другим.

– Вот они, – сказал он. – Но это не Габера. Что же это тогда, черт побери?

Хотя прибой все еще ревел и по отмели катились буруны, обдавая мелкими брызгами людей, ветер стих, и выглянули звезды. Со стороны берега донесся плеск весел.

– Что у вас здесь было? Землетрясение? – крикнул Гриффитс. – Дно совсем изменилось. Я сотни раз стоял здесь на тридцати саженях каната. Это вы, Вильсон?

Подошел вельбот, и человек перепрыгнул через поручни. При тусклом свете звезд Гриффитс увидел направленный в его лицо автоматический кольт, а подняв глаза, узнал Дэвида Грифа.

– Нет, вы никогда еще не отдавали здесь якорь, – сказал Гриф, смеясь. – Габера с той стороны мыса, и я отправлюсь туда, как только получу маленькую сумму в тысячу двести фунтов стерлингов. О расписке можете не беспокоиться. У меня с собой ваш вексель, и я просто возвращу его вам.

– Это сделали вы! – закричал Гриффитс, вскакивая на ноги в порыве злобы. – Вы установили фальшивые огни! Вы разорили меня...

– Спокойно! Спокойно! – В ледяном тоне Грифа прозвучала угроза. – Так, значит, тысячу двести, будьте добры!

Гриффитсом, казалось, овладело полное безразличие. Он испытывал отвращение, глубокое отвращение к этой солнечной стране, к неумолимому зною, к тщетности всех своих попыток, к этому голубоглазому с золотистой кожей, необыкновенному человеку, который разрушил все его планы.

– Якобсен, – сказал он, – откройте денежный ящик и дайте этому... этому кровопийце...

тысячу двести фунтов.

\* \* \*

## ТАМ, ГДЕ РАСХОДЯТСЯ ПУТИ

Грустно мне, грустно мне этот город покидать,  
Где любимая живет. Швабская народная песня.

Человек, напевавший песню, нагнулся и добавил воды в котелок, где варились бобы. Потом он выпрямился и стал отгонять дымящейся головешкой собак, которые вертелись у ящика с провизией. У него было открытое лицо, голубые веселые глаза, золотистые волосы, и от всего его облика веяло свежестью и здоровьем.

Тонкий серп молодого месяца виднелся над заснеженным лесом, который плотной стеной окружал лагерь и отделял его от остального мира. Мерцающие звезды, казалось, плясали в ясном, морозном небе. На юго-востоке едва заметный зеленоватый свет предвещал северное сияние. У костра лежали двое. Их ложе составляли сосновые ветки, толстым шестидюймовым слоем разостланные на снегу и покрытые медвежьей шкурой. Одежда была откинута в сторону. Парусиновый навес, натянутый между двумя деревьями под углом к земле в сорок пять градусов, служил защитой от ветра и одновременно задерживал тепло у огня и отбрасывал его вниз на медвежью шкуру. На нартах, у самого костра, сидел еще один человек и чинил мокасины. Справа куча мерзлого песка и примитивный ворот указывали, что они упорно целые дни трудились, нащупывая жилу. Слева четыре пары воткнутых в снег лыж говорили о способе передвижения, которым пользовались люди за пределами лагеря.

Волнующе и странно звучала простая швабская песня под холодными северными звездами. Она вселяла беспокойство в сердца людей, отдохавших у костра после утомительного трудового дня, и вызывала в них щемящую боль и острую, как голод, тоску по далекому солнечному Югу.

– Да замолчи ты ради бога, Зигмунд! – взмолился один из лежавших у костра; он прятал в складках медвежьей шкуры свои до боли сжатые кулаки.

– А почему, Дэйв Верц, я должен молчать, если мне хочется петь? – отозвался Зигмунд. – Может, у меня сердце радуется!

– А потому, что не с чего радоваться. Посмотри вокруг. Подумай, что за жизнь ведем мы уже целый год: питаемся черт знает чем и работаем, как лошади.

Золотоволосый Зигмунд спокойно посмотрел на побелевших от инея собак и белый пар от дыхания людей.

– Не вижу, почему бы мне не радоваться? – засмеялся он. – Не так уж все плохо. Мне нравится. Ты говоришь, еда плохая. Ну... Он согнул в локте руку и погладил свои мощные бицепсы. – А насчет того, что живем мы здесь по-скотски, так зато наживаемся по-царски. Жила дает по двадцать долларов с каждой промывки, а в ней еще будет верных восемь футов. Да тут второй Клондайк – и все мы это знаем. Вон Джим Хоз рядом с тобой, он-то

понимает, ну, и не жалуется. А посмотри на Хичкока: чинит себе мокасины, словно старуха, и на стену не лезет: знает, что надо потерпеть. А у тебя вот не хватает выдержки – не можешь спокойно поработать до весны, ведь тогда мы будем богаты, как крезы. Хочется скорее попасть домой, в Штаты? А мне, думаешь, не хочется? Я там родился. Но я могу ждать, потому что каждый день на дне нашего промывочного лотка золото желтеет, словно масло в маслобойке. А ты хнычешь, как ребенок, – подай тебе сейчас же, чего тебе хочется. Нет, уж, по-моему, лучше петь.

Через год, через год, как созреет виноград,

Ворочусь я в край родной.

Если ты еще верна,

Назову тебя женой.

Через год, через год, как окончится мой срок,

Назову тебя женой,

Если ты была верна,

Я навеки буду твой.

Собаки ощетинились и с глухим ворчанием придвинулись ближе к костру. Послышалось мерное поскрипывание лыж и шипящий звук от скольжения по снегу, словно кто-то просеивал сахарный песок. Зигмунд оборвал песню и с проклятием стал отгонять собак. В свете костра показалась закутанная в меха девушка-индианка; она сбросила лыжи, откинула капюшон своей беличьей парки и приблизилась к людям у огня.

– Здорово, Сипсу! – приветствовали ее Зигмунд и двое лежавших на медвежьей шкуре, а Хичкок молча подвинулся, чтоб уступить место рядом на нартах.

– Ну, как дела, Сипсу? – спросил он на каком-то жаргоне – смеси ломаного английского языка с испорченным чинукским наречием. – Что, в поселке все еще голод? И ваш колдун все еще не нашел причины, почему так мало попадается дичи и лось ушел в другие края?

– Да, твоя правда, дичи очень мало; нам скоро придется есть собак. Но колдун нашел причину этого зла; завтра он принесет жертву, которая снимет заклятие с племени.

– А кто будет жертвой? Новорожденный младенец или какая-нибудь дряхлая старуха, которая стала обузой и от которой рады избавиться?

– Нет, на этот раз он рассудил по-другому. Боги очень сердятся, и поэтому жертвой должен быть не кто иной, как дочь вождя племени, – я, Сипсу.

– Ах ты черт! – проговорил Хичкок.

Он произнес это веско, с расстановкой, тоном, в котором слышалось и удивление и раздумье.

– Наши пути теперь расходятся, – спокойно продолжала она. – И я пришла, чтобы мы еще раз посмотрели друг на друга. В последний раз.



Она принадлежала к первобытному миру, и обычаи, по которым она жила, тоже были первобытные. Она привыкла принимать жизнь такой, как она есть, и считала человеческие жертвоприношения в порядке вещей. Силы, которые управляли сменой ночи и дня, разливом вод и морозами, силы, которые заставляли распускаться почки и желтеть листья, – эти силы бывали порой разгневаны, и нужны были жертвы, чтобы склонить их к милосердию. Их воля проявлялась по-разному: человек тонул во время половодья, проваливался сквозь предательский лед, погибал в мертвой хватке медведя или изнурительная болезнь настигала его у собственного очага – и он кашлял, выплевывая кусочки легких, пока жизнь не уходила вместе с последним дыханием. Иногда же боги соглашались принять человеческую жизнь в жертву, а шаман умел угадывать их желания и никогда не ошибался в выборе. Все было просто. Разными путями приходила смерть, но в конце концов все сводилось к одному – к велению непостижимых и всемогущих сил.

Но Хичкок принадлежал к другому, более развитому миру. Обычаи этого мира не отличались ни такой простотой, ни такой непреложностью. Поэтому Хичкок сказал:

– Нет, Сипсу, это неправильно. Ты молода и полна жизни. Ваш колдун болван, он сделал плохой выбор. Этому не бывать.

Она улыбнулась и ответила:

– Жизнь жестока. Когда-то она создала нас: одного с белой кожей, а другого – с красной. Затем она сделала так, что пути наши сошлись, а теперь они расходятся вновь. И мы не в силах изменить это. Однажды, когда боги тоже были разгневаны, твои братья пришли к нам в деревню. Их было трое – сильные белые люди. Они тогда сказали, как ты: «Этому не бывать!» Но они погибли, все трое, а это все-таки совершилось.

Хичкок кивнул ей в знак того, что он понял, потом обернулся к товарищам и, повысив голос, сказал:

– Слышите, ребята? Там, в поселке, видно, все с ума посходили. Они собираются убить Сипсу. Что вы на это скажете?

Хоз и Верц переглянулись и промолчали. Зигмунд опустил голову и гладил овчарку, прижимавшуюся к его ногам. Он привез ее издалека и очень заботился о ней. Секрет был в том, что, когда он уезжал на Север, собаку подарила ему на прощание та самая девушка, о которой он так часто думал и чей портрет в маленьком медальоне, спрятанном у него на груди, вдохновлял его песни.

– Ну, что же вы скажете? – повторил Хичкок.

– Может, это еще и не так, – не сразу ответил Хоз, – может, Сипсу, преувеличивает.

– Я не об этом вас спрашиваю! – Хичкок видел их явное нежелание отвечать, и кровь бросилась ему в лицо от гнева. – Я спрашиваю: если окажется, что это так, можем мы это допустить? Что мы тогда сделаем?

– По-моему, нечего нам вмешиваться, – заговорил Верц. – Даже если все это так, сделать мы ничего не можем. У них так принято, так велит их религия; и это совсем не наше дело. Нам бы намыть побольше золотого песку и поскорее выбраться из этой проклятой дыры. Здесь могут жить только дикие звери. И эти краснокожие – тоже зверье и ничего больше. Нет, с нашей стороны это был бы крайне опрометчивый шаг.

– Я тоже так думаю, – поддержал его Хоз. – Нас тут четверо, а до Юкона триста миль, и ближе ни одного белого человека не встретишь. Так что же мы можем сделать против полусотни индейцев? Если мы поссоримся с ними, нам придется убираться отсюда, а станем

драться – нас попросту уничтожат. Кроме того, мы ведь напали на жилу, и, черт возьми, я, например, не собираюсь ее бросать.

– Правильно! – отозвался Верц.

Хичкок нетерпеливо обернулся к Зигмунду, который напевал вполголоса:

Через год, через год, как созреет виноград,

Ворочусь я в край родной.

– Что ж, Хичкок, – проговорил он наконец, – я согласен с остальными. Если индейцы – а их там верных полсотни – решили убить ее, так что же мы-то можем сделать? Навалются все разом, и нас как не бывало. А что толку? Девчонка все равно останется у них в руках. Нет, идти против местных обычаев можно, только когда сила на твоей стороне.

– Но сила-то ведь на нашей стороне, – прервал его Хичкок. – Четверо белых стоят четырехсот индейцев. И надо же подумать о девушке.

Зигмунд задумчиво погладил собаку.

– А я думаю о девушке. Глаза у нее голубые, как летнее небо, и смеющиеся, как море. И волосы светлые, как у меня, и заплетены они в толстые косы. Она ждет меня там, в солнечной стране. Она ждет давно, и теперь, когда цель моя уже близка, я не хочу рисковать.

Великодушный и справедливый по натуре, он привык поступать бескорыстно, не вдаваясь в рассуждения и не думая о последствиях.

Зигмунд покачал головой.

– Ты сумасшедший, Хичкок, но я из-за тебя глупостей делать не стану. Надо рассуждать трезво и считаться с фактами. Я сюда не развлекаться приехал. А самое главное – наше вмешательство ничему не поможет. Если все, что она говорит, правда, – ну что ж, остается только пожалеть ее. Таков обычай племени, а что тут оказались мы – это чистая случайность. Они делали так тысячу лет назад, и сделают теперь, и будут делать и впредь, до скончания веков. Это люди чуждого нам мира, да и девушка тоже. Нет, я решительно на стороне Верца и Хоца, и...

Собаки зарычали и сбились в кучу. Зигмунд прервал свою речь и прислушался: из темноты доносилось поскрипывание множества лыж. В освещенном круге у костра показалось несколько одетых в шкуры индейцев – высокие, решительные, безмолвные. Их тени зловеще плясали на снегу. Один из них, шаман, обращаясь к Сипсу, проговорил что-то гортанным голосом. Его лицо было грубо размалевано, на плечи накинута волчья шкура, открытая пасть скалила зубы над его лбом. Остальные хранили молчание. Молчали и золотоискатели. Сипсу поднялась и надела лыжи.

– Прощай же, друг! – сказала она Хичкоку.

Но человек, сидевший рядом с ней на нартах, не пошевелился. Он даже не поднял головы, когда индейцы один за другим стали исчезать в темноте.

В отличие от многих мужчин, приехавших в те края, Хичкок никогда не испытывал желания

завязать близкие отношения с женщинами Севера. Он всюду чувствовал себя как дома и одинаково относился ко всем людям, так что взгляды его не были бы помехой, если бы подобное желание у него возникло. Но до сих пор оно просто не возникало. А Сипсу? Он любил болтать с ней у костра, но относился к ней не как мужчина к женщине, а скорее как взрослый к ребенку; это было естественно для человека его склада хотя бы потому, что их дружба немного скрашивала однообразие этой безрадостной жизни. Однако, несмотря на то, что он был до мозга костей янки и вырос в Новой Англии, в нем текла горячая кровь и некоторое рыцарство было ему не чуждо. Деловая сторона жизни порой казалась ему лишенной смысла и противоречила самым глубоким устремлениям его души.

Он сидел молча, опустив голову, чувствуя, что в нем пробуждается какая-то стихийная сила, более могучая, чем он сам, великая сила его предков. Время от времени Хоз и Верц искоса поглядывали на него с легким, но все же заметным беспокойством. Зигмунду тоже было не по себе. Все они знали, что Хичкок очень сильный человек. В этом они не однажды имели случай убедиться за время их совместной жизни, полной всяких опасностей. Потому они теперь с любопытством и некоторым страхом ждали, что он станет делать.

Но он все молчал. Время шло, и костер почти уже догорел. Верц потянулся, зевнул и сказал, что, пожалуй, пора и спать. Тогда Хичкок встал и выпрямился во весь рост.

– Будьте вы прокляты, жалкие трусы! Я вас больше знать не хочу! – Он произнес это спокойно, но в каждом слове чувствовалась сила и непреклонная воля. – Довольно! Давайте рассчитаемся. Можете это сделать, как вам будет удобнее. Мне принадлежит четвертая доля в заявке. Это указано в наших контрактах. Мы намыли унций тридцать золота. Давайте сюда весы, и мы его разделим. Ты, Зигмунд, отмерь мне четвертую часть всех припасов. Четыре собаки мои. Но мне нужно еще столько же. За них я оставлю свою долю снаряжения и инструментов. Кроме того, добавлю свои семь унций золота и ружье с патронами. Идет?

Трое мужчин отошли в сторону. Пошептавшись между собой, они вернулись. Зигмунд заговорил от лица всех:

– Вот что, Хичкок, мы поделимся с тобой честно. Ты получишь одну четвертую часть, ни больше и ни меньше, – и делай с ней что хочешь. А собаки нам и самим нужны. Поэтому можешь взять только четверых. Что же касается твоей доли в снаряжении и инструментах, то нужны они тебе – бери, не нужны – оставь. Это уж твое дело.

– Значит, все по букве закона, – усмехнулся Хичкок. – Ну что ж, я согласен. И давайте поскорее. Я тут ни одной лишней минуты оставаться не желаю. Мне противно смотреть на вас.

Больше не было произнесено ни слова. После того, как раздел совершился, Хичкок уложил на нарты свои скромные пожитки, отобрал и запряг четырех собак. Он не притронулся к снаряжению, зато бросил на нарты полдюжины собачьих постромок и вызывающе поглядел на своих товарищей, ожидая возражений с их стороны. Но они только пожали плечами и потом молча смотрели ему в след, пока он не скрылся в лесу.

По глубокому снегу полз человек. Справа и слева от него чернели крытые оленьими шкурами вигвамы индейцев. Порой то тут, то там голодные собаки принимались выть или озлобленно рычали друг на друга. Одна из них приблизилась к ползущему человеку. Он замер. Собака подошла ближе, понюхала воздух и осторожно сделала еще несколько шагов, пока ее нос не коснулся странного предмета, которого не было здесь до наступления темноты. Тогда Хичкок, ибо это был он, внезапно приподнялся; мгновение – и его рука, с которой он заранее снял рукавицу, стиснула мохнатое горло собаки. И смерть настигла ее в этой стальной хватке. Когда человек пополз дальше, собака осталась на снегу под звездами со сломанной шеей.

Хичкок дополз до вигвама вождя. Он долго лежал на снегу, прислушиваясь к голосам и стараясь определить, где именно находится Сипсу. Очевидно, там находилось много людей, и, судя по доносившемуся шуму, все они были в большом волнении.

Наконец он различил голос девушки и, обогнув вигвам, оказался рядом с ней, так что их разделяла лишь тонкая оленья шкура. Разгребая снег, Хичкок постепенно подсунул под нее голову и плечи. Когда он почувствовал теплый воздух жилища, то приостановился и стал ждать. Он ничего не видел и боялся пошевелиться. Слева от него, очевидно, находилась кипа шкур. Он почувствовал это по запаху, но все же для большей уверенности осторожно ощупал ее. Его лица слегка коснулся край чьей-то меховой одежды. Он был почти уверен, что это Сипсу, но все-таки ему хотелось, чтобы она еще раз заговорила.

Он слышал, как вождь и шаман о чем-то горячо спорили, а где-то в углу плакал голодный ребенок. Хичкок повернулся на бок и осторожно приподнял голову, все так же слегка касаясь лицом меховой одежды. Он прислушался к дыханию. Это было дыхание женщины. И он решил рискнуть.

Осторожно, но довольно крепко он прижался к ней и почувствовал, как она вздрогнула. Он замер в ожидании. Чья-то рука скользнула по его голове, ощупала курчавые волосы, затем тихонько повернула его лицо кверху – и в следующее мгновение он встретился глазами с Сипсу.

Она была совершенно спокойна. Непринужденно изменив позу, она облокотилась на кипу шкур и поправила свою одежду так, что совершенно скрыла его. Затем, и снова как бы случайно, она склонилась над ним, опустила голову, и ухо ее слегка прижалось к его губам.

– Как только выберешь подходящую минуту, – прошептал он, – уходи из поселка, иди в направлении ветра прямо к тому месту, где ручей делает поворот. Там, у сосен, будут мои собаки и нарты, готовые для дороги. Сегодня ночью мы отправимся в путь – к Юкону. Мы должны будем ехать очень быстро, поэтому хватай первых попавшихся собак и тащи их к ручью.

Сипсу отрицательно покачала головой, но ее глаза радостно заблестели, – она была горда тем, что этот человек пришел сюда ради нее. Подобно всем женщинам своего народа, она считала, что ее судьба – покоряться мужчине. Хичкок властно повторил: «Ты придешь!» И хотя она не ответила, он знал, что его воля для нее – закон.

– О постромках не беспокойся, – добавил он. – И поторапливайся. День прогоняет ночь, и время не ждет.

Спустя полчаса Хичкок стоял у своих нарт и пытался согреться, притопывая ногами и хлопая себя по бедрам. И тут он увидел Сипсу; она тащила за собой двух упирающихся собак, при виде которых собаки Хичкока пришли в воинственное настроение, и ему пришлось пустить в ход рукоятку бича, чтобы их утихомирить. Поселок находился с наветренной стороны, и малейший звук мог обнаружить их присутствие.

– Запрягай их поближе к нартам, – приказал он, когда она набросила постромки на приведенных собак. – Мои должны быть впереди.

Но когда она сделала это, выпряженные собаки Хичкока накинулись на чужаков, и, хотя Хичкок попытался усмирить их прикладом ружья, поднялся шум и, нарушая тишину ночи, разнесся по спящему поселку.

– Ну, теперь собак у нас будет больше чем достаточно, – мрачно заметил он и достал привязанный к нартам топор. – Запрягай тех, которых я буду швырять тебе, да хорошенько присматривай за упряжкой.

Он сделал несколько шагов вперед и занял позицию между двух сосен. Из поселка доносился лай собак, он ждал их приближения. Вскоре на тусклой снежной равнине показалось быстро растущее темное пятно. Это была собака. Она шла большими ровными прыжками и, подвывая по-волчьи, вела всю свору. Хичкок притаился в тени. Как только собака поравнялась с ним, он быстрым движением схватил ее передние лапы, и она, перевернувшись через голову, уткнулась в снег. Затем он нанес ей точно рассчитанный удар пониже уха и бросил ее Сипсу. Пока она надевала на собаку упряжь, Хичкок, вооруженный топором, сдерживал натиск всей своры, – клубок косматых тел с горящими глазами и сверкающими зубами бесновался у самых его ног. Сипсу работала быстро. Как только с первой собакой было покончено, Хичкок рванулся вперед, схватил и оглушил еще одну и тоже бросил ее девушке. Это повторилось трижды. Когда в упряжке оказался десяток рычащих псов, он крикнул: «Довольно!»

Из поселка уже спешила толпа. Впереди бежал молодой индеец. Он врезался в стаю собак и стал колотить их направо и налево, стараясь пробраться к тому месту, где стоял Хичкок. Но тот взмахнул прикладом ружья – и молодой индеец упал на колени, а затем опрокинулся навзничь. Бежавший сзади шаман видел это.

Хичкок приказал Сипсу трогаться. Едва она крикнула «Чук!», как обезумевшие собаки рванулись вперед, и Сипсу с трудом удержалась на нартах. Очевидно, боги были сердиты на шамана, ибо именно он оказался в эту минуту на дороге. Вожак наступил ему на лыжи, шаман упал, и вся упряжка вместе с нартами пронеслась по нему. Но он быстро вскочил на ноги, и эта ночь могла бы кончиться иначе, если бы Сипсу длинным бичом не нанесла ему удар по лицу. Он все еще стоял посреди дороги, покачиваясь от боли, когда на него налетел Хичкок, бежавший за нартами. В результате этого столкновения познания первобытного теолога относительно силы кулака белого человека значительно пополнились. Поэтому, когда он вернулся в жилище вождя и принялся ораторствовать в совете, он был очень зол на всех белых людей.

– Ну, лентяи, вставайте! Пора! Завтрак будет готов прежде, чем вы успеете надеть свои мокасины.

Дэйв Верц откинул медвежью шкуру, приподнялся и зевнул. Хоз потянулся, обнаружил, что отлежал руку, и стал сонно растирать ее.

– Интересно, где Хичкок провел эту ночь? – спросил он, доставая свои мокасины. За ночь они задеревенели, и он, осторожно ступая в носках по снегу, направился к костру, чтобы оттаять обувь. – Слава богу, что он ушел. Хотя, надо признаться, работник он был отличный.

– Да. Только уж очень любил все по-своему поворачивать. В этом его беда. А Сипсу жалко. Она, что, ему действительно так нравилась?

– Не думаю. Для него тут все дело в принципе. Он считал, что это неправильно, – ну, и, конечно же, неправильно, только это еще не причина нам вмешиваться и всем отправиться на тот свет раньше времени.

– Да, принципы – вещь неплохая, но все хорошо в свое время; когда отправляешься на Аляску, то принципы лучше оставлять дома. А? Правильно я говорю? – Верц присоединился к своему товарищу и тоже стал отогревать у костра мокасины. – Ты как считаешь: мы должны были вмешаться?

Зигмунд отрицательно покачал головой. Он был очень занят: коричневатая пена грозила перелиться через край кофейника, и пора уже было переворачивать сало на сковородке. Кроме того, он думал о девушке со смеющимися, как море, глазами и тихонько напевал.

Его товарищи с улыбкой перемигнулись и замолчали. Хотя было уже около семи, до рассвета оставалось еще не меньше трех часов. Северное сияние погасло, и в ночной темноте лагерь представлял собой островок света; фигуры трех людей отчетливо вырисовывались на фоне костра. Воспользовавшись наступившим молчанием, Зигмунд повысил голос и запел последний куплет своей старой песни:

Через год, через год, как созреет виноград...

Оглушительный ружейный залп разорвал тишину ночи. Хоз охнул, сделал движение, словно пытаясь выпрямиться, и тяжело осел на землю. Верц, уронив голову, опрокинулся на бок, потом захрипел, и кровь черной струей хлынула у него из горла. А золотоволосый Зигмунд с неоконченной песней на губах взмахнул руками и упал поперек костра.

Зрачки шамана потемнели от злости, и настроение у него было не из лучших. Он поссорился с вождем из-за ружья Верца и потребовал из мешка с бобами больше, чем ему полагалось. Кроме того, он забрал себе медвежью шкуру, что вызвало ропот среди остальных мужчин племени. В довершение всего он вздумал было убить собаку Зигмунда – ту, что подарила девушка с Юга, – но собаке удалось убежать, а он свалился в шурф и, задев за чан, вывихнул плечо. Когда лагерь был полностью разграблен, индейцы вернулись в свои жилища, и ликование женщин не было конца. Вскоре в их краях появилось стадо лосей, и охотников посетила удача. Слава шамана еще больше возросла, стали даже поговаривать, что он советуется с богами.

Когда все ушли, овчарка вернулась в разоренный лагерь, и всю ночь и следующий день выла, оплакивая умерших. Потом она исчезла. Но прошло немного лет, и индейцы-охотники стали замечать, что у лесных волков на шерсти появились необычные светлые пятна, каких они раньше не видели с той поры ни у одного волка.

\* \* \*

## УЛОВКА ЧАРЛИ

Быть может, свой самый смешной и в то же время самый опасный подвиг наш рыбачий патруль совершил в тот день, когда мы одним махом захватили целую ораву разъяренных рыбаков.

Чарли называл эту победу богатым уловом, и хотя Нейл Партингтон говорил о хитрой уловке, я думаю, Чарли не видел тут разницы, считая, что оба слова означают «выловить», «захватить». Но будь то уловка или улов, а эта схватка с рыбаками стала для них настоящим Ватерлоо, ибо то было самое тяжелое поражение, какое когда-либо нанес им рыбачий патруль, – и поделом: ведь они открыто и нагло нарушали закон.

Во время так называемого «открытого сезона» рыбаки имеют право ловить лососей, сколько им посчастливится встретить или сколько влезет в их лодки. Однако с одним существенным ограничением. С заката солнца в субботу и до восхода в понедельник ставить сети не разрешается. Таково мудрое постановление Рыболовной комиссии, ибо во время нереста необходимо дать лососям возможность подниматься в реку, где они мечут икру. И этот закон, кроме одного единственного раза, всегда строго соблюдался греческими рыбаками,

ловившими лососей для консервных заводов и продажи на рынке.

Как-то в воскресное утро приятель Чарли сообщил нам по телефону из Коллинсвилля, что весь рыбачий поселок вышел в море и ставит сети. Мы с Чарли тотчас вскочили в лодку и отправились на место происшествия. С легким попутным ветерком мы прошли Каркинезский пролив, пересекли Сьюисанскую бухту, обогнули маяк Шип-Айленд и увидели всю рыболовецкую флотилию за работой.

Но прежде всего позвольте мне объяснить, каким способом они ловили рыбу. Они ставили так называемые «жаберные сети». Это простые сети с ромбовидными петлями, в которых расстояние между узлами должно быть не больше семи с половиной дюймов. Такие сети бывают от пятисот до семисот и даже восьмисот футов длины, а ширина их всего несколько футов. Они не закрепляются на одном месте, а плывут по течению, причем верхний край держится на воде с помощью поплавков, а нижний тянут ко дну свинцовые грузила.

Благодаря такому устройству сеть стоит вертикально поперек течения и пропускает в реку только самую мелкую рыбешку. Лососи плывут обычно поверху и попадают головой в петли, но из-за своей толщины они не могут проскользнуть сквозь сеть, а назад их не пускают жабры, которые цепляются за петли. Чтобы поставить такую сеть, нужны всего два рыбака: один гребет, а другой, стоя на корме, осторожно закидывает сеть в воду. Растянув всю сеть поперек реки, рыбаки привязывают один ее конец к лодке и плывут вместе с ней по течению.

Когда мы приблизились к нарушившим закон рыбакам – их сети были заброшены на расстоянии двухсот – трехсот ярдов друг от друга, а река, насколько хватал глаз, была сплошь усеяна лодками, – Чарли сказал:

– Одно досадно, парень, что у меня не тысяча рук, чтобы захватить их сразу. А так больше одной лодки нам не поймать: пока мы будем с ней возиться, остальные выберут сети и удерут.

Мы подошли поближе, но не заметили ни беспокойства, ни суматохи, которые неизменно вызывало наше появление. Напротив, все лодки спокойно оставались возле своих сетей, и рыбаки не обращали на нас ни малейшего внимания.

– Странно, – пробормотал Чарли. – Может, они нас не узнали?

Я ответил, что этого быть не может, и Чарли согласился со мной. Перед нами растянулась целая флотилия, которой управляли люди, как нельзя лучше знавшие нас, а между тем они смотрели на нашу лодку так равнодушно, как будто мы были какой-нибудь шаландой с сеном или увеселительной яхтой.

Однако картина несколько изменилась, когда мы направили свою лодку и стали потихоньку грести к берегу. Но остальные рыбаки по-прежнему не проявляли никаких признаков беспокойства.

– Право, забавно, – заметил Чарли. – Во всяком случае, мы можем конфисковать сеть.

Мы убрали парус, схватили конец сети и принялись тянуть ее в лодку. Но стоило нам взяться за сеть, как мимо нас просвистела пуля и щелкнула по воде, а вдали раздался ружейный выстрел. Уплывшие на берег рыбаки стреляли в нас. Мы снова взяли за сеть, и снова просвистела пуля, на этот раз угрожающе близко. Чарли зацепил конец сети за уключину и сел. Выстрелы прекратились. Но только он взялся за сеть, опять началась стрельба.

– Ничего не попишешь, – сказал он, выбрасывая за борт конец сети. – Вам, ребята, видно, сеть нужна больше, чем нам, так получайте ее.

И мы поплыли к следующей лодке: Чарли хотел выяснить, действительно ли перед нами организованное нарушение закона.

Когда мы подошли поближе, сидевшие в лодке рыбаки тоже отвязали свою сеть и двинулись к берегу, а первые двое вернулись и привязали лодку к брошенной нами сети. Но только мы взялись за вторую сеть, на нас опять посыпались пули, и стрельба прекратилась, лишь когда мы отступили; у третьей лодки повторилась та же история.

Потерпев полное поражение, мы прекратили свои попытки, поставили парус, легли на длинный наветренный галс и двинулись обратно в Бенишию. Прошло еще несколько воскресений, и каждый раз рыбаки открыто нарушали закон. Без помощи вооруженных солдат мы ничего не могли с ними поделать. Рыбакам пришлось по душе их новая выдумка, и они пользовались ею вовсю, а мы не знали, как справиться с ними.

К этому времени Нейл Партингтон вернулся из Нижней бухты, где пробыл несколько недель. С ним был и Николас, юноша-грек, который участвовал в набеге на устричных пиратов, и они оба решили помочь нам. Мы тщательно обдумали план действий и договорились, что они устроят засаду на берегу и, когда мы с Чарли начнем вытаскивать сети, захватят рыбаков, которые выйдут из лодки и начнут нас обстреливать.

План был очень хорош. Даже Чарли его одобрил. Однако греки оказались куда хитрее, чем мы думали. Они нас опередили, устроили сами засаду на берегу и захватили в плен Нейла и Николаса, а когда мы с Чарли попытались забрать сети, вокруг нас засвистели пули, как и прошлый раз. Нам снова пришлось отступить, и тогда рыбаки тотчас отпустили Нейла и Николаса. Они вернулись к нам очень сконфуженные, и Чарли безжалостно высмеял их. Но Нейл тоже не остался в долгу и язвительно спрашивал у Чарли, куда девалась его хваленая смекалка и как это он до сих пор ничего не придумал.

– Дай срок, придумаю, – обещал Чарли.

– Все может быть, – соглашался Нейл, – но боюсь, что к тому времени лососей совсем не останется и твоя смекалка будет ни к чему.

Нейл Партингтон, весьма раздосадованный происшедшим, снова отправился в Нижнюю бухту, прихватив с собой Николаса, а мы с Чарли снова остались одни. Это значило, что воскресная ловля будет идти своим чередом, по крайней мере, до тех пор, пока Чарли не осенит какая-нибудь счастливая идея. Я тоже ломал себе голову, стараясь придумать, как бы изловить греков, и мы составляли тысячу планов, которые на поверку никуда не годились.

Греки же ходили, задрав нос, хвастались направо и налево своей победой, и это еще больше унижало нас. Вскоре мы заметили, что среди рыбацкого населения наш авторитет явно упал. Мы были побеждены, и рыбаки потеряли к нам уважение. А с потерей уважения начались и дерзости. Чарли прозвали «Старой бабой», а меня окрестили «Сосунком». Положение становилось невыносимым, и мы чувствовали, что должны нанести грекам решительный удар, дабы вновь поднять свой авторитет на прежнюю высоту.

Как-то утром нам наконец пришла в голову счастливая мысль. Мы были на пристани, где останавливаются речные пароходы, и увидели толпу грузчиков и зевак, теснившихся вокруг какого-то парня с заспанным лицом, в высоких морских сапогах, который развлекал их, рассказывая о своих злоключениях. Этот рыболов-любитель, по его словам, ловил возле Беркли рыбу для продажи на местном рынке. Беркли находится в Нижней бухте, за тридцать миль от Бенишии. Прошлой ночью он закинул сеть и незаметно задремал на дне своей лодки. Проснулся он уже утром и, когда продрал глаза, увидел, что его лодка тихонько стучается о причал паровой пристани в Бенишии, а перед ним торчит пароход «Апаш», и двое матросов снимают обрывки его сети с парового колеса. Словом, когда он заснул, фонарь на его лодке потух, и «Апаш» прошел прямо по его сети. Хотя сеть и разорвалась в клочья,



однако она накрепко зацепилась за колесо и тридцать миль тащила лодку за собой.

Чарли подтолкнул меня локтем в бок. Я сразу понял его мысль, но возразил:

– Мы не можем нанять пароход.

– Я и не собираюсь, – ответил он. – Но давай-ка сходим на Тернерскую верфь. У меня есть одна мыслишка, авось, она нам пригодится.

И мы отправились на верфь, а там Чарли повел меня к «Мэри-Ребекке», вытащенной из воды на слип для чистки и ремонта. Мы оба хорошо знали эту плоскодонную посудину, она поднимала сто сорок тонн груза, а такой большой парусности не было ни у одной шхуны во всем заливе.

– Как дела, Оле? – крикнул Чарли здоровенному шведу в синей рубашке, который смазывал усы грота-гафеля свиным жиром.

Оле что-то промышчал и продолжал дымить трубкой, не отрываясь от работы. Капитану шхуны, которая ходит по заливу, приходится работать не покладая рук, не меньше своих матросов.

Оле Эриксен подтвердил догадку Чарли: как только ремонт будет закончен, «Мэри-Ребекка» отправится вверх по реке Сан-Хоакин в Стоктон за грузом пшеницы. Тогда Чарли высказал свою просьбу, но Оле Эриксен решительно покачал головой.

– Всего один крюк, один крепкий крюк, – уговаривал Чарли.

– Нет, это я не могу, – отвечал Оле Эриксен. – «Мэри-Ребекка» с такой крюк будет цеплять каждый чертов миль. Я не желал потерять «Мэри-Ребекка». Это все, что я имел.

– Да нет же, – уверял его Чарли. – Мы просунем конец крюка сквозь дно и закрепим его внутри гайкой. Когда мы покончим с нашим делом, нам останется только спуститься в трюм, вывинтить гайку и вытолкнуть крюк. Потом мы вставим в отверстие деревянную затычку, и твоя шхуна будет в полном порядке.

Оле Эриксен долго упирался, но мы угостили его хорошим обедом и в конце концов уломали.

– Ну, валяйте, разрази вас гром! – сказал он, стукнув огромным кулачищем себя по ладони. – Но поторопитесь с этот крюк. «Мэри-Ребекка» пошел на воду сегодня в ночь.

Была суббота, и Чарли следовало поспешить. Мы отправились в кузницу при верфи, где по указанию Чарли нам выковали огромный, сильно изогнутый стальной крюк. Затем мы поскорее вернулись к «Мэри-Ребекке». Чуть позади большого килевого колодца, через который проходит выдвижной киль, мы пробуравили дыру. Я вставил в нее снаружи крюк, а Чарли изнутри прочно закрепил его гайкой. Когда мы кончили работу, крюк торчал на фут из днища шхуны. Он был изогнут в виде серпа, но еще круче.

К вечеру «Мэри-Ребекка» была спущена на воду, и все приготовления к отплытию закончены. Чарли и Оле пристально всматривались в вечернее небо, стараясь угадать, будет ли завтра ветер: без хорошего бриза наш план был обречен на провал. Они оба пришли к заключению, что все приметы предсказывают сильный западный ветер – не обычный дневной бриз, а почти шторм, который уже начал разыгрываться.

Наутро их предсказания подтвердились. Солнце ярко светило, но в Каркинезском проливе завывал штормовой ветер, и «Мэри-Ребекка» вышла под двумя рифами на гроте и одним на фоке. В проливе и в Сьюисанской бухте нас сильно потрепало, но вскоре мы вошли в более защищенное место, и стало тише, хотя ветер по-прежнему хорошо наполнял паруса.

Миновав маяк Шип-Айленд, мы отдали рифы; по распоряжению Чарли большой рыбачий стаксель был изготовлен к подъему, а грота-топсель, пришнурованный у топа мачты, был разобран так, что мы могли поставить его в любую минуту.

Мы быстро шли фордевинд, неся паруса бабочкой, стаксель на правом борту и грот на левом, и вскоре увидели впереди флотилию рыбаков. Как и в то воскресенье, когда им удалось впервые провести нас, вся река, насколько хватало глаз, была усеяна их лодками и сетями. У правого берега они оставили узкий проход для судов, а вся остальная поверхность воды была сплошь покрыта широко растянутыми сетями. Нам, конечно, следовало бы войти в этот проход, но Чарли стоявший у руля, направил «Мэри-Ребекку» прямо на сети. Однако это не вызвало тревоги среди рыбаков, ибо суда, идущие вверх по реке, ставят обычно на конце киля так называемые «башмаки», которые скользят по сетям, не зацепляя их.

– Готово дело! – крикнул Чарли, когда мы быстро пересекли длинный ряд поплавков, отмечающих край сети. На одном конце этого длинного ряда плавал маленький бочонок – буюк, а на другом была лодка с двумя рыбаками. Бочонок и лодка вдруг начали быстро сближаться, а рыбаки, увидев, что мы тащим их за собой, принялись громко кричать. Две-три минуты спустя мы зацепили вторую сеть, а за ней третью и, двигаясь посередине флотилии, цепляли на крюк одну сеть за другой.

Потрясенные рыбаки смотрели на нас в полном смятении. Как только мы цепляли сеть, оба ее конца, буюк и лодка, сближались и неслись за нашей кормой; и вся эта стая лодок и буйков мчалась за нами с такой головокружительной быстротой, что рыбаки едва успевали управляться с лодками, стараясь не разбиться друг о друга. Греки орала что есть мочи, требуя, чтобы остановили судно; они думали, что это веселая шутка подвыпивших матросов, им и в голову не приходило, что на шхуне рыбачий патруль.

Даже одну сеть тащить нелегко, и Чарли с Оле Эриксоном решили, что, несмотря на попутный ветер, «Мэри-Ребекке» не справиться больше чем с десятью сетями. Поэтому, подцепив десяток сетей и волоча за собой десять лодок с двадцатью рыбаками, мы свернули влево, оставив позади флотилию, и направились в Коллинсвилль.

Мы ликовали. Чарли так гордо стоял у руля, как будто вел домой победившую на гонках яхту. Два матроса, составлявшие весь экипаж «Мэри-Ребекки», потешались и скалили зубы. Оле Эриксен потирал свои руки с детской радостью.

– Я думал, ваш рыбачий патруль никогда не имел такой удача, как на шхуне Оле Эриксона, – сказал он, как вдруг за кормой хлопнул выстрел, прожужжала пуля, чиркнула по свежевыкрашенной обшивке каюты и, ударившись о гвоздь, со свистом отскочила в сторону.

Для Оле Эриксона это было уж слишком. Увидев, что ему испортили новенькую обшивку, он вскочил и погрозил рыбакам кулаком; но тут вторая пуля угодила в стенку каюты, в шести дюймах от его головы, и он поскорей растянулся на палубе, укрывшись за бортом.

У всех рыбаков были ружья, и теперь они принялись палить все разом. Мы попрятались кто куда, даже Чарли пришлось бросить штурвал. Если бы не тяжелые сети за кормой, мы наверняка попали бы в руки разъяренных рыбаков. Но сети, прочно зацепившиеся за днище «Мэри-Ребекки», тащили ее корму на ветер и она по-прежнему держала курс, хотя и не очень точно.

Лежа на палубе, Чарли мог дотянуться до нижних спиц рулевого колеса, но управлять шхуной таким способом было крайне неудобно. Тут Оле Эриксен припомнил, что в трюме у него лежит большой стальной лист. Это был кусок бортовой обшивки «Нью-Джерси»: пароход недавно потерпел крушение возле Золотых ворот, и «Мэри-Ребекка» принимала участие в его спасении.

Двое матросов, Оле и я осторожно проползли по палубе и притащили тяжелый лист наверх, а затем поставили его на корме, как щит, загородив штурвал от рыбаков. Пули щелкали и звенели, ударяясь о гудевший, как колокол, щит, но Чарли только посмеивался в своем укрытии и спокойно правил рулем. И так мы мчались вперед: за кормой – орава вопивших от ярости греков, впереди – Коллинсвилль, а вокруг рой свистевших пуль.

– Оле, – сказал вдруг Чарли упавшим голосом, – я не знаю, что нам теперь делать.

Оле лежал на спине у самого борта и усмехался, глядя в небо; он повернулся на бок и взглянул на Чарли.

– Я думал, мы будем идти в Коллинсвилль, как хотел раньше, – ответил он.

– Но мы не можем там остановиться, – простонал Чарли. – Я никак не ожидал, что мы не сможем остановиться.

Широкое лицо Оле Эриксона выразило полную растерянность.

Увы, это была правда. За спиной у нас осиное гнездо, а остановиться в Коллинсвилле – значит сунуть в это гнездо голову.

– У каждого чертова грека ружье, – весело сказал один из матросов.

– Да еще нож в придачу, – отозвался второй.

Теперь уже застонал Оле Эриксен.

– И зачем только шведский человек, как я, совать свой нос в чужие дела, будто обезьяна! – пробормотал он про себя.

Пуля щелкнула по корме и пролетела над правым бортом, жужжа, как разозленная пчела.

– Остается только пристать к берегу, бросить «Мэри-Ребекку» и удрать, – сказал веселый матрос.

– Бросать «Мэри-Ребекку»? – воскликнул Оле Эриксен с непередаваемым ужасом в голосе.

– Дело ваше, – отозвался тот. – Только я хотел бы оказаться за тысячу миль отсюда, когда эти парни взберутся на борт. – И он указал на беснующихся греков, которых мы продолжали тащить за собой.

Мы как раз поравнялись с Коллинсвиллем и, вспенивая воду, прошли так близко от пристани, что до нее можно было добросить камень.

– У меня одна надежда, что ветер продержится, – сказал Чарли, украдкой поглядывая на наших пленников.

– А что нам ветер? – уныло спросил Оле. – Скоро река нельзя пройти, и тогда... тогда...

– Тогда мы заберемся в глухие места и попадем в лапы грекам, – добавил веселый матрос, пока Оле раздумывал над тем, что случится когда мы дойдем до истока реки.

Мы подошли к тому месту, где река расходилась на два рукава. Налево было устье реки Сакраменто, а направо устье реки Сан-Хоакин. Веселый матрос прополз вперед и перебросил фок, а Чарли взял право руля и мы свернули направо – в устье реки Сан-Хоакин. Попутный ветер, который гнал нас вперед на ровный киль, теперь задул справа по борту, и «Мэри-Ребекка» так резко накренилась влево, что, казалось, вот-вот опрокинется.

Но мы все же мчались вперед, а рыбаки неслись за нами. Стоимость их сетей была значительно выше штрафов, которые с них брали за нарушение законов о рыбной ловле, и потому, хотя им ничего не стоило отвязать свои лодки и удрать, они на этом ничего бы не выгадали. Кроме того, они не бросали своих сетей инстинктивно, как моряк не бросает своего корабля. Но главное, в них все росла жажда мести, и мы могли быть уверены, что они последуют за нами хоть на край света, если нам вздумается тащить их в такую даль.

Стрельба прекратилась, и мы отважились выглянуть за корму, посмотреть, что делают наши пленники. Их лодки следовали за нами на разных расстояниях друг от друга, но четыре передних выравнялись и шли рядом. Передняя лодка, видно, бросила с кормы конец той, что шла за ней. Лодки ловили концы, отделялись от своих сетей и подтягивались друг к другу, пока не стали в одну линию. Однако мы шли с такой скоростью, что произвести этот маневр было очень нелегко. Порой, несмотря на все усилия, им не удавалось подтянуться ни на дюйм, но иногда они двигались довольно быстро.

Когда четыре лодки сблизилась настолько, что из одной в другую мог перебраться человек, из трех задних лодок перешло в переднюю по одному греку, и каждый захватил с собой ружье. Таким образом в передней лодке собралось пять человек, и мы сразу поняли, что они намереваются взять нас на бордаж. Но, чтобы осуществить свое намерение, им надо было изрядно потрудиться: приходилось подтягиваться за веревку с поплавками, все время перехватывая руки. И все же, хотя они двигались очень медленно и часто останавливались передохнуть, им удавалось потихоньку подбираться к нам все ближе и ближе.

Чарли улыбался, глядя на их усилия.

– Поставь-ка топсель, Оле! – сказал он.

Под свист пуль шнуровка на топе мачты была разорвана, шкот и галс оттянуты втугую, и «Мэри-Ребекка», сильно накренившись, понеслась еще быстрее.

Но греки не сдавались. Не в силах при такой скорости подтягивать лодку вручную, они сняли блоки со своих парусов и соорудили то, что моряки называют «хваттали». Один из рыбаков, лежа на носу лодки, свешивался как можно дальше за борт и, пока товарищи держали его за ноги, прикреплял блок к натянутому краю сети. Затем они все вместе тянули за тали, пока блоки не сходились, и снова повторяли этот маневр.

– Придется отдать стаксель! – сказал Чарли.

Оле Эриксен посмотрел на дрожавшую от напряжения «Мэри-Ребекку» и покачал головой.

– Тогда вылетят мачты, – сказал он.

– А иначе мы вылетим со шхуны, – возразил Чарли.

Оле с тревогой взглянул на мачты, потом на лодку с вооруженными греками и согласился.

Пятеро греков столпились на носу – место опасное, когда лодка идет на буксире. Я наблюдал, что станется с их лодкой, когда мы поставим большой рыбацкий стаксель: он несравненно больше марселя и ставится только при легком бризе. Когда «Мэри-Ребекка» стремительно рванулась вперед, лодка зарылась носом в воду, а люди, цепляясь друг за друга, как безумные, бросились на корму, спасая лодку от гибели.

– Это охладит им пыл! – заметил Чарли, но я видел, что он с тревогой следит за ходом «Мэри-Ребекки», которая несла гораздо больше парусов, чем ей было под силу.

– Следующая остановка – Антиох! – возвестил веселый матрос на манер железнодорожного кондуктора. – А за ней Мериуэзер.

– Поди-ка сюда поскорей, – позвал меня Чарли.

Я подполз к нему и стал рядом под защитой стального листа.

– Засунь руку мне в карман и достань записную книжку, – сказал он. – Так. Теперь вырви чистый листок и напиши то, что я скажу.

И я написал:

«Позвоните в Мериуэзер шерифу, констеблю или судье. Сообщите, что мы идем к ним. Пусть они поднимут на ноги весь город и вооружат людей. Пусть приведут всех на пристань и встречают нас, иначе нам каюк».

– Теперь сложи бумажку, привяжи к свайке и стой тут наготове, чтобы бросить ее на берег. Я сделал все, как он сказал. Тем временем мы подошли к Антиоху. Ветер выл в наших снастях, и «Мэри-Ребекка», почти опрокинувшись на бок, неслась вперед, как быстроходное океанское судно. Моряки на берегу Антиоха, увидев, что мы поставили марсель и стаксель – безрассудный маневр при таком ветре, – поспешили на пристань и стояли у причала, стараясь понять, в чем дело.

Не убавляя хода, мы подошли так близко к берегу, что любой из нас мог бы спрыгнуть на пристань. Тут Чарли дал мне знак, и я бросил свайку. Она громко стукнулась о дощатый настил, отскочила на пятнадцать – двадцать футов и была подхвачена пораженными зрителями.

Все это произошло в мгновение ока, в следующий миг Антиох остался позади, и мы уже неслись по Сан-Хоакину к Мериуэзеру, лежавшему в шести милях вверх по течению. Река повернула на восток, и мы снова мчались по ветру, поставив паруса бабочкой и перекинув стаксель на правый борт.

Оле Эриксен, казалось, погрузился в глубокое отчаяние. Чарли и двое матросов, напротив, не теряли надежды и, видимо, не без основания. В Мериуэзере жили главным образом углекопы, и можно было ожидать, что в воскресный день все они в городе. К тому же углекопы никогда не питали особой любви к греческим рыбакам, и мы могли быть уверены, что они окажут нам горячую поддержку.

Мы напряженно всматривались в даль, стараясь разглядеть город, и, как только увидели его, почувствовали огромное облегчение. Причалы были черны от народа. Подойдя поближе, мы увидели, что люди все прибывают, спускаясь бегом по главной улице, с ружьями в руках или за плечом. Чарли оглянулся на рыбаков, и в глазах его мелькнуло самодовольство победителя, какого я прежде не замечал. Греки были ошеломлены, увидев толпу, и попрятали свои ружья.

Мы убрали топсель и стаксель, потравили грота-фал и, поравнявшись с главной пристанью, перекинули грот. «Мэри-Ребекка» повернулась к ветру, лодки пленных рыбаков описали за ней широкую дугу и, когда мы, замедлив ход, отдали концы и пришвартовали к пристани, догнали нас. Мы причалили под радостные крики возбужденных углекопов.

У Оле Эриксена вырвался вздох облегчения.

– Я уже думал, никогда не увижу своя жена, – сознался он.

– Почему? Нам не грозила никакая опасность, – возразил Чарли.

Оле недоверчиво поглядел на него.

– Конечно, не грозила, – подтвердил Чарли. – Мы могли в любую минуту выбросить крюк, что

я сейчас и сделаю, и греки забрали бы свои сети.

Он спустился в трюм с гаечным ключом. Когда греки вытащили сети и привели лодки в порядок, мы передали их с рук на руки отряду вооруженных граждан, и они проследовали в тюрьму.

– Я, кажется, валял большой дурак, – сказал Оле Эриксен.

Но он изменил свое мнение, когда восхищенные жители города столпились на борту, чтобы пожать ему руку, а несколько бойких репортеров принялись фотографировать «Мэри-Ребекку» и ее капитана.

\* \* \*

## ХРАМ ГОРДЫНИ

Персиваль Форд не мог понять, что привело его сюда. Он не танцевал. Военных недолюбливал. Разумеется, он знал всех, кто скользил и кружился на широкой приморской террасе, – офицеров в белых свеженакрахмаленных кителях, штатских в черном и белом, женщин с оголенными плечами и руками. Двадцатый полк, который отправлялся на Аляску, на свою новую стоянку, пробыл в Гонолулу два года, и Персиваль Форд, важная особа на островах, не мог избежать знакомства с офицерами и их женами.

Но от знакомства еще далеко до симпатии. Полковые дамы немного пугали его. Они совсем не походили на женщин, которые были ему по душе, – на пожилых дам, старых и молодых дев в очках, на серьезных женщин всех возрастов, которых он встречал в церковных, библиотечных и детских комитетах и которые смиренно обращались к нему за пожертвованием и советом. Он подавлял их своим умственным превосходством, богатством и высоким положением, какое занимал на Гавайских островах среди магнатов коммерции. Этих женщин он ничуть не боялся. Плотское в них не бросалось в глаза. Да, в этом заключалось все дело. Он был брезглив, он сам это осознавал, и полковые дамы с обнаженными плечами и руками, смелыми взглядами, жизнерадостные и вызывающе чувственные, раздражали его.

С мужчинами этого круга отношения у него были не лучше, – они легко относились ко всему, пили, курили, ругались и щеголяли своей грубой чувственностью с неменьшим бесстыдством, чем их жены. В компании военных Форду всегда было не по себе. Да и они, видимо, чувствовали себя с ним стесненно. Он чутьем угадывал, что за глаза они смеются над ним, что он жалок им и они его едва терпят. Встречаясь с ним, они всегда как бы подчеркивали, что ему не хватает чего-то, что есть в них. А он благодарил бога за то, что этого в нем не было. Брр! Они под стать своим дамам!

Надо сказать, что Персиваль Форд и женщинам нравился не больше, чем мужчинам. Стоило только взглянуть на него, чтобы стало ясно, почему это так. Он был крепкого сложения, не знал, что такое болезнь или даже легкое недомогание, но в нем не чувствовалось трепета жизни. В нем все было бесцветно. Это длинное и узкое лицо, тонкие губы, худые щеки и недобрые маленькие глазки не могли принадлежать человеку с горячей кровью. Волосы пепельные, прямые и реденькие свидетельствовали о худосочи, нос был тонкий, слабо очерченный, чуть крючковатый. Жидкая кровь многого лишила его в жизни, и он доходил до крайности лишь в одном – в добродетели. Он всегда долго и мучительно размышлял о том, что правильно и что неправильно в его поступках. И поступать правильно было для него так же необходимо, как для простого смертного любить и быть любимым.

Он сидел под альгаробами между террасой и берегом. Обведя взглядом танцующих, он отвернулся и стал смотреть поверх волн, тихо ударявших о берег, на Южный Крест, горевший низко над горизонтом. Голые женские плечи и руки вызвали в нем прилив раздражения. Будь у него дочь, он бы ей этого никогда не позволил, ни за что! Но бесплотен был его помысел. В его сознании не возник образ этой дочери, он не увидел ни ее рук, ни плеч. А смутная мысль о браке вызвала у него только улыбку. Ему было тридцать пять лет, и, не изведав любви, он видел в ней одно только скотское, ничего романтического. Жениться может каждый. Женятся японские и китайские кули, замученные трудом на сахарных и рисовых плантациях, женятся при первой возможности – это потому, что они стоят на низших ступенях развития. Что им еще остается? Они похожи на этих военных и их дам. А он, Персиваль Форд, – совсем другой. Он гордился своим происхождением. Не от жалкого брака по любви родился он! Высокое понимание долга и преданность делу – вот что было причиной его рождения. Его отец женился не по любви. Безумие этого чувства никогда не тревожило Айзека Форда. Когда он откликнулся на призыв отправиться к язычникам со словом божьим, он не думал о женитьбе. В этом они были схожи друг с другом – Персиваль и его отец. Но Совет миссий соблюдал экономию. С расчетливостью, свойственной людям Новой Англии, он все взвесил и пришел к выводу, что женатые миссионеры обходятся дешевле и работают энергичнее. Поэтому Совет предписал Айзеку Форду жениться. Мало того, он подыскал ему жену, такую же ревностную душу, не помышлявшую о браке и охваченную одним желанием – делать божье дело среди язычников.

Впервые они увиделись в Бостоне. Совет их свел, все уладил, и не прошло недели, как они поженились и отправились в длительное путешествие за мыс Горн.

Персиваль Форд гордился тем, что родился от такого брака. Он был плодом возвышенной любви и считал себя аристократом духа. Он гордился своим отцом. Это чувство обратилось у него в страсть. Прямая и строгая фигура Айзека Форда запечатлелась в его памяти, образ этот питал его гордыню. На письменном столе у него стояла миниатюра этого воина Христова. В спальне висел портрет Айзека Форда, написанный в то время, когда он был премьер-министром при монархии. Он не домогался высокого положения и благ мирских, но, как премьер-министр, а впоследствии банкир, он мог ведь оказать большие услуги миссионерскому делу. Немецкие и английские торгоши, весь торговый мир смеялся над Айзеком Фордом: коммерсант – и спаситель душ! Но он, его сын, иначе смотрел на это. Когда туземцы в период уничтожения феодальной системы, не имея никакого понятия о значении земельной собственности, стали упускать из рук крупные поместья, не кто иной, как Айзек Форд, оттер всех коммерсантов от их добычи и завладел обширными плодородными землями! Не удивительно, что торгоши не любили о нем вспоминать. Но сам он никогда не считал принадлежавшие ему огромные богатства своею собственностью. Он считал себя слугой божьим. На свои доходы он строил школы, богадельни и церкви. Не его вина, что сахар после резкой заминки подскочил в цене на сорок процентов; что банк, основанный им, удачно оперировал железнодорожными акциями и он, Форд, стал владельцем железной дороги, и, помимо всего прочего, пятидесяти тысяч акров земли на Оаху, купленной им по доллару за акр; эта земля каждые полтора года давала восемь тонн сахара с акра. Да, Айзек Форд – несомненно героическая фигура, и памятник ему – так думал его сын – должен был бы стоять перед зданием суда рядом со статуей Камехахеа I. Айзек Форд умер, но он, его сын, продолжал его дело, если и не так энергично, то, во всяком случае, так же неуклонно.

Персиваль Форд снова взглянул на террасу. Чем отличаются, спросил он себя, бесстыдные пляски опоясанных травой туземок он танцев декольтированных женщин его расы? Есть ли между ними существенная разница? Или различие только в степени?

В то время, как он размышлял об этом, чья-то рука легла ему на плечо.

– Алло, Форд! И вы здесь? Ну как, веселитесь всюду?

– Я стараюсь быть снисходительным к тому, что я вижу, доктор, – мрачно ответил Персиваль Форд. – Садитесь, пожалуйста.

Доктор Кеннеди сел и громко хлопнул в ладоши. Тут же появился одетый в белое слуга-японец.

Кеннеди заказал себе виски с содовой и, повернувшись к Форду, сказал:

– Вам я, разумеется, не предлагаю.

– Нет, я тоже выпью что-нибудь, – решительно заявил Форд.

Глаза доктора выразили удивление. Слуга стоял в ожидании.

– Лимонаду, пожалуйста.

Доктор добродушно рассмеялся, решив, что над ним подшутили, и взглянул на музыкантов, разместившихся под деревом.

– Да ведь это оркестр Алоха, – сказал он. – А я думал, что они по вторникам играют в Гавайском отеле. Видно, повздорили с хозяином.

Его взгляд остановился на человеке, который играл на гитаре и пел гавайскую песню под аккомпанемент всего оркестра. Лицо доктора стало серьезно, и он обернулся к своему собеседнику.

– Послушайте, Форд, не пора ли вам оставить в покое Джо Гарленда? Вы, как я понимаю, против намерения благотворительного комитета отправить его в Соединенные Штаты, и я хочу поговорить с вами об этом. Казалось бы, вы должны радоваться случаю убрать его отсюда. Это хороший способ прекратить ваше преследование.

– Преследование? – Брови Персиваля Форда вопросительно поднялись.

– Называйте это как хотите, – продолжал Кеннеди. – Вот уж сколько лет вы травите этого беднягу. А он ни в чем не виноват. Даже вы должны это признать.

– Не виноват! – Тонкие губы Персиваля Форда на минуту плотно сжались. – Джо Гарленд – беспутный лентяй. Он всегда был никудышный, необузданный человек.

– Но это еще не основание, чтобы преследовать его так, как делаете вы. Я давно наблюдаю за вами. Когда вы вернулись из колледжа и узнали, что Джо работает батраком у вас на плантации, вы начали с того, что выгнали его, хотя у вас миллионы, а у него – шестьдесят долларов в месяц.

– Нет, я начал с того, что сделал ему предупреждение, – сказал Персиваль Форд рассудительно, тоном, каким он обычно говорил на заседаниях комитетов. – По словам управляющего, он способный малый. В этом отношении у меня не было к нему претензий. Речь шла о его поведении в нерабочие часы. Он легко разрушал то, что мне удавалось создать с таким трудом. Какую пользу могли принести воскресные и вечерние школы и курсы шитья, если Джо Гарленд каждый вечер тренькал на своей проклятой гитаре и укулеле, пил и отплясывал хюла? Однажды, после того как я сделал ему предупреждение, я наткнулся на него у хижины батраков. Никогда этого не забуду. Был вечер. Еще издали я услышал мотив хюла. А когда подошел ближе, я увидел площадку, залитую лунным светом, и бесстыдно пляшущих девушек, которых я стремился направить на путь чистой и праведной жизни. Помнится, среди них были три девушки, только что окончившие миссионерскую школу. Разумеется, я уволил Джо Гарленда. Та же история повторилась в Хило. Говорили, что я суюсь не в свое дело, когда я убедил Мэсона и Фитча уволить его. Но меня просили об этом



миссионеры. Подавая дурной пример, он портил все их дело.

– Затем он поступил на железную дорогу – вашу железную дорогу, – но его уволили, и без всякой причины, – сказал Кеннеди с вызовом.

– Это не так, – последовал быстрый ответ. – Я вызвал его к себе в контору и полчаса беседовал с ним.

– Вы уволили его за непригодность?

– За безнравственный образ жизни, с вашего позволения.

Доктор Кеннеди язвительно рассмеялся.

– Черт побери, кто дал вам право чинить суд? Разве владение землей дает вам власть над бессмертными душами тех, кто гнет на вас спину? Вот я – ваш врач. Значит, назавтра я могу ожидать вашего указа, предписывающего мне, под страхом лишиться вашего покровительства, бросить пить виски с содовой? Черта с два! Форд, вы слишком серьезно смотрите на жизнь. Кстати, когда Джо впутали в дело контрабандистов (у вас он тогда еще не работал) и он прислал вам записку с просьбой уплатить за него штраф, вы предоставили ему отработать шесть месяцев на каторге. Вы покинули его в беде. Не забывайте об этом. Вы оттолкнули его, и сердце у вас не дрогнуло. А я помню день, когда вы в первый раз пришли в школу, – мы были пансионерами, а вы приходящий, – и вам, как всякому новичку, полагалось пройти через испытание: вас должны были трижды окунуть в бассейне для плавания, это была обычная порция новичка. И вы сдрейфили. Стали уверять, что не умеете плавать. Затряслись, заревели...

– Да, помню, – медленно проговорил Персиваль Форд. – Я испугался. И я солгал... я умел плавать... но я испугался.

– А помните, кто вступился за вас? Кто лгал еще отчаяннее, чем вы, и клялся, что вы не умеете плавать? Кто прыгнул в бассейн и вытащил вас? Мальчишки чуть не утопили его за это, потому что они увидели, что вы умеете плавать.

– Разумеется, помню, – холодно ответил Форд. – Но благородный поступок, совершенный человеком в детстве, не извиняет его порочной жизни.

– Вам он никогда ничего плохого не сделал? Я хочу сказать, вам лично и непосредственно?

– Нет, – ответил Персиваль Форд. – Это-то и делает мою позицию неуязвимой. Я не питаю к нему личной вражды. Он дрянной человек, в этом все дело. Он ведет дурную жизнь...

– Другими словами, он не согласен с вашим пониманием того, как следует жить.

– Пусть так. Это не имеет значения. Он бездельник...

– По той простой причине, – перебил доктор Кеннеди, что вы гоните его с работы.

– Он безнравственный...

– Бросьте, Форд! Вечно одна и та же песня! Вы чистокровный сын Новой Англии. Джо Гарленд – наполовину канак. У вас кровь холодная, у него горячая. Для вас жизнь – одно, для него – другое. Он идет по жизни с песней, смеясь и танцуя; он добр и отзывчив, прост, как дитя, и каждый ему – друг. Вы же только скрипите да молитесь, вы друг одним лишь праведникам, а праведными считаете тех, кто соглашается с вашим понятием о праведности. Вы – анахорет, Джо Гарленд – добрый малый. Кто больше берет от жизни? Жизнь наша, знаете ли, – та же служба. Когда нам платят слишком мало, мы бросаем ее, и, поверьте, в этом причина всех

обдуманых самоубийств. Джо Гарленд умер бы с голоду, живи он тем, что вы получаете от жизни. Он скроен на другой манер. А вы умерли бы с голоду, если бы у вас было только то, чем живет Джо, – песни и любовь...

– Извините, похоть! – перебил Персиваль Форд.

Доктор Кеннеди улыбнулся.

– Для вас любовь – слово из шести букв, которые вы узнали из словаря. Но любви, любви настоящей, чистой, как роса, трепещущей и нежной, вы не знаете. Если бог создал вас и меня, мужчин и женщин, то, поверьте, он же создал и любовь. Но вернемся к нашему разговору. Пора вам перестать травить Джо Гарленда! Это недостойно вас, и это трусость. Вы должны протянуть ему руку помощи.

– Почему именно я, а не вы, например? – спросил Персиваль Форд. – Почему вы не окажете ему помощи?

– Я это делаю. Я и сейчас ему помогаю: стараюсь убедить вас, чтобы вы не препятствовали благотворительному комитету отправить его в Штаты. Это я нашел для него место в Хило у Мэсона и Фитча. Шесть раз я подыскивал ему работу, и отовсюду вы его выгоняли. Ну да ладно. Не забудьте одного – небольшая доза откровенности вам не повредит: нечестно взваливать чужую вину на Джо Гарленда. И вы отлично знаете, что меньше всего вам следует это делать. Это, право же, непорядочно. Это просто позорно.

– Я вас не понимаю, – отозвался Персиваль Форд. – Вы увлекаетесь какой-то странной теорией наследственности, которая предполагает личную безответственность. Хороша теория! Она снимает всякую ответственность с Джо Гарленда за его грехи и в то же время делает ответственным за них меня – возлагает на меня больше ответственности, чем на всех других, включая и самого Джо Гарленда. Я отказываюсь понимать это!

– По-видимому, светский такт или ваша хваленая щепетильность мешают вам понять меня, – сердито отрезал доктор Кеннеди. – В угоду обществу можно многим пренебречь, но вы заходите слишком далеко.

– Чем это я пренебрегаю, позвольте узнать?

Доктор Кеннеди окончательно вышел из себя. Лицо его запылало густым румянцем, какого не могла вызвать обычная порция виски с содовой. И он ответил:

– Сыном вашего отца.

– Что вы этим хотите сказать?

– Черт побери, я сказал яснее ясного! Но если вам этого мало – пожалуйста: сыном Айзека Форда, Джо Гарлендом, вашим братом.

Персиваль Форд молчал; лицо его выражало ошеломление и досаду. Кеннеди смотрел на него с любопытством, но прошло несколько томительных минут, и доктор смутился, испугался.

– Боже мой! – воскликнул он. – Неужели же вы не знали этого?

Словно в ответ на его слова лицо Персиваля Форда стало медленно бледнеть.

– Это ужасная шутка, – проговорил он. – Ужасная шутка.

Доктор взял себя в руки.

– Но это все знают, – сказал он. – Я думал, что и вы знаете. А если не знаете, то вам пора узнать, и я рад, что представился случай сказать вам правду. Джо Гарленд и вы – родные братья по отцу.

– Ложь! – крикнул Форд. – Вы не знаете, что говорите. Мать Джо Гарленда – Элиза Кунильо. (Доктор Кеннеди кивнул.) Я отлично помню эту женщину, ее утиный садок и участок таро. Его отец – Джозеф Гарленд, здешний колонист. (Доктор Кеннеди покачал головой.) Он умер всего два или три года назад. Он был пьяница. Отсюда и беспутство Джо. Вот вам и наследственность.

– И никто никогда не говорил вам? – помолчав, с удивлением проговорил Кеннеди.

– Доктор Кеннеди, вы сказали нечто ужасное, и я не могу этого так оставить. Вы должны привести убедительные доказательства или... или...

– Убедитесь сами. Обернитесь и посмотрите. Вы видите его в профиль. Посмотрите на нос. Это нос Айзека Форда. Ваш нос – только слабая его копия. Сомнений быть не может. Всмотритесь! Черты у него крупнее, но сходство полное.

Персиваль Форд смотрел на метиса, игравшего под деревом хау, и ему, словно во внезапном озарении, почудилось, что он видит призрак самого себя. Черта за чертой дополняли поразительное сходство. Нет, скорее он сам был призраком этого крепкого, мускулистого, хорошо сложенного человека. Как его черты, так и черты Джо Гарленда напоминали Айзека Форда. И никто не сказал ему! В памяти Персиваля Форда всплыли многочисленные изображения его отца – миниатюры, фотографии, – и он снова и снова в лице музыканта узнавал и явные и едва заметные признаки сходства. Только дьявол мог воспроизвести суровые черты Айзека Форда в мягких и чувственных линиях этого профиля! Музыкант повернулся, и на одно мгновение Персивалю Форду показалось, будто это не Джо Гарленд, а его покойный отец смотрит на него.

– Обычная история. – Голос доктора Кеннеди звучал будто издалека. – В былые годы тут все перемешалось. Вы же знаете, это было на ваших глазах. Моряки женились на королевах, производили на свет принцесс и все в таком роде. На Гавайских островах это было обычным явлением.

– Но к моему отцу это не имеет никакого отношения! – перебил Персиваль Форд.

– Как сказать! – Кеннеди пожал плечами. – На всех действуют космические силы и дурман жизни. Старый Айзек Форд был человек строгих правил и все такое. Я понимаю, что нет объяснения его поступку и меньше всего он сам мог бы объяснить его. Он не более вас отдавал себе в этом отчет. Дурман жизни, вот и все! И не забывайте одного, Форд, – в жилах Айзека Форда была капля горячей крови, и Джо Гарленд унаследовал ее всю целиком, а вы унаследовали аскетическую кровь старого Айзека. Если в ваших жилах течет холодная, спокойная и покорная кровь, это еще не основание для того, чтобы злиться на Джо Гарленда. Когда Джо Гарленд разрушает сделанное вами, помните – в обоих случаях действует Айзек Форд: одной рукой он уничтожает то, что создает другой. Вы, скажем, его правая рука, а Джо Гарленд – левая.

Персиваль Форд не ответил, и доктор Кеннеди в молчании допил забытое им виски. Где-то за парком послышались настойчивые гудки автомобиля.

– Вот и машина, – сказал, поднимаясь, доктор Кеннеди. – Надо бежать. Мне жаль, что я вас расстроил, и вместе с тем я рад. Запомните же: в жилах Айзека Форда была всего одна капля буйной крови, и она целиком досталась Джо Гарленду. И еще: если левая рука вашего отца и мешает вам, не отсекайте ее. Притом Джо – славный малый. Скажу откровенно: если бы мне нужен был товарищ, чтобы жить со мной на необитаемом острове, и пришлось бы выбирать

между ним и вами, я выбрал бы Джо.

На лужайке бегали, играя, голоногие ребяташки, но Форд не замечал их. Он, не отрываясь, смотрел на певца под деревом. Он даже пересел, чтобы быть поближе к нему. Мимо, с трудом волоча ноги, прошел старый клерк. Сорок лет провел он на островах. Персиваль Форд подозвал его. Клерк почтительно подошел, удивленный таким вниманием.

– Джон, – сказал Форд, – мне нужно узнать у вас кое-что. Присядьте.

Клерк нерешительно сел, ошеломленный неожиданной честью. Он заморгал глазами и пробормотал:

– Да, сэр, благодарю вас.

– Джон, кто такой Джо Гарленд?

Клерк вытаращил на него глаза, моргнул, откашлялся, но ничего не сказал.

– Отвечайте, – приказал Персиваль Форд. – Кто он?

– Вы шутите, сэр, – с трудом проговорил клерк.

– Я говорю совершенно серьезно.

Клерк отодвинулся подальше.

– Неужели вы не знаете? – спросил он, и в его вопросе уже был ответ.

– Я хочу знать.

– Да он же... – Джон запнулся и беспомощно посмотрел вокруг. – Спросите лучше кого-нибудь другого. Все думали, что вы знаете. Мы все время так думали...

– Договаривайте же!

– Мы всегда думали, что как раз поэтому вы имеете зуб против него.

Все фотографии и миниатюры Айзека Форда проносились перед глазами его сына, а дух Айзека Форда, казалось, витал над ним.

– Доброй ночи, сэр, – услышал он голос клерка и увидел, как тот поднялся и отошел, прихрамывая.

– Джон! – резко окликнул он старика.

Джон вернулся и остановился неподалеку, моргая и нервно облизывая губы.

– Вы ведь еще ничего не сказали мне.

– Ах, это о Джо Гарленде?!

– Да, о Джо Гарленде. Кто он?

– Не мое это дело, сэр, но, если вы настаиваете, я скажу... Джо Гарленд – ваш брат, сэр.

– Благодарю вас, Джон. Спокойной ночи.

– А вы не знали? – любопытствовал старик; критический момент миновал, и он уже не торопился уйти.

– Благодарю вас, Джон. Спокойной ночи! – повторил Форд.

– Да, сэр, спасибо. Похоже, что дождик будет. Спокойной ночи, сэр.

С чистого звездного неба, освещенного лунным светом, падал дождь, мелкий, как водяная пыль. Никто не обращал на него внимания; голоногие ребяташки продолжали играть, бегая по траве, зарываясь в песок. Через несколько минут дождь прошел. На юго-востоке черным, резко очерченным пятном маячила Даймонд-Хед; контур ее воронкообразной вершины выделялся на звездном небе. Волны прибоя в сонной тишине набегали на песчаный берег и рассыпались пеной у самой травы. В лунном свете далеко мелькали черными точками купальщики. Голоса певцов, напевающих вальс, умолкли, и в наступившей тишине откуда-то из-под деревьев донесся женский смех, в котором звучал зов любви. Персиваль Форд вздрогнул, ему вспомнились слова доктора Кеннеди. У лодок, вытщенных на берег, он увидел канаков – мужчин и женщин; они полулежали на песке неподвижно, как зачарованные. Женщины были в белых холоку, и на плече одной из них он увидел темную голову лодочника. Немного дальше, там, где песчаная кромка расширялась у входа в лагуну, он увидел шедших рядом мужчину и женщину. Когда они подошли ближе к освещенной террасе, он заметил, как женщина отвела обнимавшую ее руку. А когда они поравнялись с ним, он узнал знакомого капитана и дочь майора и кивнул им. Дурман жизни, именно дурман, отлично сказано! И снова из-под темного альгаробового дерева раздался женский смех, зов любви. Мимо, отправляясь спать, прошел голоногий мальчуган; его вела за руку ворчавшая няня-японка. Певцы тихо и томно запели гавайскую любовную песню, а офицеры, обняв своих дам, все еще скользили и кружились в танце. И снова под деревьями засмеялась женщина.

Персиваль Форд смотрел, слушал – и резко осуждал все это. Его раздражал и женский смех, в котором слышался зов любви, и лодочник, склонивший голову на плечо женщины в белой холоку, и парочки, гулявшие на берегу, и танцевавшие офицеры и дамы, и голоса певцов, певших о любви, и его брат, певший вместе с ними. Но особенно раздражала его смеявшаяся под деревом женщина. Странные мысли зароились в его мозгу. Он сын Айзека Форда, и то, что случилось с его отцом, могло случиться и с ним. При этой мысли щеки его вспыхнули, и он испытал острое чувство стыда. То, что было у него в крови, так ужаснуло его, как если бы он вдруг узнал, что отец его был прокаженным и что он носит в себе зародыш этой ужасной болезни. Айзек Форд, этот суровый воин Христов, – старый лицемер! Чем он отличался от любого канака? Храм гордыни, воздвигнутый Персивалем Фордом, рушился у него на глазах.

Часы шли, на террасе смеялись и танцевали, туземный оркестр продолжал играть, а Персиваль Форд все еще бился над внезапно возникшей ошеломляющей проблемой. Он сидел, облокотясь на стол, склонив голову на руку с видом усталого зрителя, и про себя молился. В перерывах между танцами офицеры, дамы, мужчины в штатском подходили к нему, говорили банальные фразы; а когда они возвращались на танцевальную площадку, внутренняя борьба в нем возобновлялась с прежней силой.

Он начинал «склеивать» свой разбитый идеал. В качестве цемента он использовал гибкую и хитрую логику, которую вырабатывают в лаборатории своего мозга эгоцентристы, – и логика эта оказывала действие. Его отец, несомненно, был создан из более совершенного материала, чем все окружающие; но старый Айзек переживал еще только процесс становления, тогда как он, Персиваль, достиг совершенства. Таким образом, он реабилитировал отца и в то же время возвышал себя. Его убогое маленькое "я" раздулось до колоссальных размеров. Он так велик, что может простить! Он просиял при этой мысли. Айзек Форд был великий человек, но он, его сын, превзошел отца, потому что обрел в себе силы простить его и даже по-прежнему чтить его память, хотя она была уже не так священна, как раньше. Он уже одобрял Айзека Форда, пренебрегшего последствиями своего единственного ложного шага. Очень хорошо! Он, его сын, также не будет замечать их.

Танцы скоро кончились. Оркестр доиграл «Алоха Оэ», и музыканты стали собираться домой.

Персиваль Форд хлопнул в ладоши, появился слуга-японец.

– Скажи тому человеку, что я хочу его видеть, – сказал Форд, указывая на Джо Гарленда. – Пусть сейчас же придет сюда.

Джо Гарленд подошел и почтительно остановился в нескольких шагах, нервно перебирая струны гитары, которую по-прежнему держал в руках. Персиваль Форд не предложил ему сесть.

– Вы мой брат, – сказал он.

– Кто же этого не знает? – последовал недоуменный ответ.

– Да, по-видимому, это всем известно, – сухо сказал Персиваль Форд. – Но до сегодняшнего вечера я этого не знал.

Наступило молчание. Джо Гарленд чувствовал себя неловко; Персиваль Форд хладнокровно обдумывал то, что собирался сказать.

– Помните тот день, когда я в первый раз пришел в школу и мальчишки выкупали меня в бассейне? – спросил он. – Почему вы тогда заступились за меня?

Джо застенчиво улыбнулся.

– Потому что вы знали?

– Да, поэтому.

– А я не знал, – все так же сухо проговорил Персиваль Форд.

– Вот оно что! – отозвался Джо.

Снова наступило молчание. Слуги начали гасить огни.

– Теперь вы знаете, – просто сказал Джо Гарленд.

Персиваль Форд сдвинул брови. Затем смерил его внимательным взглядом.

– Сколько вы возьмете за то, чтобы покинуть острова и никогда больше не приезжать сюда? – спросил он.

– И никогда не приезжать?.. – повторил Джо Гарленд, запинаясь. – Здесь я провел всю жизнь. В других странах холодно. Я не знаю других стран. Здесь у меня много друзей. В других странах мне никто не скажет: «Алоха, Джо, приятель!»

– Я сказал: никогда больше не возвращаться сюда, – повторил Персиваль Форд. – Завтра «Аламеда» отходит в Сан-Франциско.

Джо Гарленд был в полном недоумении.

– Но зачем мне уезжать? – спросил он. – Теперь, вы знаете, что мы братья.

– Именно поэтому, – был ответ. – Как вы сами сказали, все это знают. Вы получите хорошее вознаграждение.

Смущение и замешательство Джо Гарленда сразу исчезли. Различия в происхождении и общественном положении как не бывало.

– Вы хотите, чтобы я уехал?

– Да, хочу, чтобы вы уехали и никогда не приезжали сюда, – ответил Персиваль Форд.

В этот миг, мелькнувший, как вспышка света, Джо Гарленд вырос в его глазах с гору, а сам он съежился и превратился в козлявку. Но человеку опасно видеть себя в истинном свете: жить тогда становится невозможно. Персиваль Форд на одно лишь мгновение прозрел и увидел себя и своего брата такими, как есть. Это мгновение прошло – и он опять оказался во власти своего ничтожного и ненасытного "я".

– Я сказал, что вы получите хорошее вознаграждение. Вы от этого ничуть не пострадаете. Я хорошо заплачу.

– Ладно, – сказал Джо Гарленд. – Я уеду.

Он повернулся, собираясь уйти.

– Джо! – позвал его Персиваль Форд. – Зайдите завтра утром к моему нотариусу. Пятьсот долларов сразу и двести ежемесячно, пока будете находиться вне островов.

– Вы очень добры, – тихо ответил Джо Гарленд. – Вы слишком добры. Но не надо мне ваших денег. Завтра я уеду на «Аламеде».

Он ушел, не попрощавшись.

Персиваль Форд хлопнул в ладоши.

– Бой, – сказал он слуге-японцу, – лимонаду!

Он долго сидел за лимонадом, и довольная улыбка не сходила с его лица.

\* \* \*

## ЧУН А-ЧУН

Во внешности Чун А-чуна вы не нашли бы ничего примечательного. Он был небольшого роста, худощавый и узкоплечий, как большинство китайцев. Путешественник, случайно встретив его на улице в Гонолулу, решил бы: вот добродушный маленький китаец, владелец какой-нибудь процветающей прачечной или портняжной мастерской. Что касается добродушия и процветания, это суждение было бы правильным, хотя и не отражало бы истину во всем ее объеме, ибо добродушие Чун А-чуна было столь же велико, как и его состояние, а точных размеров последнего не представляла ни одна живая душа. Все знали что, Чун А-чун чрезвычайно богат, но в данном случае словом «чрезвычайно» обозначалось нечто абсолютно неизвестное.

Маленькие черные глазки Чун А-чуна, хитрые и блестящие, казались дырочками, просверленными буравчиком. Но они были широко расставлены, и лоб, нависший над ними, несомненно, принадлежал мыслителю. Ибо всю жизнь А-чуну приходилось решать самые сложные проблемы. Не то, чтобы эти проблемы особенно беспокоили его. В сущности, А-чун представлял собой законченный тип философа, духовное равновесие его не зависело от того, был ли он мультимиллионером, распоряжающимся судьбами множества людей, или простым кули. А-чун всегда пребывал в состоянии безграничного душевного покоя, не нарушаемого успехом и не смущаемого неудачами. Ничто не могло сокрушить его

невозмутимость: ни удары плети надсмотрщика на плантации сахарного тростника, ни падение цен на сахар, когда А-чун уже сам владел этими плантациями. Опираясь на непоколебимую скалу своей удовлетворенности миром, он справлялся с проблемами, которыми людям вообще приходится заниматься не часто, а китайским крестьянам и того реже.

А-чун был именно китайским крестьянином, обреченным всю жизнь трудиться, как рабочая скотина, на полях; но, по велению судьбы, в один прекрасный день он исчез с этих полей, словно принц в сказке. А-чун не помнил своего отца, мелкого арендатора неподалеку от Кантона; не много воспоминаний оставила и мать: она умерла, когда мальчику едва исполнилось шесть лет. Зато он помнил своего почтенного дядюшку А-ку, на которого он батрачил с шести лет до двадцати четырех. Именно после этого он исчез, завербовавшись на три года на сахарные плантации Гавайских островов с оплатой в пятнадцать центов в день.

А-чун обладал редкой наблюдательностью. Он запоминал мельчайшие подробности, какие вряд ли заметил бы и один из тысячи. Он проработал на плантациях три года и по окончании этого срока знал о выращивании сахарного тростника больше, чем надсмотрщики и даже сам управляющий; управляющий же был бы несказанно изумлен, если бы ему стало известно, какими сведениями о переработке тростника располагает этот сморщенный кули. Но А-чун изучал не только процессы переработки тростника. Он старался постичь, каким путем люди становятся владельцами сахарных заводов и плантаций. Очень быстро он усвоил, что от своего собственного труда люди не богатеют. Он знал это потому, что сам гнул спину целых двадцать лет. Люди наживают деньги, только используя труд других. И человек тем богаче, чем больше ближних работают на него.

И вот, когда срок контракта истек, А-чун вложил свои сбережения в маленькую лавку импортных товаров, вступив в компанию с неким А-янгом. Впоследствии лавка превратилась в крупную фирму «А-чун и А-янг», которая торговала решительно всем – от индийских шелков и женьшеня до островов с залежами гуано и вербовочных судов. В то же время А-чун нанялся работать поваром. Он оказался прекрасным кулинаром и за три года стал самым высокооплачиваемым шеф-поваром в Гонолулу. Карьера его была обеспечена, и он совершал непростительную глупость, отказываясь от нее, – так сказал ему Дантен, его хозяин; однако А-чун лучше знал, что ему надо. За упрямство его трижды называли дураком при расчете и выдали пятьдесят долларов сверх положенной суммы.

Фирма «А-чун и А-янг» богатела. Теперь А-чуну незачем было работать поваром. На Гавайях начался бум. Расширялись плантации сахарного тростника, и всюду требовались рабочие руки. А-чун видел, какие это сулит возможности, и занялся ввозом рабочей силы. Он доставил на Гавайи тысячи кантонских кули, и состояние его росло день ото дня. Он вкладывал капитал в различные предприятия. Его черные, как бусинки, глаза безошибочно различали выгоду там, где прочим людям виделось разорение. Он за бесценку купил пруд для разведения рыбы, который потом принес пятьсот процентов прибыли и дал А-чуну возможность монополизировать поставки рыбы в Гонолулу. А-чун не давал интервью, не играл никакой роли в политике, не участвовал в революциях, зато безошибочно предугадывал события и был значительно дальновиднее тех, кто руководил этими событиями. В воображении он видел Гонолулу современным, освещенным электричеством еще в те времена, когда город, грязный, под вечной угрозой песчаных заносов, беспорядочно лепился к голым скалам кораллового островка. И А-чун покупал землю. Он покупал землю у торговцев, нуждающихся в наличных, у нищих туземцев, у разгульных сынков богачей, у вдов и сирот, даже у прокаженных, которых выслали на Молокаи. И со временем оказалось, что купленные А-чуном клочки земли совершенно необходимы для складов, либо для общественных зданий, либо для отелей. А-чун сдавал внаем и брал в аренду, продавал, покупал и перепродавал снова.

Однако это еще не все. А-чун вверил свои надежды и деньги некоему Паркинсону, бывшему



капитану, которому не доверился бы никто другой. Паркинсон отбыл в таинственный рейс на маленькой «Веге». После этого Паркинсон не знал нужды до конца дней своих, а много лет спустя весь Гонолулу охватило изумление: каким-то путем стало известно, что острова Дрейк и Акорн, славившиеся залежами гуано, давно проданы Британскому тресту фосфатов за три четверти миллиона.

Кроме того, были дни изобилия и пьянства при короле Калакауа, когда А-чун заплатил триста тысяч долларов за опиумную лицензию. И хотя монополия на торговлю наркотиками обошлась ему в треть миллиона, все же это оказалось выгодной сделкой, так как на доходы от нее он купил плантацию Калалау, а та, в свою очередь, давала ему в течение семнадцати лет тридцать процентов чистой прибыли и была продана в конце концов за полтора миллиона.

Задолго до этого, еще при правлении династии Камехамеха, А-чун верно служил своей стране в качестве консула на Гавайях – а должность эту отнюдь нельзя назвать недоходной. При Камехамехе IV он переменял гражданство и стал гавайским подданным для того, чтобы жениться на Стелле Аллендейл; она являлась подданной туземного короля, хотя в жилах ее текло больше англосаксонской крови, чем полинезийской. Среди предков Стеллы были люди стольких национальностей, что доли крови исчислялись восьмыми и даже шестнадцатыми. Одну шестнадцатую составляла, например, кровь ее прабабушки Паа-ао – принцессы Паа-ао, ибо она происходила из королевского рода. Прадедом Стеллы Аллендейл был некий капитан Блант, англичанин-авантюрист, который служил у Камехамеха I и был возведен им в сан неприкосновенного вождя. Дед ее, капитан китобойного судна, происходил из Нью-Бедфорда, а у отца, кроме английской крови, была слабая примесь итальянской и испанской. Так что супруга А-чуна, гавайянка по закону, с большим основанием могла быть причислена к любой из трех других национальностей.

И в этот сплав рас А-чун добавил струю монгольской крови. Таким образом, его дети от миссис А-чун были на одну тридцать вторую полинезийцы, на одну шестнадцатую итальянцы, на одну шестнадцатую португальцы, наполовину китайцы и на одиннадцатую тридцать вторых англичане и американцы.

Вполне вероятно, что А-чун воздержался бы от брака, если бы он мог предвидеть, какое необыкновенное потомство произойдет от этого союза. Оно было необыкновенным во многих отношениях. Во-первых, по количеству: А-чун стал отцом пятнадцати сыновей и дочерей, в основном дочерей. Вначале родились сыновья – всего трое, а затем с неумолимой последовательностью целая дюжина дочерей. Результаты смешения рас оказались блестящими. Потомство было не только многочисленным: все дети, как один, обладали безукоризненным здоровьем. Но больше всего поражала их красота. Дочери А-чуна были красивы какой-то хрупкой, неземной красотой. Казалось, в них острые углы папаши А-чуна смягчены плавностью линий свойственной мамаше А-чун, так что дочери были гибкими, но не костлявыми и ласкали глаз округлостью форм, не будучи полными. Черты каждой из девушек носили неуловимый отпечаток Азии, хотя и сглаженный и замаскированный влиянием старой Англии, новой Англии и Южной Европы. Ни один наблюдатель, не будучи осведомлен заранее, не догадался бы о наличии значительной примеси китайской крови в их жилах; в то же время осведомленный наблюдатель не преминул бы тут же отметить в дочерях А-чуна китайские черты.

Девушки А-чун являли собой новый тип красавиц. Ничего подобного природа еще не создавала. Единственно, на кого сестры походили, – это друг на друга, и все же каждая обладала ярко выраженной индивидуальностью. Перепутать их было невозможно. В то же время белокурая голубоглазая Мод непременно напоминала каждому Генриетту, брюнетку с оливковой кожей, огромными томными глазами и волосами, черными до синевы.

То общее, что проглядывало во внешности сестер, невзирая на все их различия, шло от

А-чуна. Он заложил основу, на которую наносился сложный узор смещения рас. Хрупкое сложение досталось дочерям от А-чуна, а кровь саксов, латинян и полинезийцев дала им утонченную красоту, которая свойственна женщинам этих рас.

У миссис А-чун были свои представления о жизни, и А-чун во всем шел жене навстречу, но только до тех пор, пока это не нарушало его философского спокойствия. Она привыкла жить на европейский лад. Прекрасно! А-чун подарил ей европейский особняк. Позже, когда подросли сыновья и дочери, он выстроил бунгало – просторное, широко раскинувшееся здание, столь же скромное, сколь великолепное. Кроме того, через некоторое время появился дом в горах Танталус, куда семья переезжала на сезон южных ветров. А в Ваикики, на взморье, он построил виллу, причем настолько удачно выбрал участок, что впоследствии, когда правительство Соединенных Штатов решило конфисковать участок для военных целей, А-чуну выплатили изрядную сумму. Во всех резиденциях имелись бильярд, курительные и несчетное количество комнат для гостей – дело в том, что прелестные наследники А-чуна любили устраивать многолюдные приемы. Меблировка отличалась изысканной простотой. Были потрачены баснословные суммы, но это не бросалось в глаза – все благодаря просвещенному вкусу наследников.

А-чун не скупился, когда речь шла об образовании его детей.

– Не жалеете денег, – говорил он в прежние времена Паркинсону, если этот нерадивый моряк выражал сомнение, стоит ли тратиться на совершенствование мореходных качеств «Веги». – Вы водите шхуну – я плачу по счетам.

Точно так же было с его сыновьями и дочерьми. Их дело получать образование и не считаться с расходами. Первенец Гарольд учился в Гарварде и Оксфорде. Альберт и Чарльз поступили в Йейл в один и тот же год. Дочери же, от самой старшей до младшей воспитывались в закрытой школе Миллз в Калифорнии, а затем переходили в Вассар, Уэллсли или Брин Маур. Те, кто желали, завершали образование в Европе. Со всех концов земли возвращались к А-чуну сыновья и дочери и высказывали все новые пожелания и советы по части усовершенствования строгого великолепия его резиденций. Сам А-чун предпочитал откровенную пышность восточной роскоши. Но он был философ и прекрасно понимал, что вкусы его детей безукоризненны и полностью соответствуют западным стандартам.

Разумеется, дети его не были известны как дети А-чуна. Подобно тому, как он из простого кули превратился в мультимиллионера, точно так же и имя его претерпело изменение. Мамаша А-чун писала фамилию А'Чун, а ее отпрыски мудро опустили апостроф и превратились в Ачунов. А-чун не возражал. Как бы ни писали его имя, это не нарушало его удобств и философского спокойствия. Кроме того, он не был горд. Но когда требования детей А-чуна настолько возросли, что речь зашла о крахмальной сорочке, стоячем воротничке и сюртуке, это уже нарушало его удобства и покой. А-чун не носил европейское платье. Он предпочитал свободные китайские халаты, и семейство не смогло заставить А-чуна отказаться от его привычек ни уговорами, ни силой. Молодые Ачуны испробовали оба способа и во втором случае потерпели особенно катастрофическое поражение. Надо сказать, что они недаром побывали в Америке. Там они познали всю действенность бойкота как оружия организованного труда, и вот они стали бойкотировать Чун А-чуна, своего отца, в его собственном доме, при подстрекательстве и содействии мамыши А-чун. А-чун, хотя и невежественный в том, что касалось западной культуры, был достаточно хорошо знаком с отношениями между предпринимателями и рабочими на Западе. Как крупный работодатель, он знал, что следует противопоставить тактике организованного труда. Не долго думая, он объявил локаут своим взбунтовавшимся отпрыскам и заблудшей супруге. Он рассчитал прислугу, заколотил конюшни, запер все дома и переехал в гавайский отель «Ройял», основным держателем акций которого он, между прочим, являлся. И пока вся семья в смущении и ярости металась по знакомым, А-чун спокойно занимался многочисленными делами,

покуривал трубку с крошечной серебряной чашечкой и обдумывал проблему своего необыкновенного семейства.

Проблема эта не слишком тревожила его. В глубине своей философской души он знал: в надлежащий момент он сумеет ее разрешить. А пока А-чун дал ясно понять, что, несмотря на свое благодушие, именно он безраздельно вершит судьбами остальных А-чунов.

Семейство продержалось лишь неделю, а затем вместе с А-чуном и штатом прислуги возвратилось в бунгало. После этого случая никто не смел выражать недовольство, если А-чун выходил в великолепную гостиную в костюме, состоящем из голубого шелкового халата, ватных туфель и шелковой черной шапочки с красным шариком на макушке, или когда появлялся, посасывая трубку с серебряной чашечкой на тонком мундштуке, среди офицеров и штатских, куривших сигареты и сигары на просторных верандах или в курительной комнате.

А-чун занимал совершенно особое положение в Гонолулу. Он не выезжал в свет, но двери любого дома были открыты для него. Сам он никого не посещал, кроме нескольких китайцев-купцов; зато он принимал у себя и всегда распорядился хозяйством и всеми домочадцами, а также главенствовал за столом.

Китайский крестьянин по рождению, он был теперь в центре атмосферы утонченной культуры и изысканности, не имеющей себе равных на гавайских островах. И не нашлось бы ни одного человека на Гавайях, кто бы счел ниже своего достоинства переступить порог дома А-чуна и пользоваться его гостеприимством. Прежде всего, потому что бунгало А-чуна отвечало требованиям самого безукоризненного вкуса. Далее, А-чун был могуществен. И, наконец, А-чун являл образец добродетели и честного предпринимательства. Хотя деловая мораль была на Гавайях строже, чем на материке, А-чун превзошел всех дельцов Гонолулу своей беспримерной, скрупулезной честностью. Вошло в поговорку, что на слово А-чуна можно положиться так же, как на его долговую расписку. Ему не нужно было скреплять свои обязательства подписью. Он никогда не нарушал слова.

Через двадцать лет после того, как умер Хотчкис из фирмы «Хотчкис, Мортерсон и К°», среди забытых бумаг была обнаружена запись о ссуде в триста тысяч долларов, выданной А-чуну. В то время А-чун состоял тайным советником при короле Камехамехе II. В суете и неразберихе тех дней – дней процветания и обогащения – А-чун забыл об этом деле. Не сохранилось никакой расписки, никто не предъявлял А-чуну иска, тем не менее он полностью рассчитался с наследниками Хотчкиса, добровольно уплатив по сложным процентам сумму, которая значительно превышала основной долг.

То же произошло и в случае, когда А-чун поручился своим словом за неудачный проект осушительных работ в Какику, – в то время самым заядлым пессимистам не снилось, что нужна какая-то гарантия; и А-чун, «не моргнув глазом, подписал чек на двести тысяч, да, да, джентльмены, не моргнув глазом», – так доложил секретарь лопнувшего предприятия, которого, почти ни на что не надеясь, послали выяснить намерения А-чуна. И в довершение ко многим подобным фактам, подтверждавшим твердость его слова, вряд ли был на островах хоть один более или менее известный человек, которому в трудную минуту А-чун щедрой рукой не оказал финансовой помощи.

И вот теперь на глазах всего Гонолулу милое семейство А-чуна превратилось в запутанную проблему. А-чун стал предметом всеобщего тайного сочувствия, ибо невозможно было представить, каким образом ему удастся выкрутиться из этого затруднительного положения. Но для А-чуна проблема была значительно проще, чем для остальных. Никто, кроме него, не знал, насколько далек он от своих родных. Даже семейство его об этом не догадывалось. А-чун сознавал, что он лишний среди собственных детей. А ведь впереди старость, и с каждым годом он будет отдаляться от них все больше – это А-чун предвидел. Он не понимал

своих детей. Они разговаривали о вещах, которые не интересовали его и о которых он понятия не имел. Западная культура не коснулась его. Он оставался азиатом до мозга костей – это означало, что он был язычником. Христианство его детей казалось А-чуну бессмысленным. Однако он мог бы не обращать внимания на все это, как на нечто постороннее, не имеющее значения, если бы он понимал души своих детей. Когда Мод, например, сообщала ему, что расходы по дому составили за месяц тридцать тысяч долларов, или Альберт просил его пять тысяч долларов на покупку яхты «Мюриэль», чтобы вступить в Гавайский яхт-клуб, тут для А-чуна не было загадок. Но его сбивали с толку сложные процессы, происходившие в умах его детей, и другие, странные желания. Прошло немного времени, и он понял, что мысли каждого сына и каждой дочери для него – запутанный лабиринт, в котором ему никогда не удастся разобраться. Он постоянно наталкивался на стену, разделяющую Восток и Запад. Души детей были недоступны для А-чуна точно так же, как его душа оставалась недосягаемой для них.

К тому же с течением времени А-чуна все больше влекло к соотечественникам. Запахи китайского квартала притягивали его. А-чун вдыхал их с наслаждением, проходя по улице; и воображение уносило его на узкие, извилистые улочки Кантона, где кипела шумная жизнь. Он жалел, что отрезал косу, желая сделать приятное Стелле Аллендейл перед свадьбой; теперь он всерьез подумывал о том, чтобы обрить затылок и отрастить косу опять. Блюда, которые стряпал высокооплачиваемый повар, не доставляли ему такого удовольствия, как напоминающие родину странные кушанья в душном ресторанчике китайского квартала. И он гораздо больше любил наслаждаться беседой за трубкой с двумя-тремя друзьями-китайцами, нежели выступать в роли хозяина на изысканных званых обедах, какими славился его бунгало. Там мужчины и женщины – сливки американского и европейского общества Гонолулу – сидели за длинным столом, и женщины – со сверкающими в мягком свете драгоценностями на белых шеях и руках, мужчины – в вечерних костюмах; они болтали о таких событиях и смеялись таким шуткам, которые, хотя и не были абсолютно бессмысленными для А-чуна, но не интересовали и не развлекали его.

Однако не только отчужденность А-чуна от семьи и его растущее стремление вернуться на родину составляли проблему. Речь шла также об его капитале. А-чун жаждал безмятежной старости. Он хорошо потрудился на своем веку и в награду хотел только мира и покоя. Но он знал, что с таким огромным богатством вряд ли ему удастся насладиться миром и покоем. Уже появились дурные предзнаменования. А-чуну приходилось наблюдать, какие неприятности происходили из-за денег.

Дети его бывшего хозяина Дантена, действуя по всем правилам закона, лишили старика права распоряжаться своим имуществом; по решению суда над Дантеном учредили опеку.

А-чун твердо знал: будь Дантен бедняком, никто не усомнился бы в его способности разумно вести свои дела. И ведь у старого Дантена было только трое детей и каких-нибудь полмиллиона, а у него, А-чуна, – пятнадцать детей и, ему одному известно, сколько миллионов.

– Наши дочери – красавицы, – сказал А-чун однажды вечером своей жене. – Вокруг них множество молодых людей. В доме полным-полно молодых людей. Счета за сигары огромны. Почему же нет свадеб?

Мама А-Чун пожала плечами и промолчала.

– Женщины остаются женщинами, а мужчины мужчинами, странно, что нет свадеб. Может быть, наши дочери не нравятся молодым людям?

– Ах, наши дочери в достаточной мере нравятся мужчинам, – ответила наконец мамаша А-Чун. – Но, видишь ли, молодые люди не могут забыть, что ты отец своих дочерей.

– Однако ты-то забыла, кто был мой отец, – сказал А-чун серьезно. – Единственное, о чем ты меня попросила – это отрезать косу.

А'Чун кивнула:

– Я полагаю, молодые люди теперь более разборчивы, чем была я.

Тут А-чун неожиданно спросил:

– Что сильнее всего на свете?

С минуту мама А'Чун обдумывала ответ, затем сказала:

– Бог.

– Да, я знаю. Боги бывают всякие. Из бумаги, из дерева, из бронзы. У меня в конторе есть маленький бог, он служит мне вместо пресс-папье. А в Епископском музее выставлено множество богов из кораллов и застывшей лавы.

– На свете есть только один бог, – твердо заявила мама А'Чун и, решительно распрямив свою массивную фигуру, за отсутствием других доказательств, уже готова была ринуться в спор.

А-чун заметил тревожные сигналы, но не принял вызова.

– Хорошо, в таком случае, что сильнее бога? – спросил он. – Так вот, я скажу тебе: деньги. Мне приходилось вести дела с иудеями и христианами, с мусульманами и буддистами, с маленькими чернокожими с Соломоновых островов и с Новой Гвинеи – те носили своих богов с собой, завернув в промасленную бумагу. Они молились разным богам, эти люди; но все они одинаково поклонялись деньгам. Этот капитан Хиггинсон, ему как будто нравится Генриетта.

– Он ни за что на ней не женится, – возразила мамаша А'Чун. – Когда-нибудь он станет адмиралом.

– Контр-адмиралом, – поправил А-чун. – Да, я знаю. Они получают этот чин, когда выходят в отставку.

– Его семья в Соединенных Штатах занимает высокое положение. Они не допустят, чтобы он женился на... чтобы он женился не на американке.

А-чун вытряхнул пепел из трубки и вновь набил ее серебряную головку крошечной щепоткою табаку. Потом он зажег трубку, неторопливо выкурил ее и только после этого заговорил.

– Генриетта – старшая дочь. Когда она выйдет замуж, я дам за ней триста тысяч долларов. Капитан Хиггинсон и его высокопоставленная семейка никак не устоят против этого соблазна. Пусть только он узнает об этом. Тут я целиком полагаюсь на тебя.

Потом А-чун сидел и курил, и в сплетающихся кольцах дыма пред его глазами возникали очертания лица и фигуры Той Шей, прислуги «за все» в доме его дяди в деревне близ Кантона; для этой девушки работа никогда не кончалась, и за год труда она получала один доллар. И самого себя, молодого, видел он в клубах дыма, юношу, который восемнадцать лет надрывался на полях своего дяди за чуть большую плату.

И теперь он, крестьянин А-чун, дает своей дочери в приданое триста тысяч лет такого труда. А эта дочь – лишь одна из двенадцати. Эта мысль не вызвала в нем торжества. Он подумал, как забавен и непонятен мир: и он засмеялся и вывел мамашу А'Чун из задумчивости, истоки которой, он знал, лежали в скрытых глубинах ее существа, куда ему никогда не удавалось проникнуть.

Однако слух о намерении А-чуна дошел по назначению, и капитан Хиггинсон, забыв о контр-адмиральском чине и своей высокопоставленной семье, взял в жены триста тысяч долларов, а также утонченную и образованную девицу, которая была на одну тридцать вторую полинезийкой, на одну шестнадцатую итальянкой, на одну шестнадцатую португалкой, на одиннадцать тридцать вторых англичанкой и американкой и наполовину китайкой.

Щедрость А-чуна сделала свое дело. Девицы А-чун стали буквально нарасхват. Следующей оказалась Клара, однако когда секретарь управления Территорией сделал ей официальное предложение, А-чун объявил, что ему придется подождать; сначала должна выйти замуж Мод, вторая дочь. Это был мудрый шаг. Теперь вся семья оказалась заинтересованной в замужестве Мод; дело сладилось в три месяца, Мод вышла замуж за Неда Гемфриса, иммиграционного чиновника Соединенных Штатов. Оба новобрачных выражали недовольство, так как получили в приданое всего двести тысяч долларов. А-чун объяснил, что его первоначальная щедрость имела целью сломать лед; теперь дело сделано, и, естественно, его дочери пойдут по более низкой цене.

После Мод настала очередь Клары: и потом на протяжении двух лет свадебные церемонии в бунгало следовали одна за другой.

Между тем А-чун не терял времени даром. По частям он ликвидировал капиталовложения. Он продал свою долю в двух десятках предприятий и шаг за шагом, стараясь не вызвать на рынке падения цен, избавился от своих огромных вложений в недвижимость. Напоследок падение цен все-таки произошло, но он продавал, хотя и себе в убыток. Он видел: первые тучки уже собираются на горизонте. Ко времени замужества Люсиль препирательства и завистливые шепотки уже достигли ушей А-чуна. В воздухе носились проекты и контрпредложения насчет того, как добиться расположения А-чуна и настроить его против того или иного зятя, а то и против всех зятьев, разумеется, кроме одного. Все это отнюдь не помогало А-чуну вкушать мир и спокойствие, на которые он рассчитывал в старости.

А-чун спешил. Уже долгое время он состоял в переписке с крупнейшими банками Шанхая и Макао. Каждым пароходом в течение нескольких лет шли в те дальневосточные банки переводные векселя на имя некоего А-чуна. Вклады становились все крупнее.

Две младшие дочери А-чуна не были пока замужем. Он решил не мешкать и выделил каждой по сто тысяч; деньги лежали в Гавайском банке, приносили проценты и ожидали свадебных церемоний обеих девиц. Альберт занялся делами фирмы «А-чун и А-янг», так как старший, Гарольд, предпочел взять свои четверть миллиона и отправился жить в Англию. Младший, Чарльз, получив сто тысяч и опекуна, должен был пройти курс обучения в институте Кели. Мамаше А'Чун было передано бунгало, дом в горах на Танталусе и новая резиденция на взморье, построенная взамен той, которую А-чун продал властям. Кроме того, мамаше А'Чун предназначались полмиллиона долларов, надежно помещенных.

Наконец А-чун был готов к кардинальному решению проблемы. В одно прекрасное утро, когда семья сидела за завтраком, – А-чун позаботился о том, чтобы все зятья и их жены были в сборе, – он объявил о своем решении возвратиться на землю предков. В ясной, краткой речи он объяснил, что достаточно обеспечил свою семью; тут же А-чун изложил ряд правил, которые, он уверен, помогут – так он сказал – семье жить в мире и согласии.

Помимо того, он дал своим зятьям различные деловые советы, прочитал небольшую проповедь о преимуществах умеренности и надежных вкладов и поделился с ними своими всеобъемлющими знаниями относительно промышленности и деловой жизни на Гавайях. Затем он приказал подать экипаж и вместе с рыдающей мамашей А'Чун отбыл к тихоокеанскому почтовому пароходу. В бунгало воцарилась паника. Капитан Хиггинсон в исступлении требовал насильно вернуть А-чуна. Дочери лили обильные слезы.

– Старик, должно быть, сошел с ума. – Высказав такое предположение, муж одной из них, бывший федеральный судья, немедленно отправился в соответствующее учреждение, чтобы навести справки. Вернувшись, он сообщил, что А-чун, оказывается, побывал там накануне, потребовал освидетельствования, которое и прошел с блеском. Итак, ничего другого не оставалось, как спуститься к пристани и сказать «до свидания» маленькому пожилому человечку; он помахал им на прощание с верхней палубы, в то время как огромный пароход медленно нащупывал носом путь в океан между коралловыми рифами.

Однако маленький пожилой человечек не собирался ехать в Кантон. Он слишком хорошо знал свою страну и железную хватку мандаринов, чтобы рискнуть появиться там с кругленькой суммой денег, которая у него осталась. Он направлялся в Макао. А-чун привык пользоваться почти неограниченной властью и, естественно, стал высокомерен как монарх. Но когда он сошел на берег в Макао и прибыл в лучший европейский отель, клерк отказался предоставить ему номер. Китайцы не допускались в этот отель. А-чун потребовал вызвать управляющего и получил оскорбительный ответ. Тогда он уехал, но через два часа снова был в отеле. Пригласив клерка и управляющего, он уплатил им жалованье за месяц вперед и уволил их. А-чун сам стал хозяином отеля. Много месяцев, пока в окрестностях города строился его великолепный дворец, А-чун занимал самые роскошные апартаменты отеля. И очень быстро, со свойственной ему ловкостью, А-чун добился увеличения доходов отеля с трех процентов до тридцати.

Неприятности, в предвидении которых А-чун сбежал, начались чрезвычайно скоро. Кое-кто из зятьев неудачно поместил свои деньги, нашлись и такие, что промотали приданое дочерей А-чуна. Поскольку старик был вне пределов досягаемости, они обратили взоры на мамашу А-чуна и ее полмиллиона и, естественно, испытывали друг к другу отнюдь не самые теплые чувства.

Юристы наживали состояния, разбирая правильность формулировок доверенностей. Гавайские суды были завалены исками, встречными исками и ответными исками. Дело дошло даже до полицейских судов. Во время некоторых ожесточенных стычек от брани стороны перешли к рукоприкладству. Дабы прибавить вес словам, в ход были пущены тяжелые предметы вроде цветочных горшков. И вот возникали процессы о диффамации; они тянулись до бесконечности, и сенсационные показания свидетелей держали весь Гонолулу в постоянном возбуждении.

А во дворце, окруженный дорогими его сердцу атрибутами восточной роскоши, А-чун безмятежно покуривал трубочку и прислушивался к суматохе за океаном. И каждый почтовый пароход увозил из Макао в Гонолулу письмо, написанное на безукоризненном английском языке и отпечатанное на американской машинке. В письмах А-чун, приводя подходящие к случаю цитаты и правила, призывал семью жить в мире и согласии. Что же касается его самого, то он далек от всего этого и целиком удовлетворен жизнью. Он добился желанного покоя. Изредка А-чун посмеивался и потирал руки, а в его раскосых черных глазах вспыхивал лукавый огонек при мысли о том, как забавен мир. Ибо долгие годы жизни и размышлений укрепили в нем это убеждение, что мир, в котором мы живем, чрезвычайно забавная штука.

\* \* \*

## ШЕРИФ КОНЫ

– Да, здешний климат нельзя не полюбить, – сказал Кадурт в ответ на мой восторженный отзыв о побережье Коны. – Я приехал сюда восемнадцать лет назад, совсем юнцом, только что окончив колледж, да тут и остался. На родину езжу редко, только погостить.

Предупреждаю: если есть на земле местечко, дорогое вашему сердцу, не задерживайтесь здесь надолго, не то Кона станет вам милее.

Разговор этот мы вели после обеда на широкой террасе. Терраса выходила на север, но в таком чудесном климате это не имело никакого значения.

Потушили свечи. Слуга-японец в белой одежде, скользя неслышно, как призрак, в серебряном лунном свете, принес нам сигары и скрылся, словно растаял во мраке бунгало. Сквозь листву бананов и легуа я смотрел вниз, туда, где ниже зарослей гуавы, в тысяче футов под нами, тихо плескалось море. Вот уже целую неделю, с тех пор как я сошел на берег с каботажного суденышка, я жил у Кадуорта, и за все это время ни разу не видел, чтобы ветер хотя бы покрыл рябью безмятежную гладь моря. Здесь, правда, иногда дуют бризы, но это легчайшие из ветерков, когда-либо веявших над островами вечного лета. Их и ветром назвать нельзя, – они подобны вздохам, протяжным, блаженным вздохам отдыхающего мира.

– Страна лотоса, – сказал я.

– Да, страна, где один день похож на другой и каждый из них – день райской жизни, – отозвался мой собеседник. – Здесь никогда ничего не случается. Здесь не слишком жарко и не слишком холодно. Все в меру. Вы заметили, как дышат по очереди море и земля?

Действительно, я наблюдал это чудесное-ритмичное дыхание. Каждое утро на берегу поднимался легкий ветерок и, овеяв землю нежнейшей и легчайшей струей озона, медленно уходил к морю. Играя над морем, этот бриз слегка затемнял блеск его глади, и, куда ни глянь, длинные полосы воды переливались, струились, волновались под капризными поцелуями ветра. А по вечерам я следил, как замирает дыхание моря, сменяясь божественным покоем, и слушал, как тихо дышит земля между кофейными деревьями и баобабами.

– Это страна вечной тишины – сказал я. – Дуют здесь когда-нибудь сильные ветры? Настоящие? Вы знаете, о каких я говорю.

Кадуорт покачал головой и указал на восток.

– Как они могут дуть, когда им преграждает путь такой барьер?

Вдали высились громады гор Мауна-Кеа и Мауна-Лоа, заслоняя половину звездного неба. На высоте двух с половиной миль над нашими головами они возносили свои одетые снегом вершины, – даже тропическое солнце было не в силах этот снег растопить.

– Готов поручиться, что в тридцати милях отсюда ветер сейчас дует со скоростью сорока миль в час.

Я недоверчиво усмехнулся.

Кадуорт подошел к телефону на террасе. Он вызывал по очереди Уаймею, Кохалу и Гамакуа. И по долетавшим до меня отрывочным фразам я понял, что говорят о ветре в тех местах: «Значит, бешеный шторм?.. Валит с ног, да?.. И сколько времени это уже длится?.. Всего неделю?.. Алло, Эйб, это ты?.. Да, да. А ты все еще не бросил свою затею – разводить кофе на берегу Гамакуа?.. К черту твои защитные насаждения! Ты бы посмотрел на мои деревья!..»

– В Гамакуа настоящая буря, – сказал мне Кадуорт, повесив трубку. – Я всегда подсмеиваюсь над попытками Эйба разводить кофе. У него плантация в пятьсот акров, и он творит чудеса, защищая ее от ветра. Но как там корни держатся в земле, не понимаю, хоть убейте. Ветрено ли там? Да ведь в Гамакуа всегда дуют сильные ветры. Из Кохалы сообщают, что шхуна под



парусами, на которых взято по два рифа, идет против ветра по проливу между Гавайей и Мауи и ей туго приходится.

– Сидя здесь, трудно себе это представить, – сказал я, все еще не убежденный. – Неужели же хоть слабые порывы этих ветров никогда не проникают сюда каким-нибудь окольным путем?

– Никогда. Наш береговой бриз не имеет ничего общего с ветрами по ту сторону Мауна-Кеа и Мауна-Лоа. Он чисто местный. Понимаете, земля излучает свое тепло быстрее, чем море, и потому ночью, когда она остывает, ветер дует с берега. А днем земля нагревается сильнее, и ветер дует с моря... Вот вслушайтесь! Теперь дышит земля: поднимается горный ветер.

Я и в самом деле услышал, как ветерок, приближаясь, тихо шелестит в листве кофейных деревьев, шевелит плоды баобаба и вздыхает среди стеблей сахарного тростника. На террасе воздух все еще был недвижим. Но вот долетело и сюда первое дуновение горного ветра, мягкое, полное пряного аромата, прохладное. И что это была за дивная прохлада, ласкающая, как шелк, хмельная, как вино! Только горный ветер Коны приносит такую упоительную свежесть.

– Теперь вы понимаете, почему я восемнадцать лет назад влюбился в Кону? – спросил Кадуорт. – Я не смогу никогда отсюда уехать. Это было бы ужасно, я бы, кажется, умер с тоски. Еще один человек любил Кону так же, как я. Пожалуй, даже сильнее: ведь он родился здесь, на побережье. Он замечательный человек и мой лучший друг, ближе родного брата. Но он покинул Кону – и не умер.

– А что его заставило уехать? – спросил я. – Любовь? Женщина?

Кадуорт покачал головой.

– Нет. И никогда он не вернется сюда, хотя сердце свое оставил здесь и до самой смерти не разлюбит Коны.

Мой собеседник некоторое время молчал, засмотревшись на береговые огни Каула внизу. А я курил и ждал.

– Вы спрашивали, не женщина ли тут замешана. Нет. Он был влюблен в свою жену. И детей у него трое, их он тоже любил. Они теперь в Гонолулу. Мальчик уже учится в колледже.

– Так что за причина?... Какой-нибудь опрометчивый поступок? – помолчав, спросил я, на этот раз уже нетерпеливо.

Он снова отрицательно покачал головой.

– Нет, ни в каком преступлении он не был виновен, да его ни в чем и не обвиняли. Он был шерифом Коны.

– У вас пристрастие к парадоксам, – сказал я.

– Да, вероятно, это похоже на парадокс, – согласился Кадуорт. – В том-то и весь ужас.

С минуту он смотрел на меня испытующе. И вдруг отрывистым тоном начал свой рассказ:

– Он был прокаженный. Нет, не от рождения – с проказой не рождаются. Он заболел ею. Этот человек... – ну, да не все ли равно, зачем скрывать его имя? – Лайт Грегори. Каждый камаина знает его историю. Лайт – чистейший американец, но он сложен, как вожди старой Гавайи. Ростом шесть футов три дюйма, а весом двести двадцать фунтов, и при этом весь из мускулов и костей, ни одной унции жира. Я не встречал человека сильнее его – это

настоящий великан, атлет. Не человек, а бог! И он был моим другом. Душа и сердце у него такие же большие и такие же прекрасные как и его тело.

Скажите, что бы вы сделали, если бы увидели своего друга, брата, на краю пропасти? Ноги у него скользят, он вот-вот сорвется, а вы ничем не можете ему помочь. Это самое пережил я. Ничего нельзя было сделать! Я видел, как этот ужас надвигается, – и был бессилён. Господи, что я мог сделать? Страшная болезнь уже наложила на его лицо зловещий и неотвратимый отпечаток. Никто еще не замечал этих признаков. Я один видел их – вероятно, потому, что любил Лайта. Видел, но не хотел верить глазам: это было слишком страшно. Однако признаки были. Сначала припухли мочки ушей – слегка, едва заметно! Месяцами я наблюдал это и вопреки всему надеялся, что ошибаюсь. Потом чуть-чуть потемнела кожа над бровями. Вначале это напоминало легкий загар. И я хотел бы думать, что это загар, если бы кожа в этом месте не поблескивала как-то странно: по ней словно пробежали отсветы. Так хотелось верить, что это просто загар, однако я уже не мог обманывать себя. А ведь никто еще не замечал страшных признаков (никто, кроме Стивена Калюны, – это я узнал только позднее). Один я видел, как надвигается несчастье, отвратительное, невыразимо ужасное... Но я не хотел заглядывать вперед. Не мог: очень уж страшно было. И по ночам я плакал.

Он был мой друг. Мы вместе охотились на акул на Ниихау и диких животных на Мауна-Кеа и Мауна-Лоа, объезжали лошадей и клеймили быков на ранчо Картера. Гонялись за козами по всему Халеакала. Лайт учил меня нырять и плавать во время прилива, и в конце концов я почти сравнялся с ним в этом искусстве, а он был искуснее любого канака. Он у меня на глазах нырял на глубину в пятнадцать морских саженей и оставался под водой целых две минуты. На море он был человек-амфибия, а по горам лазал, как настоящий альпинист, взбираясь туда, куда забредали только дикие козы. Ничего он не боялся. Он находился на борту «Люси», когда она потерпела крушение, и, прыгнув за борт, проплыл тридцать миль за тридцать шесть часов – это во время сильного шторма! Самые бурные волны, которые нас с вами превратили бы в студень, его не могли остановить. Он был велик и могуч, как бог. Вместе пережили мы с ним революцию, и оба были романтиками-монархистами. Лайт был дважды ранен. Его приговорили к смерти, но у республиканцев рука не поднялась на такого человека. А он только смеялся над ними. Позднее ему воздали должное и назначили шерифом Коны.

Он был простодушен, этот большой ребенок, так и не ставший взрослым. Склад его ума не отличался сложностью, в ходе мыслей не было никаких хитросплетений и вывертов. Он всегда действовал напрямик и смотрел на вещи просто.

Лайт был сангвиник. Я в жизни не встречал человека столь оптимистичного, довольного всем и счастливого. Он ничего не требовал от жизни: ведь у него было все, чего можно пожелать. Жизнь расплатилась с ним сполна и наличными, за ней не числилось никакого долга. Он получил все авансом: великолепное тело, железное здоровье, душевную стойкость и скромность. Чего ему еще было желать? Физически он был совершенством. Ни разу в жизни не болел, не знал, что такое головная боль, и, когда я страдал от нее, он смотрел на меня с удивлением и смешил меня своими неловкими попытками выразить сочувствие. Да, он не понимал, не мог понять, что такое головная боль. Великий был оптимист!.. Еще бы! Как не быть оптимистом при такой поразительной жизнеспособности и невероятном здоровье!

Вот вам пример того, как он верил в свою счастливую звезду и как оправдана была эта вера. Когда он был еще юнцом и мы с ним только что познакомились, он однажды вздумал сыграть в покер в Уайлуку. Среди игроков был здоровенный немец по фамилии Шульц, он вел себя отвратительно – грубо и деспотически властвовал за игорным столом. Ему в тот день везло, и он стал уже совсем невыносим. Тут пришел Лайт Грегори и сел играть с ними.

Первым объявил игру Шульц, поставив ставку втемную. Лайт ставку принял, остальные тоже, и Шульц заставил выйти из игры всех, кроме Лайта. Лайту не понравился наглый тон немца, и

он, в свою очередь, повысил ставку. Шульц ответил тем же. Лайт повысил снова. Так они состязались. А знаете, какие карты были на руках у Лайта? Два короля и три мелких трефы. Какой уж там покер! Но Лайт не в покер играл: он вел игру, в которой ставкой был его оптимизм. Он не знал, какие карты у Шульца, однако все повышал и повышал ставку, пока тот не взвыл. А ведь у немца-то было на руках три туза! Подумайте только! Имея на руках двух каких-то королей, человек заставляет противника с тремя тузами брать прикуп и отступить!

Итак, Шульц прикупил две карты. Сдавал второй немец, приятель Шульца. Лайт знал уже, что играет против трех одинаковых карт. И что же вы думаете, он сделал? Что бы вы сделали на его месте? Конечно, прикупили бы три карты, а королей бы придержали. Но Лайт поступил иначе. Ведь то была игра на оптимизм. Он сбросил королей, оставив себе три трефы, и прикупил две карты. Он даже не взглянул на них – смотрел через стол на Шульца, ожидая, чтобы тот объявил ставку. И Шульц поставил очень крупную сумму. Имея на руках трех тузов, он был уверен, что обыграет Лайта: ведь если у Лайта и есть три одинаковые карты, рассуждал немец, они, во всяком случае, меньше тузов. Бедняга Шульц! Его предпосылки были совершенно правильны, ошибался он только в одном: он полагал, что Лайт играет в покер. Они сражались пять минут, и попеременно то один, то другой увеличивал ставку. Наконец, уверенность Шульца начала таять. А Лайт за все время так и не заглянул в прикупленные им две карты – и Шульц это знал. Я видел, как он раздумывал секунду-другую, а потом вдруг оживился и опять начал повышать ставку. Но это было последнее усилие: напряжение было слишком велико, и Шульц наконец не выдержал.

– Послушайте, Грегори, – сказал он. – На что вы играете? Не нужны мне ваши деньги. Но ведь у меня на руках...

– Все равно, что бы у вас там ни было, – перебил его Лайт. – Вы же не знаете еще, что у меня. Пожалуй, пора и взглянуть...

Он посмотрел в свои карты и повысил ставку еще на сто долларов. И все началось сначала. Опять то один, то другой повышал ставку, пока Шульц, наконец, не сдался и, прекратив игру, выложил на стол свои три туза. Лайт открыл карты. Они были одной масти: оказалось, что и прикупил он тоже две трефы...

Вот так он сломил Шульца: тот никогда больше не играл с прежней смелостью и азартом. Он потерял веру в себя и сильно нервничал за игрой.

– Но как тебе это удалось? – спросил я потом у Лайта. – Ведь когда он прикупил две карты, ты уже понимал, что у тебя меньше. И ты даже не взглянул на свой прикуп!

– Незачем мне было смотреть, – ответил Лайт, – я все время не сомневался, что там еще две трефы. Иначе и быть не могло. Ну и что же? Неужели ты думал, что я спасую перед этим толстым немцем? Нет, я и мысли не допускал, что он может меня победить! Сдаваться я не привык. Я всегда уверен, что победа будет за мной. Верить ли, я был бы просто поражен, если бы у меня не оказались на руках одни трефы.

Да, вот каков был Лайт Грегори! Теперь вы сами можете судить о силе его оптимизма. По его собственному выражению, ему так и полагалось – всегда побеждать, преуспевать и быть счастливым. И победа над Шульцем, как и десять тысяч других удач, укрепляла его веру в себя. Ведь ему действительно всегда сопутствовал успех. Вот почему он ничего не боялся. Он верил, что с ним никакая беда не может стрястись, потому что не знал в своей жизни несчастий. Когда «Люга» потерпела крушение, он проплыл тридцать миль, пробыл в воде две ночи и день. И все это страшное время ни на миг не терял надежды, не сомневался в том, что спасется. Он

знал, что выберется на сушу. Так он сам мне сказал, и я верю, что он сказал правду.

Такой уж это был человек. Человек особой, высшей породы, непохожий на нас, жалких смертных. Он не знал обычных человеческих невзгод и болезней. Все, чего он хотел, само давалось ему в руки. Когда он ухаживал за красавицей из семьи Кэрузер, у него была целая дюжина соперников, но девушка вышла за него и была ему доброй женой, самой любящей женой на свете. Он хотел иметь сына – и родился сын. Потом захотел дочь и второго сына. Исполнилось и это желание. И дети у него хорошие, без малейшего изъяна, грудные клетки у них, как бочонки. Они унаследовали от Лайта его силу и здоровье.

Потом пришла беда. И наложила на этого счастливица страшное клеймо зверя. Я целый год наблюдал, как оно все больше обозначается, и сердце у меня разрывалось. А Лайт ничего не подозревал, да и никто другой не догадывался, кроме того проклятого хапа-хаоле, метиса Стивена Калюны. Но я тогда не знал, что и Стивен тоже заметил признаки проказы. Да, чуть не забыл: знал это, кроме нас двоих, еще доктор Струбридж, федеральный врач, – у этого глаз был наметан: ведь в его обязанности входило осматривать больных, у которых подозревали проказу, и отправлять зараженных на приемный пункт в Гонолулу. Да и Стивен Калюна с одного взгляда распознал эту болезнь: она свирепствовала в их семье, и не то четверо, не то пятеро его родственников были уже отосланы на Молокаи.

Стивен был зол на Лайта из-за своей сестры. Когда у нее заподозрили проказу, брат увез ее и спрятал где-то, прежде чем она попала в руки доктора Струбриджа. А Лайт, как шериф Коны, обязан был ее разыскать и пытался это сделать.

В тот вечер мы все собрались в Хило, в баре Неда Остина. Когда мы пришли, Стивен Калюна был уже там и сидел один. Он был явно нетрезв и настроен воинственно. Лайта позабавила какая-то шутка, и он смеялся своим громким, веселым смехом большого ребенка. Калюна презрительно сплюнул. Лайт это заметил, как и все остальные, но решил не обращать внимания на грубияна. Однако Калюна искал ссоры: он не простил Лайту попыток разыскать и задержать его сестру и в тот вечер всячески подчеркивал свою неприязнь. Но Лайт делал вид, будто ничего не замечает. Я думаю, он в душе немного жалел Калюну. Самая тяжелая обязанность шерифа – разыскивать прокаженных: не очень-то приятно врываться в чужой дом и уводить оттуда ни в чем не повинных отца, мать или ребенка, а затем отправлять их в вечную ссылку на Молокаи! Разумеется, это необходимо для охраны общественного здоровья, и, поверьте, Лайт поступил бы точно так же с родным отцом, если бы у того заподозрили проказу.

Наконец Калюн выпалил, обращаясь к Лайту:

– Эй, Грегори, вы думаете, что отыщете Каланивео? Ну, нет, не надейтесь.

Каланивео звали сестру Стивена Калюны. Услышав этот оклик, Лайт посмотрел на Калюну, но ничего не ответил. Калюна окончательно взбесился. Он ведь все время распался себя.

– Знаете, что я вам скажу? – закричал он. – Сами вы угодите на Молокаи раньше, чем отправите туда Каланивео. Хотите знать, кто вы такой? Вы не имеете права находиться в обществе чистых людей. Немало народу вы угнали на Молокаи и повсюду кричите, что это ваш долг, а между тем отлично знаете, что вам самому место на Молокаи!

Никогда еще я не видел Лайта в таком гневе! Проказа – этим, знаете ли, не шутят!

Лайт одним прыжком очутился возле Калюны и, схватив его за горло, поднял со стула. Он тряс метиса так свирепо, что у того зубы стучали.

– Ты что этим хочешь сказать? – крикнул Лайт. – Сию минуту отвечай, или я выжму из тебя правду!

Как вы знаете, на Западе есть одна фраза, которую полагается произносить с улыбкой. То же

принято у нас на островах, когда речь идет о проказе. Каков бы ни был Калюна, трусом его не назовешь. Как только Лайт отпустил его, он ответил:

– Что я хотел сказать? Да то, что вы сами прокаженный.

Лайт неожиданно с размаху посадил на стул метиса, не ожидавшего, что так легко отделается, и захохотал весело, от души. Но смеялся только он один, и, через секунду заметив это, Лайт обвел взглядом нас всех. Я подошел к нему и попытался его увести, но он не обращал на меня внимания. Он смотрел, как загнипнотизированный, на Стивена Калюну, а тот тер себе шею – нервно, торопливо, словно хотел поскорее уничтожить заразу в том месте, к которому прикоснулись пальцы Лайта. Видно было, что он делает это инстинктивно, произвольно.

Лайт опять оглянулся на нас, медленно переводя взгляд с одного на другого.

– О господи, ребята! О господи! – выговорил он хриплым, испуганным шепотом. В голосе его клокотал смертельный ужас, а ведь он, мне думается, до этого вечера не знал в жизни страха.

Впрочем, через минуту его безграничный оптимизм взял верх, и он снова засмеялся.

– Шутка недурна, кто бы ее ни придумал, – сказал он. – Ну-с, сегодня я вас всех угощаю. Я было испугался, по правде сказать... Никогда больше не шутите так ни над кем, ребята. Это слишком страшно. То, что я пережил за одну минуту, хуже тысячи смертей... Подумал о жене и детишках и...

Голос его дрогнул, оборвался, взгляд опять остановился на метисе, все еще потиравшем шею. Видно было, что Лайт ошеломлен, расстроен.

– Джон, – сказал он, повернувшись ко мне.

Его звучный и приятный голос стоял еще у меня в ушах, но я не в силах был отозваться: к горлу подступил комок, и я знал, что лицо мое выдает меня.

– Джон! – позвал он снова и подошел ближе.

Он обратился ко мне с какой-то робостью, а слышать робость в голосе Лайта Грегори было ужаснее всех ночных кошмаров!

– Джон, Джон, что все это значит? – повторил Лайт еще неувереннее. – Ведь это шутка, правда? Джон, вот моя рука. Разве я протянул бы ее тебе, если бы был болен? Джон, разве я прокаженный?

Он протяну руку, и я подумал: «А, будь что будет! К черту все, ведь он мой друг». И пожал ему руку. У меня защемило сердце, когда я увидел, как просияло его лицо.

– Да, да, это шутка, Лайт, – сказал я. – Мы сговорились подшутить над тобой. Но, пожалуй, ты прав: такими вещами не шутят. И больше это не повторится.

Лайт не засмеялся, он только улыбнулся, как человек, который только что очнулся от страшного сна и все еще не может забыть его.

– Вот и хорошо, – сказал он. – Больше так не шутите, а за выпивкой дело не станет. Должен сознаться, ребята, вы мне на минуту задали-таки страху! Смотрите, меня даже пот прошиб.

Он со вздохом утер потный лоб и направился к стойке.

– Я вовсе не шутил, – отрывисто произнес вдруг Калюна.

Я бросил на метиса уничтожающий взгляд. Я готов был убить его на месте, но не решился ни сказать что-либо, ни ударить его: это только ускорило бы катастрофу, а я все еще питал безумную надежду предотвратить ее.

– Нет, это не шутка, – повторил Калюна. – Вы прокаженный, Лайт Грегори, и не имеете права прикасаться к здоровому телу честных людей.

Тут Грегори вскипел.

– Шутка зашла уже слишком далеко! Прекрати это, слышишь, Калюна? Прекрати, говорю, или я тебе все кости переломлю!

– Сперва ступайте-ка, пусть сделают бактериологическое исследование, – возразил Калюна. – И если окажется, что я вру, тогда уж бейте меня до смерти, раз вам этого хочется. Да вы бы хоть поглядели на себя в зеркало! Это же сразу видно. У вас делается львиное лицо. Вот уже и кожа над бровями потемнела.

Лайт долго смотрел на себя в зеркало, и я видел, как у него трясутся руки.

– Ничего не вижу, – сказал он наконец. Затем обрушился на хапа-хаоле:

– Черная у тебя душа, Калюна! Скажу прямо: напугал ты меня так, как ни один человек не имеет права пугать другого. И ты ответишь за свои слова. Я сейчас пойду прямо к доктору Струбриджу выяснить это дело. И когда вернусь, берегись!

Ни на кого не глядя, он пошел к двери.

– Подожди меня здесь, Джон, – сказал он, жестом остановив меня, когда я хотел пойти за ним. И вышел.

Мы все стояли неподвижно, безмолвно, как призраки.

– Ведь это же правда, – сказал Калюна. – Вы сами могли убедиться.

Все посмотрели на меня, и я утвердительно кивнул. Гарри Барнли поднес стакан ко рту, но тотчас, не отпив ни капли, поставил его на прилавок так неловко, что расплескал половину виски. Губы у него дрожали, как у ребенка, который сейчас расплачется. Нед Остин с грохотом открыл холодильник. Он ничего там не искал и вряд ли даже сознавал, что делает. Никто из нас не говорил ни слова. У Гарри Барнли губы еще сильнее задрожали, и вдруг он в порыве дикой злобы ударил Калюну кулаком по лицу, раз и другой. Мы не пытались разнять их. Нам было безразлично, пусть бы даже Барнли убил метиса. Бил он его жестоко. А мы не вмешивались. Я даже не помню, когда Барнли оставил беднягу в покое и тот смог убраться. Слишком мы были потрясены.

Позднее доктор Струбридж рассказал мне, что произошло у него в кабинете. Он засиделся там, составляя какой-то отчет, вдруг в кабинете появился Лайт. Лайт к тому времени уже ободрился и вошел быстрыми и легкими шагами. Он еще немного сердился на Калюну, но к нему вернулась прежняя уверенность в себе. "Что мне было делать? – говорил доктор. – Я знал, что он болен, я уже несколько месяцев видел, как надвигается эта беда. Но у меня не хватало духу ответить на его вопрос. Не мог я сказать «да»! Признаюсь, я не выдержал и разрыдался. А он умолял меня сделать бактериологическое исследование. «Срежьте у меня кусок кожи, док, – твердил он, – и сделайте исследование».

Но, видно, слезы доктора Струбриджа подтвердили опасения Лайта. На другое утро «Клодина» отходила в Гонолулу. Мы перехватили Лайта уже на пристани. Понимаете, он

решил ехать в Гонолулу и заявить о своей болезни во врачебном управлении! И ничего мы не могли с ним поделаться! Слишком много больных отправил он на Молокаи и не мог увилить, когда дело коснулось его самого. Мы уговаривали его ехать в Японию. Но он и слышать не хотел об этом. «Я должен нести свой крест, ребята», – вот все, что он отвечал нам. И повторял это снова и снова, как одержимый.

Он уладил все свои дела и с приемного пункта в Гонолулу отправился на Молокаи.

Там здоровье его пошатнулось. Местный врач писал нам, что это уже не Лайт, а тень прежнего Лайта. Видите ли, он тосковал по жене и детям. Он знал, что мы о них заботимся, но и это не могло залечить рану. Месяцев через шесть или семь я поехал на Молокаи навестить его. Я сидел по одну сторону зеркального окна, он – по другую. Мы смотрели друг на друга сквозь стекло и переговаривались при помощи трубы вроде рупора. Все мои уговоры были тщетны: Лайт решил остаться на Молокаи. Добрых четыре часа я спорил с ним и наконец изнемог. К тому же мой пароход уже давал гудки.

Однако мы не могли с этим примириться. Через три месяца мы зафрахтовали шхуну «Алкион». На ней контрабандисты провозили опиум, и летела она под парусами со сказочной быстротой. Хозяин ее, швед, за деньги готов был на все, и мы за изрядную сумму договорились с ним о рейсе в Китай. Шхуна отплыла из Сан-Франциско, а через несколько дней и мы вышли в море на шлюпе Лендхауза. Это была яхта грузоподъемностью в пять тонн, но мы лавировали на ней пятьдесят миль против ветра на северо-восток. Вы спрашиваете насчет морской болезни? Никогда в жизни я не страдал так от нее, как в тот раз. Когда берег скрылся из виду, мы встретили «Алкиона». Барнли и я перешли на шхуну.

К Молокаи мы подошли около одиннадцати часов вечера. Шхуна легла в дрейф, а мы на вельботе пробились через буруны и высадились в Калауэо – знаете, то место, где умер отец Дамьен. Швед, хозяин «Алкиона», был молодчина. Засунув за пояс пару револьверов, он пошел с нами. Втроем мы прошли около двух миль по полуострову до Калаупапы. Представьте себе наше положение: поздней ночью искать человека в поселке, где больше тысячи прокаженных! Да если бы поднялась тревога, нам была бы крышка! Место незнакомое, тьма, ни зги не видать. Выскочили собаки прокаженных, подняли лай... Мы брели наугад, спотыкаясь в темноте, и заблудились.

Тогда швед перешел к решительным действиям. Он повел нас к первому попавшемуся дому, стоявшему на отлете. Захлопнув за собой дверь, мы зажгли свечу. В комнате было шестеро прокаженных. Мы их подняли на ноги, и я обратился к ним на языке туземцев. Нам нужен был кокуа. Кокуа по-ихнему означает «помощник». Так называют туземца, не зараженного проказой, который живет в поселке на жалованье от Врачебного управления; его обязанность – ходить за больными, делать перевязки и так далее. Мы остались в доме, чтобы надзирать за его обитателями, а швед отправился с одним из них разыскивать кокуа. Нашел и привел, держа его всю дорогу под дулом револьвера. Впрочем, кокуа оказался мирным и услужливым. Швед остался в доме на страже, а меня и Барнли кокуа отвел к Лайту. Мы застали его одного.

– Я так и думал, что вы приедете, ребята, – сказал Лайт. – Не касайтесь меня, Джон! Ну, как поживают Нед, Чарли и вся наша компания? Ладно, потом расскажете. Я готов идти с вами. Девять месяцев здесь отмучился, хватит. Где вы оставили лодку?

Мы пошли к тому дому, где нас ждал швед. Но в поселке уже поднялась тревога. В домах загорались огни, хлопали двери. У нас решено было стрелять только в случае крайней необходимости. И, когда нас пытались задержать, мы пустили в ход кулаки и рукоятки револьверов. На меня наскочил какой-то здоровенный парень, и я никак не мог от него отделаться, хотя дважды хватил его изо всей силы кулаком по лицу. Он вцепился в меня, и мы, упав, покатались по земле. Теперь мы боролись лежа, и каждый пытался одолеть

другого. Парень уже брал верх, когда кто-то подбежал к нам с зажженным фонарем и я увидел лицо своего противника. Как описать мой ужас! То было не лицо, а только страшные его остатки, разлагающиеся или уже разложившиеся. Ни носа, ни губ, и только одно ухо, распухшее и обезображенное, свисавшее до самого плеча. Я чуть с ума не сошел. Он обхватил меня и прижал к себе так близко, что его болтавшееся ухо коснулось моего лица. Тут я, должно быть, действительно обезумел и принялся колотить его револьвером. До сих пор не знаю, как это случилось, но когда я уже вырвался, он вдруг впился в мою руку зубами. Часть кисти оказалась внутри этого безгубого рта. Тогда я нанес ему удар револьвером прямо по переносице, и зубы разжались.

Кадуорт показал мне свою руку. При лунном свете я разглядел на ней шрамы. Можно было подумать, что он искусан собакой.

– Наверно, здорово боялись заразы? – сказал я.

– Да. Семь лет жил в страхе. Ведь у этой болезни инкубационный период длится семь лет. Жил я здесь, в Конне, и ждал. Я не заболел. Но за эти семь лет не было ни одного дня, ни одной ночи, когда бы я не смотрел во все глаза вокруг... на все это...

Голос его дрогнул, он поглядел на залитое лунным светом море внизу, потом на снежные вершины гор.

– Невыносимо было думать, что я утрачу все это, никогда больше не увижу Конну. Семь лет!.. Проказа меня пощадила. Но из-за этих лет ожидания я остался холостяком. У меня была невеста. Я не мог жениться, пока были опасения... А она не поняла. Уехала в Штаты и там вышла замуж за другого. Больше я никогда ее не видел...

Как раз в ту минуту, когда я оторвал от себя прокаженного полисмана, послышался стук копыт, такой громкий, словно кавалерийский отряд мчался в атаку. Это наш швед, испуганный суматохой, не теряя времени, заставил тех прокаженных, которых он стерег, оседлать для нас четырех лошадей. Нам уже ничто не мешало продолжать путь: Лайт расправился с тремя кокуа, и когда мы мчались прочь, кто-то стал стрелять в нас из винчестера – вероятно, Джек Маквей, главный надзиратель на Молокаи.

Ох, что это была за скачка! Лошади прокаженных, седла и поводья прокаженных, тьма, хоть глаз выколи, свист пуль за спиной, а дорога далеко не из лучших. Притом швед ездить верхом не умел, а ему еще вместо лошади подсунули мула.

Но все-таки мы добрались до вельбота и ушли, пользуясь приливом. Отчаливая, мы слышали, как с береговой кручи спускались всадники из Калаупапы...

Вы едете в Шанхай. Так навестите там Лайта Грегори. Он служит у одной немецкой фирмы. Пригласите его пообедать, закажите вино и все, что там найдется самого лучшего, и не позволяйте ему платить – счет пришлите мне. Жена и дети Лайта живут в Гонолулу, и я знаю, что заработок его нужен для них. Он отправляет им большую часть этого заработка, а сам живет отшельником...

И поговорите с ним о Конне. Здесь он оставил свое сердце. Расскажите ему о Конне побольше – все, что знаете.

\* \* \*

ШУТНИКИ С НЬЮ-ГИБСОНА



– Сказать по правде, я даже боюсь везти вас на Нью-Гиббон, – сказал Дэвид Грифф. – Ведь пока вы и англичане не уехали с острова и не развязали мне рук, я ничего не мог добиться и топтался на месте.

Валленштейн, германский резидент из Бугенвиля, налил себе щедрую порцию шотландского виски с содовой и улыбнулся.

– Мистер Грифф, мы преклоняемся перед вами, – сказал он на отличном английском языке. – Вы совершили чудо на этом проклятом острове. И мы больше не станем вмешиваться в ваши дела. Это действительно остров дьяволов, а старый Кохо – самый главный дьявол. Сколько мы ни пытались договориться с ним, все напрасно. Он страшный лжец и далеко не дурак. Прямо-таки чернокожий Наполеон или Талейран, но только Талейран – людоед, охотник за головами. Помнится, лет шесть тому назад я прибыл сюда с английским крейсером. Негры тут же попрятались в зарослях, но некоторым не удалось скрыться. Среди них была последняя жена Кохо. Ее подвесили за руку, и она двое суток коптилась на солнце. Мы сняли ее, но она все равно умерла. А потом в реке нашли еще трех женщин, погруженных по самую шею в холодную проточную воду. У них были перебиты все кости. Очевидно, при таком способе приготовления они должны стать вкуснее. Когда мы вытащили этих несчастных, они еще дышали. Удивительно живучий народ! Самая старшая из них протянула потом, кажется, дней десять... Да, вот вам примерное «меню» Кохо. Настоящий дикий зверь. И как вам удалось усмирить его, остается для нас загадкой.

– Я бы не сказал, что мы его усмирили, – ответил Грифф, – хоть иногда он приходит на плантацию и чуть ли не ест из рук.

– Да, но все-таки вы добились куда большего, чем мы со всеми нашими крейсерами. Ни немцы, ни англичане его в глаза не видели. Вы были первый...

– Нет, не я, – возразил Грифф, – первым был Мак-Тэвиш.

– Ах да, я помню его. Такой маленький, сухощавый шотландец. Его еще называли «Миротворец».

Грифф кивнул.

– Я слышал, что жалованье, которое он получает у вас, больше, чем мое или английского резидента?

– Боюсь, что так. И поверьте – только не обижайтесь, пожалуйста, – он стоит этих денег. Мак-Тэвиш всегда там, где пахнет резней. Он просто маг и волшебник. Без него мне никогда бы не обосноваться на Нью-Гиббоне. Сейчас он на Малаите расчищает плантацию.

– Первую?

– Да. На всей Малаите нет даже фактории. До сих пор вербовщики обтягивают свои лодки колючей проволокой. И вот теперь там разбита плантация. Ну что же, через полчаса мы будем на месте. – Грифф протянул гостю бинокль. – Вон там, слева от бунгало, вы видите навесы для лодок. Сзади – бараки. А справа – навесы для копры. Мы уже высушиваем немало копры. Старый Кохо настолько цивилизовался, что заставляет своих людей собирать для нас кокосовые орехи. А вон и устье реки, в которой вы нашли трех искалеченных женщин.

«Уондер» под всеми парусами шел прямо к месту якорной стоянки. Судно, подгоняемое легким бризом, лениво покачивалось на стеклянной поверхности моря, подернутого легкой рябью. Заканчивался сезон дождей, воздух был тяжелый и насыщенный влагой, по небу неслись бесформенные массы причудливых облаков. Они заволакивали остров серой пеленой, сквозь которую мрачно проступали извилистые очертания берегов и горные вершины. Один мыс обжигали горячие лучи солнца, а другой, в какой-нибудь миле поодаль, заливали потоки дождя.

Нью-Гиббон – сырой, богатый и дикий остров – расположен в пятидесяти милях от Шуазеля. Географически он входит в группу Соломоновых островов, а политически лежит как раз на границе между английской и немецкой сферами влияния и поэтому находится под объединенным контролем резидентов Англии и Германии. Однако контроль этот существовал только на бумаге, в решениях, вынесенных колониальными ведомствами обеих стран. Фактически никакого контроля не было и в помине. Ловцы трепангов и близко не подходили к Нью-Гиббону. Торговцы сандаловым деревом, умудренные горьким опытом, тоже перестали навещать его. Вербовщикам не удалось завербовать здесь ни одного туземца для работы на плантациях, а после того, как на шхуне «Дорсет» был вырезан весь экипаж, они вообще не наезжали сюда.

Позднее одна немецкая компания попыталась разбить на Нью-Гиббоне плантацию кокосовых пальм; но когда несколько управляющих и много рабочих сложили здесь свои головы, плантация была заброшена. Немецким и английским крейсерам так и не удалось заставить чернокожих обитателей Нью-Гиббона внять голосу рассудка. Четырежды миссионеры начинали свое мирное наступление на остров и каждый раз спасались бегством, бросив тех, кто погиб от ножа и болезней.

Снова прибывали крейсера, снова туземцев усмиряли, но усмирить никак не могли. Они прятались в зарослях кустарника и дружно смеялись под вой снарядов. Когда военные корабли уходили, они снова строили свои травяные хижины, сожженные белыми, и снова складывали печи стародавним способом.

Нью-Гиббон – большой остров: миль полтора в длину и семьдесят пять в ширину. Наветренный скалистый берег почти недоступен для судов: ни бухты, ни удобной якорной стоянки. Населяли его десять племен, которые постоянно враждовали между собой, по крайней мере до тех пор, пока не появился Кохо. Силой оружия и хитрой политикой он, подобно Камехахе, объединил большинство племен в эту конфедерацию. Кохо запрещал своим подданным устанавливать какие бы то ни было связи с белыми и был совершенно прав, поскольку европейская цивилизация не сулила для его народа ничего хорошего. После последнего крейсера он был безраздельным хозяином острова, но вот сюда прибыли Дэвид Гриф и Мак-Тэвиш-Миротворец; они высадились на пустынном берегу, где когда-то стояли немецкое бунгало, бараки и дома английских миссионеров.

Война следовала за войной, короткое перемирие – и снова война. Маленький, сухощавый шотландец умел не только устанавливать мир, но и учинить резню. Ему мало было одного побережья; он привез с Малаиты бушменов и прошел по кабаньим тропам в глубину джунглей. Он сжигал деревни до тех пор, пока Кохо не надоело отстраивать их заново, а когда Мак-Тэвиш захватил в плен старшего сына Кохо, вождю ничего не оставалось, как начать переговоры. Во время этих переговоров Мак-Тэвиш установил весьма своеобразный обменный курс на головы: за одного белого он обещал убивать десять соплеменников Кохо. После того как Кохо убедился, что шотландец – человек слова, на острове впервые воцарился прочный мир.

А Мак-Тэвиш тем временем выстроил бунгало и бараки, расчистил по побережью джунгли и разбил плантацию. Потом он отправился на атолл Тасмана, где бушевала чума; знахари утверждали, что зараза исходит от плантации Грифа. Через год его снова призвали на

Нью-Гиббон, чтобы усмирить туземцев, и, уплатив штраф в размере двухсот тысяч кокосовых орехов, старый вождь решил, что гораздо выгоднее поддерживать мир и продавать кокосовые орехи, чем отдавать их даром. К тому времени он утратил воинственный пыл юности, состарился и охромел на одну ногу: пуля из винтовки Ли-Энфилда продырявила ему икру.

2

– Я знал одного малого на Гавайях, – сказал Гриф, – управляющего сахарной плантацией; так вот он обходился в таких случаях молотком и десятипенсовым гвоздем.

Они сидели на широкой веранде бунгало и наблюдали, как Уорс, здешний управляющий, врачует больных. Это были рабочие из Нью-Джорджии, всего человек двенадцать, и последним в очереди стоял парень, которому надо было вырвать зуб. Первая попытка была неудачной. Уорс одной рукой вытирал пот со лба, а в другой держал щипцы и помахивал ими в воздухе.

– И верно, сломал немало челюстей, – мрачно пробурчал Уорс.

Гриф покачал головой. Валленштейн улыбнулся и приподнял брови.

– Во всяком случае, он об этом не рассказывал, – ответил Гриф. – Больше того, он уверял меня, что у него всегда получается с первого раза.

– Я видел, как это проделывают, когда плавал вторым помощником на одном английском судне, – вставил капитан Уорд. – Наш старик пользовался колотушкой, которой конопатят судно, и стальной свайкой. Он тоже выбивал зуб с первого удара.

– По мне лучше щипцы, – пробурчал Уорс, засовывая их в рот чернокожего.

Он начал тащить, но больной взвыл и едва не соскочил со стула.

– Да помогите же кто-нибудь, наконец, – взмолился управляющий, – держите его крепче!

Гриф и Валленштейн схватили беднягу с двух сторон и прижали к спинке стула. Однако тот яростно отбивался и все сильнее стискивал щипцы зубами. Все четверо раскачивались из стороны в сторону. От жары и напряжения пот лил с них градом. Пот лил и с пациента, но не от жары, а от страшной боли. Вот опрокинулся стул, на котором он сидел. Уорс умолял своих помощников приналечь еще немножко, приналег сам и, сдавив щипцы так, что зуб хрустнул, изо всех сил дернул...

Из-за возни никто не заметил, как какой-то туземец небольшого роста, прихрамывая, поднялся по ступенькам веранды, остановился на пороге и стал с интересом смотреть на происходящее.

Кохо был очень консервативен. Его отец, дед и прадед не носили одежды, Кохо тоже предпочитал ходить голым и обходился даже без набедренной повязки. Многочисленные дырки в носу, губах и ушах свидетельствовали о том, что когда-то Кохо обуревала страсть к украшениям. Мочки его ушей были разорваны, и величину бывших отверстий можно было легко определить по длинным полоскам иссохшего мяса, свисающим до самых плеч. Теперь он заботился только об удобствах и одну из шести дырок в правом ухе приспособил под короткую глиняную трубку. На нем был широкий дешевый пояс из искусственной кожи, а за поясом блестело лезвие длинного ножа. На поясе висела бамбуковая коробка с бетелем. В

руке он держал короткоствольную крупнокалиберную винтовку системы Снайдер. Он был невообразимо грязен, весь в шрамах, и самый ужасный шрам оставила на левой ноге пуля винтовки Ли-Энфилда, вырвав у него половину икры. Впалый рот говорил о том, как мало зубов осталось у Кохо. Лицо его сморщилось, тело высохло, и лишь маленькие черные глаза ярко блестели, и в них было столько беспокойства и затаенной тоски, что они были больше похожи на обезьяньи глаза, чем на человеческие.

Он смотрел и усмехался, как маленькая злая обезьянка. Нет ничего удивительного в том, что он испытывал удовольствие при виде страданий пациента, ибо мир, в котором он жил, был миром страданий. Ему не раз причиняли боль, и еще чаще он причинял ее другим. Когда больной зуб был наконец вырван и щипцы, проскрежетав по другим зубам, вытащили его наружу, глаза старого Кохо радостно сверкнули. Он с восторгом смотрел на беднягу, который упал на пол и отчаянно вопил, сжимая руками голову.

– Как бы он не потерял сознание, – сказал Гриф, склоняясь над негром. – Капитан Уорд, дайте ему, пожалуйста, выпить. И вам самому надо выпить, Уорс, вы дрожите, как осиновый лист.

– Пожалуй, и я выпью глоток, – сказал Валленштейн, вытирая со лба пот. Вдруг он увидел на полу тень Кохо, а потом и самого вождя. – Хэлло! Это кто такой?

– Здравствуй, Кохо! – сердечно приветствовал его Гриф, но здороваться за руку не стал.

Когда Кохо родился, колдуны запретили ему прикасаться к белому человеку, и это стало табу.

Уорс и капитан «Уондера» Уорд тоже поздоровались с Кохо, но Уорс нахмурился, когда увидел в руках Кохо снайдер, ибо строго-настрого запретил бушменам приносить на плантацию огнестрельное оружие. Это тоже было табу. Управляющий хлопнул в ладоши, и тотчас же прибежал мальчик-слуга, завербованный в Сан-Кристобале. По знаку Уорса он отобрал у Кохо винтовку и унес ее внутрь бунгало.

– Кохо, – сказал Гриф, представляя немецкого резидента, – это большой хозяин из Бугенвиля, да-да, очень большой хозяин.

Кохо, очевидно, припомнил визиты немецких крейсеров и усмехнулся, а в глазах у него вспыхнул недобрый огонек.

– Не здоровайтесь с ним за руку, Валленштейн, – предупредил Гриф. – Это табу, понимаете? – Потом он сказал Кохо: – Честное слово, ты стал очень уж жирный. Не хочешь ли жениться на новой Марии? А?

– Мой очень старый, – ответил Кохо, устало качая головой. – Мой не любит Мария. Мой не любит кай-кай (пищу). Скоро мой совсем умрет. – Он выразительно посмотрел на Уорса, который допивал стакан, запрокинув голову. – Мой любит ром.

Гриф покачал головой.

– Для черных парней это табу.

– Тот черный парень – это не табу, – возразил Кохо, кивая на рабочего, который все еще стонал.

– Он больной, – объяснил Гриф.

– Мой тоже больной.

– Ты большой врун, – рассмеялся Гриф. – Ром – табу. Всегда – табу. Кохо, у нас будет большой разговор с этим большим хозяином из Бугенвиля.

Гриф, Валленштейн и старый вождь уселись на веранде и заговорили о государственных делах. Старого вождя хвалили за то, что он ведет себя спокойно, а Кохо жаловался на свою дряхлость и немощь и клялся, что теперь между ними будет вечный мир. Потом обсуждался вопрос о создании немецкой плантации в двадцати милях отсюда по побережью. Землю под плантацию, разумеется, нужно было купить у Кохо, заплатив ему табаком, ножами, бусами, трубками, топорами, зубами морской свинки и раковинами, которые заменяют туземцам деньги. Платить можно было чем угодно, но только не ромом. Пока они совещались, Кохо то и дело поглядывал в окно и видел, как Уорс приготавливал какие-то лекарства, а бутылки ставил в аптечный шкаф. Закончив работу, Уорс налил себе стакан шотландского виски. Кохо прекрасно запомнил бутылку. Когда совещание кончилось, он битый час проторчал в комнате, но ему так и не представился подходящий момент: его ни на минуту не оставляли одного. Когда Гриф и Уорс снова заговорили о делах, Кохо понял, что сегодня у него ничего не выйдет.

– Мой пойдет на шхуна, – объявил он и, прихрамывая, вышел из бунгало.

– Как низко пали великие мира сего! – засмеялся Гриф. – Даже не верится, что когда-то этот Кохо был самым страшным и кровожадным дикарем на Соломоновых островах и открыто выступал против двух самых сильных держав в мире. А теперь он идет на шхуну, чтобы выклянчить у Дэнби немного виски.

3

Дэнби ведал приемом и выдачей грузов на шхуне «Уондер». Он сыграл очень злую шутку над туземцем, но шутка эта оказалась последней в его жизни.

Он сидел в кают-компании и проверял список товаров, которые вельботы уже выгрузили на берег. В это время по трапу поднялся Кохо, вошел в кают-компанию и уселся за стол прямо напротив Дэнби.

– Мой скоро совсем умрет, – пожаловался старый вождь. Земные радости больше не волновали его. – Мой не любит никакие Мэри, не любит кай-кай. Мой очень болен. Мой скоро конец. – Кохо сокрушенно умолк. Лицо его выражало крайнюю тревогу. Он осторожно похлопал себя по животу, давая понять, что испытывает острую боль. – Живот совсем плохо. – Он снова замолчал, как бы ожидая, что Дэнби посочувствует ему. Наконец последовал долгий тягостный вздох: – Мой любит ром.

Дэнби безжалостно рассмеялся. Старый вождь не раз пытался выпросить у него хоть немного виски, но Гриф и Мак-Тэвиш наложили строжайшее табу на алкоголь и не разрешали туземцам ни капли спиртного.

Вся беда в том, что Кохо уже отведал возбуждающих напитков. В юности, когда он вырезал экипаж шхуны «Дорсет», ему довелось вкушать всю сладость опьянения; к сожалению, он пил не один, и корабельные запасы скоро иссякли. В следующий раз Кохо оказался предусмотрительней: когда он уничтожил со своими нагими воинами немецкую плантацию, то сразу же забрал все спиртное себе. Получилась великолепная смесь, состоящая из множества возбуждающих компонентов, начиная от хинного пива и кончая абсентом и абрикосовым бренди. Эту смесь он пил много месяцев, выпил всю, но жажда осталась, осталась на всю жизнь. Как и все дикари, он был предрасположен к алкоголю, и его организм

настойчиво требовал выпивки. Когда он выпивал, в горле появлялось восхитительное жжение и по всем жилам разливалось тепло; его обволакивала какая-то блаженная греза, а сердце наполнялось радостью и ликованием. Он был уже стар и немощен, женщины и пиршества больше не доставляли ему удовольствия, остыла былая ненависть к врагам, сжигавшая его сердце, и теперь ему все больше и больше был нужен всемогущий огонь из бутылки, из всевозможных бутылок, – он хорошо их запомнил. Бывало, он часами сидел на солнце, грустно вспоминая ту великую оргию, которую он устроил после уничтожения немецкой плантации.

Дэнби посочувствовал старому вождю, расспросил о симптомах его болезни, а потом предложил слабительное, какие-то пилюли, капсулы и прочие совершенно безвредные лекарства из аптечного шкафа. Однако Кохо решительно отказался от них. Вырезав экипаж шхуны «Дорсет», он по неосторожности разжевал капсулу с хиной, а двое его воинов проглотили какой-то белый порошок и вскоре умерли в страшных мучениях. Нет, Кохо не доверял лекарствам. Зато он любил жидкости в бутылках: их пламенно-холодная струя возвращала молодость, согревала душу и навевала сладкие мечты. Не удивительно, что белые ценили эти напитки и не хотели продавать их.

– Ром очень хорошо, – повторял он монотонно, жалобно и по-старчески терпеливо.

Вот тогда-то Дэнби и совершил роковую ошибку, зло подшутив над Кохо. Он подошел к аптечке, которая была у Кохо за спиной, отпер ее и достал четырехунциевую бутылку с этикеткой «горчичная эссенция». Он сделал вид, что вынул пробку и хлебнул из бутылки. В зеркале, висящем на переборке, он видел Кохо, который сидел вполоборота и явно наблюдал за ним. Дэнби причмокнул губами и, выразительно крикнув, поставил бутылку на место. Он не стал запирать аптечку и вернулся на свое место; посидев немного, он встал, вышел на палубу, остановился возле трапа и прислушался. Через несколько секунд тишину розорвал хриплый надрывный кашель. Дэнби усмехнулся и вернулся в каюту. Бутылка стояла на прежнем месте, а старый вождь сидел в прежней позе. Дэнби поразился его железному самообладанию. Его рот, язык и горло жгло, конечно, огнем, он задышался и едва подавлял кашель, а из глаз невольно текли слезы и крупными каплями катились по щекам. Любой другой на его месте давился бы от кашля целых полчаса.

Но лицо старого Кохо было мрачно и непроницаемо. Он понял, что над ним сыграли злую шутку, и глаза его вспыхнули такой неистовой ненавистью и злобой, что у Дэнби мороз пробежал по коже. Кохо поднялся и гордо сказал:

– Мой пойдет домой. Пусть мой дадут лодку.

4

Когда Гриф и Уорс отправились на плантацию, Валленштейн расположился в гостиной, чтобы почистить свой автоматический пистолет. Разобрав его, он смазывал части ружейным маслом и протирал их старыми тряпками. На столе возле него стояла неизменная бутылка шотландского виски и множество бутылок с содовой водой. Случайно здесь оказалась еще одна бутылка, неполная, тоже с этикеткой шотландского виски, однако в ней была налита жидкая мазь для лошадей; ее приготовил Уорс и забыл убрать.

Валленштейн посмотрел в окно и увидел идущего по дорожке Кохо. Старик шел очень быстро, но когда он приблизился к веранде и вошел в комнату, походка его была медленной и величественной. Он уселся и стал наблюдать за чисткой оружия. Хотя его рот, губы и язык были сожжены, он и виду не подал, что ему больно. Минут через пять он сказал:

– Ром хорошо. Мой любит ром.

Валленштейн ухмыльнулся и покачал головой, а потом словно бес надоумил его сыграть над туземцем весьма злую шутку, которая, к сожалению, тоже оказалась последней в его жизни. На эту мысль, собственно, его натолкнуло сходство между бутылками с этикеткой шотландского виски. Валленштейн положил на стол части пистолета и налил себе солидную порцию виски с содовой. Он стоял как раз между Кохо и столом и незаметно поменял бутылки местами; потом он осушил свой стакан и, сделав вид, что ищет что-то, вышел из комнаты. Вскоре он услышал, что старик отчаянно кашляет и плюется; Валленштейн вернулся в комнату, но Кохо сидел на прежнем месте как ни в чем не бывало. Правда, жидкости в бутылке поубавилось, и поверхность ее еще слегка колебалась.

Кохо встал и хлопнул в ладоши. Появился мальчик-слуга, Кохо знаком потребовал свою винтовку. Тот принес винтовку и, как было принято на плантации, пошел по дорожке впереди Кохо. Он передал старику-вождю оружие лишь после того, как они вышли за ворота. Валленштейн, посмеиваясь, смотрел вслед Кохо, который ковылял по берегу к реке.

Едва Валленштейн успел собрать пистолет, как услышал отдаленный выстрел. Он почему-то тотчас подумал о Кохо, но потом отогнал эту мысль. Ведь Уорс и Гриф взяли с собой дробовики, и кто-нибудь из них, наверно, бил диких голубей. Валленштейн удобно развалился в кресле, закрутил, ухмыляясь, свои желтые усы и задремал. Его разбудил взволнованный крик Уорса:

– Звоните в большой колокол! Звоните что есть силы! Звоните всюю!

Валленштейн выбежал на веранду как раз в тот момент, когда управляющий верхом на лошади перемахнул через низкую ограду и поскакал вдоль берега за Грифом, который мчался, как сумасшедший, далеко впереди. Громкий треск огня и клубы дыма, пробивающиеся сквозь чащу кокосовых деревьев, объяснили все. Кохо поджег бараки и навесы для лодок. Когда немецкий резидент побежал по берегу, он услышал бешеный звон большого колокола и видел, как от шхуны быстро отваливают вельботы.

Бараки и навесы для лодок, покрытые сухой травой, были охвачены ярким пламенем. Из кухни появился Гриф: он волочил за ногу голый труп чернокожего мальчика. Труп был без головы.

– Там кухарка! – сказал Гриф. – Тоже без головы. Но она слишком тяжелая. А мне надо было скорее сматываться.

– Во всем виноват я, я один, – грустно повторял Валленштейн. – Это дело рук Кохо. Я дал ему выпить лошадиной мази.

– Он, наверное, скрылся в кустах, – сказал Уорс, вскакивая на лошадь. – Оливер сейчас на берегу реки. Надеюсь, он не попадет в лапы Кохо.

Управляющий пустил лошадь галопом и исчез за деревьями. Через несколько минут, когда пылающие, как костер, бараки рухнули, они услышали, что Уорс зовет их. Они нашли его на берегу. Уорс, очень бледный, все еще сидел на лошади и пристально смотрел на что-то лежащее на земле. Это был труп Оливера, молодого помощника управляющего; его с трудом опознали, ибо головы у него не было. Вокруг, еле переводя дух, сгрудились сбежавшие со всей плантации чернокожие рабочие; Гриф велел им соорудить носилки для покойника.

Валленштейн горевал и каялся, как истый немец. Слезы катились у него из глаз, а когда он перестал плакать, то разразился проклятиями. Его ярость не имела границ; он схватил дробовик Уорса, и на губах у него выступила пена.

– Перестаньте, Валленштейн! – твердо сказал Гриф. – Успокойтесь! Не валяйте дурака!

– Неужели вы дадите ему удрать? – взревел немец.

– Он уже удрал. Заросли начинаются сразу же за рекой. Вы же видите, где он перебрался через реку. Он уходит от нас по кабаньим тропам. Преследовать его – все равно что искать иголку в стоге сена, и мы наверняка нарвемся на его молодчиков. Кроме того, в джунглях легко попасть в западню; знаете ли, всякие там волчьи ямы, отравленные колючки и прочие сюрпризы дикарей. Один Мак-Тэвиш со своими бушменами рискует заходить в джунгли, да и то в прошлый раз погибло трое из его отряда. Идемте домой. Вечером мы услышим и треск раковин, и бой военных барабанов, и всю эту адскую музыку. На нас напасть они не рискнут, но все же, мистер Уорс, пусть люди ни на шаг не отходят от дома. Пошли.

Когда они возвращались по тропинке домой, навстречу им попался один из рабочих, который громко хныкал.

– Заткнись! – рявкнул на него Уорс. – Какого черта ты орешь?

– Кохо кончил два корова, – ответил рабочий, выразительно проводя указательным пальцем по шее.

– Он зарезал коров, – сказал Гриф своим спутникам. – Значит, Уорс, вам пока что придется обходиться без молока. А через несколько дней я пришлю вам пару коров с Уги.

Валленштейн не мог успокоиться до тех пор, пока Дэнби, сойдя на берег, не признался, что напоил старого вождя горчичной эссенцией. Услышав это, немецкий резидент даже повеселел, хотя он еще яростнее крутил усы и проклинал Соломоновы острова на четырех языках.

На следующее утро с топамачты «Уондер» можно было наблюдать, как над лесными зарослями вьются сигнальные дымы. Черные клубящиеся столбы поднимались ввысь и передавали от мыса к мысу и дальше, в самую чащу джунглей, тревожную весть. В этих переговорах принимали участие далекие селения, расположенные в глубине острова, на вершинах гор, куда не заходили даже отряды Мак-Тэвиша. Из-за реки непрерывно доносился сумасшедший треск раковин, и на десятки миль вокруг воздух содрогался от глухого рокота огромных военных барабанов, которые туземцы выжигают и выдалбливают из толстых стволов орудиями из камня и морских раковин.

– Пока вы здесь, вам ничего не грозит, – сказал Гриф своему управляющему. – Мне надо съездить в Гувуту. Они не решатся выйти из джунглей и напасть на открытом месте. Держите рабочие команды поближе к дому. Прекратите расчистку леса, пока не кончится вся эта заваруха. Они перебьют всех рабочих, которых вы пошлете в лес. И что бы ни случилось, не вздумайте преследовать Кохо в джунглях. Ясно? Иначе попадете к нему в лапы. Ждите Мак-Тэвиша. Я пришлю его с отрядом малаитских бушменов. Только Мак-Тэвиш сможет проникнуть в джунгли. До моего возвращения с вами останется Дэнби. Вы не возражаете, мистер Дэнби? Я пришлю Мак-Тэвиша на «Ванде»; на ней вы и вернетесь и скоро снова будете на «Уондере». В этот рейс капитан Уорд как-нибудь управится без вас.

– Я как раз хотел просить вас об этом, – сказал Дэнби. – Я никак не думал, что из-за моей шутки заварится такая каша. И как тут не крути, во всем виноват я.

– И я тоже, – вставил Валленштейн.

– Но начал я, – настаивал Дэнби.

– Может быть, вы и начали, но я продолжил.

– А Кохо закончил, – сказал Гриф.



– Во всяком случае, я тоже останусь здесь, – решил немец.

– Я думал, вы поедете со мной в Гувуту, – возразил Гриф.

– И я так думал, но долг велит мне остаться здесь, а потом ведь как-никак я сам сваял дурака. Я останусь и помогу вам навести здесь порядок.

5

Из Гувуту на Малаиту уходил вербовочный кеч, и Гриф немедленно послал Мак-Тэвишу самые подробные инструкции. Капитан Уорд отправился с «Уондером» на острова Санта-Крус, а Гриф, получив у английского резидента вельбот и команду чернокожих заключенных, пересек пролив и высадился в Гвадалканаре, чтобы осмотреть пастбища за Пендуфрином.

Через три недели, со свежим ветром и под всеми парусами, Гриф лихо прошел меж коралловых рифов и всколыхнул неподвижную поверхность бухты Гувуту. Бухта была пуста, и лишь у самого берега стоял небольшой кеч. Гриф узнал «Ванду». Она, очевидно, пришла сюда проливом Тулаги и только что стала на якорь; чернокожий экипаж еще убирал паруса. Гриф подошел к «Ванде», и сам Мак-Тэвиш подал ему руку, помогая перебраться на кеч.

– В чем дело? – спросил Гриф. – Вы еще не уехали?

Мак-Тэвиш кивнул головой.

– Уехали. И уже приехали. На судне все в порядке.

– А на Нью-Гиббоне?

– Все на месте, если не считать некоторых мелких деталей ландшафта, которые вдруг куда-то исчезли.

Такой же маленький, как Кохо, и такой же сухощавый, с лицом цвета красного дерева, Мак-Тэвиш смотрел на Грифа маленькими бесстрастными глазами, которые были больше похожи на высверленные отверстия, чем на человеческие глаза. Это был не человек, а холодное пламя. Болезни, зной и стужа были ему нипочем, он не знал, что такое восторг или отчаяние, не ведал страха, не испытывал никаких чувств; жестокий и резкий, он был беспощаден, как змея. И теперь, глядя на кислую физиономию Мак-Тэвиша, Гриф сразу понял, что тот привез дурные вести.

– Выкладывайте все! – сказал Гриф. – Что там случилось?

– То, что случилось, достойно самого сурового осуждения, – ответил Мак-Тэвиш. – Надо совсем потерять совесть, чтобы так шутить над язычниками-неграми. А кроме того, это обходится слишком дорого. Пойдемте вниз, мистер Гриф. О таких вещах лучше говорить за стаканом виски. Прошу вас.

– Ну, как вы там все уладили? – спросил Гриф, едва они вошли в каюту.

Маленький шотландец покачал головой.

– А там нечего было улаживать. Ведь все зависит от точки зрения. И с моей точки зрения, там было все устроено, понимаете, абсолютно все, еще до моего приезда.

– Но плантация? Что с плантацией?

– Нет никакой плантации. Весь наш многолетний труд пропал даром. Мы вернулись к тому, с чего начали, с чего начинали и миссионеры и немцы и с чем они ушли отсюда. От переселения не осталось камня на камне. Дома превратились в пепел. Деревья срублены все до единого, а кабаны перерыли ямс и сладкий картофель. А ребята из Нью-Джорджии!.. Сто дюжих парней! Ведь какие были работяги... И обошлись вам в кругленькую сумму... Все погибли... и некому даже рассказать о том, что произошло.

Он замолчал и полез в большой рундук под трапом.

– А Уорс? А Дэнби? Валленштейн? Что с ними?

– Я же сказал вам. Вот, посмотрите!

Мак-Тэвиш вытащил мешок и вытряхнул его содержимое на пол. Содрогнувшись, Дэвид Грифф с ужасом смотрел на головы тех троих, кого он оставил на Нью-Гиббоне. Желтые усы Валленштейна уже не закручивались лихо вверх, а свисали на верхнюю губу.

– Я не знаю, как это произошло, – мрачно сказал шотландец. – Но предполагаю, что они полезли за старым чертом в джунгли.

– А где Кохо? – спросил Грифф.

– Опять в джунглях и пьян, как лорд. Потому-то мне и удалось добыть эти головы. Он так накачался, что не держался на ногах. Когда я нагрянул в деревню, его едва успели унести. Я буду вам очень обязан, если вы избавите меня от этого. – Мак-Тэвиш замолчал и, вздохнув, кивнул на головы. – Вероятно, их надо похоронить, как полагается, зарыть в землю. Но, насколько я понимаю, это очень любопытные экземпляры. Любой музей заплатит вам по сотне фунтов за каждую голову. Выпейте еще. Вы немного бледны... А теперь, если говорить серьезно, позвольте дать вам один совет: не допускайте никаких проделок и шуток над дикарями. Это – дорогое удовольствие и, кроме беды, ни к чему не приведет.

\* \* \*

## ЯЗЫЧНИК

Впервые мы встретились, когда бушевал ураган, и хотя мы пробивались сквозь шторм на одном судне, я обратил внимание на него только после того, как шхуна разлетелась в щепки. Я, несомненно, видел его и раньше, среди других членов нашей команды, сплошь состоящей из канаков, но за все время я ни разу не вспомнил о его существовании, потому что на «Крошке Жанне» было очень много народу. Кроме восьми или десяти матросов-канаков, белого капитана, его помощника, кладовщика и шестерых каютных пассажиров, шхуна взяла в Ранжире что-то около восьмидесяти пяти палубных пассажиров с Паумоту и Таити: мужчин, женщин и детей. У каждого из них были корзины, не говоря уже о матрасах, одеялах и узлах с одеждой.

Сезон добычи жемчуга на Паумоту закончился, и ловцы возвращались на Таити. Шестеро скупщиков жемчуга разместились в каютах: два американца, китаец А-Чун (ни разу в жизни не видел такого белокожего китайца), один немец, один польский еврей и я.

Сезон был удачный. Ни один из нас и ни один из восьмидесяти пяти палубных пассажиров не имел оснований жаловаться на судьбу. Все хорошо поработали и мечтали отдохнуть и

развлечься в Папезте.

«Крошку Жанну», конечно, перегрузили. Водоизмещением она была всего в семьдесят тонн; нельзя было брать на борт и десятую часть того сброда, который запрудил палубу. Трюмы были до отказа загружены жемчужными раковинами и копррой. Даже кладовку забили перламутром. Каким-то чудом матросы умудрялись еще управлять шхуной. Пройти по палубе было невозможно, и они передвигались по поручням.

Ночью матросы ходили по людям, которые, честное слово, спали буквально друг на друге. А кроме того, полно было поросят, кур, мешков с бататом, и везде, где только можно, красовались связки кокосовых орехов для утоления жажды и гроздь бананов. По обе стороны между вантами грот-мачты и фок-мачты низко, чтобы не соприкасались со штагами утлегаря, были натянуты леера. А на каждом таком леере висело не меньше полусотни связок бананов.

Рейс предстоял беспокойный, даже если пройти путь дня за два-три, что было возможно только при сильном юго-восточном пассате. Но ветра не было. Через пять часов пути после нескольких слабых порывов ветер стих совсем. Штиль продолжался всю ночь и весь следующий день – один из тех ослепительных зеркальных штилей, когда от одной мысли о том, чтобы открыть глаза и посмотреть на воду, начинает болеть голова.

На следующий день умер человек, уроженец острова Пасхи, – в том сезоне он был одним из лучших ловцов жемчуга в лагуне. Оспа – вот причина его смерти, хотя я не могу себе представить, как ее занесли на судно; когда мы выходили из Ранжира, на берегу не было зарегистрировано ни единого случая заболевания оспой. И все-таки факт оставался фактом: оспа, умерший человек и трое больных.

Ничего нельзя было сделать. Мы не могли изолировать больных и не могли ухаживать за ними. На судне нас было, что сельдей в бочке. Ничего нельзя было сделать – только заживо гнить да умирать, вернее, ничего нельзя было сделать после той ночи, когда умер человек. В ту же ночь помощник капитана, кладовщик, польский еврей и четверо ловцов-туземцев удрали на вельботе. Больше мы их не видели. Утром капитан приказал продырявить оставшиеся шлюпки, и теперь мы уже никуда не могли деться.

В тот день умерли двое, на следующий день – трое, потом количество смертных случаев подскочило до восьми. Любопытно было наблюдать, как мы это воспринимали. Туземцев, например, охватил тупой, беспросветный страх. Капитан-француз стал раздражительным и болтал без умолку. Звали этого капитана Удуз. От волнения его даже подергивало. Высокий, грузный мужчина, весом фунтов двести, не меньше, – жирная туша, дрожащая как желе.

Немец, два американца и я скупили все виски и непрерывно пили. Рассчитали мы все отлично, а именно: бациллы, проникающие в организм, моментально погибают. И этот рецепт оказался действенным, хотя, должен признаться, и капитана Удуза и А-Чуна болезнь миновала тоже. Француз совсем не пил, а А-Чун ограничивался стаканом в день.

Да, славное было времечки! Солнце стояло в зените. Ветра совсем не было, лишь изредка налетали шквалы, они свирепствовали от пяти до тридцати минут и мчались прочь, окатив нас ливнем. После шквала снова нещадно палило солнце, и с отсыревших палуб поднимались клубы пара.

Пар этот был не простой. Это был смертоносный туман, насыщенный мириадами бацилл. Видя, как с больных людей и с трупов поднимается этот пар, мы пропускали еще по стаканчику, потом еще и еще, почти не разбавляя. Кроме того, мы взяли за правило выпивать несколько добавочных рюмок каждый раз, когда скидывали мертвецов за борт кишасим вокруг судна акулам.

Прошла неделя, запасы виски кончились. И это хорошо, иначе меня не было бы сейчас в живых. Чтобы пережить все, что произошло потом, нужно было быть вполне трезвым, надеюсь, вы со мной согласитесь, если я упомяну об одной небольшой детали – в конце концов в живых осталось только двое. Вторым был язычник, во всяком случае я слышал, что именно так называл его капитан Удуз в тот момент, когда я впервые узнал о существовании этого человека. Не будем, однако, забегать вперед.

Это было на исходе недели. Виски вышло, скупщики жемчуга протрезвели, и я впервые случайно взглянул на барометр, висевший в кают-компании. Для Паумоту норма – 29.90, и мы привыкли видеть, как стрелка колеблется между 29.85 и 30.00 или даже 30.05, но то, что увидел я – 29.62! – могло привести в чувство самого пьяного скупщика жемчуга из тех, кто когда-либо пытался уничтожить микробов оспы шотландским виски.

Я сказал об этом капитану Удузу, и он ответил, что уже несколько часов наблюдает, как падает барометр. Не много можно было сделать при данных обстоятельствах, но это небольшое он выполнил превосходно. Он остановил только штормовые паруса, натянул штормовые леера и ждал ветра. Ошибся он уже после того, как налетел ветер. Он лег в дрейф, и это правильно, когда находишься к югу от экватора, если – вот тут-то он и сплеховал, – если судно не стоит на пути урагана.

А мы стояли на пути урагана. Я видел это по тому, как непрерывно усиливался ветер и падал барометр. Я считал, что шхуну надо было повернуть и идти левым галсом, пока не перестанет падать барометр, и уже после этого лечь в дрейф. Я спорил с капитаном, чуть не довел его до истерики, но он стоял на своем. Хуже всего то, что мне не удалось уговорить остальных скупщиков жемчуга поддержать меня. В конце концов кто я такой, чтобы знать море и его особенности лучше многоопытного капитана? Так они, вероятно, думали.

Ветер катил страшные валы, и я никогда не забуду трех первых волн, обрушившихся на «Крошку Жанну». Она накренилась, что иногда бывает, когда суда ложатся в дрейф, и первая волна перекатилась через палубу. Штормовые леера – это для сильных и здоровых, но даже им они не особенно помогают, когда женщины, дети, груды бананов и кокосовых орехов, поросята, дорожные корзины, умирающие, больные – все это катится по палубе сплошной визжащей, воющей массой.

Вторая волна смела с палубы «Крошки Жанны» поручни, и так как корма шхуны погрузилась в воду, а нос взметнулся к небу, все это страшное месиво людей и груза поползло вниз. Это был поток человеческих тел. Людей несло, кого головой вперед, кого вперед ногами, кого боком, кувырком; они корчились, сгибались, извивались и распластывались. Время от времени кому-нибудь удавалось ухватиться за мачту или леер, но под напором движущихся тел он разжимал руки.

Кто-то врезался головой в битенг по правому борту. Череп его раскололся, как яйцо. Я понял, что нас ждет, и вскарабкался на рубку, затем на грот-мачту. А-Чун и один из американцев попытались влезть следом за мной, но я опередил их на целый прыжок. Американца тут же смыло волной за борт, как соломинку. А-Чун ухватился за штурвал и повис на нем. Но огромная женщина из племени раратонга, весом, наверно, фунтов в двести пятьдесят, упала на него и ухватилась рукой за его шею. Свободной рукой он схватил канака-рулевого, но в это мгновение шхуна накренилась на правый борт.

Лавина воды и человеческих тел, которая неслась вдоль левого борта между каютой и поручнями, ринулась к правому борту. Всех смело: ту женщину, А-Чуна и рулевого, – и, честное слово, я видел, как, разжав руки и падая вниз, А-Чун усмехнулся мне с философским смирением.

Третья, самая большая волна причинила не меньше разрушений. Когда она обрушилась на

судно, почти все взобрались на такелаж. Внизу остался десяток оглушенных, захлебывающихся, полуживых несчастных, они старались уползти куда-нибудь в безопасное место, но их швыряло взад и вперед по палубе. Их смыло волной вместе с обломками двух шлюпок. Скупщики жемчуга и я умудрились между двумя волнами затолкать в кают-компанию человек пятнадцать женщин и детей и запереть их там. Увы, это не спасло несчастных.

А ветер? Я никогда бы не поверил, что может быть такой ветер. Описать его нельзя. Разве можно описать кошмар? С таким же успехом можно описывать тот ветер. Он срывал с нас одежду. Я сказал «срывал», и я не оговорился. Я вовсе не прошу, чтобы вы мне верили. Я просто рассказываю о том, что сам видел и пережил. Порой мне не верится, что все это было. Невозможно испытать на себе этот ветер и остаться в живых. Я выжил, вот и все. Это было что-то чудовищное, и ужас заключался в том, что ветер все время усиливался.

Представьте себе неисчислимы миллионы и миллиарды тонн песка. Представьте, что песок мчится со скоростью девяносто, сто, сто двадцать миль в час, даже быстрее. Представьте себе, далее, что песок невидим, неосязаем, хотя полностью сохраняет вес и плотность песка. Вообразите все это – и вы получите отдаленное представление о том ветре.

Быть может, песок – неудачное сравнение. Считайте, что это шлам, невидимый, неосязаемый, но тяжелый, как шлам. Нет, даже не то! Считайте, что каждая молекула воздуха сама является кучей шлама. Затем попытайтесь вообразить великое множество таких молекул, слитых воедино. Нет, у меня не хватает слов. Язык человека может передать обычные явления жизни, но он не дает возможности передать сверхъестественное стихийное бедствие, как тот ветер. Лучше бы мне не браться за это описание, как я решил вначале.

Я только одно скажу: этот ветер сбил волны. Более того, казалось, смерч всосал в себя весь океан и заметался в том пространстве, где прежде был воздух.

Конечно, от парусов на шхуне остались одни клочья. Но капитан Удуз имел на «Крошке Жанне» приспособление, каких я никогда не видел на здешних шхунах, – плавучий якорь. Это был конический брезентовый мешок с массивным железным обручем, вставленным в верхний край. Плавучий якорь пускают, подобно змею, он врезается в воду так же, как змей взмывает в поднебесье, с той только разницей, что плавучий якорь останавливается у самой поверхности воды. Со шхуной якорь связывал длинный канат. Поэтому «Крошка Жанна», гонимая ветром, встречала волны носом.

Все могло бы кончиться благополучно, не окажись мы на пути урагана. Правда, ветер сорвал наши паруса, сломал верхушки мачт, перепутал снасти бегучего такелажа, и все-таки мы вышли бы из беды, если бы на нас не надвинулся самый центр урагана. Это нас и погубило. Бесконечные порывы ветра оглушили, пришибли, парализовали меня, я был готов прекратить борьбу, но тут мы оказались в центре циклона. На нас обрушился новый страшный удар – полное затишье. Воздух стал абсолютно неподвижен. Это было невыносимо.

Не забывайте, что несколько часов подряд мы испытывали страшный напор ветра. А потом внезапно давление исчезло. У меня было такое чувство, что тело мое лопнет, разорвется на куски. Казалось, будто я вот-вот взорвусь. Но это длилось всего одно мгновение. Надвигалась катастрофа. Давление упало совсем, стих ветер – и тут поднялись волны. Они прыгали, они вздымались, они взмывали к самым тучам. Не забывайте, что отовсюду ветер дул к центру спокойствия. Поэтому сюда же со всех сторон катились волны. И не было ветра, который мог бы сбить их. Волны подсакивали, как пробки, пущенные со дна ведра с водой. В их движении отсутствовала система или последовательность. Это были безумные, сумасшедшие волны высотой не меньше восьмидесяти футов. Это были вовсе не волны. Ни один смертный не видел ничего подобного.

Это были всплески, чудовищные всплески – и все! Всплески высотой в восемьдесят футов.

Восемьдесят! Даже больше восьмидесяти! Волны выше наших мачт. Волны-смерчи, волны-взрывы. Они были пьяны. Они падали везде, как попало. Они сталкивались, отталкивались друг от друга. Они схлестывались и разлетались в стороны тысячами водопадов. Редко кому удавалось заглянуть в «глаз бури» – побывать в центре урагана. Полнейший хаос. Анархия. Преисподняя обезумевшей стихии.

Что случилось с «Крошкой Жанной»? Не знаю. Язычник говорил мне потом, что он тоже ничего о ней не знает. Она в буквальном смысле раскололась пополам, разлетелась на куски, рассыпалась в щепки, превратилась в труху, перестала существовать. Я пришел в себя, когда был уже в воде и плыл, машинально работая руками, хотя уже начинал тонуть. Как я там очутился, не помню. Я видел только, как «Крошка Жанна» разлетается на куски, вероятно, это произошло в то мгновение, когда я терял сознание. Как бы там ни было, я был в воде, и единственное, что оставалось, – не падать духом, хотя духу-то у меня не хватало. Снова поднялся ветер, волны стали меньше, двигались они как обычно, и я понял, что миновал центр циклона. К счастью, вокруг не было акул. Ураган разогнал жадную стаю, которая окружала судно с мертвецами и пожирала трупы.

«Крошка Жанна» рассыпалась на куски около полудня, а часа через два я наткнулся на крышку от люка. Все время лил ливень, и я заметил эту крышку совершенно случайно. К кольцу была привязана небольшая веревка; я понял, что продержусь по крайней мере день, если не появятся акулы. Часа три спустя, может быть, немного больше, когда я, крепко ухватившись за крышку и зажмурив глаза, по мере сил старался равномерно и глубоко дышать и в то же время не наглотаться воды, мне показалось, что слышу чьи-то голоса. Дождь прекратился, и ветер и море успокоились. Футов в двадцати от меня, прицепившись к крышке люка, плыли капитан Удуз и язычник. Они дрались из-за этой крышки, по крайней мере дрался Удуз.

Я услышал визг Удуза: «Païen poig!»[11] – и увидел, как он стукнул канака ногой.

Надо сказать, что капитан Удуз потерял всю свою одежду, кроме тяжелых, грубых башмаков. Удар был жестокий – он пришелся язычнику в лицо и почти оглушил его. Я думал, что канак тоже стукнет его как следует, но он ограничился тем, что для безопасности отплыл футов на десять. Каждый раз, когда волны прибывали его к французу, тот, держась руками за крышку, лягал его обеими ногами и ругал канака черным язычком.

– Я вот пушу тебя на дно, белая скотина! – заорал я.

Только сильная усталость помешала мне это сделать. Мне сделалось не по себе от одной мысли о том, что надо к нему плыть. Так что я позвал канака и предложил ему держаться за мою крышку. Он сказал мне, что его зовут Отоо и что он уроженец острова Бора-Бора, самого западного из Островов Товарищества. Как я узнал впоследствии, он первым обнаружил крышку и, увидев через некоторое время капитана Удуза, предложил ему спастись вместе, а за эти старания капитан ногами оттолкнул его прочь.

Так мы встретились с Отоо. Нет, он не задира. Он был кроток, нежен и добр, хотя рост его достигал шести футов, и сложен он был, как гладиатор. Он не был ни задирой, ни трусом. В груди его билось львиное сердце, и впоследствии я не раз видел, как он шел на риск там, где я непременно бы отступил. Я хочу сказать, хотя Отоо и не был задирой и никогда не ввязывался в ссоры, он никогда не отступал перед опасностью. Но берегись, когда Отоо начинал действовать! Никогда не забуду, как он разделал Билли Кинга. Это случилось в Германском Самоа. Билл Кинг был прославленным чемпионом-тяжеловесом американского флота. Это был человек-зверь, этакая горилла, один из тех грубо сколоченных, крепко сбитых парней, которые отлично владеют кулаками. Он начал ссору и дважды стукнул Отоо ногой, потом ударил его еще раз, прежде чем до Отоо дошло, что необходимо драться. По-моему, не прошло и четырех минут, как Билли Кинг превратился в несчастного обладателя четырех

сломанных ребер, перебитого предплечья и вывихнутой лопатки. Отоо ничего не смыслил в искусстве бокса. Он бил, как умел, и Билли Кинг пролежал что-то около трех месяцев, оправляясь от побоев, полученных в один прекрасный день на берегу Апии.

Не буду, однако, забегать вперед. И так, мы оба держались за ту крышку. Каждый из нас по очереди забирался на нее и, лежа ничком, отдыхал, а другой, погрузившись в воду до самого подбородка лишь придерживался за нее руками. Два дня и две ночи, то лежа на крышке, то погружаясь в воду, мы носились по океану. Под конец я почти все время был в бессознательном состоянии, но иногда слышал, как Отоо что-то бормочет на своем родном языке. Мы находились в воде, поэтому не умерли от жажды, хотя соленая морская вода разъедала опаленное солнцем тело.

Кончилось тем, что Отоо спас мне жизнь, потому что я пришел в себя на берегу футах в двадцати от воды, защищенной от солнца листьями кокосовой пальмы. Это Отоо приволок меня туда и воткнул в песок листья. Сам он лежал рядом. Я снова потерял сознание, а когда очнулся, стояла прохладная звездная ночь, и Отоо поил меня соком кокосового ореха.

Кроме нас двоих, с «Крошки Жанны» не спасся никто. Капитан Удуз, вероятно погиб от истощения, потому что ту крышку выбросило на берег через несколько дней. Мы с Отоо прожили на атолле целую неделю, потом нас подобрал французский крейсер и доставил на Таити. Однако за это время мы совершили церемонию обмена именами. На островах Южных морей этот обычай связывает людей узами, которые крепче уз братства. Инициатива принадлежала мне, и Отоо пришел в неописуемый восторг от этого предложения.

– Это хорошо, – сказал он по-таитянски, – потому что два дня мы вместе смотрели в глаза смерти.

– Но смерть поперхнулась, – сказал я, улыбаясь.

– Вы были храбры, господин, – ответил он, – и у смерти не хватило наглости заговорить.

– Почему ты называешь меня «господином»? – возразил я, притворяясь обиженным. – Мы же поменялись именами. Для тебя я Отоо. Ты для меня – Чарли. И между нами на веки веков ты Чарли, а я Отоо. Таков обычай. И после нашей смерти, если мы встретимся в потустороннем мире, ты все так же будешь для меня Чарли, а я для тебя Отоо.

– Да, господин, – ответил он, и глаза его засияли тихой радостью.

– Ты опять! – закричал я в негодовании.

– Разве я могу отвечать за то, что произносят мои губы? – сказал он. – Это ведь только губы. Но про себя я всегда буду говорить: «Отоо». Когда я буду думать о себе, я подумаю о тебе. Когда меня позовут по имени, я буду думать о тебе. И над небесами, и за звездами, отныне и навеки. Ты будешь для меня Отоо. Это хорошо, господин?

Я сдержал улыбку и ответил, что хорошо.

В Папезте мы расстались. Я остался на берегу, чтобы немного окрепнуть, а он катером отправился на свой остров Бора-Бора. Через шесть недель он вернулся. Я удивился, потому что, уезжая, он сообщил, что решил вернуться домой, к жене и забыть о дальних путешествиях.

– Куда ты поедешь, господин? – спросил он, едва мы успели поздороваться.

Я пожал плечами. Это был трудный вопрос.

– Буду скитаться по всему свету, – ответил я, – по всем морям и по всем островам, которые

лежат в этих морях.

– Я поеду с тобой, – сказал он просто. – Моя жена умерла.

У меня никогда не было брата, но если судить по другим людям, то вряд ли хоть один человек на земле имел брата, который бы значил для него так же много, как Отоо для меня. Он был мне и братом, и отцом, и матерью. Я твердо убежден, что стал лучше и честнее благодаря Отоо. Мне безразлично, что обо мне думают окружающие, но я должен был оставаться честным в глазах Отоо. Он был рядом, и я не смел запятнать себя. Я был его идеалом, конечно, это объясняется его любовью и обожанием, но подчас я мог бы наделать кучу глупостей, если бы меня не останавливала мысль об Отоо. Он гордился мной, и я уж и сам начинал видеть в себе что-то хорошее, и у меня выработалась привычка не делать ничего, что могло бы подорвать эту его гордость.

Я, конечно, не сразу понял, как он ко мне относится. Он никогда меня ни в чем не упрекал, никогда не порицал, и я не сразу узнал, как высоко я стою в его глазах.

Так же медленно до меня доходило, что он тяжело переживает, когда я стараюсь казаться хуже, чем я есть на самом деле.

Мы не расставались семнадцать лет, и все эти годы он всегда был рядом со мной: сторожил мой сон, ухаживал за мной, когда я был ранен, бросался за меня в драку и получал раны. Он служил на суднах вместе со мной, и мы с ним избороздили весь Тихий океан – от Гавайских островов до мыса Сиднея и от пролива Торрес до Галапагоса. Мы вербовали чернокожих на всем протяжении от Новых Гебрид и островов Лайн до Луизианы, Новой Британии, Новой Ирландии и Нового Ганновера. Мы трижды пережили кораблекрушение: возле островов Гилберта, Санта-Крус и Фиджи. Мы покупали и перепродавали все, на чем можно было заработать доллар, – будь то жемчуг, раковины, копра, трепанги, черепахи, черепаховые панцири и всякая всячина с разбитых судов.

Я обо всем догадался в Папеете, сразу после того, как он объявил, что пойдет за мной хоть на край света. В ту пору в Папеете был своего рода клуб, где собирались скупщики жемчуга, торговцы, капитаны и разные авантюристы, каких немало в тех краях. Игра шла по крупной, пили тоже немало, и, к сожалению, я засиживался позднее, чем следовало бы. И когда бы я ни вышел из клуба, меня всегда ждал Отоо, чтобы проводить домой.

Вначале это вызывало у меня улыбку, затем я отчитал его. Потом я заявил ему без обиняков, что не нуждаюсь в няньках. После этого, выходя из клуба, я не встречал его. Прошла неделя, и как-то совершенно случайно я обнаружил, что он по-прежнему провожает меня домой, пробираясь вдоль улицы в тени манговых деревьев. Что я мог сделать? И тогда я понял, что нужно было делать.

Незаметно для себя я стал приходить домой раньше. На улице дождь и ветер, и я в разгар дурачества и веселья то и дело возвращался к мысли об Отоо, который неустанно несет свою унылую вахту под манговым деревом, не защищающим от потоков воды. Я и в самом деле стал лучше благодаря ему. И все-таки он не проявлял пуританской нетерпимости в вопросах морали. Ему ничего не было известно о христианских заповедях. Все население Бора-Бора приняло христианство, а он был язычник, единственный неверующий на острове, великий материалист, который знал, что будет мертв, когда умрет. Он верил в людскую добросовестность и честную игру. Мелкие подлости в его кодексе чести были почти таким же серьезным преступлением, как зверское убийство, и я совершенно убежден, что он скорее отнесется с уважением к убийце, чем к жулику средней руки.

Что же касается меня лично, он не одобрял ничего, что шло мне во вред. В игре он не видел ничего плохого. Он и сам был азартным игроком. Но поздние бдения, объяснил он, вредят здоровью. Он знал людей, которые умирали от лихорадки потому, что не заботились о своем



здоровье. Он не был трезвенником и, промокнув до нитки, был не прочь хлестнуть виски. Иными словами, он верил, что спиртное полезно лишь в умеренных количествах. Он видел множество людей, которых шотландское виски или джин загоняли в гроб или делали калеками.

Мое благосостояние Отоо принимал близко к сердцу. Он думал о моем будущем, взвешивал мои планы и размышлял о моей судьбе больше, чем я сам. Вначале, когда я еще не подозревал о том, что он интересуется моими делами, ему приходилось самому догадываться о моих намерениях, как, например, случилось в Папеете, когда я раздумывал, вступить ли в компанию с одним плутоватым парнем, моим соотечественником, который затеял рискованное предприятие с гуано. Я не знал, что этот парень – мошенник. Этого не знал ни один белый в Папеете. Отоо тоже ничего не знал, но он видел, что мы становимся с тем парнем закадычными друзьями, и на свой страх решил все разузнать о нем. На побережье Таити стекаются матросы-туземцы со всех морей. Подозрительный Отоо терся около них до тех пор, пока не собрал убедительные факты, подтверждающие его догадки. Да, немало он узнал о делишках Рэндольфа Уотерса. Когда Отоо рассказал мне о них, я не поверил, но потом выложил все Уотерсу, и тот, не сказав ни слова, с первым же пароходом отбыл в Окленд.

Откровенно говоря, вначале меня раздражало то, что Отоо сует нос в мои дела. Но я знал, что он действует совершенно бескорыстно; вскоре я должен был признать, что он мудр и осторожен. Он следил, чтобы я не упустил выгодного случая, был одновременно и дальновидным и проницательным. Скоро я уже начал во всем советоваться с Отоо, так что в конце концов он стал разбираться в моих делах лучше, чем я сам. Мои интересы он принимал ближе к сердцу, чем я. В ту чудесную пору я был по-мальчишески беспечен, романтику предпочитал доллару, а приключение – удобному ночлегу под крышей. Словом, хорошо, что кто-то присматривал за мной. Если бы не Отоо, меня бы давно не было в живых. Это я знаю наверное.

Из многочисленных примеров позвольте привести один. Когда я отправился за жемчугом в Паумоту, у меня уже был некоторый опыт по вербовке чернокожих. В Самоа мы с Отоо остались на берегу, вернее, сели на мель, денег – ни гроша, но мне повезло: я поступил вербовщиком на бриг, который доставлял негров на плантации. Отоо нанялся на этот же бриг простым матросом. В течение следующих шести лет на разных судах мы избородили самые дикие уголки Меланезии. Отоо был убежден, что место загребного на моей лодке по праву принадлежит ему. Работали мы обычно так. Вербовщика высаживали на сушу. Его лодка оставалась у самого берега – весла наготове. Она находилась под прикрытием другой лодки, что стояла в нескольких сотнях ярдов в море. Я втыкал в песок шест, которым в случае необходимости можно было быстро оттолкнуться от берега, выгружал из лодки свои товары, а Отоо бросал весла и подсаживался к винчестеру, скрытому под парусиной. Матросы на другой лодке были тоже вооружены: под парусиной вдоль берега лежали снайдеры.

Пока я торговался с чернокожими и убеждал их наняться на плантации Квинспенда, Отоо не спускал с них глаз. Сколько раз негромким окриком предупреждал он меня о подозрительных действиях негров или о ловушке, которую они готовили. Иногда первым сигналом тревоги был внезапный выстрел, которым Отоо разил негра наповал. Я бросался к лодке, и он всегда подхватывал меня на лету. Помню, однажды, когда мы плавали на «Санта Анна», на нас напали, едва наша лодка подошла к берегу. Прикрывающая нас лодка помчалась на помощь, но тем временем несколько десятков дикарей оставили бы от нас мокрое место. Тогда Отоо одним прыжком перескочил на берег и начал обеими руками разбрасывать во все стороны табак, бусы, томагавки, ножи и куски ситца.

Для негров это было слишком сильное искушение. Пока они дрались из-за сокровищ, мы столкнули лодку в воду и отошли футов на сорок в море. А через четыре часа на этом берегу я завербовал тридцать человек.

Особенно запомнился мне один случай на Малаите, самом диком острове из восточной группы Соломоновых островов. Туземцы были настроены чрезвычайно дружелюбно, но откуда нам было знать, что вся деревня уже более двух лет собирала человеческие головы, чтобы обменять их на голову белого человека? Там все бродяги были охотниками за головами, и особенно высоко ценились головы белых. Тот, кто ее добудет, получит все, что они накопили. Как я уже сказал, они были настроены очень дружелюбно, и я в этот день удалился в глубь берега на добрую сотню ярдов. Отоо предупреждал, что это не безопасно, но я не послушался, и, как всегда, это привело меня к беде. Я внезапно увидел целую тучу копий, летящих из мангровой чащи. Не менее десятка задело меня. Я пустился бежать, но споткнулся о копьё, которое вонзилось мне в икру, и упал. Негры бросились за мной, размахивая боевыми, украшенными перьями топориками на длинных рукоятках, и собирались, по-видимому, отрубить мне голову. Им так не терпелось получить награду, что они толкались и мешали друг другу. В суматохе мне удавалось увертываться от ударов, петляя на бегу и бросаясь на землю.

В это время появился Отоо, Отоо – боец. Он где-то раздобыл тяжелую боевую дубинку, и в рукопашной она оказалась полезней ружья. Отоо бросился в гущу толпы, и враги не могли поразить его копьями, а топоры только мешали им. Он сражался за меня с исступлением. Дубинкой он орудовал потрясающе. Под его ударами головы лопались, словно перезрелые апельсины. Его ранили лишь после того, как, разогнав туземцев, он взвалил меня на плечи и побежал к лодке. Он добрался до лодки, четыре раза задетый копьями, схватил свой винчестер и стал стрелять, каждым выстрелом укладывая врага. Затем нас взяли на шхуну и перевязали раны.

Семнадцать лет мы не расставались. Он сделал меня человеком. Я бы и по сей день был судовым приказчиком, вербовщиком, а может быть, от меня не осталось бы даже воспоминания, если бы не он.

– Сейчас, истратив деньги, ты можешь заработать еще, – сказал он мне однажды. – Сейчас тебе легко добывать деньги. Но когда ты состаришься, деньги у тебя разойдутся, а заработать ты не сможешь. Я это знаю, господин. Я изучил повадки белых. На побережье много стариков, некогда они были молоды и могли зарабатывать, как ты сейчас. Теперь они стары, у них ничего нет, и они слоняются в ожидании какого-нибудь парня, который угостит их.

Чернокожий трудится на плантациях, словно раб. Он получает двадцать долларов в год. Он работает много. Надсмотрщик работает мало. Ездит себе верхом да наблюдает, как работает чернокожий парень. Он получает тысячу двести долларов в год. Я матрос на шхуне. Мне платят пятнадцать долларов в месяц. Это потому, что я хороший матрос. Я много работаю. А капитан прохлаждается под тентом да тянет пиво из больших бутылок. Я никогда не видел, чтобы он поднимал паруса или работал веслом. Он получает сто пятьдесят долларов в месяц. Я – матрос. Он – навигатор. Господин, я думаю, тебе надо изучить навигацию.

Отоо побудил меня заниматься этим. Когда я вышел в свой первый рейс вторым помощником капитана, он плавал со мной и больше меня гордился тем, что я команду. Но Отоо не унимался:

– Господин, капитан получает много денег, но он ведет судно и никогда не знает покоя. Судовладелец – вот кто получает больше. Судовладелец, который сидит на берегу и делает деньги.

– Верно, но шхуна стоит пять тысяч долларов, причем старая шхуна, – возразил я. – Я помру, прежде чем накоплю пять тысяч долларов.

– Белый человек может разбогатеть очень быстро, – продолжал он, указывая на берег в

зарослях кокосовых пальм.

Это было у Соломоновых островов. Мы шли вдоль восточного берега Гвадалканара и скупали «растительную слоновую кость».

– Между устьями двух рек расстояние мили две, – сказал он. – Равнина тянется в глубь острова. Сейчас она ничего не стоит. Но кто знает? Может быть, через год-два эта земля будет стоить очень дорого. Тут удобно стать на якорь. Океанские пароходы могут подходить к самому берегу. Старый вождь продаст тебе полоску земли шириной в четыре мили за десять тысяч пачек табаку, десять бутылок джина и ружье системы Снайдера, что обойдется тебе приблизительно в сотню долларов. Затем ты оформишь сделку и через один-два года продашь землю и купишь собственное судно.

Я последовал совету Отоо, и его предсказание сбылось, правда, не через два, а через три года. Затем последовало дело с пастбищами на Гвадалканаре – арендовал у государства двадцать тысяч акров сроком на девяносто девять лет по номинальной стоимости. Я был арендатором ровно девяносто дней, потом продал землю за огромную сумму одной компании. Именно он, Отоо, все предвидел и не упускал удобного случая. Это была его идея – поднять затонувший «Донкастер», который продавался на аукционе за сто фунтов. Операция эта после покрытия всех расходов дала три тысячи чистой прибыли. По совету Отоо я стал плантатором на Савайе и занялся торговлей кокосовыми орехами в Уполу.

Мы уже не ходили в море так часто, как прежде. Я стал богатым, женился, жизнь пошла по-иному, но Отоо оставался все тем же Отоо, он бродил по дому, заглядывал в контору, не вынимая изо рта деревянной трубки и не расставаясь с дешевой сорочкой и панталонами. Я не мог заставить его тратить деньги. Ему не нужно было никакого вознаграждения, кроме любви, и – бог свидетель, – мы все от души его любили. Дети его обожали, а жена моя непременно бы его избаловала, если бы Отоо можно было избаловать.

А дети! Это он раскрыл им тайны окружающего мира. Под его присмотром они делали первые шаги. Когда кто-нибудь из ребят заболел, он не отходил от его постели. Одного за другим, когда они были еще совсем крошечными, он брал с собой в лагуну и учил плавать и нырять. Я никогда не знал о рыбах и о рыбной ловле столько, сколько он рассказал детям. Он открыл им тайны леса. В семь лет Том знал лес так, как мне и не снилось. Шести лет Мэри бесстрашно проходила по обрывистой скале, а я знал, что не каждый мужчина отважится на такой подвиг. Едва Франку исполнилось шесть лет, он мог достать монету с пятиметровой глубины.

– Мой народ на Бора-Бора не любит язычников, они там все христиане. А я не люблю христиан острова Бора-Бора, – сказал он однажды, когда я убеждал его взять одну из наших шхун и навестить родной остров. У меня была идея – заставить его тратить деньги, по праву принадлежавшие ему. Путешествие я затевал неспроста: я надеялся, что это событие будет переломным в его психологии и он начнет беззаботно тратить деньги.

Я говорю «одну из наших шхун», хотя в ту пору все они по закону принадлежали мне. Я долго пытался побороть его упрямство: мне хотелось, чтобы мы были компаньонами.

– Мы компаньоны с того самого дня, как затонула «Крошка Жанна», – ответил он мне наконец. – Но если твое сердце пожелало, давай будем законными компаньонами. Я бездельничаю, а денег на меня уходит уйма. Я много пью, ем и курю вволю, а это стоит немало, я знаю. Я бесплатно играю на бильярде, потому что это твой стол, но это все-таки расход. Удиль рыбу на рифе для собственного удовольствия может позволить себе только богач. На крючки и лесы уходит много денег. Да, нам необходимо стать компаньонами по закону. Мне нужны деньги. Я буду получать их в конторе у старшего клерка.

Словом, были выписаны и оформлены соответствующие документы. Прошел год, и я начал

ворчать.

– Чарли, – сказал я, – ты – старый обманщик, несчастный скряга, жалкий краб. Смотри-ка, твоя доля прибыли за этот год равна нескольким тысячам долларов. Эту бумагу мне дал старший клерк. Здесь написано, что за год ты истратил восемьдесят семь долларов и двадцать центов.

– Мне еще что-нибудь причитается? – спросил он озабоченно.

– Я же сказал, несколько тысяч долларов, – ответил я.

Лицо его просветлело, будто он почувствовал большое облегчение.

– Это очень хорошо, – сказал он. – Смотри, чтобы старший клерк правильно вел счета. Когда мне понадобятся деньги, я возьму их, и чтобы ни один цент не пропал.

– А если случается недостача, – помолчав, добавил он жестко, – ее покрывают из жалованья клерка.

А в то время, как я впоследствии узнал, в сейфе американского консульства уже хранилось его завещание, составленное Каррузерсом, по которому я являлся единственным его наследником.

Но пришел конец, потому что все на свете должно когда-нибудь закончиться. Это случилось на Соломоновых островах, где в дни безрассудной юности мы работали не покладая рук. Теперь мы снова посетили эти места, главным образом для того, чтобы отдохнуть, а заодно посмотреть, как идут дела на земельных участках на острове Флорида, и разузнать, насколько выгоден жемчужный промысел в проливе Мболи. Мы стали на якорь у острова Саво в надежде выторговать у туземцев что-нибудь ценное.

Ну, возле Саво так и кишат акулы. Обычай туземцев хоронить своих покойников в открытом море привел к тому, что акулы стали постоянными жильцами омывающих остров вод. Так уж мне всегда везет, что крошечное, перегруженное туземное каноэ, в котором мы плыли, опрокинулось. В нем было, вернее, за него держались четверо негров и я. До шхуны было ярдов сто. Как раз в то время, когда я кричал своим на шхуне, чтобы спустили шлюпку, раздались вопли одного из негров. Он держался за конец каноэ, и его несколько раз потянуло вместе с лодчонкой. Потом он разжал руки и исчез. Его утащила акула.

Трое оставшихся негров пытались выкарабкаться из воды на днище опрокинутого каноэ. Я кричал на них, ругался, даже стукнул того, который был рядом, кулаком, но ничего не помогло. Их охватил безумный ужас. Каноэ едва ли могло выдержать даже одного из них. Когда на лодку взобрались трое, она стала вертикально, затем опрокинулась на бок, сбросив их в воду.

Я поплыл к шхуне, надеясь, что мне навстречу выйдет шлюпка. Один из негров последовал за мной, и мы продвигались вперед рядом, не говоря ни слова и время от времени опуская лицо в воду, чтобы посмотреть нет ли акул. Человек, оставшийся у каноэ, дико закричал: на него напали хищники. Опустив голову в воду, я увидел огромную акулу, проплывающую как раз подо мной. Она была не менее шестнадцати футов длиной. Я видел, как все произошло. Она схватила негра поперек туловища и поплыла прочь. Голова, руки, плечи несчастного все время были над водой, он кричал душераздирающим голосом. Акула протащила его несколько сот футов, потом он скрылся под водой.

Я плыл вперед, надеясь, что это была последняя голодная акула. Но была еще одна. Была ли это одна из тех, которые напали на негров вначале, или она насытилась где-нибудь в другом месте, я не знаю. Во всяком случае, она, кажется, не спешила, как другие. Теперь я

уже не мог плыть так быстро, как раньше, потому что я тратил много сил, стараясь не терять ее из виду. Я видел, как она начала первую атаку. Мне повезло – я обеими руками стукнул ее по рылу, и, хотя ее внезапный толчок чуть не увлек меня под воду, мне все-таки удалось ее отогнать... Потом она повернула и начала кружить подле меня. Так же мне удалось спастись и во второй раз. Третий бросок был неудачен для обеих сторон. Она повернула в тот момент, когда мои кулаки были возле ее рыла, и прикоснувшись к ее боку, напомиравшему наждачную бумагу, я на одной руке содрал кожу от локтя до плеча: на мне была безрукавка.

Теперь я уже совсем выдохся и потерял всякую надежду на спасение. До шхуны оставалось футов двести. В то время, когда я опустил лицо в воду и наблюдал за акулой, которая готовилась к следующей атаке, я заметил промелькнувшее между нами коричневое тело. Это был Отоо.

– Плыви к шхуне, господин! – сказал он. И голос его был весел, словно речь шла о веселом приключении. – Я знаю акул. Акулы мне братья.

Я подчинился и медленно поплыл вперед, а Отоо был рядом, все время лавируя между мной и акулой, отражая ее атаки и подбадривая меня.

– На боканцах снесло такелаж, и они его крепят, – объяснил он через минуту-другую и сразу нырнул, чтобы отбить очередную атаку хищника.

Когда шхуна была в тридцати футах, я выдохся окончательно. Я с трудом двигал руками и ногами. С борта нам бросали веревки, но они падали слишком далеко. Акула, убедившись, что имеет дело с безобидными существами, осмелела. Несколько раз она меня чуть не схватила, но в решающую секунду ей помешал Отоо. Конечно, сам Отоо мог спастись в любой момент. Но он не хотел бросать меня.

– Прощай, Чарли! Это конец, – задыхаясь, выговорил я.

Я знал, что это конец, что через секунду я опущу руки и пойду ко дну.

Но Отоо засмеялся и сказал:

– Я покажу тебе новый фокус. Этой акуле плохо придется!

Он нырнул между мной и акулой, которая плыла за мной.

– Забирай влево! – крикнул он. – Там веревка. Еще левее, господин, левее!

Я повернул в другую сторону и поплыл вперед. Когда я ухватился за веревку, на шхуне раздался крик. Я оглянулся. Отоо не было... В следующее мгновение он показался на поверхности. Кисти обеих рук были у него оторваны, из ран лилась кровь.

– Отоо! – негромко позвал он. И взгляд его был полон той же любви, что звучала в его голосе.

Только теперь, единственный раз, в последнее мгновение своей жизни, он назвал меня этим именем.

– Прощай Отоо! – крикнул он.

Потом он исчез под водой, а меня втащили на борт, где я упал на руки капитана и потерял сознание.

Так ушел из жизни Отоо, который спас меня в молодости, сделал меня человеком и потом снова спас. Мы встретились в пасти урагана, и нас разлучила пасть акулы. Между этими

событиями прошло семнадцать лет, и я с полной ответственностью могу заявить, что в мире никогда не было такой дружбы между темнокожим и белым. И если Иегова на своем высоком посту действительно всевидящ, то в его царстве не последним будет Отоо, единственный язычник с острова Бора-Бора.

КОНЕЦ

Сноски

1

температура везде дана по Фаренгейту.

2

«Парка» – верхняя меховая одежда.

3

«Фолли» (англ.) – сумасброд.

4

«famille» (франц.) – семья.

5

«La petite» (франц.) – маленькая.

6

«Mon Mason brave!» (франц.) – Молодец, Мэйсон!

7

«beche de mer» (франц.) – трепанг; в данном случае наречие, распространенное в тех местах, где добывается трепанг.

8

«coureurs du bois» (франц.) – трапперы, охотники.

9

«bois brules» (франц.) – буквально: горелое дерево; название первых французских поселенцев в Канаде, которые, особенно после перехода Канады к Англии, промышляли охотой в лесах.

10

«иглу» – хижины канадских эскимосов, сложенные из снежных плит.

11

«Paien noir!» (франц.) – черный язычник, безбожник.